И. С. ТУРГЕНЕВ



СОЧИНЕ-
НИЯ

8

Ив. Тургенев



И. С. ТУРГЕНЕВ.
Фотография Тиссье, 1871 г.

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)



И. С. ТУРГЕНЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

СОЧИНЕНИЯ

В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

♦

Издание второе,
исправленное и дополненное

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1981

И. С. ТУРГЕНЕВ

СОЧИНЕНИЯ

Том восьмой

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

1868—1872

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА
1981

Т $\frac{70302\text{-}251}{042(02)\text{-}81}$ Подписное 3702000000



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ИСТОРИЯ ЛЕЙТЕНАНТА ЕРГУНОВА

I

...В тот вечер Кузьма Васильевич Ергунов рассказал нам опять свою историю. Он повторял ее аккуратно раз в месяц, и мы слушали ее каждый раз с новым удовольствием, хотя знали ее чуть не наизусть, со всеми ее подробностями. Подробности эти обросли, если можно так выразиться, первоначальный ствол самой истории, как опенки обрастают срубленный пень. Слишком хорошо зная характер нашего собеседника, мы не затруднялись пополнять его недомолвки и пропуски. Но с тех пор Кузьма Васильевич умер, и уже рассказывать его историю будет некому, а потому мы и решаемся довести ее до всеобщего сведения.

II

Случилась она лет сорок тому назад, во время молодости Кузьмы Васильевича. Сам он говорил про себя, что был он тогда франт и красавец, кровь с молоком, губы имел румяные, волосы кудрявые и очи соколиные. Мы верили ему на слово, хотя ничего подобного в нем не находили: на наши глаза Кузьма Васильевич представлялся человеком наружности весьма обыкновенной, с простым и как бы заспанным лицом, грузным и нескладным телом. Но и то сказать: годы хоть какую красоту исказят! Следы франтовства более ясно сохранились в Кузьме Васильевиче. Он до старости носил узкие панталоны со штрипками, перетягивал свой дебелый стан, на затылке стриг, на лбу завивал свои волосы, и усы красил персидскою фаброй, которая, впрочем, отливала больше багрянцем и даже зеленью, чем чернотой. Со всем тем Кузьма Васильевич был весьма достойный дворянин, хотя за преферансом любил «запускать *глазенапа*» к соседям, то есть заглядывать им в карты; но это он делал

не столько из жадности, сколько из бережливости, ибо не любил попусту тратить деньги. Однако в сторону прибаутки: приступим к самому делу.

III

Дело это происходило весной, в тогда еще новом городе Николаеве, куда Кузьма Васильевич был откомандирован по казенному поручению. (Он служил лейтенантом во флоте.) Начальство вверило ему, как надежному и благоразумному офицеру, надзор за какими-то морскими постройками и от времени до времени выдавало в его распоряжение довольно значительные суммы, которые он, для большей безопасности, постоянно носил в кожаном поясе на теле. Кузьма Васильевич действительно отличался благоразумием и, несмотря на свои молодые годы, вел себя примерно; всяких неприличных поступков избегал тщательно, не прикасался карт, вина не пил и даже общества чуждался, так что товарищи его, смирные — прозывали его красною девицей, а буйные — мямлей и рохлей. За Кузьмой Васильевичем водился один только грешок: он питал сердечную склонность к прекрасному полу; однако и тут умел сдерживать свои порывы и никакого «малодушества» себе не позволял. Он вставал и ложился спать рано, добросовестно исполнял свою обязанность, и единственное его развлечение состояло в вечерних, довольно продолжительных, прогулках по загородным улицам Николаева. Книг он не читал, ибо боялся приливов в голове; каждую весну он пил особый декокт против полнокровия. Надев мундир и старательно обчистившись веничком, Кузьма Васильевич отправлялся степенным шагом вдоль заборов фруктовых садов, часто останавливался, любовался красотами природы, срывал цветок на память и чувствовал некоторое удовольствие; но особенное наслаждение испытывал он только тогда, когда ему случалось встретить «купидончика», то есть хорошенькую мещаночку, спешившую домой в накинутой на плечи душегрейке, с узелком в голенькой ручке и с пестрым платочком на голове. Будучи, как он сам выражался, комплекции чувствительной, но скромной, Кузьма Васильевич не заговаривал с «купидончиком», зато приветливо улыбался ему, долго и внимательно глядел ему вслед... Потом вздыхал глубоко, отправлялся тем же степенным шагом

домой, садился у окошка и мечтал с полчасика, бережно покуривая крепкий вагштаф из большой пенковой трубки, подаренной ему крестным отцом, квартальным надзирателем из немцев. Так проходили дни, ни весело, ни скучно.

IV

Вот однажды, возвращаясь перед сумерками пустым переулком к себе на квартиру, Кузьма Васильевич услышал за собой торопливые шаги и прерывистые слова, смешанные с рыданьями. Он оглянулся и увидел девушку лет двадцати, с чрезвычайно приятным, но совершенно расстроенным и заплаканным лицом. Казалось, ее постигло большое и неожиданное горе: она бежала и спотыкалась на бегу, говорила сама с собой, охала, махала руками; ее белокурые волосы растрепались, а косынка (тогда еще не знали ни бурнусов, ни мантилий) соскользнула с плеч и держалась на одной булавке. Одета была девушка как барышня, не как мещанка.

Кузьма Васильевич посторонился; чувство сострадания победило в нем опасение смалодушничать, и когда она с ним поравнялась, он вежливо прикоснулся к козырьку своего кивера и спросил ее о причине ее слез.

— Потому,— прибавил он и положил руку на кортик,— я, как военный человек, могу помочь.

Девушка остановилась и, по-видимому, в первое мгновенье не совсем ясно поняла, чего он хотел от нее; но тотчас же, как бы обрадовавшись случаю высказаться, заговорила на не совсем чистом русском языке.

— Помилуйте, господин офицер,— начала она, и слезы посыпались дождем по ее миловидным щекам,— что же это такое! Это ужасти, это бог знает что! Нас совсем ограбили, помилуйте! Кухарка всё, всё унесла, всё — сервиз, щикатулку и платье... да... и платье даже, и чулки, и белье... да... и тетенькин ридикюль, там еще была двадцатипятирублевая бумажка в такой маленький футляр, и две ложки анпликэ... и еще салоп, и всё... И это я всё говорю господину квартальному поручику, а господин квартальный поручик говорит: «Подите вон, не верю, не верю... Слышать, слышать не хочу, вы сами такие же!» Я говорю: «Помилуйте, салоп...», а он: «Слышать, слышать не хочу!» Так обидно, господин офицер! Подите, говорит, вон... вон!.. Да куда же я пойду?

Девушка судорожно, почти с воплем зарыдала и, совершенно растерявшись, приклонилась к рукаву Кузьмы Васильевича... Он смутился в свою очередь — и замер на месте, только изредка повторяя: «Полноте, полноте!», а сам всё глядел на тонкий, беспрестанно вздрагивавший затылок огорченной девушки.

— Позвольте, я провожу вас,— сказал он наконец, слегка касаясь указательным пальцем ее плеча,— а то тут на улице, вы понимаете, никак невозможно. Вы объясните мне ваше неудовольствие, и, конечно, я приложу всё старание... как офицер.

Девушка приподняла голову и, казалось, в первый раз хорошенько разглядела молодого человека, который, можно сказать, держал ее в своих объятиях. Она застыдилась, отвернулась и, всё еще всхлипывая, отошла немного в сторону. Кузьма Васильевич возобновил свое предложение. Девушка посмотрела на него искоса, сквозь мокрые от слез волосы, падавшие ей на лицо (Кузьма Васильевич на этом месте рассказа всякий раз уверял нас, что этот взгляд пронзил его «словно шилом», а однажды даже попытался представить нам этот удивительный взгляд), и, положив свою руку на подставленную калачиком руку услужливого лейтенанта, отправилась вместе с ним на свою квартиру.

V

Кузьма Васильевич в жизни своей мало имел обращения с дамами и потому затруднялся, с чего бы начать беседу, но спутница его сама залепетала весьма речисто, беспрестанно утирая беспрестанно накоплявшиеся слезы. Несколько мгновений спустя Кузьма Васильевич уже знал, что ее звали Эмилией Карловной, что она была родом из Риги, а в Николаев приехала погостить к своей тетеньке, которая тоже была из Риги, что ее папенька также служил в военной службе, но умер «от груди»; что у тетеньки была кухарка из русских, очень хорошая и дешевая, только без паспорта, и что самая та кухарка в самый тот день их обокрала и сбежала неизвестно куда. Надо было идти в полицию — in die Polizei... Но тут воспоминания о квартальном, о нанесенной обиде нахлынули снова... и снова разразились рыданья. Кузьма Васильевич опять затруднился, что бы сказать такое утешительное... Но девушка, у

которой, по-видимому, все впечатления и приходили и уходили очень скоро, внезапно остановилась и, протянув руку, спокойно промолвила:

— А вот наша квартира!

VI

Квартира эта состояла из плохенького, словно в землю вросшего домика, с четырьмя крошечными окошками на улицу. Темная зелень герaниума застилала их изнутри, в одном из них теплилась свечка: ночь уже надвигалась. От самого домика и почти в уровень с ним тянулся бревенчатый забор с едва заметною калиткой. Девушка подошла к ней и, найдя ее запертою, нетерпеливо заколотила железным кольцом заржавелого замка. Послышались за забором тяжелые шаги, словно кто шел, небрежно шаркая, в стоптанных туфлях, и хриплый женский голос спросил что-то по-немецки, чего Кузьма Васильевич не понял: он, как истый моряк, не знал ни одного языка, кроме русского. Девушка отвечала тоже по-немецки; калитка чуть-чуть отворилась и, впустив девушку, тотчас захлопнулась перед самым носом Кузьмы Васильевича, который, однако, успел разглядеть среди полумрака летних сумерек облик толстой старухи в красном платье, с тусклым фонарем в руке. Пораженный изумленьем, Кузьма Васильевич остался некоторое время неподвижен на улице; но при мысли, что с ним, военным офицером, так невежливо поступают (Кузьма Васильевич весьма дорожил своим званием), он почувствовал прилив негодования, круто повернул налево кругом и направился домой. Он еще десяти шагов не отошел, как калитка опять отворилась, и девушка, уже успевшая пошептаться со старухой, показалась на пороге и громко воскликнула:

— Куда же вы, господин офицер! Пожалуйте к нам!

Кузьма Васильевич поколебался немного, однако вернулся.

VII

Его новая знакомая, которую мы отныне будем звать Эмилией, ввела его чрез темный и сырой чуланчик в довольно большую, но низкую и неопрятную комнату, с громадным шкафом у задней стены, клеенчатым диваном, облупившимися портретами двух архиереев в клобуках и одного турка в чалме над дверями и между окон,

картонами и коробками по углам, разрозненными стульями и кривоногим ломберным столом, на котором лежала мужская фуражка возле недопитого стакана с квасом. Вслед за Кузьмой Васильевичем вошла в комнату и замеченная им у калитки старуха в красном платье, которая оказалась весьма неблагообразною жидовкой, с угрюмыми свиными глазками и седыми усами на одутловатой верхней губе. Эмилия указала на нее Кузьме Васильевичу и промолвила:

— А вот моя тетенька, мадам Фритче.

Кузьма Васильевич несколько удивился, однако почел долгом отрекомендоваться. Мадам Фритче посмотрела на него исподлобья, ничего ему не ответила и спросила свою племянницу по-русски: не хочет ли она чаю?

— Ах да, чаю! — подхватила Эмилия,— не правда ли, господин офицер, вы будете кушать чай? Да, тантушка, дайте чаю!.. Но что же вы стоите, господин офицер? Садитесь! Ах, какой вы церемонный! Позвольте, я сниму косынку.

Когда Эмилия говорила, она беспрестанно поворачивала голову из стороны в сторону и подергивала плечиками; птицы так делают, когда сидят на высокой голой ветке и со всех сторон освещены солнцем.

Кузьма Васильевич опустился на стул и, придав осанке своей надлежащую важность, а именно подпершись кортиком и устремив глаза на пол, навел речь на покражу. Но Эмилия тотчас перебила его.

— Не беспокойтесь, это ничего; тетенька мне сейчас сказала, что главные вещи сысканы. (Мадам Фритче проворчала что-то себе под нос и вышла вон.) И совсем не надо было ходить в Polizei; но я никак не могу утерпеть, потому я такая... Вы не понимаете по-немецки?.. такая быстрая, immer so rasch! Но я уже не думаю об этом... aber auch gar nicht! [1]

Кузьма Васильевич посмотрел на Эмилию. Действительно, лицо ее приняло выражение самое беззаботное. Всё в нем улыбалось, в этом хорошеньком личике: и опушенные почти белыми ресницами глаза, и губы, и щеки, и подбородок, и ямочка на подбородке, и самый даже кончик вздернутого носа. Она подошла к маленькому зеркальцу возле шкафа и, попевая сквозь зубы и щурясь,

---

[1] ну, даже нисколько! (*нем.*).

стала поправлять волосы. Кузьма Васильевич пристально следил за ее движениями... Очень она ему нравилась.

VIII

— Вы меня извините,— заговорила она снова, слегка повертываясь перед зеркалом,— что я вас так... привела к себе. Может быть, вам неприятно?

— О, помилуйте!

— Я вам уже сказала: я такая быстрая. Сперва сделаю, потом подумаю. А иногда даже и не подумаю... Как вас зовут, господин офицер? Можно спросить? — прибавила она, подойдя к нему и скрестив руки.

— Меня зовут Ергунов, Кузьма Васильев.

— Ергу... Ах, это имя не хорошо!.. То есть трудно для меня. Я буду вас звать господин Флóрестан. У нас в Риге был один господин Флóрестан. Он продавал отличный гроденапль в магазине и был красавец. Не хуже вас. Но какой вы широкоплечий! Настоящий русский молодец! Я люблю русских... я сама русская... мой папенька был офицер. А руки у меня белее ваших! — Она подняла их над головой, помахала ими несколько раз по воздуху для того, чтобы кровь от них оттекла, и тотчас их опустила.— Видите? Я их мою греческим мылом... с духами... Понюхайте... Ах! да не целуйте... Я не затем... Где вы служите?

— Я служу в девятнадцатом черноморском экипаже, во флоте.

— А! Вы моряк! А что же, у вас большое жалованье?

— Нет... не очень-с.

— Вы, должно быть, очень храбры. Это сейчас видно по вашим глазам. Какие у вас густые брови! Говорят, их надо на ночь салом мазать, чтобы росли. Но отчего у вас усов нет?

— По форме не полагается.

— Ах, это нехорошо! Что это у вас, кинжал?

— Это кортик; кортик, так сказать, принадлежность моряков.

— А, кортик! Что, он острый? Можно посмотреть? — Она с усилием, закусив губы и щурясь, вытащила лезвие из ножен и приложилась к нему носом.— О, какой тупой! Этак я вас сейчас убить могу.

Она замахнулась на Кузьму Васильевича. Он притворился, что испугался, и засмеялся. И она засмеялась.

— Ihr habt pardon, вы помилованы,— промолвила она, приняв величественную позу.— На, возьмите ваше оружие! А сколько вам лет? — спросила она вдруг.

— Двадцать пять.

— А мне девятнадцать! Как это смешно! Ах!

И Эмилия залилась таким звонким хохотом, что даже назад немного опрокинулась. Кузьма Васильевич не поднимался со стула и еще пристальнее прежнего глядел на ее розовое, трепетавшее от смеха лицо, и нравилась она ему всё больше и больше.

Эмилия вдруг умолкла и, напевая сквозь зубы — такая у ней была привычка,— снова подошла к зеркалу.

— Вы умеете петь, господин Флóрестан?

— Никак нет-с. Не выучен-с.

— А играть на гитаре? Тоже нет? А я умею. У меня есть гитара с перленмуттер [1], только струны порваны. Надо будет купить. Вы мне дадите денег, господин офицер? Я вам спою прекрасный немецкий романс.— Она вздохнула и закрыла глаза.— Ах, такой прекрасный! Но танцевать вы умеете? И это нет? Unmöglich! [2] Я вас выучу. Лакосез и вальс-казак. Тра-ла-ла, тра-ла-ла, тра-ла-ла...— Эмилия подпрыгнула раза два.— Посмотрите, какие у меня ботинки! «З'Варшавы». О! мы будем танцевать с вами, господин Флорестан! Но как вы называть меня будете?

Кузьма Васильевич осклабился и покраснел до ушей.

— Я буду вас звать: прекраснейшая Эмилия!

— Нет! нет! Вы должны звать меня: Mein Schätzchen, mein Zuckerpüppchen! [3] Повторяйте за мною.

— С величайшим моим удовольствием, но я боюсь, для меня будет затруднительно...

— Всё равно, всё равно. Скажите: Mein...

— Мэ... ин...

— Zucker...

— Цук... кер...

— Püppchen! Püppchen! Püppchen!

— Пю... Пю... Этого я не могу-с. Нехорошо что-то выходит.

---

[1] перламутром (*нем.*).

[2] Невозможно! (*нем.*).

[3] Сокровище мое, душенька! *Буквально:* Сокровище мое, сахарная куколка! (*нем.*).

— Нет! Вы должны... Вы должны! А вы знаете, что это значит? Это по-немецки самое приятное для барышень слово. Я вам это растолкую после. А теперь вот тетенька нам самовар несет. Браво! браво! Тетенька, я буду пить чай со сливками... Есть сливки?

— So schweige doch! [1] — отвечала тетенька.

IX

Кузьма Васильевич просидел у мадам Фритче до полуночи. С самого своего приезда в Николаев он еще не проводил такого приятного вечера. Правда, ему не раз приходило в голову, что офицеру и дворянину не следовало бы знаться с особами вроде рижской уроженки и ее «тантушки», но Эмилия такая была хорошенькая, так забавно болтала, так ласково на него поглядывала, что он махнул рукой на свое происхождение, звание и решился на этот раз пожить в «собственное удовольствие». Одно только обстоятельство его смутило и оставило в нем впечатление не совсем приятное. В самом разгаре разговора между им, Эмилией и мадам Фритче дверь из передней комнаты чуть-чуть растворилась, и мужская рука в темном обшлаге с тремя крошечными серебряными пуговками тихонько высунулась и тихонько положила на стул возле двери довольно большой узел. Обе дамы тотчас бросились к стулу и начали рассматривать принесенное. «Да это не те ложки!» — воскликнула Эмилия, но тетка толкнула ее локтем и унесла узел, не завязав концов. Кузьме Васильевичу показалось, как будто один из них был запачкан чем-то красным, словно кровью...

— Что это? — спросил он Эмилию.— Вам еще несколько краденых вещей возвратили?

— Да,— отвечала Эмилия, как бы нехотя,— еще.

— Это слуга ваш их отыскал?

Эмилия нахмурилась.

— Какой слуга? У нас нет никакого слуги.

— Так другой какой мужчина?

— К нам мужчины не ходят.

— Однако позвольте, позвольте... Я видел обшлаг мужского сюртука или венгерки. И, наконец, эта фуражка...

[1] Да замолчи же! (*нем.*).

— К нам никогда, никогда мужчины не ходят...— настойчиво повторила Эмилия.— Что вы видели... Ничего вы не видели! А фуражка эта моя.

— Как так?

— Да так. Случится в маскарад... Ну да, моя, und Punctum! [1]

— А кто ж вам узел-то принес?

Эмилия ничего не отвечала и, надув губы, вышла из комнаты вслед за мадам Фритче. Спустя минут десять она вернулась одна, без тетки, и когда Кузьма Васильевич снова принялся ее расспрашивать, она посмотрела ему в лоб, сказала, что стыдно быть кавалеру любопытным (при этих словах лицо ее немного изменилось, словно потемнело) и, достав из ломберного стола колоду старых карт, попросила его погадать на ее счастье и на червонного короля.

Кузьма Васильевич засмеялся, взял карты, и всякие нехорошие мысли тотчас выскочили у него из головы.

Но они еще раз вернулись к нему в тот же день. А именно: он уже вышел из калитки на улицу, уже простился с Эмилией, в последний раз крикнув ей «Adieu, Zuckerprüppchen!» [2], как вдруг мимо его прошмыгнул человек невысокого роста и, обернувшись на миг в его сторону (ночь давно наступила, но луна светила довольно ярко), выставил цыганское худощавое лицо с черными густыми бровями и усами, черными глазами и крючковатым носом. Человек этот тотчас бросился за угол, а Кузьме Васильевичу показалось, что он узнал не лицо его,— он никогда не видал его прежде,— а обшлаг его рукава: три серебряные пуговки явственно сверкнули на луне. Тревожное недоумение зашевелилось в душе осторожного лейтенанта; вернувшись домой, он не закурил, по обыкновению, своей пенковой трубки. Впрочем, неожиданное знакомство с любезною Эмилией и приятные часы, проведенные в ее обществе, способствовали взволнованному настроению его чувств.

---

[1] и точка! (*нем.*).

[2] Прощай, душенька! *Буквально:* Прощай, сахарная куколка! (*нем.*).

X

Какие бы ни были опасения Кузьмы Васильевича, они рассеялись скоро и не оставили следа. Он стал частенько наведываться к обеим дамам из Риги. Влюбчивый лейтенант сблизился с Эмилией. Сперва он стыдился этой близости, скрывал свои посещения, потом перестал стыдиться и скрываться; кончилось тем, что он охотнее сидел у своих новых знакомых, чем у кого бы то ни было, не говоря уже о собственных не слишком веселых четырех стенах. Сама мадам Фритче уже не возбуждала в нем неприятных ощущений, хотя обращалась с ним неприветливо и угрюмо по-прежнему. Особы мало зажиточные, подобные госпоже Фритче, в гостях своих преимущественно ценят щедрость; а Кузьма Васильевич был скупенек и дарил больше изюмом, грецкими орехами, пряниками... Только раз он, по собственному выражению, «разорился», поднес Эмилии легонькую розовую косынку настоящей французской материи; а она в тот же день прожгла на свечке его подарок. Он стал ей выговаривать: она нацепила косынку на хвост кошке; он рассердился; она рассмеялась ему в нос. Кузьма Васильевич должен был, наконец, самому себе сознаться, что он не только не пользовался уважением дам из Риги, но даже доверия их не заслужил: его никогда не впускали разом, без предварительного осмотра; иногда заставляли дожидаться, иногда отсылали прочь безо всякой церемонии и, желая что-нибудь скрыть от него, беседовали при нем по-немецки. Эмилия не отдавала ему никакого отчета в своих поступках и на его вопросы отвечала как-то вскользь, словно не расслышав его слов; а главное: некоторые комнаты в доме мадам Фритче, который был довольно обширен, хотя с улицы казался лачужкой, оставались для него постоянно закрытыми. За всем тем Кузьма Васильевич не прекращал своих посещений, а, напротив, учащал их: он все-таки живых людей видел. Самолюбие его удовлетворялось также и тем, что Эмилия продолжала называть его Флорестаном, находила его красавцем необыкновенным и уверяла, что у него глаза, как у райской птицы, «wie die Augen eines Paradiesvogels!»

XI

Однажды, в самый развал лета, в полдень, Кузьма Васильевич, провозившись целое утро на солнце с подрядчиками и работниками, притащился измученный, разбитый к калитке слишком известного ему домика. Он постучался; его впустили. Он ввалился в так называемую гостиную и тотчас же прикорнул на диване. Эмилия подошла к нему и отерла платком его взмокший лоб.

— Как он устал, мой крошка! Как ему жарко! — проговорила она с соболезнованием.— Боже мой! хоть бы воротник расстегнул. Господи! Так душка и прыгает.

— Умаялся я, дружок,— простонал Кузьма Васильевич.— С утра на ногах, да на самом всё припеке. Беда! Домой хотел идти. Там опять эти аспиды, подрядчики! А у вас тут прохлада... кажется, соснул бы.

— Ну что же? Почивай, мой цыпленочек; здесь никто не мешает...

— Да совестно как будто...

— В-вот, что за совесть! Почивай. А я тебя буду... как это по-вашему?.. байбайкать. «Schlaf, mein Kindchen, schlafe!» [1] — запела она.

— Водицы бы сперва испить...

— Вот тебе стакан воды. Свежая! Как кристалл! Постой, я подушечку под голову положу... А вот это от мух.

Она закрыла ему лицо платком.

— Спасибо, купидончик... Я только так... вздремну маленько...

Кузьма Васильевич закрыл глаза и заснул немедленно.

— «Schlaf, mein Kindchen, schlafe!» — напевала Эмилия, покачиваясь из стороны в сторону и сама тихонько подсмеиваясь и песенке своей и своим движениям.

«Какое у меня большое дитя! — думала она.— Мальчик!»

XII

Часа через полтора лейтенант проснулся. Ему чудилось сквозь сон, как будто кто-то его трогает, наклоняется, дышит над ним. Он ощупался, сдернул платок.

---

[1] Спи, дитятко, усни! (*нем.*).

Эмилия стояла на коленях близехонько возле него; выражение ее лица показалось ему странным. Она тотчас же вскочила, отошла к окошку и спрятала что-то в карман.

Кузьма Васильевич потянулся.

— Однако ж я-таки всхрапнул лихо! — промолвил он зевая.— Поди-ка сюда, мэйне зюссе фрейлен! [1]

Эмилия подошла к нему. Он проворно приподнялся, сунул руку в ее карман и достал небольшие ножницы.

— Ach, Herr Je! [2] — невольно воскликнула Эмилия.

— Это... это ножницы? — пробормотал Кузьма Васильевич.

— Ну да, конечно. А ты что думал... пистолет? Ах, какое у тебя смешное лицо! Измято, как подушка, и волосы на затылке все кверху... И не смеется... Ах, ах! И глаза опухли... Ах!

Эмилия захохотала.

— Ну, будет,— проворчал Кузьма Васильевич и встал с дивана.— Будет зубы-то без толку скалить. Коли ничего умнее придумать не можешь, я ведь уйду... Я уйду,— повторил он, видя, что она не унимается.

Эмилия умолкла.

— Ну, полно, оставайся; я не стану... Только волосы поправить надо...

— Нет, что ж... Оставь! Я лучше уйду,— сказал Кузьма Васильевич и взялся за фуражку.

Эмилия надулась.

— Фуй, какой злой! Настоящий русский! Все русские злые! Вот он уходит. Фуй! Вчера мне пять рублей обещал, а сегодня ничего не дает и уходит.

— У меня с собой денег нет,— буркнул Кузьма Васильевич уже в дверях.— Прощай!

Эмилия посмотрела ему вслед и погрозилась пальцем.

— Денег нет! Слышите, слышите, что говорит! Ох, какие обманщики эти русские! Но погодите, мопс вы этакой... Тантушка, пожалуйте-ка сюда, я вам что скажу.

Вечером того же дня Кузьма Васильевич, ложась спать и раздеваясь, заметил, что в верхнем крае его кожаного пояса вершка на полтора распоролся шов. Как человек аккуратный, он тотчас достал иголку и

---

[1] Правильно: mein süßes Fräulein — милая барышня! *Буквально:* сахарная барышня! (*нем.*).

[2] Ах, господи Иисусе (*нем.*).

нитку, навощил ее и сам зашил прореху, а впрочем, не обратил никакого внимания на это, по-видимому, ничтожное обстоятельство.

XIII

Весь следующий день Кузьма Васильевич посвятил служебным обязанностям; он не выходил из дому даже после обеда — и вплоть до ночи, в поте лица, строчил и переписывал набело рапорт к начальству, немилосердно путая буквы *ѣ* и *е*, всякий раз ставя после «но» восклицательный знак, а после «впрочем» — точку с запятой. На другое утро босоногий жиденок, в изорванном халате, принес ему письмо от Эмилии — первое письмо, полученное от нее Кузьмой Васильевичем: «Mein allerliebster Florestan [1],— писала она ему,— неушта ты так рассердился на твою Zuckerpüppchen, што не пришел вчирась? Пожалуста, не сердись, если ты не хочешь, штоп твоя веселая Эмилия очень много плакала, и приходи непременно сиводни в 5 часов вечера». (Цифра 5 была окружена двумя венками.) «Я очень, очень буду рада. Твоя любезная Эмилия». Кузьма Васильевич внутренно подивился учености своей любезной, дал жиденку грош и велел сказать, что хорошо, мол, приду.

XIV

Кузьма Васильевич сдержал слово: пяти часов еще не пробило, как уж он стоял перед калиткой госпожи Фритче. Но, к удивлению своему, он не застал Эмилии дома; его встретила сама хозяйка и, сделав предварительно — о, чудо! — книксен, сообщила ему, что по непредвиденным обстоятельствам Эмилия принуждена была отлучиться, но что она скоро вернется и просит его подождать ее. На госпоже Фритче был опрятный белый чепец; она улыбалась, говорила вкрадчивым голосом и, очевидно, старалась придать приветливое выражение своему угрюмому лицу, которое, впрочем, нисколько от этого не выигрывало, а, напротив, принимало какой-то зловещий оттенок.

— Вы, господин, присядьте, присядьте,— твердила она, подвигая кресло,— а мы вас, если позволите, попотчуем!

---

[1] Любезнейший Флорестан (*нем.*).

Мадам Фритче еще раз сделала книксен, вышла из комнаты и скоро вернулась с чашкой шоколада на маленьком железном подносе. Шоколад оказался качества сомнительного, однако Кузьма Васильевич выпил всю чашку с удовольствием, хотя решительно не мог понять, откуда бралась такая прыть у мадам Фритче и что всё это значило? Со всем тем Эмилия не приходила, и он начинал терять терпение и скучать, как вдруг ему послышались за стеной звуки гитары. Сперва раздался один аккорд, потом другой, третий, четвертый — всё громче, громче и полней. Кузьма Васильевич изумился: у Эмилии точно была гитара, но с тремя струнами; он всё еще не собрался купить ей остальные; притом же Эмилии дома не было. Кто ж это мог быть? Опять раздался аккорд, и так звонко, словно в самой комнате... Кузьма Васильевич обернулся и чуть не вскрикнул от испуга. Перед ним, на пороге низенькой двери, которой он до тех пор не заметил,— тяжелый шкаф ее задвигал,— стояло неизвестное существо: дитя не дитя, и не взрослая девушка. Одета она была в белое платьице с пестрыми разводами и красные башмаки с каблучками; прихваченные сверху золотым ободком, густые черные волосы падали в виде плаща с небольшой головки на худенькое тело. Из-под мягкой их громады блестели темным блеском огромные глаза; голые смуглые ручки, обремененные запястьями и кольцами, неподвижно держали гитару. Лица почти не было видно: так оно казалось мало и темно, только губы алели да обозначался узкий прямой нос. Кузьма Васильевич долго стоял как вкопанный и пристально, не смигнув ни разу, глядел на это странное существо; и оно на него глядело и тоже не мигало и не шевелилось. Наконец он очнулся и маленькими шажками подошел к нему.

Темное личико начало понемногу улыбаться, белые зубки сверкнули вдруг, головка приподнялась и, чуть-чуть встряхнув кудрями, показалась во всей своей резкой и тонкой красоте. «Это что за бесенок?» — подумал Кузьма Васильевич и, нагнувшись еще поближе, промолвил вполголоса:

— Фигурка! Эй, фигурка! Кто вы такая?

— Сюда, сюда,— промолвила немного сиплым голоском, нерусским, медлительным говором и с неверными ударениями «фигурка» и подалась назад шага на два.

Кузьма Васильевич вслед за ней переступил порог и очутился в крохотной комнатке без окон, обитой по стенам и по полу толстыми коврами из верблюжьей шерсти. Сильный запах мускуса так и обдал его. Две желтые восковые свечи горели на круглом столике перед низким турецким диванчиком. В углу стояла кроватка под кисейным пологом с шелковыми полосками, и длинные янтарные четки, с красною кистью на конце, висели близ изголовья.

— Да позвольте наконец, кто вы такая? — повторил Кузьма Васильевич.

— Се́стра... се́стра Эмилии.

— Вы ее сестра? И здесь живете?

— Да... да...

Кузьма Васильевич захотел прикоснуться к «фигурке». Она отшатнулась.

— Как же это она никогда мне о вас не говорила?

— А не́льзя... не́льзя...

— Вы, стало быть, скрываетесь... прячетесь?

— Да...

— Есть такая причина?

— Есте... есте.

— Гм! — Кузьма Васильевич опять захотел прикоснуться к «фигурке», она опять отшатнулась.— То-то я вас никогда не заметил. Я, признаюсь, и существования вашего не подозревал. И мадам Фритче, старуха эта, вам тоже доводится теткой?

— Да... то́тка.

— Гм! Вы как будто по-русски плохо понимаете. Как вас зовут, позвольте узнать?

— Ко́либри.

— Как?

— Ко́либри.

— Ко́либри? Вот необыкновенное имя! Это, помнится, в Африке бывают такие насекомые?

XV

Колибри засмеялась коротким странным смехом... точно у ней в горле стеклышки столкнулись. Она покачала головой, повела кругом глазами, положила гитару на стол и, проворно подойдя к двери, разом ее притворила. Она двигалась живо и ловко, с едва слышным быст-

рым шумом, как ящерица; сзади ее волосы спускались ниже колен.

— А зачем вы дверь-то заперли? — спросил Кузьма Васильевич. Колибри приложила палец к губам:

— Эмилия... Не надо... ее не надо.

Кузьма Васильевич ухмыльнулся.

— Уж не ревнуете ли вы?

Колибри приподняла брови.

— Цо?

— Ревнуете... сердитесь,— объяснил Кузьма Васильевич.

— О да!

— Вот как! Много чести!.. Послушайте, сколько вам лет?

— Семинадцать.

— Семнадцать, вы хотите сказать?

— Да.

Кузьма Васильевич окинул внимательным взором свою фантастическую собеседницу.

— Какая же вы красоточка,— проговорил он внушительно.— Чудо, просто чудо! Что за волосы! Глаза! А брови-то, брови!.. У!

Колибри опять засмеялась и опять повела своими великолепными глазами.

— Да, я красавица! Садитесь, и я сяду... подле.

— Извольте, извольте... Но, воля ваша, какая же вы сестра Эмилии? Вы на нее нисколько не похожи.

— Нет... я се́стра... куджи́на. Вот... возьмите... свето́к. Хороший свето́к. Пахнет.— Она вынула из-за пояса ветку белой сирени, понюхала, откусила лепесток и подала ему всю ветку.— Хотите варенья? Хорошее... из Константинополи́... шербет.— Колибри достала из небольшого комода обернутую в кусок алой шелковой материи, со стальными блестками, раззолоченную баночку, серебряную ложечку, хрустальный граненый графинчик с водой и такой же стаканчик.— Кушайте шербет, господин; он очень прекрасный. Я вам буду петь... Хотите? — Она схватила гитару.

— А вы поете? — спросил Кузьма Васильевич, кладя себе в рот ложку действительно превосходного шербету.

— О да! — Она откинула назад свою косу, наклонила голову набок и взяла несколько аккордов, старательно глядя на концы своих пальцев и на ручку гитары... потом вдруг запела не по росту сильным и приятным,

но гортанным и для уха Кузьмы Васильевича несколько диким голосом. «Ах ты, моя кошечка!» — подумал он. Пела она песню заунывную, нисколько не русскую и на языке, совершенно Кузьме Васильевичу не знакомом. По его уверению, звуки: «кха, гха» — то и дело слышались в пении, а под конец она протяжно повторила: «синтамар» или «синцимар», что-то в этом вкусе, подперлась рукой, вздохнула и опустила гитару на колени.— Хорошо? — спросила она.— Еще хотите?

— С моим удовольствием,— отвечал Кузьма Васильевич.— Только зачем это у вас такое лицо, словно всё печальное? Вы бы шербету откушали.

— Нет... вы сами. А я еще... Эта будет весе́лей.— Она спела другую песенку, вроде плясовой, на том же непонятном языке. Опять послышались Кузьме Васильевичу прежние гортанные звуки. Ее смуглые пальчики так и бегали по струнам, «как паучки». И кончила она этот раз тем, что бойко крикнула: «Ганда!» или «Гасса!» — и застучала кулачком по столу, сверкая глазами...

XVI

Кузьма Васильевич сидел как отуманенный. Голова у него кружилась. Так это всё было неожиданно... Да и запах этот, пение... свечи днем... шербет с ванилью... А тут Колибри всё ближе к нему подвигается, волосы ее блестят и шуршат, и пышет от нее жаром, и это печальное лицо... «Русалка!» — подумал Кузьма Васильевич. Неловко ему что-то становилось.

— Душечка моя,— промолвил он,— признайтесь, что́ вам вздумалось меня сегодня к себе позвать?

— Вы моло́дой, хорошёнький... Я та́ких люблю.

— А, вот что! Но что скажет Эмилия? Она мне письмо написала: она должна сейчас прийти.

— Вы не говорите ей... ничего! Беда! Убьет!

Кузьма Васильевич засмеялся.

— Будто она такая злая?

Колибри несколько раз с важностью качнула головой.

— И мадам Фритче тоже ничего. Ни! ни! ни! — Она тихонько постучала себе по лбу.— Понимаешь, офицер?

Кузьма Васильевич нахмурил брови.

— Тайна, значит?

— Да... да.

— Ну, пожалуй... словечка не пророню. Только за это ты поцеловать меня должна.

— Нет, после... когда уйдешь.

— Вот еще что выдумала! — Кузьма Васильевич нагнулся было к ней, но она медленно отклонилась и выпрямилась, как уж, на которого набрели в лесной траве. Кузьма Васильевич уставился на нее.— Вишь ты,— промолвил он наконец,— злюка какая! Ну, господь с тобою!

Колибри задумалась и обернулась к лейтенанту... Вдруг три мерных глухих удара раздались где-то в доме. Колибри усмехнулась, почти фыркнула.

— Сегодня — нет, завтра — да. Завтра приходи.

— В котором часу?

— В семь... вечером.

— А как быть с Эмилией?

— Эмилия... нет; не будет.

— Ты думаешь? Ну, хорошо. А только ты завтра скажешь мне...

— Цо? (лицо Колибри всякий раз, когда она что спрашивала, принимало детское выражение).

— Зачем ты от меня так долго пряталась?

— Да... да; завтра всё будет; конец будет.

— Смотри же, а я тебе подарочек принесу...

— Нет... не надо.

— Отчего же? Ты вот, я вижу, наряжаться любишь.

— Не надо. Это... это... это...— и она указала пальцем на свое платье, на свои кольца, запястья, на всё, что ее окружало,— это всё мое. Не подарок. Я не бéру.

— Как знаешь! А теперь уйти надо?

— О да!

Кузьма Васильевич приподнялся. Колибри тоже встала.

— Прощай, игрушечка! А когда ж поцелуй-то?

Колибри вдруг легко подпрыгнула и, проворно вскинув обе руки вокруг шеи молодого лейтенанта, не поцеловала, а словно клюнула его в губы. Он хотел поцеловать ее в свою очередь, но она мгновенно отскочила прочь и стала за диванчик.

— Так завтра в семь часов? — промолвил он не без смущения.

Она кивнула ему головой и, взяв за конец двумя пальцами длинную прядь собственных волос, прикусила ее своими острыми зубками.

Кузьма Васильевич сделал ей ручкой, вышел и потянул за собою дверь. Он слышал, как Колибри тотчас к ней подбежала... Ключ звонко щелкнул в замке.

XVII

В гостиной госпожи Фритче никого не было. Кузьма Васильевич немедленно отправился в переднюю. Ему не хотелось столкнуться с Эмилией. Хозяйка встретила его на крыльце.

— А! Вы уходите, господин лейтенант...— промолвила она с тою же приторною и зловещею ужимкой.— Эмилии ждать не будете?

Кузьма Васильевич надел фуражку.

— Мне, доложу вам, сударыня, некогда больше ждать. Я и завтра, может быть, не приду. Так вы ей и скажите.

— Хорошо, скажу. Но ведь вы не соскучились, господин лейтенант?

— Нет-с; я не соскучился.

— То-то же. Прощения просим-с.

— Прощайте-с.

Кузьма Васильевич пришел домой и, растянувшись на постели, погрузился в размышления. Он недоумевал несказанно. «Что за притча во языцех!» — воскликнул он не однажды. И зачем Эмилия ему писала? Назначила свидание и не пришла?.. Он достал ее записку, повертел ее в руках, понюхал — пахло от нее табаком, и в одном месте он заметил поправку: стояло «плакала», а сперва было написано «плакал». Но что же можно извлечь из этого? И возможно ли, чтобы хозяйка ничего не знала? И *она*... Кто она? Да, кто она? Очаровательная Колибри, эта «игрушечка», эта «фигурка» не выходила у него из головы, и он с нетерпением дожидался завтрашнего вечера, хотя втайне чуть не побаивался самой этой «игрушечки» и «фигурки».

XVIII

На следующий день Кузьма Васильевич отправился перед обедом в ряды и, настойчиво поторговавшись, купил крошечный золотой крестик на бархатной ленточке. «Хотя она и уверяет,— так размышлял он,— что ей никакого подарка не требуется, но нам хорошо из-

вестно, что́ подобные слова обозначают; а наконец, если точно нрав у нее такой бескорыстный — Эмилия не побрезгает». Так размышлял николаевский Дон-Жуан, вероятно, даже не подозревавший в то время, чем был и чем остался в памяти людской настоящий Дон-Жуан. В шестом часу вечера Кузьма Васильевич выбрился тщательно и, послав за знакомым цирюльником, велел хорошенько напомадить и завить себе хохол, что тот и исполнил с особенным рвением, не жалея казенной бумаги на папильотки; потом Кузьма Васильевич надел новый, с иголочки, мундир, взял в правую руку пару новых замшевых перчаток и, побрызгав на себя лоделаваном, вышел из дому. Кузьма Васильевич в этот раз гораздо больше хлопотал о своей наружности, чем когда шел на свидание с «Zuckerpüppchen», не потому, что Колибри ему больше нравилась, чем Эмилия, но в «игрушечке» было нечто загадочное, нечто такое, что невольно возбуждало даже то ленивое воображение, каким обладал молодой лейтенант.

XIX

Мадам Фритче встретила его по-вчерашнему и, как бы стакнувшись с ним в условной лжи, снова объявила ему, что Эмилия отлучилась на короткое время и просит ее подождать. Кузьма Васильевич наклонил голову в знак согласия и присел на стул. Мадам Фритче опять улыбнулась, то есть показала свои желтые клыки, и удалилась, не предложив ему шоколаду.

Кузьма Васильевич тотчас вперил взоры в таинственную дверь. Она оставалась закрытою. Он громко кашлянул раза два, как бы давая знать о своем присутствии... Дверь не шелохнулась. Он затаил дыханье, приник ухом... Хоть бы малейший шум или шорох ему послышался; точно всё вымерло кругом... Кузьма Васильевич встал, на цыпочках приблизился к двери — и, напрасно пошарив пальцами, нажал на нее коленом... Не тут-то было. Тогда он нагнулся и раза два произнес усиленным шёпотом: «Ко́либри, Ко́либри... Игрушечка!» Никто не отозвался. Кузьма Васильевич выпрямился, одернул мундир — и, постояв немного на месте, уже более твердыми шагами подошел к окну и забарабанил по стеклам. Он начинал чувствовать досаду, негодование; офицерский гонор заговорил в нем: «Что за вздор! — подумал он

наконец,— за кого меня принимают? Коли так, ведь я кулаками застучу. Принуждена она будет откликнуться! Старуха услышит... Ну что ж? Не я виноват!» Он быстро повернулся на каблуках... Дверь стояла раскрытою наполовину.

XX

Кузьма Васильевич немедленно и снова на цыпочках устремился в потаенную комнатку. На диване, в белом платье с широким красным поясом, лежала Колибри и, закрыв нижнюю часть лица платком, смеялась без шума, но от души. Волосы свои она убрала на этот раз, заплела их в две тугие длинные косы и перевила красными лентами; вчерашние башмачки красовались на ее крошечных, крест-накрест положенных ножках; но самые эти ножки были голы: глядя на них, можно было подумать, что она надела темные шелковые чулки. Диван стоял иначе, чем накануне: ближе к стене; а на столе, на китайском подносе, виднелся толстобрюхий пестрый кофейник, рядом с граненою сахарницей и двумя голубенькими фарфоровыми чашечками. Тут же лежала гитара, и сизый дымок бежал тонкою струйкой с верхушки крупной курительной свечки.

Кузьма Васильевич подошел к дивану и наклонился к Колибри, но, прежде чем он успел промолвить слово, она протянула руку и, не переставая смеяться в платок, запустила свои небольшие жесткие пальцы в его волосы и мгновенно растрепала его благоустроенный кок.

— Это что еще? — воскликнул Кузьма Васильевич, не вполне довольный подобною нецеремонностью в обращении.— Ах ты, шалунья!

Колибри приняла платок от лица.

— Нехорошо так; этак лучше.— Она отодвинулась к одному концу дивана и подобрала ноги.— Садитесь... там.

Кузьма Васильевич сел, куда она ему указывала.

— Зачем же ты удаляешься? — промолвил он после небольшого молчанья.— Или ты меня боишься?

Колибри свернулась в клубочек и посмотрела на него сбоку.

— Я не боюсь... Нет.

— Ты не должна меня дичиться,— продолжал наставительным тоном Кузьма Васильевич.— Ты ведь помнишь свое вчерашнее обещание поцеловать меня?

Колибри обхватила свои колени обеими руками, положила на них голову и опять посмотрела на него.

— Помню.

— То-то же. И ты должна сдержать свое слово.

— Да... должна.

— В таком случае...— начал Кузьма Васильевич и пододвинулся было к ней.

Колибри высвободила свои косы, которые она захватила вместе с коленями, и одною из них ударила его по руке.

— Потише, господин!

Кузьма Васильевич сконфузился.

— Какие у нее глаза, у разбойницы,— пробормотал он как бы про себя.— Однако,— прибавил он, возвысив голос,— зачем же ты звала меня... в таком случае?

Колибри вытянула шею, как птица... Она прислушивалась. Кузьма Васильевич перетревожился.

— Эмилия? — произнес он вопросительно.

— Нет.

— Кто-нибудь другой?

Колибри пожала плечом.

— Да ты что-нибудь слышишь?

— Ничего.— Колибри отвела назад, и тоже птичьим движением, свою небольшую яйцевидную головку, с красивым пробором и короткими вихрами курчавых завитушек на затылке, там, где начинались косы, и опять в клубочек свернулась.— Ничего.

— Ничего! Так я теперь...— Кузьма Васильевич потянулся к Колибри, но тотчас же отдернул руку. На пальце у него показалась капля крови.— Что за глупости такие! — воскликнул он, встряхивая пальцем.— Вечные эти ваши булавки! Да и какая это к чёрту булавка,— прибавил он, взглянув на длинную золотую шпильку, которую Колибри медленно втыкала себе в пояс.— Это целый кинжал, это жало... Да, да, это твое жало, и ты оса, вот ты кто, оса, понимаешь?

Колибри, по-видимому, очень понравилось сравненье Кузьмы Васильевича: она залилась тонким хохотом и несколько раз сряду повторила:

— Да, я ужалю... я ужалю.

Кузьма Васильевич глядел на нее и думал: «Ведь вот смеется, а лицо всё печальное...»

— Посмотри-ка, что я тебе покажу,— промолвил он громко.

— Цо?
— Зачем ты говоришь: цо? Разве ты полька?
— Ни.
— Теперь вот: «ни!» Ну, да всё равно! — Кузьма Васильевич достал свой подарочек и повертел им на воздухе.— Глянь-ка сюда... Хороша штучка?
Колибри равнодушно вскинула глазами.
— А! Крест! Мы не носимо.
— Как? Креста не носите? Да ты жидовка, что ли?
— Не носимо,— повторила Колибри и, вдруг встрепенувшись, глянула назад через плечо.— Хотите, я петь буду?..— торопливо спросила она.
Кузьма Васильевич сунул крестик в карман мундира и оглянулся тоже. Ему почудился легкий треск за стеной...
— Что такое? — пробормотал он.
— Мышь... мышь,— поспешно проговорила Колибри и вдруг, совершенно неожиданно для Кузьмы Васильевича, обняла его голову своими гибкими гладкими руками, и быстрый поцелуй обжег его щеку... точно уголек к ней приложился.
Он стиснул Колибри в своих объятиях, но она выскользнула, как змея,— ее стан был немного толще змеиного туловища — и вскочила на ноги.
— Постой,— шепнула она,— прежде надо кофе пить...
— Полно! Что за кофе! После.
— Нет, теперь. Теперь горячий, после холодный.— Она ухватила кофейник за ручку и, высоко приподняв его, стала лить в обе чашки. Кофе падал тонкою, как бы перекрученною струей; Колибри положила голову на плечо и смотрела, как он лился.— Вот, клади сахару... пей... и я буду!
Кузьма Васильевич бросил в чашку кусок сахару и выпил ее разом. Кофе ему показался очень крепким и горьким. Колибри глядела на него, улыбаясь и чуть-чуть расширяя ноздри над краем своей чашки. Она тихонько опустила ее на стол.
— Что же ты не пьешь? — спросил Кузьма Васильевич.
— Я... понемножку...— отвечала она.
Кузьма Васильевич пришел в азарт.
— Да сядь же, наконец, возле меня!
— Сейчас.— Она нагнула голову и, всё не спуская глаз с Кузьмы Васильевича, взялась за гитару.— Только прежде я петь буду.

— Да, да, только сядь.

— И танцевать буду. Хочешь?

— Ты танцуешь? Ну, это бы я посмотрел. Но нельзя ли после?

— Нет, теперь... А я тебя очень люблю.

— Ты меня любишь! Смотри же... а впрочем, танцуй, чудачка ты этакая!

XXI

Колибри стала по ту сторону стола и, пробежав несколько раз пальцами по струнам гитары, затянула, к удивлению Кузьмы Васильевича, который ожидал веселого, живого напева,— затянула какой-то медлительный, однообразный речитатив, сопровождая каждый отдельный, как бы с усилием выталкиваемый звук мерным раскачиванием всего тела направо и налево. Она не улыбалась и даже брови свои сдвинула, свои высокие, круглые, тонкие брови, между которыми резко выступал синий знак, похожий на восточную букву, вероятно, вытравленный порохом. Глаза она почти закрыла, но зрачки ее тускло светились из-под нависших ресниц, по-прежнему упорно вперяясь в Кузьму Васильевича. И он также не мог отвести взора от этих чудных, грозных глаз, от этого смуглого постепенно разгоравшегося лица, от полураскрытых и неподвижных губ, от двух черных змей, мерно колебавшихся по обеим сторонам стройной головы. Колибри продолжала раскачиваться, не сходя с места, и только ноги ее пришли в движение: она слегка их передвигала, приподнимая то носок, то каблук. Раз она вдруг быстро перевернулась и пронзительно вскрикнула, высоко встряхнув в воздухе гитарой... Потом опять началась прежняя однообразная пляска, сопровождаемая тем же однообразным пением. Кузьма Васильевич сидел между тем преспокойно на диване и продолжал глядеть на Колибри. Он ощущал в себе нечто странное, необычайное: ему было очень легко и свободно, даже слишком легко; он как будто тела своего не чувствовал, как будто плавал, и в то же время мурашки по нем ползали, какое-то приятное бессилие распространялось по ногам, и дремота щекотала ему веки и губы. Он уже ничего не желал, не думал ни о чем, а только ему было очень хорошо, словно кто его баюкал, «байбайкал», как выразилась Эмилия, и шептал он про себя: «Игрушечка!» По временам лицо

«игрушечки» заволакивалось... «Отчего бы это?» — спрашивал себя Кузьма Васильевич. «От курева,— успокоивал он себя...— Такой есть тут синий дымок». И опять его кто-то баюкал и даже рассказывал ему на ухо что-то такое хорошее... Только почему-то всё не договаривал. Но вот вдруг на лице «игрушечки» глаза открылись огромные, величины небывалой, настоящие мостовые арки... Гитара покатилась и, ударившись о пол, прозвенела где-то за тридевятью землями... Какой-то очень близкий и короткий приятель Кузьмы Васильевича нежно и плотно обнял его сзади и галстук ему поправил. Кузьма Васильевич увидал перед самым лицом своим крючковатый нос, густые усы и пронзительные глаза незнакомца с обшлагом о трех пуговках... и хотя глаза находились на месте усов, и усы на месте глаз, и самый нос являлся опрокинутым, однако Кузьма Васильевич не удивился нисколько, а, напротив, нашел, что так оно и следовало; он собрался даже сказать этому носу: «Здорово, брат Григорий», но отменил свое намерение и предпочел... предпочел немедленно отправиться с Колибри в Царьград для предстоящего бракосочетания, так как она была турчанка, а государь его пожаловал в действительные турки.

XXII

Кстати ж перед ним очутилась лодочка; он занес в нее ногу, и хотя по неловкости споткнулся и ушибся довольно сильно, так что некоторое время не знал, где что находится, однако справился и, сев на лавочку, поплыл по той самой большой реке, которая в виде Реки Времен протекает на карте на стене Николаевской гимназии, в Царьград. С великим удовольствием плыл он по той реке и наблюдал за множеством красных гагар, беспрестанно ему попадавшихся; они, однако, не подпускали его и, ныряя, превращались в круглые розовые пятна. И Колибри с ним ехала; но, желая предохранить себя от зноя, поместилась под лодкой и изредка стучала в дно... Вот наконец и Царьград. Домá, как следует быть домам, в виде тирольских шляп; и у турок всё такие крупные, степенные лица; только не годится долго на них глядеть: они начинают корчиться, рожи строить, а после и совсем распадаются, как талый снег. Вот и дворец, в котором он будет жить с Колибри... И так всё в нем отлично устроено! Стены с генеральским шитьем, везде

эполеты, по углам люди трубят, и на лодке можно въехать в гостиную. Ну, разумеется, портрет Магомета... Только Колибри бежит всё вперед по комнатам, и косы ее волочатся за нею по полу, и никак она не хочет обернуться, и всё меньше она становится, всё меньше... Уже это не Колибри, а мальчик в курточке, и он его гувернер, и он должен влезать вслед за этим мальчиком в подзорную трубку, и труба та всё уже, уже, вот уж и двинуться нельзя... ни вперед, ни назад, и дышать невозможно, и что-то обрушилось на спину... и земля в рот...

XXIII

Кузьма Васильевич открыл глаза. Светло кругом, тихо... пахнет уксусом, мятой. Над ним и по бокам что-то белое; он вглядывается: полог постельный. Он хочет голову приподнять... нельзя; руку... нельзя тоже. Что такое значит? Он опускает глаза... Какое-то длинное тело протянуто перед ним, и на том теле шерстяное одеяло, желтое с коричневою каймой. Тело оказывается его, Кузьмы Васильевича. Он пытается крикнуть... ничего не выходит. Он пытается опять, напрягает все свои силы... дряхлый стон раздается и дрожит под его носом. Слышатся тяжелые шаги, жилистая рука раздвигает полог. Седой инвалид в военной заплатанной шинели стоит перед ним и глядит на него... И он глядит на инвалида. Большая оловянная кружка придвигается к губам Кузьмы Васильевича. Кузьма Васильевич жадно пьет холодную воду. Язык его развязывается.

«Где я? — Инвалид еще раз взглядывает на него, уходит и возвращается с другим человеком, в темном мундире.— Где я?» — повторяет Кузьма Васильевич.— «Ну, теперь будет жив,— говорит человек в мундире.— Вы в госпитале,— прибавляет он громко,— но извольте почивать. Вам вредно разговаривать». Кузьма Васильевич готов удивиться, но снова впадает в забытье...

На другое утро явился доктор. Кузьма Васильевич пришел в себя. Доктор поздравил его с выздоровлением и велел перевязать ему голову.

— Как? голову? Да разве у меня...

— Вы не должны говорить, не должны беспокоиться,— перебил его доктор.— А теперь лежите смирно и благодарите всевышнего создателя. Где компрессы, Поплевкин?

— Да где же деньги... казенные...

— Ну, опять стал бредить... Побольше льду, Поплевкин!

XXIV

Прошла еще неделя. Кузьма Васильевич настолько оправился, что доктора нашли возможным сообщить ему случившееся с ним происшествие. Вот что он узнал.

Шестнадцатого июня, в семь часов вечера, посетил он в последний раз дом госпожи Фритче, а семнадцатого июня, к обеду, то есть почти через сутки, пастух нашел его в овраге возле большой Херсонской дороги, в двух верстах от Николаева, бесчувственного, с разрубленною головой, с багровыми пятнами на шее. Мундир и жилетка на нем были расстегнуты, все карманы выворочены, фуражки и кортика не оказалось, кожаного пояса с деньгами тоже. По измятой траве, по широкому следу в песке и глине можно было заключить, что несчастного лейтенанта волоком волокли на дно оврага и только там нанесли ему удар в голову, не топором, а саблей, вероятно, его же кортиком: вдоль всего следа от самой дороги не замечалось ни капли крови, а вокруг головы стояла целая лужа. Не оставалось сомнения в том, что убийцы его сперва опоили, потом пытались придушить и, отвезя ночью за город, стащили в овраг и там окончательно прихлопнули. Кузьма Васильевич не умер благодаря лишь своему поистине железному сложению. Пришел он в себя двадцать второго июля, то есть целых пять недель спустя.

XXV

Кузьма Васильевич немедленно довел до сведения начальства постигшее его несчастье, изложил все обстоятельства дела изустно и на бумаге, сообщил адрес мадам Фритче. Полиция бросилась в указанный дом, но никого в нем не нашла: птички уже вылетели из гнезда. Схватились за хозяина дома; но от этого хозяина, престарелого и глухого мещанина, большого толку не добились. Сам он проживал в другом квартале и знал одно: четыре месяца тому назад отдал он свой дом внаймы одной еврейке с паспортом, по имени Шмуль или Шмульке, которую он тогда же и прописал в части. «Приезжала к ней

другая жинка,— так показывал он,— тоже с пачпортом,— но каким рукомеслом они обе занимались, и то ему неизвестно; и были ли у них другие постояльцы, тоже не слыхал и не знает; а какой паренек у него в том доме жил дворником или караульщиком, и тот сошел не то в Одесть, не то в Питер; а новый дворник поступил недавно, с первого числа июля». Навели справки в полиции и по околотку; оказалось, что Шмульке, вместе с товаркой, настоящее имя которой было Фридерика Бенгель, выехала из Николаева около двадцатого июня, а куда — неизвестно. Таинственного человека с цыганским лицом и тремя пуговками на обшлаге, а равно и черномазой девки-иностранки с огромною косой никто и не видывал. Кузьма Васильевич, как только выписался из госпиталя, сам посетил роковой для него дом. В маленькой комнатке, где он беседовал с Колибри и где всё еще пахло мускусом, находилась другая, тоже скрытая дверь; к ней-то, во второе его посещение, был придвинут диван, и через нее вошел, вероятно, убийца и обхватил его сзади. Кузьма Васильевич подал жалобу по форме; началось дело. Несколько занумерованных отношений и предписаний полетело в разные стороны; поступили в свое время надлежащие отписки и справки... но тем всё и кончилось. Подозрительные личности так и канули в воду — а вместе с ними исчезли и похищенные казенные деньги, тысяча девятьсот семнадцать рублей с копейками, ассигнациями и золотом. Сумма немаловажная в ту эпоху! Целых десять лет потом их выплачивал Кузьма Васильевич, пока не попал под всемилостивейший манифест.

XXVI

Сам он на первых порах был твердо убежден в том, что виной всей беды, начальницей заговора, была Эмилия, его коварная «Zuckerpüppchen». Он вспомнил, как в самый день последнего свидания с нею он неосторожно задремал на диване, как, проснувшись, увидел ее возле себя на коленках, и как она смешалась, и как, наконец, он в тот же вечер открыл прореху в своем поясе, прореху, очевидно, проделанную ее ножницами. «Она увидела,— думал Кузьма Васильевич,— она сказала старой чертовке и тем двум диаволам, она залучила меня, написав ко мне письмо... меня и обработали. Но кто бы мог это от нее ожидать!» Он представлял себе хорошенькое, доб-

ренькое лицо Эмилии, ее светлые глазки... «Женщины, женщины! — твердил он, скрежеща зубами, — крокодилово исчадие!» Но, переехав окончательно из госпиталя к себе домой, он узнал одно обстоятельство, которое привело его в недоумение, поставило его в тупик. В самый тот день, когда его, полумертвого, привезли в город, девушка, по всем приметам, как две капли воды похожая на Эмилию, прибежала, вся в слезах, с растрепанными волосами, к нему на квартиру и, осведомившись о нем у денщика, бросилась, как сумасшедшая, в госпиталь. В госпитале ей сказали, что Кузьма Васильевич непременно должен умереть, и она тотчас скрылась, ломая руки, с выражением отчаяния на лице. Явно было, что она не предвидела, не ожидала убийства. Или, может быть, ее самое обманули — не выдали ей обещанной части? Раскаяние ею вдруг овладело? Но, однако ж, она потом выехала из Николаева вместе с тою отвратительною старухой, которая, наверное, всё знала... Кузьма Васильевич терялся в догадках и порядком-таки наскучил своему денщику, беспрестанно заставляя его сызнова описывать наружность прибежавшей девушки и повторять ее слова.

XXVII

Целые полтора года спустя Кузьма Васильевич получил от Эмилии — alias [1] Фридерики Бенгель — письмо на немецком языке, которое он немедленно велел себе перевести и впоследствии неоднократно нам показывал. Оно было испещрено орфографическими ошибками и восклицательными знаками; на куверте стоял штемпель: «Бреславль». Вот по возможности верный перевод этого письма:

«Мой дорогой, незабвенный и несравненный Флорестан! Господин лейтенант Ергенгоф!

Сколько раз я порывалась к вам писать! И всегда, к сожалению, откладывала, хотя мысль, что вы меня можете считать участницей в том ужасном злодеянии, была всегда для меня самая убийственная мысль! О, мой милый господин лейтенант! Поверьте мне, день, когда я узнала, что вы остались живы и здоровы, был самый счастливый день в моей жизни! Но я не намерена вполне

[1] иначе (*лат.*).

себя оправдывать! Я не буду лгать! Я, точно, первая открыла вашу привычку носить деньги на вашем желудке! (Впрочем, в наших краях все мясники и торговцы мясом так поступают!) И имела неосторожность немножко сказать об этом! Я даже в шутку тогда сказала, что вот было бы хорошо взять у вас немножко этих денег! Но старая злодейка (господин Флорестан! она *не была* моею теткой) вступила в заговор с этим безбожным извергом Луиджи и его сообщницей! Клянусь вам гробом моей матери, я до сих пор не знаю, кто были эти люди! Знаю только, что имя его было Луиджи и что они оба приехали из Бухарешта, и были, наверное, большие преступники, и прятались от полиции, и имели деньги и драгоценные вещи! Луиджи был ужасный субъект (ein schröckliches Subject), убить себе подобного (einen Mitmenschen) для него ничего не значило! Он говорил на всех языках — и это *он* тогда возвратил вещи от нашей кухарки! Не спрашивайте, как! Он всё, всё мог сделать, он был ужасный человек! Он уверял старуху, что только опоит вас немного и потом вывезет и бросит, и будет говорить, что ничего не знает и что вы сами виноваты — где-нибудь много вкусили вина! Но злодей уже тогда имел в уме, что лучше вас совсем убить, дабы ни один петух о том не прокричал! Письмо от моего имени он к вам написал, а меня старуха удалила лукавством! Я ничего не подозревала, и я ужасно боялась Луиджи! Он говорил мне: «Я зарежу, зарежу тебя, как цыпленка!» И так при этом страшно шевелил усами! Притом меня увезли в одну компанию... Мне очень стыдно, господин лейтенант! И я даже теперь плачу горькими слезами при этих мыслях!.. Мне кажется... ах! я не была рождена для таких занятий... Но этому помочь нельзя и вот как всё случилось. Потом я ужасно испугалась и поневоле уехала, потому что если бы полиция нас открыла — что бы было со мной тогда? Проклятый Луиджи тотчас бежал, как только узнал, что вы остались живы. Но я вскорости с ними со всеми рассталась, и хотя я теперь без куска хлеба часто сижу, однако душа моя покойна! Вы меня, может быть, спросите, зачем я приезжала в Николаев? Но я не могу ничего отвечать! Я клялась! Кончаю просьбой очень, очень для меня важною: пожалуйста, когда вы будете вспоминать о вашей маленькой приятельнице Эмилии, не думайте о ней, как о черной преступнице! Вечный бог видит мое сердце. Я имею дурную нравственность (Ich habe eine schlechte Moralität)

и я ветрена, но я не злодейка. И я всегда буду вас любить и помнить, мой несравненный Флорестан, и всегда буду вам желать всего хорошего на земном шаре (auf diesem Erdenrund)! Не знаю, дойдет ли до вас мое письмо, но если дойдет, то напишите мне несколько строк, чтобы я видела, что вы получили мое письмо! Этим вы очень осчастливите вашу вам неизменно преданную Эмилию.

P. S. Пишите под буквами F. E. poste restante [1], в Бреславль, в Силезию.

P. S. S. Я писала вам по-немецки; я иначе не могла выразить свои чувства; но вы мне пишите по-русски».

XXVIII

— Ну, и что же? Отвечали вы ей? — спрашивали мы Кузьму Васильевича.

— Собирался, много раз собирался. Да как написать? По-немецки я не умею, а по-русски... Кто бы перевел ей? Так и не написал.

И всякий раз, окончив свой рассказ, Кузьма Васильевич вздыхал, качал головою, говорил: «Вот что значит молодость!» И если в числе слушателей находился новичок, в первый раз ознакомившийся с знаменитою историей, он брал его руку, клал себе на череп и заставлял щупать шрам от раны... Рана действительно была страшная, и шрам шел от одного до другого уха.

---

[1] до востребования (*франц.*).

БРИГАДИР

I

Читатель, знакомы ли тебе те небольшие дворянские усадьбы, которыми двадцать пять — тридцать лет тому назад изобиловала наша великорусская Украйна? Теперь они попадаются редко, а лет через десять и последние из них, пожалуй, исчезнут бесследно. Проточный пруд, заросший лозником и камышами, приволье хлопотливых уток, к которым изредка присосеживается осторожный «чирóк»; за прудом сад с аллеями лип, этой красы и чести наших черноземных равнин, с заглохшими грядами «шпанской» земляники, со сплошной чащей крыжовника, смородины, малины, посреди которой, в томный час неподвижного полуденного зноя, уж непременно мелькнет пестрый платочек дворовой девушки и зазвенит ее пронзительный голосок; тут же амбарчик на курьих ножках, оранжерейка, плохенький огород со стаей воробьев на тычинках и прикорнувшей кошкой близ провалившегося колодца; дальше — кудрявые яблони над высокой, снизу зеленой, кверху седой травой, жидкие вишни, груши, на которых никогда не бывает плода; потом клумбы с цветами — маком, пионами, анютиными глазками, крыжантами, «девицей в зелени», кусты татарской жимолости, дикого жасмину, сирени и акации, с непрестанным пчелиным, шмелиным жужжанием в густых, пахучих, липких ветках; наконец, господский дом, одноэтажный, на кирпичном фундаменте, с зеленоватыми стеклами в узких рамах, с покатой, некогда крашеной крышей, с балкончиком, из которого повыпадали кувшинообразные перила, с кривым мезонином, с безголосой старой собакой в яме под крыльцом; за домом широкий двор с крапивой, полынью и лопухами по углам, службы с захватанными дверями, с голубями и галками на пробуравленных соломенных крышах, погребок с заржавелым флюгером, две-три березы с грачиными гнездами на голых верхних сучьях — а там уже дорога с подушечками мягкой пыли

по колеям — и поле, и длинные плетни коноплянников, и серенькие избушки деревни, и крики гусей с отдаленных заливных лугов... Знакомо ли тебе всё это, читатель? В самом доме всё немножко набок, немножко расшаталось — а ничего! Стоит крепко и держит тепло: печи что твои слоны, мебель сбродная, домодельщина; беловатые протоптанные дорожки бегут от дверей по крашеным полам; в передней чижи и жаворонки в крошечных клетках; в углу столовой громадные английские часы в виде башни, с надписью: «Strike — silent» [1]; в гостиной портреты хозяев, написанные масляными красками, с выражением сурового испуга на кирпичного цвета лицах, а иногда и старая покоробленная картина, представляющая либо цветы и фрукты, либо мифологический сюжет; везде пахнет кваском, яблоком, олифой, кожей; мухи гудят и звенят под потолком и на окнах, бойкий прусак внезапно заиграет усиками из-за зеркальной рамы... Ничего, жить можно — и даже очень недурно можно жить.

II

Вот такую-то усадьбу пришлось мне посетить лет тридцать тому назад... дела давно минувших дней — как изволите видеть. Небольшое именьице, в котором находилась та усадьба, принадлежало одному моему университетскому товарищу; оно недавно к нему поступило после смерти троюродного дяди, холостяка, и сам он в нем не жил... Но в недальнем расстоянии оттуда зачинались пространные степные болота, в которых, во время летнего прилета, водилось много дупелей; мой товарищ и я — мы оба были страстные охотники, а потому и сговорились съехаться — он из Москвы, я из своей деревеньки — к Петрову дню в его домик. Приятель мой замешкался в Москве и опоздал двумя днями; я без него не хотел начать охоты. Меня принял старый слуга, по имени Наркиз Семенов: его предуведомили о моем приезде. Этот старый слуга нисколько не походил на «Савельича» или на «Калеба»; мой товарищ звал его в шутку «Маркизом». В нем было что-то самоуверенное, даже утонченное, не без достоинства: он смотрел на нас, молодых людей, свысока, но и к другим помещикам не питал особенного уважения; о прежнем барине отзывался небрежно, а

[1] «Бьют — молчат» (*англ.*).

«БРИГАДИР»

ОБЛОЖКА АВТОГРАФА С ПЕРЕНЕСЕННЫМИ НА НЕЕ ЗАПИСЯМИ 1850—1860-х ГОДОВ.

Национальная библиотека, Париж.

свою братью просто презирал — за невежество. Сам он умел читать и писать, выражался правильно и вразумительно — и водки не пил. В церковь ходил редко — так что его раскольником считали. Из себя он был худощав и высок, лицо имел длинное и благообразное, острый нос и нависшие брови, которые он беспрестанно то надвигал, то поднимал; носил просторный опрятный сюртук и сапоги до колен с вырезанными в виде сердца голенищами.

III

В самый день моего прибытия Наркиз, подав мне позавтракать и убрав со стола, остановился в дверях, пристально посмотрел на меня и, поиграв бровями, промолвил:

— Что же вы, сударь, теперь делать будете?

— А я, право, не знаю. Если бы Николай Петрович слово свое сдержал, приехал — мы бы на охоту вместе отправились.

— А вы, стало, сударь, надеялись, что они так в самый раз и приедут, как обещались?

— Конечно, надеялся.

— Гм.— Наркиз опять посмотрел на меня и как бы с сожаленьем покачал головою.— Коли чтением позабавиться желательно,— продолжал он,— от старого барина остались книжки; я их, буде угодно, принесу; только вы их читать не станете, так полагать надо.

— Почему?

— Книжки-то пустые; не для теперешних господ писаны.

— Ты их читал?

— Не читал, не стал бы говорить. Сонник, например... это что ж за книга? Ну, есть другие... только вы их тоже не станете читать.

— А что?

— Божественные.

Я помолчал... Наркиз помолчал тоже.

— Главное-то мне досадно,— начал я,— в этакую погоду — дома сидеть.

— В саду прогуляйтесь; а не то в рощу сходите. Тут у нас роща за гумном. Не охочи ли вы рыбу ловить?

— А у вас есть рыба?

— Есть, в пруде. Гольцы, пескари, окуни попадаются. Теперь, конечно, настоящая пора прошла: июль на дворе. Ну... а все-таки попытаться можно... Прикажете удочку снарядить?

— Сделай одолжение.

— Я с вами мальчика пошлю... червей насаживать. А то разве самому пойти? — Наркиз, очевидно, сомневался в том, сумею ли я один справиться.

— Пойдем, пожалуйста, пойдем.

Наркиз улыбнулся молча, но во весь рот, потом вдруг надвинул брови... и вышел из комнаты.

IV

Полчаса спустя мы отправились ловить рыбу. Наркиз надел какой-то необыкновенный, ушастый картуз и стал еще величественнее. Он выступал впереди, степенным, ровным шагом; две удочки мерно колыхались на его плече; босоногий мальчишка нес за ним лейку и горшок с червями.

— Тут, возле плотины, на плоту лавочка устроена для удобства,— начал пояснять мне Наркиз, заглянул вперед и вдруг воскликнул: — Эге! Да наши убогие уж тут... Повадились!

Я вытянул из-за него голову и увидал на плоту, на той самой лавочке, о которой он говорил, двух сидевших к нам спиною людей: они преспокойно удили рыбу.

— Кто это? — спросил я.

— Соседи,— отвечал с неудовольствием Наркиз.— Дома-то есть им нечего, так вот они к нам и жалуют.

— А им позволяется?

— Прежний барин позволял... разве вот Николай Петрович не разрешит... Длинный-то — дьячок из заштатных: совсем пустой человек; ну, а тот, что потолще,— бригадир.

— Как бригадир,— повторил я с изумлением. Одежда на этом «бригадире» была чуть ли не хуже дьячковской.

— Я же вам докладываю: бригадир. И состояние у них было хорошее. А теперь вот из милости угол отведен, и живут... так, чем господь пошлет. Однако, между прочим, как же быть? Заняли они лучшее место... Надо будет дорогих гостей потревожить.

— Нет, Наркиз, пожалуйста, не тревожь их. Мы тут

же присядем в стороне: они нам не мешают. Мне с бригадиром хочется познакомиться.

— Как угодно-с. А только что если насчет знакомства... много удовольствия вы, сударь, получить не надейтесь; слабы они очень понятием стали и в «разговорке» тупы... что малый ребенок. И то сказать: восьмой десяток доживают.

— Как его зовут?

— Васильем Фомичом. По фамилии — Гуськов.

— А дьячка как?

— Дьячка-то?.. прозвище ему — Огурец. Его здесь все так величают, а какое его настоящее имя — господь ведает! Пустой человек! Как есть проходимец!

— Они живут вместе?

— Нет, не вместе; да чёрт их... знаете... веревочкой связал.

V

Мы подошли к плоту. Бригадир вскинул на нас глазами... и тотчас устремил их на поплавок; Огурец вскочил, выдернул удочку, снял свою истасканную поповскую шляпу, провел трепетной рукой по жестким желтым волосам, поклонился наóтмашь и засмеялся дряблым смехом. Его припухлое лицо изобличало горького пьяницу; съеженные глазки униженно моргали. Он толкнул своего соседа в бок, как бы давая ему знать, что надо, мол, убираться... Бригадир зашевелился на лавочке.

— Сидите, прошу вас, не беспокойтесь,— поспешно заговорил я.— Вы нам нисколько не мешаете. Мы тут поместимся; сидите.

Огурец запахнул свой дырявый балахон, передернул плечами, губами, бородкой... Наше присутствие, видимо, его стесняло... и он бы охотно улизнул, но бригадир снова погрузился в созерцание своего поплавка... «Проходимец» кашлянул раза два, присел на самый край лавочки, положил шляпу на колени и, подобрав под себя свои голые ноги, скромно закинул удочку.

— Клюет? — с важностью спросил Наркиз, медлительно разматывая лесу.

— Штучек пять гольцов залучили,— отвечал Огурец разбитым и сиплым голосом,— да вот они порядочного окунька поймали.

— Да, окунька,— пискливо повторил бригадир.

VI

Я принялся пристально рассматривать — не его, а опрокинутое его отражение в пруде. Оно мне представлялось ясно, как в зеркале, немного темней, немного серебристей. Широкий пруд дышал на нас прохладой; прохладой веяло и от сырого обрывистого берега; и тем слаще была она, что там, над головою, в золотистой и темной лазури, над купами деревьев, ощутительным бременем навис неподвижный зной. Вода не колыхалась около плота; в тени, падавшей на нее с раскидистых прибрежных кустов, блестели, как крохотные светлые пуговки, водяные паучки, описывавшие свои вечные круги; лишь изредка чуть заметная рябь шла от поплавков, когда рыба «шалила» с червяком. Бралась она очень плохо: в течение целого часа мы вытащили двух гольцов и пескаря. Я бы не сумел сказать, почему бригадир возбуждал мое любопытство: чин его не мог на меня действовать; разоренные дворяне и в то время не считались редкостью — и самая его наружность не представляла ничего замечательного. Из-под теплого картуза, закрывавшего всю верхнюю часть его головы до бровей и до ушей, виднелось красное, гладко выбритое, круглое лицо, с маленьким носом, маленькими губками и светлосерыми небольшими глазами. Простоту и слабость душевную и какую-то давнишнюю беспомощную грусть выражало это смиренное, почти детское лицо; в пухлых белых ручках с короткими пальцами было тоже что-то беспомощное, неумелое... Я никак не был в состоянии себе представить, каким образом этот убогий старичок мог когда-то быть военным человеком, командовать, распоряжаться — да еще в екатерининские суровые времена! Я глядел на него: иногда он надувал щеки и слабо пыхтел, как ребенок, иногда он щурился болезненно, с усилием, как все дряхлые люди. Раз он широко раскрыл и поднял глаза... Они уставились на меня из водной глубины — и странно трогательным и даже значительным показался мне их унылый взор.

VII

Я старался заговорить с бригадиром... но Наркиз не обманул меня: бедный старик действительно очень слаб понятием стал. Он осведомился о моей фамилии и, пере-

спросив меня раза два, подумал, подумал и промолвил, наконец: «Да у нас, кажись, был такой судья. Огурец, был у нас такой судья — ась?» — «Был, был, батюшка, Василий Фомич, ваше благородие,— отвечал ему Огурец, который вообще обходился с ним, как с ребенком.— Был, точно. А удочку вашу мне пожалуйте: у вас червячок, должно, съеден... Съеден и есть».

— С ломовским семейством изволили быть знакомы? — внезапно, напряженным голосом спросил меня бригадир.

— Какое такое ломовское семейство?

— Какое? — Ну, Федор Иваныч, Евстигней Иваныч, Алексей Иваныч жид, ну, Феодулия Ивановна грабительница... а там еще...

Бригадир вдруг умолк и потупился.

— Самые им близкие были люди,— наклонясь ко мне, шепнул Наркиз,— чрез них, чрез самого этого Алексея Иваныча, что жидом они обозвали, да еще через одну Алексей Иванычину сестрицу, Аграфену Ивановну,— они, можно сказать, всего состояния лишились.

— Что ты там об Аграфене Ивановне толкуешь? — воскликнул вдруг бригадир, и голова его поднялась, белые брови нахмурились...— Ты смотри у меня! И какая она тебе Аграфена? Агриппина Ивановна — вот как надо... ее называть.

— Ну-ну-ну-ну, батюшка,— залепетал было Огурец.

— Ты разве не знаешь, чтó про нее Милонов-стихотворец сочинил? — продолжал старик, внезапно войдя в совершенно мною неожиданный азарт.— «Не брачные свещи возженны,— начал он нараспев, произнося все гласные в нос, а слоги «ан» и «ен» — как французские *an*, *en*,— и странно было слышать из уст его эту связную речь,— не факелы...» Нет, это не то, а вот:

Не бренным тления кумиром,
Не амаранфом, не порфиром
Столь услаждаются они...
Одно лишь в них...

Это про нас. Слышишь?

Одно лишь в них непреткновенно,
Приятно, томно, вожделенно:
Взаимный жар питать в крови!

А ты — Аграфена!

Наркиз усмехнулся полупрезрительно, полуравнодушно.

— Эх-ма, каженник! * — проговорил он про себя. Но бригадир уже опять потупился — удочка вывалилась из его руки и соскользнула в воду.

VIII

— А что, как я погляжу, дело-то наше — дрянь,— промолвил Огурец,— рыба, вишь, не клюет вовсе. Уж жарко больно стало, а нашего барина «мехлюдия» ** постигла. Видно — домой пойти; лучше будет.— Он осторожно достал из кармана жестяную фляжку с деревянной пробочкой, откупорил ее, насыпал себе на соколок табаку — да и дернул по обеим ноздрям разом...— Эх, табачок! — простонал он, приходя в чувство,— ажио́ тоска по зубам заиграла! Ну, голубчик Василий Фомич, извольте подниматься — пора!

Бригадир встал с лавочки.

— Далеко вы отсюда живете? — спросил я Огурца,

— Да они-то вот недалеко... и версты не будет.

— Позволите вы мне проводить вас? — обратился я к бригадиру. Мне не захотелось отстать от него.

Он посмотрел на меня и, улыбнувшись той особенной, важной, вежливой и несколько жеманной улыбкой, которая, не знаю, как другим, а мне всякий раз напоминает пудру, французские кафтаны с стразовыми пуговицами — вообще восемнадцатый век,— проговорил с старомодной расстановкой, что «о-чен-но будет рад»... и тотчас опять опустился. Екатерининский кавалер мелькнул в нем на мгновение — и исчез.

Наркиз удивился моему намерению; но я не обратил внимания на неодобрительное покачивание его ушастого картуза и вышел из сада вместе с бригадиром, которого поддерживал Огурец. Старик двигался довольно быстро, как на деревяшках.

IX

Мы шли чуть-чуть проторенной тропинкой, по травянистой долине, между двумя березовыми рощами. Солнце пекло; иволги перекликались в зеленой чаще, коростели трещали возле самой тропинки, голубенькие

* Каженник — идиот, чудак.
** Мехлюдия — меланхолия.

бабочки перелетывали стайками по белым и красным цветам низкого клевера; пчелы, словно сонные, путались и вяло жужжали в недвижной траве. Огурец встряхнулся, оживился; Наркиза он боялся — он жил у него под глазами; я был ему чужой, заезжий — со мною он скоро освоился. «Вот,— зачастил он,— наш барин — постник, что толковать! А одним окуньком — как тут сыту быть? Разве вы, ваше благородие, что пожертвуете? Тут сейчас за повертком в кабачке — отличные калачики-ситнички. А коли милость будет, так и аз многогрешный при этом случае за ваше здравие — долголетие-долгоденствие шкальчик выкушаю». Я дал ему двугривенный и едва успел отдернуть руку, которую он бросился лобызать. Он узнал, что я охотник, и пустился толковать о том, что у него есть хороший знакомый офицер, у которого шведское мин-дин-ден-герровское ружье с медным стволом — что твоя пушка! выпалишь — так словно забытье найдет: после французов осталось!.. и собака — просто игра природы! что он сам всегда большую страсть к охоте имел, и поп бы ничего — вместе с ним перепелов лавливал,— да благочинный до бесконечности его затиранил; а что до Наркиза Семеныча,— промолвил он нараспев,— так ежели я по ихнему понятию необстоятельный человек на сем свете есть — и я на то доложу: отрастили они себе брови не хуже тетерева да и полагают, что чрез то все науки произошли.

Тем временем мы подошли к кабачку — одинокой ветхой избушке без задворка и клети; отощалая собака лежала, свернувшись, под окошком; курица копалась в пыли перед самым ее носом. Огурец усадил бригадира на завалинке и мгновенно шмыгнул в избушку. Пока он покупал калачики да подносил себе шкалик — я глаз не сводил с бригадира, который, бог ведает почему, мне представлялся загадкой. В жизни этого человека — думалось мне — наверное произошло что-нибудь необыкновенное. А он, казалось, и не замечал меня вовсе; сидел, сгорбившись, на завалинке и перебирал в пальцах несколько гвоздик, сорванных им в саду моего приятеля. Огурец появился наконец со связкой калачиков в руке; появился весь красный и потный, с выражением радостного удивления на лице, как будто он только что увидал нечто чрезвычайно приятное и для него неожиданное. Он тотчас предложил бригадиру откушать калачика — и тот откушал. Мы отправились далее.

X

В силу выпитой водки Огурца совершенно, как говорится, «разлимонило». Он принялся утешать бригадира, который продолжал спешить вперед, пошатываясь, как на деревяшках.

— Что вы, батюшка барин, невеселы, нос повесили? Позвольте, я вам песенку спою. Сейчас всякое удовольствие получите... Вы не извольте сумлеваться,— обратился он ко мне,— барин у нас пресмешливый, и боже ты мой! Вчерась я гляжу: баба на плоту портки моет — да толстая же и попалась баба — а они сзаду стоят да от смеху так и киснут, ей-богу!.. Вот позвольте сейчас: про зайца песню знаете? Вы не глядите на меня, что я невзрачен есть; у нас тут в городе цыганка живет, рыло-рылом — а запоет: гроб! ложись да помирай.

Он широко раскрыл свои мокрые красные губы и запел, загнув голову набок, закрыв глаза и потряхивая бородкой:

Лежит заяц под кустом;
Ездят охотнички по пустом...
Лежит заяц, еле дышит.
Между тем он ухом слышит —
Смерти ждет!
Чем вам, охотнички, я досадил?
Иль какую бедушку учинил?
Я в капустах хоть бываю,
По одному листу съедаю —
И то не у вас!
Да-с!

Огурец всё более задавал форсу:

Скакнул заяц в темный лес
И охотничкам фост поднес.
Вы, охотнички, простите,
На мой фостик поглядите —
Я не ваш!

Огурец уже не пел... Он орал:

Ездили охотники до су-так...
Разбирали заячий па-сту-пак...
Меж собой всё толковали
И друг дружку обругали:
Заяц-то не наш!
Косой обманул!!

Первые два стиха каждого куплета Огурец пел протяжным голосом — остальные три, напротив, очень живо, причем щеголевато подпрыгивал и переступал ногами; по окончании же куплета откалывал «колено», то есть ударял самого себя пятками. Воскликнув во всё горло: «Косой обманул!», он перекувырнулся... Ожидания его оправдались. Бригадир вдруг залился тонким слезливым хохотом, да так усердно, что дальше идти не мог — и слегка присел, бессильно похлопывая руками по коленкам. Я глядел на его побагровевшее, судорожно искривленное лицо, и очень мне жаль его стало — именно в это мгновенье. Воодушевленный успехом, Огурец пустился вприсядку, беспрестанно приговаривая: «Шилды-будылды да начики-чикалды!..» Он ткнулся, наконец, носом в пыль... Бригадир внезапно перестал хохотать и заковылял дальше.

XI

Мы прошли еще с четверть версты. Показалась маленькая деревушка на краю неглубокого оврага; в стороне виднелся «флигелек» с полуразметанной крышей и одинокой трубой; в одной из двух комнат этого флигелька помещался бригадир. Владетельница деревушки, постоянная обитательница Петербурга, статская советница Ломова, отвела — как я узнал впоследствии — этот уголок бригадиру. Она велела выдавать ему месячину, а также приставить к нему для услужения проживавшую в той же деревне дурочку из дворовых, которая хотя и плохо понимала человеческую речь, однако могла, по мнению советницы, и пол подмести и щи сварить. На пороге флигелька бригадир снова обратился ко мне с прежней екатерининской улыбкой: не угодно ли, мол, мне пожаловать в его апартáмент? Вошли мы в этот «апартáмент». Всё в нем было до крайности грязно и бедно, так грязно и так бедно, что бригадир, вероятно заметив по выражению моего лица, какое впечатление произвело на меня его жилище, промолвил, пожав плечами и прищурившись: «Се-не-па... ёль-де-пердри...»[1] Что собственно хотел он этим сказать — осталось мне не совсем ясным... Заговорив с ним по-французски, я не получил ответа на этом языке. Два предмета особенно поразили меня в жилище бригадира: во-первых, большой офицерский ге-

[1] Ce n'est pas... œil de perdrix — Это не птичий глаз (*франц.*).

оргиевский крест в черной раме, под стеклом, с надписью старинным почерком: «Получен полковником Черниговского Дерфельдена полка Василием Гуськовым за штурм Праги в 1794-м году»; а во-вторых, поясной масляный портрет красивой черноглазой женщины с продолговатым и смуглым лицом, высоко взбитыми и напудренными волосами, с мушками на висках и подбородке, в пестром вырезном роб-роне с голубыми оборками, эпохи восьмидесятых годов. Портрет был плохо написан — но, наверное, очень схож: чем-то слишком жизненным и несомненным веяло от этого лица. Оно не глядело на зрителя, как бы отворачивалось от него и не улыбалось; в горбине узкого носа, в правильных, но плоских губах, в почти прямой черте густых сдвинутых бровей сказывался повелительный, надменный, вспыльчивый нрав. Не нужно было особого усилия, чтобы представить себе, как это лицо могло внезапно загораться страстию или гневом. Под самым портретом, на небольшой тумбочке, стоял полузавядший букет простых полевых цветов в толстой стеклянной банке. Бригадир приблизился к тумбочке, воткнул в банку принесенные им гвоздики и, обернувшись ко мне и подняв руку в направлении портрета, промолвил: «Агриппина Ивановна Телегина, Ломова урожденная». Слова Наркиза пришли мне на память: я с удвоенным вниманием посмотрел на выразительное и недоброе лицо женщины, из-за которой бригадир всего состояния лишился.

— Вы, я вижу, присутствовали при штурме Праги, господин бригадир,— начал я, указывая на георгиевский крест,— и удостоились получить знак отличия, во всякое время редкий, а тогда подавно; вы, стало быть, помните Суворова?

— Александра Васильича-то? — отвечал бригадир, помолчав немного и как бы собираясь с мыслями,— как же, помню, маленький был, живой старичок. Ты стоишь, не чукнешь — а он туды-сюды (бригадир захохотал). В Варшаву-то на казачьей лошади въехал; сам весь в бралиантах, а полякам говорит: «Нету у меня часов, в Питере забыл, нету, нету!» а они-то: «Виват! виват!» Чудаки! Эй! Огурец! малый! — прибавил он вдруг, переменив и возвысив голос (балагур-дьячок оставался за дверью),— где ж калачики-то? Да Груньке скажи... как бы кваску!

— Сейчас, батюшка барин,— послышался голос Огурца.

Он вручил бригадиру связку ситничков и, выйдя из флигелька, подошел к какому-то взъерошенному существу в лохмотьях — должно быть, самой той дурочке Груньке — и, сколько я мог разобрать сквозь запыленное окошко, начал требовать от нее «кваску», ибо несколько раз сряду приставлял одну руку воронкой ко рту, а другою махал в нашу сторону.

XII

Я снова попытался вступить в беседу с бригадиром; но он, видимо, устал, опустился, кряхтя, на лежанку и, простонав: «Ой, ой, косточки, косточки», развязал свои подвязки. Помнится, меня тогда удивило, как это у мужчины могли быть подвязки? Я не сообразил, что в прежнее время все их носили. Бригадир принялся зевать продолжительно и откровенно, не спуская с меня отупелых глаз: так зевают очень маленькие дети. Бедный старик, казалось, не совсем даже понимал мои вопросы... И он брал Прагу! Он, со шпагой наголó, в дыму, в пыли — в челе суворовских солдат, простреленное знамя над головой, обезображенные трупы под ногами... Он... он?! Не удивительно ли? Но мне все-таки сдавалось, что в жизни бригадира происходили события еще более необыкновенные. Огурец принес белого квасу в железном ковшике; бригадир напился с жадностью — руки его тряслись. Огурец поддерживал дно ковшика. Старик старательно отер свой беззубый рот обеими ладонями — и снова, уставившись на меня, зажевал и зачмокал губами. Я понял, в чем дело, раскланялся и вышел из комнаты.

— Теперь почивать будут,— заметил Огурец, выступая за мною.— Очень уж уморились сегодня — на могилку с утра ходили.

— На чью могилку?

— А к Аграфене Ивановне на поклонение... Они тут у нас в приходском кладбище похоронены; верст отсюда пять будет. Василий Фомич каждую неделю беспременно к ним ходят. Да он же их и похоронил и ограду поставил на свой кошт.

— А давно она скончалась?

— Да лет почитай с двадцать.

— Она ему приятельницей была, что ли?

— Всю жисть, как есть, с ними провели... помилуйте. Сам я барыни той, признаться, не знавал — а, говорят,

промеж их дела были... пину! Господин,—поспешно прибавил дьячок, видя, что я отвернулся,— не соблаговолите ли, не пожалуете ли «още» на шкалик — а то мне пора в пуньку * да под шептуху **.

Я не почел за нужное расспрашивать Огурца — дал ему еще двугривенный — и отправился домой.

XIII

Дома я обратился за сведениями к Наркизу. Он, как и следовало ожидать, поломался немного, поважничал, выразил свое удивление, что меня такие пустяки «антересовать» могут, и наконец рассказал что знал. Я услышал следующее:

Василий Фомич Гуськов познакомился с Аграфеной Ивановной Телегиной в Москве, вскоре после польского погрома; муж ее служил при генерал-губернаторе, а Василий Фомич находился в отпуску. Он тогда же в нее влюбился, но в отставку не выходил: человек он был одинокий, лет сорока, с состоянием. Муж ее вскоре умер. Она осталась после него бездетной, в бедности, в долгах... Василий Фомич узнал об ее положении, бросил службу (ему дали при отставке бригадирский чин) и отыскал свою любезную вдовушку, которой всего двадцать пятый год пошел, заплатил все ее долги, выкупил имение... С тех пор он уже с нею не расставался и кончил тем, что поселился у нее. Она тоже словно полюбила его, но выйти за него замуж не хотела. «Блажная была покойница,— заметил при этом Наркиз,— мне, говорит, своя воля дороже всего». А пользоваться им — она пользовалась, «во всех частях» — и деньги, какие у него были, он всё к ней тащил, как «муравей». Но блажь Аграфены Ивановны принимала иногда размеры необычайные: нраву она была неукротимого и на руку дерзка... Однажды она с лестницы своего казачка столкнула, а тот возьми да переломи себе два ребра да ногу... Аграфена Ивановна испугалась... тотчас велела запереть казачка в чулан, и до тех пор сама из дому не выходила и ключ от чулана никому не отдала, пока не прекратились в нем стенанья... Казачка тайком похоронили... И будь это при императрице Екатерине,— прибавил шёпотом, пригнувшись, Наркиз,— может, и так бы дело обошлось, много таких делов тогда

* Клеть.
** Одеяло из грубого сукна.

осталось под спудом, а то...— тут Наркиз выпрямился и возвысил голос,— воцарился тогда справедливый государь Александр Благословенный... ну, и завязалось дело... Приехал суд, отрыли тело... оказались боевые знаки... пошел дым коромыслом. И как же вы полагаете? Василий Фомич всё на себя взял. «Я, мол, причиной, я толкнул, да я же и запер». Ну, разумеется, сейчас все судьи там, приказные, полицейские... на него да на него и до тех пор, доложу вам... его трепали, пока последний грош из мошны не выскочил. Нет, нет... да опять за ворот. До самого француза — вот как француз к нам в Расею приходил — всё трепали; тогда только бросили. Ну, а Аграфену Ивановну он обеспечил — точно; он ее спас — так сказать надо. Ну и после, до самой ее кончины, он у ней жил, и, сказывают, помыкала же она им — бригадиром-то — зря; пешком из Москвы в деревню посылала, ей-богу — за оброком, значит. Он из-за нее, из-за самоё тоё Аграфены Ивановны, с английским милордом Гузе-Гузом на шпантонах дрался; и английский милорд должóн был произнести извинительный комплимент. Так вот он, бригадир-то, с тех мест и скопытился... Ну, а теперь уж он, конечно, не в числе человеков.

— Кто же этот Алексей Иваныч жид,— спросил я,— через кого он разорился?

— А братец Аграфены Ивановны. Алчная была душа, уж точно жидовская. Сестре в рост деньги отдавал, а Василий Фомич поручителем. Поплатился тоже... лихо!

— А Феодулия Ивановна грабительница? Это... кто была?

— Тоже сестрица... и ловкая тоже. Копье, что называется... бедовая!

XIV

«Вот где проявился Вертер!» — думал я на следующий день, снова направляясь к жилищу бригадира. Я был тогда очень молод — и, быть может, именно потому и считал своей обязанностью не верить в продолжительность любви. Всё же я был поражен и несколько озадачен слышанным мною рассказом, и ужасно мне захотелось расшевелить старика, заставить его разговориться. «Сперва упомяну опять о Суворове,— так рассуждал я с самим собою,— должна же в нем таиться хоть искра прежнего огня... а потом, когда он разогреется, наведу речь на

эту... как бишь ее?.. Аграфену Ивановну. Странное имя для „Шарлотты“ — Аграфена!»

Я застал Вертера-Гуськова посреди крохотного огородца, в нескольких шагах от флигелька, возле старого, крапивой поросшего сруба никогда не выведенной избы. По заплесневшим верхним бревнам этого сруба с писком пробирались, беспрестанно скользя и хлопая крыльями, тщедушные индюшата. На двух-трех грядах росла кое-какая убогая зелень. Бригадир только что вытащил из земли молодую морковь и, продернув ее у себя под мышкою — «для очищения»,— принялся жевать ее тонкий хвостик... Я поклонился ему и осведомился об его здоровье.

Он, очевидно, не узнал меня, хотя и отдал мне мой поклон, то есть прикоснулся рукой к картузу, не переставая, однако, жевать морковь.

— Сегодня вы не пришли ловить рыбу? — начал я, в надежде напомнить ему мою фигуру этим вопросом.

— Сегодня? — повторил он и задумался... а морковь, воткнутая в его рот, сокращалась да сокращалась.— Да ведь это Огурец ловит рыбу!.. А мне тоже позволяют.

— Конечно, конечно, почтеннейший Василий Фомич... Я не с тем... Но вам не жарко... этак на солнце?

На бригадире был толстый ваточный халат.

— А? Жарко? — повторил он опять, как бы недоумевая, и, окончательно проглотив морковь, рассеянно посмотрел вверх.

— Не угодно ли пожаловать в мой апартáмент? — заговорил он внезапно. У бедного старика, видно, одна только эта фраза и осталась в распоряжении.

Мы вышли из огорода... Но тут я невольно остановился. Между нами и флигелем стоял огромный бык. Склонив голову до самой земли, злобно поводя глазами, он тяжко и сильно фыркал и, быстро сгибая одну переднюю ногу, высоко взбрасывал пыль своим широким раздвоенным копытом, бил хвостом себе по бокам и вдруг немного пятился, упорно тряс мохнатой шеей и мычал — негромко, жалобно и грозно. Я, признаюсь, смутился; но Василий Фомич преспокойно выступил вперед и, проговорив строгим голосом: «Ну ты, деревенщина»,— махнул платком. Бык еще попятился, склонил рога... и вдруг бросился в сторону и побежал, мотая головой направо и налево.

«А он, точно, брал Прагу»,— подумал я.

Мы вошли в комнату. Бригадир стащил картуз со вспотевших волос, воскликнул: «Фа!..», прикорнул на край стула... и понурился...

— Я зашел к вам, Василий Фомич,— начал я свои дипломатические апроши,— собственно за тем, что так как вы служили под начальством великого Суворова — вообще участвовали в таких важных событиях,— то для меня было бы весьма интересно знать подробности...

Бригадир уставился на меня... Лицо его странно оживилось — я уже ожидал если не рассказа, то по крайней мере одобрительного, сочувственного слова...

— А я, господин, должнó, скоро умру,— проговорил он вполголоса.

Я пришел в тупик.

— Как, Василий Фомич,— вымолвил я наконец,— почему же вы... это полагаете?

Бригадир внезапно задергал руками — вверх, вниз — опять-таки по-ребячьи.

— А потому, господин... Я... вы, может, знаете... Агриппину Ивановну покойницу — царство ей небесное! — часто во сне вижу, и никак я ее поймать не могу; всё гоняюсь за нею, а не поймаю. А в прошлую ночь — вижу я — стоит она этак будто передо мной в полоборота и смеется... Я тотчас же к ней побег — и поймал... И она будто обернулась вовсе и говорит мне: «Ну, Васенька, теперь ты меня поймал».

— Что же вы из этого заключаете, Василий Фомич?

— А то, господин, заключаю: стало, вместе нам быть. Да и слава богу, доложу вам; слава господу богу, отцу и сыну и святому духу (бригадир запел) — и ныне и присно и во веки веков, аминь!

Бригадир начал креститься. Больше я ничего от него добиться не мог — так и ушел.

XV

На следующий день мой приятель приехал... Я упомянул о бригадире, о моих посещениях... «Ах, да! как же! я его историю знаю,— отвечал мой приятель,— я и со статской советницей Ломовой хорошо знаком, по милости которой он тут приютился. Да постой, у меня, кажется, здесь должно письмо его храниться, к той самой статской советнице; она ему в силу этого письма и уголок

отвела». Приятель мой порылся в своих бумагах и действительно нашел письмо бригадира. Вот оно от слова до слова, за исключением орфографических ошибок. Бригадир, как все люди тогдашней эпохи, путался в буквах «е» и «ѣ»,— писал: «хкому, штоп, слюдми» и т. д. Сохранить эти ошибки не предстояло надобности: письмо его и без того носит отпечаток своего времени.

«Милостивая государыня!
Раиса Павловна!

По кончине друга моего, а вашей тетушки, имел я счастие писать к вам два письма, первое июня от первого, второе же июля от шестого числа 1815 года — а она скончалась шестого мая того ж года; в них был я вам открыт в чувствах души и сердца моего, которые стеснены были убийственным оскорблением и изображали в полном виде ожесточенное мое и жалости достойное отчаяние; оба письма посланы по коронной почте страховыми, а посему и не можно усумниться, чтоб они не были вами прочтены. Чрез откровенность мою в них я надеялся получить ваше благодетельное ко мне внимание; но сострадательные ваши чувства отдалены были от меня, горького! Оставшись же после единственного друга, Агриппины Ивановны, в самом расстроенном и бедственном состоянии, я только и полагал, по словам ее, всю мою надежду на ваше благоутробие; она, чувствуя уже кончину жизни своей, сказала мне именно сими, яко бы надгробными и мне вечно памятными словами: „Друг мой, я твоя змея и виновница всего твоего несчастия, я чувствую, сколько много ты мне жертвовал, и за то оставляю тебя в злополучном и воистину обнаженном положении; по смерти моей прибегни ты к Раисе Павловне“ — то есть к вам — „и проси у ней помощи, взывай! Она имеет душу чувствительную, и в ней я уверена, что она тебя, сироту, не оставит“. Милостивая государыня, примите во свидетельство всевышнего создателя мира, что это ее слова, и я говорю ее языком; а посему, утвердясь в добродетели вашей, к первой к вам отнесся с чистосердечными и откровенными моими письмами, но, по долговременном ожидании не получа на них ответа, иначе не мыслил, что добродетельное ваше сердце оставило меня без внимания! Таковое неблагорасположение ваше ко мне в вящшее меня ввергло отчаяние — куды ж и к кому было мне, бесталанному, прибегнуть — я не знал; рассудок был

потерян, дух блуждал — наконец, к совершенной моей погибели, провидению угодно было еще жесточайшим образом меня наказать и обратить мои мысли к покойнице же, вашей же тетушке, Феодулии Ивановне, Агриппины Ивановны сестре единоутробной, но не единосердной! Представя самому себе в воображении то, что уже двадцать лет был я предан всему родственному ломовскому вашему дому — особливо же Феодулии Ивановне, которая иначе не называла Агриппину Ивановну, как „сердечный мой дружочек“, а меня „препочтенный радетель нашего семейства“,— представя всё сие в обильной воздыханиями и слезами тишине скорбных ночных бдений, я подумал: „Ну, бригадир, так, видно, тому и быть!“ — и, обратившись к оной Феодулии Ивановне с моими письмами, получил точное удостоверение, что последнюю кроху со мной разделят! Быв сим обещаньем обнадежен, собрал убогие свои остатки и поехал к Феодулии Ивановне! Привезенные мною гостинцы, более как на пятьсот рублей, были приняты с отменным удовольствием; а потом и деньги, которые я привез для содержания себя, Феодулии Ивановне угодно было, под видом сохранения, взять в свое ведение, чему, угождая ей, я не противился. Если же вы спросите меня: отколе и в силу чего таковое доверие я возымел,— на сие, сударыня, один ответ: Агриппине Ивановне сестра и ломовского семейства ветвь!! — Но увы и ах! денег сих я всех вскорости лишился, и надежда моя, которую я полагал на Феодулию Ивановну,— что хотела последнюю кроху со мной разделить, оказалась тщетной и суетной: напротив, оная Феодулия Ивановна моим же добром себя угобзила. А именно, в день ее ангела, пятого февраля, я ей зеленой французской материи на пятьдесят рублей, по пяти рублей аршин, преподнес; сам же из обещанного получил: белого пике на жилет на пять рублей да кисейный на шею платок, которые подарки при мне же были куплены и, как мне известно, из моих же денег — и вот всё, чем я, по благодеянию Феодулии Ивановны ко мне, воспользовался! Вот оная последняя кроха! И я бы мог далее в самой истине обнаружить все недоброжелательные Феодулии Ивановны со мной поступки — а также и мои, всяческую меру превосходящие депансы, как-то, между прочим, на конфекты и фрукты, которые Феодулия Ивановна была великая охотница кушать; но всё сие умалчиваю для того, дабы вы таковое объяснение об умершей не

отнесли в дурную сторону; и притом, так как бог призвал ее к себе на суд — и всё, что я от нее претерпел, из сердца моего истребилось,— то я ей, как христианин, простил давно и умоляю бога, чтобы он ей простил!!

Но, милостивая государыня, Раиса Павловна! Неужели ж вы обвиняете меня за то, что я был верным и неложным другом вашего семейства, и за то, что так много и непреоборимо любил Агриппину Ивановну, жертвовал ей моей жизнью, моей честью и всем моим состоянием! был в совершенной ее власти и потому не мог уже управлять ни самим собою, ни моей собственностью — а распоряжалась она по своей воле как мною, так и моим состояньем! Вам известно и то, что по делу ее с людьми ее я терплю *невинно* убийственное оскорбление — дело сие я перенес после смерти ее в сенат, в шестый департамент — оно еще теперь не решено,— по которому сделали меня соучастником с нею, отдали в опеку и всё еще судят уголовным судом! В моем звании, в мои лета, таковое бесчестие несносно мне; и остается мне только сим горестным размышлением ублажать свое сердце, что, следовательно, и по смерти Агриппины Ивановны я страдаю за нее,— и сие означает следы неизменной любви и добродетельной благодарности моей к ней!

В упомянутых моих к вам письмах я доводил до сведения вашего о похоронах Агриппины Ивановны со всею подробностью — и какое было по ней поминовение; дружба и любовь моя к ней по состоянию ничего не щадили! На все сие — и с сорокоустами, и за шесть недель за чтение по ней псалтыри (сверх того пятьдесят рублей ассигнациями мои пропали, кои даны в задаток за камень, о котором я вас уведомил),— на всё сие издержано собственных моих денег семьсот пятьдесят рублей ассигнациями, в числе которых и взнесенные заместо вкладу в церковь полтораста рублей ассигнациями ж!

Благотворная душа твоя, внемли гласу отчаянного и вверженного в пропасть жесточайших мучениев! Одно сострадание твое к человеколюбию может возвратить жизнь погибшего!! Я хотя и жив — но в страдании души и сердца моего мертв; мертв, когда вспомню, чем был и что есмь: был воином и отечеству всею правдою служил и прямил, как истому россиянину и верному подданному несомненно надлежит,— и отменными знаками награждаем был,— и состояние, сообразное с рождением и званием, имел; а ныне из-за насущного хлебопитания горбом

хребет сгибаю; мертв же особенно я есмь, когда вспомню, какого друга лишился... и на что мне жизнь после сего? Но предела своего не ускоришь, и земля не расступится, а скорее того в камень обратится! А потому взываю к тебе, душа добродетельная, утиши молву народную, не дай себя в общее осуждение, что за таковую мою безграничную преданность я пристанища себе не имею, удиви милостию твоею ко мне, обрати язык злобствующих и завидующих к прославлению твоих достоинств и — осмелюсь со всяческим смирением присовокупить — утешь в гробе дражайшую тетку твою, незабвенную Агриппину Ивановну, которая за твою благопоспешную помощь, моими грешными молитвами, прострет над главою твоею свои благословящие длани, успокой на закате дней одинокого старца, который не такую мог ожидать себе участь!.. А впрочем, с глубочайшим почтением имею счастье назваться вашим, милостивая государыня,

преданнейшим слугою

Василий Гуськов,
бригадир и кавалер».

XVI

Несколько лет спустя я снова посетил деревушку моего приятеля... Василия Фомича уже давно в живых не было: он скончался вскоре после моего знакомства с ним. Огурец всё еще здравствовал. Он свел меня на могилку Аграфены Ивановны. Железная ограда окружала большую плиту с подробной и пышной эпитафией покойницы; а тут же, рядом и как бы у ног ее, виднелся небольшой холмик с покривившимся крестом; раб божий, бригадир и кавалер Василий Гуськов покоился под этим холмиком... Прах его приютился, наконец, возле праха того существа, которое он любил такой безграничной, почти бессмертной любовью.

НЕСЧАСТНАЯ

...Да, да,— начал Петр Гаврилович,— тяжелые то были дни... и не хотелось бы возобновлять их в памяти... Но я дал вам обещание; придется всё рассказать. Слушайте.

I

Я жил тогда (зимою 1835 года) в Москве, у тетушки, родной сестры покойной матушки. Мне было восемнадцать лет: я только что перешел со второго на третий курс «словесного» факультета (в то время он так назывался) в Московском университете. Тетушка моя была женщина тихая и кроткая, вдова. Она занимала большой деревянный дом на Остоженке, теплый-претеплый, каких, я полагаю, кроме Москвы, нигде не найдешь, и почти ни с кем не видалась, сидела с утра до вечера в гостиной с двумя компаньонками, кушала цветочный чай, раскладывала пасьянс и то и дело приказывала покурить. Компаньонки бежали в переднюю; несколько минут спустя старый слуга в ливрейном фраке приносил медный таз с пучком мяты на раскаленном кирпиче и, торопливо выступая по узким половикам, поливал ее уксусом. Белый пар обдавал его сморщенное лицо, он хмурился и отворачивался, а канарейки в столовой так и трещали, раздраженные шипением курева.

Тетушка очень любила и баловала меня, круглого сироту. Она отдала весь антресоль в полное мое распоряжение. Меблированы были мои комнаты весьма изящно, уж вовсе не по-студенчески: в спальне красовались розовые занавески, и кисейный полог с голубыми помпончиками возвышался над кроватью. Эти помпончики меня, признаюсь, несколько смущали: по моему понятию, подобные «нежности» должны были уронить меня в глазах моих товарищей. Они и без того прозвали меня инсти-

туткой: я никак не мог заставить себя курить табак. Занимался я, что греха таить, плохо, особенно в начале курса: много выезжал. Тетушка подарила мне широкие генеральские сани с медвежьею полостью и пару откормленных вяток. «Благородные» дома я посещал редко, но в театре был как свой — и пропасть поедал пирожков по кондитерским. Со всем тем я никаких бесчинств себе не позволял и вел себя скромно, «en jeune homme de bonne maison» [1]. Я бы ни за что не согласился огорчить мою добрую тетушку; к тому же и кровь у меня довольно спокойно обращалась в жилах.

II

Я с ранних лет пристрастился к шахматам; о теории не имел понятия, а играл недурно. Однажды в кофейной мне пришлось быть свидетелем продолжительной шахматной баталии между двумя игроками, из которых один, белокурый молодой человек лет двадцати пяти, мне показался сильным. Партия кончилась в его пользу; я предложил ему сразиться со мной. Он согласился... и в течение часа разбил меня, шутя, три раза сряду.

— У вас есть способность к игре,— промолвил он учтивым голосом, вероятно, заметив страдание моего самолюбия,— но вы дебютов не знаете. Вам надо книжку почитать, Аллгайера или Петрова.

— Вы думаете? Но где могу я такую книжку достать?

— Приходите ко мне; я вам дам.

Он назвал себя и сказал, где квартирует. На другой день я отправился к нему, а неделю спустя мы уже почти не расставались.

III

Нового знакомца моего звали Александром Давыдовичем Фустовым. Он жил у своей матери, довольно богатой женщины, статской советницы, в отдельном флигельке, на полной свободе, так же как я у тетушки. Он числился на службе по министерству двора. Я привязался к нему искренне. В жизни моей я еще не встречал молодого человека более «симпатичного». Всё в нем было миловидно и привлекательно: его стройная фигура, его походка, голос

---

[1] как юноша из хорошей семьи (*франц.*).

«НЕСЧАСТНАЯ». СТРАНИЦА АВТОГРАФА
ФОРМУЛЯРНОГО СПИСКА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ.

Национальная библиотека, Париж.

и в особенности его небольшое тонкое лицо с золотисто-голубыми глазами, с изящным, как бы кокетливо вылепленным носиком, с неизменно ласковою улыбкой на алых губах, с легкими кудрями мягких волос над немного суженным, но белоснежным лбом. Нрав Фустова отличался чрезвычайною ровностью и какою-то приятною, сдержанною приветливостью; он никогда не задумывался, всегда был всем доволен; зато ни от чего не приходил в восторг. Всякое излишество, даже в хорошем чувстве, его оскорбляло: «Это дико, дико»,— говаривал он в таком случае, чуть-чуть пожимаясь и прищуривая свои золотистые глаза. И удивительные же были глаза у Фустова! Они постоянно выражали участие, благоволение и даже преданность. Я только в последствии времени заметил, что выражение его глаз зависело единственно от особенного их склада, что оно не менялось и тогда, когда он кушал суп или закуривал сигарку. Аккуратность его вошла между нами в пословицу. Правда, бабка его была из немок. Природа наделила его разнообразными способностями. Он отлично танцевал, щегольски ездил верхом и плавал превосходно, столярничал, точил, клеил, переплетал, вырезывал силуэтки, рисовал акварелью букет цветов или Наполеона в профиль в лазоревом мундире, с чувством играл на цитре, знал множество фокусов, карточных и иных, и сведения имел порядочные в механике, физике и химии, но всё в меру. Одни языки ему не дались: даже по-французски он изъяснялся довольно плохо. Он вообще говорил мало и в наших студенческих беседах участвовал больше оживленною мягкостью взгляда и улыбки. Женскому полу Фустов нравился безусловно, но об этом, для молодых людей весьма важном, вопросе не любил распространяться и вполне заслуживал данное ему товарищами прозвище «скромного Дон-Жуана». Я не удивлялся Фустову; удивляться в нем было нечему, но я дорожил его расположением, хотя в сущности оно выражалось только тем, что он во всякое время допускал меня до своей особы. В моих глазах Фустов был самым счастливым человеком на свете. Жизнь его текла именно по маслу. Мать, братья, сестры, тетки, дядья — все его обожали, он жил с ними со всеми в ладах необыкновенных и пользовался репутацией образцового родственника.

IV

Однажды я забрался к нему довольно рано и не застал его в кабинете. Он окликнул меня из соседней комнаты; фыркание и плескотня доносились оттуда до моего слуха. Каждое утро Фустов обливался холодною водой и потом около четверти часа предавался гимнастическим упражнениям, в которых достиг замечательного мастерства. Излишних забот о здоровье тела он не допускал, но не забывал необходимых. («Не забывай себя, не волнуйся, умеренно трудись!» — было его девизом.) Фустов еще не появлялся, как наружная дверь комнаты, в которой я находился, растворилась настежь, и вошел человек лет пятидесяти, в мундирном фраке, коренастый, плотный, с молочно-белесоватыми глазами на избура-красном лице и настоящею шапкой седых курчавых волос. Человек этот остановился, посмотрел на меня, широко разинул большой свой рот и, захохотав металлическим хохотом, хлестко ударил себя ладонью по ляжке сзади, причем высоко вынес ногу вперед.

— Иван Демьяныч? — спросил из-за двери мой приятель.

— Он самый и есть,— отозвался вошедший.— А вы что ж это, туалет свой совершаете? Дело! Дело! (Голос человека, прозывавшегося Иваном Демьянычем, звучал, так же как и смех его, чем-то металлическим.) Я к братишке вашему припер было урок давать; да он, знать, простудился, чихает всё. Действовать не может. Вот я и завернул к вам пока, отогреться.

Иван Демьяныч опять засмеялся тем же странным смехом, опять звучно шлепнул себя по ляжке и, достав клетчатый платок из кармана, высморкался громко, с свирепым вращеньем глаз, и, плюя в платок, воскликнул во всё горло: «Тьфу-у-у!»

Фустов вошел в комнату и, подав нам обоим руку, спросил нас, знакомы ли мы друг с другом?

— Никак нет-с,— тотчас загремел Иван Демьяныч,— ветеран двенадцатого года чести сей не имеет!

Фустов назвал сперва меня, потом, указав на «ветерана двенадцатого года», промолвил: «Иван Демьяныч Ратч, преподаватель... разных предметов».

— Именно, именно разных предметов,— подхватил г. Ратч.— Чему, подумаешь, я только не учил, да и теперь не учу! И математике, и географии, и статистике, и ита-

лиянской бухгалтерии — ха-ха-ха-ха! — и музыке! Вы сомневаетесь, милостивый государь? — накинулся он вдруг на меня. — Спросите Александра Давыдыча, каково я на фаготе отличаюсь? Какой же я был бы в противном случае богемец, чех сиречь? Да, сударь, я чех, и родина моя — древняя Прага! Кстати, Александр Давыдыч, что вас давно не видать? Дуэтец бы разыграли... ха-ха! Право!

— Я у вас третьего дня был, Иван Демьяныч,— отвечал Фустов.

— Да это я и называю давно, ха-ха!

Когда г. Ратч смеялся, белые глаза его как-то странно и беспокойно бегали из стороны в сторону.

— Вы, я вижу, молодой человек, поведенцу моему удивляетесь,— обратился он опять ко мне.— Но это происходит оттого, что вы еще не знаете моей комплекции. Вы осведомьтесь обо мне у нашего доброго Александра Давыдыча. Что он вам скажет? Он вам скажет, что старик Ратч — простяк, русак, хоть и не по происхождению, а по духу, ха-ха! При крещении наречен Иоганн-Дитрих, а кличка моя — Иван Демьянов! Что на уме, то и на языке; сердце, как говорится, на ладошке, церемониев этих разных не знаю и знать не хочу! Ну их! Заходите когда-нибудь ко мне вечерком, сами увидите. Баба у меня — жена то есть,— простая тоже; наварит нам, напекет... беда! Александр Давыдыч, правду я говорю?

Фустов только улыбнулся, а я промолчал.

— Не брезгайте старичком, заходите,— продолжал г. Ратч.— А теперь... (Он выхватил толстые серебряные часы из кармана и поднес их к выпученному правому глазу.) Мне, я полагаю, лучше отправиться. Другой птенец меня ожидает... Этого я чёрт знает чему учу... мифологии, ей-богу! И далеко же живет, ракалья! у Красных ворот! Всё равно: пешкурой отмахаю, благо братец ваш скиксовал, ан пятиалтынный па извозчика цел, в мошне остался! Ха-ха! Прощения просим, мосьпáне, до зобачения! [1] А вы, молодой человек, заверните... Что ж такое?.. Дуэтец беспременно надо разыграть! — крикнул г. Ратч из передней, со стуком надевая калоши, и в последний раз раздался его металлический смех.

[1] милостивые государи, до свидания! (*польск.*).

V

— Что за странный человек?! — обратился я к Фустову, который успел уже приняться за токарный станок. — Неужели он иностранец? Он так бойко говорит по-русски.

— Иностранец; только он уж лет тридцать как поселился в России. Его чуть ли не в тысяча восемьсот втором году какой-то князь из-за границы вывез... в качестве секретаря... скорее, полагать надо, камердинера. А выражается он по-русски, точно, бойко.

— Так залихватски, с такими вывертами и закрутасами, — вмешался я.

— Ну да. Только очень уж ненатурально. Они все так, эти обрусевшие немцы.

— Да ведь он чех.

— Не знаю; может быть. С женой он беседует по-немецки.

— А почему он себя ветераном двенадцатого года величает? Служил он, что ли, в ополчении?

— Какое в ополчении! Во время пожара в Москве оставался и имущества всего лишился... Вот вся его служба.

— Да зачем же он оставался в Москве?

Фустов не переставал точить.

— Господь его знает! Слышал я, будто он у нас в шпионах состоял; да это, должно быть, пустое. А что за свои убытки он от казны вознаграждение получил, это верно.

— На нем мундирный фрак... Он, стало, служит?

— Служит. В кадетском корпусе преподавателем. Он надворный советник.

— Кто его жена?

— Здешняя немка, дочь колбасника... мясника...

— И ты часто к нему ходишь?

— Хожу.

— Что ж, весело у них?

— Довольно весело.

— У него есть дети?

— Есть. От немки трое и от первой жены сын и дочь.

— А сколько старшей дочери лет?

— Лет двадцать пять.

Мне показалось, что Фустов ниже пригнулся к станку, и колесо шибче заходило и загудело под мерными толчками его ноги.

— Хороша она собой?

— Как на чей вкус. Лицо замечательное, да и вся она... замечательная особа.

«Ага!» — подумал я. Фустов продолжал свою работу с особенным рвением и на следующий вопрос мой отвечал одним мычанием.

«Надо будет познакомиться!» — решил я про себя.

VI

Несколько дней спустя мы вместе с Фустовым отправились к г. Ратчу на вечер. Жил он в деревянном доме с большим двором и садом, в Кривом переулке возле Пречистенского бульвара. Он вышел к нам в переднюю и, встретив нас свойственным ему трескучим хохотом и гамом, тотчас повел в гостиную, где представил меня дородной даме в камлотовом тесном платье, Элеоноре Карповне, своей супруге. Элеонора Карповна в первой молодости отличалась, вероятно, тем, что́ французы, неизвестно почему, называют «красотою диавола», то есть свежестью; но когда я с ней познакомился, она невольно напоминала взору добрый кусок говядины, только что выложенный мясником на опрятный мраморный стол. Не без намерения употребил я слово «опрятный»: не только сама хозяйка казалась образцом чистоты, но и всё вокруг нее, всё в доме так и лоснилось, так и блистало; всё было выскребено, выглажено, вымыто мылом; самовар на круглом столе горел как жар; занавески перед окнами, салфетки так и коробились от крахмала, так же как и платьица и шемизетки тут же сидевших четырех детей г. Ратча, дюжих, откормленных коротышек, чрезвычайно похожих на мать, с топорными крепкими лицами, вихрами на висках и красными обрубками пальцев. У всех четырех были носы несколько приплюснутые, большие, словно припухшие губы и крошечные светло-серые глаза.

— Вот и моя гвардия! — воскликнул г. Ратч, кладя свою тяжелую руку поочередно на головы детей.— Коля, Оля, Сашка да Машка! Этому восемь, этой семь, этому четыре, а этой целых два! Ха-ха-ха! Как изволите видеть, мы с женой не зеваем. Эге? Элеонора Карповна!

— Уж вы всегда всё такое скажете,— промолвила Элеонора Карповна и отвернулась.

— И писклятам своим всё такие русские имена понадавала! — продолжал г. Ратч.— Того и смотри, в греческую веру их окрестит! Ей-богу! Славянка она у меня,

чёрт меня совсем возьми, хоть и германской крови! Элеонора Карповна, вы славянка?

Элеонора Карповна рассердилась.

— Я надворная советница, вот кто я! И, стало быть, я русская дама, и всё, что вы теперь будете говорить...

— То есть как она Россию любит, просто беда! — перебил Иван Демьяныч.— Вроде землетрясенья, ха-ха!

— Ну, и что ж такое? — продолжала Элеонора Карповна.— И, конечно, я Россию люблю, потому где же бы я могла получить дворянский титул? И мои дети тоже теперь ведь благородные? Kolia, sitze ruhig mit den Füssen! [1]

Ратч махнул на нее рукой.

— Ну, ты, Сумбека-царица, успокойся! А где «благородный» Викторка? Чай, всё шляется куда попало! Уж наскочит он на инспектора! Задаст он ему трепание! Das ist ein Bummler, der Fiktor! [2]

— Dem Fiktor kann ich nicht kommandieren, Иван Демьяныч. Sie wissen wohl! [3] — проворчала Элеонора Карповна.

Я посмотрел на Фустова, как бы желая окончательно добиться от него, что заставляло его посещать подобных людей... Но в эту минуту вошла в комнату девушка высокого роста в черном платье, та старшая дочь г. Ратча, о которой упоминал Фустов... Я понял причину частых посещений моего приятеля.

VII

Помнится, где-то у Шекспира говорится о «белом голубе в стае черных воронов»; подобное впечатление произвела на меня вошедшая девушка: между окружавшим ее миром и ею было слишком мало общего; казалось, она сама втайне недоумевала и дивилась, каким образом она попала сюда. Все члены семейства г. Ратча смотрели самодовольными и добродушными здоровяками; *ее* красивое, но уже отцветающее лицо носило отпечаток уныния, гордости и болезненности. *Те*, явные плебеи, держали себя непринужденно, пожалуй, грубо, но просто; тоскливая тревога сказывалась во всем ее несомненно аристократическом существе. В самой ее наружности не замечалось склада, свой-

---

[1] Коля, сиди смирно, не болтай ногами! (*нем.*).
[2] Ну и гуляка же этот Виктор! (*нем.*).
[3] Виктору я не могу приказывать, вы это хорошо знаете! (*нем.*).

ственного германской породе; она скорее напоминала уроженцев юга. Чрезвычайно густые черные волосы без всякого блеска, впалые, тоже черные и тусклые, но прекрасные глаза, низкий выпуклый лоб, орлиный нос, зеленоватая бледность гладкой кожи, какая-то трагическая черта около тонких губ и в слегка углубленных щеках, что-то резкое и в то же время беспомощное в движениях, изящество без грации... в Италии всё это не показалось бы мне необычайным, но в Москве, у Пречистенского бульвара, просто изумило меня! Я встал со стула при входе ее в комнату: она бросила на меня быстрый неровный взгляд и, опустив свои черные ресницы, села близ окна, «как Татьяна» (пушкинский «Онегин» был тогда у каждого из нас в свежей памяти). Я взглянул на Фустова, но мой приятель стоял ко мне спиной и принимал чашку чаю из пухлых рук Элеоноры Карповны. Еще заметил я, что вошедшая девушка внесла с собою струю легкого физического холода... «Что за статуя?» — подумалось мне.

VIII

— Петр Гаврилыч! — загремел г. Ратч, обращаясь ко мне,— позвольте вас познакомить с моей... с моим... с моим нумером первым, ха-ха-ха! с Сусанной Ивановной!

Я молча поклонился и тотчас же подумал: «Вот, и имя ее тоже не под стать другим», а Сусанна слегка приподнялась, не улыбаясь и не разжимая крепко стиснутых рук.

— А что же дуэтец? — продолжал Иван Демьяныч.— Александр Давыдыч! а? благодетель! Цитра ваша у нас осталась, а фагот я уже из футляра вынул. Насладим ушеса честной компании! (Г-н Ратч любил уснащать свою русскую речь; у него то и дело вырывались выражения, подобные тем, которыми испещрены все ультранародные стихотворения князя Вяземского: «дока для всего», вместо «на всё», «здесь нам не обиход», «глядит в угоду, не напоказ», и т. п. Помнится, однажды Иван Демьяныч, увлеченный своею любовью к бойким словам с энергическим окончанием, стал уверять меня, что у него в саду везде известняк, хворостняк и валежняк.) Так как? Идет? — воскликнул Иван Демьяныч, видя, что Фустов не возражает.— Колька, марш в кабинет, тащи сюда пюпитры! Ольга, волоки цитру! Да свечек к пюпитрам соблаговоли, благоверная! (Г-н Ратч вертелся по комнате, как кубарь.) Петр Гаврилыч, вы любите музыку, ась? А коли не любите,

беседой займитесь, только, чур, под сурдинкой! Ха-ха-ха! И где этот шут Виктор пропадает? Послушал бы тоже! Вы его, Элеонора Карповна, совсем разбаловали!

Элеонора Карповна вся вспыхнула.

— Aber was kann ich denn[1], Иван Демьяныч...

— Ну, хорошо, хорошо, не клянчи! Bleibe ruhig, hast verstanden?[2] Александр Давыдыч! милости просим!

Дети немедленно исполнили приказание родителя, пюпитры воздвиглись, началась музыка. Я уже сказал, что Фустов отлично играл на цитре, но на меня этот инструмент постоянно производил впечатление самое тягостное. Мне всегда чудилось и чудится доселе, что в цитре заключена душа дряхлого жида-ростовщика и что она гнусливо ноет и плачется на безжалостного виртуоза, заставляющего ее издавать звуки. Игра г. Ратча также не могла доставить мне удовольствие; к тому ж его внезапно побагровевшее лицо со злобно вращавшимися белыми глазами приняло зловещее выражение: точно он собирался убить кого-то своим фаготом и заранее ругался и грозил, выпуская одну за другою удавленно-хриплые, грубые ноты. Я присоседился к Сусанне и, выждав первую минутную паузу, спросил ее, так же ли она любит музыку, как ее батюшка?

Она отклонилась, как будто я толкнул ее, и промолвила отрывисто:

— Кто?

— Ваш батюшка,— повторил я,— господин Ратч.

— Господин Ратч мне не отец.

— Не отец? Извините меня... Я, должно быть, не так понял... Но мне помнится, Александр Давыдыч...

Сусанна посмотрела на меня пристально и пугливо.

— Вы не поняли господина Фустова. Господин Ратч мой вотчим.

Я помолчал.

— И вы музыки не любите? — начал я снова.

Сусанна опять глянула на меня. Решительно, в ее глазах было что-то одичалое. Она, очевидно, не ожидала и не желала продолжения нашего разговора.

— Я вам этого не сказала,— медленно произнесла она.

---

[1] Но что же я могу поделать (*нем.*).
[2] Успокойся, поняла? (*нем.*).

— Тру-ту-ту-ту-ту-у-у...— со внезапною яростью пробурчал фагот, выделывая окончательную фиоритуру. Я обернулся, увидал раздутую, как у удава, под оттопыренными ушами, красную шею г. Ратча, и очень он мне показался гадок.

— Но этого... инструмента вы, наверно, не любите,— сказал я вполголоса.

— Да... я не люблю,— отвечала она, как бы поняв мой тайный намек.

«Вот как!» — подумал я и словно чему-то обрадовался.

— Сусанна Ивановна,— проговорила вдруг Элеонора Карповна на своем немецко-русском языке,— музыку очень любит и очень сама прекрасно играет на фортепиано, только она не хочет играть на фортепиано, когда ее очень просят играть.

Сусанна ничего не ответила Элеоноре Карповне — она даже не поглядела на нее и только слегка, под опущенными веками, повела глазами в ее сторону. По одному этому движению,— по движению ее зрачков,— я мог понять, какого рода чувства Сусанна питала ко второй супруге своего вотчима... И я опять чему-то порадовался.

Между тем дуэт кончился. Фустов встал и, нерешительными шагами приблизившись к окну, возле которого мы сидели с Сусанной, спросил ее, получила ли она от Ленгольда ноты, которые тот обещался выписать из Петербурга.

— Попурри из «Роберта-Дьявола»,— прибавил он, обращаясь ко мне,— из той новой оперы, о которой теперь все так кричат.

— Нет, не получила,— отвечала Сусанна и, повернувшись лицом к окну, поспешно прошептала: — Пожалуйста, Александр Давыдыч, прошу вас, не заставляйте меня играть сегодня! Я совсем не расположена.

— Что такое? «Роберт-Дьявол» Мейербера! — возопил подошедший к нам Иван Демьяныч,— пари держу, что вещь отличная! Он жид, а все жиды, так же как и чехи, урожденные музыканты! Особенно жиды. Не правда ли, Сусанна Ивановна? Ась? Ха-ха-ха-ха!

В последних словах г. Ратча, и на этот раз в самом его хохоте, слышалось нечто другое, чем обычное его глумление,— слышалось желание оскорбить. Так по крайней мере мне показалось и так поняла его Сусанна. Она невольно дрогнула, покраснела, закусила нижнюю губу. Светлая точка, подобная блеску слезы, мелькнула у ней

на реснице, и, быстро поднявшись, она вышла вон из комнаты.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна? — закричал ей вслед г. Ратч.

— А вы оставьте ее, Иван Демьяныч,— вмешалась Элеонора Карповна.— Wenn sie einmal so etwas im Kopf hat...[1]

— Натура нервозная,— промолвил Ратч, повернувшись на каблуках, и шлепнул себя по ляжке,— plexus solaris[2] страдает. О! да вы не смотрите так на меня, Петр Гаврилыч! Я и анатомией занимался, ха-ха! Я и лечить могу! Спросите вот Элеонору Карповну... Все ее недуги я излечиваю! Такой у меня есть способ.

— А вы всё должны шутки шутить, Иван Демьяныч,— отвечала та с неудовольствием, между тем как Фустов, посмеиваясь и приятно покачиваясь, глядел на обоих супругов.

— И почему же не шутить, mein Mütterchen?[3] — подхватил Иван Демьяныч.— Жизнь нам дана для пользы, а больше для красы, как сказал один известный стихотворец. Колька, утри свой нос, дикобраз!

IX

— Я сегодня по твоей милости был в весьма неловком положении,— говорил я в тот же вечер Фустову, возвращаясь с ним домой.— Ты мне сказал, что эта... как бишь ее? Сусанна — дочь господина Ратча, а она его падчерица.

— В самом деле! Я тебе сказал, что она его дочь? Впрочем... не всё ли равно?

— Этот Ратч,— продолжал я...— Ах, Александр, как он мне не нравится! Заметил ты, с какой он особенной насмешкой отозвался сегодня при ней о жидах? Разве она... еврейка?

Фустов шел впереди, размахивая руками, было холодно, снег хрустел, как соль, под ногами.

— Да, помнится, что-то такое я слышал,— промолвил он наконец...— Ее мать была, кажется, еврейского происхождения.

---

[1] Когда ей взбредет что-нибудь в голову... (*нем.*).
[2] солнечное сплетение (*лат.*).
[3] мамочка? (*нем.*).

— Стало быть, господин Ратч женился в первый раз на вдове?

— Вероятно.

— Гм!.. А этот Виктор, что не пришел вчера, тоже его пасынок?

— Нет... это настоящий его сын. Впрочем, я, ты знаешь, в чужие дела не вмешиваюсь и не люблю расспрашивать. Я не любопытен.

Я прикусил язык. Фустов всё спешил вперед. Подходя к дому, я нагнал его и заглянул ему в лицо.

— А что,— спросил я,— Сусанна, точно, хорошая музыкантша?

Фустов нахмурился.

— Она хорошо играет на фортепиано,— проговорил он сквозь зубы.— Только она очень дика, предваряю! — прибавил он с легкою ужимкой. Он словно раскаивался в том, что познакомил меня с нею.

Я умолк, и мы расстались.

X

На следующее утро я опять отправился к Фустову. Сидеть у него по утрам стало для меня потребностью. Он принял меня ласково по обыкновению, но о вчерашнем посещении — ни слова! Как воды в рот набрал. Я принялся перелистывать последний № «Телескопа».

Новое лицо вошло в комнату. Оно оказалось тем самым сыном г. Ратча, Виктором, на отсутствие которого накануне пенял его отец.

Это был молодой человек, лет восемнадцати, уже испитой и нездоровый, с сладковато-наглою усмешкой на нечистом лице, с выражением усталости в воспаленных глазках. Он походил на отца, только черты его были меньше и не лишены приятности. Но в самой этой приятности было что-то нехорошее. Одет он был очень неряшливо, на мундирном сюртуке его недоставало пуговицы, один сапог лопнул, табаком так и разило от него.

— Здравствуйте,— проговорил он сиплым голосом и с теми особенными подергиваньями плеч и головы, которые я всегда замечал у избаловавшихся и самоуверенных молодых людей.— Думал в университет, а попал к вам. Грудь что-то заложило. Дайте-ка сигарку.— Он прошел через всю комнату, вяло волоча ноги и не вынимая рук из карманов панталон, и грузно бросился на диван.

— Вы простудились? — спросил Фустов и познакомил нас друг с другом. Мы были оба студентами, но находились на разных факультетах.

— Нет!.. Какое! Вчера, признаться сказать... (тут господин Ратч junior[1] улыбнулся во весь рот, опять-таки не без приятности, но зубы у него оказались дурные) выпито было, сильно выпито. Да.— Он закурил сигарку и откашлянулся.— Обиходова провожали.

— А он куда едет?

— На Кавказ, и возлюбленную свою туда же тащит. Вы знаете, ту, черноглазую, с веснушками. Дурак!

— Ваш батюшка вчера о вас спрашивал,— заметил Фустов.

Виктор сплюнул в сторону.

— Да, я слышал. Вы вчера забрели в наш табор. Ну и что ж, музицировали?

— По обыкновению.

— А *она*... Небось перед новым-то гостем (тут он ткнул головой в мою сторону) поломалась? Играть не стала?

— Вы это о ком говорите? — спросил Фустов.

— Да, разумеется, о почтеннейшей Сусанне Ивановне!

Виктор развалился еще покойнее, округленно поднял руку над головой, посмотрел себе на ладонь и глухо фыркнул.

Я взглянул на Фустова. Он только плечом пожал, как бы желал дать мне понять, что с такого оболтуса и спрашивать нечего.

XI

Виктор принялся говорить, глядя в потолок, не спеша и в нос, о театре, о двух ему знакомых актерах, о какой-то Серафиме Серафимовне, которая его «надула», о новом профессоре Р., которого обозвал скотиной,— потому, представьте, что урод выдумал? Каждую лекцию с переклички начинает, а еще либералом считается! В кутузку я бы всех ваших либералов запрятал! — и, обратившись наконец всем лицом и телом к Фустову, промолвил полужалобным, полунасмешливым голосом:

— Что я вас хотел попросить, Александр Давыдыч... Нельзя ли как-нибудь старца моего вразумить... Вы вот дуэты с ним разыгрываете... Дает мне пять синеньких в

[1] младший (*лат.*).

месяц... Это что же такое?! На табак не хватает. Еще толкует: не делай долгов! Я бы его на мое место посадил и посмотрел бы! Я ведь никаких пенсий не получаю; не то что *иные* (Виктор произнес это последнее слово с особенным ударением). А деньжищев у него много, я знаю. Со мной Лазаря петь нечего, меня не проведешь. Шалишь! Руки-то себе нагрел тоже... ловко!

Фустов искоса глянул на Виктора.

— Пожалуй,— начал он,— я скажу вашему батюшке. А то, если хотите, я могу... пока... небольшую сумму...

— Нет, что ж! Уж лучше старика умаслить... Впрочем,— прибавил Виктор, почесав себе нос всею пятерней,— дайте, коли можете, рублей двадцать пять... Сколько бишь я вам должен?

— Вы у меня восемьдесят пять рублей заняли.

— Да... Ну это, стало, выйдет... всего сто десять рублей. Я вам отдам всё разом.

Фустов вышел в другую комнату, вынес двадцатипятирублевую бумажку и молча подал ее Виктору. Тот взял ее, зевнул во всё горло, не закрывая рта, промычал: «спасибо!» и, поеживаясь и потягиваясь, приподнялся с дивана.

— Фу! однако... что-то скучно,— пробормотал он,— пойти разве в «Италию».

Он направился к двери.

Фустов посмотрел ему вслед. Казалось, он боролся сам с собой.

— О какой вы это пенсии сейчас упомянули, Виктор Иваныч? — спросил он наконец.

Виктор остановился на пороге и надел фуражку.

— А вы не знаете? Сусанны Ивановны пенсия... Она ее получает. Прелюбопытный, доложу вам, анекдот! Я когда-нибудь вам расскажу. Дела, батюшка, дела! А вы старца-то, старца не забудьте, пожалуйста. Кожа у него, конечно, толстая, немецкая, да еще с русской выделкой, а всё пронять можно. Только чтоб Элеонорки, мачехи моей, при этом не было! Папашка ее боится, она всё своим прочит. Ну, да вы сами дипломат! Прощайте!

— Экая, однако, дрянь этот мальчишка! — воскликнул Фустов, как только захлопнулась дверь.

Лицо у него горело как в огне, и он от меня отворачивался. Я не стал его расспрашивать и вскоре удалился.

XII

Весь тот день я провел в размышлениях о Фустове, о Сусанне, об ее родственниках; мне смутно чудилось нечто похожее на семейную драму. Сколько я мог судить, мой приятель был неравнодушен к Сусанне. Но она? Любила ли она его? Отчего она казалась такою несчастною? И вообще что она была за существо? Эти вопросы беспрестанно приходили мне на ум. Темное, но сильное чувство говорило мне, что за разрешением их не следовало обращаться к Фустову. Кончилось тем, что я на следующий день отправился один в дом к г. Ратчу.

Мне стало вдруг очень совестно и неловко, как только я очутился в маленькой темной передней. «Она и не покажется, пожалуй,— мелькнуло у меня в голове,— придется сидеть с гнусным ветераном и с его кухаркой-женой... Да и наконец, если даже она появится, что же из этого? Она и разговаривать не станет... Уж больно неласково обошлась она со мной намедни. Зачем же я пришел?» Пока я всё это соображал, казачок побежал доложить обо мне, и в соседней комнате, после двух или трех недоумевающих: «Кто такое? Кто, ты говоришь?» — послышалось тяжелое шарканье туфель, дверь слегка растворилась, и в щели между обеими половинками выставилось лицо Ивана Демьяныча, лицо взъерошенное и угрюмое. Оно уставилось на меня и не тотчас изменило свое выражение... Видно, г. Ратч не сразу узнал меня, но вдруг щеки его округлились, глаза сузились и из раскрывшегося рта, вместе с хохотом, вырвалось восклицание:

— А, батюшка, почтеннейший! Это вы? Милости просим!

Я последовал за ним тем неохотнее, что, мне казалось, этот приветливый, веселый г. Ратч внутренно посылает меня к чёрту. Однако делать было нечего. Он привел меня в гостиную, и что же? В гостиной сидела Сусанна перед столом за приходо-расходной книгой. Она глянула на меня своими сумрачными глазами и чуть-чуть прикусила ногти пальцев на левой руке... такая у ней была привычка, я заметил,— привычка, свойственная нервическим людям. Кроме ее, в комнате никого не было.

— Вот, сударь,— начал г. Ратч и ударил себя по ляжке,— в каких занятиях вы нас с Сусанной Ивановной застали: счетами занимаемся. Супруга моя в «арихметике» не сильна, а я, признаться, глаза свои берегу. Без очков

не могу читать, что прикажете делать? Пускай же молодежь потрудится, ха-ха! Порядок требует. Впрочем, дело не к спеху... Спешить, смешить, блох ловить, ха-ха!

Сусанна закрыла книгу и хотела удалиться.

— Постой, однако, постой,— заговорил г. Ратч.— Что за беда, что не в туалете... (На Сусанне было очень старенькое, почти детское платьице с короткими рукавчиками.) Дорогой гость не взыщет, а мне бы только позапрошлую неделю очистить... Вы позволите? — обратился он ко мне.— Мы ведь с вами не на церемониалах!

— Сделайте одолжение, не стесняйтесь,— воскликнул я.

— То-то, мой батюшка почтеннейший; вам самим известно, покойный государь Алексей Михайлович Романов говаривал: «Делу время, а потехе минуту!» А мы самому делу одну минуту посвятим... ха-ха! Какие же это тринадцать рублей тридцать копеек? — прибавил он вполголоса, повернувшись ко мне спиной.

— Виктор взял у Элеоноры Карповны; он сказал, что вы ему разрешили,— отвечала также вполголоса Сусанна.

— Сказал... сказал... разрешил...— проворчал Иван Демьяныч.— Кажется, я тут сам налицо. Спросить бы могли. А те семнадцать рублей кому пошли?

— Мебельщику.

— Да... мебельщику. Это за что же?

— По счету.

— По счету. Покажь-ка! — Он вырвал у Сусанны книгу и, насадив на нос круглые очки в серебряной оправе, стал водить пальцем по строкам.— Мебельщику... мебельщику... Вам бы лишь бы деньги из дому вон! Вы рады!.. Wie die Croaten![1] По счету! А впрочем,— прибавил он громко и снова поворотился ко мне лицем и очки с носу сдернул,— что же это я в самом деле! Этими дрязгами можно и после заняться. Сусанна Ивановна, извольте-ка оттащить на место эту бухгалтерию да пожалуйте к нам обратно и восхитите слух сего любезного посетителя вашим мусикийским орудием, сиречь фортепианною игрой... А?

Сусанна отвернула голову.

— Я бы очень был счастлив,— поспешно промолвил я,— очень было бы мне приятно послушать игру Сусанны Ивановны. Но я ни за что в свете не желал бы беспокоить...

---

[1] Как кроаты! (*нем.*).

— Какое беспокойство, что вы! Ну-с, Сусанна Ивановна, eins, zwei, drei![1]

Сусанна ничего не отвечала и вышла вон.

XIII

Я не ожидал, что она вернется; но она скоро появилась снова: даже платья не переменила и, присев в угол, раза два внимательно посмотрела на меня. Почувствовала ли она в моем обращении с нею то невольное, мне самому неизъяснимое уважение, которое, больше чем любопытство, больше даже чем участие, она во мне возбуждала, находилась ли она в тот день в смягченном расположении духа, только она вдруг подошла к фортепиано и, нерешительно положив руку на клавиши и склонив немного голову через плечо назад ко мне, спросила меня, что я хочу, чтоб она сыграла? Я не успел еще ответить, как она уже села, достала ноты, торопливо их развернула и начала играть. Я с детства любил музыку, но в то время я еще плохо понимал ее, мало был знаком с произведениями великих мастеров, и если бы г. Ратч не проворчал с некоторым неудовольствием: «Aha, wieder dieser Beethoven!»[2], я бы не догадался, что именно выбрала Сусанна. Это была, как я потом узнал, знаменитая Ф-мольная соната, opus 57. Игра Сусанны меня поразила несказанно: я не ожидал такой силы, такого огня, такого смелого размаха. С самых первых тактов стремительно-страстного allegro, нача́ла сонаты, я почувствовал то оцепенение, тот холод и сладкий ужас восторга, которые мгновенно охватывают душу, когда в нее неожиданным налетом вторгается красота. Я не пошевельнулся ни одним членом до самого конца; я всё хотел и не смел вздохнуть. Мне пришлось сидеть сзади Сусанны, ее лица я не мог видеть; я видел только, как ее темные длинные волосы изредка прыгали и бились по плечам, как порывисто покачивался ее стан и как ее тонкие руки и обнаженные локти двигались быстро и несколько угловато. Последние отзвучия замерли. Я вздохнул наконец. Сусанна продолжала сидеть перед фортепиано.

— Ja, ja,— заметил г. Ратч, который, впрочем, тоже

---

[1] раз, два, три! (*нем.*).
[2] А, опять этот Бетховен! (*нем.*).

слушал внимательно,— romantische Musik![1] Это нынче в моде. Только зачем нечисто играть! Э? Пальчиком по двум нотам разом — зачем? Э? То-то; нам всё поскорей хочется, поскорей. Этак горячей выходит. Э? Блины горячие! — задребезжал он, как разносчик.

Сусанна слегка обратилась к г. Ратчу; я увидел лицо ее в профиль. Тонкая бровь высоко поднялась над опущенной векой, неровный румянец разлился по щеке, маленькое ухо рдело под закинутым локоном.

— Я всех лучших виртуозов самолично слышал,— продолжал г. Ратч, внезапно нахмурившись,— и все они перед покойным Фильдом — тьфу! Нуль, зеро!! Das war ein Kerl! Und ein so reines Spiel![2] И композиции его — самые прекрасные! А все эти новые «тлу-ту-ту» да «тра-та-та», это, я полагаю, больше для школяров писано. Da braucht man keine Delicatesse![3] Хлопай по клавишам как попало... Не беда! Что-нибудь выйдет! Janitscharen-Musik![4] Пхе! (Иван Демьяныч утер себе лоб платком.) Впрочем, я это говорю не на ваш счет, Сусанна Ивановна; вы играли хорошо и моими замечаниями не должны обижаться.

— У всякого свой вкус,— тихим голосом заговорила Сусанна, и губы ее задрожали,— а ваши замечанья, Иван Демьяныч, вы знаете, меня обидеть не могут.

— О, конечно! Только вы не полагайте,— обратился ко мне Ратч,— не извольте полагать, милостивый государь, что сие происходит от излишней нашей доброты и якобы кротости душевной; а просто мы с Сусанной Ивановной воображаем себя столь высоко вознесенными, что у-у! Шапка назад валится, как говорится по-русски, и уже никакая критика до нас досягать не может. Самолюбие, милостивый государь, самолюбие! Оно нас доехало, да, да!

Не без изумления слушал я Ратча. Желчь, желчь ядовитая так и закипала в каждом его слове... И давно же она накопилась! Она душила его. Он попытался закончить свою тираду обычным смехом,— и судорожно, хрипло закашлял. Сусанна словечка не проронила в ответ ему, только головой встряхнула, и лицо приподняла, да, взяв-

---

[1] Да, да, романтическая музыка! (*нем.*).
[2] Вот это был молодчина! И такая чистая игра! (*нем.*).
[3] Тут не нужно особых тонкостей! (*нем.*).
[4] Янычарская музыка! (*нем.*).

шись обеими руками за локти, прямо уставилась на него. В глубине ее неподвижных расширенных глаз глухим, незагасимым огнем тлела стародавняя ненависть. Жутко мне стало.

— Вы принадлежите к двум различным музыкальным поколеньям,— начал я с насильственною развязностью, самою этою развязностью желая дать понять, что я ничего не замечаю,— а потому не удивительно, что вы не сходитесь в своих мнениях... Но, Иван Демьяныч, вы мне позволите стать на сторону... более молодого поколения. Я профан, конечно; но признаюсь вам, ничего в музыке еще не произвело на меня такого впечатления, как та... как то, что Сусанна Ивановна нам сейчас сыграла.

Ратч вдруг накинулся на меня.

— И почему вы полагаете,— закричал он, весь еще багровый от кашля,— что мы желаем завербовать вас в наш лагерь? (Он выговорил Lager по-немецки.) Нисколько нам это не нужно, бардзо дзенкуем![1] Вольному воля, спасенному спасение! А что касательно двух поколений, то это точно: нам, старикам, с вами, молодыми, жить трудно, очень трудно! Наши понятия ни в чем не согласны: ни в художестве, ни в жизни, ни даже в морали. Не правда ли, Сусанна Ивановна?

Сусанна усмехнулась презрительною усмешкой.

— Особенно насчет, как вы говорите, морали наши понятия не сходятся и не могут сходиться,— ответила она, и что-то грозное пробежало у ней над бровями, а губы по-прежнему слабо трепетали.

— Конечно, конечно! — подхватил Ратч.— Я не филозóф! Я не умею стать... этак, высоко! Я человек простой, раб предрассудков, да!

Сусанна опять усмехнулась.

— Мне кажется, Иван Демьяныч, и вы иногда умели ставить себя выше того, что называют предрассудками.

— Wie so? То есть как же это? Я вас не понимаю.

— Не понимаете? Вы так забывчивы!

Г-н Ратч словно потерялся.

— Я... я...— повторял он.— Я...

— Да, вы, господин Ратч.

Последовало небольшое молчание.

— Однако позвольте, позвольте,— начал было г. Ратч,— как вы можете так дерзко...

[1] премного благодарны! (*польск.*).

Сусанна внезапно вытянулась во весь рост и, не выпуская из рук локтей своих, стискивая их, перебирая по ним пальцами, остановилась перед Ратчем. Казалось, она вызывала его на борьбу, она наступала на него. Лицо ее преобразилось: оно стало вдруг, в мгновение ока, и необычайно красиво и страшно; каким-то веселым и холодным блеском — блеском стали — заблестели ее тусклые глаза; недавно еще трепетавшие губы сжались в одну прямую, неумолимо-строгую черту. Сусанна вызывала Ратча, но тот, как говорится, воззрился в нее и вдруг умолк и опустился, как мешок, и голову втянул в плечи, и даже ноги подобрал. Ветеран двенадцатого года струхнул; в этом нельзя было сомневаться.

Сусанна медленно перевела глаза свои с него на меня, как бы призывая меня в свидетели своей победы и унижения врага, и, в последний раз усмехнувшись, вышла вон из комнаты.

Ветеран остался несколько времени неподвижен на своем кресле; наконец, точно вспомнив забытую роль, он встрепенулся, встал и, ударив меня по плечу, захохотал своим зычным хохотом:

— Вот, подите вы, ха-ха-ха! Кажется, не первый десяток живем мы с этою барышней, а никогда она не может понять, когда я шутку шучу и когда говорю в суриозе! Да и вы, почтеннейший, кажется, недоумеваете... Ха-ха-ха! Значит, вы еще старика Ратча не знаете!

«Нет... Я теперь тебя знаю»,— думал я не без некоторого страха и омерзения.

— Не знаете старика, не знаете! — твердил он, провожая меня до передней и поглаживая себя по животу.— Я человек тяжелый, битый, ха-ха! Но я добрый, ей-богу!

Я опрометью бросился с крыльца на улицу. Мне хотелось поскорее уйти от этого доброго человека.

XIV

«Что они друг друга ненавидят, это ясно,— думал я, возвращаясь к себе домой,— несомненно также и то, что он человек скверный, а она хорошая девушка. Но что такое произошло между ними? Какая причина этого постоянного раздражения? Какой смысл этих намеков? И как это неожиданно вспыхнуло! Под каким пустым предлогом!»

На следующий день мы с Фустовым собрались идти в театр смотреть Щепкина в «Горе от ума». Комедию Грибоедова только что разрешили тогда, предварительно обезобразив ее цензурными урезками. Мы много хлопали Фамусову, Скалозубу. Не помню, какой актер исполнял роль Чацкого, но очень хорошо помню, что он был невыразимо дурен; сперва появился в венгерке и в сапогах с кисточками, а потом во фраке модного в то время цвета «flamme de punch»[1], и фрак этот на нем сидел, как на нашем старом дворецком. Помню также, что бал в третьем акте привел нас в восхищение. Хотя, вероятно, никто и никогда в действительности не выделывал таких па, но это уже было так принято — да, кажется, исполняется таким образом и до сих пор. Один из гостей чрезвычайно высоко прыгал, причем парик его развевался во все стороны, и публика заливалась смехом. Выходя из театра, мы в коридоре столкнулись с Виктором.

— Вы были в театре! — воскликнул он, взмахнув руками.— Как же это я вас не видал? Я очень рад, что встретил вас. Вы непременно должны со мной поужинать. Пойдемте; я угощаю!

Молодой Ратч казался в состоянии взволнованном, почти восторженном. Глазенки его бегали, он ухмылялся, красные пятна выступали на лице.

— На какой это радости? — спросил Фустов.

— На какой? А вот не угодно ли полюбопытствовать?

Виктор отвел нас немного в сторону и, вытащив из кармана панталон целую пачку тогдашних красных и синих ассигнаций, потряс ими в воздухе.

Фустов удивился.

— Ваш батюшка расщедрился?

Виктор захохотал.

— Нашли щедрого! Как же, держи карман!.. Сегодня утром, понадеявшись на ваше ходатайство, я попросил у него денег. Что же, вы думаете, мне отвечал жидомор? «Я, говорит, твои долги, изволь, заплачу. До двадцати пяти рублей включительно!» Слышите: включительно! Нет, милостивый государь, это на мое сиротство бог послал. Случай такой вышел.

— Ограбили кого-нибудь? — небрежно промолвил Фустов.

Виктор нахмурился.

---

[1] «пуншевого пламени» (*франц.*).

— Ух, так вот и ограбил! Выиграл-с, выиграл у офицера, у гвардейца! Вчера только из Петербурга прикатил. И какое стечение обстоятельств! Стóит рассказать... да тут неловко. Пойдемте к Яру: два шага всего. Сказано, я угощаю!

Нам, быть может, следовало отказаться, но мы пошли без возражений.

XV

У Яра нас провели в особую комнату, подали ужин, принесли шампанского. Виктор рассказал нам со всеми подробностями, как он в одном приятном доме встретил этого офицера-гвардейца, очень милого малого и хорошей фамилии, только без царя в голове; как они познакомились, как он, офицер то есть, вздумал для шутки предложить ему, Виктору, играть в дурачки старыми картами, почти что на орехи и с тем условием, чтоб офицеру играть на счастие Вильгельмины, а Виктору на свое собственное счастие; как потом пошло дело на пари.

— А у меня-то, у меня-то,— воскликнул Виктор, и вскочил, и в ладоши захлопал,— всего шесть рублей в кармане. Представьте! И сначала я совсем профершпилился... Каково положение?! Только тут, уж я не знаю чьими молитвами, фортуна улыбнулась. Тот горячиться стал, все карты показывает... Глядь, семьсот пятьдесят рублей и пробухал! Стал еще просить поиграть, ну, да я малый не промах, думаю: нет, этакою благодатью злоупотреблять не надо; шапку сгреб и марш! Вот теперь и старику незачем кланяться, и товарищей угостить можно... Эй, человек! Еще бутылку! Господа, чокнемтесь!

Мы чокнулись с Виктором и продолжали пить и смеяться, хотя рассказ его нам вовсе не понравился, да и самое его общество нам удовольствия доставляло мало. Он принялся любезничать, балагурить, расходился, одним словом, и сделался еще противнее. Виктор заметил наконец, какое он производил на нас впечатление, и насупился; речи его стали отрывистей, взгляды мрачнее. Он начал зевать, объявил, что спать хочет, и, обругав со свойственною ему грубостью трактирного слугу за худо прочищенный чубук, внезапно, с выраженьем вызова на искривленном лице, обратился к Фустову:

— Послушайте-ка, Александр Давыдыч,— промолвил он,— скажите, пожалуйста, за что вы меня презираете?

— Как так? — не сразу нашелся ответить мой приятель.

— Да так же... Я очень хорошо чувствую и знаю, что вы меня презираете, и этот господин (он указал на меня пальцем) тоже, туда же! И хоть бы вы сами очень уже высокою нравственностью отличались, а то такой же грешник, как мы все. Еще хуже. В тихом омуте... пословицу знаете?

Фустов покраснел.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил он.

— А то, что я еще не ослеп и отлично вижу всё, что у меня перед носом делается: шуры-то-муры ваши с сестрицей моей я вижу... И ничего я против этого не имею, потому: во-первых, не в моих правилах, а во-вторых, моя сестрица, Сусанна Ивановна, сама через все тяжкие прошла... Только меня-то за что же презирать?

— Вы сами не понимаете, что вы такое лепечете! Вы пьяны,— проговорил Фустов, доставая пальто со стены.— Обыграл, наверное, какого-то дурака и врет теперь чёрт знает что!

Виктор продолжал лежать на диване и только заболтал ногами, перевешенными через ручку.

— Обыграл! Зачем же вы вино пили? Оно ведь на выигрышные деньги куплено. А врать мне нечего. Не я виноват, что Сусанна Ивановна в своей прошедшей жизни...

— Молчите! — закричал на него Фустов.— Молчите... или...

— Или что?

— Вы узнаете что. Петр, пойдем.

— Ага,— продолжал Виктор,— великодушный рыцарь наш в бегство обращается. Видно, не хочется правду-то узнать! Видно, колется она, правда-то!

— Да пойдем же, Петр,— повторил Фустов, окончательно потерявший обычное свое хладнокровие и самообладание.— Оставим этого дрянного мальчишку!

— Этот мальчишка не боится вас, слышите,— закричал нам вслед Виктор,— презирает вас этот мальчишка, пре-зи-рает! Слышите!

Фустов так проворно шел по улице, что я с трудом поспевал за ним. Вдруг он остановился и круто повернул назад.

— Куда ты? — спросил я.

— Да надо узнать, что этот глупец... Он, пожалуй, спьяна, бог знает что... Только ты не иди за мной... Мы завтра увидимся. Прощай!

И, торопливо пожав мою руку, Фустов направился к гостинице Яр.

На другой день мне не удалось увидеть Фустова, а на следующий за тем день я, зайдя к нему на квартиру, узнал, что он выехал к своему дяде в подмосковную. Я полюбопытствовал, не оставил ли он записки на мое имя, но никакой записки не оказалось. Тогда я спросил лакея, не знает ли он, сколько времени Александр Давыдыч останется в деревне. «Недели с две, а то и побольше, так полагать надо»,— отвечал лакей. Я на всякий случай взял точный адрес Фустова и в раздумье побрел домой. Эта неожиданная отлучка из Москвы, зимой, окончательно повергла меня в недоумение. Моя добрая тетушка заметила мне за обедом, что я всё ожидаю чего-то и гляжу на пирог с капустой, как будто в первый раз от роду его вижу. «Pierre, vous n'êtes pas amoureux?»[1] — воскликнула она наконец, предварительно удалив своих компаньонок. Но я успокоил ее: нет, я не был влюблен.

XVI

Прошло дня три. Меня подмывало пойти к Ратчам; мне сдавалось, что в их доме я должен был найти разгадку всего, что меня занимало, что я понять не мог... Но мне пришлось бы опять встретиться с ветераном... Эта мысль меня удерживала. Вот в один ненастный вечер — на дворе злилась и выла февральская вьюга, сухой снег по временам стучал в окна, как брошенный сильною рукою крупный песок,— я сидел в моей комнатке и пытался читать книгу. Мой слуга вошел и не без некоторой таинственности доложил, что какая-то дама желает меня видеть. Я удивился... Дамы меня не посещали, особенно в такую позднюю пору; однако велел просить. Дверь отворилась, и быстрыми шагами вошла женщина, вся закутанная в легкий летний плащ и желтую шаль. Порывистым движением сбросила она с себя эту шаль и этот плащ, занесенные снегом, и я увидел пред собой Сусанну. Я до того изумился, что слова не промолвил, а она приблизилась к окну и, прислонившись к стене плечом, осталась не

---

[1] Пьер, вы не влюблены? (*франц.*).

подвижною; только грудь судорожно поднималась и глаза блуждали, и с легким оханьем вырывалось дыхание из помертвелых губ. Я понял, что не простая беда привела ее ко мне; я понял, несмотря на свое легкомыслие и молодость, что в этот миг предо мной завершалась судьба целой жизни — горькая и тяжелая судьба.

— Сусанна Ивановна,— начал я,— каким образом..

Она внезапно схватила мою руку своими застывшими пальцами, но голос изменил ей. Она вздохнула прерывисто и потупилась. Тяжелые космы черных волос упали ей на лицо... Снежная пыль еще не сошла с них.

— Пожалуйста, успокойтесь, сядьте,— заговорил я опять,— вот тут, на диване. Что такое случилось? Сядьте, прошу вас.

— Нет,— промолвила она чуть слышно и опустилась на подоконник.— Мне здесь хорошо... Оставьте... Вы не могли ожидать... Но если б вы знали... если б я могла... если б...

Она хотела переломить себя, но с потрясающею силой хлынули из глаз ее слезы — и рыдания, поспешные, жадные рыдания огласили комнату. Сердце во мне перевернулось... Я потерялся. Я видел Сусанну всего два раза; я догадывался, что нелегко ей было жить на свете, но я считал ее за девушку гордую, с твердым характером, и вдруг эти неудержимые, отчаянные слезы... Господи! Да так плачут только перед смертью!

Я стоял сам, как к смерти приговоренный.

— Извините меня,— промолвила она наконец, несколько раз, почти со злобой, утирая один глаз за другим.— Это сейчас пройдет. Я к вам пришла...— Она еще всхлипывала, но уже без слез.— Я пришла... Вы ведь знаете, Александр Давыдыч уехал?

Одним этим вопросом Сусанна во всем призналась и при этом так на меня взглянула, точно желала сказать: «Ведь ты поймешь, ты пощадишь, не правда ли?» Несчастная! Стало быть, ей уже не оставалось другого исхода!

Я не знал, что ей ответить...

— Он уехал, он уехал... он поверил! — говорила между тем Сусанна.— Он не захотел даже спросить меня; он подумал, что я не скажу ему всей правды; он мог это подумать обо мне! Как будто я когда-нибудь его обманывала!

Она закусила нижнюю губу и, слегка нагнувшись, начала царапать ногтем ледяные узоры, наросшие на

стекле. Я поспешно вышел в другую комнату и, услав моего слугу, немедленно вернулся и зажег другую свечку. Я хорошенько не знал, зачем я всё это делал... очень уж я был смущен.

Сусанна по-прежнему сидела на подоконнике, и я тут только заметил, как легко она была одета: серое платьице с белыми пуговицами и широкий кожаный пояс, вот и всё. Я приблизился к ней, но она не обратила на меня внимания.

— Он поверил... он поверил,— шептала она, тихонько покачиваясь из стороны в сторону.— Он не поколебался, он нанес этот последний... последний удар! — Она вдруг повернулась ко мне.— Вы знаете его адрес?

— Да, Сусанна Ивановна... я узнал от его людей... у него в доме. Он мне сам ничего не сказал о своем намерении, я его два дня не видал, пошел осведомиться, а он уже уехал из Москвы.

— Вы знаете его адрес? — повторила она.— Ну, так напишите ему, что он убил меня. Вы хороший человек, я знаю. С вами он не говорил обо мне, наверное, а со мной он говорил о вас. Напишите... ах, напишите ему, чтоб он поскорее вернулся, если он хочет еще застать меня в живых!.. Да нет! Он меня уже не застанет.

Голос Сусанны утихал с каждым словом, и вся она утихала. Но мне это спокойствие казалось еще страшнее, чем те недавние рыдания.

— Он поверил ему...— сказала она еще раз и оперлась подбородком на сложенные руки.

Внезапный порыв ветра с резким свистом и стуком снега ударил в окно, холодная струя пробежала по комнате... Пламя свечей пошатнулось... Сусанна вздрогнула. Я снова попросил ее сесть на диван.

— Нет, нет, оставьте,— отвечала она,— мне здесь хорошо. Пожалуйста.— Она прижалась к промерзлому стеклу, точно она нашла себе гнездышко в углублении окна.— Пожалуйста.

— Но вы дрожите, вы озябли,— воскликнул я.— Посмотрите, ваши ботинки промокли.

— Оставьте... пожалуйста...— прошептала она и закрыла глаза.

Страх нашел на меня.

— Сусанна Ивановна! — чуть не вскрикнул я,— придите в себя, прошу вас! Что с вами? К чему такое отчаяние! Вы увидите, всё разъяснится, какое-нибудь недора-

зумение... неожиданный случай... Вы увидите, он скоро возвратится. Я ему дам знать, я сегодня же ему напишу... Но я не повторю ему ваших слов... Как можно!

— Он меня не застанет,— промолвила Сусанна всё тем же тихим голосом.— Неужели бы я пришла сюда, к вам, к незнакомому человеку, если бы не знала, что не останусь жива? Ах, всё мое последнее унесено безвозвратно! Вот мне и не хотелось умереть так, в одиночку, в молчанку, не сказав никому: «Я всё потеряла... и я умираю... Посмотрите!»

Она снова ушла в свое холодное гнездышко... Не забуду я вовек этой головы, этих неподвижных глаз с их глубоким и погасшим взором, этих темных рассыпанных волос на бледном стекле окна, самого этого серенького тесного платья, под каждой складкой которого еще билась такая молодая, горячая жизнь!

Я невольно всплеснул руками.

— Вам... вам умереть, Сусанна Ивановна! Вам только жить... Вам жить должно!

Она посмотрела на меня... Мои слова ее как будто удивили.

— Ах, вы не знаете,— начала она и тихонько уронила обе руки.— Мне нельзя жить. Слишком, слишком много пришлось терпеть, слишком! Я переносила... я надеялась... Но теперь... когда и это рушилось... когда...

Она подняла глаза к потолку и словно задумалась. Трагическая черта, которую я некогда заметил у ней около губ, теперь обозначалась еще яснее, она распространилась по всему лицу. Казалось, чей-то неумолимый перст провел ее безвозвратно, навсегда отметил это погибшее существо.

Она всё молчала.

— Сусанна Ивановна,— сказал я, чтобы чем-нибудь нарушить эту страшную тишину, — он вернется, уверяю вас!

Сусанна опять посмотрела на меня.

— Что вы говорите? — промолвила она с видимым усилием.

— Он вернется, Сусанна Ивановна, Александр вернется!

— Он вернется? — повторила она.— Но если бы даже он вернулся, не могу я простить ему это унижение, это недоверие...

Она схватила себя за голову.

— Боже мой! Боже мой! Что я говорю! И зачем я здесь? Что это такое? О чем... о чем я пришла просить... и кого? Ах, я с ума схожу!..

Глаза ее остановились.

— Вы хотели просить меня, чтоб я написал Александру,— поспешил я подсказать ей.

Она встрепенулась.

— Да, напишите... напишите что хотите... А вот это...— Она торопливо пошарила у себя в кармане и достала небольшую тетрадку.— Это я было для него написала... перед его бегством... Но ведь он поверил... поверил тому!

Я понимал, что речь шла о Викторе, Сусанна не хотела назвать его, не хотела произнести его ненавистное имя.

— Однако позвольте, Сусанна Ивановна,— начал я,— почему же вы полагаете, что Александр Давыдыч имел разговор... с тем человеком?

— Почему? Почему? Но тот сам пришел ко мне и всё рассказал, и хвастался... и так же смеялся, как его отец! Вот, вот возьмите,— продолжала она, всовывая мне тетрадку в руку,— прочтите, пошлите ему, сожгите, бросьте, делайте что хотите, как хотите... Но нельзя же умереть так, чтобы никто не знал... А теперь мне пора... Мне идти надо.

Она поднялась с подоконника... Я остановил ее.

— Куда же вы, Сусанна Ивановна, помилуйте! Послушайте, какая вьюга! Вы так легко одеты... И дом ваш отсюда не близко. Позвольте, я хоть за каретой пошлю, за извозчиком...

— Не надо, ничего не надо,— промолвила она, настойчиво отклоняя меня и взявшись за плащ и за шаль.— Не удерживайте меня, ради бога! а то... я ни за что не отвечаю! Я чувствую бездну, темную бездну под ногами... Не подходите, не трогайте меня! — С лихорадочной поспешностью надела она плащ, накинула шаль...— Прощайте... Прощайте... О, бедное, бедное мое племя, племя вечных странников, проклятие лежит на тебе! Но ведь меня никто не любил, с какой же стати было ему...— Она вдруг умолкла.— Нет, меня любил один,— заговорила она опять, ломая руки,— но смерть всюду, всюду неизбежная смерть! Теперь моя очередь... Не идите за мной,— пронзительно вскрикнула она.— Не идите! Не идите!

Я остолбенел, а она бросилась вон, и мгновенье спустя я слышал, как грохнула внизу тяжелая дверь на улицу, и оконные рамы снова вздрогнули под напором метели.

Я не скоро опомнился. Я только что начинал жить тогда: не испытал ни страсти, ни скорби и редко бывал свидетелем того, как выражаются в других те сильные чувства... Но искренность этой скорби, этой страсти меня поразила. Если бы не тетрадка в руках моих, я, право, мог бы подумать, что я всё это во сне видел — до того это всё было необычайно и пронеслось как мгновенный грозовый ливень. До полуночи читал я эту тетрадку. Она состояла из нескольких листов почтовой бумаги, кругом исписанных крупным, но неправильным почерком, почти без помарок. Ни одна строка не шла прямо, и, казалось, в каждой чувствовался тревожный трепет руки, водившей пером. Вот что стояло в этой тетрадке (я ее сберег до сих пор):

XVII

Моя история

Мне в нынешнем году минет двадцать восемь лет. Вот мои первые воспоминания:

Я живу в Тамбовской губернии, у одного богатого помещика, Ивана Матвеича Колтовского, в его деревенском доме, в небольшой комнате второго этажа. Со мной вместе живет мать моя, еврейка, дочь умершего живописца, вывезенного из-за границы, болезненная женщина с необыкновенно красивым, как воск бледным лицом и такими грустными глазами, что, бывало, как только она долго посмотрит на меня, я, и не глядя на нее, непременно почувствую этот печальный, печальный взор, и запла́чу, и брошусь ее обнимать. Ко мне ездят наставники; меня учат музыке и зовут меня барышней. Я обедаю за господским столом вместе с матушкой. Г-н Колтовской — высокий, видный старик с величавою осанкой; от него всегда пахнет амброй. Я боюсь его до́ смерти, хоть он зовет меня Suzon и дает мне целовать, сквозь кружевную манжетку, свою сухую жилистую руку. С матушкой он изысканно вежлив, но беседует и с нею мало: скажет ей два-три благосклонные слова, на которые она тотчас торопливо ответит,— скажет и умолкнет, и сидит, с важностью озираясь кругом и медленно перебирая щепотку испанского табаку в золотой круглой табатерке с вензелем императрицы Екатерины.

Девятый год моего возраста остался мне навсегда памятным... Я узнала тогда, через горничных в девичьей,

что Иван Матвеич Колтовской мне отец, и почти в тот же день мать моя, по его приказанию, вышла замуж за г. Ратча, который состоял у него чем-то вроде управляющего. Я никак не могла понять, как это возможно, я недоумевала, я чуть не заболела, моя голова изнемогала, ум становился в тупик. «Правда ли, правда ли, мама,— спросила я ее,— этот *бука пахучий* (так я звала Ивана Матвеича) мой папа?» Матушка испугалась чрезвычайно, зажала мне рот... «Никогда, никому не говори об этом, слышишь, Сусанна, слышишь — ни слова!..» — твердила она трепетным голосом, крепко прижимая мою голову к своей груди... И я точно никому об этом не говорила... Это приказание моей матери я поняла... Я поняла, что я должна была молчать, что моя мать у меня прощения просила!

Несчастье мое началось тогда же. Г-н Ратч не любил моей матери, и она его не любила. Он женился на ней из-за денег, а она должна была повиноваться. Г-н Колтовской, вероятно, нашел, что таким образом всё устроилось к лучшему — «la position était régularisée»[1]. Помню, накануне свадьбы мать моя и я — мы обе, обнявшись, проплакали почти целое утро — горько, горько и молча. Не диво, что она молчала... Что могла она сказать мне? Но что я ее не расспрашивала — это доказывает только то, что несчастные дети умнеют скорее счастливых... на свою беду.

Г-н Колтовской продолжал заниматься моим воспитанием и даже понемногу приблизил меня к своей особе. Он со мной не разговаривал... но утром и вечером, стряхнув двумя пальцами с своего жабо табачные пылинки, он теми же двумя пальцами, холодными как лед, трепал меня по щеке и давал мне какие-то темные конфетки, тоже с запахом амбры, которых я никогда не ела. Двенадцати лет от роду я стала его лектрисой, «sa petite lectrice»[2]. Я читала ему французские сочинения прошлого столетия, мемуары Сен-Симона, Мабли, Реналя, Гельвеция, переписку Вольтера, энциклопедистов, ничего, конечно, не понимая, даже тогда, когда он, осклабясь и зажмурясь, приказывал мне «relire ce dernier paragraphe, qui est bien remarquable!»[3]. Иван Матвеич был совершенный француз. Он жил в Па-

---

[1] «положение было упорядочено» *(франц.)*.
[2] «его маленькой чтицей» *(франц.)*.
[3] «перечитать этот последний весьма примечательный параграф» *(франц.)*.

риже до революции, помнил Марию Антуанету, получил приглашение к ней в Трианон; видел и Мирабо, который, по его словам, носил очень большие пуговицы — «exagéré en tout»[1] — и был вообще человек дурного тона — «en dépit de sa naissance!»[2] Впрочем, Иван Матвеич редко рассказывал о том времени; но раза два или три в год произносил, обращаясь к кривому старичку-эмигранту, которого держал на хлебах и называл, бог знает почему, «M. le Commandeur»[3],— произносил своим неспешным носовым голосом экспромпт, некогда сказанный им на вечере у герцогини Полиньяк. Я помню только первые два стиха... (дело шло о параллели между русскими и французами):

L'aigle se plaît aux régions austères,
Où le ramier ne saurait habiter...[4]

— Digne de M. de Saint-Aulaire![5] — всякий раз восклицал M. le Commandeur.

Иван Матвеич до самой смерти казался моложавым: щеки у него были розовые, зубы белые, брови густые и неподвижные, глаза приятные и выразительные — светлые черные глаза, настоящий агат; он вовсе не был капризен и обходился со всеми, даже со слугами, очень учтиво... Но, боже мой! как мне было тяжело с ним, с какою радостью я всякий раз от него уходила, какие нехорошие мысли возмущали меня в его присутствии! Ах, я не была в них виновата!.. Не виновата я в том, что из меня сделали...

Г-ну Ратчу, после его свадьбы, был отведен флигель недалеко от господского дома. Я жила там с моею матерью. Невесело было мне и там. У нее скоро родился сын, тот самый Виктор, которого я вправе считать и называть моим врагом. С самого его рождения здоровье моей матушки, и прежде слабое, уже не поправилось. Г-н Ратч в то время не считал нужным выказывать ту веселость, которой он теперь предается: он имел вид постоянно суровый и старался прослыть за дельца. Со мной он был жесток и груб. Я чувствовала удовольствие, когда уходила от Ивана Матвеича; но и свой флигель я покидала охотно... Несчастная моя

---

[1] «преувеличивая во всем» *(франц.)*.
[2] «вопреки своему происхождению» *(франц.)*.
[3] «господин Командор» *(франц.)*.
[4] Орлу нравится в суровых краях, где горлица не могла бы жить... *(франц.)*.
[5] Достойно господина де Сент-Олера! *(франц.)*.

молодость! Вечно от одного берега к другому, и ни к которому не хочется пристать! Бывало, бежишь через двор, зимой, по глубокому снегу, в холодном платьице, бежишь в господский дом к Ивану Матвеичу на чтение и словно радуешься... А придешь, увидишь эти большие унылые комнаты, эти пестрые штофные мебели, этого приветливого и бездушного старика в шелковой «дульетке» нараспашку, в белом жабо и белом галстухе, с маншетками на пальцах, с «супсоном» пудры (так выражался его камердинер) на зачесанных назад волосах, захватит тебе дыхание этот душный запах амбры, и сердце так и упадет. Иван Матвеич сидел обыкновенно в просторных вольтеровских креслах; на стене, над его головой, висела картина, изображавшая молодую женщину с ясным и смелым выражением лица, одетую в богатый еврейский костюм и всю покрытую драгоценными камнями, жемчугом.... Я часто заглядывалась на эту картину, но только впоследствии узнала, что это был портрет моей матери, писанный ее отцом по заказу Ивана Матвеича. Изменилась же она с того времени! Умел он сломить и уничтожить ее! «И она его любила! Любила этого старика! — думалось мне...— Как это возможно! Его любить!» А между тем, когда я вспоминала иные взгляды матушки, иные недомолвки и невольные движения... «Да, да, она любила его!» — твердила я с ужасом. Ах, не дай бог никому испытывать такие ощущения!

Каждый день я читала Ивану Матвеичу, иногда три, четыре часа сряду... Мне было вредно так много и так громко читать. Доктор наш боялся за мою грудь и даже однажды доложил об этом Ивану Матвеичу. Но тот только улыбнулся (то есть нет: он никогда не улыбался, а как-то завастривал и выдвигал вперед губы) и сказал ему: «Vous ne savez pas ce qu'il y a de ressources dans cette jeunesse» [1].— «Однако в прежние годы M. le Commandeur...» — осмелился было заметить доктор. Иван Матвеич опять усмехнулся: «Vous rêvez, mon cher,— перебил он его,— le Commandeur n'a plus de dents et il crache à chaque mot. J'aime les voix jeunes» [2].

И я продолжала читать, хоть и много кашляла по утрам и по ночам...

---

[1] «Вы не знаете, каковы силы юности» *(франц.)*.
[2] «Вы бредите, мой дорогой, у Командора нет зубов и он плюется на каждом слове. Я люблю молодые голоса» *(франц.)*.

Иногда Иван Матвеич заставлял меня играть на фортепиано. Но музыка действовала усыпительно на его нервы. Глаза его тотчас закрывались, голова мерно опускалась, и только изредка слышалось: «C'est du Steibelt, n'est-ce pas? Jouez-moi du Steibelt»[1]. Иван Матвеич считал Штейбельта великим гением, умевшим победить в себе «la grossière lourdeur des Allemands»[2], и упрекал его в одном: «Trop de fougue! trop d'imagination!..»[3] Когда же Иван Матвеич замечал, что я уставала за фортепиано, он предлагал мне «du cachou de Bologne»[4]. Так шли дни за днями...

И вот в одну ночь — незабвенную ночь! — страшное несчастие меня поразило. Моя матушка скончалась почти внезапно. Мне только что минуло пятнадцать лет. О, какое это было горе, каким злым вихрем оно налетело на меня! Как запугала меня эта первая встреча со смертию! Бедная моя матушка! Странные были наши отношения: мы обе страстно любили друг друга... страстно и безнадежно; мы обе словно хранили и скрывали от самих себя общую нам тайну, упорно молчали о ней, хотя знали, знали всё, что происходило в глубине сердец наших! Даже о прошедшем, о раннем своем прошедшем, матушка со мной не говорила и никогда не жаловалась словами, хотя всё существо ее было одна немая жалоба! Мы избегали всякого несколько серьезного разговора. Ах! я всё надеялась, что придет час, и она выскажется, наконец, и я выскажусь, и легче станет нам... Но заботы ежедневные, нерешительный и робкий нрав, болезни, присутствие г. Ратча, а главное: этот вечный вопрос «к чему?» и это неуловимое, беспрерывное утекание времени, жизни... Кончилось всё громовым ударом, и не только тех слов, которые бы разрешили нашу тайну, даже обычных предсмертных прощаний мне не пришлось услышать от моей матушки! Только и осталось у меня в памяти, что восклицание г. Ратча: «Сусанна Ивановна, извольте идти, мать вас благословить желает!», а потом бледная рука из-под тяжелого одеяла, дыхание мучительное, закатившийся глаз... О, довольно! довольно!

С каким ужасом, с каким негодованием, с каким тоскливым любопытством я на следующий день и в день

---

[1] «Это из Штейбельта, не правда ли? Сыграйте мне Штейбельта» *(франц.)*.

[2] «грубую тяжеловесность немцев» *(франц.)*.

[3] «Слишком много пыла! слишком много воображения!..» *(франц.)*.

[4] «болонского желудочного бальзама» *(франц.)*.

похорон смотрела на лицо моего отца.... да, моего отца!— в шкатулке покойницы нашлись его письма. Мне показалось, что он побледнел немного и осунулся... а впрочем, нет! Ничего не шевельнулось в этой каменной душе. Точно так же, как и прежде, позвал он меня спустя неделю в кабинет; точно тем же голосом попросил читать: «Si vous le voulez bien, les observations sur l'Histoire de France de Mably, à la page 74... là, ou nous avons été interrompus»[1]. И даже портрета матушки он не велел вынести! Правда, отпуская меня, он подозвал меня к себе и, дав вторично поцеловать свою руку, промолвил: «Suzanne, la mort de votre mère vous a privée de votre appui naturel; mais vous pourrez toujours compter sur ma protection»[2], но тотчас же слегка пихнул меня в плечо другою рукой и, с обычным своим завастриванием губ, прибавил: «Allez, mon enfant»[3]. Я хотела было закричать ему: «Да ведь вы мой отец!», но я ничего не сказала и вышла.

На другое утро, рано, я пошла на кладбище. Май месяц стоял тогда во всей красе цветов и листьев, и долго я сидела на свежей могиле. Я не плакала, не грустила; у меня одно вертелось в голове: «Слышишь, мама? Он хочет и мне оказывать покровительство!» И мне казалось, что мать моя не должна была оскорбиться тою усмешкой, которая невольно просилась мне на губы.

Иногда я спрашиваю себя: что заставляло меня так настойчиво желать, добиваться — не признанья... куда! а хоть теплого родственного слова от Ивана Матвеича? Разве я не знала, что́ он был за человек и как мало он походил на то, чем в моих мечтаниях представлялся мне *отец*?.. Но я была так одинока, так одинока на земле! И потом всё та же неотступная мысль не давала мне покоя: «Ведь она его любила? За что-нибудь она полюбила же его?»

Прошло еще три года. Ничего не изменялось в нашей однообразной, заранее размеренной, рассчитанной жизни. Виктор подрастал. Я была старше его восемью годами и охотно занялась бы им, но г. Ратч этому воспротивился. Он приставил к нему няню, которая должна была строго наблюдать, чтобы ребенок не «баловался», то есть не до-

---

[1] «Пожалуйста, замечания к Истории Франции Мабли, страница 74... там, где нас прервали» *(франц.)*.

[2] «Сюзанна, смерть вашей матери лишила вас естественной опоры, но вы всегда можете рассчитывать на мое покровительство» *(франц.)*.

[3] «Идите, дитя мое» *(франц.)*.

пускать меня до него. Да и сам Виктор меня чуждался. Однажды г. Ратч пришел в мою комнату расстроенный, взволнованный, злобный. Уже накануне дошли до меня дурные слухи о моем вотчиме: люди толковали, будто он был уличен в утайке значительной суммы, во взятке с купца.

— Вы можете помочь мне,— начал он, нетерпеливо постукивая пальцами по столу.— Подите, попросите за меня Ивана Матвеича.

— Попросить? с какой стати? о чем?

— Походатайствуйте за меня... ведь я вам все-таки не чужой. Меня обвиняют... Ну, словом, я могу без хлеба остаться, да и вы тоже.

— Но как же я к нему пойду? Как я стану его беспокоить?

— Вот еще! Вы имеете *право* его беспокоить!

— Какое же право, Иван Демьяныч?

— Ну, не притворяйтесь... *Вам* он не может отказать по многим причинам. Неужели же вы меня не понимаете?

Он нагло посмотрел мне в глаза, и я почувствовала, что щеки мои так и загорелись. Ненависть, презрение поднялись во мне разом, хлынули волной, затопили меня.

— Да, я понимаю вас, Иван Демьяныч,— ответила я ему наконец. Мой голос мне самой показался незнакомым.— И я не пойду к Ивану Матвеичу и не стану его просить. Без хлеба, так без хлеба!

Г-н Ратч дрогнул, стиснул зубы, сжал кулаки.

— Ну, погоди же, царевна Меликитриса! — хрипло прошептал он.— Я тебе этого не забуду!

В тот же день Иван Матвеич потребовал его к себе и, говорят, грозил ему тростью, тою самою тростью, которою некогда обменялся с дюком де Ларошфуко, кричал: «Вы суть подлец и мздолюбец! Я вас поставлю наружу!» (Иван Матвеич почти совсем не умел говорить по-русски и презирал наше «грубое наречие», ce jargon vulgaire et rude[1]. Кто-то при нем сказал однажды: «Это само собою разумеется». Иван Матвеич пришел в негодование и часто потом приводил эту фразу как пример бессмыслицы и нелепости русского языка. «Что такое есть: само собою разумеется? — спрашивал он *по-русски*, напирая на каждый слог.— А почему же не с простотою: разумеется? и зачем: само собою?!»)

---

[1] это простонародное и грубое наречие *(франц.)*.

Иван Матвеич, однако, не прогнал г. Ратча, даже не лишил его места. Но мой вотчим сдержал слово: он мне *этого* не забыл.

Я пачинала замечать перемену в Иване Матвеиче. Он стал грустить, скучал, здоровье его пошатнулось. Его розовое свежее лицо пожелтело и сморщилось, один зуб спереди выпал. Он совсем перестал выезжать и прекратил введенные им приемные дни с угощением для крестьян, без участия духовенства — «sans le concours du clergé». В такие дни Иван Матвеич, с розаном в петличке, выходил к крестьянам в залу или на балкон и, коснувшись губами серебряного стаканчика с водкой, держал им речь вроде следующей: «Вы довольны моими поступками, сколь и я доволен вашим усердствованием; сему радуюсь истинно. Мы все *браты*; само рождение нас производит равными; пью ваше здравие!». Он кланялся им, и крестьяне кланялись ему в пояс, а не в землю, что было строго запрещено. Угощения продолжались по-прежнему, но Иван Матвеич уже не показывался своим подданным. Иногда он прерывал мое чтение восклицаниями: «La machine se détraque! Cela se gâte!»[1] Самые глаза его, эти светлые каменные глаза, потускнели и словно уменьшились; он засыпал чаще прежнего и тяжело вздыхал во сне. Не изменилось лишь его обращение со мной; только прибавился оттенок рыцарской вежливости. Он хоть и с трудом, но всякий раз вставал с кресла, когда я входила, провожал меня до двери, поддерживая меня рукой под локоть, и вместо Suzon стал звать меня то «ma chère demoiselle»[2], то «mon Antigone»[3]. M. le Commandeur умер года два после кончины матушки; по-видимому, его смерть гораздо глубже поразила Ивана Матвеича. Ровесник исчез: вот что его смутило. И между тем единственная заслуга г. Командора в последнее время состояла только в том, что он всякий раз восклицал: «Bien joué, mal réussi!»[4], когда Иван Матвеич, играя с г. Ратчем на биллиарде, давал промах или не попадал в лузу; да еще, когда Иван Матвеич обращался к нему за столом с вопросом вроде, например, следующего: «N'est-ce pas, M. le Commandeur, c'est Montesquieu qui a dit cela dans ses

---

[1] «Машина разлаживается! Дело портится!» *(франц.)*.
[2] «милая барышня» *(франц.)*.
[3] «моя Антигона» *(франц.)*.
[4] «Сыграно хорошо, а удалось плохо!» *(франц.)*.

„Lettres Persanes"?»[1] Тот, иногда уронив ложку супу на свою манишку, глубокомысленно отвечал: «Ah, monsieur de Montesquieu? Un grand écrivain. monsieur, un grand écrivain!»[2] Только однажды, когда Иван Матвеич сказал ему, что les thèophilantropes ont eu pourtant du bon[3], старик взволнованным голосом воскликнул: «Monsieur de Kolontouskoi! (он в двадцать пять лет не выучился выговаривать правильно имя своего патрона) — Monsieur de Kolontouskoi! Leur fondateur, l'instigateur de cette secte, ce La Reveillère Lepeaux, était un bonnet rouge!» — «Non, non,— говорил Иван Матвеич, ухмыляясь и переминая щепотку табаку,— des fleurs, des jeunes vierges, le culte de la Nature... Ils ont eu du bon, ils ont du bon!..»[4] Я всегда удивлялась, как много знал Иван Матвеич и как бесполезно было это знание для него самого.

Иван Матвеич видимо опускался, но всё еще крепился. Однажды, недели за три до смерти, с ним тотчас после обеда сделался сильный припадок головокружения. Он задумался, сказал: «C'est la fin»[5] — и, придя в себя и отдохнув, написал письмо в Петербург к своему единственному наследнику, брату, с которым лет двадцать не имел сношений. Прослышав о нездоровье Ивана Матвеича, его посетил один сосед, немец, католик, некогда знаменитый врач, живший на покое в своей деревеньке. Он весьма редко бывал у Ивана Матвеича, но тот всегда принимал его с особенным вниманием и вообще очень уважал его. Чуть ли не его одного во всем свете и уважал он. Старик посоветовал Ивану Матвеичу послать за священником, но Иван Матвеич отвечал, что «ces messieurs et moi, nous n'avons rien à nous dire»[6], и просил переменить разговор; а по отъезде соседа отдал приказ камердинеру впредь уже никого не принимать. Потом он велел позвать меня. Я испугалась, когда увидала его: синие пятна выступили у него под глазами, лицо вытянулось и одеревенело, челюсть повис-

---

[1] «Не правда ли, г. Командор, это сказал Монтескье в своих „Персидских письмах"?» *(франц.)*.

[2] «Ах, господин де Монтескье? Великий писатель, сударь, великий писатель!» *(франц.)*.

[3] у тесфилантропов было все-таки и кое-что хорошее (*франц.*).

[4] «Господин Колонтуской! Основатель и вдохновитель этой секты, этот Ла Ревельер Лепо был красный колпак!» — «Нет, нет, цветы, юные девы, культ природы... У них было кое-что хорошее, кое-что хорошее!» *(франц.)*.

[5] «Это конец» *(франц.)*.

[6] «нам с этими господами нечего сказать друг другу» *(франц.)*.

ла. «Vous voilà grande, Suzon,— заговорил он, с трудом выговаривая согласные буквы, но всё еще стараясь улыбнуться (мне тогда уже пошел девятнадцатый год),— vous allez peut-être bientôt rester seule. Soyez toujours sage et vertueuse. C'est la dernière recommandation d'un...— он кашлянул,— d'un vieillard qui vous veut de bien. Je vous ai recommandée à mon frère et je ne doute pas qu 'il ne respecte mes volontés...— Он опять кашлянул и заботливо пощупал себе грудь: — Du reste, j'espère encore pouvoir faire quelque chose pour vous.... dans mon testament»[1]. Эта последняя фраза меня как ножом резанула по сердцу. Ах, это уже было слишком.... слишком презрительно и обидно! Иван Матвеич, вероятно, приписал другому чувству — чувству горести или благодарности то, что выразилось у меня на лице; и, как бы желая меня утешить, потрепал меня по плечу, в то же время по обыкновению ласково меня отодвигая, и промолвил: «Voyons, mon enfant, du courage! Nous sommes tous mortels. Et puis, il n'y a pas encore de danger. Ce n'est qu'une précaution que j'ai cru devoir prendre... Allez!»[2] Как в тот раз, когда он позвал меня к себе после кончины матушки, я опять хотела закричать ему: «Да ведь я ваша дочь! я дочь ваша!» Но, подумала я, ведь он, пожалуй, в этих словах, в этом сердечном вопле услышит одно желание заявить мои права, права на его наследство, на его деньги... О, ни за что! Не скажу я ничего этому человеку, который ни разу не упомянул при мне имени моей матери, в глазах которого я так мало значу, что он даже не дал себе труда узнать, известно ли мне мое происхождение! А может быть, он это и подозревал и знал, да не хотел «поднимать струшню» (его любимая поговорка, единственная русская фраза, которую он употреблял), не хотел лишить себя хорошей лектрисы с молодым голосом! Нет, нет! Пускай же он останется столь же виноватым пред своею дочерью, как был он виноват пред ее матерью!

---

[1] «Вы уже взрослая, Сюзон, может быть, вы скоро останетесь одна. Будьте всегда благоразумны и добродетельны. Это последнее наставление... старика, который желает вам добра. Я вас поручил моему брату и не сомневаюсь, что он уважит мою волю... Впрочем, надеюсь, что смогу кое-что сделать для вас... в моем завещании» *(франц.)*.

[2] «Полно, дитя, мужайтесь! Все мы смертны. И ведь опасности-то еще нет. Это лишь предосторожность, которую я счел долгом принять... Идите!» *(франц.)*.

Пускай унесет в могилу обе эти вины! Клянусь, клянусь: не услышит он из уст моих этого слова, которое должно же звучать чем-то священным и сладостным во всяких ушах! Не скажу я ему: отец! Не прощу ему за мать и за себя! Он не нуждается ни в этом прощении, ни в том названии... Не может быть, не может быть, чтоб он не нуждался в нем! Но не будет ему прощения, не будет, не будет!

Бог знает, сдержала ли бы я свою клятву и не смягчилось ли бы мое сердце, не превозмогла ли бы я своей робости, своего стыда, своей гордости... но с Иваном Матвеичем случилось то же самое, что с моей матушкой. Смерть так же внезапно унесла его и так же ночью. Тот же г. Ратч разбудил меня и вместе со мной побежал в господский дом, в спальню Ивана Матвеича... Но я не застала даже тех последних предсмертных движений, которые такими неизгладимыми чертами залегли мне в память у постели моей матушки. На обшитых кружевом подушках лежала какая-то сухая, темного цвета кукла с острым носом и взъерошенными седыми бровями... Я закричала от ужаса, от отвращенья, бросилась вон, наткнулась в дверях на бородатых людей в армяках с праздничными красными кушаками, и уже не помню, как очутилась на свежем воздухе...

Рассказывали потом, что, когда камердинер вбежал в спальню на сильный звон колокольчика, он нашел Ивана Матвеича не на кровати, а в двух шагах от нее. И будто он сидел на полу, скорчившись, и два раза сряду повторил: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» И будто это были его последние слова. Но я не могу этому верить. С какой стати он заговорил бы по-русски в такую минуту и в таких выражениях!

Целые две недели ждали мы потом приезда нового барина, Семена Матвеича Колтовского. Он прислал приказание ничего не трогать, никого не сменять до личного своего осмотра. Все двери, все мебели, ящики, столы — всё заперли, запечатали. Все люди приуныли и насторожились. Я стала вдруг одним из главных лиц в доме, чуть не самым главным лицом. Меня и прежде звали барышней; но теперь это слово приняло какой-то новый смысл, произносилось с особенным ударением. Поднялось шушуканье. «Старый, мол, барин скончался внезапно, и священника позвать к нему не успели, он же у исповеди давным-давно не бывал; да ведь завещание написать недолго». Г-н Ратч также почел за нужное изменить свой образ дей-

ствия. Он не прикинулся добродушным и ласковым: он знал, что не обманет меня, но на лице его изобразилось угрюмое смирение. «Видишь, дескать, я покоряюсь». Все искали во мне; старались мне угождать... а я не знала, что делать и как быть, и только дивилась, как это люди не понимают, что оскорбляют меня. Наконец приехал Семен Матвеич.

Семен Матвеич был годами десятью моложе Ивана Матвеича и весь свой век шел по совершенно другой дороге. Он состоял на службе в Петербурге, занимал важное место... Он был женат, рано овдовел; один сын был у него. С лица Семен Матвеич походил на своего старшего брата, только ростом он был ниже и толще, голову имел круглую, лысую, такие же светлые черные глаза, как у Ивана Матвеича, только с поволокой, и большие красные губы. В противность брату, которого он даже после его смерти величал французским философом, а иногда просто чудаком, Семен Матвеич почти постоянно говорил по-русски, громко, речисто, и то и дело хохотал, причем совершенно закрывал глаза и неприятно трясся всем телом, точно злость его колотила. Он принялся за дела очень круто, во всё входил сам, от всех требовал отчета подробнейшего. В первый же день своего приезда он пригласил священника со всем причтом, велел отслужить молебен с водосвятием и всюду окропить водою, все комнаты в доме, даже чердаки, даже подвалы, для того, чтобы, как он выразился, «радикально выгнать вольтериянский и якобинский дух». В первую же неделю некоторые любимцы Ивана Матвеича слетели с мест, один даже попал на поселение, другие подверглись телесным наказаниям; самый даже старый камердинер,— он был родом турок, знал французский язык, его подарил Ивану Матвеичу покойный фельдмаршал Каменский,— самый этот камердинер получил, правда, вольную, но вместе с нею и приказание выехать в двадцать четыре часа, «чтобы другим соблазна не было». Семен Матвеич оказался барином строгим; вероятно, многие пожалели о покойнике. «С батюшкой, с Иваном Матвеичем,— сокрушался при мне один уже совсем дряхлый дворецкий,— только и было нам заботы, чтобы белье подавалось чистое, да в комнатах чтобы хорошо пахло, да чтоб людского голоса в передней не было слышно — это уже сохрани бог! А там хоть трава не расти! Мухи в жизнь свою покойничек не обидел! Ну, теперь беда! Помирать надо!» Также скоро изменилось и мое положение, то есть то положение, в ко-

торое я попала на несколько дней и против воли... В бумагах Ивана Матвеича не нашлось никакого завещания, ни одной строки, написанной в мою пользу. Все вдруг отхлынули от меня... О г. Ратче я уже не говорю, но и другие все досадовали на меня и старались мне выказать свою досаду: точно я их обманула. В одно воскресенье, после обедни, которую он постоянно прослушивал в алтаре, Семен Матвеич потребовал меня к себе. Я его до того дня видела мельком, и он, казалось, меня не замечал. Он принял меня в своем кабинете, стоя у окна. На нем был виц-мундирный фрак с двумя звездами. Я остановилась возле двери; сердце сильно стучало во мне от страха и от другого чувства, еще неопределенного, но уже тяжелого. «Я желал вас видеть, молодая девица,— заговорил Семен Матвеич, взглянув мне сперва на ноги, а потом вдруг в лицо,— этот взгляд точно толкнул меня,— я желал вас видеть для того, чтоб объявить вам мое решение и уверить вас в моем несомнительном расположении быть вам полезным.— Он возвысил голос.— Прав вы никаких, конечно, не имеете, но как... лектриса моего брата, вы всегда можете рассчитывать на мое... на мое внимание. Я... конечно, уверен в вашем благоразумии и в ваших правилах. Господин Ратч, ваш вотчим, уже получил от меня нужные инструкции. К тому же я должен сказать, что ваша счастливая наружность служит мне залогом ваших благородных чувств.— Семен Матвеич вдруг залился тонким хохотом, а я... не обиделась я... но жалко мне стало самой себя... и тут-то я вполне почувствовала себя круглою сиротой. Семен Матвеич подошел короткими твердыми шагами к столу, достал из ящика пачку ассигнаций и, всунув мне ее в руку, прибавил: — Здесь небольшая сумма от меня вам на иголки. Я и впредь вас не забуду, моя миленькая, а теперь прощайте и будьте умницей». Я взяла эту пачку машинально, я взяла бы всё, что бы он мне ни дал и, вернувшись к себе в комнату, долго проплакала, сидя на своей постели. Я и не заметила, как я пачку уронила на пол. Г-н Ратч нашел ее и поднял и, спросив меня, что я с нею намерена сделать, оставил ее у себя.

В судьбе его произошла тогда значительная перемена. После некоторых разговоров с Семеном Матвеичем он попал к нему в большую милость и скоро получил место главного управляющего. С того времени проявилась в нем веселость, проявилось это вечное хохотание: он сперва хотел подделаться к своему патрону... впоследствии всё

это вошло в привычку. С того же времени он стал русским патриотом. Семен Матвеич придерживался всего национального, сам называл себя русаком, смеялся над немецкой одеждой, которую, однако, носил; сослал в дальнюю деревню повара, за воспитание которого Иван Матвеич заплатил большие деньги,— сослал его за то, что тот не сумел приготовить рассольника с гусиными шейками. Из алтаря Семен Матвеич подтягивал дьячкам, а когда девушек сгоняли хоровод водить и песни играть, он и им подтягивал и подтопывал, и щеки им щипал... Впрочем, он скоро уехал в Петербург и оставил моего вотчима чуть не полным властелином всего имения.

Горькие дни начались для меня... Единственным моим утешением была музыка, и я предалась ей всею душой. К счастию, г. Ратч был очень занят, но при всяком удобном случае он давал мне чувствовать свою вражду; по обещанию, «не забывал» мне моего отказа. Он помыкал мною, заставлял меня переписывать свои длинные и лживые донесения Семену Матвеичу, поправлять в них орфографические ошибки; я принуждена была беспрекословно ему повиноваться, и я повиновалась. Он объявил, что смирит меня, сделает меня шёлковою. «Что это у вас за бунтовщицкие глаза? — кричал он иногда за обедом, напившись пива и стуча по столу ладонью,— вы, может быть, думаете: я, дескать, молчалива, как овечка, стало быть, я права... Нет! Вы извольте глядеть на меня тоже, как овечка!» Положение мое становилось возмутительно, невыносимо... Сердце мое ожесточалось. Что-то опасное стало всё чаще и чаще подниматься в нем; ночи я проводила без сна и без огня, всё думала, думала, и в наружном мраке, в темноте внутренней созревало страшное решение. Приезд Семена Матвеича дал другое направление моим мыслям.

Его никто не ожидал: осень давно наступила. Оказалось, что он вышел в отставку по неприятности: он надеялся получить Александровскую ленту — а ему дали табатерку. Недовольный правительством, которое не оценило его талантов, петербургским обществом, которое высказало ему мало сочувствия и не разделяло его негодования, он решился поселиться в деревне, посвятить себя хозяйству. Он приехал один. Сын его, Михаил Семеныч, приехал позже, на праздники, к Новому году. Мой вотчим почти не выходил из кабинета Семена Матвеича: фавор его еще усилился. Меня он оставил в покое; не до меня ему

было тогда... Семену Матвеичу вздумалось затеять бумажную фабрику. В мануфактурном деле г. Ратч не смыслил ничего, и Семен Матвеич знал, что ничего не смыслит; но зато мой вотчим был «исполнитель» (любимое тогдашнее слово), «Аракчеев!» Семен Матвеич именно так и называл его «мой Аракчеев!» «Сего мне достаточно,— уверял Семен Матвеич,— при усердии направление я сам дам». Среди многочисленных хлопот по фабрике, по имению, по заведению канцелярии, канцелярских порядков, новых званий и должностей Семен Матвеич успел, однако, обратить и на меня внимание. Меня позвали однажды вечером в гостиную и заставили играть на фортепиано. Семен Матвеич музыку любил еще меньше, чем покойник, однако одобрил и поблагодарил меня, а на другой день я была приглашена к обеденному столу. После обеда Семен Матвеич довольно долго со мной разговаривал, расспрашивал меня, смеялся иным моим ответам, хотя, помнится, ничего в них не было забавного, и так странно на меня посматривал... Мне неловко становилось. Не любила я его глаз; не любила их откровенного выраженья, их светлого взора... Мне всегда казалось, что самая эта откровенность скрывала что-то нехорошее, что под этим светлым блеском темно там у него на душе. «Вы у меня лектрисой не будете,— объявил мне наконец Семен Матвеич, как-то гадливо охорашиваясь и одергиваясь,— я, слава богу, еще не ослеп и читать могу сам, но кофей мне из ваших ручек покажется вкуснее, и вашу игру на фортепиано я буду слушать с удовольствием». После этого дня я уже постоянно ходила обедать в господский дом и оставалась в гостиной иногда до вечера. Попала и я, так же как мой вотчим, в милость; не на радость была мне она. Семен Матвеич, я должна в этом признаться, оказывал мне некоторое уважение; но в этом человеке, я это чувствовала, было что-то такое, что отталкивало, что пугало меня. И это «что-то» высказывалось не словами, а в глазах его, в этих нехороших глазах, да еще в его хохоте. Он никогда не говорил со мною о моем отце, о своем брате, и мне казалось, что он избегал этого разговора не потому, что не желал возбуждать во мне честолюбивых мыслей или притязаний, а по другой причине, в которую я тогда не умела вдуматься, но которая заставляла меня недоумевать и краснеть... К святкам приехал его сын Михаил Семеныч.

Ах, я чувствую, я не могу продолжать так же, как начала; слишком горестны эти воспоминания. Особенно

теперь мне невозможно спокойно рассказывать... И к чему скрываться? Я полюбила Мишеля, и он меня полюбил.

Как это случилось, я тоже рассказывать не стану. Знаю, что с самого того вечера, когда он вошел в гостиную (я сидела за фортепиано и играла сонату Вебера),— когда он вошел, красивый и стройный, в бархатном тулупчике и валенках, как был, прямо с мороза, и, встряхнув заиндевевшею собольею шапкой, прежде чем поздоровался с отцом, быстро глянул на меня и удивился,— знаю я, что с того вечера я уже не могла забыть его, не могла забыть это молодое доброе лицо. Он заговорил... и голос его так и прильнул к моему сердцу... Мужественный и тихий голос, и в каждом звуке такая честная, честная душа! Семен Матвеич обрадовался приезду сына, обнял его, но тотчас же спросил: «На две недели, а? В отпуск, а?» — и услал меня. Я долго сидела у себя под окном и глядела на огни, забегавшие в комнатах господского дома. Я следила за ними, я прислушивалась к новым незнакомым голосам, меня, занимала эта оживленная тревога, и что-то новое, незнакомое, светлое тоже перебегало по моей душе...

На другой же день пред обедом я имела первый разговор с ним. Он зашел к моему вотчиму по поручению Семена Матвеича и застал меня в нашей маленькой гостиной. Я хотела было уйти, он удержал меня. Он был очень жив и развязен во всех движениях и речах; но высокомерия или дерзости, столичного презрительного тона в нем и следа не было, и ничего военного, гвардейского... Напротив, в самой непринужденности его обращения было что-то ласковое, почти стыдливое, точно он вас просил извинить его. У иных людей глаза никогда не смеются, даже в минуту смеха; у *него* губы почти никогда не изменяли своего красивого склада, а глаза улыбались почти постоянно. Так мы пробеседовали с час... о чем — не помню, помню только, что и я всё время глядела ему в глаза, и так мне было с ним легко! Вечером я играла на фортепиано. Он очень любил музыку, сел на кресло и, положив курчавую голову на руку, внимательно слушал. Он ни разу не похвалил меня, но я понимала, что игра моя ему нравится, и я играла с увлечением. Семен Матвеич, который сидел возле сына и рассматривал планы, вдруг нахмурился. «Ну, сударыня,— сказал он, по обыкновению охорашиваясь и застегиваясь,— довольно; что это растрещались, словно канарейка? Этак голова заболеть может. Для на-

шего брата, старика, небось так стараться не станете...» — прибавил он вполголоса и опять услал меня. Мишель проводил меня до двери глазами и встал с кресел. «Куда? Куда?» — закричал Семен Матвеич, и вдруг засмеялся, и потом сказал еще что-то... Я не могла расслышать его слов; но г. Ратч, который тут же присутствовал в углу гостиной (он всегда «присутствовал», а на этот раз он принес планы), захохотал подобострастно, и его хохот достиг до моих ушей... То же или почти то же повторилось и в следующий вечер... Семен Матвеич внезапно охладел ко мне, наложил на меня опалу.

Дня четыре спустя я встретила Мишеля в коридоре, разделявшем надвое господский дом. Он взял меня за руку и ввел в комнату, которая находилась возле столовой и называлась портретной. Я последовала за ним не без волнения, но с полным доверием. Я уже тогда, кажется, ушла бы за ним на край света, хотя и не подозревала еще, чем он стал для меня. Ах, я привязалась к нему со всею страстию, со всем отчаянием молодого существа, которому не только некого любить, но которое чувствует себя непрошенным и ненужным гостем среди чуждых ему, среди враждебных людей!..

Мишель сказал мне... И странное дело! Я смело, прямо глядела на него — а он не глядел на меня и слегка покраснел — он сказал мне, что он понимает мое положение и сочувствует ему, и просит извинить отца... «Что же касается до меня, — прибавил он, — то прошу вас быть всегда во мне уверенною, и знайте, что для меня вы сестра, да, сестра». Тут он крепко пожал мне руку. Я смутилась и потупилась в свою очередь; я словно ожидала чего-то другого, другого слова. Однако я начала благодарить его. «Нет, пожалуйста, — перебил он меня, — не говорите так... Но помните: обязанность братьев заступаться за своих сестер, и если вам нужна будет защита против кого бы то ни было, положитесь на меня. Я недавно здесь, но я уже понял многое... и, между прочим, я понял вашего вотчима». Он опять стиснул мою руку и удалился.

Я узнала впоследствии, что Мишель с самой первой встречи почувствовал отвращение к г. Ратчу. Г-н Ратч попытался подделаться и к нему; но, убедившись в бесполезности своих усилий, тотчас сам стал к нему в отношения враждебные и не только не скрыл их от Семена Матвеича, но, напротив, старался их выказать, причем выражал сожаление о том, что ему не посчастливилось с

молодым наследником. Г-н Ратч хорошо изучил характер Семена Матвеича: расчет его удался. «Преданность этого человека ко мне уже потому не подлежит сомнению, что после меня он погиб; мой наследник его терпеть не может...» — эта мысль утвердилась в голове старика. Говорят, все люди со властью, когда стареют, охотно идут на эту удочку, на удочку исключительной личной преданности...

Недаром же Семен Матвеич называл г. Ратча своим Аракчеевым... Он мог бы дать ему другое имя. «*Ты* у меня безответный»,— говаривал он ему. Он с самого приезда начал его «тыкать», и вотчим мой умильно глядел Семену Матвеичу в губы, сиротливо склонял голову набок и добродушно смеялся, как бы желая сказать: «Весь тут, весь ваш...» Ах, я чувствую, рука моя дрожит, и сердце так и толкается в край стола, на котором я пишу в эту минуту... Страшно мне вспоминать те дни, и кровь моя загорается... Но я скажу всё до конца... до конца.

Обращение г. Ратча со мною приняло новый оттенок во время моего кратковременного фавора. Он начал ко мне прислуживаться, почтительно фамилиарничать со мною, точно я и поумнела-то и ближе к нему стала. «Бросили ломаться,— сказал он мне однажды, возвращаясь из главного дома во флигель.— Хвалю! Все эти добродетели там, чувствительности — хрестоматия, одним словом — не наше дело, барышня, не дело голышей!» Когда же мой фавор прекратился и Мишель не счел нужным более таить ни презрения к нему, ни участия ко мне, г. Ратч внезапно усугубил свою суровость; он постоянно следил за мною, точно я была способна на все преступления и меня следовало держать в ежовых рукавицах. «Вы смотрите у меня,— кричал он, вваливаясь без спросу, в грязных сапогах и с картузом на голове, в мою комнату.— Я ведь ничего такого не потерплю! Носу у меня не вздергивать! Меня вам не провести, а спесь я вашу сшибу!» И тут же в одно утро объявил мне, что вышел от Семена Матвеича приказ, чтобы мне вперед без приглашения к обеденному столу не являться... Не знаю, какой бы оборот всё это приняло, если бы не случилось происшествие, которое окончательно решило мою судьбу...

Мишель был большой охотник до лошадей. Он вздумал сам объезжать молодого рысака. Тот понес, начал бить и выбросил его из саней... Его принесли домой без чувств, с вывихнутою рукой и разбитою грудью. Старик перепу-

гался, выписал лучших докторов из города. Они помогли Мишелю; но ему пришлось пролежать с месяц. В карты он не играл, говорить ему доктора запрещали, читать, держа книгу всё одною рукой, было неловко. Кончилось тем, что сам Семен Матвеич послал меня к сыну, по старой памяти, в качестве лектрисы. Тут настали незабвенные часы! Я входила к Мишелю тотчас после обеда и садилась за круглым столиком, у полузавешенного окна. Он лежал в небольшой комнате, возле гостиной, у задней стены, на широком кожаном диване во вкусе «империи», с золотым барельефом на высокой прямой спинке; барельеф этот представлял свадебную процессию у древних. Бледная, слегка завалившаяся голова Мишеля тотчас поворачивалась на подушке и обращалась ко мне; он улыбался, светлел всем лицом, откидывал назад свои мягкие влажные волосы и говорил мне тихим голосом: «Здравствуйте, моя добрая, моя милая». Я принималась за книгу — романы Вальтер Скотта были тогда в славе — особенно мне осталось памятным чтение «Айвенго»... Как голос мой невольно звенел и трепетал, когда я передавала речи Ревекки! Ведь и во мне текла еврейская кровь, и не походила ли моя судьба на ее судьбу, не ухаживала ли я, как она, за больным милым человеком? Всякий раз, когда я отрывала глаза от страниц книги и поднимала их на него, я встречала его глаза с тою же тихой и светлой улыбкой всего лица. Говорили мы очень мало: дверь в гостиную была постоянно отворена, и кто-нибудь всегда сидел там; но когда там затихало, я, сама не знаю почему, переставала читать, и опускала книгу на колени, и неподвижно глядела на Мишеля, и он глядел на меня, и хорошо нам было обоим, и как-то радостно, и стыдно, и всё, всё высказывали мы друг другу тогда, без движений и без слов. Ах! наши сердца сходились, шли навстречу друг другу, как сливаются подземные ключи, невидимо, неслышно... и неотразимо.

— Вы умеете играть в шахматы или в шашки? — спросил меня он однажды.

— В шахматы немного умею,— отвечала я.

— Ну и прекрасно. Велите принести доску и придвиньте столик.

Я уселась возле дивана, а сердце мое так и замирало, и не смела я взглянуть на Мишеля... А от окна, через всю комнату, как свободно я глядела на него!

Я стала расставлять шашки... Пальцы мои дрожали.

— Я это... не для того, чтоб играть с вами...— проговорил вполголоса Мишель, тоже расставляя шашки,— а чтобы вы были ближе ко мне.

Я ничего не ответила и, не спрося, кому начать, ступила пешкой... Мишель не отвечал на мой ход... Я посмотрела на него. Слегка вытянув голову, весь бледный, он умоляющим взором указывал мне на мою руку...

Поняла ли я его — не помню, но что-то мгновенно, вихрем закружилось у меня в голове... В замешательстве, едва дыша, я взяла ферзь, двинула ею куда-то через всю шашечницу. Мишель быстро наклонился и, поймав губами и прижав мои пальцы к доске, начал целовать их безмолвно и жадно... Я не могла, я не хотела принять их, я другою рукою закрыла лицо, и слезы, как теперь помню, холодные, но блаженные... о, какие блаженные слезы!.. закапали на столик одна за одною. Ах, я знала, я всем сердцем почувствовала тогда, в чьей власти была моя рука!.. Я знала, что ее держал не мальчик, увлеченный мгновенным порывом, не Дон-Жуан, не военный Ловелас, а благороднейший, лучший из людей... И он любил меня!

— О моя Сусанна! — послышался мне шёпот Мишеля,— я никогда не заставлю тебя плакать другими слезами...

Он ошибся... Он заставил.

Но к чему останавливаться на таких воспоминаниях... особенно, особенно теперь!

Мы с Мишелем поклялись принадлежать друг другу. Он знал, что Семен Матвеич никогда не позволит ему жениться на мне, и не скрыл этого от меня. Я сама в этом не сомневалась, и я радовалась не тому, что Мишель не лукавил: он *не мог* лукавить,— а тому, что он не старался себя обманывать. Сама я ничего не требовала и пошла бы за ним, как и куда бы он захотел. «Ты будешь моей женой,— повторял он мне,— я не Айвенго; я знаю, что не с леди Ровеной счастье». Мишель скоро выздоровел. Я не могла больше ходить к нему; но всё уже было решено между нами. Я уже вся отдалась будущему; я ничего не видела вокруг, точно я плыла по прекрасной, ровной, но стремительной реке, окруженная туманом. А за нами наблюдали, нас сторожили. Изредка я замечала злые глаза моего вотчима, слышала его гадкий смех... Но смех этот и глаза тоже как будто выступали из тумана, на один миг... Я содрогалась, но тотчас забывала и опять отдавалась той прекрасной, быстрой реке...

Накануне условленного между нами отъезда Мишеля (он должен был тайно вернуться с дороги и увезти меня) я получила от него чрез его доверенного камердинера записку, в которой он назначил мне свидание в половине десятого часа ночи, в летней биллиардной, большой низкой комнате, пристроенной к главному дому со стороны сада. Он писал мне, что желает окончательно переговорить и условиться со мной. Я уже два раза виделась с Мишелем в биллиардной... у меня был ключ от наружной двери. Как только пробило половина десятого, я накинула душегрейку на плечи, тихонько вышла из флигеля и по скрипучему снегу благополучно добралась до биллиардной. Луна, задернутая паром, стояла тусклым пятном над самым гребнем крыши, и ветер свистал пискливым свистом из-за угла стены. Дрожь пробежала по мне, однако я вложила ключ в замок. Я вошла в комнату, притворила за собой дверь, обернулась... Темная фигура отделилась от одного из простенков, ступила раза два, остановилась...

— Мишель,— прошептала я.

— Мишель по моему приказанию заперт под замок, а это я! — отвечал мне голос, от которого сердце у меня так и оборвалось...

Предо мной стоял Семен Матвеич!

Я бросилась было бежать, но он схватил меня за руку.

— Куда? Дрянная девчонка! — прошипел он.— Умеешь к молодым дуракам на свиданье ходить, так умей и ответ держать!

Я помертвела от ужаса, но всё порывалась к двери... Напрасно! Как железные крючья, впились в меня пальцы Семена Матвеича.

— Пустите, пустите меня! — взмолилась я наконец.

— Говорят вам, ни с места!

Семен Матвеич заставил меня сесть. В полутьме я не могла разглядеть его лица, я же отворачивалась от него, но я слышала, что он тяжело дышал и скрипел зубами. Не страх чувствовала я и не отчаяние, а какое-то бессмысленное удивление... Пойманная птица, должно быть, так замирает в когтях коршуна... да и рука Семена Матвеича, который всё так же крепко держал меня, стискивала меня, как лапа...

— Ага! — повторял он,— ага! Вот как... вот до чего... Ну, постой же!

Я попыталась подняться, но он с такою силой встряхнул меня, что я чуть не вскрикнула от боли, и бранные слова, оскорбления, угрозы полились потоком...

— Мишель, Мишель, где ты, спаси меня,— простонала я.

Семен Матвеич еще раз встряхнул меня... Этот раз я не выдержала... я вскрикнула.

Это, по-видимому, подействовало на него. Он утих немного, выпустил мою руку, но остался, где был, в двух шагах от меня, между мною и дверью.

Прошло несколько минут... Я не шевелилась; он тяжело дышал по-прежнему.

— Сидите смирно,— начал он наконец,— и отвечайте мне. Докажите мне, что ваша нравственность еще не совсем испорчена и что вы в состоянии внять голосу рассудка. Увлечение я еще извинить могу, но упорство закоренелое — никогда! Мой сын...— тут он перевел дыхание — Михайло Семеныч обещал вам жениться на вас? Не правда ли? Отвечайте же! Обещал? а?

Я, разумеется, ничего не отвечала.

Семен Матвеич чуть было не вспылил опять.

— Я принимаю ваше молчание за знак согласия,— продолжал он погодя немного.— Итак, вы задумали быть моею невесткой? Прекрасно! Но, не говоря уже о том, что вы не четырнадцатилетний ребенок и должны же знать, что все молодые балбесы не скупятся на самые нелепые обещанья, лишь бы добиться своих целей, не говоря об этом... но неужели же вы могли надеяться, что я, я, столбовой дворянин, Семен Матвеич Колтовской, когда-нибудь дам мое согласие на подобный брак! Или вы хотели обойтись без родительского благословения?.. Хотели бежать, обвенчаться тайно, а потом вернуться, комедию разыграть, броситься в ноги, в надежде, что старик, мол, расчувствуется... Да отвечайте же, чёрт возьми!

Я только голову наклонила. Убить меня он мог, но заставить говорить... это было не в его силах.

Он немного прошелся взад и вперед.

— Ну, послушайте,— начал он более спокойным голосом.— Вы не думайте... не воображайте... я вижу, с вами надо толковать иначе. Послушайте: я понимаю ваше положение. Вы запуганы, растеряны... Придите в себя. В эту минуту я должен вам казаться извергом... тираном. Но войдите также и в мое положение: как тут было мне не вознегодовать, не сказать лишнего? И со

всем тем я вам уже доказал, что я не изверг, что и у меня есть сердце. Вспомните, как я обошелся с вами после приезда в деревню и потом, до... до последнего времени... до болезни Михаила Семеныча. Я не хочу хвастаться своими благодеяниями, но мне кажется, одна благодарность должна была удержать вас от того скользкого пути, на который вы решились ступить!..

Семен Матвеич опять прошелся взад и вперед и, остановившись, потрепал меня слегка по руке, по той самой руке, которая еще ныла от его насилия и на которой я долго потом носила синие знаки...

— То-то и есть...— заговорил он снова,— голова... голова у нас горячая! Не хотим мы дать себе труд подумать, отчета себе дать не хотим, в чем состоит наша польза и где мы ее искать должны. Вы спросите у меня: где эта польза? Далеко вам ходить нечего... Она, быть может, у вас под руками... Да вот хоть бы я. Как родитель, как глава, я, конечно, должен был взыскать... Это моя обязанность. Но я человек в то же время, и вы это знаете. Бесспорно: я человек практический и, конечно, никакой чепухи допустить не могу, ни с чем несообразные надежды надо, конечно, из головы выкинуть, потому — какой в них толк? Я уж не говорю о безнравственности самого поступка... Вы это всё должны понять сами, когда опомнитесь. А я, не хвастаясь, скажу, я бы не ограничился тем, что уже сделал для вас; я всегда готов был — и готов еще теперь — устроить, упрочить ваше благосостояние, обеспечить вас вполне, потому что я знаю вам цену, отдаю справедливость вашим талантам, вашему уму, да и, наконец... (Тут Семен Матвеич слегка пригнулся ко мне.) У вас такие глазки, что, признаться... я вот старик, а совершенно равнодушно видеть их... я понимаю... это трудно, это действительно трудно.

Холодом обдало меня от этих слов. Я ушам своим едва поверила. В первую минуту мне показалось, что Семен Матвеич хотел купить мое отречение от Мишеля, дать мне «отступного»... Но эти слова! Мои глаза начинали привыкать к темноте, и я могла различить лицо Семена Матвеича. Оно улыбалось, это старое лицо, а сам он всё расхаживал маленькими шагами, семенил предо мною...

— Ну, так как же? — спросил он наконец,— нравится вам мое предложение?

— Предложение?.. — повторила я невольно... я решительно ничего не понимала.

Семен Матвеич засмеялся... действительно засмеялся своим противным, тонким смехом.

— Конечно! — воскликнул он,— вы все, молодые девки...— он поправился: — девицы... девицы... вы все об одном только мечтаете: вам всё молодых подавай! Без любви вы жить не можете! Конечно. Что говорить! Молодость — дело хорошее! Но разве одни молодые любить умеют?.. У иного старика сердце еще горячее, и уж коли старик кого полюбит, так уж это — каменная скала! Это навек! Не то что эти безбородые лоботрясы, у которых только ветер в головах ходит! Да, да; старичками брезгать не следует! Они могут сделать многое! Только взяться за них надо умеючи! Да... да! И ласкать старички умеют тоже, хи-хи-хи... — Семен Матвеич опять засмеялся.— Да вот позвольте... Вашу ручку... для пробы... только так... для пробы...

Я вскочила со стула и изо всей силы толкнула его в грудь. Он отшатнулся, он издал какой-то дряхлый, испуганный звук, он чуть не упал. На человеческом языке нет слов, чтобы выразить, до какой степени он мне показался гнусен и ничтожно низок. Всякое подобие страха исчезло во мне.

— Подите прочь, презренный старик,— вырвалось у меня из груди,— подите прочь, господин Колтовской, столбовой дворянин! И во мне течет ваша кровь, кровь Колтовских, и я проклинаю тот день и час, когда она потекла по моим жилам!

— Что?.. Что ты говоришь?.. Что? — лепетал, задыхаясь, Семен Матвеич.— Ты смеешь... в ту минуту, когда я тебя застал... когда ты шла к Мишке... а? а? а?

Но я уже не могла остановиться.... Что-то беспощадно отчаянное проснулось во мне.

— И вы, вы, брат... брат вашего брата, вы дерзнули, вы решились... За кого же вы приняли меня? И неужели же вы так слепы, что не могли давно заметить то отвращение, которое вы возбуждаете во мне?.. Вы смели употребить слово: предложение!.. Выпустите меня сейчас, сию минуту.

Я направилась к двери.

— А, вот что! вот как! вот когда она заговорила! — запищал Семен Матвеич в исступлении злобы, но, видимо, не решаясь подойти ко мне...— Погоди же! Господин Ратч, Иван Демьяныч! пожалуйте сюда!

Дверь биллиардной, противоположная той, к которой я приближалась, раскрылась настежь, и, с зажженным канделябром в каждой руке, появился мой вотчим. Освещенное с двух сторон свечами, его круглое красное лицо сияло торжеством удовлетворенной мести, лакейскою радостью удачной услуги... О, эти гадкие белые глаза! Когда я перестану их видеть!

— Извольте тотчас взять эту девушку,— воскликнул Семен Матвеич, обращаясь к моему вотчиму и повелительно указывая на меня дрожащей рукой.— Извольте отвести ее к себе в дом и запереть на ключ, на замок... чтоб она... пальцем пошевельнуть не могла, чтобы муха к ней не проскочила! Впредь до моего приказания! Окна забить, если нужно! Ты отвечаешь мне за нее головой!

Г-н Ратч поставил канделябры на биллиард, поклонился в пояс Семену Матвеичу и, слегка переваливаясь и злорадно улыбаясь, направился ко мне. Кот, должно быть, так подходит к мыши, которой некуда спастись. Вся моя отвага тотчас меня покинула. Я знала, этот человек был в состоянии... прибить меня. Я задрожала; да; о, позор! о, стыд! я задрожала.

— Ну-с, сударыня,— проговорил г. Ратч,— извольте-с идти-с.

Он, не спеша, взял меня за руку выше локтя... Он понимал, что я сопротивляться не буду. Я сама подалась вперед к двери; в эту минуту я думала только об одном: как бы поскорее избавиться от присутствия Семена Матвеича.

Но гадкий старик подскочил к нам сзади, и Ратч остановил меня и повернул меня лицом к своему патрону.

— А! — закричал тот и потряс кулаком,— а! я брат... моего брата! Узы крови, а? А за брата, за двоюродного, выйти замуж можно? Можно, а? Веди ее, ты! — обратился он к моему вотчиму.— И помни: держать ухо востро! За малейшее сообщение с нею — казни не будет достойной... Веди!

Г-н Ратч привел меня в мою комнату. Идя по двору, он ничего не сказал мне, всё только смеялся про себя, без звука. Он запер ставни, двери и тут же, уходя окончательно и кланяясь мне в пояс, как Семену Матвеичу, прыснул, разразился тяжелым восторженным хохотом. «Покойной ночи царевне Меликитрисе,— удушливо простонал он,— не поймала Митрофана-царевича! Жаль! Мысль была в своем роде неглупая! Вперед наука: не заводить

корреспонденций! Хо-хо-хо! Как, однако, всё славно обделалось!» Он вышел и вдруг высунул голову из-за двери. «Что? Ведь не *забыл* я вам? Ась? Слово сдержал? Хо-хо!» Ключ щелкнул в замке. Я вздохнула свободно. Я боялась, как бы он мне рук не связал... но они были мои,— они были свободны! Я мгновенно сдернула шёлковый шнурок со спального капота, сделала петлю, приблизила ее к шее, но тотчас же отбросила шнурок в сторону. «Не потешу я вас! — сказала я громко.— И в самом деле? Что за безумие? Могу ли я располагать моею жизнью без ведома Мишеля,— моею жизнью, которую сама ему отдала? Нет, мои злодеи! Нет! Дело еще не выиграно вами! Он меня спасет, он вырвет меня из этого ада, он... мой Мишель!»

Но тут я вспомнила, что он в заключении, так же как и я,— и я бросилась лицом на постель, зарыдала... зарыдала... И только мысль, что мой мучитель, быть может, стоит за дверью, и прислушивается, и торжествует, только эта моя мысль заставила меня поглотить мои слезы...

Я утомлена. Я пишу с утра, а теперь вечер; оторвавшись раз от этого листа бумаги, я уже не буду в состоянии приняться снова за перо... Скорей, скорей к концу! Да и притом останавливаться на безобразиях, которые последовали за тем страшным днем, свыше сил моих!

Меня через сутки перевезли в закрытом возке в отдельную дворовую избу, окружили мужиками-караульщиками, меня держали взаперти целые шесть недель! Я ни минуты не была одна... Уже впоследствии я узнала, что вотчим мой с самого приезда Мишеля приставил и к нему и ко мне шпионов, что он подкупил слугу, который доставил мне записку от Мишеля; узнала я также, что между им и отцом его произошла на следующее утро ужасная, возмутительная сцена... Отец его проклял. Мишель с своей стороны поклялся, что ноги его не будет в родительском доме, и уехал в Петербург. Но удар, нанесенный мне мои вотчимом, отразился на нем самом. Семен Матвеич объявил ему, что оставаться ему в деревне, управлять именьем, более невозможно: видно, неловкое усердие не прощается и надо же было взыскать на комнибудь за происшедший *скандал*. Впрочем, Семен Матвеич щедро наградил г. Ратча; он дал ему средства перебраться в Москву и поселиться там. Пред отъездом в Москву меня перевели обратно во флигель, но по-прежнему держали под строжайшим надзором. Потеря «тепленького»

местечка, которого он лишился «по моей милости», еще увеличила злобу моего вотчима против меня.

— И кого удивить вздумали? — говаривал он, чуть фыркая от негодования, — право! Старичок, конечно, погорячился, поспешил, ну, и попал впросак; теперь, конечно, самолюбие его пострадало, беду теперь поправить нельзя. Подождать бы денька два, и всё бы как по маслу пошло; вы бы теперь не сидели на сухоедении, и я бы остался чем был! То-то и есть: длинен у баб волос... а ум короток! Ну, да ладно; я свое возьму, и тот голубчик (он намекал на Мишеля) меня не забудет!

Я, разумеется, должна была сносить в молчании все эти оскорбления. И Семена Матвеича я уже больше ни разу не видела. Разлука с сыном потрясла и его. Почувствовал ли он раскаяние, или — что гораздо вероятнее — желал ли он навсегда приковать меня к моему дому, к моей семье — к моей семье! — только он назначил мне пенсию, которая должна была поступать в руки моего вотчима и выдаваться мне до тех пор, пока я выйду замуж... Это унизительное подаяние, эту пенсию, я до сих пор получаю... то есть г. Ратч получает ее за меня...

Поселились мы в Москве. Клянусь памятью моей бедной матери, двух дней, двух часов я бы не осталась с моим вотчимом, *попавши в город*... Я бы ушла, не зная куда... в полицию, бросилась бы в ноги генерал-губернатору, сенаторам, я не знаю, что бы я сделала, если бы в самую минуту отъезда из деревни бывшей моей горничной не удалось передать мне письмо от Мишеля. О, это письмо! Сколько раз я перечитывала каждую строку, сколько раз покрыла его поцелуями! Мишель умолял меня не падать духом, надеяться, быть уверенною в его неизменной любви; он клялся, что, кроме меня, никому принадлежать не будет, он называл меня своей женой, он обещал устранить все препятствия, он рисовал картину нашего будущего, он просил меня об одном: потерпеть, подождать немного... И я решилась ждать и терпеть. Ах, на что бы не согласилась я, чего бы не вынесла, чтобы только исполнить его волю! Это письмо стало моею святынею, моею путеводною звездой, моим якорем. Бывало, мой вотчим начнет укорять, оскорблять меня; я тихонько положу руку на грудь (я носила письмо Мишеля зашитым в ладанку) и только улыбнусь. И чем больше бесится и бранится г. Ратч, тем мне легче становится и слаще... Я, наконец, видела по его глазам, что он начинал думать, не схожу ли

я с ума... Вслед за тем первым письмом пришло второе, еще более исполненное надежд... Оно говорило о близком свидании.

Ах, вместо этого свидания настало одно утро... И вижу я, входит ко мне г. Ратч,— и опять торжество, злорадное торжество на его лице,— и в руках его лист «Инвалида» и там известие о смерти гвардии ротмистра Михаила Колтовского... Исключен из списков.

Что могу я прибавить? Я осталась жива и продолжала жить у г. Ратча. Он ненавидел меня по-прежнему, больше прежнего,— он слишком разоблачил предо мной свою черную душу, он не мог мне это простить. Но мне было всё равно. Я стала какою-то бесчувственною; моя собственная судьба меня уже не занимала. Вспоминать о *нем*, вспоминать о *нем*! Другого занятия, других радостей у меня не было. Мой бедный Мишель скончался с моим именем на устах... Мне это сообщил один преданный ему человек, который вместе с ним приезжал в деревню. Вотчим мой в том же году женился на Элеоноре Карповне. Вскоре умер и Семен Матвеич, подтвердив и увеличив в завещании своем пожалованную мне пенсию... В случае моей смерти она должна перейти к г. Ратчу...

Минуло два, три года... прошло шесть лет, семь лет... Жизнь уходила, утекала... а я только глядела, как утекала она. Так, бывало, в детстве, устроишь на берегу ручья из песку сажалку, и плотину выведешь, и всячески стараешься, чтобы вода не просочилась, не прорвалась... Но вот она прорвалась, наконец, и бросишь ты все свои хлопоты, и весело тебе станет смотреть, как всё накопленное тобою убегает до капли...

Так жила я, так существовала, пока, наконец, новый, уже неожиданный луч тепла и света...

. . . .

На этом слове останавливалась рукопись; последующие листы были оторваны, и несколько строк, оканчивавших фразу, зачеркнуты и перемараны чернилами.

XVIII

Чтение этой тетради до того меня смутило, впечатление, произведенное посещением Сусанны, было так велико, что я не мог уснуть всю ночь и рано поутру послал с эстафетой к Фустову письмо, в котором заклинал

его вернуться как можно скорее в Москву, так как его отсутствие могло иметь самые тяжелые последствия. Я намекнул ему также на свидание с Сусанной, на тетрадку, которую она оставила в моих руках. Отправив письмо, я весь тот день уже не выходил из дому и всё размышлял о том, что должно было происходить там, у Ратчей. Пойти самому туда я не решался. Я не мог, однако, не заметить, что тетушка моя находилась в постоянной тревоге: она приказывала курить чуть не каждую минуту и раскладывала пасьянс «Путешественник», известный тем, что никогда не выходит! Визит незнакомой дамы, да еще в такую позднюю пору, не остался для нее тайной: ее воображенью тотчас представилась зияющая бездна, на краю которой я стоял, и она то и дело вздыхала, охала и произносила вполголоса французские сентенции, почерпнутые ею из рукописной книжечки под заглавием: «Extraits de lecture» [1], а вечером на моем ночном столике очутилось сочинение де Жерандо, развернутое на главе «О вреде страстей». Сочинение это было занесено в мою комнату, разумеется, по приказанию тетушки, старшею ее компаньонкой, которую в доме прозывали Амишкой вследствие ее сходства с маленьким пуделем того же имени, девицей очень сентиментальною и даже романтическою, но перезрелою. Весь следующий день прошел в томительном ожидании приезда Фустова, письма от него, известий из дома Ратчей... хотя с какой стати было им посылать ко мне? Скорей Сусанна могла предполагать, что я посещу ее... Но у меня решительно духа не хватало увидать ее, не поговорив сперва с Фустовым. Я припоминал все выраженья моего письма к нему... Кажется, они были довольно сильны; наконец, уж поздно вечером, он явился.

XIX

Он вошел ко мне в комнату своею обычною, быстрою, но нетороплисою походкой. Лицо его мне показалось бледным и, являя следы дорожной усталости, выражало недоумение, любопытство, недовольство — чувства, в обычное время ему мало известные. Я бросился к нему, обнял его, горячо поблагодарил его за то, что он меня послушался, и, передав в двух словах мой разговор с Сусанной,— вручил ему ее тетрадку. Он отошел к окну, к

[1] «Выписки из прочитанного» *(франц.)*.

тому самому окну, на котором два дня тому назад сидела Сусанна, и, не сказав мне ни слова, принялся читать. Я тотчас удалился в противоположный угол комнаты и взял для контенанса книгу; но, признаюсь, всё время глядел украдкой через край переплета на Фустова. Сначала он читал довольно спокойно и всё щипал левою рукой концы волосиков на губе; потом он опустил руку, нагнулся вперед и уже не шевельнулся более. Глаза его так и бегали по строкам, и рот слегка раскрылся. Вот он кончил тетрадку, перевернул ее, посмотрел кругом, задумался и снова принялся ее читать и перечел ее всю во второй раз от начала до конца. Потом он встал, положил тетрадку в карман и направился было к двери, однако вернулся и остановился посреди комнаты.

— Ну, что ты думаешь? — начал я, не дождавшись, чтоб он заговорил.

— Я виноват перед нею,— произнес Фустов глухо.— Я поступил... необдуманно, непростительно, дико. Я поверил этому... Виктору.

— Как! — воскликнул я,— тому самому Виктору, которого ты так презираешь? Да что он мог сказать тебе?

Фустов скрестил руки и стал ко мне боком. Ему было совестно, я это видел.

— Ты помнишь,— промолвил он не без некоторого усилия,— этот... Виктор упомянул о... о пенсии. Это несчастное слово засело во мне. Оно всему причиной. Я стал его расспрашивать... Ну, и он...

— Что же он?

— Он сказал мне, что тот старик... как бишь его?.. Колтовской, назначил эту пенсию Сусанне, потому что... оттого... ну, словом, в виде вознаграждения.

Я всплеснул руками.

— И ты поверил?

Фустов наклонил голову.

— Да! Я поверил... Он также сказал, что и с молодым... Словом, мой поступок не имеет оправданья.

— И ты удалился, чтобы всё перервать?

— Да; это лучшее средство... в таких случаях. Я поступил дико, дико,— подхватил он.

Мы оба помолчали. Каждый из нас чувствовал, что другому было стыдно; но мне было легче: я стыдился не за себя.

XX

— Я бы теперь этому Виктору все кости переломал,— продолжал Фустов, стиснув зубы,— если бы сам не сознавал себя виноватым. Я теперь понимаю, почему вся эта штука подведена была: с замужеством Сусанны они лишались ее пенсии... Подлецы!

Я взял его за руку.

— Александр,— спросил я,— ты был у ней?

— Нет; я прямо с дороги к тебе. Я пойду завтра... завтра рано. Этого нельзя так оставить. Ни за что!

— Да ты... любишь ее, Александр?

Фустов как будто обиделся.

— Конечно, я ее люблю. Я очень к ней привязан.

— Она прекрасная, честная девушка! — воскликнул я.

Фустов нетерпеливо топнул ногою.

— Да что ты воображаешь? Я готов был жениться на ней,— она же крещеная,— я и теперь готов на ней жениться, я уже думал об этом, хотя она старше меня.

В это мгновенье мне вдруг показалось, что на окне сидит, склонившись на руки, бледная женская фигура. Свечи нагорели: в комнате было темно. Я вздрогнул, вгляделся пристальнее и ничего, конечно, не увидал на подоконнике, но какое-то странное чувство, смешение ужаса, тоски, сожаления охватило меня.

— Александр — начал я с внезапным увлечением,— прошу тебя, умоляю тебя, ступай сейчас к Ратчам, не откладывай до завтра! Мне внутренний голос говорит, что тебе непременно должно сегодня же увидаться с Сусанной!

Фустов пожал плечами.

— Что ты это, помилуй! Теперь одиннадцатый час, у них, вероятно, все уже спят в доме.

— Всё равно... Ступай, ради бога! У меня есть предчувствие... Пожалуйста, послушайся меня! Ступай сейчас, возьми извозчика...

— Ну, что за вздор! — хладнокровно возразил Фустов,— с какой стати я пойду теперь? Завтра утром я там буду, и всё разъяснится.

— Но, Александр, вспомни, она говорила о том, что она умрет, что ты ее не застанешь... И если б ты видел ее лицо! Подумай, представь, чтобы решиться идти ко мне... чего ей стоило...

— У ней восторженная голова,— промолвил Фустов, который, по-видимому, снова вполне овладел собою.— Все молодые девушки так... на первых порах. Повторяю, завтра всё придет в порядок. Пока прощай. Я устал, да и тебе спать хочется.

Он взял фуражку и пошел вон из комнаты.

— Но ты обещаешь тотчас прийти сюда и всё сказать мне? — крикнул я ему вслед.

— Обещаю... Прощай!

Я лег в постель, но на сердце у меня было неспокойно, и я досадовал на моего друга. Я заснул поздно и видел во сне, будто мы с Сусанной бродим по каким-то подземным сырым переходам, лазим по узким крутым лестницам, и всё глубже и глубже спускаемся вниз, хотя нам непременно следует выбраться вверх, на воздух, и кто-то всё время беспрестанно зовет нас, однообразно и жалобно.

XXI

Чья-то рука легла на мое плечо и несколько раз меня толкнула... Я открыл глаза и, при слабом свете одинокой свечи, увидел пред собою Фустова. Он испугал меня. Он качался на ногах; лицо его было желто, почти одного цвета с волосами; губы отвисли, мутные глаза глядели бессмысленно в сторону. Куда девался их постоянно ласковый и благосклонный взор? У меня был двоюродный брат, который от падучей болезни впал в идиотизм... Фустов походил на него в эту минуту.

Я поспешно приподнялся.

— Что такое? Что с тобою? Господи!

Он ничего не отвечал.

— Да что случилось? Фустов! Говори же! Сусанна?..

Фустов слегка встрепенулся.

— Она...— начал он сиплым голосом и умолк.

— Что с нею? Ты ее видел?

Он уставился на меня.

— Ее уж нет.

— Как нет?

— Совсем нет. Она умерла.

Я вскочил с постели.

— Как умерла! Сусанна? Умерла?

Фустов опять отвел глаза в сторону.

— Да, умерла; в полночь.

«Он рехнулся!» — мелькнуло у меня в голове.

— В полночь! Да теперь который час?

— Теперь восемь часов утра. Мне прислали сказать. Ее завтра хоронят.

Я схватил его за руку.

— Александр, ты не бредишь? Ты в своем уме?

— Я в своем уме,— отвечал он.— Я, как узнал это, сейчас отправился к тебе.

Сердце во мне болезненно окаменело, как это всегда бывает при убеждении в невозвратно совершившейся беде.

— Боже мой! Боже мой! Умерла! — твердил я. — Как это возможно! Так внезапно! Или, может быть, она сама лишила себя жизни?

— Не знаю,— проговорил Фустов.— Ничего не знаю. Мне сказали: в полночь скончалась. И завтра хоронить будут.

«В полночь,— подумал я...— Стало быть, она была еще жива вчера, когда она мне почудилась на окне, когда я умолял его бежать к ней...»

— Она была еще жива вчера, когда ты посылал меня к Ивану Демьянычу,— промолвил Фустов, словно угадав мою мысль.

«Как же мало он знал ее! — подумал я опять.— Как мало мы оба ее знали! Восторженная голова, говорил он, все молодые девушки так... А в ту самую минуту она, быть может, подносила к губам... Возможно ли любить кого-нибудь и так грубо в нем ошибаться?»

Фустов неподвижно стоял пред моею кроватью, с повисшими руками, как виноватый.

XXII

Я наскоро оделся.

— Что же ты намерен теперь делать, Александр? — спросил я.

Он посмотрел на меня с недоуменьем, как бы дивясь нелепости моего вопроса. И в самом деле, что было делать?

— Ты, однако, не можешь не пойти к ним,— начал я.— Ты должен узнать, как это случилось; тут, может быть, преступление скрывается. От этих людей всего ожидать следует... Это всё на чистую воду вывести следует. Вспомни, что стоит в *ее* тетрадке: пенсия прекращается в случае замужества, а в случае смерти *переходит* к Ратчу. Во всяком случае последний долг отдать надо, поклониться праху!

Я говорил Фустову как наставник, как старший брат. Среди всего этого ужаса, горя, изумления какое-то невольное чувство превосходства над Фустовым внезапно проявилось во мне... Оттого ли, что я видел его подавленным сознаньем своей вины, потерявшимся, уничтоженным; оттого ли, что несчастье, поразив человека, почти всегда его роняет, спускает его ниже в мнении других — «стало, мол, ты плох, коли не умел увернуться!» — господь ведает! Только Фустов мне казался почти ребенком, и жалко было мне его, и понимал я необходимость строгости. Я протягивал ему руку сверху вниз. Одно лишь женское сожаление не идет сверху вниз.

Но Фустов продолжал глядеть на меня тупо и дико,— мой авторитет, очевидно, не действовал на него,— и на мой вторичный вопрос: «Ведь ты пойдешь к ним?» — отвечал: «Нет, не пойду».

— Как же это, помилуй! Неужели ты не захочешь сам узнать, расспросить: как, что? Может быть, она оставила письмо... документ какой-нибудь... помилуй!

Фустов покачал головой.

— Я не могу пойти туда,— промолвил он.— Я затем и пришел к тебе, чтобы попросить тебя... вместо меня... А я не могу... не могу...

Фустов вдруг присел к столу, закрыл лицо обеими руками и зарыдал горько.

— Ах, ах,— твердил он сквозь слезы,— ах, бедная... бедняжка... я лю... я любил ее... ах, ах!

Я стоял возле него, и, должен сознаться, никакого участия не возбуждали во мне эти бесспорно искренние рыданья; я только удивлялся тому, что Фустов мог *так* плакать, и мне показалось, что я *теперь* понял, какой он маленький человек и как я, на его месте, поступил бы совсем иначе. Вот и подите после этого! Если бы Фустов остался совершенно спокоен, я, быть может, возненавидел бы его, возымел бы к нему отвращение, но он не упал бы в моем мнении... *Престиж* бы его сохранился, Дон-Жуан остался бы Дон-Жуаном! Очень поздно в жизни — и только после многих опытов — научается человек, при виде действительного падения или слабости собрата, сочувствовать ему и помогать ему без тайного самоуслаждения собственною добродетелью и силой, а, напротив, со всяческим смирением и пониманием естественности, почти неизбежности вины!

XXIII

Я очень храбро и решительно посылал Фустова к Ратчам, но когда сам я к ним отправился часов в двенадцать (Фустов ни за что не согласился идти со мною и только просил меня отдать ему подробный отчет во всем), когда из-за поворота переулка издали глянул на меня их дом с желтоватым пятном пригробной свечи в одном из окон, несказанный страх стеснил мое дыхание, я бы охотно вернулся назад... Однако я преодолел себя и вошел в переднюю. В ней пахло ладаном и воском; розовая крыша гроба, обитая серебряным позументом, стояла в углу, прислоненная к стене. В одной из соседних комнат, в столовой, гудело, как залетевший шмель, однообразное бормотанье дьячка. Из гостиной выглянуло заспанное лицо служанки; промолвив вполголоса: «Поклониться пришли?» — она указала на дверь столовой. Я вошел. Гроб стоял к дверям головой; черные волосы Сусанны под белым венчиком, над приподнятою бахромой подушки, первые бросились мне в глаза. Я зашел сбоку, перекрестился, поклонился в землю, взглянул... Боже, какой горестный вид! Несчастная! Даже смерть ее не пожалела; не придала ей — не говорю уже красоты, но даже той тишины, умиленной и умилительной тишины, которая так часто встречается на чертах усопших. Маленькое темное, почти коричневое, лицо Сусанны напоминало лики на старых-старых образах, и какое выражение было на этом лице! Такое выражение, как будто она собралась крикнуть отчаянным криком, да так и замерла, не произнеся звука... Даже морщинка между бровями не изгладилась, а пальцы на руках были подвернуты и сжаты. Я невольно отвел взор, но погодя немного я заставил себя поглядеть, внимательно и долго поглядеть на нее. Жалость наполнила мою душу, и не одна только жалость. «Эта девушка умерла насильственною смертью,— решил я про себя,— это несомненно». Пока я стоял и глядел на покойницу, дьячок, который при входе моем возвысил было голос и произнес несколько членораздельных звуков, снова загудел и зевнул раза два. Я вторично поклонился в землю и вышел в переднюю. На пороге гостиной уже ожидал меня г. Ратч, одетый в пестрый бухарский шлафрок, и, поманив меня к себе рукою, повел меня в свой кабинет, я чуть было не сказал, в свою нору. Кабинет этот, мрачный, тесный, весь пропитанный кислым запахом вакштафа, возбуждал в уме сравнение с жилищем волка или лисицы.

XXIV

— Разрыв! разрыв там этих покровов... оболочки... Вы знаете... покровов! — заговорил г. Ратч, как только запер дверь.— Такое несчастие! Еще вчера вечером нельзя было ничего заметить, и вдруг: р-р-р-раз! трах! пополам! и конец! Вот уже точно: «Heute roth, morgen todt!» [1] Правда, это должно было ожидать: я это всегда ожидал, мне в Тамбове полковой доктор Галимбовский, Викентий Казимирович... Вы, наверное, слыхали о нем... отличнейший практик, специалист!

— В первый раз слышу это имя,— заметил я.

— Ну, всё равно; так вот он,— продолжал г. Ратч, сперва тихим голосом, а потом всё громче и громче и, к удивлению моему, с заметным немецким акцентом,— он меня всегда предупреждал: «Эй, Иван Демьяныч! эй! друг мой, берегитесь! У вашей падчерицы органический недостаток в сердце — hypertrophia cordialis! [2] Чуть что — беда! Сильных ощущений пуще всего избегать должно... На рассудок должно действовать...» А помилуйте, разве можно с молодою девицей!.. на рассудок действовать? Х... х... ха...

Г-н Ратч чуть было не засмеялся, по старой привычке, но вовремя спохватился и перевел начатый звук на кашель.

Это г. Ратч говорил — после всего того, что я узнал о нем!.. Я почел, однако, своею обязанностью спросить его: был ли призван доктор?

Г-н Ратч даже подпрыгнул.

— Конечно, был... Двоих призывали, но уже всё было совершено — abgemacht! И вообразите: оба словно стаковались (г. Ратч, вероятно, хотел сказать: стакнулись): разрыв! разрыв сердца! Так в одно слово и закричали. Предлагали анатомию, но я уже... вы понимаете, не согласился.

— И завтра похороны? — спросил я.

— Да, да, завтра, завтра мы хороним нашу голубицу! Вынос из дома будет ровно в одиннадцать часов пополуночи... Отсюда в церковь Николы на Курьих Ножках... Знаете? Странные какие имена у ваших русских церквей! Потом на последний покой в матушке земле

---

[1] Нынче жив, завтра мертв! *(нем.)*.
[2] Расширение сердца! *(лат.)*.

сырой! Вы пожалуете? Мы недавно знакомы, но, смею сказать, любезность вашего нрава и возвышенность чувств...

Я поспешил кивнуть головой.

— Да, да, да,— вздохнул г. Ратч.— Это... это уж точно, как говорится, молния на светлом небеси! Ein Blitz aus heiterem Himmel!

— И ничего Сусанна Ивановна не сказала перед смертью, ничего не оставила?

— Ничего решительно! Ни синь-пороха! Ни единого клочка бумаги! Помилуйте, когда меня к ней позвали, когда разбудили меня — представьте! она уже окоченела! Очень чувствительно это было для меня; очень она нас всех огорчила! Александр Давыдыч, чай, тоже пожалеет, как узнает... Говорят, его в Москве нет?

— Он точно уезжал на несколько дней...— начал было я.

— Виктор Иваныч жалуются, что саней им долго не закладывают,— перебила меня вошедшая служанка, та самая, которую я видел в передней. Лицо ее, по-прежнему заспанное, поразило меня в этот раз тем выражением дерзкой грубости, какое появляется у слуг, когда они знают, что господа от них зависят и не решатся ни бранить их, ни взыскивать с них.

— Сейчас, сейчас,— засеменил Иван Демьяныч.— Элеонора Карповна! Leonore! Lenchen! Пожалуйте сюда!

Что-то грузно завозилось за дверью, и в ту же минуту раздалось повелительное восклицание Виктора: «Что ж это, лошадь не закладывают? Не пешком же мне в полицию тащиться?»

— Сейчас, сейчас,— снова залепетал Иван Демьяныч.— Элеонора Карповна, пожалуйте же сюда!

— Aber, Иван Демьяныч,— послышался ее голос,— ich habe keine Toilette gemacht!

— Macht nichts. Komm herein! [1]

Элеонора Карповна вошла, придерживая двумя пальцами косынку на голой шее. На ней был утренний капот-распашонка, и волос она не успела причесать. Иван Демьяныч тотчас подскочил к ней.

— Вы слышите, Виктор лошадь требует,— промолвил он, торопливо указывая пальцем то на дверь, то на

---

[1] Но я еще не одета! — Пустяки. Входи! *(нем.)*.

окно.— Пожалуйста, распорядитесь попроворнее! Der Kerl schreit so!

— Der Fiktor schreit immer, Иван Демьяныч, Sie wissen wohl[1], — отвечала Элеонора Карповна,— и я сама сказала кучеру, только он вздумал овес задавать. Вот какое несчастие случилось вдруг,— прибавила она, обратясь ко мне,— кто это мог ожидать от Сусанны Ивановны?

— Я всегда это ожидал, всегда! — закричал Ратч и высоко поднял руки, причем его бухарский халат разъехался спереди, и обнаружились препротивные нижние невыразимые из замшевой кожи с медными пряжками на поясе.— Разрыв сердца! разрыв оболочек! Гипертрофия!

— Ну да,— повторила за ним Элеонора Карповна,— гипо... Ну, вот это. Только мне очень, очень жалко, опять-таки скажу...— И ее топорное лицо понемножку перекосилось, брови приподнялись трехугольником, и крохотная слезинка скатилась на круглую, точно налакированную, как у куклы, щеку...— Мне очень жалко, что такой молодой человек, которому только бы следовало жить и пользоваться всем... всем... И этакое вдруг отчаяние!

— Na, gut, gut... geh, alte! [2] — перебил г. Ратч.

— Geh' schon, geh' schon [3],— проворчала Элеонора Карповна и вышла вон, всё еще придерживая пальцами косынку и роняя слезинки.

И я отправился вслед за нею. В передней стоял Виктор в студенческой шинели с бобровым воротником и фуражкой набекрень. Он едва глянул на меня через плечо, встряхнул воротником и не поклонился, за что я ему мысленно сказал большое спасибо.

Я вернулся к Фустову.

XXV

Я застал моего приятеля сидящим в углу своего кабинета, с понуренною головой и скрещенными на груди руками. На него нашел столбняк, и глядел он вокруг себя с медленным изумлением человека, который очень крепко

---

[1] Парень так кричит! — Виктор всегда кричит, вы хорошо это знаете *(нем.)*.

[2] Ну, хорошо, хорошо... иди, старая! *(нем.)*.

[3] Иду уж, иду уж *(нем.)*.

спал и которого только что разбудили. Я ему рассказал свое посещение у Ратча, передал ему речи ветерана, речи его жены, впечатление, которое они оба произвели на меня, сообщил ему мое убеждение в том, что несчастная девушка сама себя лишила жизни... Фустов слушал меня, не меняя выражения лица, и с тем же изумлением посматривал кругом.

— Ты ее видел? — спросил он меня наконец.

— Видел.

— В гробу?

Фустов словно сомневался в том, что Сусанна действительно умерла.

— В гробу.

Фустов перекосил и опустил глаза и тихонько потер себе руки.

— Тебе холодно? — спросил я.

— Да, брат, холодно,— отвечал он с расстановкой и бессмысленно покачал головою.

Я начал ему доказывать, что Сусанна непременно отравилась, а может быть, и отравлена была, и что этого нельзя так оставить...

Фустов уставился на меня.

— Что же тут делать? — сказал он, медленно и широко моргая.— Хуже ведь... если узнают. Хоронить не станут. Оставить надо... так.

Мне эта, впрочем, очень простая мысль в голову не приходила. Практический смысл моего приятеля не изменял ему.

— Когда... ее хоронят? — продолжал он.

— Завтра.

— Ты пойдешь?

— Да.

— В дом или прямо в церковь?

— И в дом и в церковь; а оттуда на кладбище.

— А я не пойду... Я не могу, не могу,— прошептал Фустов и начал всхлипывать. Он и поутру на тех же самых словах зарыдал. Я заметил, это часто случается с плачущим; точно будто одним известным словам, большею частью незначительным,— но именно *этим* словам, а не другим,— дано раскрыть источник слез в человеке, потрясти его, возбудить в нем чувство жалости к другому и к самому себе... Помнится, одна крестьянка, рассказывая при мне про внезапную смерть своей дочери во время обеда, так и заливалась и не могла продолжать начатого

рассказа, как только произносила следующую фразу: «Я ей говорю: Фекла? А она мне: мамка, соль-то ты куда... соль куда... со-оль...» Слово: «соль» ее убивало. Но меня, так же как и поутру, мало трогали слезы Фустова. Я не постигал, каким образом он мог не спросить меня, не оставила ли Сусанна чего-нибудь для него? Вообще их взаимная любовь была для меня загадкой: она так и осталась загадкой для меня.

Поплакав минут с десять, Фустов встал, лег на диван, повернулся лицом к стене и остался неподвижен. Я подождал немного, но, видя, что он не шевелится и не отвечает на мои вопросы, решился удалиться. Я, быть может, взвожу на него напраслину, но едва ли он не заснул. Впрочем, это еще бы не доказывало, чтоб он не чувствовал огорчения... а только природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные ощущения... Уж больно нормальная была природа!

XXVI

На следующий день, ровно в одиннадцать часов, я был на месте. Тонкая крупа сеялась с низкого неба, мороз стоял небольшой, готовилась оттепель, по в воздухе ходили резкие, неприятные струи... Самая была великопостная, простудная погода. Я застал г. Ратча на крыльце его дома. В черном фраке с плерезами, без шляпы на голове, он суетился, размахивал руками, бил себя по ляжкам, кричал то в дом, то на улицу, в направлении тут же стоявших погребальных дрог с белым катафалком и двух ямских карет, возле которых четыре гарнизонные солдата в траурных мантиях на старых шинелях и траурных шляпах на сморщенных лицах задумчиво тыкали в рыхлый снег ручками незажженных факелов. Седая шапка волос так и вздымалась над красным лицом г. Ратча, и голос его, этот медный голос, обрывался от натуги. «Что же ельнику! ельнику! сюда! Ветвей еловых! — вопил он,— сейчас гроб выносить будут! Ельнику! Валите ельнику! Живо!» — воскликнул он еще раз и вскочил в дом. Оказалось, что, несмотря на мою аккуратность, я опоздал: г. Ратч счел за нужное поспешить. Служба уже отошла: священники,— из коих один имел камилавку, а другой, помоложе, очень тщательно расчесал и примаслил волосы,— появились вместе с причтом на крыльце. Вскоре показался и гроб, несомый кучером, двумя дворниками

и водовозом. Г-н Ратч шел сзади, придерживаясь концами пальцев за крышу, и всё твердил: «Легче, легче!» За ним вперевалочку плелась Элеонора Карповна, в черном платье, тоже с плерезами, окруженная всем своим семейством; после всех выступал Виктор в новеньком мундире, при шпаге, с флером на рукоятке. Носильщики, кряхтя и перекоряясь, поставили гроб на дроги; гарнизонные солдаты зажгли факелы, которые тотчас же затрещали и задымились, раздался плач забредшей салопницы, дьячки запели, снежная крупа внезапно усилилась и завертелась «белыми мухами», г. Ратч крикнул: «С богом! трогай!» — и процессия тронулась. Кроме семейства г. Ратча, провожавших гроб было всего пять человек: отставной, очень поношенный офицер путей сообщения с полинялою лентой Станислава на шее, едва ли не взятый напрокат; помощник квартального надзирателя, крошечный человек, с смиренным лицом и жадными глазами; какой-то старичок в камлотовом капоте; чрезвычайно толстый рыбный торговец в купеческой синей чуйке и с запахом своего товара, — и я. Отсутствие женского пола (ибо не было возможности причислить к нему двух теток Элеоноры Карповны, сестер колбасника, да еще какую-то кривобокую девицу в синих очках на синем носе), отсутствие приятельниц и подруг меня сперва поразило; но, поразмыслив, я сообразил, что Сусанна, с ее нравом, воспитанием, с ее воспоминаниями, не могла иметь подруг в той среде, где она жила. В церковь набралось довольно много народу, незнакомых еще больше, чем знакомых, что можно было видеть по выражению их лиц. Отпевание продолжалось недолго. Удивляло меня то, что г. Ратч крестился весьма истово, совершенно как православный, и едва ли не подтягивал дьячкам, впрочем, одними нотами. Когда же, наконец, пришлось прощаться с покойницей, я низко поклонился ей, но не дал ей последнего лобызания. Г-н Ратч, напротив, очень развязно исполнил этот страшный обряд, с почтительным наклонением корпуса пригласил к гробу офицера со Станиславом, точно угощая его, и высоко, с размаха, поднимая под мышки своих детей, поочередно подносил их к телу. Элеонора Карповна, простившись с Сусанной, вдруг разрюмилась на всю церковь; однако скоро успокоилась и всё спрашивала раздраженным шёпотом: «А и где же мой ридикюль?» Виктор держался в стороне и всею своею осанкой, казалось, хотел дать понять, как далек он от всех подобных обычаев и как он только долг

приличия исполняет. Больше всех изъявил сочувствия старичок в капоте, бывший лет пятнадцать тому назад землемером в Тамбовской губернии и с тех пор не видавший Ратча; он Сусанны не знал вовсе, но успел уже выпить две рюмки водки в буфете. Тетушка моя также приехала в церковь. Она почему-то узнала, что покойница была именно та дама, которая посетила меня, и пришла в волнение неописанное! Подозревать меня в дурном поступке она не решалась, но изъяснить такое странное стечение обстоятельств также не могла... Чуть ли не вообразила она, что Сусанна из любви ко мне решилась на самоубийство, и, облекшись в самые темные одежды, с сокрушенным сердцем и слезами, на коленях молилась об успокоении души новопреставленной, поставила рублевую свечу образу Утоления Печали... «Амишка» также с ней приехала и также молилась, но больше всё на меня посматривала и ужасалась... Эта старая девица была, увы! ко мне неравнодушна. Выходя из церкви, тетушка раздала бедным все свои деньги, свыше десяти рублей.

Кончилось наконец прощание. Принялись закрывать гроб. В течение всей службы у меня духа не хватило прямо посмотреть на искаженное лицо бедной девушки; но каждый раз, как глаза мои мельком скользили по нем, «он не пришел, он не пришел», казалось мне, хотело сказать оно. Стали взводить крышу над гробом. Я не удержался, бросил быстрый взгляд на мертвую. «Зачем ты это сделала?» — спросил я невольно... «Он не пришел!» — почудилось мне в последний раз...

Молоток застучал по гвоздям, и всё было кончено.

XXVII

Вслед за гробом двинулись мы на кладбище. Нас было всех человек сорок, разнокалиберная, в сущности праздная толпа. Больше часу продолжалось томительное шествие. Погода делалась всё хуже. Виктор с полдороги сел в карету; но г. Ратч выступал бодро по талому снегу; точно так он, должно быть, выступал, и тоже по снегу, когда, после рокового свидания с Семеном Матвеичем, он с торжеством вел к себе в дом навсегда погубленную им девушку. Волосы «ветерана», его брови опушились снежинками; он то пыхтел и покрикивал, то, мужественно забирая в себя дух, округлял свои крепкие бурые щеки... Право, можно было подумать, что он смеется. «После моей

смерти пенсия должна перейти к Ивану Демьянычу»,— вспоминались мне опять слова Сусанниной тетрадки. Пришли мы наконец на кладбище; добрались до свежевырытой могилы. Последний обряд совершился скоро: все продрогли, все торопились. Гроб на веревках скользнул в зияющую яму; принялись забрасывать ее землей. Г-н Ратч и тут показал бодрость своего духа; он так проворно, с такою силой, с таким размахом бросал комки земли на крышу гроба, так выставлял при этом ногу вперед и так молодецки закидывал свой торс... энергичнее он бы не мог действовать, если б ему пришлось побивать каменьями лютейшего своего врага. Виктор по-прежнему держался в стороне; он всё кутался в шинель и проводил подбородком по бобру воротника; остальные дети г. Ратча усердно подражали родителю. Швырять песком и землей доставляло им великое удовольствие, за что их, впрочем, и винить нельзя. Холмик появился на месте ямы; мы уже собирались расходиться, как вдруг г. Ратч, повернувшись по-военному налево кругом и хлопнув себя по ляжке, объявил нам всем, «господам мужчинам», что он приглашает нас, а также и «почтенное священство», на «поминательный» стол, устроенный в недальнем расстоянии от кладбища, в главной зале весьма приличного трактира, «стараньями любезнейшего нашего Сигизмунда Сигизмундовича...» При этих словах он указал на помощника квартального надзирателя и прибавил, что, при всей своей горести и лютеранской религии, он, Иван Демьянов Ратч, как истый русский человек, дорожит пуще всего русскими древними обычаями. «Супруга моя,— воскликнул он,— и какие с нею пожаловали дамы, пускай домой поедут, а мы, господа мужчины, помянем скромной трапезой тень усопшея рабы твоея!» Предложение г. Ратча было принято с искренним сочувствием; «почтенное» священство как-то внушительно переглянулось между собой, а офицер путей сообщения потрепал Ивана Демьяныча по плечу и назвал его патриотом и душою общества.

Мы отправились гуртом в трактир. В трактире, посреди длинной и широкой, впрочем, совершенно пустой комнаты второго этажа, стояли два стола, покрытые бутылками, яствами, приборами и окруженные стульями; запах штукатурки, соединенный с запахом водки и постного масла, бил в нос и стеснял дыхание. Помощник квартального надзирателя, в качестве распорядителя, усадил священство за почетный конец, на котором преимущест-

венно столпились кушанья постные; вслед за духовенством уселись прочие посетители; пир начался. Не хотелось бы мне употреблять такое праздничное слово: пир; но всякое другое слово не соответствовало бы самой сущности дела. Сперва всё шло довольно тихо, не без оттенка унылости; уста жевали, рюмки опорожнялись, но слышались и вздохи, быть может, пищеварительные, а быть может, и сочувственные; упоминалась смерть, обращалось внимание на краткость человеческой жизни, на бренность земных надежд; офицер путей сообщения рассказал какой-то, правда военный, но наставительный анекдот; батюшка в камилавке одобрил его и сам сообщил любопытную черту из жизни преподобного Ивана Воина; другой батюшка, с прекрасно причесанными волосами, хоть обращал больше внимания на кушанья, однако также произнес нечто наставительное насчет девической непорочности; но понемногу всё изменилось. Лица раскраснелись, голоса́ загомонели, смех вступил в свои права; стали раздаваться восклицания порывистые, послышались ласковые наименованья вроде «братца ты моего миленького», «душки ты моей», «чурки» и даже «свинтуса этакого»; словом, посыпалось всё то, на что так щедра русская душа, когда станет, как говорится, нараспашку. Когда же наконец захлопали пробки цимлянского, тут уже совсем шумно стало: некто даже петухом прокричал, а другой посетитель предложил изгрызть зубами и проглотить рюмку, из которой только что выпил вино. Г-н Ратч, уже не красный, а сизый, внезапно встал с своего места; он и до того времени много шумел и хохотал, но тут он попросил позволения произнесть спич. «Говорите! Произносите!» — заголосили все; старик в капоте закричал даже «браво!» и в ладоши захлопал... Впрочем, он сидел уже на полу. Г-н Ратч поднял бокал высоко над головой и объявил, что намерен в кратких, но «впечатлительных» выражениях указать на достоинства той прекрасной души, которая, «оставив здесь свою, так сказать, земную шелуху (die irdische Hülle), воспарила в небеса и погрузила...— г. Ратч поправился:— и погрязла...— Он опять поправился: — и погрузила...»

— Отец дьякон! Почтеннейший! Душа! — послышался сдержанный, но убедительный шёпот.— Горло, говорят, у тебя адское; уважь, грянь: «Мы живем среди полей!»

— Шш! шш!.. Полно вам! Что это! — промчалось по устам гостей.

— ...Погрузила всё свое преданное семейство,— продолжал г. Ратч, бросив строгий взор в направлении любителя музыки,— погрузила всё свое семейство в ничем не заменимую печаль! Да! — воскликнул Иван Демьяныч,— справедливо гласит русская пословица: «Судьба гнет не тужит, переломит...»

— Стойте! Господа,— закричал внезапно чей-то хриплый голос на конце стола,— у меня сейчас кошелек украли!

— Ах, мошенник! — запищал другой голос, и — бац! раздалась пощечина.

Господи! Что тут произошло! Точно дикий зверь, который до тех пор лишь изредка ворчал и шевелился в нас, вдруг сорвался с цепи и встал на дыбы, во всей безобразной красе своего взъерошенного загривка. Казалось, все втайне ожидали «скандала», как естественной принадлежности и разрешения пира, и так и ринулись все, так и подхватили... Тарелки, стаканы зазвенели, покатились, стулья опрокинулись, поднялся пронзительный крик, руки замахали по воздуху, фалды взвились, и завязалась драка!

— Лупи его! лупи его! — заревел, как исступленный, мой сосед, рыбный торговец, казавшийся до того мгновенья самым смирным человеком в мире; правда, он выпил в молчанку стаканов десять вина.— Лупи его!..

Кого лупить, за что лупить, он не имел понятия, но ревел неистово.

Помощник квартального надзирателя, офицер путей сообщения, сам г. Ратч, который, вероятно, никак на ожидал, что его красноречию будет положен такой скорый конец, попытались было восстановить тишину... но усилия их оказались тщетными. Мой сосед, рыбный торговец, даже на самого г. Ратча накинулся.

— Уморил девку, немчура треклятая,— закричал он на него, потрясая кулаками,— полицию подкупил, а теперь куражишься?!

Тут прибежали половые...

Что произошло дальше, я не знаю; я поскорей схватил фуражку, да и давай бог ноги! Помню только, что-то страшно затрещало; помню также остов селедки в волосах старца в капоте, поповскую шляпу, летевшую через всю комнату, бледное лицо Виктора, присевшего в углу, и чью-то рыжую бороду в чьей-то мускулистой руке... Это были последние впечатления, вынесенные мной из

«поминательного пира», устроенного любезнейшим Сигизмундом Сигизмундовичем в честь бедной Сусанны.

Отдохнув несколько, я отправился к Фустову и рассказал ему всё, чему я был свидетелем в течение того дня. Он выслушал меня сидя, не поднимая головы, и, подсунув обе руки под ноги, промолвил опять: «Ах, моя бедная, бедная!» — и опять лег на диван и повернулся ко мне спиной.

Неделю спустя он уже совершенно оправился и зажил по-прежнему. Я попросил у него тетрадку Сусанны на память; он отдал ее мне без всякого затруднения.

XXVIII

Прошло несколько лет. Тетушка моя скончалась; я из Москвы переселился в Петербург. В Петербург переехал и Фустов. Он поступил в министерство финансов, но я виделся с ним редко и не находил уже в нем ничего особенного. Чиновник как и все, да и баста! Если он еще жив и не женат, то, вероятно, и доселе не изменился: точит и клеит, и гимнастикой занимается, и сердца пожирает по-прежнему, и Наполеона в лазоревом мундире рисует в альбомы приятельниц. Мне пришлось как-то съездить в Москву, по делам. В Москве узнал я, признаюсь, к немалому моему удивлению, что обстоятельства моего бывшего знакомца, г. Ратча, приняли оборот неблагоприятный: супруга его, правда, подарила ему еще двойню, двух мальчиков, которых он, «коренной русак», окрестил Брячеславом и Вячеславом, но дом его сгорел, он принужден был подать в отставку, и главное — его старший сынок, Виктор, так и не выходил из долгового отделения. Во время моего пребывания в Москве в одном обществе при мне упомянули о Сусанне, и самым невыгодным, самым оскорбительным образом! Я всячески постарался заступиться за память несчастной девушки, которой судьба отказывала даже в милостыне забвения, но мои доводы не произвели большого впечатления на моих слушателей. Одного из них, молодого студента-поэта, я, однако, поколебал. Он прислал мне на другой день стихотворение, которое я позабыл, но которое оканчивалось следующими четырьмя стихами:

Но и над брошенной могилой
Не смолкнул голос клеветы...
Она тревожит призрак милый
И жжет надгробные цветы!

Я прочел эти стихи и невольно погрузился в думу. Образ Сусанны возник передо мной; я опять увидал то замороженное окно в моей комнате; я вспомнил тот вечер, и порывы снежной вьюги, и те слова, те рыданья... Я начал размышлять о том, чем возможно было объяснить любовь Сусанны к Фустову и почему она так скоро, так неудержимо предалась отчаянию, как только увидала себя оставленною? Почему не захотела подождать, услышать горькую правду из собственных уст любимого человека, написать ему письмо, наконец? Как возможно так сейчас броситься в бездну вниз головой? — Оттого, что она страстно любила Фустова, — скажут мне; оттого, что она не могла перенести малейшего сомнения в его преданности, в его уважении к ней. Может быть; а может быть и то, что она вовсе не так страстно любила Фустова; что она не ошиблась в нем, а только возложила на него свои последние надежды и не в состоянии была примириться с мыслию, что даже *этот* человек тотчас, по первому слову сплетника, с презрением отвернулся от нее! Кто скажет, что ее убило: оскорбленное ли самолюбие, тоска ли безвыходного положения, или, наконец, самое воспоминание о том первом, прекрасном, правдивом существе, которому она, на утре дней своих, так радостно отдалась, который так глубоко был в ней уверен и так уважал ее? Кто знает: быть может, в то самое мгновенье, когда мне казалось, что над ее мертвыми устами носилось восклицание: «Он не пришел!», быть может, ее душа уже радовалась тому, что ушла сама к нему, к своему Мишелю? Тайны человеческой жизни велики, а любовь самая недоступная из этих тайн... Но все-таки до сих пор, всякий раз, когда образ Сусанны возникает предо мной, я не в силах подавить в себе ни сожаления к ней, ни упрека судьбе, и уста мои невольно шепчут: «Несчастная! несчастная!»

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Рассказ

...Лет пятнадцать тому назад,— начал г-н X...,— обязанности службы заставили меня прожить несколько дней в губернском городе Т... Я остановился в порядочной гостинице, устроенной за полгода до моего приезда разбогатевшим портным из евреев. Говорят — она процветала недолго, что у нас весьма обыкновенно; но я застал ее еще в полном блеске: новые мебели стреляли по ночам как из пистолетов, постельное белье, скатерти и салфетки пахли мылом, а от крашеных полов несло олифой, что, впрочем, по мнению полового, человека весьма изящного, хоть и не совсем опрятного, препятствовало распространению насекомых. Половой этот, бывший камердинер князя Г., отличался развязностию обращения и самоуверенностию; ходил постоянно во фраке с чужого плеча и стоптанных башмаках, носил под мышкой салфетку и множество угрей на щеках и, свободно размахивая потными руками, произносил короткие, но внушительные речи. Он оказывал мне некоторое покровительство, как человеку, способному оценить его образованность и знание света; но на собственную судьбу взирал несколько разочарованным оком. «Известно,— сказал он мне однажды,— какое наше теперь положение? За хвост да и на солнце!» Звали его Ардалионом.

Мне предстояло сделать несколько визитов чиновным лицам города. Тот же Ардалион достал мне коляску и лакея, одинаково развинченных и потертых; но на лакее была ливрея,— а коляску украшали гербы. Окончив все официальные посещения, я заехал к одному помещику, старинному знакомому моего отца, с давних пор поселившемуся в городе Т... Я с ним лет двадцать не видался; он успел жениться, развести порядочное семейство, овдоветь и разбогатеть. Он занимался откупами, то есть ссужал от-

купщиков залогами за крупные проценты... «Риск — благородное дело!» Впрочем, и риску было мало. В течение нашей беседы в комнату нерешительными, но легкими шагами, словно на цыпочках, вошла девушка лет семнадцати, тоненькая и худенькая. «Вот,— сказал мне мой знакомый,— старшая моя дочь Софи, рекомендую; заменила мне покойницу; хозяйничает в доме, за братьями и сестрами наблюдает». Я вторично поклонился вошедшей девушке (она между тем молча опустилась на стул) и подумал про себя, что на хозяйку, на воспитательницу она мало похожа. Лицо у ней было совсем детское, круглое, с маленькими приятными, но неподвижными чертами; голубые глазки, под высокими, тоже неподвижными, неровными бровями, глядели внимательно — почти изумленно, точно они начали замечать что-то для них неожиданное; пухлый ротик с приподнятой верхней губой не только не улыбался, но, казалось, не имел этой привычки вовсе; на щеках нежными продолговатыми пятнами, не прибавляясь и не уменьшаясь, стояла розовая кровь под тонкой кожей. Пушистые белокурые волосы висели легкими гроздьями с обеих сторон небольшой головы. Грудь дышала тихо, и руки как-то неловко и строго прижимались к узкому стану. Голубое платье падало без складок — по-детски — на маленькие ножки. Общее впечатление, производимое этой девушкой, было не то чтобы болезненное, но загадочное. Я видел перед собою не просто робевшую провинциальную барышню, но существо с особенным, для меня неясным отпечатком. Оно меня не привлекало и не отталкивало; я его не вполне понимал и только чувствовал, что мне еще не удавалось встретить более искреннюю душу. Жалость... да! жалость возбуждала во мне эта молодая, серьезная, настороженная жизнь — бог ведает почему! «Не от земли сея»,— думалось мне, хотя собственно в выражении лица не было ничего «идеального» и хотя в гостиную mademoiselle Sophie, очевидно, появилась для того, чтобы исполнить роль хозяйки, на которую намекал ее отец.

Он начал говорить о жизни в городе Т..., об общественных удовольствиях и удобствах, доставляемых ею. «У нас смирно,— заметил он,— губернатор — меланхолик, губернский предводитель — холостяк. А впрочем, послезавтра в дворянском собрании большой бал. Сове-

тую съездить: здесь не без красавиц. Ну и всю нашу *интеллигенцию* вы увидите».

Мой знакомый, как человек, некогда обучавшийся в университете, любил употреблять выражения ученые. Он произносил их с иронией, но и с уважением. Притом известно, что занятие откупами, вместе с солидностию, развивало в людях некоторое глубокомыслие.

— Позвольте спросить, вы будете на этом бале? — обратился я к дочери моего знакомого. Мне хотелось услыхать звук ее голоса.

— Папенька намерен поехать,— отвечала она,— и я с ним.

Голос у ней оказался тихий и медленный, и выговаривала она каждое слово, точно недоумевала.

— В таком случае позвольте пригласить вас на первую кадриль.— Она наклонила голову в знак согласия, но и тут не улыбнулась.

Я вскоре удалился, и, помнится, взгляд ее глаз, пристально на меня устремленных, показался мне до того странным, что я невольно посмотрел себе через плечо, уж не видит ли она кого-нибудь или что-нибудь у меня за спиною?

Вернувшись в гостиницу и пообедав неизменным «суп-жульен», котлетами с горошком и просушенным до черноты рябчиком, я присел на диван и предался размышлениям. Предметом их была эта София, эта загадочная дочь моего знакомого; но убиравший со стола Ардалион растолковал по-своему мою задумчивость: он приписал ее скуке.

— Оченно у нас в городе мало развлечения для господ проезжающих,— заговорил он с обычной развязной снисходительностию, в то же время продолжая похлопывать грязной салфеткой по спинкам стульев: это похлопывание, как известно, свойственно одним лишь образованным слугам.— Очень мало! — Он помолчал, а громадные стенные часы, с лиловой розой на белом циферблате, своим однообразным и сиплым чиканием тоже как бы подтверждали его слова. «О... чень! о-чень!» — щелкали они.— Ни концертов никаких, ни театров,— продолжал Ардалион (он ездил с своим барином за границу и чуть ли не побывал в Париже; он хорошо знал, что одни мужики говорят: киятр),— ни танцев, например, или вечерних приемов

между господами дворянами, ничего этого не существует. (Он остановился на мгновение, вероятно, для того, чтобы дать мне заметить отборность своего слога.) — Даже друг друга видят редко. Сидит каждый у себя на тычке, как «ке́тик» какой. И выходит, что заезжим посетителям деваться бывает — просто некуда.

Ардалион глянул на меня искоса.

— Разве вот что,— продолжал он с расстановкой.— В случае, если имеется такое ваше расположение...

Он вторично глянул на меня и даже усмехнулся, но, должно быть, надлежащего расположения во мне не заметил.

Изящный слуга подошел к двери, подумал, вернулся и, помявшись немного на месте, нагнулся к моему уху и с игривой улыбкой промолвил:

— Не желаете ли вы мертвых видеть?

Я с изумлением посмотрел на него.

— Да,— продолжал он уже шёпотом,— у нас есть тут такой человек. Из простых мещан и даже безграмотный, а дела совершает чудные. Если, например, вы к нему отъявитесь и пожелаете увидать какого ни на есть покойника из ваших знакомых, он вам его беспременно покажет.

— Каким же это образом?

— Это уж его секрет. Потому, хотя он и человек безграмотный, прямо сказать, бессловесный, но в божественности очень силен! Большое от купечества к ним уважение!

— И всем это в городе известно?

— Кому нужно — знают-с; ну, а конечно, от полиции опасение соблюдается. Потому, что ни толкуй, дела всетаки запрещенные, и для простого народа — соблазн; простой народ — чернь, значит, известно — сейчас в кулаки!

— Вам он мертвецов показывал? — спросил я Ардалиона. Такого образованного смертного я не решался «тыкать».

Ардалион качнул головою.

— Показывал-с; родителя как живого представил.

Я уставился на Ардалиона. Он посмеивался и поигрывал салфеткой — и снисходительно, но с твердостью поглядывал на меня.

— Да это очень любопытно! — воскликнул я наконец.— Нельзя ли мне с этим мещанином познакомиться?

— С ними прямо никак нельзя-с; а через ихнюю мамыньку нужно действовать. Старушка почтенная; на мосту мочеными яблоками торгует. Если прикажете, я ее спрошу-с.

— Сделайте одолжение.

Ардалион кашлянул в руку.

— И благодарность, какую вы положите, небольшую, разумеется, тоже ей вручить следует, той самой старушке. А я с своей стороны ей доложу-с, что опасаться вас нечего, так как вы господин заезжий, барин — ну и, конечно, можете понимать, что сие есть тайна, и до неприятности ни в каком случае ее не доведете.

Ардалион взял поднос в одну руку и, грациозно виляя и собственным станом и подносом, направился к двери.

— Так я могу на вас надеяться? — крикнул я ему вслед.

— Будьте благонадежны! — раздался его самоуверенный голос.— Побеседуем со старушкой и ответ вам передадим в аккурате.

Не стану распространяться о том, какие мысли возбудил во мне необычайный факт, сообщенный Ардалионом; но готов сознаться, что с нетерпением ожидал обещанного ответа. Поздно вечером вошел ко мне Ардалион и объявил свою досаду: он не мог отыскать старушку. Я все-таки, в видах поощрения, вручил ему трехрублевую бумажку. На следующее утро он снова, и с радостным лицом, явился в мою комнату: старушка соглашалась на свидание со мною.

— Эй, мальчуга! — крикнул Ардалион в коридор,— мастеровой! Поди-ка сюда! — Вошел младенец лет шести, весь перепачканный в саже, как котенок, с остриженной, местами даже голой головой, в изорванном полосатом халате и огромных калошах на босу ногу.— Вот ты их проведешь, куда знаешь,— промолвил Ардалион, обращаясь к «мастеровому» и указывая на меня.— А вы, господин, как придете, спросите Мастридию Карповну.

Мальчик издал сиплый звук, и мы отправились.

Мы шли довольно долго по немощеным улицам города Т...; наконец в одной из них, едва ли не самой пустынной и унылой, мой вожатый остановился перед ветхим

двухэтажным деревянным домиком и, утерев нос всем рукавом халата, проговорил:

— Здеся; направо ступайте.

Я вошел через крылечко в сени, толкнулся направо: низенькая дверь завизжала на ржавых петлях, и я увидел перед собою толстую старушку в коричневой, зайцем подбитой кацавейке и пестром платочке на голове.

— Мастридия Карповна? — спросил я.

— Она самая и есть,— отвечала мне старушка пискливым голоском.— Милости просим. На стульчик не угодно ли?

Комната, в которую ввела меня старушка, была до того завалена всяким хламом, тряпьем, подушками, перинами, мешками, что повернуться в ней почти не было возможности. Солнечный свет едва пробивался сквозь два запыленные окошка; в одном углу, за грудой наставленных друг на дружку коробов, слабо охал и жаловался... неизвестно кто: быть может, больной ребенок, а быть может — щенок. Я уселся на стул, а старушка стала прямо предо мною. Лицо у ней было желтое, полупрозрачное, как восковое; губы до того ввалились, что среди множества морщин представляли одну поперечную; клок белых волос торчал из-под головного платка, но воспаленные серые глазки умно и бойко выглядывали из-под нависшей лобной кости; а заостренный носик так и выдавался шилом, так и нюхал воздух: плут, мол, я! «Ну! ты баба не промах!» — подумалось мне; притом же от нее попахивало водочкой.

Я объяснил ей причину моего посещения, которая, впрочем, как я заметил, должна была ей быть известной. Она выслушала меня, быстро помаргивая глазами, и только еще вострее выдвинула свой нос, словно клюнуть им собиралась.

— Так-с, так-с,— заговорила она наконец,— Ардалион Матвеич нам сказывали-с, точно-с; вам сыночка моего, Васеньки, искусство понадобилось... Только сумлеваемся мы, государь мой...

— Отчего же? — перебил я.— На мой счет вы можете быть совершенно спокойны... Я не доносчик.

— Ох, батюшка вы мой,— поспешно подхватила старушка,— что вы это? Смеем мы про ваше благородие такое думать! Да и доносить-то на нас с какой стати? Разве мы что грешное затеваем? Не таковский мой сыночек, батюшка, чтобы ему на какое нечистое дело согласиться...

или каким колдовством баловаться... да сохрани бог, мать пресвятая богородица! (Старушка три раза перекрестилась.) По всей губернии первый постник и молельщик; первый, батюшка вы мой, ваше благородие! А это точно: милость его посетила великая. Что ж! Это дело не его рук. Это, голубчик мой, свыше; да.

— Так вы согласны? — спросил я.— Когда я могу с вашим сыном повидаться?

Старушка опять заморгала глазами и раза два перепихнула скатанный носовой платок из рукава в рукав.

— Ох, государь мой, государь мой, сумлеваемся мы...

— Позвольте, Мастридия Карповна, вручить вам следующее,— перебил я ее и подал ей десятирублевую бумажку.

Старушка тотчас схватила ее своими пухлыми кривыми пальцами, напоминавшими мясистые когти совы, проворно засунула ее в рукав, подумала немного и, как бы внезапно решившись, хлопнула себя обеими ладонями по ляжкам.

— Приходи сюда сегодня вечером, в восьмом часу,— заговорила она не своим обычным, а другим, более важным и тихим голосом,— только не в эту комнату, а прямо изволь подняться во второй этаж; и будет тебе дверь налево, и ты ту дверь отвори; и войдешь ты, ваше благородие, в пустую комнату, и в той комнате увидишь стул. Сядь ты на этот стул и жди; и что бы ты ни видел, никаких слов не произноси и не делай ничего; и с сыночком моим тоже не изволь разговаривать; потому — он еще млад, да он же у меня в падучке. Испугать его очень легко: затрепещется, затрепещется словно цыпленок какой... беда!

Я посмотрел на Мастридию.

— Вы говорите, он молод, но коли он ваш сын...

— По духу, батюшка, по духу! Много у меня сирот-то! — прибавила она, мотнув головою в направлении угла, откуда раздался жалобный писк.— О-ох, господи боже ты мой, пресвятая мать богородица! А вы, батюшка мой, ваше благородие, прежде чем сюда пожалуете, извольте-ка подумать хорошенько, кого вам из ваших покойных сродственников или знакомых — царство им небесное! — увидеть желательно. Переберите своих покойничков, и которого выберете, так уж его в уме держите, всё держите, пока сыночек придет!

— А разве я не должен сказать вашему сыну, кого именно...

— Ни, ни, батюшка, ни единого слова. Он сам в ваших мыслях откроет, что ему нужно. А вы только знакомца вашего хороше...енько в уме держите; да за обеденным столом винца выпейте — стаканчика два, три; винцо никогда не мешает.— Старуха рассмеялась, облизнулась, провела рукою по рту и вздохнула.

— Так в половине восьмого? — спросил я, поднимаясь со стула.

— В половине восьмого, батюшка, ваше благородие, в половине восьмого,— успокоительно отвечала Мастридия Карповна.

Я простился со старухой и вернулся в гостиницу. Я не сомневался в том, что меня собирались одурачить, но каким образом? Вот что возбуждало мое любопытство. С Ардалионом я поменялся всего двумя, тремя словами.

— Допустила? — спросил он меня, нахмурив брови, и на мой утвердительный ответ воскликнул: — Баба министр!

Я принялся, по совету «министра», перебирать своих покойничков. После довольно долгих колебаний я остановился, наконец, на одном давно умершем старичке, французе, бывшем моем гувернере. Я выбрал именно его не потому, чтобы чувствовал особенное к нему влечение; но вся фигура его была так оригинальна, так не походила на современные фигуры, что подделаться под нее было совершенно невозможно. Он имел огромную голову, зачесанные назад пушистые белые волосы, густые черные брови, крючковатый нос и две большие бородавки лилового цвета посредине лба, носил зеленый фрак с медными гладкими пуговицами, полосатый жилет со стоячим воротником, жабо и маншетки. «Коли он мне моего старика Дессéра покажет,— подумал я,— ну, надо будет согласиться, что он колдун!»

За обедом я, по совету старухи, выпил бутылку лафиту первейшего сорта, по уверению Ардалиона, но с сильнейшим вкусом жженой пробки и с густым осадком сандала на дне каждой рюмки.

Ровно в половине восьмого я находился перед домом, в котором беседовал с почтенной Мастридией Карповной. Все ставни окон были заперты, но дверь была раскрыта.

Я вошел в дом, взобрался по шаткой лестнице во второй этаж и, отворив дверь налево, очутился, как мне предсказывала старушка, в совершенно пустой, довольно просторной комнате; сальная свечка, поставленная на подоконник, тускло ее освещала: у стены, напротив двери, стоял плетеный стул. Я снял со свечки, которая порядком успела нагореть, уселся на стул и начал ждать.

Первые десять минут прошли довольно скоро; в самой комнате решительно ничто не могло привлечь мое внимание; но я прислушивался к каждому шороху, внимательно глядел на закрытую дверь... Сердце билось. За первыми десятью минутами прошли другие; потом полчаса, три четверти часа — и хоть бы что пошевельнулось кругом! Я несколько раз кашлянул, чтобы дать знать о моем присутствии; я начинал скучать, сердиться: *этаким* образом быть одураченным не входило в мои расчеты. Я уже собирался подняться со стула и, взяв свечку с окна, пойти вниз... Я посмотрел на нее, светильня опять нагорела грибом; но, отведши взоры от окна к двери, я невольно вздрогнул: прислонясь к этой самой двери, стоял человек. Он так проворно и без шума вошел, что я ничего не слышал.

На нем была простая синяя чуйка; росту он был среднего и довольно плотен. Закинув руки за спину и потупив голову, он уставился на меня. При тусклом свете свечки я не мог хорошенько разглядеть его черты: я видел только косматую гриву спутанных волос, падавших на лоб, да крупные, слегка искривленные губы, да белесоватые глаза. Я хотел было заговорить с ним, но вспомнил наставление Мастридии и закусил губы. Вошедший человек продолжал глядеть на меня, я также глядел на него и, странное дело! в одно и то же время я почувствовал нечто вроде страха и, словно по приказанию, немедленно принялся думать о моем старом гувернере. *Тот* всё стоял у двери и дышал усиленно, точно на гору взбирался или ношу поднимал, а глаза его как будто расширялись, как будто приближались ко мне — и неловко мне становилось под их упорным, тяжелым, грозным взором; по временам эти глаза загорались зловещим внутренним огоньком; подобный огонек замечал я у борзой собаки, когда она «воззрится» в зайца, и, подобно борзой собаке, *тот* весь устремлялся *своим* взором вслед за моим, когда я «делал угонку», то есть пробовал отвести глаза в сторону.

Так прошло не знаю сколько времени: быть может, минута; быть может, четверть часа. Он всё глядел на меня; я всё ощущал некоторую неловкость и страх и всё думал о французе. Раза два я попытался сказать самому себе: «Что за вздор! что за комедия!», попытался улыбнуться, пожать плечом... Напрасно! Всякое решение во мне тотчас «застывало»,— я другого слова подобрать не умею. Мною овладевало какое-то оцепенение. Вдруг я заметил, что *тот* уже отделился от двери и стоял на шаг или на два ближе ко мне; потом он чуть-чуть подпрыгнул, обеими ногами разом, и стал еще ближе... Потом еще... потом еще; а грозные глаза так и упирались во всё мое лицо, и руки оставались за спиною, и широкая грудь дышала усиленно. Мне эти прыжки показались смешными, но и жутко мне становилось, и, что́ я уже никак понять не мог, сонливость вдруг начала находить на меня. Веки мои слипались... косматая фигура с белесоватыми глазами в синей чуйке задвоилась передо мной — и вдруг совсем исчезла!.. Я встрепенулся: *он* опять стоял между дверью и мною, но уже гораздо ближе... Потом он опять исчез — словно туман набежал на него; опять появился... исчез опять... появился опять... и всё ближе, ближе — его трудное, почти храпевшее дыхание уже добегало до меня... Опять надвинулся туман, и вдруг из этого тумана, начиная с белых, кверху приподнятых волос, явственно стала вырисовываться голова старика Дессе́ра! Да; вот его бородавки, его черные брови, его нос крючком! Вот и зеленый фрак с медными пуговицами, и полосатый жилет, и жабо... Я вскрикнул, я приподнялся... Старик исчез, и на месте его я снова увидел человека в синей чуйке. Он подошел, шатаясь, к стене, уперся в нее головой и обеими руками и, задыхаясь как запаленная лошадь, хриплым голосом проговорил: «Чаю!» Откуда ни возьмись, Мастридия подскочила к нему и, приговаривая: «Васенька, Васенька»,— принялась заботливо утирать пот, который так и струился с его волос и лица. Я было приблизился к ней, но она так убедительно, таким раздирающим голосом воскликнула:

— Ваше благородие! отец милостивый, не губите, уйдите, Христа ради! — что я повиновался; а она снова обратилась к своему сыночку.— Кормилец, голубчик,— успокаивала она его,— сейчас тебе будет чай, сейчас. Да и вы, батюшка, чайку у себя дома выкушайте! — крикнула она мне вслед.

Вернувшись домой, я послушался Мастридии и велел подать себе чаю; я чувствовал усталость — даже слабость.

— Ну что-с? — спросил меня Ардалион,— были-с? видели-с?

— Он мне точно показал что-то... чего я, признаюсь, не ожидал,— отвечал я.

— Великой премудрости человек! — заметил Ардалион, вынося самовар,— от купечества к ним — ба-альшое уважение!

Ложась спать и размышляя о случившейся со мной истории, я наконец вообразил, что добился ее объяснения. Человек этот несомненно обладал значительной магнетической силой; действуя, конечно, непонятным для меня способом на мои нервы, он так ясно, так определенно возбудил во мне образ старика, о котором я думал, что мне, наконец, показалось, что я его вижу перед глазами... Науке известны подобные «метастазы» — перестановления ощущений. Прекрасно; но сила, способная производить такие действия, все-таки оставалась чем-то удивительным и таинственным. «Что ни говори,— думал я,— я видел, своими глазами видел покойного моего гувернера!»

На следующий день происходил бал в дворянском собрании. Отец Софи заехал ко мне и напомнил мне приглашение, которое я сделал его дочери. В десятом часу вечера я уже стоял рядом с нею посреди залы, освещенной множеством медных ламп, и готовился выделывать немудреные па французской кадрили под громогласные завывания военного оркестра. Народу съехалось пропасть; особенно много было дам, и прехорошеньких; но пальма первенства между ними непременно осталась бы за моей дамой, если бы не несколько странный, несколько даже дикий ее взор. Я заметил, что она очень редко мигала; несомненное выражение искренности в ее глазах не выкупало того, что в них было необычного. Но сложена она была прелестно и двигалась грациозно, хоть и застенчиво. Когда она вальсировала и, немного перегнув назад свой стан, наклоняла тонкую шею к правому плечу, как бы желая отдалиться от своего танцора, ничего более трогательно-молодого и чистого нельзя было себе представить. Она была вся в белом, с бирюзовым крестиком на черной ленточке.

Я пригласил ее на мазурку и постарался разгово-

рить ее. Но она отвечала мало и неохотно, а слушала внимательно, с тем же выражением задумчивого изумления, которое поразило меня в первое мое свидание с нею. Никакой тени кокетства в ее лета, с ее наружностию, и отсутствие улыбки, и эти глаза, постоянно и прямо устремленные в глаза собеседника,— эти глаза, которые в то же время как будто видят что-то другое, чем-то другим озабочены... Что за странное существо! Не зная, наконец, чем расшевелить ее, я вздумал рассказать ей мое вчерашнее приключение.

Она выслушала меня до конца с видимым любопытством, но, чего я никак не ожидал, не удивилась моему рассказу и только спросила меня, не Василием ли зовут *его*? Я вспомнил, что старуха при мне называла его «Васенькой».

— Да; его имя Василий,— отвечал я,— разве вы его знаете?

— Здесь живет один богоугодный человек, которого зовут Василием,— промолвила она,— я подумала, не он ли?

— Богоугодность тут ни к чему,— заметил я,— это простое действие магнетизма — факт, интересный для докторов и естествоиспытателей.

Я принялся излагать свои воззрения на ту особенную силу, которую зовут магнетизмом, на возможность подчинения воли одного человека воле другого и т. п.; но мои, правда, несколько сбивчивые объяснения, казалось, не производили впечатления на мою собеседницу. Софи слушала, уронив на колени скрещенные руки с неподвижно лежавшим в них веером; она не играла им, она вообще не шевелила пальцами, и я чувствовал, что все мои слова отскакивали от нее, как от каменной статуи. Она понимала их, но у ней, видимо, были свои, незыблемые и неискоренимые убеждения.

— Не допускаете же вы чудес! — воскликнул я.

— Конечно, допускаю,— спокойно промолвила она. — —Да и как возможно не допускать их? Разве не сказано в евангелии, что у кого на одно горчишное семя веры, тот может горы поднимать с места? Нужно только веру иметь,— чудеса будут.

— Видно, мало веры в наше время стало,— возразил я,— что-то не слыхать про чудеса!

— Однако вот бывают же; вы сами видели. Нет; вера не перевелась в наше время; а начало веры...

— Начало премудрости страх божий,— перебил я.

— Начало веры,— продолжала Софи, нисколько не смутившись,— самоотвержение... уничижение!

— Даже уничижение? — спросил я.

— Да. Гордость человеческая, гордыня, высокомерие, вот что надо искоренить дотла. Вы вот упомянули о воле... ее-то и надо сломить.

Я окинул взором всю фигуру молоденькой девушки, произносившей такие речи... «А ведь этот ребенок не шутит!» — подумалось мне. Я взглянул на наших соседей по мазурке: они также взглянули на меня, и мне показалось, что мое удивление их забавляло; один из них даже улыбнулся мне сочувственно, как бы желая сказать: «А? что? какова у нас барышня-чудачка? Здесь все ее за такую знают».

— Вы попытались сломить свою волю? — обратился я снова к Софи.

— Всякий обязан делать то, что ему кажется правдой,— отвечала она каким-то догматическим тоном.

— Позвольте вас спросить,— начал я после небольшого молчания,— верите ли вы в возможность вызывать мертвых?

Софи тихо покачала головою.

— Мертвых нет.

— Как нет?

— Душ мертвых нет; они бессмертны и могут всегда явиться, когда захотят... Они постоянно окружают нас.

— Как? Вы полагаете, что, например, подле того гарнизонного майора, с красным носом, может в эту минуту витать бессмертная душа?

— Почему же нет? Солнечный свет освещает же его и его нос — а разве солнечный свет, всякий свет, не от бога? И что такое наружность? Для чистого нет ничего нечистого! Лишь бы учителя найти! наставника найти!

— Да позвольте, позвольте,— вмешался я, признаюсь, не без злорадства.— Вы желаете наставника... а духовник ваш на что?

Софи холодно посмотрела на меня.

— Вы, кажется, хотите смеяться надо мною. Батюшка мой духовный говорит мне, что я должна делать; но мне нужен такой наставник, который сам бы мне на деле показал, как жертвуют собою!

Она подняла глаза к потолку. Своим детским лицом и этим выражением неподвижной задумчивости, тайного,

постоянного изумления, она напоминала мне дорафаэлевских мадонн...

— Я читала где-то,— продолжала она, не оборачиваясь ко мне и едва шевеля губами,— что один вельможа велел себя похоронить под папертью церковною для того, чтобы все приходившие люди ногами попирали его, топтали... Вот это надо еще при жизни сделать...

Бум! бум! тра-ра-рах! — гремели с хоров литавры... Признаюсь, подобный разговор на бале показался мне чересчур эксцентричным: он невольно возбуждал во мне мысли... свойства, совершенно противоположного религиозному. Я воспользовался приглашением моей дамы на одну из фигур мазурки, чтобы уже не возобновлять наших quasi [1] богословских прений.

Четверть часа спустя я отвел mademoiselle Sophie к ее родителю, а дня через два я покинул город Т..., и образ девушки с детским лицом и непроницаемой, точно каменной, душой скоро изгладился из моей памяти.

Минуло два года, и этому образу опять пришлось возникнуть предо мною. А именно: я разговаривал с одним сослуживцем, только что вернувшимся из поездки по южной России. Он прожил несколько времени в городе Т... и сообщил мне кое-какие сведения о тамошнем обществе.

— Кстати! — воскликнул он,— ведь ты, кажется, хорошо знаком с В. Г. Б.?

— Как же, знаком.

— И дочь его, Софью, ты знаешь?

— Я видел ее раза два.

— Представь: сбежала!

— Как так?

— Да так же. Вот уже три месяца, как без вести пропала. И удивительно то, что никто не может сказать, с кем она сбежала. Представь, никакой догадки, ни малейшего подозрения! Она всем женихам отказывала. И поведения была самого скромного. Уж эти мне тихони да богомолки! Скандал по губернии ужасный! Б. в отчаянии... И какая ей была нужда бежать? Отец во всем исполнял ее волю. Главное, непостижимо то, что все губернские ловеласы налицо, все до единого.

— И ее до сих пор не отыскали?

---

[1] мнимо *(лат.)*.

— Говорят тебе, как в воду канула! Одной богатой невестой на свете меньше, вот что скверно.

Известие это меня очень удивило. Оно никак не вязалось с тем воспоминанием, которое я сохранил о Софии Б. Но мало ли чего не бывает!

Осенью того же года меня, опять-таки по служебным делам, судьба закинула в С...кую губернию, находящуюся, как известно, рядом с губернией Т...ской. Погода стояла дождливая и холодная; изнуренные почтовые лошаденки едва тащили мой легонький тарантас по растворившемуся чернозему большой дороги. Помнится, один день выдался особенно неудачный: раза три пришлось «сидеть» в грязи по ступицу; ямщик мой то и дело бросал одну колею и с гиканием и завыванием переползал в другую; но и в той не было легче. Словом, к вечеру я так измучился, что, добравшись до станции, решился переночевать на постоялом дворе. Мне отвели комнатку с деревянным продавленным диваном, покривившимся полом и оборванными бумажками по стенам; в ней пахло квасом, рогожей, луком и даже скипидаром, и мухи роями сидели повсюду; но по крайней мере от непогоды можно было укрыться; а дождь, как говорится, зарядил на целые сутки. Я велел поставить самовар и, присев на диван, предался тем дорожным нерадостным думам, которые так знакомы путешественникам на Руси.

Они были прерваны тяжелым стуком, раздавшимся в общей избе, от которой моя комната отделялась дощатой перегородкой. Стук этот сопровождался отрывочным зычным бряцанием, подобным лязгу цепей, и внезапно гаркнул грубый мужской голос: «Благослови бог всех сущих *у дому сему*. Благослови бог!» «Благослови бог! Аминь, аминь, рассыпься!» — повторил голос, как-то нескладно и дико вытягивая последний слог каждого слова... Послышался шумный вздох, и грузное тело с тем же бряцаньем опустилось на лавку.

— Акулина! Раба божия, подь сюда! — заговорил опять голос,— зри, яко наг, яко благ... Ха-ха-ха! Тьфу! Господи боже мой, господи боже мой, господи боже мой,— загудел голос, как дьячок на клиросе,— господи боже мой, владыка живота моего, воззри на окаянство мое... О-хо-хо! Ха-ха... Тьфу! А дому сему благодать в час седьмый!

— Кто это? — спросил я тароватую мещанку-хозяйку, вошедшую ко мне с самоваром.

— А это, батюшка вы мой,— отвечала она мне торопливым шёпотом,— блаженный, божий человек. В наших краях недавно проявился; вот и нас посетить изволил. В экую непогодь! Так с него, голубчика, ручьями и льет! И вериги, вы бы посмотрели, на нем какие — страсть!

— Благослови бог! Благослови бог! — раздался снова голос.— Акулина! А Акулина! Акулинушка, друг! И где наш рай? Рай наш прекрасный? В пустыне наш рай... рай... А дому сему, на почине веку сего... радости велии... о... о... о...— Голос забормотал что-то невнятное, и вдруг, вслед за протяжным зевком, опять послышался сиплый хохот. Хохот этот вырывался всякий раз как бы невольно, и всякий раз после него слышалось негодующее плевание.

— Эх-ма! Степаныча нет! вот наше горе-то!—словно про себя промолвила хозяйка, со всеми признаками глубочайшего внимания остановившаяся у двери.— Словцо какое спасительное скажет, а мне бабе и невдомек! — Она проворно вышла.

В перегородке была щель; я приложился к ней глазом. Юродивый сидел на лавке ко мне задом: я видел только его громадную, как пивной котел, косматую голову, да широкую, сгорбленную спину под заплатанным мокрым рубищем. Перед ним, на земляном полу, стояла на коленях тщедушная женщина в старом, тоже мокром, мещанском шушуне с темным платком, надвинутым на самые глаза. Она силилась стащить сапог с ноги юродивого, пальцы ее скользили по загрязненной, осклизлой коже. Хозяйка стояла возле нее со сложенными на груди руками и благоговейно взирала на «божьего человека». Он попрежнему бурчал какие-то невнятные речи.

Наконец женщине в шушуне удалось сдернуть сапог. Она чуть навзничь не упала, однако справилась и принялась разматывать онучи юродивого. На подъеме ноги оказалась рана... Я отвернулся.

— Чайком не прикажешь ли попотчевать, родимый? — послышался подобострастный голос хозяйки.

— Что выдумала! — отозвался юродивый.— Грешное тело баловать... Охо-хо! Все кости ему сокрушить... а она — чай! Ох, ох, старица почтенная, сатана в нас силен! На него глад, на него хлад, на него хляби небесные,

дожди проливные, пронзительные, а он ничего, живуч! Помни день покрова богородицы! Будет тебе, будет много!

Хозяйка легонько даже ахнула от удивления.

— Только ты слушай меня! Всё отдай, голову отдай, рубаху отдай! И просить не будут, а ты отдай! Потому, бог видит! Али крышу долго разметать? Дал он тебе, милостивец, хлеба, ну и сажай его в печь! А он всё видит! Ви...и...ди...ит! Глаз в треугольнике чей? сказывай... чей?

Хозяйка украдкой перекрестилась под косынкой.

— Древлий враг, адамант! А...да...мант! А...да...мант,— повторил несколько раз юродивый со скрежетом зубов.— Древлий змий! Но да воскреснет бог! Да воскреснет бог и расточатся врази его! Я всех мертвых призову! На врага его пойду... Ха-ха-ха! Тьфу!

— Маслица нет ли у вас,— произнес другой, едва слышный голос,— дайте на ранку приложить... Тряпочка у меня чистая есть.

Я снова глянул сквозь щель: женщина в шушуне всё еще возилась с больной ногой юродивого. «Магдалина!» — подумал я.

— Сейчас, сейчас, голубушка,— промолвила хозяйка и, войдя ко мне в комнату, достала ложечкой масла из лампадки перед образом.

— Кто это ему прислуживает? — спросил я.

— А не знаем, батюшка, кто такая; тоже спасается, чай, грехи заслуживает. Ну да уж и святой же человек!

— Акулинушка, чадушко мое милое, дочка моя любезная,— твердил между тем юродивый и вдруг заплакал.

Стоявшая перед ним на коленях женщина возвела на него свои глаза... Боже мой, где видел я эти глаза?

Хозяйка подошла к ней с ложечкой масла. Та кончила свою операцию и, поднявшись с полу, спросила, нет ли чистого чуланчика да сенца немного... «Василий Никитич на сене почивать любит»,— прибавила она.

— Как не быть, пожалуйте,— отвечала хозяйка,— пожалуй, родименький,— обратилась она к юродивому,— обсушись, отдохни.

Тот закряхтел, медлительно поднялся с лавки — его вериги опять звякнули — и, обернувшись ко мне лицом и поискав образов глазами, начал креститься большим крестом наотмашь.

Я тотчас узнал его: это был тот самый мещанин Васи-

лий, который некогда показал мне моего покойного гувернера!

Черты его мало изменились; только выражение их стало еще необычнее, еще страшнее... Нижняя часть опухшего лица обросла взъерошенною бородою. Оборванный, грязный, одичалый, он внушал мне еще больше отвращения, чем ужаса. Он перестал креститься, но продолжал блуждать бессмысленным взором по углам, по полу, словно ждал чего-то...

— Василий Никитич, пожалуйте,— промолвила с поклоном женщина в шушуне. Он вдруг взмахнул головой и повернулся, да запутался ногами, зашатался... Спутница его тотчас к нему подскочила и поддержала его под мышку. Судя по голосу да по стану, она казалась еще молодой женщиной: лица ее почти невозможно было видеть.

— Акулинушка, друг! — проговорил еще раз юродивый каким-то потрясающим голосом и, широко раскрыв рот и ударив себя кулаком в грудь, простонал глухим, со дна души поднявшимся стоном. Оба вышли из комнаты вслед за хозяйкой.

Я лег на свой жесткий диван и долго размышлял о том, что видел. Мой магнетизер стал окончательно юродивым. Вот куда повернула его та сила, которую нельзя было не признать в нем!

На следующее утро я собрался в путь. Дождь лил по-вчерашнему, но я не мог долее мешкать. На лице моего слуги, подававшего мне умываться, играла особенная, сдержанно-насмешливая улыбочка. Я хорошо понимал эту улыбочку: она обозначала, что слуга мой узнал что-нибудь невыгодное или даже неприличное насчет господ. Он, видимо, сгорал нетерпением сообщить мне это.

— Ну, что такое? — спросил я наконец.

— Вчерашнего юродивца изволили видеть? — немедленно заговорил мой слуга.

— Видел; что же далее?

— А товарку ихнюю тоже видели-с?

— Видел и ее.

— Она-с барышня; дворянского происхождения.

— Как?

— Истину вам докладываю-с; купцы сегодня из Т... проезжали; признали ее. Фамилию даже называли: только я запамятовал-с...

Меня как молнией осветило.

— Юродивый еще здесь или уже ушел? — спросил я.

— Кажись, еще не уходил. Давеча сидел под воротами и мудреное такое творил, что и постигнуть невозможно. Благует с жиру; потому выгоду в том себе находит.

Слуга мой принадлежал к тому же разряду образованных дворовых, как и Ардалион.

— И барышня с ним?

— С ними-с; дежурят тоже.

Я вышел на крыльцо и увидел юродивого. Он сидел на лавочке под воротами и, упершись в нее обеими ладонями, раскачивал направо и налево понуренную голову,— ни дать ни взять дикий зверь в клетке. Густые космы курчавых волос закрывали ему глаза и мотались из стороны в сторону так же, как и отвисшие губы. Странное, почти нечеловеческое бормотание вырывалось из них. Спутница его только что умылась из висевшего на жердочке кувшинка и, не успев еще накинуть платок себе на голову, пробиралась назад к воротам по узкой дощечке, положенной через темные лужицы навозного двора. Я взглянул на эту, теперь со всех сторон открытую, голову и невольно всплеснул руками от изумления: предо мной была Софи Б.!

Она быстро обернулась и уставила на меня свои голубые, по-прежнему неподвижные глаза. Она очень похудела, кожа загрубела и приняла изжелта-красный оттенок загара, нос заострился, и губы обозначились резче. Но она не подурнела; только к прежнему задумчиво-изумленному выражению присоединилось другое, решительное, почти смелое, сосредоточенно-восторженное выражение. Детского в этом лице уже не оставалось ни следа.

Я приблизился к ней.

— Софья Владимировна,— воскликнул я,— неужели это вы? В этом платье... в этом обществе...

Она вздрогнула, еще пристальнее взглянула на меня, как бы желая узнать, кто с ней заговаривает, и, не ответив мне ни слова, так и бросилась к своему товарищу.

— Акулинушка,— залепетал он, тяжело вздохнув,— грехи наши, грехи...

— Василий Никитич, идемте сейчас! Слышите, сейчас, сейчас,— промолвила она, одной рукой надергивая

платок себе на лоб, а другой подхватывая юродивого под локоть,— идемте, Василий Никитич. Здесь опасно.

— Иду, матушка, иду,— покорно ответил юродивый и. перегнувшись всем телом вперед, приподнялся с лавочки.— Вот только цепочечку-то подвязать...

Я еще раз подошел к Софье и назвал себя, я начал умолять ее выслушать меня, сказать мне одно слово, я указывал ей на дождь, который полил как из ведра, я попросил ее пощадить собственное здоровье, здоровье ее товарища, я упомянул об ее отце... Но ею овладело какое-то злое, какое-то беспощадное одушевление. Не обращая на меня никакого внимания, стиснув зубы и прерывисто дыша, она вполголоса, короткими, повелительными словами понукала растерявшегося юродивого, подпоясала его, подвязала его вериги, нахлобучила ему на волосы суконный детский картуз с изломанным козырьком, всунула ему палку в руку, накинула самой себе на плечи котомку и вышла с ним за ворота, на улицу... Остановить ее силой я не имел права, да оно ни к чему бы и не послужило; а на последний мой отчаянный возглас она даже не обернулась. Поддерживая «божьего человека» под руку, она проворно шагала по черной уличной грязи, и чрез несколько мгновений, сквозь тусклую мглу туманного утра, сквозь частую сетку падавшего дождя, в последний раз мелькнули предо мною обе фигуры, юродивого и Софьи... Они завернули за угол выдавшейся избы и исчезли навсегда.

Я вернулся к себе в комнату. Раздумье нашло на меня. Я ничего не понимал; я не понимал, как могла такая хорошо воспитанная, молодая, богатая девушка бросить всё и всех, родной дом, семью, знакомых, махнуть рукой на все привычки, на все удобства жизни, и для чего? Для того, чтобы пойти вслед полусумасшедшему бродяге, чтоб сделаться его прислужницей? Ни на одно мгновение нельзя было остановиться на мысли, что поводом к подобному решению была сердечная, хоть и извращенная, наклонность, любовь или страсть... Стоило взглянуть на отталкивающую фигуру «божьего человека», чтоб тотчас выкинуть подобную мысль из головы! Нет, Софи осталась чистой; и. как она однажды сказала мне, для нее не было ничего нечистого. Я не понимал поступка Софи; но я не осуждал ее, как не осуждал впоследствии других девушек, так

же пожертвовавших всем тому, что *они* считали правдой, в чем *они* видели свое призвание. Я не мог не сожалеть, что Софи пошла именно *этим* путем, но отказать ей в удивлении, скажу более, в уважении, я также не мог. Недаром она говорила мне о самоотвержении, об уничижении... у *ней* слова не рознились с делом. Она искала наставника и вождя, и нашла его... в ком, боже мой!

Да, она заставила топтать, попирать себя ногами... В последствии времени до меня дошли слухи, что семье удалось, наконец, отыскать заблудшую овцу и вернуть ее домой. Но дома она пожила недолго и умерла «молчальницей», не говорившей ни с кем.

Мир сердцу твоему, бедное, загадочное существо! Василий Никитич, вероятно, до сих пор юродствует; железное здоровье подобных людей поистине изумительно. Разве падучая его сломила.

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР

Нас было человек шесть, собравшихся в один зимний вечер у старинного университетского товарища. Беседа зашла о Шекспире, об его типах, о том, как они глубоко и верно выхвачены из самых недр человеческой «сути». Мы особенно удивлялись их жизненной правде, их вседневности; каждый из нас называл тех Гамлетов, тех Отелло, тех Фальстафов, даже тех Ричардов Третьих и Макбетов (этих последних, правда, только в возможности), с которыми ему пришлось сталкиваться.

— А я, господа,— воскликнул наш хозяин, человек уже пожилой,— знавал одного короля Лира!

— Как так? — спросили мы его.

— Да так же. Хотите, я расскажу вам?

— Сделайте одолжение.

И наш приятель немедленно приступил к повествованию.

I

«Всё мое детство,— начал он,— и первую молодость до пятнадцатилетнего возраста я провел в деревне, в имении моей матушки, богатой помещицы ...й губернии. Едва ли не самым резким впечатлением того уже далекого времени осталась в моей памяти фигура нашего ближайшего соседа, некоего Мартына Петровича Харлова. Да и трудно было бы изгладиться тому впечатлению: ничего, подобного Харлову, я уже в жизни потом не встречал. Представьте себе человека росту исполинского! На громадном туловище сидела, несколько искоса, без всякого признака шеи, чудовищная голова; целая копна спутанных желто-седых волос вздымалась над нею, зачинаясь чуть не от самых взъерошенных бровей. На обширной площади сизого, как бы облупленного, лица торчал здоровенный шишковатый нос, надменно топорщились крошечные голубые глазки и раскрывался рот, тоже крошеч-

ный, но кривой, растресканный, одного цвета с остальным лицом. Голос из этого рта выходил хотя сиплый, но чрезвычайно крепкий и зычный... Звук его напоминал лязг железных полос, везомых в телеге по дурной мостовой — и говорил Харлов, точно кричал кому-то в сильный ветер через широкий овраг. Трудно было сказать, что именно выражало лицо Харлова, так оно было пространно... Одним взглядом его, бывало, и не окинешь! Но неприятно оно не было — некоторая даже величавость замечалась в нем, только уж очень оно было дивно и необычно. И что у него были за руки — те же подушки! Что за пальцы, что за ноги! Помнится, я без некоторого почтительного ужаса не мог взирать на двухаршинную спину Мартына Петровича, на его плечи, подобные мельничным жерновам. Но особенно поражали меня его уши! Совершенные калачи — с заверткалш и выгибами; щеки так и приподнимали их с обеих сторон. Носил Мартын Петрович — и зиму и лето — казакин из зеленого сукна, подпоясанный черкесским ремешком, и смазные сапоги; галстуха я никогда на нем не видал, да и вокруг чего подвязал бы он галстух? Дышал он протяжно и тяжко, как бык, но ходил без шума. Можно было подумать, что, попавши в комнату, он постоянно боялся всё перебить и опрокинуть, и потому передвигался с места на место осторожно, всё больше боком, словно крадучись. Силой он обладал истинно геркулесовской и вследствие этого пользовался большим почетом в околотке: народ наш до сих пор благоговеет перед богатырями. Про него даже сложились легенды: рассказывали, что он однажды в лесу встретился с медведем и чуть не поборол его; что, застав у себя на пасеке чужого мужика-вора, он его вместе с телегой и лошадью перебросил через плетень, и тому подобное. Сам Харлов никогда не хвастался своей силой. «Коли десница у меня благословенная,— говаривал он,— так на то была воля божия!» Он был горд; только не силою своею он гордился, а своим званием, происхождением, своим умом-разумом.

— Наш род от вшеда (он так выговаривал слово швед); от вшеда Харлуса ведется,— уверял он,— в княжение Ивана Васильевича Темного (вон оно когда!) приехал в Россию; и не пожелал тот вшед Харлус быть чухонским графом — а пожелал быть российским дворянином и в золотую книгу записался. Вот мы, Харловы, откуда взялись!.. И по той самой причине мы все, Харловы, урож-

даемся белокурые, очами светлые и чистые лицом! потому снеговики!

— Да, Мартын Петрович,— попытался я было возразить ему,— Ивана Васильевича Темного не было вовсе, а был Иван Васильевич Грозный. Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.

— Ври еще! — спокойно ответил мне Харлов,— коли я говорю, стало оно так!

Однажды матушка вздумала похвалить его в глаза за его действительно замечательное бескорыстие.

— Эх, Наталья Николаевна! — промолвил он почти с досадой,— нашли, за что хвалить! Нам, господам, нельзя инако; чтоб никакой смерд, земец, подвластный человек и думать о нас худого не дерзнул! Я — Харлов, фамилию свою вон откуда веду... (тут он показал пальцем куда-то очень высоко над собою в потолок) и чести чтоб во мне не было?! Да как это возможно?

В другой раз вздумалось гостившему у моей матушки заезжему сановнику подтрунить над Мартыном Петровичем. Тот опять заговорил о вшеде Харлусе, который выехал в Россию...

— При царе Горохе? — перебил сановник.

— Нет, не при царе Горохе, а при великом князе Иване Васильевиче Темном.

— А я так полагаю,— продолжал сановник,— что род ваш гораздо древнее и восходит даже до времен допотопных, когда водились еще мастодонты и мегалотерии...

Эти ученые термины были совершенно неизвестны Мартыну Петровичу; но он понял, что сановник трунит над ним.

— Может быть,— брякнул он,— наш род точно оченно древний; в то время, как мой пращур в Москву прибыл, сказывают, жил в ней дурак не хуже вашего превосходительства, а такие дураки нарождаются только раз в тысячу лет.

Сановник взбеленился, а Харлов качнул головой назад, выставил подбородок, фыркнул да и был таков. Дня два спустя он снова явился. Матушка начала упрекать его. «Урок ему, сударыня,— перебил Харлов,— не наскакивай зря, спросись прежде, с кем дело имеешь. Млад еще больно, учить его надо». Сановник был почти одних лет с Харловым; но этот исполин привык всех людей считать недорослями. Очень уж он на себя надеялся и решительно никого не боялся. «Разве мне могут что сделать? Где

такой человек на свете есть?» — спрашивал он и вдруг принимался хохотать коротким, но оглушительным хохотом.

II

Матушка моя была очень разборчива на знакомства, но Харлова принимала с особенным радушием и многое ему спущала: он, лет двадцать пять тому назад, спас ей жизнь, удержав ее карету на краю глубокого оврага, куда лошади уже свалились. Постромки и шлеи порвались, а Мартын Петрович так и не выпустил из рук схваченного им колеса — хотя кровь брызнула у него из-под ногтей. Матушка моя и женила его: она выдала за него семнадцатилетнюю сироту, воспитанную у ней в доме; ему тогда минуло сорок лет. Жена Мартына Петровича была собой тщедушна, он, говорят, на ладони внес ее к себе в дом, и пожила она с ним недолго; однако родила ему двух дочерей. Матушка моя и после ее смерти продолжала оказывать покровительство Мартыну Петровичу; она поместила старшую дочь его в губернский пансион, потом сыскала ей мужа — и уже имела другого на примете для второй. Харлов был хозяин порядочный, землицы за ним водилось десятин с триста, и обстроился он помаленьку, а уж как крестьяне ему повиновались —об этом и толковать нечего! По тучности своей Харлов почти никуда не ходил пешком: земля его не носила. Он всюду разъезжал на низеньких беговых дрожках и сам правил лошадью, чахлой, тридцатилетней кобылой, со шрамом от раны на плече: эту рану она получила в Бородинском сражении под вахмистром кавалергардского полка. Лошадь эта постоянно хромала как-то на все четыре ноги разом; идти шагом она не могла, а только перетрусывала рысцой, вприпрыжку; ела она чернобыльник и полынь по межам, чего я ни за какой другой лошадью не замечал. Помнится, я всегда недоумевал, как могла эта полуживая кляча возить такую страшную тяжесть. Я не смею повторить, сколько в нашем соседе насчитывали пудов. За спиной Мартына Петровича помещался на беговых дрожках его черномазый казачок Максимка. Прижавшись всем телом и лицом к своему барину и упираясь босыми ногами в заднюю ось дрожек, он казался листиком или червяком, случайно приставшим к воздвигавшейся перед ним исполинской туше. Тот же казачок раз в неделю брил Мартына

Петровича. Для исполнения этой операции он, говорят, становился на стол; иные шутники уверяли, что он принужден был бегать вокруг подбородка своего барина. Харлов не любил подолгу сидеть дома, и потому его частенько можно было видеть разъезжающим в своем неизменном экипаже, с вожжами в одной руке (другою он хватски, с вывертом локтя, опирался на колено), с крошечным старым картузом на самом верху головы. Он бодро посматривал кругом своими медвежьими глазенками, окликал громовым голосом всех встречных мужиков, мещан, купцов; попам, которых очень не любил, посылал крепкие посулы и однажды, поравнявшись со мною (я вышел прогуляться с ружьем), так заатукал на лежавшего возле дороги зайца, что стон и звон стояли у меня в ушах до самого вечера.

III

Матушка моя, как я уже сказал, радушно принимала Мартына Петровича; она знала, какое глубокое уважение он питал к ее особе. «Барыня! госпожа! Нашего поля ягодка»,— так отзывался он о ней. Он величал ее благодетельницей, а она видела в нем преданного великана, который не усомнился бы пойти за нее один на целую ватагу мужиков; и хотя не предвиделось даже возможности подобного столкновения, однако, по понятиям матушки, при отсутствии мужа (она рано овдовела) таким защитником, как Мартын Петрович, брезгать не следовало. Притом же человек он был прямой, ни в ком не заискивал, денег не занимал, вина не пил — и глуп тоже не был, хотя образования не получил никакого. Матушка доверяла Мартыну Петровичу. Когда ей вздумалось составить духовное завещание, она потребовала его в свидетели, и он нарочно ездил домой за железными круглыми очками, без которых писать не мог; и с очками-то на носу он едва-едва, в течение четверти часа, пыхтя и отдуваясь, успел начертать свой чин, имя, отчество и фамилию, причем буквы ставил огромные, четырехугольные, с титлами и хвостами, а совершив свой труд, объявил, что устал и что ему — что писать, что блох ловить — всё едино. Да, матушка его уважала... Однако дальше столовой его у нас не пускали. Уж очень сильный шел от него дух: землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной. «Как есть леший!» — уверяла моя старая няня. К обеду Мартыну Петровичу ставили в углу особый стол, и он этим не обижался — он

знал, что другим неловко было сидеть с ним рядом, да и ему было привольнее есть; а ел он так, как, я полагаю, не едал никто со времен Полифэма. Для него всегда в самом начале обеда припасали, в видах предосторожности, горшок каши фунтов в шесть: «А то ведь ты меня объешь!» — говаривала матушка. «И то, сударыня, объем!» — отвечал, ухмыляясь, Мартын Петрович.

Матушка любила слушать его рассуждения о каком-нибудь хозяйственном предмете; но долго не могла выдерживать его голос.

— Что это, мой батюшка! — восклицала она,— ты бы от этого хоть полечился, что ли! Совсем оглушил меня. Этакая труба!

— Наталья Николаевна! Благодетельница! — отвечал обыкновенно Мартын Петрович.— Я в своей гортани не волен. Да и какое лекарство меня пронять может — извольте посудить? Я вот лучше помолчу маленечко.

Действительно, я полагаю, никакое лекарство не могло бы пронять Мартына Петровича. Он же никогда и болен не бывал.

Рассказывать он не умел и не любил. «От долгих речей одышка бывает»,— замечал он с укоризной. Только когда его наводили на двенадцатый год (он служил в ополчении и получил бронзовую медаль, которую по праздникам носил на владимирской ленточке), когда его расспрашивали про французов, он сообщал кой-какие анекдоты, хотя постоянно уверял притом, что никаких французов, настоящих, в Россию не приходило, а так, мародеришки с голодухи набежали, и что он много этой швали по лесам колачивал.

IV

А между тем и на этого несокрушимого, самоуверенного исполина находили минуты меланхолии и раздумья. Без всякой видимой причины он вдруг начинал скучать; запирался один к себе в комнату и гудел — именно гудел, как целый пчелиный рой; либо призывал казачка Максимку и приказывал ему или читать вслух из единственной, забредшей к нему в дом книги, разрозненного тома новиковского «Покоящегося трудолюбца», или петь. И Максимка, который, по странной игре случая, умел читать по складам, принимался, с обычным перерубанием слов и перестановлением ударений, выкрикивать фразы,

вроде следующей: «Но че́-ловек страстный выводит из сего пустого места, кото-рое он находит в тварях, совсем противные следствия. Каждая тварь особо, ска-зывает он, не сильна сделать меня счас-тливым!» и т. д. * — или затягивал тончайшим голоском заунывную песенку, в которой только можно было разобрать, что: «И... и... э... и... э... и... Ааа... ска!.. О... у... у... би... и... и... и... ла!» А Мартын Петрович качал головою, упоминал о бренности, о том, что всё пойдет прахом, увянет, яко былие; прейдет — и не будет! Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу, в которую со всех сторон, напрягши щеки, дуют ветры; внизу стояла подпись: «Такова жизнь человеческая!» Очень понравилась ему эта картинка; он повесил ее у себя в кабинете; но в обыкновенное, не меланхолическое время перевертывал ее лицом к стене, чтобы не смущала. Харлов, этот колосс, боялся смерти! К помощи религии, к молитве он, впрочем, и в припадке меланхолии прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум. Набожности в нем особенной не было; его в церкви не часто видали; правда, он говорил, что не ходит туда по той будто причине, что по размеру тела своего боится выдавить всех вон. Припадок обыкновенно кончался тем, что Мартын Петрович начнет посвистывать — и вдруг громогласным голосом прикажет заложить себе дрожки и покатит куда-нибудь по соседству, не без удали потрясая свободной рукою над козырьком картуза, как бы желая сказать, что нам, мол, теперь всё — трын-трава! Русский был человек.

V

Силачи, подобные Мартыну Петровичу, бывают большей частью нрава флегматического; он, напротив того, довольно легко раздражался. Особенно выводил его из терпения приютившийся в нашем доме, в качестве не то шута, не то нахлебника, брат его покойной жены — некто Бычков, с младых ногтей прозванный Сувениром и так уже оставшийся Сувениром для всех, даже для слуг, которые, правда, величали его Сувениром Тимофеичем. Настоящего своего имени он, кажется, и сам не знал. Это был человек мизерный, всеми презираемый: приживальщик, одним сло-

* «Покоящийся трудолюбец», периодическое издание и т. д., Москва, 1785 г. Часть 3-я. Стран. 23, строка 11 сверху.

вом. С одной стороны рта у него недоставало всех зубов, отчего его маленькое морщинистое лицо казалось искривленным. Он вечно суетился, егозил: в девичью заберется или в контору, на слободку к попам, а не то к старосте в избу; отовсюду его гонят, а он только пожимается, да щурит свои косые глазки, да смеется дрянно, жидко, точно бутылку полощет. Мне всегда казалось, что, будь у Сувенира деньги, самый бы скверный человек из него вышел, безнравственный, злой, даже жестокий. Бедность поневоле его «сократила». Пить позволялось ему только в праздники. Одевали его прилично, по приказанию матушки, так как он по вечерам составлял ее партию в пикет или бостон. Сувенир то и дело твердил: «Я вот, позвольте, я чичас, чичас».— «Да что *чичас*?» — с досадой спросит его матушка. Он мгновенно откинет руки назад, струсит и лепечет: «Как прикажете-с!» Под дверями послушать, посплетничать, а главное «шпынять», дразнить — другой у него заботы не было — и «шпынял» он так, как будто имел на то право, как будто мстил за что-то. Мартына Петровича он звал братцем и надоедал ему пуще горькой редьки. «Вы сестрицу Маргариту Тимофеевну за что уморили?» — приставал он к нему, вертясь перед ним и хихикая. Однажды Мартын Петрович сидел в биллиардной, прохладной комнате, в которой никто никогда ни одной мухи не видал и которую сосед наш, враг жары и солнца,— оттого очень жаловал. Сидел он между стеной и биллиардом. Сувенир шмыгал мимо его «чрева», дразнил его, кривлялся... Мартын Петрович хотел оттолкнуть его — и двинул обеими руками вперед. К счастью Сувенира, он успел увернуться — ладони его братца пришлись в упор о край биллиарда, и со всех шести винтов слетел тяжелый деревенский биллиард... В какую лепешку превратился бы Сувенир, если б попал под эти мощные руки!

VI

Я давно любопытствовал посмотреть, как устроил свое жилище Мартын Петрович, что у него за дом. Однажды я вызвался проводить его верхом до Еськова (так называлось его имение). «Вишь ты! Хочешь посмотреть мою державу,— промолвил Мартын Петрович.— Изволь! И сад покажу, и дом, и гумно — и всё. У меня всякого добра много!» Мы отправились. От нашего села до Еськова считалось всего версты три. «Вот она, моя держава! —

загремел вдруг Мартын Петрович, силясь обернуть свою неподвижную голову и разводя рукой направо и налево.— Всё мое!» Усадьба Харлова находилась на вершине пологого холма; внизу к небольшому пруду лепилось несколько плохих мужичьих избенок. У пруда, на плоту, старая баба в клетчатой паневе колотила вальком скрученное белье.

— Аксинья! — гаркнул Мартын Петрович, да так, что грачи стаей взвились из соседнего овсяного поля...— Мужу портки моешь?

Баба разом обернулась и поклонилась в пояс.

— Портки, батюшка,— послышался ее слабый голос.

— То-то! Вот посмотри,— продолжал Мартын Петрович, пробираясь рысцой вдоль полусгнившего плетня.— это моя конопля; а та вон — крестьянская; разницу видишь? А вот это мой сад; яблони я понасажал, и ракиты — тоже я. А то тут и древа никакого не было. Вот так-то — учись.

Мы завернули на двор, огороженный тыном; прямо против ворот возвышался ветхий-ветхий флигелек с соломенной крышей и крылечком на столбиках; в стороне стоял другой, поновей и с крохотным мезонином — но тоже на курьих ножках. «Вот ты опять учись,— промолвил Харлов: — вишь, отцы-то наши в какой хороминке жили; а теперь я вона какие палаты себе соорудил». Палаты эти походили на карточный домик. Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем.— «Овчары! — заметил Мартын Петрович.— Настоящие крымские! Цыц, оглашенные! Вот возьму да всех перевешаю». На крыльце нового флигелька показался молодой человек в длинном нанковом балахоне, муж старшей дочери Мартына Петровича. Проворно подскочив к дрожкам, он почтительно поддержал под локоть слезавшего тестя — и даже одной рукой сделал пример, будто подхватывает исполинскую ногу, которую тот, наклонясь вперед туловищем, заносил с размаху через сиденье; потом он помог мне сойти с лошади.

— Анна! — воскликнул Харлов,— Натальи Николавнин сынок к нам пожаловал; попоштовать его надо. Да где Евлампиюшка? (Анной звали старшую дочь, Евлампией — меньшую.)

— Дома нет; в поле за васильками пошла,— отозвалась Анна, показавшись в окошке возле двери.

— Творог есть? — спросил Харлов.

— Есть.

— И сливки есть?

— Есть.

— Ну, тащи на стол, а я им пока кабинет свой покажу. Пожалуйте сюда, сюда,— прибавил он, обратясь ко мне и зазывая меня указательным пальцем. У себя в доме он меня не «тыкал»: надо ж хозяину быть вежливым. Он повел меня по коридору.— Вот где я пребываю,— промолвил он, шагнув боком через порог широкой двери,— а вот и мой кабинет. Милости просим!

Кабинет этот оказался большой комнатой, неоштукатуренной и почти пустой; по стенам, на неровно вбитых гвоздях, висели две нагайки, трехугольная порыжелая шляпа, одноствольное ружье, сабля, какой-то странный хомут с бляхами и картина, изображающая горящую свечу под ветрами; в одном углу стоял деревянный диван, покрытый пестрым ковром. Сотни мух густо жужжали под потолком; впрочем, в комнате было прохладно; только очень сильно разило тем особенным лесным запахом, который всюду сопровождал Мартына Петровича.

— Что ж, хорош кабинет? — спросил меня Харлов.

— Очень хорош.

— Ты посмотри, вон у меня голландский хомут висит,— продолжал Харлов, снова впадая в «тыкание».— Чудесный хомут! У жида выменял. Ты погляди-ка!

— Хомут хороший.

— Самый хозяйственный! Да ты понюхай... какова кожа!

Я понюхал хомут. От него несло прелой ворванью — и больше ничего.

— Ну, присядьте — вон там на стульчике, будьте гости,— промолвил Харлов, а сам опустился на диван и словно задремал, закрыл глаза, засопел даже. Я молча глядел на него и не мог довольно надивиться: гора — да и полно! Он вдруг встрепенулся.

— Анна! — закричал он, и при этом его громадный живот приподнялся и опал, как волна на море,— что ж ты? Поворачивайся! Аль не слыхала?

— Всё готово, батюшка, пожалуйте,— раздался голос его дочери.

Я внутренно подивился быстроте, с которой исполнялись повеления Мартына Петровича, и отправился за ним в гостиную, где на столе, покрытом красной скатертью с белыми разводами, уже была приготовлена закуска: творог, сливки, пшеничный хлеб, даже толченый сахар

с имбирем. Пока я управлялся с творогом, Мартын Петрович, ласково пробурчав: «Кушай, дружок, кушай, голубчик, не брезгай нашей деревенской снедью»,— опять присел в углу и опять словно задремал. Предо мной, неподвижно, с опущенными глазами, стояла Анна Мартыновна, а в окно я мог видеть, как ее муж проваживал по двору моего клеппера, собственными руками перетирая цепочку трензеля.

VII

Матушка моя не жаловала старшей дочери Харлова; она называла ее гордячкой. Анна Мартыновна почти никогда не являлась к нам на поклон и в присутствии матушки держалась чинно и холодно, хотя по ее милости и в пансионе обучалась, и замуж вышла, и в день свадьбы получила от нее тысячу рублей ассигнациями да желтую турецкую шаль, правда, несколько поношенную. Это была женщина росту среднего, сухощавая, очень живая и проворная в своих движениях, с русыми густыми волосами, с красивым смуглым лицом, на котором несколько странно, но приятно выдавались бледно-голубые узкие глаза; нос она имела прямой и тонкий, губы тоже тонкие и подбородок «шпилькой». Всякий, взглянув на нее, наверное, подумал бы: «Ну, какая же ты умница — и злюка!» И со всем тем в ней было что-то привлекательное; даже темные родинки, рассыпанные «гречишкой» по ее лицу, шли к ней и усиливали чувство, которое она возбуждала. Подсунув под косынку руки, она украдкой — сверху вниз (я сидел, она стояла) — посматривала на меня; недобрая улыбочка бродила по ее губам, по щекам, в тени длинных ресниц. «Ох ты, балованный барчонок!» — словно говорила эта улыбка. Всякий раз, когда она дышала, у ней ноздри слегка расширялись — это тоже было несколько странно; но все-таки мне казалось, что полюби меня Анна Мартыновна или только захоти поцеловать меня своими тонкими жесткими губами,— я бы от восторга до потолка подпрыгнул. Я знал, что она была очень строга и взыскательна, что бабы и девки боялись ее как огня,— но что за дело! Анна Мартыновна тайно волновала мое воображение... Впрочем, мне тогда только минуло пятнадцать лет, а в эти годы!..

Мартын Петрович опять встрепенулся.

— Анна! — крикнул он,— ты бы на фортепьянах побренчала... Молодые господа это любят.

Я оглянулся: в комнате стояло какое-то жалкое подобие фортепьян.

— Слушаю, батюшка,— ответила Анна Мартыновна.— Только что же я им буду играть? Им это не будет интересно.

— Так чему ж тебя обучали в *пинсионе*?

— Я всё перезабыла... да и струны полопались.

Голосок у Анны Мартыновны был очень приятный, звонкий и словно жалобный... вроде того, какой бывает у хищных птиц.

— Ну,— проговорил Мартын Петрович и задумался.— Ну,— начал он опять,— так не хотите ли гумно посмотреть, полюбопытствовать? Вас Володька проводит.— Эй, Володька! — крикнул он своему зятю, который всё еще расхаживал по двору с моею лошадью,— проводи вот их на гумно... и вообще... покажь мое хозяйство. А мне соснуть надо! Так-то! Счастливо оставаться!

Он вышел вон, и я за ним. Анна Мартыновна тотчас стала проворно и как бы с досадой убирать со стола. На пороге двери я обернулся и поклонился ей; но она словно не заметила моего поклона, только опять улыбнулась, да еще злее прежнего.

Я взял у харловского зятя мою лошадь и повел ее в поводу. Мы вместе с ним пошли на гумно,— но так как ничего в нем особенно любопытного не открыли, притом же он во мне, как в молодом мальчике, не мог предполагать отменную любовь к хозяйству, то мы и вернулись через сад на дорогу.

VIII

Я хорошо знал харловского зятя: звали его Слёткиным, Владимиром Васильевичем; он был сирота, сын мелкого чиновника, поверенного по делам у матушки, и ее воспитанник. Сперва поместили его в уездное училище, потом он поступил в «вотчинную контору», потом записали его на службу по казенным магазинам и, наконец, женили на дочери Мартына Петровича. Матушка называла его жиденком, и он действительно своими курчавыми волосиками, своими черными и вечно мокрыми, как вареный чернослив, глазами, своим ястребиным носом и широким красным ртом напоминал еврейский тип; только цвет кожи

он имел белый и был вообще весьма недурен собою. Нрава он был услужливого, лишь бы дело не касалось его личной выгоды. Тут он тотчас терялся от жадности, до слез даже доходил; из-за тряпки готов канючить целый день, сто раз напомнит о данном обещании, и обижается и пищит, если оно не тотчас исполняется. Он любил таскаться по полям с ружьем; и когда случалось ему залучить зайца или утку, с особенным чувством клал свою добычу в ягдташ, приговаривая: «Ну, теперь шалишь, не уйдешь! Теперь *мне* послужишь!»

— Добрый конек у вас,— заговорил он своим шепелявым голосом, помогая мне взобраться на седло,— вот бы мне такую лошадку! Да где! Счастье мое не такое. Хоть бы вы матушку вашу попросили... напомнили.

— А она вам обещала?

— Кабы обещала! Нет; но я полагал, что по великому ее благодушеству...

— Вы бы к Мартыну Петровичу обратились.

— К Мартыну Петровичу! — повторил протяжно Слёткин.— Для него — что я, что какой-нибудь ничтожный казачок Максимка — всё едино. Как есть в черном теле нас содержит, и никакой от него награды не видать за все труды.

— Неужели?

— Да, ей-богу же. Как скажет: «Мое слово свято!» — ну, вот точно топором отрубит. Проси, не проси — всё едино. Да и Анна Мартыновна, супруга моя, такого авантажа перед ним не имеет, как Евлампия Мартыновна.

— Ах, господи боже мой, батюшка! — перебил он вдруг самого себя и с отчаянием всплеснул руками.— Посмотрите: что это? Целый полуосьминник овса, нашего овса, какой-то злодей выкосил. Каков?! Вот тут и живи! Разбойники, разбойники! Вот уж точно правду говорят, что не верь Еськову, Беськову, Ерину, Белину (так назывались четыре окрестные деревни). Ах, ах, что это! Рубля, почитай, на полтора, а то и на два — убытку!

В голосе Слёткина слышались чуть не рыданья. Я толкнул лошадь под бока и поехал от него прочь.

Восклицания Слёткина еще долетали до моего слуха, как вдруг, на повороте дороги, попалась мне та самая вторая дочь Харлова, Евлампия, которая, по словам Анны Мартыновны, ушла в поле за васильками. Густой венок из этих цветов обвивал ее голову. Мы обменялись

поклонами молча. Евлампия была тоже очень недурна собой, не хуже сестры, но только в другом роде. Росту она была высокого, сложения дородного; всё в ней было велико: и голова, и ноги, и руки, и белые как снег зубы, и особенно глаза, выпуклые, с поволокой, темно-синие, как стеклярус; всё в ней было даже монументально (недаром она доводилась Мартыну Петровичу дочкой), но красиво. Белокурую густую косу она, видимо, не знала куда деть и раза три обматывала ее вокруг темени. Рот у ней был прелестный, свежий, как розан, малинового цвета, и когда она говорила, середина верхней губы очень мило приподнималась. Но во взгляде ее огромных глаз было что-то дикое и почти суровое. «Вольница, казачья кровь»,— так отзывался о ней Мартын Петрович. Я побаивался ее... Мне эта осанистая красавица напоминала своего батюшку.

Я отъехал еще немного дальше и услышал, что она запела ровным, сильным, несколько резким, прямо крестьянским голосом, потом она вдруг умолкла. Я оглянулся и с вершины холма увидал ее, стоявшую возле харловского зятя перед скошенным осьминником овса. Тот размахивал и указывал руками, а она не шевелилась. Солнце освещало ее высокую фигуру, и ярко голубел васильковый венок на ее голове.

IX

Я уже, кажется, сказывал вам, господа, что и для этой второй дочери Харлова матушка моя припасла жениха. То был один из самых бедных наших соседей, отставной армейский майор Житков, Гаврило Федулыч, человек уже немолодой и — как он сам выражался, не без самодовольства, впрочем, и словно рекомендуя себя — «битый да ломаный». Он едва разумел грамоте и очень был глуп, но втайне надеялся попасть к моей матушке в управляющие, ибо чувствовал себя «исполнителем». «Что другое-с, а зубьё считать у мужичья — это я до тонкости понимаю,— говаривал он, чуть не скрыпя собственными зубами,— потому — привык,— пояснял он,— в прежней моей, значит, должности». Будь Житков меньше глуп, он бы понял, что именно в управляющие к матушке попасть не предстояло ему никаких шансов, так как для этого нужно было сместить настоящего управляющего. некоего Квицинского, весьма характерного и дельного поляка, которому матушка вполне доверяла. Лицо

у Житкова было длинное, лошадиное; оно всё обросло пыльно-белокурыми волосами, даже щеки под глазами все заросли; в самые сильные морозы оно было покрыто обильным потом, словно росинками. При виде матушки он немедленно вытягивался в струнку, голова его начинала дрожать от усердия, огромные руки слегка похлопывали по ляжкам, и вся фигура, казалось, так и взывала: «Повели!.. и я устремлюсь!» Матушка не обманывалась насчет его способностей, что не мешало ей, однако, заботиться об его свадьбе с Евлампией.

— Только сладишь ли ты с ней, отец мой? — спросила она его однажды.

Житков самодовольно улыбнулся.

— Помилуйте, Наталья Николаевна! Целую роту в порядке содержал, по струнке ходили, а это что же-с? Плевое дело.

— То рота, отец мой, а то девушка благородная, жена,— заметила матушка с неудовольствием.

— Помилуйте-с! Наталья Николаевна! — снова воскликнул Житков.— Это мы всё очень понять можем. Одно слово: барышня, особа нежная!

— Ну,— решила наконец матушка,— Евлампия себя в обиду не даст.

X

Однажды — дело было в июне месяце и день склонялся к вечеру — человек доложил о приезде Мартына Петровича. Матушка удивилась: мы его более недели не видали, но он никогда так поздно не посещал нас. «Что-нибудь случилось!» — воскликнула она вполголоса. Лицо Мартына Петровича, когда он ввалился в комнату и тотчас же опустился на стул возле двери, имело такое необычайное выражение, оно так было задумчиво и даже бледно, что матушка моя невольно и громко повторила свое восклицание. Мартын Петрович уставил на нее свои маленькие глаза, помолчал, вздохнул тяжело, помолчал опять и объявил наконец, что приехал по одному делу... которое... такого рода, что по причине...

Пробормотав эти несвязные слова, он вдруг поднялся и вышел.

Матушка позвонила, велела вошедшему лакею тотчас догнать и непременно воротить Мартына Петровича, но тот уже успел сесть на свои дрожки и убраться.

На следующее утро матушка, которую странный поступок Мартына Петровича и необычайное выражение его лица одинаково изумили и даже смутили, собиралась было послать к нему нарочного, как он сам опять появился перед нею. На этот раз он казался спокойнее.

— Сказывай, батюшка, сказывай,— воскликнула матушка, как только увидела его,— что это с тобою поделалось? Я, право, вчера подумала: господи! — подумала я,— уж не рехнулся ли старик наш в рассудке своем?

— Не рехнулся я, сударыня, в рассудке своем,— отвечал Мартын Петрович,— не таковский я человек. Но мне нужно с вами посоветоваться.

— О чем?

— Только сомневаюсь я, будет ли вам сие приятно...

— Говори, говори, отец, да попроще. Не волнуй ты меня! К чему тут *сие*? Говори проще. Али опять меланхолия на тебя нашла?

Харлов нахмурился.

— Нет, не меланхолия — она у меня к новолунию бывает; а позвольте вас спросить, сударыня, вы о смерти как полагаете?

Матушка всполохнулась.

— О чем?

— О смерти. Может ли смерть кого ни на есть на сем свете пощадить?

— Это ты еще что вздумал, отец мой? Кто из нас бессмертный? Уж на что ты великан уродился — а и тебе конец будет.

— Будет! ох, будет! — подхватил Харлов и потупился.— Случилось со мною сонное мечтание...— протянул он наконец.

— Что ты говоришь? — перебила его матушка.

— Сонное мечтание,— повторил он.— Я ведь сновидец!

— Ты?

— Я! А вы не знали? — Харлов вздохнул.— Ну, вот... Прилег я как-то, сударыня, неделю тому назад с лишком, под самые заговены к Петрову посту; прилег я после обеда отдохнуть маленько, ну и заснул! И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок. И стал тот жеребенок играть и зубы скалить. Как жук вороной жеребенок.

Харлов умолк.

— Ну? — промолвила матушка.

— И как обернется вдруг этот самый жеребенок, да

как лягнет меня в левый локоть, в самый как есть поджилок! Я проснулся — ан рука не действует и нога левая тоже. Ну, думаю, паралич; однако поразмялся и снова вошел в действие; только мурашки долго по суставцам бегали и теперь еще бегают. Как разожму ладонь, так и забегают.

— Да ты, Мартын Петрович, как-нибудь руку перележал.

— Нет, сударыня; не то вы изволите говорить! Это мне предостережение... К смерти моей, значит.

— Ну вот еще! — начала было матушка.

— Предостережение! Готовься, мол, человече! И потому я, сударыня, вот что имею доложить вам, нимало не медля. Не желая,— закричал вдруг Харлов,— чтоб та самая смерть меня, раба божия, врасплох застала, положил я так-то в уме своем: разделить мне теперь же, при жизни, имение мое между двумя моими дочерьми, Анной и Евлампией, как мне господь бог на душу пошлет.— Мартын Петрович остановился, охнул и прибавил: — Нимало не медля.

— Что ж? Это дело хорошее,— заметила матушка,— только, я думаю, ты напрасно спешишь.

— И так как я желаю в сем деле,— продолжал, еще более возвысив голос, Харлов,— должный порядок и законность соблюсти, то покорнейше прошу вашего сыночка, Дмитрия Семеновича,— вас я, сударыня, обеспокоивать не осмеливаюсь,— прошу оного сыночка, Дмитрия Семеновича, родственнику же моему Бычкову в прямой долг вменяю — при совершении формального акта и ввода во владение моих двух дочерей, Анны замужней и Евлампии девицы, присутствовать; который акт имеет быть в действие введен послезавтра, в двенадцатом часу дня, в собственном моем имении Еськове, Козюлькине тож, при участии предержащих властей и чинов, кои уже суть приглашены.

Мартын Петрович едва окончил эту явно им наизусть затверженную и частыми вздохами прерванную речь... У него словно воздуха в груди недоставало: его побледневшее лицо снова побагровело, и он несколько раз утер с него пот.

— И ты уже составил раздельный акт? — спросила матушка.— Когда это ты успел?

— Успел... ох! Не пимши, не емши...

— Сам писал?

— Володька... ох! помогал.

— И прошение подал?

— Подал, и палата утвердила, и уездному суду предписано, и временное отделение земского суда... ох!.. к прибытию назначено.

Матушка усмехнулась.

— Ты, я вижу, Мартын Петрович, уже совсем, как следует, распорядился, и как скоро! Знать, денег не жалел?

— Не жалел, сударыня!

— То-то! А говоришь, что со мной посоветоваться желаешь. Что ж, пускай Митенька едет; я и Сувенира с ним отпущу, и Квицинскому скажу... А Гаврилу Федулыча ты не приглашал?

— Гаврила Федулыч... господин Житков... от меня таковжде... извещен. Ему как жениху следует!

Мартын Петрович, видимо, истощил весь запас своего красноречия. Притом мне всегда казалось, что он как будто не совсем благоволил к жениху, приисканному моей матушкой; быть может, он ожидал более выгодной партии для своей Евлампиюшки.

Он поднялся со стула и шаркнул ногою.

— За согласие благодарен!

— Куда же ты? — спросила матушка.— Посиди; я велю закуску подать.

— Много довольны,— отвечал Харлов.— Но не могу... Ох! нужно домой.

Он попятился и полез было, по своему обыкновению, боком в дверь.

— Постой, постой,— продолжала матушка,— неужто ты всё свое именье без остатку дочерям предоставляешь?

— Вестимо, без остатку.

— Ну, а ты сам... где будешь жить?

Харлов даже руками замахал.

— Как где? У себя в доме, как жил *доселючи*... так и впредь. Какая же может быть перемена?

— И ты в дочерях своих и в зяте так уверен?

— Это вы про Володьку-то говорить изволите? Про тряпку про эту? Да я его куда хочу пихну, и туда, и сюда... Какая его власть? А они меня, дочери то есть, по гроб кормить, поить, одевать, обувать... Помилуйте! первая их обязанность! Я ж им недолго глаза мозолить буду. Не за горами смерть-то — за плечами.

— В смерти господь бог волен,— заметила матушка,— а обязанность это их, точно. Только ты меня извини, Мартын Петрович; старшая у тебя, Анна, гордячка известная, ну, да и вторая волком смотрит...

— Наталья Николаевна! — перебил Харлов,— что вы это?.. Да чтоб они... Мои дочери... Да чтоб я... Из повиновенья-то выйти? Да им и во сне... Противиться? Кому? Родителю?.. Сметь? А проклясть-то их разве долго? В трепете да в покорности век свой прожили — и вдруг... господи!

Харлов раскашлялся, захрипел.

— Ну, хорошо, хорошо,— поспешила успокоить его матушка,— только я все-таки не понимаю, зачем ты *теперь* делить их вздумал? Всё равно после тебя им же достанется. Всему этому, я полагаю, твоя меланхолия причиной.

— Э, матушка! — не без досады возразил Харлов,— зарядили вы свою меланхолию! Тут, быть может, свыше сила действует, а вы: меланхолия! Потому, сударыня, вздумал я сие, что я самолично, еще «жимши», при себе хочу решить, кому чем владеть, и кого я чем награжу, тот тем и владей, и благодарность чувствуй, и исполняй, и на чем отец и благодетель положил, то за великую милость...

Голос Харлова опять перервался.

— Ну полно же, полно, отец мой,— перебила его матушка,— а то и впрямь вороной жеребенок появится.

— Ох, Наталья Николаевна, не говорите мне о нем! — простонал Харлов.— Это смерть моя за мной приходила. Прощенья просим. А вас, сударик мой, к послезавтрашнему дню ожидать буду честь иметь!

Мартын Петрович вышел; матушка посмотрела ему вслед и значительно покачала головою.

— Не к добру это,— прошептала она,— не к добру. Ты заметил,— обратилась она ко мне,— он говорит, а сам будто от солнца всё щурится; знай: это примета дурная. У такого человека тяжело на́ сердце бывает и несчастье ему грозит. Поезжай послезавтра с Викентием Осиповичем и с Сувениром.

XI

В назначенный день большая наша фамильная четвероместная карета, запряженная шестериком караковых лошадей, с главным «лейб-кучером», седобородым и туч-

ным Алексеичем на козлах, плавно подкатилась к крыльцу нашего дома. Важность акта, к которому намеревался приступить Харлов, торжественность, с которой он пригласил нас, подействовали на мою матушку. Она сама отдала приказ заложить именно этот экстраординарный экипаж и велела Сувениру и мне одеться по-праздничному: она, видимо, желала почтить своего «протеже́». Квицинский — тот всегда ходил во фраке и в белом галстухе. Во всю дорогу Сувенир трещал как сорока, хихикал, рассуждал о том, предоставит ли ему братец что-нибудь, и тут же обзывал его идолом и кикиморой. Квицинский, человек угрюмый, желчный, не выдержал наконец. «И охота вам,— заговорил он со своим польским отчетливым акцентом,— такое всё несообразное болтать? И неужели невозможно сидеть смирно, без этих „никому не нужных“ (любимое его слово) пустяков?» — «Ну, чичас»,— пробормотал Сувенир с неудовольствием и уставил свои косые глаза в окошко. Четверти часа не прошло, ровно бежавшие лошади едва начинали потеть под тонкими ремнями новых сбруй — как уже показалась харловская усадьба. Сквозь настежь растворенные ворота вкатилась наша карета на двор; крошечный форейтор, едва достававший ногами до половины лошадиного корпуса, в последний раз с младенческим воплем подскочил на мягком седле, локти старика Алексеича одновременно оттопырились и приподнялись — послышалось легкое тпрукание, и мы остановились. Собаки не встретили нас лаем, дворовые мальчишки в длинных, слегка на больших животах раскрытых рубахах — и те куда-то исчезли. Зять Харлова ожидал нас на пороге двери. Помню — меня особенно поразили березки, натыканные по обеим сторонам крыльца, словно в троицын день. «Торжество из торжеств!» — пропел в нос Сувенир, вылезая первый из кареты. И точно, торжественность замечалась во всем. На харловском зяте был плисовый галстук с атласным бантом и необыкновенно узкий черный фрак; а у вынырнувшего из-за его спины Максимки волосы до того были смочены квасом, что даже капало с них. Мы вошли в гостиную и увидали Мартына Петровича, неподвижно возвышавшегося — именно возвышавшегося — посредине комнаты. Не знаю, что почувствовали Сувенир и Квицинский при виде его колоссальной фигуры, но я ощутил нечто похожее на благоговение. Мартын Петрович облекся в серый, должно быть, ополченский, 12-го года, казакин с черным стоячим воротни-

«СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР».
СТРАНИЦА ЧЕРНОВОГО АВТОГРАФА.
Национальная библиотека, Париж.

ком, бронзовая медаль виднелась на его груди, сабля висела у бока; левую руку он положил на рукоятку, правой опирался на стол, покрытый красным сукном. Два исписанных листа бумаги лежало на этом столе. Харлов не шевелился, даже не пыхтел; и какая важность сказывалась в его осанке, какая уверенность в себе, в своей неограниченной и несомненной власти! Он едва приветствовал нас кивком и, хрипло промолвив: «Прошу!», повел указательным пальцем левой руки в направлении поставленных рядышком стульев. У правой стены гостиной стояли обе дочери Харлова, разодетые по-воскресному. Анна в зелено-лиловом, двуличневом платье с желтым шёлковым поясом; Евлампия — в розовом, с пунцовыми лентами. Возле них торчал Житков в новом мундире, с обычным выражением тупого и жадного ожидания в глазах и с бо́льшим против обычного количеством испарины на волосатом лице. У левой стены гостиной сидел священник в изношенной рясе табачного цвета, старый человек с жесткими бурыми волосами. Эти волосы и унылые, тусклые глаза и большие заскорузлые руки, которые словно его самого бременили и лежали, как груды, на коленях, и выглядывавшие из-под рясы смазные сапоги — всё свидетельствовало о трудовой, нерадостной жизни: приход его был очень беден. Рядом с ним помещался исправник, жирненький, бледненький, неопрятный господинчик, с пухлыми, короткими ручками и ножками, с черными глазами, черными подстриженными усами, с постоянной, хоть и веселой, но дрянной улыбочкой на лице: он слыл за великого взяточника и даже за тирана, как выражались в то время; но не только помещики, даже крестьяне привыкли к нему и любили его. Он весьма развязно и несколько насмешливо поглядывал кругом: видно было, что вся эта «процедура» его забавляла. В сущности его интересовала одна предстоявшая закуска с водочкой. Зато сидевший возле него стряпчий, сухопарый человек с длинным лицом, узкими бакенбардами от уха к носу, как их на́шивали при Александре Первом, всей душой принимал участие в распоряжениях Мартына Петровича и не спускал с него своих больших серьезных глаз: от очень усиленного внимания и сочувствия он всё двигал и поводил губами, не разжимая их, однако. Сувенир к нему присоседился и шёпотом заговорил с ним, объявив мне сперва, что это первый по губернии масон. Временное отделение земского суда состоит, как известно,

из исправника, стряпчего и станового; но станового либо вовсе не было, либо он до того стушевался, что я его не заметил; впрочем, он у нас в уезде носил прозвище «несуществующий», как бывают «непомнящие». Я сел подле Сувенира, Квицинский подле меня. На лице практического поляка была написана явная досада на «никому не нужную» поездку, на напрасную трату времени... «Барыня! Барские русские фантазии! — казалось, шептал он про себя...— Уж эти мне русские!»

XII

Когда мы все уселись, Мартын Петрович поднял плечи, крякнул, обвел нас всех своими медвежьими глазками и, шумно вздохнув, начал так:

— Милостивые государи! Я пригласил вас по следующему случаю. Становлюсь я стар, государи мои, немощи одолевают... Уже и предостережение мне было, смертный же час, яко тать в нощи, приближается... Не так ли, батюшка? — обратился он к священнику.

Батюшка встрепенулся.

— Тако, тако,— прошамшил он, потрясая бородкой.

— И потому,— продолжал Мартын Петрович, внезапно возвысив голос,— не желая, чтобы та самая смерть меня врасплох застала, положил я в уме своем...— Мартын Петрович повторил слово в слово фразу, которую он два дня тому назад произнес у матушки.— В силу сего моего решения,— закричал он еще громче,— сей акт (он ударил рукою по лежавшим на столе бумагам) составлен мною, и предержащие власти в свидетели приглашены, и в чем состоит оная моя воля, о том следуют пункты. Поцарствовал, будет с меня!

Мартын Петрович надел на нос свои железные круглые очки, взял со стола один из исписанных листов и начал:

— Раздельный акт имению отставного штык-юнкера и столбового дворянина Мартына Харлова, им самим, в полном и здравом уме и по собственному благоусмотрению составленный, и в коем с точностию определяется, какие угодия его двум дочерям, Анне и Евлампии (кланяйтесь! — они поклонились), предоставляются, и коим образом дворовые люди и прочее имущество и живность меж оными дочерьми поделяется! Рукою властной!

— Это ихняя бумажка,— шепнул, с неизменной своей улыбочкой, исправник Квицинскому,— они ее для красо-

ты слога прочитать желают, а законный акт составлен по форме, безо всех этих цветочков.

Сувенир начал было хихикать...

— Согласно с моею волею! — вмешался Харлов, от которого не ускользнуло замечание исправника.

— Во всех пунктах согласно,— поспешно и весело отвечал тот,— только форму, вы знаете, Мартын Петрович, никак обойти нельзя. И лишние подробности устранены. Ибо в пегих коров и турецких селезней палата никаким образом входить не может.

— Подь сюда ты! — гаркнул Харлов зятю, который вслед за нами вошел в комнату и с подобострастным видом остановился у двери. Он тотчас подскочил к своему тестю.

— На, возьми, читай! А то мне трудно. Только смотри, не лотоши! Чтобы все господа присутствующие вникнуть могли.

Слёткин взял лист в обе руки и стал трепетно, но внятно, со вкусом и чувством, читать раздельный акт. В нем с величайшею аккуратностью было обозначено, что именно отходило к Анне и что к Евлампии и как им следовало делиться. Харлов от времени до времени прерывал чтение словами: «Слышь, это тебе, Анна, за твое усердие!» — или: «Это тебе, Евлампиюшка, жалую!» — и обе сестры кланялись, Анна в пояс, Евлампия одной головой. Харлов с угрюмой важностью посматривал на них. «Усадебный дом» (новый флигелек) был отдан им Евлампии,— «яко младшей дочери, по извечному обычаю». Голос чтеца зазвенел и задрожал, произнося эти неприятные для него слова; а Житков облизнулся. Евлампия искоса глянула на него: будь я на месте Житкова, не понравился бы мне этот взгляд. Презрительное выражение лица, свойственное Евлампии, как всякой истой русской красавице, на этот раз носило особый оттенок. Самому себе Мартын Петрович предоставлял право жить в занимаемых им комнатах и выговаривал себе, под именем «опричного», полное содержание «натуральною провизиею» и десять рублей ассигнациями в месяц на обувь и одежду. Последнюю фразу раздельного акта Харлов пожелал прочесть сам. «И сию мою родительскую волю,— гласила она,— дочерям моим исполнять и наблюдать свято и нерушимо, яко заповедь; ибо я после бога им отец и глава, и никому отчета давать не обязан и не давал; и будут они волю мою исполнять, то будет с ними мое родительское благословение, а не будут волю мою исполнять, чего

боже оборони, то постигнет их моя родительская неключимая клятва, ныне и во веки веков, аминь!» Харлов поднял лист высоко над головою, Анна тотчас проворно опустилась на колени и стукнула о пол лбом; за ней кувыркнулся и муж ее. «Ну, а ты что ж?» — обратился Харлов к Евлампии. Та вся вспыхнула и также поклонилась в землю; Житков нагнулся вперед всем корпусом.

— Подпишитесь! — воскликнул Харлов, указывая пальцем на конец листа.— Здесь: Благодарю и принимаю, Анна! Благодарю и принимаю, Евлампия!

Обе дочери встали и подписались одна за другой. Слёткин встал тоже и полез было за пером, но Харлов отстранил его, ткнув его средним перстом в галстух, так что он иокнул. С минуту длилось молчание. Вдруг Мартын Петрович словно всхлипнул и, пробормотав: «Ну, теперь всё ваше!», отодвинулся в сторону. Дочери и зять переглянулись, подошли к нему и стали целовать его выше локтя. В плечо достать они не могли.

XIII

Исправник прочел настоящий, формальный акт, дарственную запись, составленную Мартыном Петровичем. Потом он вместе с стряпчим вышел на крыльцо и объявил собравшимся у ворот соседям, понятым, харловским крестьянам и нескольким дворовым людям о совершившемся событии. Начался ввод во владение новых двух помещиц, которые также появились на крыльце и на которых исправник указывал рукою, когда, слегка наморщив одну бровь и мгновенно придав своему беззаботному лицу вид грозный, он внушал крестьянам о «послушании». Он бы мог обойтись и без этих внушений: более смирных физиономий, чем у харловских крестьян, я полагаю, в природе не существует. Облеченные в худые армяки и прорванные тулупы, но весьма туго подпоясанные, как это всегда водится в торжественных случаях, они стояли неподвижно, как каменные, и, как только исправник испускал междометие вроде: «Слышите, черти! Понимаете, дьяволы!», кланялись вдруг все разом, словно по команде; каждый из «чертей и дьяволов» крепко держал свою шапку обеими руками и не спускал взора с окна, в котором виднелась фигура Мартына Петровича. Немного меньше робели и самые понятые.

— Вам известны какие-либо препятствия,— крикнул на них исправник,— ко введению во владение сих единственных и законных наследниц и дочерей Мартына Петровича Харлова?

Все понятые тотчас словно съежились.

— Известны, черти? — крикнул опять исправник

— Ничего, ваше благородие, нам не известно,— мужественно отвечал один корявый старичок, с остриженной бородой и усами, отставной солдат.

— Ну, да и смельчак же Еремеич! — говорили, расходясь, про него понятые.

Несмотря на просьбы исправника, Харлов не пожелал выйти вместе с дочерьми на крыльцо. «Мои подданные и без того моей воле покорятся!» — отвечал он. На него, по совершении акта, нашло нечто вроде грусти. Лицо его снова побледнело. Это новое, небывалое выражение грусти так мало шло к пространным и дебелым чертам Мартына Петровича, что я решительно не знал, что подумать! Уж не меланхолия ли на него находит? Крестьяне, очевидно, с своей стороны также ощущали недоумение. И в самом деле: «Барин живехонек — вот он стоит, да еще какой барин: Мартын Петрович! И вдруг он ими владеть не будет... Чудеса!» Не знаю, догадался ли Харлов о том, какие мысли бродили в головах его «подданных», захотел ли он в последний раз покуражиться, только он вдруг открыл форточку, приставил к отверстию голову и закричал громовым голосом: «Повиноваться!» Потом он захлопнул форточку. Недоумение крестьян, конечно, от этого не рассеялось и не уменьшилось. Они еще пуще окаменели и даже как бы перестали глядеть. Группа дворовых (в числе их находились две здоровенные девки, в коротких ситцах и с такими икрами, подобных которым видеть можно разве на «Страшном судилище» Микель-Анжело, да еще один, уже совсем ветхий, от древности даже заиндевевший, полуслепой человек в шершавой фризовой шинели — он, по слухам, был при Потемкине «валторщиком» — казачка Максимку Харлов себе предоставил), группа эта выказывала большее оживление, чем крестьяне; она по крайней мере переминалась на месте. Сами новые помещицы держались очень важно, особенно Анна. Стиснув свои сухие губы, она упорно глядела вниз... Не много доброго обещала дворовым ее строгая фигура. Евлампия тоже не поднимала глаз; только раз она обернулась и, словно с удивлением, медленно окинула

взором своего жениха Житкова, который, вслед за Слёткиным, почел нужным также явиться на крыльцо. «Ты здесь с какого права?» — казалось, говорили эти красивые выпуклые глаза. Слёткин — тот изменился больше всех. Во всем существе его проявилась торопливая бодрость, словно аппетит его пронимал; движения головы, ног остались подобострастными по-прежнему, но как весело расправлял он руки, как хлопотливо передвигал лопатками! «Наконец, мол, дорвался!» Окончив «процедуру» ввода во владение, исправник, у которого от приближения закуски даже вода подтекла под щеками, потер себе руки тем особенным манером, который обыкновенно предшествует «вонзанию в себя первой рюмочки»; но оказалось, что Мартын Петрович желал сперва отслужить молебен с водосвятием. Священник облачился в старую, еле живую ризу; еле живой дьячок вышел из кухни, с трудом раздувая ладан в старом медном паникадиле. Молебен начался. Харлов то и дело вздыхал; класть земные поклоны он по тучности не мог, но, крестясь правой рукою и наклоняя голову, указывал перстом левой руки на пол. Слёткин так и сиял и даже прослезился; Житков благородно, по-военному, чуть-чуть помахивал пальцами между третьей и четвертой пуговицей мундира; Квицинский, как католик, остался в соседней комнате; зато стряпчий так усердно молился, так сочувственно вздыхал вслед за Мартыном Петровичем и так истово шептал и жевал губами, возводя взоры горé, что, глядя на него, я ощутил умиление и начал тоже горячо молиться. По окончании молебна и водосвятия, причем все присутствующие, даже слепой потемкинский «валторщик», даже Квицинский, помочили себе глаза святой водой, Анна и Евлампия еще раз, по приказанию Мартына Петровича, благодарили его земно; и тут, наконец, наступил момент завтрака! Кушаний было много, и все превкусные; мы все наелись страшно. Появилась неизбежная бутылка донского. Исправник, как человек, больше всех нас знакомый со светскими обычаями, ну, да и как представитель власти, первый провозгласил тост за здоровье «прекрасных владелиц!». Потом он же предложил нам выпить за здравие наипочтеннейшего и наивеликодушнейшего Мартына Петровича! При слове: «великодушнейший», Слёткин взвизгнул и бросился целовать своего благодетеля... «Ну, хорошо, хорошо, не надо»,— бормотал Харлов как бы с досадой, отстраняя его локтем... Но тут произошел не совсем приятный, как говорится, пассаж.

XIV

А именно: Сувенир, который с самого начала завтрака пил безостановочно, внезапно поднялся, весь красный, как бурак, со стула и, указывая пальцем на Мартына Петровича, залился своим дряблым, дрянным смехом.

— Великодушный! Великодушный! — затрещал он,— а вот мы посмотрим, по вкусу ли ему самому придется это великодушие, когда его, раба божия, голой спиной... да на снег!

— Что ты врешь? Дурак! — презрительно промолвил Харлов.

— Дурак, дурак! — повторил Сувенир.— Единому всевышнему богу известно, кто из нас обоих заправский-то дурак. А вот вы, братец, сестрицу мою, супругу вашу, уморили — за то теперь и самих себя похерили... ха-ха-ха!

— Как вы смеете нашего почтенного благодетеля обижать? — запищал Слёткин и, оторвавшись от обхваченного им плеча Мартына Петровича, ринулся на Сувенира.— Да знаете ли, что если наш благодетель того пожелает, то мы и самый акт сию минуту уничтожить можем?..

— А вы все-таки его голой спиной — на снег...— ввернул Сувенир, стушевавшись за Квицинского.

— Молчать! — загремел Харлов.— Прихлопну тебя, так только мокро будет на том месте, где ты находился. Да и ты молчи, щенок! — обратился он к Слёткину,— не суйся, куда не велят! Коли я, Мартын Петров Харлов, порешил оный раздельный акт составить, то кто же может его уничтожить? Против моей воли пойти? Да в свете власти такой нет...

— Мартын Петрович! — заговорил вдруг сочным басом стряпчий; он тоже выпил много, но от этого в нем только важности прибавилось.— Ну, а как господин помещик правду сказать изволил! Дело вы совершили великое, ну, а как, сохрани бог, действительно... вместо должной благодарности, да выйдет какой афронт?

Я глянул украдкой на обеих дочерей Мартына Петровича. Анна так и впилась глазами в говорившего, и уж, конечно, более злого, змеиного и в самой злобе более красивого лица я не видывал! Евлампия отворотилась и руки скрестила; презрительная усмешка более чем когда-нибудь скрутила ее полные розовые губы.

Харлов поднялся со стула, разинул рот, но, видно, язык изменил ему... Он вдруг ударил кулаком по столу, так что всё в комнате подпрыгнуло и задребезжало.

— Батюшка,— поспешно промолвила Анна,— они нас не знают и потому так о нас понимают; а вы себе не извольте повредить. Напрасно вы гневаться изволите; вот у вас личико словно перекосилось.

Харлов поглядел на Евлампию; она не шевелилась, хотя сидевший подле нее Житков и толкал ее под бок.

— Спасибо тебе, дочь моя Анна,— глухо заговорил Харлов,— ты у меня разумница; я на тебя надеюсь и на мужа твоего тоже.— Слёткин опять взвизгнул; Житков выставил было грудь и ногой слегка топнул; но Харлов не заметил его старания.— Этот шалопай,— продолжал он, указав подбородком на Сувенира,— рад дразнить меня; но вам, милостивый государь мой,— обратился он к стряпчему,— вам о Мартыне Харлове судить не приходится, понятием еще не вышли. И чиновный вы человек, а слова ваши самые вздорные. А впрочем, дело сделано, решению моему отмены не будет... Ну, и счастливо оставаться! Я уйду. Я здесь больше не хозяин, я гость. Анна, хлопочи ты, как знаешь; а я к себе в кабинет уйду. Довольно!

Мартын Петрович повернулся к нам спиною, и не прибавив больше ни слова, медленно вышел из комнаты.

Внезапное удаление хозяина не могло не расстроить нашей компании, тем более, что и обе хозяйки тоже вскорости исчезли. Слёткин напрасно старался удержать нас. Исправник не преминул упрекнуть стряпчего в неуместной его откровенности.

— Нельзя! — отвечал тот.— Совесть заговорила!

— Вот и видно, что масон,— шепнул мне Сувенир.

— Совесть! — возразил исправник.— Знаем мы вашу совесть! Так же небось и у вас в кармане сидит, как и у нас грешных!

Священник между тем, уже стоя на ногах, но предчувствуя скорый конец трапезы, беспрестанно посылал в рот кусок за куском.

— А у вас, я вижу, аппетит сильный,— резко заметил ему Слёткин.

— Про запас,— отвечал священник со смиренной ужимкой; застарелый голод слышался в этом ответе.

Застучали экипажи... и мы разъехались.

На возвратном пути никто не мешал Сувениру кривляться и болтать, так как Квицинский объявил, что ему надоели все эти «никому не нужные» безобразия, и прежде нас отправился домой пешком. На его место к нам в карету сел Житков; отставной майор имел весьма недовольный вид и то и дело, как таракан, поводил усами.

— Что, ваше высокоблагородие,— лепетал Сувенир,— субординация, знать, подорвана? Погодите, то ли будет! Зададут феферу и вам! Ах вы, женишок, женишок, горе-женишок!

Сувенира так и разбирало; а бедный Житков только шевелил усами.

Вернувшись домой, я рассказал всё виденное мною матушке. Она выслушала меня до конца и несколько раз покачала головою.

— Не к добру,— промолвила она,— не нравятся мне все эти новизны!

XV

На следующий день Мартын Петрович приехал к обеду. Матушка поздравила его с благополучным окончанием затеянного им дела.

— Ты теперь свободный человек,— сказала она,— и должен себя легче чувствовать.

— Легче-то легче, сударыня,— отвечал Мартын Петрович, нисколько, однако, не показывая выраженьем своего лица, что ему действительно легче стало.— Можно теперь и о душе помыслить и к смертному часу как следует приготовиться.

— А что,— спросила матушка,— мурашки у тебя по руке всё бегают?

Харлов раза два сжал и разжал ладонь левой руки.

— Бегают, сударыня; и что я вам еще доложу: как начну я засыпать, кричит кто-то у меня в голове: «Берегись! берегись!»

— Это... нервы,— заметила матушка и заговорила о вчерашнем дне, намекнула на некоторые обстоятельства, сопровождавшие совершение раздельного акта...

— Ну да, да,— перебил ее Харлов,— было там кое-что... неважное. Только вот что доложу вам,— прибавил он с расстановкой — Не смутили меня вчерась пустые Сувенировы слова; даже сам господин стряпчий, хоть

и обстоятельный он человек,— и тот не смутил меня; а смутила меня...— Тут Харлов запнулся.

— Кто? — спросила матушка.

Харлов вскинул на нее глазами.

— Евлампия!

— Евлампия? Дочь твоя? Это каким образом?

— Помилуйте, сударыня,— точно каменная! истукан истуканом! Неужто же она не чувствует? Сестра ее, Анна,— ну, та всё как следует. Та — тонкая! А Евлампия,— ведь я ей — что греха таить! — много предпочтения оказывал! Неужто же ей не жаль меня? Стало быть, мне плохо приходится, стало быть, чую я, что не жилец я на сей земле, коли всё им отказываю; и точно каменная! хоть бы гукнула! Кланяться — кланяется, а благодарности не видать.

— Вот постой,— заметила матушка,— выдадим мы ее за Гаврилу Федулыча... у него она помягчеет.

Мартын Петрович опять исподлобья глянул на матушку.

— Ну разве вот Гаврила Федулыч! Вы, знать, сударыня, на него надеетесь?

— Надеюсь.

— Так-с; ну, вам лучше знать. А у Евлампии, доложу вам,— что у меня, что у ней: нрав всё едино. Казацкая кровь — а сердце, как уголь горячий!

— Да разве у тебя такое сердце, отец мой?

Харлов не отвечал. Наступило небольшое молчание.

— Что же ты, Мартын Петрович,— начала матушка,— каким образом намерен теперь душу свою спасать? К Митрофанию съездишь или в Киев? Или, может быть, в Оптину пустынь отправишься, так как она по соседству? Там, говорят, такой святой проявился инок... отцом Макарием его зовут, никто такого и не запомнит! Все грехи насквозь видит.

— Если она точно неблагодарной дочерью окажется,— промолвил хриплым голосом Харлов,— так мне, кажется, легче будет ее из собственных рук убить!

— Что ты! Что ты! Господь с тобою! Опомнись! — воскликнула матушка.— Какие ты это речи говоришь? Вот то-то вот и есть! Послушался бы меня намедни, как советоваться приезжал! А теперь вот ты себя мучить будешь — вместо того, чтобы о душе помышлять! Мучить ты себя будешь — а локтя все-таки не укусишь! Да! Теперь вот ты жалуешься, трусишь...

Этот упрек, казалось, в самое сердце кольнул Харлова. Вся прежняя его гордыня так волной и прилила к нему. Он встряхнулся и подбородком двинул вперед.

— Не таковский я человек, сударыня Наталья Николаевна, чтобы жаловаться или трусить,— угрюмо заговорил он.— Я вам только как благодетельнице моей и уважаемой особе чувства мои изложить пожелал. Но господь бог ведает (тут он поднял руку над головою), что скорее шар земной в раздробление придет, чем мне от своего слова отступиться, или... (тут он даже фыркнул) или трусить, или раскаиваться в том, что я сделал! Значит, были причины! А дочери мои из повиновения не выдут, во веки веков, аминь!

Матушка зажала уши.

— Что это, отец, как труба трубишь! Коли ты в самом деле в домочадцах своих так уверен, ну и слава тебе, господи! Голову ты мне совсем размозжил!

Мартын Петрович извинился, вздохнул раза два и умолк. Матушка опять упомянула о Киеве, об Оптиной пустыни, об отце Макарии... Харлов поддакивал, говорил, что «нужно, нужно... надо будет... о душе...» и только. До самого отъезда он не развеселился; от времени до времени сжимал и разжимал руку, глядел себе на ладонь, говорил, что ему страшнее всего умереть без покаяния, от удара, и что он зарок себе дал: не сердиться, так как от сердца кровь портится и к голове приливает... Притом же он теперь от всего отстранился; с какой стати он сердиться будет? Пусть другие теперь трудятся и кровь себе портят!

Прощаясь с матушкой, он странным образом поглядывал на нее: задумчиво и вопросительно... и вдруг, быстрым движением выхватив из кармана том «Покоящегося трудолюбца», сунул его матушке в руки.

— Что такое? — спросила она.

— Прочтите... вот тут,— торопливо промолвил он,— где уголок загнут, о смерти. Сдается мне, что больно хорошо сказано, а понять никак не могу. Не растолкуете ли вы мне, благодетельница? Я вот вернусь, а вы мне растолкуете.

С этими словами Мартын Петрович вышел.

— Неладно! эх, неладно! — заметила матушка, как только он скрылся за дверью, и принялась за «Трудолюбца».

На странице, отмеченной Харловым, стояли следующие слова:

«Смерть есть важная и великая работа натуры. Она не что иное, как то, что дух, понеже есть легче, тоньше и гораздо проницательнее тех стихий, коим отдан был под власть, но и самой электрической силы, то он химическим образом чистится и стремится до тех пор, пока не ощутит равно духовного себе места...» и т. д.*

Матушка прочла этот пассажик раза два, воскликнула: «Тьфу!»— и бросила книгу в сторону.

Дня три спустя она получила известие, что муж ее сестры скончался, и, взяв меня с собою, отправилась к ней в деревню. Матушка располагала провесть у ней месяц, но осталась до поздней осени — и мы только в конце сентября вернулись в нашу деревню.

XVI

Первое известие, которым встретил меня мой камердинер Прокофий (он же считался господским егерем), было то, что вальдшнепов налетело видимо-невидимо и что особенно в березовой роще возле Еськова (харловского имения) они так и кишат. До обеда оставалось еще часа три; я тотчас схватил ружье, ягдташ и вместе с Прокофием и легавой собакой побежал в Еськовскую рощу. Вальдшнепов в ней мы нашли действительно много — и, выпустивши около тридцати зарядов, убили штук пять. Спеша с добычей домой, я увидел возле дороги пахавшего мужика. Лошадь его остановилась, и он, слезливо и злобно ругаясь, нещадно дергал веревочной вожжою ее набок загнутую голову. Я вгляделся в несчастную клячу, у которой ребра чуть не прорывались наружу и облитые потом бока судорожно и неровно вздымались, как худые кузнечные меха,— и тотчас признал в ней старую чахлую кобылу со шрамом на плече, столько лет служившую Мартыну Петровичу.

— Господин Харлов жив? — спросил я Прокофия. Охота нас обоих так «всецело» поглотила, что мы до того мгновенья ни о чем другом не разговаривали.

— Жив-с. А что-с?

— Да ведь это его лошадь? Разве он продал ее?

---

* См. «Покоящийся трудолюбец», 1785, III ч. Москва.

— Лошадь точно ихняя-с; только продавать они ее не продавали; а взяли ее у них — да тому мужичку и отдали.

— Как так взяли? И он согласился?

— Согласия ихнего не спрашивали-с. Тут без вас порядки пошли,— промолвил с легкой усмешкой Прокофий в ответ на мой удивленный взгляд,— беда! Боже ты мой! Теперь у них Слёткин господин всем орудует.

— А Мартын Петрович?

— А Мартын Петрович самым, как есть последним человеком стал. На сухояденье сидит — чего больше? Порешили его совсем. Того и смотри, со двора сгонят.

Мысль, что можно такого великана *согнать*, никак не укладывалась мне в голову.

— А Житков-то чего смотрит? — спросил я наконец.— Ведь он женился на второй дочери?

— Женился? — повторил Прокофий и на этот раз усмехнулся во весь рот.— Его и в дом-то не пускают. Не надо, мол; поверни, мол, оглобли назад. Сказанное дело: Слёткин всем заправляет.

— А невеста-то что?

— Евлампия-то Мартыновна? Эх, барин, сказал бы я вам... да млады вы суть — вот что. Дела тут подошли такие, что и... и... и! Э! да Дианка-то, кажись, стоит!

Действительно, собака моя остановилась как вкопанная перед широким дубовым кустом, которым заканчивался узкий овраг, выползавший на дорогу. Мы с Прокофием подбежали к собаке: из куста поднялся вальдшнеп. Мы оба выстрелили по нем и промахнулись; вальдшнеп переместился; мы отправились за ним.

Суп уже был на столе, когда я вернулся. Матушка побранила меня. «Что это? — сказала она с неудовольствием,— в первый же день — да к обеду ждать себя заставил». Я поднес ей убитых вальдшнепов: она и не посмотрела на них. Кроме ее, в комнате находились Сувенир, Квицинский и Житков. Отставной майор забился в угол,— ни дать ни взять провинившийся школьник; выражение его лица являло смесь смущения и досады; глаза его покраснели... Можно было даже подумать, что он незадолго перед тем всплакнул. Матушка продолжала быть не в духе; мне не стоило большого труда догадаться, что поздний мой приход был тут ни при чем. Во время обеда она почти не разговаривала; майор изредка возводил на нее жалостные взгляды, кушал, однако, исправно; Суве-

нир трепетал; Квицинский сохранял обычную уверенность осанки.

— Викентий Осипыч,— обратилась к нему матушка,— прошу вас послать завтра за Мартыном Петровичем экипаж, так как я известилась, что у него своего не стало; и велите ему сказать, чтобы он непременно приехал, что я желаю его видеть.

Квицинский хотел было что-то возразить, но удержался.

— И Слёткину дайте знать,— продолжала матушка,— что я ему приказываю ко мне явиться... Слышите? При...ка...зываю!

— Вот уже именно... этого негодяя следует...— начал вполголоса Житков; но матушка так презрительно на него посмотрела, что он тотчас отворотился и умолк.

— Слышите? Я приказываю! — повторила матушка.

— Слушаю-с,— покорно, но с достоинством промолвил Квицинский.

— Не приедет Мартын Петрович! — шепнул мне Сувенир, выходя вместе со мною после обеда из столовой.— Вы посмотрите, что с ним сталось! Уму непостижимо! Я полагаю, он, что и говорят-то ему — ничего не понимает. Да! Прижали ужа вилами!

И Сувенир залился своим дряблым смехом.

XVII

Предсказание Сувенира оказалось справедливым. Мартын Петрович не захотел поехать к матушке. Она этим не удовольствовалась и отправила к нему письмо; он прислал ей четвертушку бумаги, на которой крупными буквами были написаны следующие слова: «Ей-же-ей, не могу. Стыд убьет. Пущай так пропадаю. Спасибо. Не мучьте. Харлов Мартыико». Слёткин приехал, но не в тот день, когда матушка «приказывала» ему явиться, а целыми сутками позже. Матушка велела провести его к себе в кабинет... Бог ведает, о чем у них велась беседа, но продолжалась она недолго: с четверть часа, не более. Слёткин вышел от матушки весь красный и с таким ядовито-злым и дерзостным выражением лица, что, встретившись с ним в гостиной, я просто остолбенел, а тут же вертевшийся Сувенир не окончил начатого смеха. Матушка вышла из кабинета тоже вся красная в лице и объявила во всеуслышание, чтоб господина Слёткина ни под каким видом

к ней вперед не допускать; а коли Мартына Петровича дочери вздумают явиться — наглости, дескать, на это у них станет,— им также отказывать. За обедом она вдруг воскликнула: «Каков дрянной жиденок! Я ж его за уши из грязи вытащила, я ж его в люди вывела, он всем, всем мне обязан — и он смеет мне говорить, что я напрасно в их дела вмешиваюсь! Что Мартын Петрович блажит — и что ему потакать невозможно. Потакать! каково? Ах, он неблагодарный па́щенок! Жиденок мерзкий!» Майор Житков, который также находился в числе обедавших, вообразил, что теперь-то уж сам бог ему велел воспользоваться случаем и ввернуть свое слово... но матушка тотчас его осадила. «Ну уж и ты хорош, мой отец! — промолвила она.— С девкой не умел сладить, а еще офицер! Ротой командовал! Воображаю, как она тебя слушалась! В управляющие метил! Хорош бы вышел управляющий!»

Квицинский, сидевший на конце стола, улыбнулся про себя не без злорадства, а бедный Житков только усами повел да брови поднял и всем своим волосатым лицом уткнулся в салфетку.

После обеда он вышел на крыльцо покурить, по обыкновению, трубочку — и таким он мне показался жалким и сиротливым, что я, хотя его и недолюбливал, однако тут присоседился к нему.

— Как это у вас, Гаврила Федулыч,— начал я без дальних околичностей,— с Евлампией Мартыновной дело расстроилось? Я полагал — вы давно женились.

Отставной майор уныло взглянул на меня.

— Змей подколодный,— начал он, с горестной старательностью выговаривая каждую букву каждого слога,— жалом своим меня уязвил и все мои надежды в жизни — в прах обратил! И рассказал бы я вам, Дмитрий Семенович, все его ехидные поступки, но матушку вашу боюсь прогневить! («Млады вы еще суть»,— мелькнуло у меня в голове выражение Прокофия.) Уж и так...

Житков крякнул.

— Терпеть... терпеть... больше ничего не остается! (Он ударил себя кулаком в грудь.) Терпи, старый служака, терпи! Царю служил верой-правдой... беспорочно... да! Не щадил пота-крови, а теперь вот до чего довертелся! Будь то в полку и дело от меня зависящее,— продолжал он после короткого молчания, судорожно насасывая свой черешневый чубук,— я б его... я б его фухтелями в три перемены... то есть до отвалу...

Житков вынул трубку изо рта и устремил взор в пространство, как бы внутренно любуясь вызванной им картиной.

Сувенир подбежал и начал шпынять майора. Я отошел от них в сторону — и решился во что бы то ни стало собственными глазами увидать Мартына Петровича... Детское мое любопытство было сильно задето.

XVIII

На другой день я опять с ружьем и с собакой, но без Прокофия, отправился в Еськовскую рощу. День выдался чудесный: я думаю, кроме России, в сентябре месяце нигде подобных дней и не бывает. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву — падал навсегда: он уж не шелохнется, пока не истлеет. Воздух ни теплый, ни свежий, а только пахучий и словно кисленький, чуть-чуть, приятно щипал глаза и щеки; тонкая, как шелковинка, с белым клубочком посередине, длинная паутина плавно налетала и, прильнув к стволу ружья, прямо вытягивалась по воздуху — знак постоянной, теплой погоды! Солнце светило, но так кротко, хоть бы луне. Вальдшнепы попадались довольно часто; но я не обращал на них особенного внимания; я знал, что роща доходила почти до самой усадьбы Харлова, до самого плетня его сада, и пробирался в ту сторону, хоть и не мог себе представить, как я в самую усадьбу проникну, и даже сомневался в том, следовало ли мне стараться проникнуть туда, так как матушка моя гневалась на новых владельцев.

Живые человеческие звуки почудились мне в недальнем расстоянии. Я стал прислушиваться... Кто-то шел по лесу... прямо на меня.

— Так бы ты и сказал,— послышался женский голос.

— Толкуй! — перебил другой голос, голос мужчины.— Нешто можно всё разом?

Голоса были мне знакомы. Женское голубое платье мелькнуло сквозь поредевшие ореховые кусты; рядом с ним показался темный кафтан. Еще мгновенье — и на поляну, в пяти шагах от меня, вышли Слёткин и Евлампия.

Они внезапно смутились. Евлампия тотчас отступила назад в кусты. Слёткин подумал — и приблизился ко мне.

На лице его уже не замечалось и следа того подобострастного смирения, с которым он, месяца четыре тому назад, расхаживая по двору харловского дома, перетирал трензель моей лошади; но и того дерзкого вызова я на нем прочесть не мог, того вызова, которым это лицо так поразило меня накануне, на пороге матушкина кабинета. Оно осталось по-прежнему белым и пригожим, но казалось солидней и шире.

— Что, много вальдшнепов заполевали? — спросил он меня, приподняв шапку, ухмыляясь и проводя рукою по своим черным кудрям.— Вы в нашей роще охотитесь... Милости просим! Мы не препятствуем... Напротив!

— Сегодня я ничего не убил,— промолвил я, отвечая на первый его вопрос,— а из рощи вашей я сейчас выйду.

Слёткин торопливо надел шапку.

— Помилуйте, зачем же? Мы вас не гоним — и даже очень рады... Вот и Евлампия Мартыновна то же скажет. Евлампия Мартыновна, пожалуйте сюда! Куда вы забились?

Голова Евлампии показалась из-за кустов; но она не подошла к нам. Она еще похорошела за последнее время — и словно еще выросла и раздобрела.

— Мне, признаться сказать,— продолжал Слёткин,— даже очень приятно, что «встрелся» с вами. Вы хоть еще молоды, но разум уже имеете настоящий. Матушка ваша вчерась на меня прогневаться изволила — никаких от меня резонов принять не хотела, а я как перед богом, так и перед вами доложу: ни в чем я не повинен. С Мартыном Петровичем иначе поступать невозможно: совсем он в младенчество впал. Нельзя же нам исполнять все его капризы, помилуйте. А уважение мы ему оказываем как следует! Спросите хоть Евлампию Мартыновну.

Евлампия не шевелилась; обычная презрительная улыбка бродила по ее губам — и неласково глядели красивые глаза.

— Но зачем же вы, Владимир Васильевич, Мартын Петровичеву лошадь-то продали? (Меня особенно смущала эта лошадь, находящаяся во владении мужика.)

— Лошадь-то ихнюю зачем продали-с? Да помилосердуйте — куда же она годилась? Только сено даром ела. А у мужика она все-таки пахать может. А Мартыну Петровичу — коли вздумается куда выехать — стóит только у нас попросить. Мы в экипаже ему не отказываем. В нерабочие дни с нашим удовольствием!

— Владимир Васильевич! — глухо проговорила Евлампия, как бы отзывая его и всё не сходя с своего места. Она вертела около пальцев несколько стеблей подорожника и отсекала им головки, ударяя их друг о дружку.

— Вот еще насчет казачка Максимки,— продолжал Слёткин,— Мартын Петрович жалуется, зачем, мол, мы его у него отняли да в ученье отдали. Но извольте сами рассудить: ну, что бы он стал у Мартына Петровича делать? Баклуши бить; больше ничего. И служить-то как следует он не может — по причине своей глупости и младых лет. А теперь мы его к шорнику в учение отдали. Выйдет из него мастер хороший — и себе пользу принесет, и нам будет оброк платить. А в нашем маленьком хозяйстве это вещь важная-с! В нашем маленьком хозяйстве ничего упускать не следует!

«И этого-то человека Мартын Петрович называл тряпкой!» — подумал я.— Но кто же теперь Мартыну Петровичу читает? — спросил я.

— Да что читать-то? Была одна книга — да, благо, запропастилась куда-то... И что за чтение в его лета!

— А бреет его кто? — опять спросил я.

Слёткин засмеялся одобрительно, как бы в ответ на забавную шутку.

— Да никто. Сперва он себе бороду свечой подпаливал,— а теперь и вовсе запустил ее. И чудесно!

— Владимир Васильевич! — с настойчивостью повторила Евлампия,— а Владимир Васильевич!

Слёткин сделал ей знак рукою.

— Обут, одет Мартын Петрович, кушает то же, что и мы; чего ж ему еще? Сам же он уверял, что больше ничего в сем мире не желает, как только о душе своей заботиться. Хоть бы он то сообразил, что теперь всё как-никак — а наше. Говорит тоже, что жалованье мы ему не выдаем; да у нас самих деньги не всегда бывают; и на что они ему, когда на всем готовом живет? А мы с ним по-родственному обращаемся; истинно вам говорю. Комнаты, например, в которых он жительство имеет, уж как нам нужны! без них просто повернуться негде; а мы — ничего! — терпим. Даже о том помышляем, как бы ему развлечение доставить. Вот я к Петрову дню а-атличные крючки в городе ему купил — настоящие английские: дорогие крючки! чтобы рыбу удить. У нас в пруду караси водятся. Сидел бы да удил! Часик, другой посидел — ан ушица и готова. Самое для старичков степенное занятие!

— Владимир Васильевич! — в третий раз решительным тоном проговорила Евлампия и отбросила далеко от себя прочь травяные стебли, которые вертела в пальцах.— Я уйду! — Ее глаза встретились с моими.— Я уйду, Владимир Васильевич! — повторила она и скрылась за куст.

— Я сейчас, Евлампия Мартыновна, сейчас! — крикнул Слёткин.— Сам Мартын Петрович теперь нас одобряет,— продолжал он, снова обращаясь ко мне.— Сперва он обижался, точно, и даже роптал, пока, знаете, не вник: человек он был, вы изволите помнить, горячий, крутой — беда! Ну, а ныне совсем тих стал. Потому — пользу свою увидел. Маменька ваша — и боже ты мой! — как опрокинулась на меня... Известно: барыня властью своею дорожит тоже, не хуже, как, бывало, Мартын Петрович; ну, а вы зайдите сами, посмотрите — да при случае и замолвите словечко. Я Натальи Николаевны благодеянья очень чувствую; однако надо же жить и нам.

— А Житкову как же отказано было? — спросил я.

— Федулычу-то? Талагаю-то этому? — Слёткин плечами пожал.— Да помилуйте, на что же он мог быть нужен? Век свой в солдатах числился — а тут хозяйством заняться вздумал. Я, говорит, могу с крестьянином расправу чинить. Потому — я привык по роже бить. Ничего-с он не может. И по роже бить нужно умеючи. А Евлампия Мартыновна сама ему отказала. Совсем неподходящий человек. Всё наше хозяйство с ним бы пропало!

— Ау! — раздался звучный голос Евлампии.

— Сейчас! сейчас! — отозвался Слёткин. Он протянул мне руку; я хоть и неохотно, а пожал ее.

— Прощения просим, Дмитрий Семенович,— проговорил Слёткин, выказывая все свои белые зубы.— Стреляйте себе вальдшнепов на здоровье; птица прилетная, никому не принадлежащая; ну, а коли зайчик вам попадется — вы уж его пощадите: это добыча — наша. Да вот еще! Не будет ли у вас щеночка от вашей сучки? Очень бы одолжили!

— Ау! — раздался снова голос Евлампии.

— Ау! ау! — отозвался Слёткин и бросился в кусты.

XIX

Помнится, когда я остался один, меня занимала мысль: как это Харлов не прихлопнул Слёткина так, «чтобы только мокро было на том месте, где он находился», и как это

Слёткин не страшился подобной участи? Видно, Мартын Петрович точно «тих» стал, подумалось мне — и еще сильнее захотелось пробраться в Еськово и хоть одним глазком посмотреть на того колосса, которого я никак не мог вообразить себе загнанным и смирным. Я достигнул уже опушки, как вдруг из-под самых ног моих, с сильным треском крыл, выскочил крупный вальдшнеп и помчался в глубь рощи. Я прицелился; ружье мое осеклось. Очень мне стало досадно: птица уж больно была хороша, и я решился попытаться, не подниму ли я ее снова? Я пошел в направлении ее полета и, отойдя шагов двести, увидел на небольшой лужайке, под развесистой березой, не вальдшнепа — а того же господина Слёткина. Он лежал на спине, заложив обе руки под голову, и с довольной улыбкой поглядывал вверх, на небо, слегка покачивая левой ногой, закинутой на правое колено. Он не заметил моего приближения. По лужайке, в нескольких шагах от него, медленно, с опущенными глазами, похаживала Евлампия; казалось, она искала чего-то в траве — грибов, что ли, изредка наклонялась, протягивала руку и напевала вполголоса. Я остановился тотчас и стал прислушиваться. Сперва я не мог понять, что это она такое поет, но потом я хорошо признал следующие известные стихи старинной песни:

Ты найди-ка, ты найди, туча грозная,
Ты убей-ка, ты убей тестя-батюшку.
Ты громи-ка, громи ты тещу-матушку,
А молодую-то жену я и сам убью!

Евлампия пела всё громче и громче; особенно сильно протянула она последние слова. Слёткин всё лежал на спине да посмеивался, а она всё как будто кружила около него.

— Вишь ты! — промолвил он наконец.— И чего им только в голову не взбредет!

— А что? — спросила Евлампия.

Слёткин слегка приподнял голову.

— Что? Какие ты это речи произносишь?

— Из песни, Володя, ты сам знаешь, слова не выкинешь,— отвечала Евлампия, обернулась и увидела меня. Мы оба разом вскрикнули, и оба бросились в разные стороны.

Я поспешно выбрался из рощи — и, перейдя узенькую полянку, очутился перед харловским садом.

XX

Мне некогда да и не к чему было размышлять о том, что я увидел. Только вспомнилось мне слово «присуха», которое я недавно пред тем узнал и значению которого я много дивился. Я пошел вдоль садового плетня и чрез несколько мгновений из-за серебристых тополей (они еще не потеряли ни одного листа и пышно ширились и блестели) увидал двор и флигели Мартына Петровича. Вся усадьба показалась мне подчищенной и подтянутой; всюду замечались следы постоянного и строгого надзора. Анна Мартыновна появилась на крыльце и, прищурив свои бледно-голубые глаза, долго глядела в направлении рощи.

— Барина видел? — спросила она проходившего по двору мужика.

— Владимир Васильича? — отвечал тот, схватив с головы шапку.— Он никак в рощу пошел.

— Знаю, что в рощу. Не вернулся он? Не видал его?

— Не видал... нетути.

Мужик продолжал стоять без шапки перед Анной Мартыновной.

— Ну, ступай,— проговорила она.— Или нет... постой... Мартын Петрович где? Знаешь?

— А Мартын эвто Петрович,— отвечал мужик певучим голосом, попеременно приподнимая то правую, то левую руку, словно показывая куда-то,— сидит тамотка у пруда, с удою. В камыше сидит и с удою. Рыбу, что ль, ловит, бог его знает.

— Хорошо... Ступай,—повторила Анна Мартыновна,— да подбери колесо, вишь, валяется.

Мужик побежал исполнять ее приказание, а она постояла еще несколько минут на крыльце и всё смотрела в направлении рощи. Потом она тихонько погрозилась одной рукой и медленно вернулась в дом.

— Аксютка! — раздался ее повелительный голос за дверью.

Анна Мартыновна имела вид раздраженный и как-то особенно крепко сжимала свои и без того тонкие губы. Одета она была небрежно, и прядь развитой косы падала ей на плечо. Но, несмотря ни на небрежность ее одежды, ни на ее раздражение, она по-прежнему казалась мне привлекательной, и я с великой охотой поцеловал бы ее узкую, тоже как будто злую руку, которою она раза два с досадой откинула ту развитую прядь.

XXI

«Неужели же Мартын Петрович и впрямь стал рыболовом?» — спрашивал я самого себя, направляясь к пруду, находившемуся по ту сторону сада. Я взошел на плотину, глянул туда, сюда... Нигде Мартына Петровича не было видно. Я отправился вдоль одного из берегов пруда — и, наконец, в самой почти его голове, у небольшого залива, посреди плоских и поломанных стеблей порыжелого камыша, увидел громадную, сероватую глыбу... Я присмотрелся: это был Харлов. Без шапки, взъерошенный, в прорванном по швам холстинном кафтане, поджав под себя ноги, он сидел неподвижно на голой земле; так неподвижно сидел он, что куличок-песочник при моем приближении сорвался с высохшей тины в двух шагах от него и полетел, дрыгая крылышками и посвистывая, над водной гладью. Стало быть, уже давно никто в его близости не шевелился и не пугал его. Вся фигура Харлова до того была необычайна, что собака моя, как только увидала его, круто уперлась, поджала хвост и зарычала. Он чуть-чуть повернул голову и уставил на меня и на мою собаку свои одичалые глаза. Много его меняла борода, хотя короткая, но густая, курчавая, в белых вихрах, наподобие смушек. В правой его руке лежал конец удилища, другой конец слабо колыхался на воде. Сердце у меня невольно иокнуло; однако я собрался с духом, подошел к нему и поздоровался с ним. Он медленно заморгал, словно спросонья.

— Что это вы, Мартын Петрович,— начал я,— рыбу здесь ловите?

— Да... рыбу,— отвечал он сиплым голосом и дернул кверху удилище, на конце которого болтался обрывок нитки в аршин и без крючка.

— У вас леса порвана,— заметил я и тут же увидал, что возле Мартына Петровича ни лейки не оказывалось, ни червей... И какая могла быть ловля в сентябре?!

— Порвана? — промолвил он и провел рукой по лицу.— Но это всё едино!

Он снова закинул свою удочку.

— Натальи Николаевны сынок? — спросил он меня спустя минуты две, в течение которых я не без тайного изумления его рассматривал. Он, хотя и похудел сильно, однако все-таки казался исполином; но в какое он был одет рубище и как опустился весь!

— Точно так,— отвечал я,— я сын Натальи Николаевны Б.

— Здравствует?

— Матушка моя здорова. Она очень огорчилась вашим отказом,— прибавил я,— она никак не ожидала, что вы не захотите к ней приехать.

Мартын Петрович понурился.

— А был ты... там? — спросил он, качнув в сторону головою.

— Где?

— Там... на усадьбе. Не был? Сходи. Что тебе здесь делать? Сходи. Разговаривать со мной нечего. Не люблю.

Он помолчал.

— Тебе бы всё с ружьем баловаться! В младых летах будучи, и я по этой дорожке бегал. Только отец у меня... а я его уважал; во как! не то, что нынешние. Отхлестал отец меня арапником — и шабаш! Полно баловаться! Потому я его уважал... У!.. Да...

Харлов опять помолчал.

— А ты здесь не оставайся,— начал он снова.— Ты на усадьбу сходи. Там теперь хозяйство идет на славу. Володька...— Тут он на миг запнулся.— Володька у меня на все руки. Молодец! Ну да и бестия же!

Я не знал, что сказать; Мартын Петрович говорил очень спокойно.

— И дочерей посмотри. Ты, чай, помнишь, у меня были дочери. Они тоже хозяйки... ловкие. А я стар становлюсь, брат; отстранился. На покой, знаешь...

«Хорош покой!» — подумал я, взглянув кругом.— Мартын Петрович! — промолвил я вслух.— Вам непременно надо к нам приехать.

Харлов глянул на меня.

— Ступай, брат, прочь; вот что.

— Не огорчайте маменьку, приезжайте.

— Ступай, брат, ступай,— твердил Харлов.— Что тебе со мной разговаривать?

— Если у вас экипажа нет, маменька вам свой пришлет.

— Ступай!

— Да, право же, Мартын Петрович!

Харлов опять понурился — и мне показалось, что его потемневшие, как бы землей перекрытые щеки слегка покраснели.

— Право, приезжайте,— продолжал я.— Что вам тут сидеть-то? Себя мучить?

— Как так мучить,— промолвил он с расстановкой.

— Да так же — мучить? — повторил я.

Харлов замолчал и словно в думу погрузился.

Ободренный этим молчаньем, я решился быть откровенным, действовать прямо, начистоту. (Не забудьте — мне было всего пятнадцать лет.)

— Мартын Петрович! — начал я, усаживаясь возле него.— Я ведь всё знаю, решительно всё! Я знаю, как ваш зять с вами поступает — конечно, с согласия ваших дочерей. И теперь вы в таком положении... Но зачем же унывать?

Харлов всё молчал и только удочку уронил, а я-то — каким умницей, каким философом я себя чувствовал!

— Конечно,— заговорил я снова,— вы поступили неосторожно, что всё отдали вашим дочерям. Это было очень великодушно с вашей стороны — и я вас упрекать не стану. В наше время это слишком редкая черта! Но если ваши дочери так неблагодарны, то вам следует оказать презрение... именно презрение... и не тосковать...

— Оставь! — прошептал вдруг Харлов со скрежетом зубов, и глаза его, уставленные на пруд, засверкали злобно...— Уйди!

— Но, Мартын Петрович...

— Уйди, говорят... а то убью!

Я было совсем пододвинулся к нему; но при этом последнем слове невольно вскочил на ноги.

— Что вы такое сказали, Мартын Петрович?

— Убью, говорят тебе: уйди! — Диким стоном, ревом вырвался голос из груди Харлова, но он не оборачивал головы и продолжал с яростью смотреть прямо перед собой.— Возьму да брошу тебя со всеми твоими дурацкими советами в воду,— вот ты будешь знать, как старых людей беспокоить, молокосос! — «Он с ума сошел!» — мелькнуло у меня в голове.

Я взглянул на него попристальнее и остолбенел окончательно: Мартын Петрович плакал!! Слезинка за слезинкой катилась с его ресниц по щекам... а лицо приняло выражение совсем свирепое...

— Уйди! — закричал он еще раз,— а то убью тебя, ей-богу, чтобы другим повадно не было!

Он дрыгнул всем телом как-то вбок и оскалился, точно кабан; я схватил ружье и бросился бежать. Собака с лаем пустилась вслед за мною! И она тоже испугалась.

Вернувшись домой, я, разумеется, матушке ни единым словом не намекнул на то, что видел, но, встретившись с Сувениром, я — чёрт знает почему — рассказал ему всё. Этот противный человек до того обрадовался моему рассказу, так визгливо хохотал и даже прыгал, что я чуть не побил его.

— Эх! посмотрел бы я,— твердил он, задыхаясь от смеха,— как этот идол, «вшед» Харлус, залез в тину да и сидит в ней...

— Сходите к нему на пруд, коли вам так любопытно.

— Да; а как убьет?

Очень мне надоел Сувенир, и раскаивался я в своей неуместной болтливости... Житков, которому он передал мой рассказ, взглянул на дело несколько иначе.

— Придется к полиции обратиться,— решил он,— а пожалуй, и за воинской командой нужно будет послать.

Предчувствие его насчет воинской команды не сбылось,— но произошло действительно нечто необыкновенное.

XXII

В половине октября, недели три спустя после моего свидания с Мартыном Петровичем, я стоял у окна моей комнаты, во втором этаже нашего дома — и, ни о чем не помышляя, уныло посматривал на двор и на пролегавшую за ним дорогу. Погода уже пятый день стояла отвратительная; об охоте невозможно было и помышлять. Всё живое поспряталось; даже воробьи притихли, а грачи давно пропали. Ветер то глухо завывал, то свистал порывисто; низкое, без всякого просвету небо из неприятно белого цвета переходило в свинцовый, еще более зловещий цвет — и дождь, который лил, лил неумолчно и беспрестанно, внезапно становился еще крупнее, еще косее и с визгом расплывался по стеклам. Деревья совсем истрепались и какие-то серые стали: уж, кажется, что было с них взять, а ветер нет-нет — да опять примется тормошить их. Везде стояли засоренные мертвыми листьями лужи; крупные волдыри, то и дело лопаясь и возрождаясь, вскакивали и скользили по ним. Грязь по дорогам стояла невылазная; холод проникал в комнаты, под платье, в самые кости; невольная дрожь пробегала по телу — и уж как становилось дурно на душе! Именно дурно — не грустно. Казалось, уже никогда не будет на свете ни солнца, ни блеска, ни красок,

а вечно будет стоять эта слякоть и слизь, и серая мокрота, и сырость кислая — и ветер будет вечно пищать и ныть! Вот стоял я так-то в раздумье у окна — и помню я: темнота набежала внезапная, синяя темнота, хотя часы показывали всего двенадцать. Вдруг мне почудилось, что через наш двор — от ворот к крыльцу промчался медведь! Правда, не на четвереньках, а такой, каким его рисуют, когда он поднимается на задние лапы. Я глазам не верил. Если и не медведя я увидал, то во всяком случае что-то громадное, черное, шершавое... Не успел я еще сообразить, что б это могло быть, как вдруг раздался внизу неистовый стук. Казалось, что-то совсем неожиданное, что-то страшное ввалилось в наш дом. Поднялась суета, беготня...

Я проворно спустился с лестницы, вскочил в столовую...

В дверях гостиной, лицом ко мне, стояла как вкопанная моя матушка; за ней виднелось несколько испуганных женских лиц; дворецкий, два лакея, казачок с раскрытыми от изумления ртами — тискались у двери в переднюю; а посреди столовой, покрытое грязью, растрепанное, растерзанное, мокрое — мокрое до того, что пар поднимался кругом и вода струйками бежала по полу,— стояло на коленях, грузно колыхаясь и как бы замирая, то самое чудовище, которое в моих глазах промчалось через двор! И кто же был это чудовище? Харлов! Я зашел сбоку и увидал — не лицо его, а голову, которую он обхватил ладонями по слепленным грязью волосам. Он дышал тяжело, судорожно; что-то даже клокотало в его груди — и на всей этой забрызганной темной массе только и можно было различить явственно, что крошечные, дико блуждавшие белки глаз. Он был ужасен! Вспомнился мне сановник, которого он некогда оборвал за сравнение с мастодонтом. Действительно: такой вид должно было иметь допотопное животное, только что спасшееся от другого, сильнейшего зверя, напавшего на него среди вековечного ила первобытных болот.

— Мартын Петрович! — воскликнула наконец матушка и руками всплеснула.— Ты ли это? Господи, боже милостивый!

— Я... я...— послышался прерывистый голос, как бы с усилием и болью выпирая каждый звук,— ох! Я!

— Но что это с тобою, господи?!

— Наталья Николав...на... я к вам... прямо из дому бе...жал пешком...

— По этакой грязи! Да ты на человека не похож. Встань, сядь по крайней мере... А вы,— обратилась она к горничным,— поскорей сбегайте за полотенцами. Да нет ли какого сухого платья? — спросила она дворецкого.

Дворецкий показал руками, что где же, мол, на такой рост?..

— А впрочем, одеяло можно принести,— доложил он,— не то попона есть новая.

— Да встань же, встань, Мартын Петрович, сядь,— повторяла матушка.

— Выгнали меня, сударыня,— простонал вдруг Харлов,— и голову назад закинул и руки протянул вперед.— Выгнали, Наталья Николаевна! Родные дочери из моего же родного пепелища...

Матушка ахнула.

— Что ты говоришь! Выгнали! Экой грех! экой грех! (Она перекрестилась.) Только встань ты, Мартын Петрович, сделай милость!

Две горничные вошли с полотенцами и остановились перед Харловым. Видно было, что они и придумать не могли, как им приступиться к этакой уйме грязи.

— Выгнали, сударыня, выгнали,— твердил между тем Харлов.— Дворецкий вернулся с большим шерстяным одеялом и тоже остановился в недоумении. Головка Сувенира высунулась из-за двери и исчезла.

— Мартын Петрович, встань! Сядь! и расскажи мне всё по порядку,— решительным тоном скомандовала матушка.

Харлов приподнялся... Дворецкий хотел было ему помочь, но только руку замарал и, встряхивая пальцами, отступил к двери. Переваливаясь и шатаясь, Харлов добрался до стула и сел. Горничные опять приблизились к нему с полотенцами, но он отстранил их движением руки и от одеяла отказался. Впрочем, матушка сама не стала настаивать: обсушить Харлова, очевидно, не было возможности; только следы его на полу наскоро подтерли.

XXIII

— Как же это тебя выгнали? — спросила матушка Харлова, как только он немного «отдышался».

— Сударыня! Наталья Николаевна! — начал он напряженным голосом — и опять поразила меня беспокой-

ная беготня его белков,— буду правду говорить: больше всех виноват я сам.

— То-то вот; не хотел ты меня тогда послушаться,— промолвила матушка, опускаясь на кресло и слегка помахивая перед носом надушенным платком: очень уже разило от Харлова... в лесном болоте не так сильно пахнет.

— Ох, не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня, не хуже царя Навуходоносора. Думал я: не обидел меня господь бог умом-разумом; коли я что решил — стало, так и следует... А тут страх смерти подошел... Вовсе я сбился! Покажу, мол, я напоследках силу да власть свою! Награжу — а они должны по гроб чувствовать... (Харлов вдруг весь всколыхался...) Как пса паршивого выгнали из дому вон! Вот их какова благодарность!

— Но каким же образом,— опять начала было матушка...

— Казачка Максимку от меня взяли,— перебил ее Харлов (глаза его продолжали бегать, обе руки он держал у подбородка — пальцы в пальцы),— экипаж отняли, месячину урезали, жалованья выговоренного не платили — кругом, как есть, окорнали — я всё молчал, всё терпел! И терпел я по причине... ох! опять-таки гордости моей. Чтобы не говорили враги мои лютые: вот, мол, старый дурак, теперь кается; да и вы, сударыня, помните, меня предостерегали: локтя, мол, своего не укусишь! Вот я и терпел... Только сегодня прихожу я к себе в комнату, а уж она занята — и постельку мою в чулан выкинули! Можешь-де и там спать; тебя и так за милость терпят; нам-де твоя комната нужна для хозяйства. И это мне говорит — кто же? Володька Слёткин, смерд, паскуд...

Голос Харлова оборвался.

— Но дочери-то твои? Они-то что же? — спросила матушка.

— А я всё терпел,— продолжал Харлов свое повествование,— горько, горько мне было во́ как и стыдно... Не глядел бы на свет божий! Оттого я и к вам, матушка, поехать не захотел — от этого от самого от стыда, от страму! Ведь я, матушка моя, всё перепробовал: и лаской, и угрозой, и усовещивал-то их, и что уж! кланялся... вот так-то (Харлов показал, как он кланялся). И всё понапрасну! И всё-то я терпел! Сначалу-то, на первых-то порах, не такие у меня мысли были: возьму, мол, перебью,

перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось... Будут знать! Ну, а потом — покорился! Крест, думаю, мне послан; к смерти, значит, приготовиться надо. И вдруг сегодня, как пса! И кто же? Володька! А что вы о дочерях спрашивать изволили, то разве в них есть какая своя воля? Володькины холопки! Да!

Матушка удивилась.

— Про Анну я еще это понять могу; она — жена... Но с какой стати вторая-то твоя...

— Евлампия-то? Хуже Анны! Вся, как есть, совсем в Володькины руки отдалась. По той причине она и вашему солдату-то отказала. По его, по Володькину, приказу. Анне — видимое дело — следовало бы обидеться, да она и терпеть сестры не может, а покоряется! Околдовал, проклятый! Да ей же, Анне, вишь, думать приятно, что вот, мол, ты, Евлампия, какая всегда была гордая, а теперь вон что из тебя стало!.. О... ох, ох! Боже мой, боже!

Матушка с беспокойством посмотрела на меня. Я отошел немножко в сторону, из предосторожности, как бы меня не выслали...

— Очень сожалею, Мартын Петрович,— начала она,— что мой бывший воспитанник причинил тебе столько горя и таким нехорошим человеком оказался; но ведь и я в нем ошиблась... Кто мог это ожидать от него!

— Сударыня,— простонал Харлов и ударил себя в грудь.— Не могу я снести неблагодарность моих дочерей! Не могу, сударыня! Ведь я им всё, всё отдал! И к тому же совесть меня замучила. Много... ох! много передумал я, у пруда сидючи да рыбу удучи! «Хоть бы ты пользу кому в жизни сделал! — размышлял я так-то,— бедных награждал, крестьян на волю отпустил, что ли, за то, что век их заедал! Ведь ты перед богом за них ответчик! Вот когда тебе отливаются их слезки!» И какая теперь их судьба: была яма глубока и при мне — что греха таить, а теперь и дна не видать! Эти все грехи я на душу взял, совестью для детей пожертвовал, а мне за это шиш! Из дому меня пинком, как пса!

— Полно об этом думать, Мартын Петрович,— заметила матушка.

— И как он мне сказал, ваш-то Володька,— с новой силой подхватил Харлов,— как сказал он мне, что мне в моей горенке больше не жить, а я в самой той горенке каждое бревнышко собственными руками клал — как сказал он мне это — и бог знает, что со мной приключи-

лось! В головушке помутилось, по сердцу как ножом... Ну, либо его зарезать, либо из дому вон!.. Вот я и побежал к вам, благодетельница моя, Наталья Николаевна... И куды ж мне было голову приклонить? А тут дождь, слякоть... Я, может, раз двадцать упал! И теперь... в этаком безобразии...

Харлов окинул себя взглядом и завозился на стуле, словно встать собирался.

— Полно тебе, полно, Мартын Петрович,— поспешно проговорила матушка,— какая в том беда? Что ты пол-то замарал? Эка важность! А я вот какое хочу тебе предложение сделать. Слушай! Отведут тебя теперь в особую комнату, постель дадут чистую — ты разденься, умойся, да приляг и усни...

— Матушка, Наталья Николаевна! Не уснуть мне! — уныло промолвил Харлов.— В мозгах-то словно молотами стучат! Ведь меня, как тварь непотребную...

— Ляг, усни,— настойчиво повторила матушка.— А потом мы тебя чаем напо́им — ну, и потолкуем с тобою. Не унывай, приятель старинный! Если тебя из *твоего* дома выгнали, в *моем* доме ты всегда найдешь себе приют... Я ведь не забыла, что ты мне жизнь спас.

— Благодетельница! — простонал Харлов и закрыл лицо руками.— Спасите *вы* меня теперь!

Это воззвание тронуло мою матушку почти до слез.

— Охотно готова тебе помочь, Мартын Петрович, всем, чем тольку могу; но ты должен обещать мне, что будешь вперед меня слушаться и всякие недобрые мысли прочь от себя отгонишь...

Харлов принял руки от лица.

— Коли нужно,— промолвил он,— я ведь и простить могу!

Матушка одобрительно кивнула головой.

— Очень мне приятно видеть тебя в таком истинно христианском расположении духа, Мартын Петрович; но речь об этом впереди. Пока приведи ты себя в порядок — а главное, усни. Отведи ты Мартына Петровича в зеленый кабинет покойного барина,— обратилась матушка к дворецкому,— и что он только потребует, чтобы сию минуту было! Платье его прикажи высушить и вычистить, а белье, какое понадобится, спроси у кастелянши — слышишь?

— Слушаю,— отвечал дворецкий.

— А как он проснется, мерку с него прикажи снять

портному; да бороду надо будет сбрить. Не сейчас, а после.

— Слушаю,— повторил дворецкий.— Мартын Петрович, пожалуйте.— Харлов поднялся, посмотрел на матушку, хотел было подойти к ней, но остановился, отвесил поясной поклон, перекрестился трижды на образ и пошел за дворецким. Вслед за ним и я выскользнул из комнаты.

XXIV

Дворецкий привел Харлова в зеленый кабинет и тотчас побежал за кастеляншей, так как белья на постели не оказалось. Сувенир, встретивший нас в передней и вместе с нами вскочивший в кабинет, немедленно принялся, с кривляньем и хохотом, вертеться около Харлова, который, слегка расставив руки и ноги, в раздумье остановился посреди комнаты. Вода всё еще продолжала течь с него.

— Вшед! Вшед Харлус! — пищал Сувенир, перегнувшись надвое и держа себя за бока.— Великий основатель знаменитого рода Харловых, воззри на своего потомка! Каков он есть? Можешь его признать? Ха-ха-ха! Ваше сиятельство, пожалуйте ручку! Отчего это на вас черные перчатки?

Я хотел было удержать, пристыдить Сувенира... но не тут-то было!

— Приживальщиком меня величал, дармоедом! «Нет, мол, у тебя своего крова!» А теперь небось таким же приживальщиком стал, как и аз грешный! Что Мартын Харлов, что Сувенир проходимец — теперь всё едино! Подачками тоже кормиться будет! Возьмут корку хлеба завалящую, что собака нюхала, да прочь пошла... На, мол, кушай! Ха-ха-ха!

Харлов всё стоял неподвижно, уткнув голову, расставив ноги и руки.

— Мартын Харлов, столбовой дворянин! — продолжал пищать Сувенир.— Важность-то какую на себя напустил, фу ты, ну ты! Не подходи, мол, зашибу! А как именье свое от большого ума стал отдавать да делить — куды раскудахтался! «Благодарность! — кричит,— благодарность!» А меня-то за что обидел? Не наградил? Я, быть может, лучше бы восчувствовал! И значит, правду я говорил, что посадят его голой спиной...

— Сувенир! — закричал я; но Сувенир не унимался. Харлов всё не трогался; казалось, он только теперь начинал чувствовать, до какой степени всё на нем было мокро, и ждал, когда это с него всё снимут. Но дворецкий не возвращался.

— А еще воин! — начал опять Сувенир.— В двенадцатом году отечество спасал, храбрость свою показывал! То-то вот и есть: с мерзлых мародеров портки стащить — это наше дело; а как девка на нас ногой притопнет, у нас у самих душа в портки...

— Сувенир! — закричал я вторично.

Харлов искоса посмотрел на Сувенира; он до того мгновенья словно и присутствия его не замечал, и только возглас мой возбудил его внимание.

— Смотри, брат,— проворчал он глухо,— не допрыгайся до беды!

Сувенир так и покатился со смеху.

— Ох, как вы меня испугали, братец почтеннейший! уж как вы страшны, право! Хоть бы волосики себе причесали, а то, сохрани бог, засохнут, не отмоешь их потóм; придется скосить косою.— Сувенир вдруг расходился.— Еще куражитесь! Голыш, а куражится! Где ваш кров теперь, вы лучше мне скажите, вы всё им хвастались? У меня, дескать, кров есть, а ты бескровный! Наследственный, дескать, мой кров! (Далось же Сувениру это слово!)

— Господин Бычков,— промолвил я.— Что вы делаете! опомнитесь!

Но он продолжал трещать и всё прыгал да шмыгал около самого Харлова... А дворецкий с кастеляншей всё не шли!

Мне жутко становилось. Я начинал замечать, что Харлов, который в течение разговора с моей матушкой постепенно стихал и даже под конец, по-видимому, помирился с своей участью, снова стал раздражаться: он задышал скорее, под ушами у него вдруг словно припухло, пальцы зашевелились, глаза снова забегали среди темной маски забрызганного лица...

— Сувенир! Сувенир! — воскликнул я.— Перестаньте, я маменьке скажу.

Но Сувениром словно бес овладел.

— Да, да, почтеннейший! — затрещал он опять,— вот мы с вами теперь в каких субтильных обстоятельствах обретаемся! А дочки ваши, с зятьком вашим, Владимиром Васильевичем, под вашим *кровом* над вами потешаются

вдоволь! И хоть бы вы их, по обещанию, прокляли! И на это вас не хватило! Да и куда вам с Владимиром Васильевичем тягаться? Еще Володькой его называли! Какой он для вас Володька? Он — Владимир Васильевич, господин Слёткин, помещик, барин, а ты — кто такой?

Неистовый рев заглушил речь Сувенира... Харлова взорвало. Кулаки его сжались и поднялись, лицо посинело, пена показалась на истресканных губах, он задрожал от ярости.

— Кров! — говоришь ты,— загремел он своим железным голосом,— проклятие! — говоришь ты... Нет! я их не прокляну... Им это нипочем! А кров... кров я их разорю, и не будет у них крова, так же, как у меня! Узнают они Мартына Харлова! Не пропала еще моя сила! Узнают, как надо мной издеваться!.. Не будет у них крова!

Я обомлел; я отроду не бывал свидетелем такого безмерного гнева. Не человек, дикий зверь метался предо мною! Я обомлел... а Сувенир, тот от страха под стол забился.

— Не будет! — закричал Харлов в последний раз и, чуть не сбив с ног входивших кастеляншу и дворецкого, бросился вон из дому... Кубарем прокатился он по двору и исчез за воротами.

XXV

Матушка страшно рассердилась, когда дворецкий пришел с смущенным видом доложить о новой и неожиданной отлучке Мартына Петровича. Он не осмелился утаить причину этой отлучки; я принужден был подтвердить его слова.

— Так это всё ты! — закричала матушка на Сувенира, который забежал было зайцем вперед и даже к ручке подошел,— твой пакостный язык всему виною!

— Помилуйте, я чичас, чичас...— залепетал, заикаясь и закидывая локти за спину, Сувенир.

— Чичас... чичас... Знаю я твое чичас! — повторила матушка с укоризной и выслала его вон. Потом она позвонила, велела позвать Квицинского и отдала ему приказ: немедленно отправиться с экипажем в Еськово, во что бы то ни стало отыскать Мартына Петровича и привезти его.— Без него не являйтесь! — заключила она. Сумрачный поляк молча наклонил голову и вышел.

Я вернулся к себе в комнату, снова подсел к окну и,

помнится, долго размышлял о том, что у меня на глазах совершилось. Я недоумевал; я никак не мог понять, почему Харлов, почти без ропота переносивший оскорбления, нанесенные ему домашними, не мог совладать с собою и не перенес насмешек и шпилек такого ничтожного существа, каков был Сувенир. Я не знал еще тогда, какая нестерпимая горечь может иной раз заключаться в пустом упреке, даже когда он исходит из презренных уст... Ненавистное имя Слёткина, произнесенное Сувениром, упало искрою в порох; наболевшее место не выдержало этого последнего укола.

Прошло около часа. Коляска наша въехала на двор; но в ней сидел наш управляющий один. А матушка ему сказала: «Без *него* не являйтесь!» Квицинский торопливо выскочил из экипажа и взбежал на крыльцо. Лицо его являло вид расстроенный, что с ним почти никогда не бывало. Я тотчас спустился вниз и по его пятам пошел в гостиную.

— Ну? привезли его? — спросила матушка.

— Не привез,— отвечал Квицинский,— и не мог привезти.

— Это почему? Вы его видели?

— Видел.

— С ним что случилось? Удар?

— Никак нет; ничего не случилось.

— Почему же вы не привезли его?

— А он дом свой разоряет.

— Как?

— Стоит на крыше нового флигеля — и разоряет ее. Тесин, полагать надо, с сорок или больше уже слетело; решетин тоже штук пять. («Крова у них не будет!» — вспомнились мне слова Харлова.)

Матушка уставилась на Квицинского.

— Один... на крыше стоит и крышу разоряет?

— Точно так-с. Ходит на настилке чердака и направо да налево ломает. Сила у него, вы изволите знать, сверхчеловеческая! Ну и крыша, надо правду сказать, лядащая; выведена вразбежку, шалёвками забрана, гвозди — однотес *.

* Крыша выводится «вразбивку» или «вразбежку», когда между каждыми двумя тесинами оставляется пустое пространство, закрываемое сверху другой тесиной; такая крыша дешевле, но менее прочна. Шалёвкой называется самая тонкая доска, в $1/2$ вершка; обыкновенная тесина — в $3/4$ вершка.

Матушка посмотрела на меня, как бы желая удостовериться, не ослышалась ли она как-нибудь.

— Шалёвками вразбежку,— повторила она, явно не понимая значения ни одного из этих слов...

— Ну, так что ж вы? — проговорила она наконец.

— Приехал за инструкциями. Без людей ничего не поделаешь. Тамошние крестьяне все со страха попрятались.

— А дочери-то его — что же?

— И дочери — ничего. Бегают, зря... голосят... Что толку?

— И Слёткин там?

— Там тоже. Пуще всех вопит, но поделать ничего не может.

— И Мартын Петрович на крыше стоит?

— На крыше... то есть на чердаке — и крышу разоряет.

— Да, да,— проговорила матушка,— шалёвками...

Казус, очевидно, предстоял необыкновенный.

Что было предпринять? Послать в город за исправником, собрать крестьян? Матушка совсем потерялась.

Приехавший к обеду Житков тоже потерялся. Правда, он упомянул опять о воинской команде, а впрочем, никакого совета не преподал и только глядел подчиненно и преданно. Квицинский, видя, что никаких инструкций ему не добиться, доложил — со свойственной ему презрительной почтительностью — моей матушке, что если она разрешит ему взять несколько конюхов, садовников и других дворовых, то он попытается...

— Да, да,— перебила его матушка,— попытайтесь, любезный Викентий Осипыч! Только поскорее, пожалуйста, а я всё беру на свою ответственность.

Квицинский холодно улыбнулся.

— Одно наперед позвольте объяснить вам, сударыня: за результат невозможно ручаться, ибо сила у господина Харлова большая и отчаянность тоже; очень уж он оскорбленным себя почитает!

— Да, да,— подхватила матушка,— и всему виною этот гадкий Сувенир! Никогда я этого ему не прощу! Ступайте, возьмите людей, поезжайте, Викентий Осипыч!

— Вы, господин управляющий, веревок побольше захватите да пожарных крючьев,— промолвил басом Житков,— и коли сеть имеется, то и ее тоже взять недурно. У нас вот так-то однажды в полку...

— Не извольте учить меня, милостивый государь,— перебил с досадой Квицинский,—я и без вас знаю, что нужно.

Житков обиделся и объявил, что так как он полагал, что и его позовут...

— Нет, нет! — вмешалась матушка.— Ты уж лучше оставайся... Пускай Викентий Осипыч один действует... Ступайте, Викентий Осипыч!

Житков еще пуще обиделся, а Квицинский поклонился и вышел.

Я бросился в конюшню, сам наскоро оседлал свою верховую лошадку и пустился вскачь по дороге к Еськову.

XXVI

Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой — прямо мне навстречу. На полдороге седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла; я слез и принялся зубами натягивать ремни... Вдруг слышу: кто-то зовет меня по имени... Сувенир бежал ко мне по зеленям.

— Что, батенька,— кричал он мне еще издали,— любопытство одолело? Да и нельзя... Вот и я туда же, прямиком, по харловскому следу... Ведь этакой штуки умрешь — не увидишь!

— На дело рук своих хотите полюбоваться,— промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в галоп; но неугомонный Сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот наконец и Еськово — вот и плотина, а там длинный плетень и ракитник усадьбы... Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении.

От передней трети крыши на новом флигельке, от мезонина, оставался один остов; дрань и тесины лежали беспорядочными грудами с обеих сторон флигеля на земле. Положим, крыша была, по выражению Квицинского, лядащая; но всё же дело было невероятное! По настилке чердака, вздымая пыль и сор, неуклюже-проворно двигалась исчерна-серая масса и то раскачивала оставшуюся, из кирпича сложенную, трубу (другая уже повалилась), то отдирала тесину и бросала ее книзу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут: и голова, и спина, и плечи — медвежьи, и ставил он ноги широко, не разгибая ступни — тоже по-медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, взды-

мая его склоченные волосы; страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья; страшно было слышать его дикое, хриплое бормотание. На дворе было людно; бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора; несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиною к стене, неподвижно смотрела на отца; Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом; Слёткин — весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках,— перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидовел; задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова, потом закидывал ружье за плечо,— целился опять, кричал, плакал... Увидав меня с Сувениром, он так и ринулся к нам.

— Посмотрите, посмотрите, что тут происходит! — завизжал он,— посмотрите! Он с ума сошел, взбеленился... и вот что делает! Я уж за полицией послал — да никто не едет! Никто не едет! Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность! А я выстрелю!.. Ей-богу, выстрелю!

Он подскочил к дому.

— Мартын Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете,— я выстрелю!

— Стреляй!— раздался с крыши хриплый голос.— Стреляй! А вот тебе пока гостинец!

Длинная доска полетела сверху и, перевернувшись раза два на воздухе, брякнулась наземь у самых ног Слёткина. Тот так и взвился, а Харлов захохотал.

— Господи Иисусе! — пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся: Сувенир. «А! — подумал я,— перестал теперь смеяться!»

Слёткин схватил близ стоявшего мужика за шиворот.

— Да полезай, полезай же, полезайте, черти,— вопил он, тряся его изо всей силы,— спасайте мое имущество!

Мужик ступил раза два, закинул голову, помахал руками, закричал:

— Эй, вы! господин! — потолокся на месте и верть назад.

— Лестницу! лестницу несите! — обратился Слёткин к прочим крестьянам.

— А где ее взять? — послышалось ему в ответ.

— И хоть бы лестница была,— промолвил не спеша один голос,— кому ж охота лезть? Нашли дураков! Он те шею свернет — мигом!

— С'час убиеть,— проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом.

— А то нешто нет? — подхватили остальные. Мне показалось, что, не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивлял он их.

— Ах вы, разбойники! — застонал Слёткин,— вот я вас всех...

Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба, и среди мгновенно взвившегося облака желтой пыли Харлов, испустив пронзительный крик и высоко подняв окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткин опять в него прицелился.

Евлампия одернула его за локоть.

— Не мешай! — свирепо вскинулся он на нее.

— А ты — не смей! — промолвила она,— и синие ее глаза грозно сверкнули из-под надвинутых бровей.— Отец свой дом разоряет. Его добро.

— Врешь: наше!

— Ты говоришь: наше; а я говорю: его.

Слёткин зашипел от злобы; Евлампия так и уперлась ему в лицо глазами.

— А, здорово! здорово, дочка любезная! — загремел сверху Харлов.— Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь-можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?

— Отец! — послышался звучный голос Евлампии.

— Что, дочка? — отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка — светлая, веселая и именно потому особенно страшная, недобрая усмешка... Много лет спустя я видел такую же точно усмешку на лице одного к смерти приговоренного.

— Перестань, отец; сойди (Евлампия не говорила ему «батюшка»). Мы виноваты; всё тебе возвратим. Сойди.

— А ты что за нас распоряжаешься? — вмешался Слёткин. Евлампия только пуще брови нахмурила.

— Я свою часть тебе возвращу — всё отдам. Перестань, сойди, отец! Прости нас; прости меня.

Харлов всё продолжал усмехаться.

— Поздно, голубушка,— заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь.— Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Под гору покатилось — теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я — пропащий человек! Ты посмотри лучше на своего Володьку: вишь, какой красавчик выискался! Да на свою эхиденную сестру посмотри; вон ее лисий нос из окошка выставляется, вон она муженька-то подуськивает! Нет, сударики! Захотели вы меня крова лишить — так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал, своими же руками разорю — как есть одними руками! Видите, и топора не взял!

Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропила.

— Полно, отец,— говорила меж тем Евлампия, и голос ее стал как-то чудно ласков,— не поминай прошлого. Ну, поверь же мне; ты всегда мне верил. Ну, сойди; приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую. Я обсушу тебя да согрею; раны твои перевяжу, вишь, ты руки себе ободрал. Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того. Ну, были виноваты! ну, зазнались, согрешили; ну, прости!

Харлов покачал головою.

— Расписывай! Поверю я вам, как бы не так! Убили вы во мне веру-то! Всё убили! Был я орлом — и червяком для вас сделался... а вы — и червяка давить? Полно! Я тебя любил, сама знаешь,— а только теперь ты мне не дочь и я тебе не отец... Я пропащий человек! Не мешай! А ты стреляй же, трус, горе-богатырь! — гаркнул вдруг Харлов на Слёткина.— Что всё только целишься? Али закон вспомнил: коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя,— заговорил Харлов с расстановкой,— то датель властен всё назад потребовать? Ха-ха, не бойся, законник! Я не потребую — я сам всё покончу... Валяй!

— Отец! — в последний раз взмолилась Евлампия.

— Молчи!

— Мартын Петрович! братец, простите великодушно! — пролепетал Сувенир.

— Отец, голубчик!

— Молчи, сука! — крикнул Харлов. На Сувенира он и не посмотрел — и только сплюнул в его сторону.

XXVII

В это мгновенье Квицинский со всей своей свитой — на трех телегах — появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за одним соскакивали в грязь.

— Эге! — закричал во все горло Харлов.— Армия... вот она, армия! Целую армию против меня выставляют. Хорошо же! Только предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует — и того я вверх тормашками вниз спущу! Я хозяин строгий, не в пору гостей не люблю! Так-то!

Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил, за так называемые «ноги» фронтона, и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он как бы тащил их за собою, мерно напевая по-бурлацкому: «Еще разик! еще раз! ух!»

Слёткин подбежал к Квицинскому и начал было жаловаться и хныкать... Тот попросил его «не мешать» и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал, в виде диверсии, объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело...

— Еще разик, еще раз! — напевал Харлов.

...что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того от него ожидала...

— Еще разик, еще раз! ух! — напевал Харлов.

А между тем Квицинский отрядил четырех самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома, с тем чтобы они сзади взобрались на крышу. От Харлова, однако, не ускользнул план атаки; он вдруг бросил стропила и проворно побежал к задней части мезонина. Вид его до того был страшен, что два конюха, которые успели уже взобраться на чердак, мигом спустились обратно на землю по водосточной трубе, к немалому удовольствию и даже хохоту дворовых мальчишек. Харлов потряс им вслед кулаком и, вернувшись к передней части дома, опять ухватился за стропила и стал их опять раскачивать, опять напевая по-бурлацки.

Он вдруг остановился, вóззрелся...

— Максимушка, друг! приятель! — воскликнул он,— тебя ли я вижу?

Я оглянулся... От толпы крестьян действительно отделился казачок Максимка, и ухмыляясь и скаля зубы, вышел вперед. Его хозяин, шорник, вероятно, отпустил его домой на побывку.

— Полезай ко мне, Максимушка, слуга мой верный,— продолжал Харлов,— станем вместе отбиваться от лихих татарских людей, от воров литовских!

Максимка, всё продолжая ухмыляться, немедленно полез на крышу... Но его схватили и оттащили — бог знает почему — разве для примеру другим; помощи большой он Мартыну Петровичу не оказал бы.

— Ну, хорошо же! Добро же! — промолвил Харлов угрожающим голосом и снова взялся за стропила.

— Викентий Осипович! позвольте я выстрелю,— обратился Слёткин к Квицинскому,— я ведь больше для страха, ружье у меня заряжено бекасинником.— Но не успел еще ответить ему Квицинский, как передняя пара стропил, яростно раскаченная железными руками Харлова, накренилась, затрещала и рухнула на двор — и вместе с нею, не будучи в силах удержаться, рухнул сам Харлов и грузно треснулся оземь. Все вздрогнули, ахнули... Харлов лежал неподвижно на груди, а в спину ему уперся продольный верхний брус крыши, конек, который последовал за упавшим фронтоном.

XXVIII

К Харлову подскочили, свалили долой с него брус, повернули его навзничь; лицо его было безжизненно, у рта показалась кровь, он не дышал. «Дух отшибло»,— пробормотали подошедшие мужики. Побежали за водой к колодцу, принесли целое ведро, окатили Харлову голову; грязь и пыль сошли с лица, но безжизненный вид оставался тот же. Притащили скамейку, поставили ее у самого флигеля и, с трудом приподнявши громадное тело Мартына Петровича, посадили его, прислонив голову к стене. Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина. Евлампия, бледная, как сама смерть, стала прямо перед отцом, неподвижно устремив на него свои огромные глаза. Анна с Слёткиным не подходили близко. Все молчали, все ждали чего-то. Наконец послышались прерывистые, хлюпающие звуки в горле Харлова, точно он захлебывался... Потом он слабо повел одной — правой рукой (Максимка поддерживал левую), раскрыл один — правый глаз и, медленно проведя около себя взором, словно каким-то страшным пьянством пьяный, охнул — произнес, картавя:

— Рас...шибся...— и, как бы подумав немного, прибавил: — Вот он, воро...ной жере...бенок! — Кровь вдруг густо хлынула у него изо рта — всё тело затрепетало...

«Конец!» — подумал я... Но Харлов открыл еще всё тот же правый глаз (левая века не шевелилась, как у мертвеца) и, вперив его на Евлампию, произнес едва слышно:

— Ну, доч... ка... Тебя я не про...— Квицинский резким движением руки подозвал попа, который всё еще стоял на крыльце флигеля... Старик приблизился, путаясь слабыми коленями в тесной рясе. Но вдруг ноги Харлова как-то безобразно повело и живот тоже; по лицу, снизу вверх, прошла неровная судорога — точно так же исказилось и задрожало лицо Евлампии. Максимка начал креститься... Мне стало жутко, я побежал к воротам и, не оглядываясь, приник к ним грудью. Минуту спустя что-то тихо прогудело по всем устам сзади меня — и я понял, что Мартына Петровича не стало.

Ему брусом затылок проломило, и грудь он себе раздробил, как оказалось при вскрытии.

XXIX

«Что он хотел сказать ей, умирая?» — спрашивал самого себя, возвращаясь домой на своем клеппере: «Я тебя не про...клинаю или не про...щаю?» Дождик опять полил, но я ехал шагом. Мне хотелось подольше остаться одному, хотелось безвозбранно предаться моим размышлениям. Сувенир отправился на одной из телег, прибывших с Квицинским. Как я ни был молод и легкомыслен в то время, но внезапная общая (не в одних частностях) перемена, постоянно вызываемая во всех сердцах неожиданным или ожиданным (всё равно!) появлением смерти, ее торжественность, важность и правдивость — не могли не поразить меня. Я и был поражен... но со всем тем мой смущенный детский взор заметил тотчас многое: он заметил, как Слёткин, проворно и робко, словно краденую вещь, швырнул в сторону ружье, как он и жена его оба мгновенно стали предметом хотя безмолвного, но общего отчуждения, как сделалось пусто вокруг них... На Евлампию, хотя вина ее была, вероятно, не меньше сестриной, это отчуждение не распространялось. Она даже некоторое сожаление к себе возбудила, когда повалилась в ноги скончавшемуся отцу. Но что и она была виновата,— это все-

таки чувствовалось всеми. «Обидели старика,— промолвил один седоватый головастый крестьянин, опираясь, как некий древний судья, обеими руками и бородою на длинную палку,— на вашей душе грех! Обидели!» Это слово «обидели!» тотчас было принято всеми, как бесповоротный приговор. Правосудие народное сказалось, я понял это немедленно. Я заметил также, что на первых порах Слёткин не *смел* распоряжаться. Без него подняли и понесли тело в дом; не спросясь его, священник отправился за нужными вещами в церковь, а староста побежал в деревню справлять подводу в город. Сама Анна Мартыновна не решилась обычным начальническим тоном приказать поставить самовар, «чтоб теплая вода была — обмыть покойника». Ее приказание походило на просьбу — и отвечали ей грубо...

Меня же всё занимал вопрос: что он собственно хотел сказать своей дочери? Простить ли он ее хотел, или проклясть? Я решил наконец, что — простить.

Дня через три происходили похороны Мартына Петровича на счет матушки, которая очень огорчилась его смертью и приказала не жалеть издержек. Сама она не поехала в церковь,— потому что не хотела, как она выражалась, видеть тех двух мерзавок и гадкого того жиденка; но послала Квицинского, меня и Житкова, которого, впрочем, с того времени иначе уже не величала, как бабой! Сувенира она на глаза к себе не пускала и долго потом еще гневалась на него, называя его убийцей своего друга. Опала эта была ему весьма чувствительна: он постоянно расхаживал на цыпочках по комнате, соседней с той, где находилась матушка, предавался какой-то тревожной и подлой меланхолии, вздрагивал и шептал: «Чичас!»

В церкви и во время процессии Слёткин показался мне снова попавшим «в свою тарелку». Он распоряжался и суетился по-прежнему и жадно наблюдал за тем, чтобы не тратилось лишней копейки, хотя дело не касалось собственно его кармана. Максимка, в новом, тоже моей матушкой пожалованном казакине, выводил на клиросе такие теноровые ноты, что в искренности его преданности покойнику, конечно, уже никто сомневаться не мог! Обе сестры были, как следует, в траурных платьях — но казались более смущенными, чем огорченными, особенно Евлампия. Анна приняла на себя смиренный и постный вид, впрочем, не силилась плакать и всё только проводила своей красивой сухой рукой по волосам и щеке. Евлампия всё заду-

мывалась. То общее, бесповоротное отчуждение, осуждение, какое я заметил в день смерти Харлова, чудилось мне и теперь на всех лицах бывших в церкви людей, во всех их движениях, в их взглядах,— но еще степеннее и как бы безучастнее. Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство,— тот великий грех поступил теперь в ведение единого праведного Судии и что, следовательно, им уже не для чего было беспокоиться и негодовать. Они усердно молились за душу покойника, которого при жизни особенно не любили, даже боялись. Очень уже круто наступила смерть.

— И хоть бы испивал, братец ты мой,— говорил на паперти один мужик другому.

— И не пимши да захмелеешь,— отвечал тот.— Каков случай выдет.

— Обидели,— повторил первый мужик решающее слово.

— Обидели,— промолвили за ним другие.

— А ведь покойный сам вас притеснял? — спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина.

— Барин был, известно,— отвечал мужик,— а все-таки... обидели его!

— Обидели...— опять послышалось в толпе.

У могилы Евлампия стояла тоже словно потерянная. Раздумье ее разбирало... тяжкое раздумье. Я заметил, что с Слёткиным, который несколько раз с ней заговаривал, она обращалась, как бывало с Житковым, и еще хуже.

Несколько дней спустя в нашем околотке распространился слух, что Евлампия Мартыновна Харлова навсегда ушла из родительского дома, предоставив сестре и свояку всё доставшееся ей имение и взявши только несколько сот рублей...

— Откупилась, видно, Анна-то! — заметила моя матушка,— только у нас с тобою,— прибавила она, обратившись к Житкову, с которым играла в пикет — он заменил ей Сувенира,— руки неумелые!

Житков уныло глянул на свои мощные длани... «Они-то, неумелые!» — казалось, думалось ему...

Скоро потом мы с матушкой переехали на жительство в Москву — и много минуло лет, прежде чем мне пришлось увидеть обеих дочерей Мартына Петровича.

XXX

Но я увидал их. С Анной Мартыновной я встретился самым обыкновенным образом. Посетив, после кончины матушки, нашу деревню, в которую я не заезжал больше пятнадцати лет, я получил от посредника приглашение (тогда по всей России, с незабытой доселе медленностью, происходило размежевание чересполосицы) — приглашение прибыть для совещания, с прочими владельцами нашей дачи, в имение помещицы вдовы Анны Слёткиной. Известие о несуществовании более на сем свете матушкина «жиденка» с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не опечалило; но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слыла у нас за отличнейшую хозяйку. И точно: ее имение, и усадьба, и самый дом (я невольно взглянул на крышу, она была железная) — всё оказалось в превосходном порядке, всё было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно — выкрашено, хоть бы у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела; но та особенная, сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала, не совсем ее покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас не радушно — это слово к ней не шло,— но вежливо и, увидав меня, свидетеля того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о моей матушке, ни о своем отце, ни о сестре, ни о муже она даже не заикнулась, точно воды в рот набрала.

Были у ней две дочери, обе прехорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с веселым и ласковым выражением в черных глазах; был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда! Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто вернее ее не понимал своих выгод и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права; все «подходящие» законы, даже министерские циркуляры были ей хорошо известны; говорила она немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все ее требования изъявили согласие и таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали; все кряхтели и покачивали головами.

— Экая баба умница! — говорил один.

— Продувная шельма! — вмешался другой, менее деликатный владелец,— мягко стелет, да жестко спать!

— Да и скряга же! — прибавил третий,— рюмка водки и кусочек икры на брата — это что же такое?

— Чего от нее ждать? — брякнул вдруг один, до того безмолвный помещик,— кому же не известно, что она мужа своего отравила?

К удивлению моему, никто не почел нужным опровергнуть такое ужасное, наверное, ни на чем не основанное обвинение! Это тем более меня удивило, что, несмотря на приведенные мною бранчивые выражения, уважение к Анне Мартыновне чувствовали все, не исключая неделикатного владельца. Посредник, тот даже в пафос впал.

— Возведи ее на трон,— воскликнул он,— та же Семирамида или Екатерина Вторая! Повиновение крестьян — образцовое... Воспитание детей — образцовое! Голова! Мозги!

Семирамиду и Екатерину в сторону,— но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье... это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Всё на свете — и хорошее и дурное — дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще неизвестных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь, хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их.

XXXI

Я осведомился у посредника об Евлампии Мартыновне и узнал, что она как ушла из дому, так и пропала без вести — и, «вероятно, теперь уже давно воспарила в горния».

Так выразился наш посредник... но я убежден, что я *видел* Евлампию, что я встретился с нею. Именно вот как.

Года четыре после моего свидания с Анной Мартыновной я поселился на лето в Мурине, небольшой деревушке около Петербурга, хорошо известной дачникам средней руки. Охота около Мурина была в то время недурна — и я ходил с ружьем чуть не каждый день. Был у меня товарищ, некто Викулов, из мещан — очень неглупый и добрый малый, но, как он сам про себя выражался, совершенно «потерянного» поведения. Где только не был этот человек и чем он не был! Ничего-то его удивить не могло, всё-то он знал —

но любил он только охоту да вино. Вот однажды возвращались мы с ним в Мурино, и пришлось нам миновать одинокий дом, стоящий у перекрестка двух дорог и обнесенный высоким и тесным частоколом. Не в первый раз видел я этот дом, и всякий раз он возбуждал мое любопытство: в нем было что-то таинственное, замкнутое, угрюмо-немое, что-то напоминавшее острог или больницу. С дороги только и можно было видеть, что его крутую, темной краской выкрашенную крышу. Во всем заборе находились одни ворота; и те казались наглухо запертыми; никакого звука не слышалось никогда за ними. Со всем тем вы чувствовали, что в этом доме непременно кто-нибудь обитает: он вовсе не являл вид заброшенного жилья. Напротив, всё в нем было так прочно, и плотно, и дюже, что хоть осаду выдерживай!

— Что за крепость такая? — спросил я у своего товарища.— Не знаете?

Викулов лукаво прищурился.

— Чудно́е небось строение? Много с него здешнему исправнику дохода!

— Как так?

— Да так же. О хлыстах-раскольниках — вот что без попов живут — небось слыхали?

— Слыхал.

— Ну вот тут их главная матка обретается.

— Женщина?

— Да, матка; богородица по-ихнему.

— Что вы?!

— Я ж вам говорю. Строгая, говорят, такая... Командирша! Тысячами ворочает! Взял бы я да всех этих богородиц... Да что толковать!

Он позвал своего Пегашку, удивительную собаку, с превосходным чутьем, но без всякого понятия о стойке. Викулов принужден был подвязывать ей заднюю лапу, чтоб она не так неистово бегала.

Слова его запали мне в память. Я, бывало, нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот однажды поравнялся я с ним, как вдруг — о чудо! засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке, потом самые ворота тихонько растворились — показалась могучая лошадиная голова с заплетенной челкой под расписной дугой — и не спеша выкатила на дорогу небольшая тележка вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки, ближе

ко мне, сидел мужчина лет тридцати, замечательно красивой и благообразной наружности, в опрятном черном армяке и низко на лоб надетом черном картузе; он степенно правил откормленным, как печь широким конем; а рядом с мужчиной, по ту сторону тележки, сидела женщина высокого роста, прямая как стрела. Голову ее покрывала дорогая черная шаль; одета она была в короткий бархатный шушун оливкового цвета и темно-синюю мериносовую юбку; белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево — и женщина очутилась в двух шагах от меня; она слегка повела головою, и я узнал Евлампию Харлову. Я узнал ее немедленно, я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться; таких глаз, как у ней — и особенно такого склада губ, надменного и чувственного,— я ни у кого не видывал. Лицо ее стало длиннее и суше, кожа потемнела, кой-где виднелись морщины; но особенно изменилось выражение этого лица! Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво! Не простым спокойствием власти — пресыщением власти дышала каждая черта; в небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя, застарелая привычка встречать одну благоговейную, безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила, окруженная не поклонниками — а рабами; она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено! Я громко назвал ее по имени и по отчеству; она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня — не с испугом, а с презрительным гневом: кто, мол, смеет меня беспокоить? — и, едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина встрепенулся, с размаха ударил вожжой по лошади, та двинулась вперед шибкой и крупной рысью — и телега скрылась.

С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в хлыстовские богородицы — я и представить себе не могу; но кто знает, быть может, она основала толк, который назовется или уже теперь называется по ее имени — евлампиевщиной? Всё бывает, всё случается.

И вот что я имел сказать вам о моем степном короле Лире, о семействе его и поступках его».

Рассказчик умолк — а мы потолковали немного да и разошлись восвояси.

СТУК... СТУК... СТУК!..

Студия

I

...Мы все уселись в кружок — и Александр Васильевич Ридель, наш хороший знакомый (фамилия у него была немецкая, но он был коренной русак),— Александр Васильевич начал так:

— Я расскажу вам, господа, историю, случившуюся со мной в тридцатых годах... лет сорок тому назад, как видите. Я буду краток, а вы не прерывайте меня.

Я жил тогда в Петербурге — и только что вышел из университета. Мой брат служил в конной гвардейской артиллерии прапорщиком. Батарея его стояла в Красном Селе — дело было летом. Брат квартировал собственно не в Красном Селе, а в одной из окрестных деревушек; я не раз гостил у него и перезнакомился со всеми его товарищами. Он помещался в довольно опрятной избе вместе с другим офицером его батареи. Звали этого офицера Теглевым, Ильей Степанычем. С ним я особенно сблизился.

Марлинский теперь устарел — никто его не читает и даже над именем его глумятся; но в тридцатых годах он гремел, как никто,— и Пушкин, по понятию тогдашней молодежи, не мог идти в сравнение с ним. Он не только пользовался славой первого русского писателя; он даже — что гораздо труднее и реже встречается — до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение. Герои à la Марлинский попадались везде, особенно в провинции и особенно между армейцами и артиллеристами; они разговаривали, переписывались его языком; в обществе держались сумрачно, сдержанно — «с бурей в душе и пламенем в крови», как лейтенант Белозор «Фрегата Надежды». Женские сердца «пожирались» ими. Про них сложилось тогда прозвище: «фатальный». Тип этот, как известно, сохранялся долго, до времен Печорина. Чего-чего не было в этом типе? И байронизм, и романтизм; воспоминания о французской революции, о декабристах — и обожание Наполеона; вера в судьбу, в звезду, в силу характера, поза и фраза — и тоска пустоты; тре-

вожные волнения мелкого самолюбия — и действительная сила и отвага; благородные стремленья — и плохое воспитание, невежество; аристократические замашки — и щеголяние игрушками... Но, однако, довольно философствовать... Я обещался рассказывать.

II

Подпоручик Теглев принадлежал к числу именно таких «фатальных» людей, хотя и не обладал наружностью, обыкновенно этим личностям присвояемой: он, например, нисколько не походил на лермонтовского «фаталиста». Это был человек среднего роста, довольно плотный, сутуловатый, белокурый, почти белобрысый; лицо имел круглое, свежее, краснощекое, вздернутый нос, низкий, на висках заросший лоб и крупные, правильные, вечно неподвижные губы: он никогда не смеялся, не улыбался даже. Лишь изредка, когда он уставал и задыхался, выказывались четырехугольные зубы, белые, как сахар. Та же искусственная неподвижность была распространена по всем его чертам: не будь ее, они бы являли вид добродушный. Во всем его лице не совсем обыкновенны были только глаза, небольшие, с зелеными зрачками и желтыми ресницами: правый глаз был чуть-чуть выше левого, и на левом глазу века поднималась меньше, чем на правом, что придавало его взору какую-то разность, и странность, и сонливость. Физиономия Теглева, не лишенная, впрочем, некоторой приятности, почти постоянно выражала неудовольствие с примесью недоумения: точно он следил внутри себя за невеселой мыслию, которую никак уловить не мог. Со всем тем он не производил впечатления гордеца: его скорей можно было принять за обиженного, чем за гордого человека. Говорил он очень мало, с запинками, сиплым голосом, без нужды повторяя слова. В противность большей части фаталистов, он особенно вычурных выражений не употреблял — и прибегал к ним только на письме; почерк имел совершенно детский. Начальство считало его офицером — «так себе», не слишком способным и не довольно усердным. «Есть пунктуальность, но аккуратности нет»,— говорил о нем бригадный генерал немецкого происхождения. И для солдат Теглев был «так себе» — ни рыба ни мясо. Жил он скромно, по состоянию. Девяти лет от роду он остался круглым сиротою: отец и мать его утонули весною, в половодье, переправляясь на пароме

через Оку. Он получил воспитание в частном пансионе, где считался одним из самых тупых и самых смирных учеников; поступил, по собственному настоятельному желанию и по рекомендации двоюродного дяди, человека влиятельного, юнкером в гвардейскую конную артиллерию — и, хотя с трудом, однако выдержал экзамен сперва на прапорщика, потом на подпоручика. С другими офицерами он находился в отношениях натянутых. Его не любили, посещали его редко — и сам он почти ни к кому не ходил. Присутствие посторонних людей его стесняло; он тотчас становился неестественным, неловким... в нем не было ничего товарищеского — и ни с кем он не «тыкался». Но его уважали; и уважали его не за его характер или ум и образованность, а потому, что признавали на нем ту особенную печать, которою отмечены «фатальные» люди. «Теглев сделает карьеру, Теглев чем-нибудь отличится» — этого никто из его сослуживцев не ожидал; но «Теглев выкинет какую-нибудь необыкновенную штуку» или «Теглев возьмет да вдруг выйдет в Наполеоны» — это не считалось невозможным. Потому, тут действует «звезда» — и человек он с «предопределением», как бывают люди «со вздохом» и «со слезою».

III

Два случая, ознаменовавшие самое начало его офицерской службы, много способствовали к упрочению за ним его фатальной репутации. А именно:

В самый первый день его производства — около половины марта месяца — он, вместе с другими, только что выпущенными офицерами, шел в полной парадной форме по набережной. В тот год весна наступила рано, Нева вскрылась; большие льдины уже прошли, но всю реку запрудил мелкий, сплошной, пропитанный водою лед. Молодые люди разговаривали, смеялись... Вдруг один из них остановился: он увидал на медленно двигавшейся поверхности реки, шагах в двадцати от берега, небольшую собачку. Взобравшись на выдававшуюся льдину, она дрожала всем телом и визжала. «А ведь она погибнет»,— проговорил офицер сквозь зубы. Собачку тихонько проносило мимо одного из спусков, устроенных вдоль набережной. Вдруг Теглев, ни слова не говоря, сбежал по этому самому спуску — и, перепрыгивая по тонкому льду, проваливаясь и выскакивая, добрался до собачки, схватил ее за шиворот и, благополучно вернувшись на берег,

бросил ее на мостовую. Опасность, которой подвергался Теглев, была так велика, поступок его был так неожидан, что товарищи его словно окаменели — и только тогда заговорили все разом, когда он подозвал извозчика, чтобы ехать к себе домой; весь мундир на нем был мокр. В ответ на их восклицания Теглев равнодушно промолвил, что кому что на роду написано, тот того не минует,— и велел извозчику ехать.

— Да ты собаку-то возьми с собой на память,— крикнул один из офицеров. Но Теглев только рукой махнул — и товарищи его переглянулись в молчаливом изумлении.

Другой случай произошел несколько дней спустя, на карточном вечере у батарейного командира. Теглев сидел в углу и не участвовал в игре. «Эх, кабы мне, как в пушкинской „Пиковой даме“, бабушка наперед сказала, какие карты должны выиграть!» — воскликнул один прапорщик, спускавший свою третью тысячу. Теглев молча приблизился к столу, взял колоду, снял и, проговорив: «Шестерка бубен!» — перевернул колоду: внизу была шестерка бубен. «Туз треф!» — провозгласил он и снял опять: снизу оказался туз треф. «Король бубен!» — промолвил он в третий раз сердитым шёпотом, сквозь стиснутые зубы — отгадал в третий раз... и вдруг весь покраснел. Вероятно, он сам этого не ожидал. «Отличный фокус! Покажите-ка еще»,— заметил батарейный командир. «Я фокусами не занимаюсь»,— сухо ответил Теглев и вышел в другую комнату. Каким образом это так случилось, что он заранее отгадывал карту,— я растолковать не берусь; но видел я это собственными глазами. После него многие из присутствовавших игроков пытались сделать то же самое — и никому оно не удалось: *одну* карту еще иной и угадает; но уже две сряду — никак. А у Теглева вышло целых три! Этот случай еще более утвердил за ним репутацию таинственного, фатального человека. Мне после часто приходило на ум, что не удайся ему фокус с картами — кто знает, какой бы она приняла оборот и как бы он сам взглянул на себя; но эта неожиданная удача окончательно решила дело.

IV

Понятно, что Теглев тотчас ухватился за эту репутацию. Она придавала ему особое значение, особый колорит... «Cela le posait»[1], как выражаются французы,— и

[1] Это давало ему положение *(франц.)*.

при небольшом его уме, незначительных познаниях и громадном самолюбии такая репутация приходилась ему как раз под руку. Заслужить ее было трудно, а поддержать ее — ничего не значило: стоило только молчать и дичиться. Но не в силу этой репутации я сошелся с Теглевым и, можно сказать, полюбил его. Полюбил я его, во-первых, потому, что сам был порядочный дичок и видел в нем собрата; а во-вторых, и потому, что человек он был добрый и в сущности очень простосердечный. Он внушал мне нечто вроде сожаления; мне казалось, что, помимо его напускной фатальности, над ним действительно тяготеет трагическая судьба, которой он сам не подозревает. Разумеется, *этого* чувства я ему не высказывал: внушать сожаление — может ли быть обида хуже для «фатального» человека? И Теглев чувствовал расположение ко мне: со мной было ему легко, со мной он разговаривал — в моем присутствии он решался покидать тот странный пьедестал, на который не то попал, не то взобрался. Мучительно, болезненно самолюбивый, он, вероятно, все-таки сознавал в глубине души своей, что ничем не оправдывает своего самолюбия — и что другие, пожалуй, могут смотреть на него свысока... а я, девятнадцатилетний мальчик, не стеснял его; страх сказать что-нибудь неумное, неуместное при мне не сжимал его вечно настороженного сердца. Он даже иногда впадал в болтливость; и благо ему, что никто, кроме меня, не слыхал его речей! Его репутация недолго бы удержалась. Он не только знал очень мало — он почти ничего не читал и ограничивался тем, что набирался подходящих анекдотов и историй. Он верил в предчувствия, предсказания, приметы, встречи, в счастливые и несчастные дни, в преследование или благоволение судьбы, в значительность жизни, одним словом. Он даже верил в какие-то «климатерические» годы, о которых кто-то упомянул при нем и значение которых он сам не понимал хорошенько. Фатальным людям настоящего закала не следует выказывать подобные верованья: они должны внушать их другим... Но Теглева с *этой* стороны знал я один.

V

Однажды, помнится, в самый Ильин день, 20 июля, я поехал гостить к брату — и не застал его: на целую неделю куда-то его откомандировали. Вернуться в Петербург я не хотел; потаскался с ружьем по окрестным болот-

цам, убил парочку бекасов, а вечер провел с Теглевым под навесом пустого сарая, в котором он устроил, как он выражался, летнюю свою резиденцию. Мы покалякали кой о чем, а впрочем, большей частью пили чай, курили трубки и разговаривали то с хозяином, обрусевшим чухонцем, то с мотавшимся около батареи разносчиком, продавцом «пельцинов, лимонов хоро-о-ших», милым человеком и балагуром, который, кроме других талантов, умел играть на гитаре и рассказывал нам о несчастной любви, которую он в «младости» питал к дочери хожалого. Войдя в лета, этот Дон-Жуан в александрийской рубахе уже не знал несчастных привязанностей. Перед воротами нашего сарая расстилалась, постепенно углубляясь, широкая равнина; маленькая речка блистала местами в извилинах ложбин; дальше, на небосклоне виднелись низкие леса. Ночь приближалась, и мы остались одни. Вместе с ночью спускался на землю тонкий сырой пар, который, всё более и более разрастаясь, превратился, наконец, в густой туман. На небо взошел месяц: весь туман проникнулся насквозь и как бы позлатился его сиянием. Всё странно передвинулось, закуталось и смешалось; далекое казалось близким, близкое далеким, большое малым, малое большим... Всё стало светло и неясно. Мы словно перенеслись в сказочное царство, в царство бело-золотистой мглы, тишины глубокой, чуткого сна... И как таинственно, какими серебристыми искорками сквозили сверху звезды! Мы оба умолкли. Фантастический облик этой ночи подействовал на нас: он настроил нас на фантастическое.

VI

Теглев первый заговорил, с обычными запинками, недомолвками и повторениями, о предчувствиях... о привидениях. В такую точно ночь, по его словам, один его знакомый студент, только что поступивший в гувернеры к двум сиротам и помещенный с ними в павильоне, в саду,— увидал женскую фигуру, наклоненную над их постелями, и на следующий день узнал эту фигуру в не замеченном им до тех пор портрете, изображавшем мать этих самых сирот. Потом Теглев рассказал мне, будто родителям его, за несколько дней до их гибели, всё чудился шум воды; будто дедушка его в бородинском сражении избавился от смерти тем, что, увидав на земле простой серый голыш, внезапно нагнулся и поднял его,— а в это самое

мгновенье картечь пролетела над его головою и сломила его длинный черный султан. Теглев даже обещался показать мне этот самый голыш, спасший его деда и вделанный им в медальон. Потом он упомянул о призвании каждого человека и о своем в особенности и прибавил, что он доселе в него верит и что если в нем когда-нибудь на этот счет возникнут сомнения, то он сумеет разделаться с ними и с жизнью, ибо жизнь тогда потеряет для него всякое значение. «Вы, может быть, полагаете,— промолвил он, искоса глянув на меня,— что на это у меня не хватит духа? Вы меня не знаете... У меня воля железная!»

«Хорошо сказано»,— подумал я про себя.

Теглев задумался, глубоко вздохнул и, выпустив из руки чубук, объявил мне, что нынешний день для него очень важный.

— Нынче Ильин день — я именинник... Это... это для меня всегда тяжелая пора.

Я ничего не отвечал и только глядел на него, как он сидел передо мною, согнутый, сутулый, неповоротливый, с уставленным на землю сонливым и пасмурным взором.

— Сегодня,— продолжал он,— одна старушка нищая (Теглев не пропускал ни одного нищего, не подав ему милостыни) сказала мне, что она о моей душеньке помолится... Разве это не странно?

«Охота же человеку всё с собою возиться!» — подумал я опять. Я должен, однако, прибавить, что в последнее время я стал замечать необычное выражение заботы и тревоги на лице Теглева; и не «фатальная» то была меланхолия: его что-то действительно грызло и мучило. И в этот раз меня поразила унылость, распространенная по его чертам. Уж не начинали ли возникать в нем те сомненья, о которых он мне говорил? Мне сказывали товарищи Теглева, что он незадолго перед тем подавал начальству проект о каких-то переформированиях «по лафетной части» и что этот проект был ему возвращен с «надписью», то есть с выговором. Зная его характер, я не сомневался в том, что подобное пренебрежение начальства глубоко его оскорбило. Но то, что мне чудилось в Теглеве, походило более на грусть, имело более личный оттенок.

— Однако сыро становится,— промолвил он вдруг и повел плечами.— Пойдемте в избу — да и спать пора.— У него была привычка поводить плечами и поворачивать голову со стороны на сторону, точно ему галстух становился тесным, причем он брался правой рукою за горло.

Характер Теглева выражался — так по крайней мере мне казалось — в этом тоскливом и нервическом движении. Ему тоже было тесно на свете.

Мы вернулись в избу и легли, каждый на лавке, он в красном углу, я в переднем, на постланном сене.

VII

Теглев долго ворочался на своей лавке, и я не мог заснуть. Рассказы ли его взволновали мои нервы, странная ли эта ночь раздражала мою кровь — не знаю; только я заснуть не мог. Всякое даже желание сна исчезло наконец, и я лежал с раскрытыми глазами да думал, напряженно думал, бог знает о чем, о самых бессмысленных пустяках,— как это всегда бывает во время бессонницы. Переворачиваясь с боку на бок, я протянул руку... Палец мой ударился об одно из бревен стены. Раздался слабый, но гулкий и как бы протяжный звук... Я, должно быть, попал на пустое место.

Я вторично ударил пальцем... уже нарочно. Звук повторился. Я еще... Вдруг Теглев приподнял голову.

— Ридель,— промолвил он,— слышите, кто-то стучит под окном.

Я притворился спящим. Мне вдруг пришла охота потрунить над моим фатальным товарищем. Всё равно мне не спалось.

Он опустил голову на подушку. Я подождал немного и опять постучал три раза сряду.

Теглев опять приподнялся и стал прислушиваться. Я постучал опять. Я лежал к нему лицом, но мою руку он не мог видеть... я ее назад закинул, под одеяло.

— Ридель! — крикнул Теглев.

Я не отозвался.

— Ридель! — повторил он громко.— Ридель!

— А? Что такое? — проговорил я, словно спросонья.

— Вы не слышите, кто-то всё стучит под окном. В избу, что ли, просится.

— Прохожий...— пролепетал я.

— Так надо его впустить или узнать, что за человек?

Но я уже не отвечал и снова притворился спящим.

Прошло несколько минут... Я опять за свое...

«Стук... стук... стук!..»

Теглев тотчас выпрямился и стал слушать.

«Стук... стук... стук! Стук... стук... стук!»

Сквозь полузакрытые веки, при белесоватом свете ночи, я хорошо мог видеть все его движенья. Он обращал лицо то к окну, то к двери. Действительно, трудно было понять, откуда шел звук: он словно облетал комнату, словно скользил вдоль стен. Я случайно попал на акустическую жилку.

«Стук... стук... стук!..»

— Ридель! — закричал наконец Теглев.— Ридель! Ридель!

— Да что такое? — промолвил я зевая.

— Неужели вы ничего не слышите? Стучит кто-то.

— Ну, бог с ним! — ответил я и опять показал вид, что заснул, захрапел даже...

Теглев успокоился.

«Стук... стук... стук!..»

— Кто там? — закричал Теглев.— Войди!

Никто, разумеется, не отвечал.

«Стук... стук... стук!»

Теглев вскочил с постели, открыл окно и, высунув голову наружу, диким голосом спросил: «Кто там? Кто стучит?» Потом он отворил дверь и повторил свой вопрос. В отдаленье проржала лошадь — и только.

Он вернулся к своей постели...

«Стук... стук... стук!»

Теглев мгновенно перевернулся и сел.

«Стук... стук... стук!»

Теглев проворно надел сапоги, накинул шинель на плечи и, отцепив со стены саблю, вышел из избы. Я слышал, как он два раза обошел ее кругом и всё спрашивал: «Кто тут? Кто тут ходит? Кто стучит?» Потом он вдруг умолк, постоял на одном месте на улице, недалеко от угла, где я лежал, и, уже ни слова больше не говоря, вернулся в избу и лег, не раздеваясь.

«Стук... стук... стук!» — начал я снова. «Стук... стук... стук!»

Но Теглев не шевелился, не спрашивал, кто стучит, а только подпер голову рукою.

Видя, что *это* больше не действует, я спустя немного времени притворился, что просыпаюсь, и, вглядевшись в Теглева, принял удивленный вид.

— Вы разве куда ходили? — спросил я.

— Да,— равнодушно отвечал он.

— Вы всё продолжали слышать стук?

— Да.

— И никого не встретили?
— Нет.
— И стук прекратился?
— Не знаю. Теперь мне всё равно.
— Теперь? Почему же именно теперь?
Теглев не отвечал.
Мне стало немножко совестно и немножко досадно на него. Сознаться в своей шалости я, однако, не решался.
— Знаете ли что? — начал я.— Я убежден, что всё это — одно ваше воображение.
Теглев нахмурился.
— А, вы полагаете!
— Вы говорите: вы слышали стук...
— Я не один стук слышал,— перебил он меня.
— Что же еще?
Теглев качнулся вперед — и закусил губы. Он, видимо, колебался...
— Меня звали! — промолвил он наконец вполголоса и отвернул лицо.
— Вас звали? Кто же вас звал?
— Одна...— Теглев продолжал глядеть в сторону.— Одно существо, про которое я до сих пор только полагал, что оно умерло... а теперь я это наверное знаю.
— Клянусь вам, Илья Степаныч,— воскликнул я,— это всё одно воображение!
— Воображение? — повторил он.— Хотите сами убедиться на деле?
— Хочу.
— Ну, так выйдемте на улицу.

VIII

Я наскоро оделся и вместе с Теглевым вышел из избы. Против нее, по ту сторону улицы, не было домов, а тянулся низкий, местами сломанный плетень, за которым начинался довольно крутой спуск на равнину. Туман по-прежнему окутывал все предметы — и за двадцать шагов почти ничего не было видно. Мы с Теглевым дошли до плетня и остановились.
— Вот здесь,— промолвил он и понурил голову.— Стойте, молчите — и слушайте! — Я, так же как он, приник ухом — и, кроме обычного, до крайности слабого, но повсеместного ночного гула, этого дыханья ночи, не услышал ничего. Изредка переглядываясь друг с другом, про-

стояли мы неподвижно несколько минут — и уже собирались идти дальше...

«Илюша!» — почудился мне шёпот из-за плетня.

Я глянул на Теглева — но он, казалось, ничего не слыхал — и по-прежнему держал голову понуро.

«Илюша... а Илюша...»— раздалось явственнее прежнего — настолько явственно, что можно было понять: эти слова произнесла женщина.

Мы оба разом вздрогнули — и уставились друг на друга.

— Что? — спросил меня шёпотом Теглев.— Теперь не будете сомневаться?

— Постойте,— отвечал я ему так же тихо,— это еще ничего не доказывает. Надо посмотреть, нет ли кого? Какой-нибудь шутник...

Я перескочил через плетень — и пошел по тому направлению, откуда, сколько я мог судить, принесся голос.

Под ногами я почувствовал мягкую, рыхлую землю; длинные полосы гряд пропадали в тумане. Я находился в огороде. Но ничего не шевелилось ни вокруг меня, ни впереди. Всё как бы замерло в онемении сна. Я сделал еще несколько шагов.

— Кто тут? — закричал я не хуже Теглева.

Прррр! — вспугнутый перепел выскочил из-под самых ног моих и полетел прочь, прямо, как пуля. Я невольно пошатнулся... Что за глупость!

Я глянул назад. Теглев виднелся на том же самом месте, где я его оставил. Я приблизился к нему.

— Напрасно вы будете звать,— промолвил он.— Этот голос дошел до нас... до меня... издалека.

Он провел рукой по лицу — и тихими шагами направился через улицу домой. Но я не хотел так скоро сдаться и вернулся в огород. Что действительно кто-то три раза кликнул «Илюшу» — в этом я никак сомневаться не мог; что в этом зове было что-то жалобное и таинственное — в этом я тоже должен был самому себе признаться... Но кто знает, быть может, всё это только казалось непонятным, а на деле объяснялось так же просто, как и тот стук, который взволновал Теглева?

Я отправился вдоль плетня, от времени до времени останавливаясь и посматривая кругом. Подле самого плетня, в недальнем расстоянии от нашей избы, росла старая кудрявая ветла; большим черным пятном выдавалась она

среди общей белизны тумана, той тусклой белизны, которая хуже темноты слепит и притупляет взор. Вдруг мне почудилось, будто что-то, довольно крупное, живое, ворохнулось на земле возле той ветлы. С восклицанием: «Стой! Кто это?» — бросился я вперед. Послышались легкие, словно заячьи шаги; мимо меня быстро шмыгнула скорченная фигура, мужская ли, женская ли — я разобрать не мог... Я хотел схватить ее, но не успел, споткнулся, упал и обжег лицо о крапиву. Приподнимаясь и опираясь на землю, я почувствовал что-то жесткое под рукою: то был резной медный гребешок на шнурке, вроде тех, которые наши крестьяне носят на поясе.

Дальнейшие мои разыскания остались тщетными — и я с гребешком в руке и с остреканными щеками вернулся в избу.

IX

Я застал Теглева сидящим на лавке. Перед ним на столе горела свечка — и он что-то записывал в небольшой альбомчик, который постоянно носил с собою. Увидав меня, он проворно сунул альбомчик в карман и принялся набивать трубку.

— Вот, батюшка,— начал я,— какой трофей я из моего похода принес! — Я показал ему гребешок и рассказал, что со мной случилось около ветлы.— Я, должно быть, вора вспугнул,— прибавил я.— Вы слышали, вчера у нашего соседа украли лошадь?

Теглев холодно улыбнулся и закурил трубку. Я уселся возле него.

— И вы всё по-прежнему уверены, Илья Степаныч,— промолвил я,— что голос, который мы слышали, прилетел из тех неведомых стран...

Он остановил меня повелительным движением руки.

— Ридель,— начал он,— мне не до шуток, и потому прошу вас также не шутить.

Теглеву действительно было не до шуток. Лицо его изменилось. Оно казалось бледнее, выразительнее — и длиннее. Его странные, «разные» глаза тихо блуждали.

— Не думал я,— заговорил он снова,— что я когда-нибудь сообщу другому... другому человеку то, что вы сейчас услышите и что должно было умереть... да, умереть в груди моей; но, видно, так нужно — да и выбору мне нет. Судьба! Слушайте.

И он сообщил мне целую историю.

Я уже сказал вам, господа, что повествователь он был плохой; но не одним неумением передавать случившиеся с ним самим события поразил он меня в ту ночь; самый звук его голоса, его взгляды, движения, которые он производил пальцами, руками — всё в нем, одним словом, казалось неестественным, ненужным, фальшью наконец. Я был еще очень молод и неопытен тогда — и не знал, что привычка риторически выражаться, ложность интонаций и манер до того может въесться в человека, что он уже никак не в состоянии отделаться от нее: это своего рода проклятие. В последствии времени мне случилось встретиться с одной дамой, которая таким напыщенным языком, с такими театральными жестами, с таким мелодраматическим трясением головы и закатыванием глаз рассказывала мне о впечатлении, произведенном на нее смертью ее сына — об ее «неизмеримом» горе, об ее страхе за собственный рассудок, что я подумал про себя: «Как эта барыня врет и ломается! Она своего сына вовсе не любила!» А неделю спустя я узнал, что бедная женщина действительно с ума сошла. С тех пор я стал гораздо осторожнее в своих суждениях и гораздо меньше доверял собственным впечатлениям.

X

История, которую рассказал мне Теглев, была вкратце следующая. У него в Петербурге, кроме сановного дяди, жила тетка, женщина не сановная, но с состоянием. Будучи бездетной, она взяла к себе в приемыши девочку, сиротку, из мещанского сословия, дала ей приличное воспитание и обращалась с ней как с дочерью. Звали ее Машей. Теглев виделся с нею чуть не каждый день. Кончилось тем, что они оба друг в друга влюбились, и Маша отдалась ему. Это вышло наружу. Тетка Теглева страшно рассердилась, с позором прогнала несчастную девушку из своего дома и переехала в Москву, где взяла барышню из благородных к себе в воспитанницы и наследницы. Вернувшись к прежним родственникам, людям бедным и пьяным, Маша терпела участь горькую. Теглев обещался жениться на ней — и не исполнил своего обещания. В последнее свое свидание с нею он принужден был высказаться: она хотела узнать правду — и добилась ее. «Ну,— промолвила она,— коли мне не быть твоей женою, так я знаю,

что мне остается сделать». С этого последнего свиданья прошло недели две с лишком.

— Я ни на минуту не обманывался насчет значения ее последних слов,— прибавил Теглев,—я уверен, что она покончила с жизнью, и... и что это был *ее* голос, что это *она* звала меня туда... за собою... Я *узнал* ее голос... Что ж, один конец!

— Но отчего же вы не женились на ней, Илья Степаныч? — спросил я.— Вы ее разлюбили?

— Нет; я до сих пор люблю ее страстно!

Тут я, господа, уставился на Теглева. Вспомнился мне другой мой знакомый, человек очень смышленый, который, обладая весьма некрасивой, неумной и небогатой женой и будучи очень несчастлив в супружестве, на сделанный ему при мне вопрос: почему же он женился? вероятно, по любви? — отвечал: «Вовсе не по любви! А так!» А тут Теглев любит страстно девушку и не женится. Что ж, и это тоже — так?!

— Отчего же вы не женитесь? — спросил я вторично.

Сонливо-странные глаза Теглева забегали по столу.

— Этого... в немногих словах... не скажешь,— начал он запинаясь.— Были причины... Да притом она... мещанка. Ну и дядя... я должен был принять и его в соображение.

— Дядю вашего? — вскрикнул я.— Но на какой чёрт вам ваш дядя, которого вы только и видите, что в Новый год, когда с поздравлением ездите? На его богатство рассчитываете? Да у него самого чуть не дюжина детей!

Я говорил с жаром... Теглева покоробило, и он покраснел... покраснел неровно, пятнами...

— Прошу не читать мне нотаций,— промолвил он глухо.— Впрочем, я не оправдываюсь. Загубил я ее жизнь — и теперь надо будет долг выплатить...

Он опустил голову — и умолк. Я тоже ничего сказать не нашелся.

XI

Так мы сидели с четверть часа. Он глядел в сторону, а я глядел на него и заметил, что волосы у него надо лбом как-то особенно приподнялись и завились кудрями, что, по замечанию одного военного лекаря, на руках которого перебывало много раненых, всегда служит признаком сильного и сухого жара в мозгах... Опять мне пришло в голо-

ву, что над этим человеком действительно тяготеет рука судьбы и что товарищи его недаром видели в нем нечто фатальное. И в то же время я внутренно осуждал его. «Мещанка! — думалось мне,— да какой же ты аристократ?»

— Может быть, вы меня осуждаете, Ридель,— начал вдруг Теглев, как бы угадав, о чем я думал.— Мне самому... очень тяжело. Но как быть? Как быть?

Он оперся подбородком на ладонь и принялся покусывать широкие и плоские ногти своих коротких и красных, как железо твердых пальцев.

— Я того мнения, Илья Степаныч, что надо вам сперва удостовериться, точно ли ваши предположения справедливы... Быть может, ваша любезная здравствует. («Сказать ему о настоящей причине стука? — мелькнуло у меня в голове.— Нет, после».)

— Она мне ни разу не писала с тех пор, как мы в лагере,— заметил Теглев.

— Это еще ничего не доказывает, Илья Степаныч.

Теглев махнул рукою.

— Нет! Ее уже наверное больше на свете нет. Она меня звала...

Он вдруг повернулся лицом к окну.

— Опять кто-то стучит!

Я невольно засмеялся.

— Ну, уж извините, Илья Степаныч! На сей раз это у вас нервы. Видите: рассветает. Через десять минут солнце взойдет — теперь уже четвертый час, а привиденья днем не действуют.

Теглев бросил на меня сумрачный взгляд и, промолвив сквозь зубы: «Прощайте-с», лег на лавку и повернулся ко мне спиною.

Я тоже лег — и, помнится, прежде чем заснул, подумал, что к чему это Теглев всё намекает на то, что намерен... лишить себя жизни! Что за вздор! что за фраза! По собственной воле не женился... бросил... а тут вдруг убить себя хочет! Смысла нет человеческого! Нельзя не порисоваться!

С этими мыслями я заснул очень крепко, и когда я открыл глаза, солнце стояло уже высоко на небе — и Теглева не было в избе...

Он, по словам его слуги, уехал в город.

XII

Я провел весьма томительный и скучный день. Теглев не возвратился ни к обеду, ни к ужину; брата я и не ожидал. К вечеру опять распространился густой туман, еще пуще вчерашнего. Я лег спать довольно рано. Стук под окном разбудил меня.

Пришла *моя* очередь вздрогнуть!

Стук повторился — да так настойчиво-явственно, что сомневаться в его действительности было невозможно. Я встал, отворил окно и увидал Теглева. Закутанный шинелью, в надвинутой на глаза фуражке, он стоял неподвижно.

— Илья Степаныч! — воскликнул я,— это вы? Мы прождались вас. Войдите. Али дверь заперта?

Теглев отрицательно покачал головою.

— Я не намерен войти,— произнес он глухо,— я хотел только попросить вас передать завтра это письмо батарейному командиру.

Он протянул мне большой куверт, запечатанный пятью печатями. Я изумился — однако машинально взял куверт. Теглев тотчас отошел на середину улицы.

— Постойте, постойте,— начал я,— куда же вы? Вы только теперь приехали? И что это за письмо?

— Вы обещаетесь доставить его по адресу? — промолвил Теглев и отступил еще на несколько шагов. Туман запушил очертания его фигуры.— Обещаетесь?

— Обещаюсь... но сперва...

Теглев отодвинулся еще дальше — и стал продолговатым, темным пятном.

— Прощайте! — раздался его голос.— Прощайте, Ридель, не поминайте меня лихом... И Семена не забудьте...

И самое пятно исчезло.

Это было слишком. «О фразер проклятый! — подумал я.— Нужно же тебе всё на эффект бить!» Однако мне стало жутко; невольный страх стеснял мне грудь. Я накинул шинель и выбежал на улицу.

XIII

Да; но куда было идти? Туман охватил меня со всех сторон. На пять, на шесть шагов вокруг он еще сквозил немного, а дальше так и громоздился стеною, рыхлый и

белый, как вата. Я взял направо по улице деревушки, которая тут же прекращалась: наша изба была предпоследняя с краю, а там начиналось пустынное поле, кое-где поросшее кустами; за полем, с четверть версты от деревни, находилась березовая рощица — и через нее протекала та самая речка, которая несколько ниже огибала деревню. Всё это я знал хорошо, потому что много раз видел всё это днем; теперь же я ничего не видел — и только по большей густоте и белизне тумана мог догадываться, где опускалась почва и протекала речка. На небе бледным пятном стоял месяц — но свет его не в силах был, как в прошлую ночь, одолеть дымную плотность тумана и висел наверху широким матовым пологом. Я выбрался на поле — прислушался... Нигде ни звука; только кулички посвистывали.

— Теглев! — крикнул я.— Илья Степаныч!! Теглев!!

Голос мой замирал вокруг меня без ответа; казалось, самый туман не пускал его дальше.

— Теглев! — повторил я.

Никто не отозвался.

Я пошел вперед наобум. Раза два я наткнулся на плетень, раз чуть не свалился в канаву, чуть не споткнулся о лежавшую на земле крестьянскую лошаденку...

— Теглев! Теглев! — кричал я.

Вдруг, позади меня, в самом близком расстоянии, послышался негромкий голос:

— Ну вот я... Что вы хотите от меня?

Я быстро обернулся...

Передо мною, с опущенными руками, без фуражки на голове стоял Теглев. Лицо его было бледно; но глаза казались оживленными и больше обыкновенного... Он протяжно и сильно дышал сквозь раскрытые губы.

— Слава богу!..— воскликнул я в порыве радости,— и схватил его за обе руки.— Слава богу! Я уже отчаивался найти вас. И не стыдно вам так пугать меня? Илья Степаныч, помилуйте!

— Что вы хотите от меня? — повторил Теглев.

— Я хочу... я хочу, во-первых, чтобы вы вместе со мною вернулись домой. А во-вторых, я хочу, я требую, требую от вас, как от друга, чтобы вы немедленно мне объяснили, что значат ваши поступки — и это письмо к полковнику? Разве с вами в Петербурге случилось что-нибудь неожиданное?

— Я в Петербурге нашел именно то, что ожидал,— отвечал Теглев, всё не трогаясь с места.

— То есть... вы хотите сказать... ваша знакомая... эта Маша...

— Она лишила себя жизни,— торопливо и как бы со злостью подхватил Теглев.— Третьего дня ее похоронили. Она не оставила мне даже записки. Она отравилась.

Теглев поспешно произносил эти страшные слова, а сам всё стоял неподвижно, как каменный.

Я всплеснул руками.

— Неужели? Какое несчастье! Ваше предчувствие сбылось... Это ужасно!

В смущении я умолк. Теглев тихо и как бы с торжеством скрестил руки.

— Однако,— начал я,— что же мы стоим здесь? Пойдемте домой.

— Пойдемте,— сказал Теглев.— Но как мы найдем дорогу в этом тумане?

— В нашей избе огонь в окнах светит — мы и будем держаться на него. Пойдемте.

— Ступайте вперед,— ответил Теглев.— Я за вами.

Мы отправились. Минут с пять шли мы — и путеводный наш свет не показывался; наконец он блеснул впереди двумя красными точками. Теглев мерно выступал за мною. Мне ужасно хотелось поскорей добраться домой и узнать от него все подробности его несчастной поездки в Петербург. Пораженный тем, что он сказал мне, я, в припадке раскаяния и некоторого суеверного страха, не дойдя еще до нашей избы, сознался ему, что вчерашний таинственный стук производил я... И какой трагический оборот приняла эта шутка!

Теглев ограничился замечанием, что я тут ни при чем — что рукой моей водило нечто другое и что это только доказывает, как мало я его знаю. Голос его, странно спокойный и ровный, звучал над самым моим ухом.

— Но вы меня узнаете,— прибавил он.— Я видел, как вы вчера улыбнулись, когда я упомянул о силе воли. Вы меня узнаете — и вы вспомните мои слова.

Первая изба деревни, как некое темное чудище, выплыла из тумана перед нами... вот вынырнула и вторая, наша изба — и моя лягавая собака залаяла, вероятно, почуявши меня.

Я постучал в окошко.

— Семен! — крикнул я теглевскому слуге,— эй, Семен! отвори нам поскорей калитку.

Калитка стукнула и распахнулась; Семен шагнул через порог.

— Илья Степаныч, пожалуйте,— промолвил я и оглянулся...

Но никакого Ильи Степаныча уже не было за мною. Теглев исчез, словно в землю провалился.

Я вошел в избу, как ошалелый.

XIV

Досада на Теглева, на самого себя сменила изумление, которое сначала овладело мною.

— Сумасшедший твой барин! — накинулся я на Семена,— как есть сумасшедший! Поскакал в Петербург, потом вернулся — да и бегает зря! Я было залучил его, до самых ворот привел, и вдруг — хвать! опять удрал! В этакую ночь не сидеть дома! Нашел время гулять!

«И зачем это я выпустил его руку!» — укорял я самого себя.

Семен молча поглядывал на меня, как бы собираясь сказать что-то, но, по обычаю тогдашних слуг, только потоптался немножко на месте.

— В котором часу он уехал в город? — спросил я строго.

— В шесть часов утра.

— И что же — он казался озабоченным, грустным?

Семен потупился.

— Наш барин — мудреный,— начал он,— кто его понять может? Как собрался в город, новый мундир подать себе велел — ну и завился.

— Как завился?

— Волосы завил. Я им и щипцы приспособлял.

Этого я, признаюсь, не ожидал.

— Известна тебе одна барышня,— спросил я Семена,— Ильи Степаныча приятельница — зовут ее Машей?

— Как нам Марьи Анемподистовны не знать? Барышня хорошая.

— Твой барин в нее влюблен, в эту Марью... ну и так далее?

Семен вздохнул.

— От этой от самой от барышни и пропадать Илье Степанычу. Потому: любят они ее ужаственно, а в су-

пружество взять не решаются — и бросить ее тоже жаль. От этого от самого ихнего малодушия. Уж очень они ее любят.

— Да что, она — хорошенькая? — полюбопытствовал я.

Семен принял серьезный вид.

— Господа таких любят.

— А на твой вкус?

— Для нас... статья не подходящая — вовсе.

— А что?

— Телом очченно худы.

— Если бы она умерла,— начал я снова,— ты полагаешь, Илья Степанович ее не пережил бы?

Семен опять вздохнул.

— Этого мы сказать не смеем — дело господское... а только барин наш — мудреный!

Я взял со стола большое и довольно толстое письмо, отданное мне Теглевым, повертел его в руках... Адрес на имя «его высокородия, господина батарейного командира, полковника и кавалера», с обозначением имени, отчества и фамилии, был очень четко и тщательно написан. В верхнем углу куверта стояло слово: «Нужное», дважды подчеркнутое.

— Послушай, Семен,— начал я.— Я боюсь за твоего барина. У него, кажется, недобрые мысли на уме. Надо будет отыскать его непременно.

— Слушаю-с,— отвечал Семен.

— Правда, на дворе туман такой, что на два аршина ничего рассмотреть нельзя; но всё равно: надо попытаться. Мы возьмем по фонарю, а в каждом окне зажжем по свечке — на всякий случай.

— Слушаю-с, — повторил Семен, зажег фонари и свечки, и мы отправились.

XV

Как мы с ним блуждали, как путались — это передать невозможно! Фонари нисколько не помогали нам; они нисколько не разгоняли той белой, почти светлой мглы, которая нас окружала. Мы с Семеном несколько раз теряли друг друга, несмотря на то, что перекликались, аукались и то и дело взывали — я: «Теглев! Илья Степаныч!» — он: «Господин Теглев! Ваше благородие!» Туман

до того сбивал нас с толку, что мы бродили, как во сне; мы оба скоро охрипли: сырость проникала до самого дна груди. Кое-как мы опять, по милости свечек в окнах, сошлись у избы. Наши совокупные поиски ни к чему не повели — мы только связывали друг друга, а потому мы и положили уже не думать о том, как бы не разбиться, а идти каждому своей дорогой. Он взял налево, я направо и скоро перестал слышать его голос. Туман, казалось, пробрался в самую мою голову — и я бродил как отуманенный да только покрикивал: «Теглев! Теглев!»

— Я! — раздалось вдруг мне в ответ.

Батюшки! как я обрадовался! как бросился туда, где послышался мне голос... Человеческая фигура зачернела впереди... я к ней... Наконец-то!

Но вместо Теглева я увидел перед собою другого офицера той же батареи, которого звали Телепневым.

— Это *вы* мне отозвались? — спросил я его.

— А это *вы* меня звали? — спросил он в свою очередь.

— Нет; я звал Теглева.

— Теглева? Да я сию минуту его встретил. Какая дурацкая ночь! Никак к себе домой не попадешь.

— Вы видали Теглева? Куда он шел?

— Кажись, туда! — Офицер провел рукой по воздуху.— Но теперь ничего понять нельзя. Вот, например, известно ли вам, где деревня? Одно спасение — собака залает. Предурацкая ночь! Позвольте закурить сигарку... все-таки как будто путь себе освещаешь.

Офицер был, сколько я заметил, немного на́веселе.

— Вам Теглев ничего не сказал?— спросил я.

— Как же! Я ему говорю: «Брат, здорово!» — а он мне: «Прощай, брат!» — «Как прощай! Почему прощай?» — «Да я, говорит, хочу с'час застрелиться из пистолета». Чудак!

У меня дух захватило.

— Вы говорите, он вам сказал...

— Чудак! — повторил офицер и поплелся от меня прочь.

Не успел я еще прийти в себя от заявления офицера — как мое собственное имя, несколько раз с усилием выкрикнутое, поразило мой слух. Я узнал голос Семена.

Я отозвался... Он подошел ко мне.

XVI

— Ну что? — спросил я его.— Нашел ты Илью Степаныча?

— Нашел-с.

— Где?

— А тут, недалече.

— Как же ты... нашел его? Он жив?

— Помилуйте — я с ними разговаривал. (У меня от сердца отлегло.) Сидят под березкой, в шинели... и ничего. Я им докладываю: пожалуйте, мол, Илья Степаныч, на квартиру; Александр Васильич оченно о вас беспокоятся. А они мне говорят: охота ему беспокоиться! Я на чистом воздухе быть желаю. У меня голова болит. Ступай, мол, домой. А я приду после.

— И ты ушел! — воскликнул я и всплеснул руками.

— А то как же-с? Приказали идти... как же я останусь?

Все мои страхи ко мне вернулись разом.

— Сию минуту веди меня к нему — слышишь? Сию минуту! Ах, Семен, Семен, не ожидал я этого от тебя! Ты говоришь, он недалеко отсюда?

— Близехонько, вот где роща началась,— тут и сидят. От речки — от берегу — сажени с две, не больше. Я по речке их и нашел.

— Ну веди, веди!

Семен отправился вперед.

— Вот извольте, пожалуйте... Только к речке спуститься — а там сейчас...

Но вместо того, чтобы спуститься к речке, мы зашли в какую-то ложбину и очутились перед пустым сарайчиком...

— Э! стой! — воскликнул вдруг Семен.— Это я, знать, вправо забрал... Надо будет сюда, полевее...

Мы пошли полевее — и попали в такой густой бурьян, что едва могли выбраться... Сколько я помнил, вблизи нашей деревни и не было нигде такого сплошного бурьяна. А там вдруг болото захлюпало у нас под ногами, показались круглые моховые кочки, которых я тоже никогда не видал... Мы пошли назад — перед нами вырос крутой холмик, а на холмике стоит шалаш и в нем храпит кто-то. Мы с Семеном несколько раз крикнули в шалаш: что-то заворочалось в его глубине, затрещала солома — и хриплый голос произнес: кар-раул-лю!

Мы опять назад... Поле, поле, бесконечное поле...

Я готов был заплакать... Вспомнились мне слова шута в «Короле Лире»: «Эта ночь нас всех с ума сведет, наконец...»

— Куда ж идти? — обратился я с отчаянием к Семену.

— Нас, барин, знать, леший обошел,— отвечал растерявшийся слуга.— Это неспроста... Дело это нечистое!

Я было хотел прикрикнуть на него, но в это мгновенье до слуха моего долетел отдельный негромкий звук, который тотчас привлек всё мое внимание. Что-то слабо пукнуло, вот как если б кто вытащил тугую пробку из узкого горлышка бутылки. Раздался этот звук недалеко от того места, где я стоял. Почему этот звук показался мне особенным и странным — я сказать не умею — но я тотчас пошел по его направлению.

Семен последовал за мною. Через несколько мгновений что-то высокое и широкое зачернело сквозь туман.

— Роща! вот она, роща! —воскликнул радостно Семен,— да, вон... вон и барин сидит под березой... Где я его оставил, там и сидит. Он самый и есть!

Я вгляделся. Действительно: на земле, у корня березы, спиною к нам, неуклюже сгорбившись, сидел человек. Я быстро приблизился к нему — и узнал шинель Теглева, узнал его фигуру, его наклоненную на грудь голову.

— Теглев! — крикнул я... но он не отозвался.

— Теглев! — повторил я и положил ему руку на плечо.

Тогда он вдруг покачнулся вперед, послушно и скоро, словно он ожидал моего толчка, и повалился на траву. Мы с Семеном тотчас его подняли и повернули лицом кверху. Оно не было бледно, но безжизненно-неподвижно; стиснутые зубы белели — а глаза, тоже неподвижные и не закрытые, сохраняли обычный, сонливый и «разный» взгляд...

— Господи! — промолвил вдруг Семен и показал мне свою обагренную кровью руку... Кровь эта выходила из-под расстегнутой шинели Теглева, с левой стороны его груди.

Он застрелился из небольшого одноствольного пистолета, который лежал тут же возле него. Слабый звук, слышанный мною,— был звук, произведенный роковым выстрелом.

XVII

Самоубийство Теглева не слишком удивило его товарищей. Я уже сказывал вам, что, по их понятию, он, как человек «фатальный», должен был выкинуть какую-нибудь необыкновенную штуку, хотя именно этой штуки они, быть может, от него и не ожидали. В письме к батарейному командиру он просил его, во-первых: распорядиться о выключении из списков подпоручика Ильи Теглева, яко самовольно умершего, причем он заявлял, что у него в шкатулке найдется больше наличных денег, чем сколько на нем может оказаться долгов; а во-вторых: доставить важному лицу, командовавшему тогда всем гвардейским корпусом, другое, незапечатанное письмо, находившееся в том же куверте. Это второе письмо мы, разумеется, все прочитали, некоторые из нас взяли с него копии. Теглев, видимо, трудился над сочинением этого письма. «Вот, Ваше В — ство (так, помнится, начиналось оно), как вы бываете строги и взыскиваете за малейшую неисправность в мундире, за ничтожнейшее отступление от формы, когда к вам является бледный, трепещущий офицер; а вот я теперь являюсь перед нашего общего, неподкупного, неумытного Судию, перед Верховное Существо, перед Существо, которое неизмеримо значительнее даже Вашего В — ства,— и являюсь запросто, в шинели, даже без галстуха на шее...» Ах, какое тяжелое и неприятное впечатление произвела на меня эта фраза, каждое слово, каждая буква которой старательно были выведены детским почерком покойного! Неужели, спрашивал я самого себя, неужели стоило придумывать такой вздор в такую минуту? А Теглеву, очевидно понравилась эта фраза: он для нее пустил в ход все бывшие тогда в моде нагромождения эпитетов и амплификаций à la Марлинский. Дальше он упоминал о судьбе, о гонениях, о своем призвании, которое так и осталось неисполненным, о тайне, которую он унесет в могилу, о людях, которые не хотели его понять; приводил даже стихи какого-то поэта, который говорил о толпе, что она носит жизнь, «как ошейник», и в порок въедается, «как репейник»,— и всё это не без орфографических ошибок. Правду сказать, это предсмертное письмо бедного Теглева было довольно пошло — и я воображаю презрительное недоумение высокой особы, на имя которой оно было адресовано,— воображаю, каким тоном она произнесла: «Дрянной офицер! Дурную траву из

поля вон!» Перед самым только концом письма вырвался из сердца Теглева искренний крик. «Ах, Ваше В — ство! — так заключал он свое послание,— я сирота, меня некому было любить смолоду — и все меня чуждались... а единственное сердце, которое отдалось мне,— я сам загубил!»

В кармане шинели у Теглева Семен нашел альбомчик, с которым его господин не расставался. Но почти все листы были вырваны; уцелел только один, на котором стояло следующее вычисление:

Наполеон род. 15-го августа 1769 года	Илья Теглев род. 7-го января 1811 года
1769	1811
15	7
8 (август—8-й мес. в году).	1 (январь—1-й мес. в году).
Итого 1792	Итого 1819
1	1
7	8
9	1
2	9
Итого 19!	Итого 19!
Наполеон умер 5-го мая 1825 года	Илья Теглев умер 21-го июля 1834 года
1825	1834
5	21
5 (май—5-й мес. в году).	7 (июль—7-й мес. в году).
Итого 1835	Итого 1862
1	1
8	8
3	6
5	2
Итого 17!	Итого 17!

Бедняк! уж не оттого ли он и пошел в артиллеристы?

Его похоронили, как самоубийцу — вне кладбища,— и немедленно о нем позабыли.

XVIII

На другой день после похорон Теглева (я находился еще в деревне, в ожидании брата) Семен вошел в избу и доложил, что Илья желает меня видеть.

— Какой Илья? — спросил я.

— А наш разносчик.

Я велел позвать его.

Он явился. Пожалел слегка о господине подпоручике; удивился, что, мол, это с ним такое попритчилось...

— Он остался тебе должен? — спросил я.

— Никак нет-с. Они что забирали — всё сейчас выплачивали в аккурате. А вот что-с...— Тут разносчик осклабился.— Досталась вам одна моя вещица...

— Какая такая вещица?

— А самая вот эта-с.— Он показал пальцем на резной гребешок, лежавший на туалетном столике.— Вещица малой важности-с,— продолжал балагур,— но как я ее получил в подарок...

Я вдруг поднял голову. Меня как светом озарило.

— Твое имя Илья?

— Точно так-с.

— Так уж это не тебя ли я... намедни... под ветлою?

Разносчик подмигнул глазом и еще пуще осклабился.

— Меня-с.

— И это *тебя* звали?...

— Меня-с,— повторил разносчик с игривой скромностью.— Тут есть одна девица,— продолжал он фальцетом,— которая, по причине очень большой строгости со стороны родителей...

— Хорошо, хорошо,— перебил я его, вручил ему гребешок и выпроводил его вон.

Так вот кто был «Илюша»,— подумал я и погрузился в философические рассуждения, которые я, впрочем, вам навязывать не стану, ибо никому не намерен мешать верить в судьбу, предопределение и прочие фатальности.

Вернувшись в Петербург, я собрал сведения о Маше. Я даже отыскал доктора, который ее лечил. К изумлению моему, я услышал от него, что она умерла не от отравы, а от холеры! Я сообщил ему то, что слышал от Теглева.

— Э! э! — воскликнул вдруг доктор.— Этот Теглев — артиллерийский офицер, среднего росту, сутулый, пришепетывает?

— Да.

— Ну, так и есть. Этот господин отъявился ко мне — я его тут в первый раз увидел — и начал настаивать на том, что та девушка отравилась. «Холера»,— говорю я. «Яд»,— говорит он. «Да холера же»,— говорю я. «Да яд же»,— говорит он. Я вижу, человек какой-то словно помешанный, с широким затылком, значит упрямый, пристает ко мне не с коротким... Всё равно, думаю, субъект

ведь помер... Ну, говорю, отравилась она, коли вам этак приятнее. Он поблагодарил меня, даже руку пожал — и скрылся.

Я рассказал доктору, каким образом этот самый офицер в тот же самый день застрелился.

Доктор даже бровью не повел — а только заметил, что на свете чудаки бывают разные.

— Бывают,— повторил за ним и я.

Да, справедливо сказал кто-то про самоубийц: пока они не исполнят своего намерения— никто им не верит; а исполнят — никто о них не пожалеет.

ВЕШНИЕ ВОДЫ

Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!

Из старинного романса.

...Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками.

Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «taedium vitae», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, темная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пощады перед ним. Везде всё то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение,— чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало,— а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно возрастающий, всё разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизнь! А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море — нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и про-

зрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуги, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит — и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится всё явственнее, всё отвратительно явственнее... Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал — он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой),— он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, сбираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик — и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, всё тот же — и весь измененный годами.

Он встал и, возвратясь к камину, сел опять в кресло — и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» — думалось ему, и вспомнил он многое, давно прошедшее...

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

I

Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей — и он решился прожить их за границею, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него немыслимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; господа туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейвагене»[1]; но дилижанс отходил только в 11-м часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная — и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гёте, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» — и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами,— в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна, и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в со-

---

[1] в добавочной (прицепной) повозке (*нем.* Beiwagen).

седней комнате. Санин постоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась — и Санину поневоле пришлось изумиться.

II

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой — и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» — что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый — белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор,— мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстух сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

— Он умер, он умер! — вскричала она,— сейчас он тут сидел, говорил со мною — и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? — прибавила она вдруг по-итальянски.— Ты ходил за доктором?

— Синьора, я не ходил, я послал Луизу,— раздался хриплый голос за дверью,— и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстухе, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чул-

ках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь кверху и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей — сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

— Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать,— продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками,— а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

— Но Эмиль пока умрет! — воскликнула девушка и протянула руки к Санину.— О мой господин, о mein Herr! Неужели вы не можете помочь?

— Надо ему кровь пустить — это удар,— заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

— Это обморок, а не удар,— проговорил он, обратясь к Панталеоне.— Есть у вас щетки?

Старичок приподнял свое личико.

— Что?

— Щетки, щетки,— повторил Санин по-немецки и по-французски.— Щетки,— прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

— А, щетки! Spazzette! Как не быть щеток!

— Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук — и станем растирать его.

— Хорошо... Benone! А воду на голову не надо вылить?

— Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина — как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки — и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и

руки. Панталеоне так же усердно тер другой — головной щеткой — по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер — а сам искоса посматривал на нее. Боже мой! какая же эта была красавица!

III

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновая кость или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти,— и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза,— даже теперь, когда испуг и горе омрачали их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

— Снимите, по крайней мере, с него сапоги,— хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы и принялся лаять.

— Tartaglia — canaglia! [1] — зашипел на него старик...

Но в это мгновенье лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью.

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь всё еще стиснутые зубы, вздохнул...

[1] Тарталья — каналья! *(итал.)*.

— Эмиль! — крикнула девушка. — Эмилио мио!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались — слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою — и с размаху положил ее себе на грудь.

— Эмилио! — повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

— Эмиль! Что такое? Эмиль! — послышалось за дверью — и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

— Он спасен, мама, он жив! — воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

— Да что такое? — повторила та.— Я возвращаюсь... и вдруг встречаю г-на доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который всё более и более приходил в себя и всё продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

— Вы, я вижу, его растирали щетками,— обратился доктор к Санину и Панталеоне,— и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства...— Он пощупал у молодого человека пульс.— Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза — и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

— Вы уходите,— начала она, ласково заглядывая ему в лицо,— я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны — вы, может быть, спасли брата: мы хотим благодарить вас — мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

— Но я уезжаю сегодня в Берлин,— заикнулся было Санин.

— Вы еще успеете,— с живостью возразила девушка.—

Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

— Приду,— отвечал он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон — и он очутился на улице.

IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли, как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», так как субъект темперамента нервического и с наклонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и всё кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами,— огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия — и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему всё жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули — и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так

легко произносима. Имя его: «Димитрий» — также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio», но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее Леонора Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джиованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец — «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли, не вполне умел уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригантом — вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот *эта* дочь да вот *этот* сын (она указала на них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына — Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети — особенно Эмилио... («Я не послушна?» — ввернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» — ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand'uomo!» — с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

V

Джемма слушала мать — и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею — в «душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом,

для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма долговременное пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Ферро-флукто спиччебуббио!» [1] — обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве, ибо был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca romana!» [2]. Эмилио видимо нежился и предавался приятным ощущениям человека, который только что избегнул опасности или выздоравливает; да и кроме того по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфекты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой — и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать — о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «Bellezze delle arti»? [3] — А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» — фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные — но гостеприимство чрезвычайное и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное

[1] «Проклятый плут!» (*нем.*: verfluchte Spitzbube).
[2] «тосканский язык в римских устах!» (*итал.*).
[3] «Красоты искусства» (*итал.*).

фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой,— спел тоненьким носовым тенорком сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно «По улице мостовой» (sur une rue pavée une jeune fille allait à l'eau [1] — он так передал смысл оригинала) — не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг — фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» — «o, vieni» [2], «со мной» — «siam noi» [3] и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин) и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэттино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

VI

Но не голосом Джеммы — ею самою любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма — даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта,— не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила кверху глаза — ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстух, слушал важно, с видом знатока,— даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему — а, кажется, должен был он к нему при-

---

[1] по замощенной улице молодая девушка шла за водой *(франц.)*.

[2] «о, приди» *(итал.)*.

[3] «это мы» *(итал.)*.

выкнуть! Окончив свои дуэттино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом), и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно всё это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя,— да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы — не чета теперешним пискунам! — и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатола из Варе́зе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский — «il principe Tarbusski»,— с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страною Данта — il paese del Dante! — Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился — и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

«Вот был человек! — воскликнул он.— Никогда великий Гарсиа — „il gran Garcia" — не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки — tenoracci — фальцетом: всё грудью, грудью, voce di petto, si![1]» Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! «И какой актер! Вулкан, signori miei [2], вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере dell'illustrissimo maestro [3] Россини — в «Отелло»! Гарсиа был Отелло — я был Яго — и когда он произносил эту фразу...»

Тут Панталеоне стал в позитуру и запел дрожавшим и сиплым, но всё еще патетическим голосом:

L'i...ra da ver...so da ver...so il fato
Io più no... no... no... non temerò! [4]

---

[1] грудным голосом, да! *(итал.)*.
[2] господа мои *(итал.)*.
[3] знаменитейшего маэстро *(итал.)*.
[4] Гнева... судьбы.../Я больше не буду бояться! *(итал.)*.

— «Театр трепетал, signori miei! но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'i...ra da ver...so da ver...so il fato
Temer più non dovró! [1]

— «И вдруг он — как молния, как тигр:

Morrò!.. ma vendicato... [2]

— «Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из "Matrimonio segreto": Pria che spunti...[3] Тут он, il gran Garcia, после слов: I cavalli di galoppo [4]— делал на словах: Senza posa caccera [5] — послушайте, как это изумительно, com'è stupendo! Тут он делал...» — Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру — и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» — подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль безжалостно смеялся. Cet âge est sans pitié — этот возраст не знает жалости,— сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) — заговорил о «paese del Dantè, dove il sì suona» [6]. Эта фраза вместе с «Lasciate ogni speranza» [7] составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискивания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстух и угрюмо пуча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой,— вóрону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми,— обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как прочесть ему одну из комедиек Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по

---

[1] Гнева... судьбы.../Бояться я больше не должен! *(итал.)*.
[2] Умру!.. но отомщенный... *(итал.)*.
[3] «Тайного брака»: Прежде чем взойдет... *(итал.)*.
[4] Лошадей галопом *(итал.)*.
[5] Без передышки будет гнать *(итал.)*.
[6] «стране Данте, где звучит sì» *(итал.)*.
[7] «Оставьте всякую надежду» *(итал.)*.

руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!» Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец — «молчать, дескать!» — чисто итальянский жест — и принялась читать.

VII

Мальц был франкфуртский литератор 30-х годов, который в своих коротеньких и легко набросанных комедийках, писанных на местном наречии, выводил — с забавным и бойким, хотя и не глубоким юмором,— местные, франкфуртские типы. Оказалось, что Джемма читала точно превосходно — совсем по-актерски. Она оттеняла каждое лицо и отлично выдерживала его характер, пуская в ход свою мимику, унаследованную ею вместе с итальянскою кровью; не щадя ни своего нежного голоса, ни своего прекрасного лица, она — когда нужно было представить либо выжившую из ума старуху, либо глупого бургомистра,— корчила самые уморительные гримасы, ежила глаза, морщила нос, картавила, пищала... Сама во время чтения она не смеялась; но когда слушатели (за исключением, правда, Панталеоне: он тотчас с негодованием удалился, как только зашла речь о quel ferroflucto Tedesco [1]), когда слушатели прерывали ее взрывом дружного хохота,— она, опустив книгу на колени, звонко хохотала сама, закинув голову назад, и черные ее кудри прыгали мягкими кольцами по шее и по сотрясенным плечам. Хохот прекращался — она тотчас поднимала книгу и, снова придав чертам своим надлежащий склад, серьезно принималась за чтение. Санин не мог довольно надивиться ей; его особенно поражало то, каким чудом такое идеально-прекрасное лицо принимало вдруг такое комическое, иногда почти тривиальное выражение? Менее удовлетворительно читала Джемма роли молодых девиц — так называемых «jeunes premières» [2]; особенно любовные сцены не удавались ей; она сама это чувствовала и потому придавала им легкий оттенок насмешливости, словно она не верила всем этим восторженным клятвам и возвышенным речам, от которых, впрочем, сам автор воздерживался — по мере возможности.

---

[1] каком-то проклятом немце *(итал. и нем.)*.
[2] «героинь» *(франц.)*.

Санин не заметил, как пролетел вечер, и только тогда вспомнил о предстоявшем путешествии, когда часы пробили десять часов. Он вскочил со стула, как ужаленный.

— Что с вами? — спросила фрау Леноре.

— Да я должен был сегодня уехать в Берлин — и уже место взял в дилижансе!

— А когда отходит дилижанс?

— В половине одиннадцатого!

— Ну, так вы уже не успеете,— заметила Джемма,— оставайтесь... я еще почитаю.

— Вы все деньги заплатили или только задаток дали? — полюбопытствовала фрау Леноре.

— Все! — с печальной ужимкой возопил Санин.

Джемма посмотрела на него, прищурив глаза,— и рассмеялась, а мать ее побранила.

— Молодой человек попусту деньги затратил, а ты смеешься!

— Ничего,— отвечала Джемма,— это его не разорит, а мы постараемся его утешить. Хотите лимонаду?

Санин выпил стакан лимонада, Джемма снова принялась за Мальца — и всё опять пошло как по маслу.

Часы пробили двенадцать. Санин стал прощаться.

— Вы теперь несколько дней должны остаться во Франкфурте,— сказала ему Джемма,— куда вам спешить? Веселей в другом городе не будет.— Она помолчала.— Право, не будет,— прибавила она и улыбнулась. Санин ничего не отвечал и подумал, что в силу пустоты своего кошелька ему поневоле придется остаться во Франкфурте, пока не придет ответ от одного берлинского приятеля, к которому он собирался обратиться за деньгами.

— Оставайтесь, оставайтесь,— промолвила и фрау Леноре.— Мы познакомим вас с женихом Джеммы, г-м Карлом Клюбером. Он сегодня не мог прийти, потому что он очень занят у себя в магазине... Вы, наверное, видели на Цейле самый большой магазин сукон и шелковых материй? Ну, так он там главным. Но он очень будет рад вам отрекомендоваться.

Санина это известие — бог ведает почему — слегка огорошило. «Счастливчик этот жених!» — мелькнуло у него в уме. Он посмотрел на Джемму — и ему показалось, что он подметил насмешливое выражение в ее глазах. Он начал раскланиваться.

— До завтра? Не правда ли, до завтра? — спросила фрау Леноре.

— До завтра! — произнесла Джемма не вопросительным, а утвердительным тоном, как будто это иначе и быть не могло.

— До завтра! — отозвался Санин.

Эмиль, Панталеоне и пудель Тарталья проводили его до угла улицы. Панталеоне не утерпел, чтобы не выразить своего неудовольствия по поводу Джеммина чтения.

— Как ей не стыдно! Кривляется, пищит — una carricatura! Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру — нечто великое, трагическое, а она передразнивает какую-то скверную немку! Этак и я могу... Мерц, керц, смерц,— прибавил он хриплым голосом, уткнув лицо вперед и растопыря пальцы. Тарталья залаял на него, а Эмиль расхохотался. Старик круто повернул назад.

Санин возвратился в гостиницу «Белого лебедя» (он оставил там свои вещи в общей зале) в довольно смутном настроении духа. Все эти немецко-французско-итальянские разговоры так и звенели у него в ушах.

— Невеста! — шептал он, уже лежа в постели в отведенном ему скромном номере.— Да и красавица же! Но к чему я остался?

Однако па следующий день он послал письмо к берлинскому приятелю.

VIII

Он не успел еще одеться, как кельнер доложил ему о приходе двух господ. Один из них оказался Эмилем; другой, видный и рослый молодой мужчина с благообразнейшим лицом, был герр Карл Клюбер, жених прекрасной Джеммы.

Должно полагать, что в то время в целом Франкфурте ни в одном магазине не существовало такого вежливого, приличного, важного, любезного главного комми, каковым являлся г-н Клюбер. Безукоризненность его туалета стояла на одной высоте с достоинством его осанки, с изящностью — немного, правда, чопорной и сдержанной, на английский лад (он провел два года в Англии),— но все-таки пленительной изящностью его манер! С первого взгляда становилось явно, что этот красивый, несколько строгий, отлично воспитанный и превосходно вымытый молодой человек привык повиноваться высшим и повелевать низ-

шим и что за прилавком своего магазина он неизбежно должен был внушать уважение самим покупателям! В сверхъестественной его честности не могло быть ни малейшего сомнения: стоило только взглянуть на его туго накрахмаленные воротнички! И голос у него оказался такой, какого следовало ожидать: густой и самоуверенно-сочный, но не слишком громкий, с некоторой даже ласковостью в тембре. Таким голосом особенно удобно отдавать приказания подчиненным комми: «Покажите, мол, ту штуку пунсового лионского бархата!» — или: «Подайте стул этой даме!»

Г-н Клюбер начал с того, что отрекомендовался, причем так благородно наклонил стан, так приятно сдвинул ноги и так учтиво тронул каблуком о каблук, что всякий непременно должен был почувствовать: «У этого человека и белье и душевные качества — первого сорта!» Отделка обнаженной правой руки (в левой, облеченной в шведскую перчатку, он держал до зеркальности вылощенную шляпу, на дне которой лежала другая перчатка) — отделка этой правой руки, которую он скромно, но с твердостью протянул Санину, превосходила всякое вероятие: каждый ноготь был в своем роде совершенство! Потом он сообщил, на отборнейшем немецком языке, что желал заявить свое почтение и свою признательность г-ну иностранцу, который оказал такую важную услугу будущему его родственнику, брату его невесты; при этом он повел левой рукой, державшей шляпу, в направлении Эмиля, который словно застыдился и, отвернувшись к окну, положил палец в рот. Г-н Клюбер прибавил, что почтет себя счастливым, если с своей стороны будет в состоянии сделать что-нибудь приятное г-ну иностранцу. Санин отвечал, не без некоторого труда, тоже по-немецки, что он очень рад... что услуга его была маловажная... и попросил своих гостей присесть. Герр Клюбер поблагодарил — и, мгновенно раскинув фалды фрака, опустился на стул, — но опустился так легко и держался на нем так непрочно, что нельзя было не понять: «Человек этот сел из вежливости — и сейчас опять вспорхнет!» И действительно, он немедленно вспорхнул и, стыдливо переступив два раза ногами, словно танцуя, объявил, что, к сожалению, не может долее остаться, ибо спешит в свой магазин — дела прежде всего! — но так как завтра воскресенье, то он, с согласия фрау Леноре и фрейлейн Джеммы, устроил увеселительную прогулку в Соден, на которую честь имеет

пригласить г-на иностранца, и питает надежду, что он не откажется украсить ее своим присутствием. Санин не отказался ее украсить — и герр Клюбер отрекомендовался вторично и ушел, приятно мелькая панталонами нежнейшего горохового цвета и столь же приятно поскрипывая подошвами наиновейших сапогов.

IX

Эмиль, который продолжал стоять лицом к окну даже после приглашения Санина «присесть», сделал налево кру гом, как только будущий его родственник вышел, и, ужимаясь по-ребячески и краснея, спросил Санина, может ли он еще немного у него остаться. «Мне сегодня гораздо лучше,— прибавил он,— но доктор запретил мне работать».

— Оставайтесь! Вы мне нисколько не мешаете,— воскликнул немедленно Санин, который, как всякий истый русский, рад был ухватиться за первый попавшийся предлог, лишь бы не быть самому поставлену в необходимость что-нибудь делать.

Эмиль поблагодарил его — и в самое короткое время совершенно освоился и с ним, и с его квартирой; рассматривал его вещи, расспрашивал чуть не о каждой из них: где он ее купил и какое ее достоинство? Помог ему выбриться, причем заметил, что он напрасно не отпускает себе усов; сообщил ему, наконец, множество подробностей о своей матери, о сестре, о Панталеоне, даже о пуделе Тарталье, обо всем их житье-бытье. Всякое подобие робости исчезло в Эмиле; он вдруг почувствовал чрезвычайное влечение к Санину — и вовсе не потому, что тот накануне спас его жизнь, а потому, что человек он был такой симпатический! Он не замедлил доверить Санину все свои тайны. С особенным жаром настаивал он на том, что мама его непременно хочет сделать из него купца — а он *знает*, знает наверное, что рожден художником, музыкантом, певцом; что театр — его настоящее призвание; что даже Панталеоне его поощряет, но что г-н Клюбер поддерживает маму, на которую имеет большое влияние; что самая мысль сделать из него торгаша принадлежит собственно г-ну Клюберу, по понятиям которого ничего в мире не может сравниться с званием купца! Продавать сукно и бархат и надувать публику, брать с нее «Narren-, oder Russen-

Preise» (дурацкие, или русские цены) — вот его идеал! *

— Ну, что ж! теперь надо идти к нам! — воскликнул он, как только Санин окончил свой туалет и написал письмо в Берлин.

— Теперь еще рано,— заметил Санин.

— Это ничего не значит,— промолвил Эмиль, ласкаясь к нему.— Пойдемте! Мы завернем на почту, а оттуда к нам. Джемма вам так рада будет! Вы у нас позавтракаете... Вы можете сказать что-нибудь маме обо мне, о моей карьере...

— Ну, пойдемте,— сказал Санин, и они отправились.

X

Джемма ему действительно обрадовалась, и фрау Леноре его очень дружелюбно приветствовала: видно было, что он накануне произвел на обеих впечатление хорошее. Эмиль побежал распоряжаться насчет завтрака, предварительно шепнув Санину на ухо: «Не забудьте!»

— Не забуду,— отвечал Санин.

Фрау Леноре не совсем здоровилось: она страдала мигренью — и, полулежа в кресле, старалась не шевелиться. На Джемме была широкая желтая блуза, перехваченная черным кожаным поясом; она тоже казалась утомленной и слегка побледнела; темноватые круги оттеняли ее глаза, но блеск их не умалился от того, а бледность придавала что-то таинственное и милое классически строгим чертам ее лица. Санина в тот день особенно поразила изящная красота ее рук; когда она поправляла и поддерживала ими свои темные, лоснистые кудри — взор его не мог оторваться от ее пальцев, гибких и длинных и отделенных дружка от дружки, как у Рафаэлевой Форнарины.

На дворе было очень жарко; после завтрака Санин хотел было удалиться, но ему заметили, что в такой день лучше всего не двигаться с места,— и он согласился; он остался. В задней комнате, в которой он сидел с своими хозяйками, царствовала прохлада; окна выходили в небольшой садик, заросший акациями. Множество пчел, ос и шмелей дружно и жадно гудело в их густых ветках,

---

* В прежние времена — да, пожалуй, и теперь это не перевелось — когда, начиная с мая месяца, множество русских появлялось во Франкфурте, во всех магазинах цены увеличивались и получали название: «Russen-, или — увы! — Narren-Preise».

осыпанных золотыми цветами; сквозь полузакрытые ставни и опущенные сторы проникал в комнату этот немолчный звук: он говорил о зное, разлитом во внешнем воздухе,— и тем слаще становилась прохлада закрытого и уютного жилья.

Санин разговаривал много, по-вчерашнему, но не о России и не о русской жизни. Желая угодить своему молодому другу, которого тотчас после завтрака услали к г-ну Клюберу — практиковаться в бухгалтерии,—он навел речь на сравнительные выгоды и невыгоды художества и коммерции. Он не удивился тому, что фрау Леноре держала сторону коммерции,—он это ожидал; но и Джемма разделяла ее мнение.

— Коли ты художник и особенно певец,— утверждала она, энергически двигая рукою сверху вниз,— будь непременно на первом месте! Второе уже никуда не годится; а кто знает, можешь ли ты достигнуть первого места?

Панталеоне, который также участвовал в разговоре (ему, как давнишнему слуге и старому человеку, дозволялось даже сидеть на стуле в присутствии хозяев; итальянцы вообще не строги насчет этикета),— Панталеоне, разумеется, стоял горой за художество. Правду сказать, доводы его были довольно слабы: он больше всё толковал о том, что нужно прежде всего обладать d'un certo estro d'ispirazione — неким порывом вдохновенья! Фрау Леноре заметила ему, что и он, конечно, обладал этим «estro», а между тем...

— Я имел врагов,— сумрачно заметил Панталеоне.

— Да почему же ты знаешь (итальянцы, как известно, легко «тыкаются»), что у Эмиля врагов не будет, если даже и откроется в нем это «estro»?

— Ну так делайте из него торгаша,— с досадой промолвил Панталеоне,— а Джиован'Баттиста так бы не поступил, хотя сам был кондитером!

— Джиован'Баттиста, муж мой, был человек благоразумный — и если он в молодости увлекался...

Но уже старик ничего слышать не хотел — и удалился, еще раз проговорив с укоризной:

— А! Джиован'Баттиста!..

Джемма воскликнула, что если б Эмиль чувствовал себя патриотом и желал посвятить все силы свои освобождению Италии, то, конечно, для такого высокого и священного дела можно пожертвовать обеспеченной будущ-

ностью — но не для театра! Тут фрау Леноре пришла в волнение и начала умолять свою дочь не сбивать с толку, по крайней мере, брата и удовольствоваться тем, что она сама такая отчаянная республиканка! Произнесши эти слова, фрау Леноре заохала и стала жаловаться на голову, которая у нее была «готова лопнуть». (Фрау Леноре, из уважения к гостю, говорила с дочерью по-французски.)

Джемма тотчас принялась ухаживать за нею, тихонько дула ей на лоб, намочив его сперва одеколоном, тихонько целовала ее щеки, укладывала ей голову в подушки, запрещала ей говорить — и опять ее целовала. Потом, обратившись к Санину, она начала рассказывать ему полушутливым, полутронутым тоном, какая у ней отличная мать и какая она была красавица! «Что я говорю: была! она и теперь — прелесть. Посмотрите, посмотрите, какие у ней глаза!»

Джемма мгновенно достала из кармана белый платок, закрыла им лицо матери и, медленно опуская кайму сверху вниз, обнажила постепенно лоб, брови и глаза фрау Леноры; подождала и попросила открыть их. Та повиновалась, Джемма вскрикнула от восхищения (глаза у фрау Леноре были действительно очень красивы) — и, быстро скользнув платком по нижней, менее правильной части лица своей матери, снова бросилась ее целовать. Фрау Леноре смеялась, и слегка отворачивалась, и с притворным усилием отстраняла свою дочь. Та тоже притворялась, что борется с матерью, и ласкалась к ней — но не по-кошачьи, не на французский манер, а с той итальянской грацией, в которой всегда чувствуется присутствие силы.

Наконец фрау Леноре объявила, что устала... Тогда Джемма тотчас присоветовала ей заснуть немножко, тут же, на кресле, а мы с господином русским — «avec le monsieur russe» — будем так тихи, так тихи... как маленькие мыши — «comme des petites souris». Фрау Леноре улыбнулась ей в ответ, закрыла глаза и, повздыхав немного, задремала. Джемма проворно опустилась на скамейку возле нее и уже не шевельнулась более, только изредка подносила палец одной руки к губам — другою она поддерживала подушку за головою матери — и чуть-чуть шикала, искоса посматривая на Санина, когда тот позволял себе малейшее движение. Кончилось тем, что и он словно замер и сидел неподвижно, как очарованный, и всеми силами души своей любовался картиной, которую представляли ему и эта полутемная комната, где там и сям яркими точ-

ками рдели вставленные в зеленые старинные стаканы свежие, пышные розы, и эта заснувшая женщина с скромно подобранными руками и добрым усталым лицом, окаймленным снежной белизной подушки, и это молодое, чутко-настороженное и тоже доброе, умное, чистое и несказанно прекрасное существо с такими черными глубокими, залитыми тенью и все-таки светившимися глазами... Что это? Сон? Сказка? И каким образом *он* тут?

XI

Колокольчик звякнул над наружной дверью. Молодой крестьянский парень в меховой шапке и красном жилете вошел с улицы в кондитерскую. С самого утра ни один покупатель не заглядывал в нее... «Вот так-то мы торгуем!» — заметила со вздохом во время завтрака фрау Леноре Санину. Она продолжала дремать; Джемма боялась принять руку от подушки и шепнула Санину: «Ступайте, поторгуйте вы за меня!» Санин тотчас же на цыпочках вышел в кондитерскую. Парню требовалось четверть фунта мятных лепешек.

— Сколько с него? — шёпотом спросил Санин через дверь у Джеммы.

— Шесть крейцеров! — таким же шёпотом отвечала она.

Санин отвесил четверть фунта, отыскал бумажку, сделал из нее рожок, завернул лепешки, просыпал их, завернул опять, опять просыпал, отдал их, наконец, получил деньги... Парень глядел на него с изумлением, переминая свою шапку на желудке, а в соседней комнате Джемма, зажав рот, помирала со смеху. Не успел этот покупатель удалиться, как явился другой, потом третий... «А видно, рука у меня легкая!» — подумал Санин. Второй потребовал стакан оршаду, третий — полфунта конфект. Санин удовлетворил их, с азартом стуча ложечками, передвигая блюдечки и лихо запуская пальцы в ящики и банки. При расчете оказалось, что оршад он продешевил, а за конфекты взял два крейцера лишних. Джемма не переставала смеяться втихомолку, да и сам Санин ощущал веселость необычайную, какое-то особенно счастливое настроение духа. Казалось, век стоял бы он так за прилавком да торговал бы конфектами и оршадом, между тем как то милое существо смотрит на него из-за двери дружелюбно-насмешливыми глазами, а летнее солнце, пробиваясь

сквозь мощную листву растущих перед окнами каштанов, наполняет всю комнату зеленоватым золотом полуденных лучей, полуденных теней, и сердце нежится сладкой истомой лени, беспечности и молодости — молодости первоначальной!

Четвертый посетитель потребовал чашку кофе: пришлось обратиться к Панталеоне (Эмиль всё еще не возвращался из магазина г-на Клюбера). Санин снова подсел к Джемме. Фрау Леноре продолжала дремать, к великому удовольствию ее дочери.

— У мамы во время сна мигрень проходит,— заметила она.

Санин заговорил — конечно, по-прежнему, шёпотом — о своей «торговле»; пресерьезно осведомлялся о цене разных «кондитерских» товаров; Джемма так же серьезно называла ему эти цены, и между тем оба внутренно и дружно смеялись, как бы сознавая, что разыгрывают презабавную комедию. Вдруг на улице шарманка заиграла арию из «Фрейшюца»: «Durch die Felder, durch die Auen...» [1] Плаксивые звуки заныли, дрожа и посвистывая, в неподвижном воздухе. Джемма вздрогнула... «Он разбудит маму!» Санин немедленно выскочил на улицу, сунул шарманщику несколько крейцеров в руку — и заставил его замолчать и удалиться. Когда он возвратился, Джемма поблагодарила его легким кивком головы и, задумчиво улыбнувшись, сама принялась чуть слышно напевать красивую веберовскую мелодию, которою Макс выражает все недоумения первой любви. Потом она спросила Санина, знает ли он «Фрейшюца», любит ли Вебера, и прибавила, что хотя она сама итальянка, но *такую* музыку любит больше всего. С Вебера разговор соскользнул на поэзию и романтизм, на Гофмана, которого тогда еще все читали...

А фрау Леноре всё дремала и даже похрапывала чуть-чуть, да лучи солнца, узкими полосками прорывавшиеся сквозь ставни, незаметно, но постоянно передвигались и путешествовали по полу, по мебелям, по платью Джеммы, по листьям и лепесткам цветов.

XII

Оказалось, что Джемма не слишком жаловала Гофмана и даже находила его... скучным! Фантастически-туманный, северный элемент его рассказов был мало до-

[1] «Через поля, через долины...» *(нем.)*.

ступен ее южной, светлой натуре. «Это всё сказки, всё это для детей писано!» — уверяла она не без пренебрежения. Отсутствие поэзии в Гофмане тоже смутно чувствовалось ею. Но была одна у него повесть, заглавие которой она, впрочем, позабыла и которая ей очень нравилась; собственно говоря, ей нравилось только начало этой повести: конец она или не прочла, или тоже позабыла. Дело шло об одном молодом человеке, который где-то, чуть ли не в кондитерской, встречает девушку поразительной красоты, гречанку; ее сопровождает таинственный и странный, злой старик. Молодой человек с первого взгляда влюбляется в девушку; она смотрит на него так жалобно, словно умоляет его освободить ее... Он удаляется на мгновенье — и, возвратившись в кондитерскую, уж не находит ни девушки, ни старика; бросается ее отыскивать, беспрестанно натыкается на самые свежие их следы, гоняется за ними — и никоим образом, нигде, никогда не может их достигнуть. Красавица на веки веков исчезает для него — и не в силах он забыть ее умоляющий взгляд, и терзается он мыслью, что, быть может, всё счастье его жизни ускользнуло из его рук...

Гофман едва ли таким образом оканчивает свою повесть; но такою она сложилась, такою осталась в памяти Джеммы.

— Мне кажется,— промолвила она,— подобные свидания и подобные разлуки случаются на свете чаще, чем мы думаем.

Санин промолчал... и немного спустя заговорил... о г-не Клюбере. Он в первый раз упомянул о нем; он ни разу не вспомнил о нем до того мгновения.

Джемма промолчала в свою очередь и задумалась, слегка кусая ноготь указательного пальца и устремив глаза в сторону. Потом она похвалила своего жениха, упомянула об устроенной им на завтрашний день прогулке и, быстро глянув на Санина, замолчала опять.

Санин не знал, о чем завести речь.

Эмиль шумно вбежал и разбудил фрау Леноре... Санин обрадовался его появлению.

Фрау Леноре встала с кресла. Явился Панталеоне и объявил, что обед готов. Домашний друг, экс-певец и слуга исправлял также должность повара.

XIII

Санин остался и после обеда. Его не отпускали всё под тем же предлогом ужасного зноя, а когда зной свалил, ему предложили отправиться в сад пить кофе в тени акаций. Санин согласился. Ему было очень хорошо. В однообразно тихом и плавном течении жизни таятся великие прелести — и он предавался им с наслаждением, не требуя ничего особенного от настоящего дня, но и не думая о завтрашнем, не вспоминая о вчерашнем. Чего стоила одна близость такой девушки, какова была Джемма! Он скоро расстанется с нею и, вероятно, навсегда; но пока один и тот же челнок, как в Уландовом романсе, несет их по жизненным укрощенным струям — радуйся, наслаждайся, путешественник! И всё казалось приятным и милым счастливому путешественнику. Фрау Леноре предложила ему сразиться с нею и с Панталеоне в «тресетте», выучила его этой несложной итальянской карточной игре — обыграла его на несколько крейцеров — и он был очень доволен; Панталеоне, по просьбе Эмиля, заставил пуделя Тарталью проделать все свои штуки — и Тарталья прыгал через палку, «говорил», то есть лаял, чихал, запирал дверь носом, притащил стоптанную туфлю своего хозяина и, наконец, с старым кивером на голове, представлял маршала Бернадотта, подвергающегося жестоким упрекам императора Наполеона за измену. Наполеона представлял, разумеется, Панталеоне — и представлял очень верно: скрестил руки на груди, нахлобучил трехуголку на глаза и говорил грубо и резко, на французском, но, боже! на *каком* французском языке! Тарталья сидел перед своим владыкой, весь скорчившись, поджавши хвост и смущенно моргая и щурясь под козырьком косо надвинутого кивера; от времени до времени, когда Наполеон возвышал голос, Бернадотт поднимался на задние лапы. «Fuori, traditore!» [1] — закричал наконец Наполеон, позабыв в избытке раздражения, что ему следовало до конца выдержать свой французский характер,— и Бернадотт опрометью бросился под диван, но тотчас же выскочил оттуда с радостным лаем, как бы давая тем знать, что представление кончено. Все зрители много смеялись — и Санин больше всех.

---

[1] «Вон, предатель» *(итал.)*.

У Джеммы был особенно милый, непрестанный, тихий смех с маленькими презабавными взвизгиваньями... Санина так и разбирало от этого смеха — расцеловал бы он ее за эти взвизгиванья!

Ночь наступила наконец. Надо ж было и честь знать! Простившись несколько раз со всеми, сказавши всем по нескольку раз: до завтра! (с Эмилем он даже облобызался), Санин отправился домой и понес с собою образ молодой девушки, то смеющейся, то задумчивой, то спокойной и даже равнодушной,— но постоянно привлекательной! Ее глаза, то широко раскрытые и светлые и радостные, как день, то полузастланные ресницами и глубокие и темные, как ночь, так и стояли перед его глазами, странно и сладко проникая все другие образы и представления.

О г-не Клюбере, о причинах, побудивших его остаться во Франкфурте, — словом, о всем том, что волновало его накануне,— он не подумал ни разу.

XIV

Надо ж, однако, сказать несколько слов о самом Санине.

Во-первых, он был очень и очень недурен собою. Статный, стройный рост, приятные, немного расплывчатые черты, ласковые голубоватые глазки, золотистые волосы, белизна и румянец кожи — а главное: то простодушно-веселое, доверчивое, откровенное, на первых порах несколько глуповатое выражение, по которому в прежние времена тотчас можно было признать детей степенных дворянских семей, «отецких» сыновей, хороших баричей, родившихся и утучненных в наших привольных полустепных краях; походочка с запинкой, голос с пришепеткой, улыбка, как у ребенка, чуть только взглянешь на него... наконец, свежесть, здоровье — и мягкость, мягкость, мягкость,— вот вам весь Санин. А во-вторых, он и глуп не был и понабрался кое-чего. Свежим он остался, несмотря на заграничную поездку: тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.

В последнее время в нашей литературе после тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей, решившихся во что бы то ни стало быть свежими... свежими, как фленсбургские устрицы, привозимые в С.-Петербург... Санин не походил на них. Уж коли пошло дело на срав-

нения, он скорее напоминал молодую, кудрявую, недавно привитую яблоню в наших черноземных садах — или, еще лучше: выхоленного, гладкого, толстоногого, нежного трехлетка бывших «господских» конских заводов, которого только что начали подганивать на корде... Те, которые сталкивались с Саниным впоследствии, когда жизнь порядком его поломала и молодой, наигранный жирок давно с него соскочил, — видели в нем уже совсем иного человека.

На следующий день Санин лежал еще в постели, как уже Эмиль, в праздничном платье, с тросточкой в руке и сильно напомаженный, ворвался к нему в комнату и объявил, что герр Клюбер сейчас прибудет с каретой, что погода обещает быть удивительной, что у них уже всё готово, но что мама не поедет, потому что у нее опять разболелась голова. Он стал торопить Санина, уверяя его, что нельзя терять минуты... И действительно: г-н Клюбер застал Санина еще за туалетом. Постучался в дверь, вошел, поклонился, изогнул стан, выразил готовность ждать сколько угодно — и сел, изящно опираясь шляпой о колено. Благообразный комми расфрантился и раздушился напропалую: каждое движение его сопровождалось усиленным наплывом тончайшего аромата. Он прибыл в просторной открытой карете, так называемом ландó, запряженном двумя сильными и рослыми, хоть и некрасивыми, лошадьми. Четверть часа спустя Санин, Клюбер и Эмиль в этой самой карете торжественно подкатили к крыльцу кондитерской. Г-жа Розелли решительно отказалась участвовать в прогулке; Джемма хотела остаться с матерью, но та ее, как говорится, прогнала.

— Мне никого не нужно,— уверяла она,— я буду спать. Я бы и Панталеоне с вами отправила, да некому будет торговать.

— Можно взять Тарталью? — спросил Эмиль.

— Конечно, можно.

Тарталья немедленно, с радостными усилиями, вскарабкался на козлы и сел, облизываясь: видно, дело ему было привычное. Джемма надела большую соломенную шляпу с коричневыми лентами; шляпа эта спереди пригибалась книзу, заслоняя почти всё лицо от солнца. Черта тени останавливалась над самыми губами: они рдели девственно и нежно, как лепестки столиственной розы, и зубы

блистали украдкой — тоже невинно, как у детей. Джемма села на заднем месте, рядом с Саниным; Клюбер и Эмиль сели напротив. Бледная фигура фрау Леноре показалась у окна, Джемма махнула ей платком — и лошади тронулись.

XV

Соден — небольшой городок в получасовом расстоянии от Франкфурта. Он лежит в красивой местности, на отрогах Таунуса, и известен у нас в России своими водами, будто бы полезными для людей с слабой грудью. Франкфуртцы ездят туда больше для развлечения, так как Соден обладает прекрасным парком и разными «виртшафтами», где можно пить пиво и кофе в тени высоких лип и кленов. Дорога от Франкфурта до Содена идет по правому берегу Майна и вся обсажена фруктовыми деревьями. Пока карета тихонько катилась по отличному шоссе, Санин украдкой наблюдал за тем, как Джемма обращалась со своим женихом: он в первый раз видел их обоих вместе. *Она* держалась спокойно и просто — но несколько сдержаннее и серьезнее обыкновенного; *он* смотрел снисходительным наставником, разрешившим и самому себе и своим подчиненным скромное и вежливое удовольствие. Особенных ухаживаний за Джеммой, того, что французы называют «empressement» [1], Санин в нем не заметил. Видно было, что г-н Клюбер считал это дело поконченным, а потому и не имел причины хлопотать или волноваться. Но снисходительность не покидала его ни на один миг! Даже во время большой передобеденной прогулки по лесистым горам и долинам за Соденом; даже наслаждаясь красотами природы, он относился к ней, к этой самой природе, всё с тою же снисходительностью, сквозь которую изредка прорывалась обычная начальническая строгость. Так, например, он заметил про один ручей, что он слишком прямо протекает по ложбине, вместо того чтобы сделать несколько живописных изгибов; не одобрил также поведения одной птицы — зяблика,— которая не довольно разнообразила свои колена! Джемма не скучала и даже, по-видимому, ощущала удовольствие; но прежней Джеммы Санин в ней не узнавал: не то, чтобы тень на нее набежала — никогда ее красота не была лучезарней,— но душа

[1] «предупредительностью» *(франц.)*.

ее ушла в себя, внутрь. Распустив зонтик и не расстегнув перчаток, она гуляла степенно, не спеша — как гуляют образованные девицы,— и говорила мало. Эмиль тоже чувствовал стеснение, а Санин и подавно. Его, между прочим, несколько конфузило то обстоятельство, что разговор постоянно шел на немецком языке. Один Тарталья не унывал! С бешеным лаем мчался он за попадавшимися ему дроздами, перепрыгивал рытвины, пни, корчаги, бросался с размаху в воду и торопливо лакал ее, отряхался, взвизгивал и снова летел стрелою, закинув красный язык на самое плечо. Г-н Клюбер, с своей стороны, сделал всё, что полагал нужным для увеселения компании; попросил ее усесться в тени развесистого дуба — и, достав из бокового кармана небольшую книжечку, под заглавием: «Knallerbsen, oder Du sollst und wirst lachen!» (Петарды, или Ты должен и будешь смеяться!), принялся читать разбирательные анекдоты, которыми эта книжечка была наполнена. Прочел их штук двенадцать; однако веселости возбудил мало: один Санин из приличия скалил зубы, да сам он, г-н Клюбер, после каждого анекдота, производил короткий, деловой — и все-таки снисходительный смех. К двенадцати часам вся компания вернулась в Соден, в лучший тамошний трактир.

Предстояло распорядиться об обеде.

Г-н Клюбер предложил было совершить этот обед в закрытой со всех сторон беседке — «im Gartensalon»; но тут Джемма вдруг взбунтовалась и объявила, что не будет иначе обедать, как на воздухе, в саду, за одним из маленьких столов, поставленных перед трактиром; что ей наскучило быть всё с одними и теми же лицами и что она хочет видеть другие. За некоторыми из столиков уже сидели группы новоприбывших гостей.

Пока г-н Клюбер, снисходительно покорившись «капризу своей невесты», ходил советоваться с оберкельнером, Джемма стояла неподвижно, опустив глаза и стиснув губы; она чувствовала, что Санин неотступно и как бы вопросительно глядел на нее,— это, казалось, ее сердило. Наконец г-н Клюбер вернулся, объявил, что через полчаса обед будет готов, и предложил до тех пор поиграть в кегли, прибавив, что это очень хорошо для аппетита, хе-хе-хе! В кегли он играл мастерски; бросая шар, принимал удивительно молодцеватые позы, щегольски играл мускулами, щегольски взмахивал и потрясал ногою. В своем роде он был атлет — и сложен превосходно! И руки у него были

такие белые и красивые, и утирал он их таким богатейшим, золотисто-пестрым, индийским фуляром!

Наступил момент обеда — и всё общество уселось за столик.

XVI

Кому не известно, что́ такое немецкий обед? Водянистый суп с шишковатыми клецками и корицей, разварная говядина, сухая, как пробка, с приросшим белым жиром, ослизлым картофелем, пухлой свеклой и жеваным хреном, посинелый угорь с капорцами и уксусом, жареное с вареньем и неизбежная «Mehlspeise», нечто вроде пудинга, с кисловатой красной подливкой; зато вино и пиво хоть куда! Точно таким обедом попотчевал соденский трактирщик своих гостей. Впрочем, самый обед прошел благополучно. Особенного оживления, правда, не замечалось; оно не появилось даже тогда, когда г-н Клюбер провозгласил тост за то, «что мы любим!» (was wir lieben!). Уж очень всё было пристойно и прилично. После обеда подали кофе, жидкий, рыжеватый, прямо немецкий кофе. Г-н Клюбер, как истый кавалер, попросил у Джеммы позволения закурить сигару... Но тут вдруг случилось нечто непредвиденное и уж точно неприятное — и даже неприличное!

За одним из соседних столиков поместилось несколько офицеров майнцского гарнизона. По их взглядам и перешептываньям можно было легко догадаться, что красота Джеммы поразила их; один из них, вероятно, уже успевший побывать во Франкфурте, то и дело посматривал на нее, как на фигуру, ему хорошо знакомую: он, очевидно, знал, кто она такая. Он вдруг поднялся и со стаканом в руке — гг. офицеры сильно подпили, и вся скатерть перед ними была установлена бутылками — приблизился к тому столу, за которым сидела Джемма. Это был очень молодой белобрысый человек, с довольно приятными и даже симпатическими чертами лица; но выпитое им вино исказило их: его щеки подергивало, воспаленные глаза блуждали и приняли выражение дерзостное. Товарищи сначала пытались удержать его, но потом пустили: была не была — что, мол, из этого выйдет?

Слегка покачиваясь на ногах, офицер остановился перед Джеммой и насильственно-крикливым голосом, в котором, мимо его воли, все-таки высказывалась борьба с самим собою, произнес: «Пью за здоровье прекрасней-

шей кофейницы в целом Франкфурте, в целом мире (он разом «хлопнул» стакан) — и в возмездие беру этот цветок, сорванный ее божественными пальчиками!» Он взял со стола розу, лежавшую перед прибором Джеммы. Сначала она изумилась, испугалась и побледнела страшно... потом испуг в ней сменился негодованием, она вдруг покраснела вся, до самых волос — и ее глаза, прямо устремленные на оскорбителя, в одно и то же время потемнели и вспыхнули, наполнились мраком, загорелись огнем неудержимого гнева. Офицера, должно быть, смутил этот взгляд; он пробормотал что-то невнятное, поклонился и пошел назад к своим. Они встретили его смехом и легким рукоплесканьем.

Г-н Клюбер внезапно поднялся со стула и, вытянувшись во весь свой рост и надев шляпу, с достоинством, но не слишком громко, произнес: «Это неслыханно! Неслыханная дерзость!» (Unerhört! Unerhörte Frechheit!) — и тотчас же, строгим голосом подозвав к себе кельнера, потребовал немедленного расчета... мало того: приказал заложить карету, причем прибавил, что к ним порядочным людям ездить нельзя, ибо они подвергаются оскорблениям! При этих словах Джемма, которая продолжала сидеть на своем месте не шевелясь,— ее грудь резко и высоко поднималась — Джемма перевела глаза свои на г-на Клюбера... и так же пристально, таким же точно взором посмотрела на него, как и на офицера. Эмиль просто дрожал от бешенства.

— Встаньте, мейн фрейлейн,— промолвил всё с той же строгостью г-н Клюбер,— здесь вам неприлично оставаться. Мы расположимся там, в трактире!

Джемма поднялась молча; он подставил ей руку калачиком, она подала ему свою — и он направился к трактиру величественной походкой, которая, так же как и осанка его, становилась всё величественней и надменней, чем более он удалялся от места, где происходил обед. Бедный Эмиль поплелся вслед за ними.

Но пока г-н Клюбер рассчитывался с кельнером, которому он, в виде штрафа, не дал на водку ни одного крейцера, Санин быстрыми шагами подошел к столу, за которым сидели офицеры,— и, обратившись к оскорбителю Джеммы (он в это мгновенье давал своим товарищам поочередно нюхать ее розу),— произнес отчетливо, по-французски:

— То, что вы сейчас сделали, милостивый государь, недостойно честного человека, недостойно мундира, который вы носите,— и я пришел вам сказать, что вы дурно воспитанный нахал!

Молодой человек вскочил на ноги, но другой офицер, постарше, остановил его движением руки, заставил сесть и, повернувшись к Санину, спросил его, тоже по-французски:

— Что, он родственник, брат или жених той девицы?

— Я ей совсем чужой человек,— воскликнул Санин,— я русский, но я не могу равнодушно видеть такую дерзость; впрочем, вот моя карточка и мой адрес: г-н офицер может отыскать меня.

Сказав эти слова, Санин бросил на стол свою визитную карточку и в то же время проворно схватил Джеммину розу, которую один из сидевших за столом офицеров уронил к себе на тарелку. Молодой человек снова хотел было вскочить со стула, но товарищ снова остановил его, промолвив: «Дёнгоф, тише!» (Dönhof, sei still!). Потом сам приподнялся — и, приложась к козырьку рукою, не без некоторого оттенка почтительности в голосе и манерах, сказал Санину, что завтра утром один офицер их полка будет иметь честь явиться к нему на квартиру. Санин отвечал коротким поклоном и поспешно вернулся к своим приятелям.

Г-н Клюбер притворился, что вовсе не заметил ни отсутствия Санина, ни его объяснения с г-ми офицерами; он понукал кучера, запрягавшего лошадей, и сильно гневался на его медлительность. Джемма тоже ничего не сказала Санину, даже не взглянула на него: по сдвинутым ее бровям, по губам, побледневшим и сжатым, по самой ее неподвижности можно было понять, что у ней нехорошо на душе. Один Эмиль явно желал заговорить с Саниным, желал расспросить его: он видел, как Санин подошел к офицерам, видел, как он подал им что-то белое — клочок бумажки, записку, карточку... Сердце билось у бедного юноши, щеки пылали, он готов был броситься на шею к Санину, готов был заплакать или идти тотчас вместе с ним расколотить в пух и прах всех этих противных офицеров! Однако он удержался и удовольствовался тем, что внимательно следил за каждым движением своего благородного русского друга!

Кучер наконец заложил лошадей; всё общество село в карету. Эмиль, вслед за Тартальей, взобрался на козлы; ему там было привольнее, да и Клюбер, которого он видеть не мог равнодушно, не торчал перед ним.

Во всю дорогу герр Клюбер разглагольствовал... и разглагольствовал один; никто, никто не возражал ему, да никто и не соглашался с ним. Он особенно настаивал на том, как напрасно не послушались его, когда он предлагал обедать в закрытой беседке. Никаких неприятностей бы не произошло! Потом он высказал несколько резких и даже либеральных суждений насчет того, как правительство непростительно потакает офицерам, не наблюдает за их дисциплиной и не довольно уважает гражданский элемент общества (das bürgerliche Element in der Societät) — и как от этого со временем возрождаются неудовольствия, от которых уже недалеко до революции, чему печальным примером (тут он вздохнул сочувственно, но строго) — печальным примером служит Франция! Однако тут же присовокупил, что лично благоговеет перед властью и никогда... никогда!.. революционером не будет — но не может не выразить своего... неодобрения при виде такой распущенности! Потом прибавил еще несколько общих замечаний о нравственности и безнравственности, о приличии и чувстве достоинства!

В течение всех этих «разглагольствований» Джемма, которая уже во время дообеденной прогулки не совсем казалась довольной г-м Клюбером — оттого она и держалась в некотором отдалении от Санина и как бы смущалась его присутствием,— Джемма явно стала стыдиться своего жениха! Под конец поездки она положительно страдала и хотя по-прежнему не заговаривала с Саниным, но вдруг бросила на него умоляющий взор... С своей стороны он ощущал гораздо более жалости к ней, чем негодования против г-на Клюбера; он даже втайне, полусознательно радовался всему, что случилось в продолжение того дня, хотя и мог ожидать вызова на следующее утро.

Мучительная эта partie de plaisir [1] прекратилась наконец. Высаживая перед кондитерской Джемму из кареты, Санин, ни слова не говоря, положил ей в руку возвращен-

---

[1] увеселительная прогулка *(франц.)*.

ную им розу. Она вся вспыхнула, стиснула его руку и мгновенно спрятала розу. Он не хотел войти в дом, хотя вечер только что начинался. Она сама его не пригласила. Притом появившийся на крыльце Панталеоне объявил, что фрау Леноре почивает. Эмилио застенчиво простился с Саниным; он словно дичился его: уж очень он ему удивлялся. Клюбер отвез Санина на его квартиру и чопорно раскланялся с ним. Правильно устроенному немцу, при всей его самоуверенности, было неловко. Да и всем было неловко.

Впрочем, в Санине это чувство — чувство неловкости — скоро рассеялось. Оно заменилось неопределенным, но приятным, даже восторженным настроением. Он расхаживал по комнате, ни о чем не хотел думать, посвистывал — и был очень доволен собою.

XVII

«Буду ждать г-на офицера для объяснения до 10 часов утра,— размышлял он на следующее утро, совершая свой туалет,— а там пусть он меня отыскивает!» Но немецкие люди встают рано: девяти часов еще не пробило, как уже кельнер доложил Санину, что г-н подпоручик (der Herr Seconde Lieutenant) фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно накинул сюртук и приказал «просить». Г-н Рихтер оказался, против ожидания Санина, весьма молодым человеком, почти мальчиком. Он старался придать важности выражению своего безбородого лица, но это ему не удавалось вовсе: он даже не мог скрыть свое смущение — и, садясь на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, он объявил Санину на дурном французском языке, что приехал с поручением от своего приятеля, барона фон Дёнгофа; что поручение это состояло в истребовании от г-на фон Занин извинения в употребленных им накануне оскорбительных выражениях; и что в случае отказа со стороны г-на фон Занин — барон фон Дёнгоф желает сатисфакции. Санин отвечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать готов. Тогда г-н фон Рихтер, всё так же запинаясь, спросил, с кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести нужные переговоры. Санин отвечал, что он может прийти к нему часа через два и что до тех пор он, Санин, постарается сыскать секунданта. («Кого я, к чёрту, возьму в секунданты?» — думал он между тем про себя.)

Г-н фон Рихтер встал и начал раскланиваться... но на пороге двери остановился, как бы почувствовав угрызение совести,— и, повернувшись к Санину, промолвил, что его приятель, барон фон Дёнгоф, не скрывает от самого себя... некоторой степени... собственной вины во вчерашнем происшествии — и потому удовлетворился бы легкими извинениями — «des exghizes léchères» [1]. На это Санин отвечал, что никаких извинений, ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как он виноватым себя не почитает.

— В таком случае,— возразил г-н фон Рихтер и покраснел еще более,— надо будет поменяться дружелюбными выстрелами — des goups de bisdolet à l'amiaple! [2]

— Этого я уже совершенно не понимаю,— заметил Санин,— на воздух нам стрелять, что ли?

— О, не то, не так,— залепетал окончательно сконфузившийся подпоручик,— но я полагал, что так как дело происходит между порядочными людьми... Я поговорю с вашим секундантом,— перебил он самого себя — и удалился.

Санин опустился на стул, как только тот вышел, и уставился на пол. «Что, мол, это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Всё прошедшее, всё будущее вдруг стушевалось, пропало — и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то за что-то дерусь». Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, всё подплясывала и напевала:

Подпоручик!
Мой огурчик!
Мой амурчик!
Пропляши со мной, голубчик!

И он захохотал и пропел, как она: «Подпоручик! пропляши со мной, голубчик!»

— Однако надо действовать, не терять времени,— воскликнул он громко, вскочил и увидал перед собой Панталеоне с записочкой в руке.

— Я несколько раз стучался, но вы не отвечали; я подумал, что вас дома нет,— промолвил старик и подал ему записку.— От синьорины Джеммы.

---

[1] Французское des excuses légères.

[2] дружелюбными пистолетными выстрелами (*франц.*: des coups de pistolet à l'amiable).

Санин взял записку — как говорится, машинально,— распечатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма беспокоится по поводу известного ему дела и желала бы свидеться с ним тотчас.

— Синьорина беспокоится,— начал Панталеоне, которому, очевидно, было известно содержание записки,— она велела мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней.

Санин взглянул на старого итальянца — и задумался. Внезапная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она показалась ему странной до невозможности...

«Однако... почему же нет?» — спросил он самого себя.

— Г-н Панталеоне! — произнес он громко.

Старик встрепенулся, уткнул подбородок в галстух и уставился на Санина.

— Вы знаете,— продолжал Санин,— что произошло вчера?

Панталеоне пожевал губами и тряхнул своим огромным хохлом.

— Знаю.

(Эмиль только что вернулся, рассказал ему всё.)

— А, знаете! — Ну, так вот что. Сейчас от меня вышел офицер. Тот нахал вызывает меня на поединок. Я принял его вызов. Но у меня нет секунданта. Хотите *вы* быть моим секундантом?

Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они скрылись у него под нависшими волосами.

— Вы непременно должны драться? — проговорил он наконец по-итальянски; до того мгновения он изъяснялся по-французски.

— Непременно. Иначе поступить — значило бы опозорить себя навсегда.

— Гм. Если я не соглашусь пойти к вам в секунданты,— то вы будете искать другого?

— Буду... непременно.

Панталеоне потупился.

— Но позвольте вас спросить, синьор де-Цанини, не бросит ли ваш поединок некоторую неблаговидную тень на репутацию одной персоны?

— Не полагаю; но как бы то ни было — делать нечего!

— Гм.— Панталеоне совсем ушел в свой галстух.— Ну, а тот феррофлукто Клуберио, что же он? — воскликнул он вдруг и вскинул лицо кверху.

— Он? Ничего.

— Кэ! (Chè!) * — Панталеоне презрительно пожал плечами.— Я должен, во всяком случае, благодарить вас,— произнес он наконец неверным голосом,— что вы и в теперешнем моем уничижении умели признать во мне порядочного человека — un galant'uomo! Поступая таким образом, вы сами выказали себя настоящим galant'uomo. Но я должен обдумать ваше предложение.

— Время не терпит, любезный г-н Чи... чиппа...

— Тóла,— подсказал старик.— Я прошу всего один час на размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей... И потому я должен, я обязан — подумать!!. Через час... через три четверти часа — вы узнаете мое решение.

— Хорошо; я подожду.

— А теперь... какой же я дам ответ синьорине Джемме?

Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте покойны, моя дорогая приятельница, часа через три я приду к вам — и всё объяснится. Душевно вас благодарю за участие» — и вручил этот листик Панталеоне.

Тот бережно положил его в боковой карман — и, еще раз повторив: «Через час!» — направился было к дверям; но круто повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку — и, притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, воскликнул: «Благородный юноша! Великое сердце! (Nobil giovanotto! Gran cuore!) — позвольте слабому старцу (a un vecchiotto) пожать вашу мужественную десницу! (la vostra valorosa destra!)». Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими руками — и удалился.

Санин посмотрел ему вслед... взял газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бегали по строкам: он не понимал ничего.

XVIII

Час спустя кельнер снова вошел к Санину и подал ему старую, запачканную визитную карточку, на которой стояли следующие слова: Панталеоне Чиппатола, из Варезе, придворный певец (cantante di camera) его королевского высочества герцога Моденского; а вслед за кельнером явился и сам Панталеоне. Он переоделся с ног до

* Непереводимое итальянское восклицание вроде нашего: ну!

головы. На нем был порыжелый черный фрак и белый пикеневый жилет, по которому затейливо извивалась томпаковая цепочка; тяжелая сердоликовая печатка спускалась низко на узкие черные панталоны с гульфиком. В правой руке он держал черную шляпу из заячьего пуха, в левой две толстые замшевые перчатки; галстух он повязал еще шире и выше обыкновенного — и в накрахмаленное жабо воткнул булавку с камнем, называемым «кошачьим глазом» (oeil de chat). На указательном пальце правой руки красовался перстень, изображавший две сложенные длани, а между ними пылающее сердце. Залежалым запахом, запахом камфары и мускуса несло от всей особы старика; озабоченная торжественность его осанки поразила бы самого равнодушного зрителя! Санин встал ему навстречу.

— Я ваш секундант,— промолвил Панталеоне по-французски и наклонился всем корпусом вперед, причем носки поставил врозь, как это делают танцоры.— Я пришел за инструкциями. Желаете вы драться без пощады?

— Зачем же без пощады, дорогой мой г-н Чиппатóла! Я ни за что в мире не возьму моих вчерашних слов назад — но я не кровопийца!.. Да вот постойте, сейчас придет секундант моего противника. Я уйду в соседнюю комнату — а вы с ним и условитесь. Поверьте, я в век не забуду вашей услуги и благодарю вас от души.

— Честь прежде всего!— отвечал Панталеоне и опустился в кресла, не дожидаясь, чтобы Санин попросил его сесть.— Если этот феррофлукто спичебуббио,— заговорил он, мешая французский язык с итальянским,— если этот торгаш Клуберио не умел понять свою прямую обязанность или струсил,— тем хуже для него!.. Грошовая душа — и баста!.. Что же касается до условий поединка — я ваш секундант и ваши интересы для меня священны!!. Когда я жил в Падуе, там стоял полк белых драгунов — и я со многими офицерами был очень близок!.. Весь их кодекс мне очень хорошо известен. Ну и с вашим принчипе Тарбуски я часто беседовал об этих вопросах... Тот секундант скоро должен прийти?

— Я жду его каждую минуту — да вот он сам и идет,— прибавил Санин, глянув на улицу.

Панталеоне встал, посмотрел на часы, поправил свой кок и поспешно засунул в башмак болтавшуюся из-под панталон тесемку. Молодой подпоручик вошел, всё такой же красный и смущенный.

Санин представил секундантов друг другу.

— M-r Richter, souslieutenant! — M-r Zippatola, artiste! [1]

Подпоручик слегка изумился при виде старика... О, что бы он сказал, если б кто шепнул ему в это мгновение, что представленный ему «артист» занимается также и поваренным искусством!.. Но Панталеоне принял такой вид, как будто участвовать в устройстве поединков было для него самым обычным делом: вероятно, ему в этом случае помогали воспоминания его театральной карьеры — и он разыгрывал роль секунданта именно как роль. И он и подпоручик, оба помолчали немного.

— Что ж? Приступим! — первый промолвил Панталеоне, играя сердоликовой печаткой.

— Приступим,— ответил подпоручик,— но... присутствие одного из противников...

— Я вас немедленно оставлю, господа, — воскликнул Санин, поклонился, вышел в спальню — и запер за собою дверь.

Он бросился на кровать — и принялся думать о Джемме... но разговор секундантов проникал к нему сквозь закрытую дверь. Он происходил на французском языке; оба коверкали его нещадно, каждый на свой лад. Панталеоне опять упомянул о драгунах в Падуе, о принчипе Тарбуска — подпоручик об «exghizes léchères» и о «goups à l'amiaple». Но старик и слышать не хотел ни о каких exghizes! К ужасу Санина, он вдруг пустился толковать своему собеседнику о некоторой юной невинной девице, один мизинец которой стоит больше, чем все офицеры мира... (oune zeune damigella innoucenta, qu'a ella sola dans soun péti doa vale più que toutt le zouffissié del mondo!) и несколько раз с жаром повторил: «Это стыд! это стыд!» (E ouna onta, ouna onta!) Поручик сперва не возражал ему, но потом в голосе молодого человека послышалась гневная дрожь, и он заметил, что пришел не затем, чтобы выслушивать моральные сентенции...

— В вашем возрасте всегда полезно выслушивать справедливые речи! — воскликнул Панталеоне.

Прение между г-ми секундантами несколько раз становилось бурным; оно продолжалось более часа и завершилось, наконец, следующими условиями: «стреляться барону фон Дёнгофу и господину де Санину на завтраш-

---

[1] Г-н Рихтер, подпоручик! — Г-н Чиппатола, артист! *(франц.)*.

ний день, в 10 часов утра, в небольшом лесу около Ганау, на расстоянии двадцати шагов; каждый имеет право стрелять два раза по знаку, данному секундантами. Пистолеты без шнеллера и не нарезные». Г-н фон Рихтер удалился, а Панталеоне торжественно открыл дверь спальни и, сообщив результат совещания, снова воскликнул: «Bravo, Russo! Bravo, giovanotto! [1] Ты будешь победителем!»

Несколько минут спустя они оба отправились в кондитерскую Розелли. Санин предварительно взял с Панталеоне слово держать дело о дуэли в глубочайшей тайне. В ответ старик только палец кверху поднял и, прищурив глаз, прошептал два раза сряду: Segredezza! (Таинственность!) Он видимо помолодел и даже выступал свободнее. Все эти необычайные, хотя и неприятные, события живо переносили его в ту эпоху, когда он сам и принимал и делал вызовы,— правда, на сцене. Баритоны, как известно, очень петушатся в своих ролях.

XIX

Эмиль выбежал навстречу Санину — он более часа караулил его приход — и торопливо шепнул ему на ухо, что мать ничего не знает о вчерашней неприятности и что даже намекать на нее не следует, а что его опять посылают в магазин!!, но что он туда не пойдет, а спрячется где-нибудь! Сообщив всё это в течение нескольких секунд, он внезапно припал к плечу Санина, порывисто поцеловал его и бросился вниз по улице. В кондитерской Джемма встретила Санина; хотела что-то сказать — и не могла. Ее губы слегка дрожали, а глаза щурились и бегали по сторонам. Он поспешил успокоить ее уверением, что всё дело кончилось... сущими пустяками.

— У вас никого не было сегодня? — спросила она.

— Было у меня одно лицо — мы с ним объяснились — и мы... мы пришли к самому удовлетворительному результату.

Джемма вернулась за прилавок.

«Не поверила она мне!» — подумал он... однако отправился в соседнюю комнату и застал там фрау Ленору.

У ней мигрень прошла, но она находилась в настроении меланхолическом. Она радушно улыбнулась ему, но в то же время предупредила его, что ему будет сегодня с

[1] «Браво, русский! Браво, молодой человек!» *(итал.)*.

нею скучно, так как она не в состоянии его занять. Он подсел к ней и заметил, что ее веки покраснели и опухли.

— Что с вами, фрау Леноре? Неужели вы плакали?

— Тсссс...— прошептала она и указала головою на комнату, где находилась ее дочь.— Не говорите этого... громко.

— Но о чем же вы плакали?

— Ах, мосьё Санин, сама не знаю о чем!

— Вас никто не огорчил?

— О нет!.. Мне очень скучно вдруг сделалось. Вспомнила я Джиован'Баттиста... свою молодость... Потом, как это всё скоро прошло. Стара я становлюсь, друг мой,— и не могу я никак с этим помириться. Кажется, сама я всё та же, что прежде... а старость — вот она... вот она! — На глазах фрау Леноры показались слезинки.— Вы, я вижу, смотрите на меня да удивляетесь... Но вы тоже постареете, друг мой, и узнаете, как это горько!

Санин принялся утешать ее, упомянул об ее детях, в которых воскресала ее собственная молодость, попытался даже подтрунить над нею, уверяя, что она напрашивается на комплименты... Но она, не шутя, попросила его «перестать», и он тут в первый раз мог убедиться, что подобную унылость, унылость сознанной старости, ничем утешить и рассеять нельзя; надо подождать, пока она пройдет сама собою. Он предложил ей сыграть с ним в тресетте — и ничего лучшего он не мог придумать. Она тотчас согласилась и как будто повеселела.

Санин играл с ней до обеда и после обеда. Панталеоне также принял участие в игре. Никогда его хохол не падал так низко на лоб, никогда подбородок не уходил так глубоко в галстух! Каждое движение его дышало такой сосредоточенной важностью, что, глядя на него, невольно рождалась мысль: какую это тайну с такою твердостью хранит этот человек?

Но — segredezza! segredezza!

Он в течение всего того дня всячески старался оказывать глубочайшее почтение Санину; за столом, торжественно и решительно, минуя дам, подавал блюда ему первому; во время карточной игры уступал ему прикупку, не дерзал его ремизить; объявлял, ни к селу ни к городу, что русские — самый великодушный, храбрый и решительный народ в мире!

«Ах ты, старый лицедей!» — думал про себя Санин.

И не столько дивился он неожиданному настроению духа в г-же Розелли, сколько тому, как ее дочь с ним обращалась. Она не то, чтобы избегала его... напротив, она постоянно садилась в небольшом от него расстоянии, прислушивалась к его речам, глядела на него; но она решительно не хотела вступать с ним в беседу, и как только он заговаривал с нею — тихонько поднималась с места и тихонько удалялась на несколько мгновений. Потом она появлялась опять, и опять усаживалась где-нибудь в уголке — и сидела неподвижно, словно размышляя и недоумевая... недоумевая пуще всего. Сама фрау Леноре заметила, наконец, необычайность ее поведения и раза два спросила, что с ней.

— Ничего,— ответила Джемма,— ты знаешь, я бываю иногда такая.

— Это точно,— соглашалась с нею мать.

Так прошел весь этот длинный день, ни оживленно, ни вяло — ни весело, ни скучно. Держи себя Джемма иначе — Санин... как знать? не совладал бы с искушением немного порисоваться или просто поддался бы чувству грусти перед возможной, быть может, вечной разлукой... Но так как ему ни разу не пришлось даже поговорить с Джеммой, то он должен был удовлетвориться тем, что в течение четверти часа, перед вечерним кофе, брал минорные аккорды на фортепиано.

Эмиль вернулся поздно и, во избежание расспросов о г-не Клюбере, отретировался весьма скоро. Пришла очередь удалиться и Санину.

Он стал прощаться с Джеммой. Вспомнилось ему почему-то расставание Ленского с Ольгой в «Онегине». Он крепко стиснул ей руку и попытался заглянуть ей в лицо — но она слегка отворотилась и высвободила свои пальцы.

XX

Уже совсем «вызвездило», когда он вышел на крыльцо. И сколько же их высыпало, этих звезд — больших, малых, желтых, красных, синих, белых! Все они так и рдели, так и роились, наперерыв играя лучами. Луны не было на небе, но и без нее каждый предмет четко виднелся в полусветлом, бестенном сумраке. Санин прошел улицу до конца... Не хотелось ему тотчас возвратиться домой; он чувствовал потребность побродить на чистом воздухе.

Он вернулся назад — и не успел еще поравняться с домом, в котором помещалась кондитерская Розелли, как одно из окон, выходивших на улицу, внезапно стукнуло и отворилось — на черном его четырехугольнике (в комнате не было огня) появилась женская фигура — и он услышал, что его зовут: «Monsieur Dimitri!»

Он тотчас бросился к окну... Джемма!

Она облокотилась о подоконник и наклонилась вперед.

— Monsieur Dimitri,— начала она осторожным голосом,— я в течение целого нынешнего дня хотела вам дать одну вещь... но не решалась; и вот теперь, неожиданно увидя вас снова, подумала, что, видно, так суждено...

Джемма невольно остановилась на этом слове. Она не могла продолжать: нечто необыкновенное произошло в это самое мгновенье.

Внезапно, среди глубокой тишины, при совершенно безоблачном небе, налетел такой порыв ветра, что сама земля, казалось, затрепетала под ногами, тонкий звездный свет задрожал и заструился, самый воздух завертелся клубом. Вихорь, не холодный, а теплый, почти знойный, ударил по деревьям, по крыше дома, по его стенам, по улице; он мгновенно сорвал шляпу с головы Санина, взвил и разметал черные кудри Джеммы. Голова Санина приходилась в уровень с подоконником; он невольно прильнул к нему — и Джемма ухватилась обеими руками за его плечи, припала грудью к его голове. Шум, звон и грохот длились около минуты... Как стая громадных птиц, помчался прочь взыгравший вихорь... Настала вновь глубокая тишина.

Санин приподнялся и увидал над собою такое чудное, испуганное, возбужденное лицо, такие огромные, страшные, великолепные глаза — такую красавицу увидал он, что сердце в нем замерло, он приник губами к тонкой пряди волос, упавшей ему на грудь,— и только мог проговорить:

— О Джемма!

— Что это было такое? Молния? — спросила она, широко поводя глазами и не принимая с его плеч своих обнаженных рук.

— Джемма! — повторил Санин.

Она вздрогнула, оглянулась назад, в комнату,— и быстрым движением, достав из-за корсажа уже увядшую розу, бросила ее Санину.

— Я хотела дать вам этот цветок...

Он узнал розу, которую он отвоевал накануне...

Но уже окошко захлопнулось, и за темным стеклом ничего не виднелось и не белело.

Санин пришел домой без шляпы... Он и не заметил, что он ее потерял.

XXI

Он заснул под самое утро. И не мудрено! Под ударом того летнего, мгновенного вихря он почти так же мгновенно почувствовал — не то, что Джемма красавица, не то, что она ему нравилась — это он знал и прежде... а то, что он едва ли... не полюбил ее! Мгновенно, как тот вихрь, налетела на него любовь. А тут эта глупая дуэль! Скорбные предчувствия начали его мучить. Ну, положим, не убьют его... Что же может выйти из его любви к этой девушке, к невесте другого? Положим даже, что этот «другой» ему не опасен, что сама Джемма полюбит или уже полюбила его... Что же из этого? Как что? Такая красавица...

Он ходил по комнате, садился за стол, брал лист бумаги, чертил на нем несколько строк — и тотчас их вымарывал... Вспоминал удивительную фигуру Джеммы, в темном окне, под лучами звезд, всю развеянную теплым вихрем; вспоминал ее мраморные руки, подобные рукам олимпийских богинь, чувствовал их живую тяжесть на плечах своих... Потом он брал брошенную ему розу — и казалось ему, что от ее полузавядших лепестков веяло другим, еще более тонким запахом, чем обычный запах роз...

«И вдруг его убьют или изувечат?»

Он не ложился в постель и заснул, одетый, на диване.

Кто-то потрепал его по плечу...

Он открыл глаза и увидел Панталеоне.

— Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения! — воскликнул старик.

— Да который час? — спросил Санин.

— Семь часов без четверти; до Ганау — два часа езды, а мы должны быть первые на месте. Русские всегда предупреждают врагов! Я взял лучшую карету во Франкфурте!

Санин начал умываться.

— А пистолеты где?

— Пистолеты привезет тот феррофлукто тедеско. И доктора он же привезет.

Панталеоне видимо бодрился, по-вчерашнему; но когда он сел в карету с Саниным, когда кучер защелкал бичом и лошади с места пустились вскачь,— с бывшим певцом и приятелем падуйских драгунов произошла внезапная перемена. Он смутился, даже струхнул. В нем словно что-то обрушилось, как плохо выведенная стенка.

— Однако что это мы делаем, боже мой, santissima Madonna! [1] — воскликнул он неожиданно пискливым голосом и схватил себя за волосы.— Что я делаю, я старый дурак, сумасшедший, frenetico?

Санин удивился и засмеялся и, слегка обняв Панталеоне за талью, напомнил ему французскую поговорку: «Le vin est tiré — il faut le boire» [2] (по-русски: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж»).

— Да, да,— отвечал старик,— эту чашу мы разопьем с вами,— а всё же я безумец! Я — безумец! Всё было так тихо, хорошо... и вдруг: та-та-та, тра-та-та!

— Словно tutti [3] в оркестре,— заметил Санин с натянутой улыбкой.— Но виноваты не вы.

— Я знаю, что не я! Еще бы! Всё же это... необузданный такой поступок. Diavolo! Diavolo! — повторял Панталеоне, потрясая хохлом и вздыхая.

А карета всё катилась да катилась.

Утро было прелестное. Улицы Франкфурта, едва начинавшие оживляться, казались такими чистыми и уютными; окна домов блестели переливчато, как фольга; а лишь только карета выехала за заставу — сверху, с голубого, еще не яркого неба, так и посыпались голосистые раскаты жаворонков. Вдруг на повороте шоссе из-за высокого тополя показалась знакомая фигура, ступила несколько шагов и остановилась. Санин пригляделся... Боже мой! Эмиль!

— Да разве он знает что-нибудь? — обратился он к Панталеоне.

— Я же вам говорю, что я безумец,— отчаянно, чуть не с криком возопил бедный итальянец,— этот злополуч-

---

[1] пресвятая Мадонна! *(итал.)*.
[2] «Вино откупорено — надо его пить» *(франц.)*.
[3] все *(итал.)*.

ный мальчик всю ночь мне не дал покоя — и я ему сегодня утром, наконец, всё открыл!

«Вот тебе и segredezza!» — подумал Санин.

Карета поравнялась с Эмилем; Санин велел кучеру остановить лошадей и подозвал к себе «злополучного мальчика». Нерешительными шагами приблизился Эмиль, бледный, бледный, как в день своего припадка. Он едва держался на ногах.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил его Санин,— зачем вы не дома?

— Позвольте... позвольте мне ехать с вами,— пролепетал Эмиль трепетным голосом и сложил руки. Зубы у него стучали как в лихорадке.— Я вам не помешаю — только возьмите меня!

— Если вы чувствуете хоть на волос привязанности или уважения ко мне,— промолвил Санин,— вы сейчас вернетесь домой или в магазин к г-ну Клюберу, и никому не скажете ни единого слова, и будете ждать моего возвращения!

— Вашего возвращения,— простонал Эмиль,— и голос его зазвенел и оборвался,— но если вас...

— Эмиль! — перебил его Санин и указал глазами на кучера,— опомнитесь! Эмиль, пожалуйста, ступайте домой! Послушайтесь меня, друг мой! Вы уверяете, что любите меня. Ну, я вас прошу!

Он протянул ему руку. Эмиль покачнулся вперед, всхлипнул, прижал ее к своим губам — и, соскочив с дороги, побежал назад к Франкфурту, через поле.

— Тоже благородное сердце,— пробормотал Панталеоне, но Санин угрюмо взглянул на него... Старик уткнулся в угол кареты. Он сознавал свою вину; да сверх того он с каждым мгновеньем всё более изумлялся: неужели это *он* взаправду сделался секу́ндантом, и лошадей *он* достал, и всем распорядился, и мирное свое обиталище покинул в шесть часов утра? К тому же ноги его разболелись и заныли.

Санин почел за нужное ободрить его — и попал в жилку, нашел настоящее слово.

— Где же ваш прежний дух, почтенный синьор Чиппатола? Где — il antico valor?

Синьор Чиппатола выпрямился и нахмурился.

— Il antico valor? — провозгласил он басом.— Non è ancora spento (он еще не весь утрачен) — il antico valor!!

Он приосанился, заговорил о своей карьере, об опере, о великом теноре Гарсиа — и приехал в Ганау молодцом. Как подумаешь: нет ничего на свете сильнее... и бессильнее слова!

XXII

Лесок, в котором долженствовало происходить побоище, находился в четверти мили от Ганау. Санин с Панталеоне приехали первые, как он предсказывал; велели карете остаться на опушке леса и углубились в тень довольно густых и частых деревьев. Им пришлось ждать около часу.

Ожидание не показалось особенно тягостным Санину; он расхаживал взад и вперед по дорожке, прислушивался, как пели птицы, следил за пролетавшими «коромыслами» и, как бо́льшая часть русских людей в подобных случаях, старался не думать. Раз только на него нашло раздумье: он наткнулся на молодую липу, сломанную, по всем вероятиям, вчерашним шквалом. Она положительно умирала... все листья на ней умирали. «Что это? предзнаменование?» — мелькнуло у него в голове; но он тотчас же засвистал, перескочил через ту самую липу, зашагал по дорожке. Панталеоне — тот ворчал, бранил немцев, кряхтел, потирал то спину, то колени. Он даже зевал от волнения, что придавало презабавное выражение его маленькому, съеженному личику. Санин чуть не расхохотался, глядя на него.

Послышалось наконец рокотание колес по мягкой дороге. «Они!» — промолвил Панталеоне и насторожился и выпрямился, не без мгновенной нервической дрожи, которую, однако, поспешил замаскировать восклицанием: брррр! — и замечанием, что сегодняшнее утро довольно свежее. Обильная роса затопляла травы и листья, но зной проникал уже в самый лес.

Оба офицера скоро показались под его сводами; их сопровождал небольшой плотненький человечек с флегматическим, почти заспанным лицом — военный доктор. Он нес в одной руке глиняный кувшин с водою — на всякий случай; сумка с хирургическими инструментами и бинтами болталась на его левом плече. Видно было, что он к подобным экскурсиям привык донельзя; они составляли один из источников его доходов: каждая дуэль приносила ему восемь червонцев — по четыре с каждой из

воюющих сторон. Г-н фон Рихтер нес ящик с пистолетами, г-н фон Дёнгоф вертел в руке — вероятно, для «шику» — небольшой хлыстик.

— Панталеоне! — шепнул Санин старику,— если... если меня убьют — всё может случиться,— достаньте из моего бокового кармана бумажку — в ней завернут цветок — и отдайте эту бумажку синьорине Джемме. Слышите? Вы обещаетесь?

Старик уныло взглянул на него — и качнул утвердительно головою... Но бог ведает, понял ли он, о чем просил его Санин.

Противники и секунданты обменялись, как водится, поклонами; один доктор даже бровью не повел — и присел, зевая, на траву: «Мне, мол, не до изъявлений рыцарской вежливости». Г-н фон Рихтер предложил г-ну «Тшибадола» выбрать место; г-н «Тшибадола» отвечал, тупо ворочая языком («стенка» в нем опять обрушилась), что: «Действуйте, мол, вы, милостивый государь; я буду наблюдать»...

И г-н фон Рихтер начал действовать. Отыскал тут же, в лесу, прехорошенькую, всю испещренную цветами, поляну; отмерил шаги, обозначил два крайних пункта соструганными наскоро палочками, достал из ящика пистолеты и, присев на корточки, заколотил пули; словом, трудился и хлопотал изо всех сил, беспрестанно утирая свое вспотевшее лицо белым платочком. Сопровождавший его Панталеоне походил более на озябшего человека. В течение всех этих приготовлений оба противника стояли поодаль, напоминая собою двух наказанных школьников, которые дуются на своих гувернеров.

Настало решительное мгновенье...

Каждый взял свой пистолет...

Но тут г-н фон Рихтер заметил Панталеоне, что ему, как старшему секунданту, следует, по правилам дуэли, прежде чем провозгласить роковое: «Раз! два! три!», обратиться к противникам с последним советом и предложением: помириться; что хотя это предложение не имеет никогда никаких последствий и вообще не что иное, как пустая формальность, однако исполнением этой формальности г-н Чиппатола отклоняет от себя некоторую долю ответственности; что, правда, подобная аллокуция[1]

[1] речь, обращение (*лат.*: allocutio).

составляет прямую обязанность так называемого «беспристрастного свидетеля» (unparteiischer Zeuge) — но так как у них такового не имеется, то он, г-н фон Рихтер, охотно уступает эту привилегию своему почтенному собрату. Панталеоне, который успел уже затушеваться за куст так, чтобы не видеть вовсе офицера-обидчика, сперва ничего не понял изо всей речи г-на фон Рихтера — тем более, что она была произнесена в нос; но вдруг встрепенулся, проворно выступил вперед и, судорожно стуча руками в грудь, хриплым голосом возопил на своем смешанном наречии: «A-la-la-la... Che bestialità! Deux zeun'ommes comme ça qué si battono — perchè? Che diavolo? Andate a casa!»[1]

— Я не согласен на примирение,— поспешно проговорил Санин.

— И я тоже не согласен,— повторил за ним его противник.

— Ну так кричите: раз, два, три! — обратился фон Рихтер к растерявшемуся Панталеоне.

Тот немедленно опять нырнул в куст — и уже оттуда прокричал, весь скорчившись, зажмурив глаза и отвернув голову, но во всё горло:

— Una... due... e tre![2]

Первый выстрелил Санин — и не попал. Пуля его звякнула о дерево. Барон Дёнгоф выстрелил тотчас вслед за ним — преднамеренно в сторону, на воздух.

Наступило напряженное молчание... Никто не трогался с места. Панталеоне слабо охнул.

— Прикажете продолжать?—проговорил Дёнгоф.

— Зачем вы выстрелили на воздух? — спросил Санин.

— Это не ваше дело.

— Вы и во второй раз будете стрелять на воздух? — спросил опять Санин.

— Может быть; не знаю.

— Позвольте, позвольте, господа...— начал фон Рихтер,— дуэлланты не имеют права говорить между собою. Это совсем не в порядке.

— Я отказываюсь от своего выстрела,— промолвил Санин и бросил пистолет на землю.

---

[1] «Что за дикость! Два таких молодых человека дерутся — зачем? Какого чёрта? Ступайте по домам!» *(итал. и франц.)*.

[2] Раз... два... и три! *(итал.)*.

— И я тоже не намерен продолжать дуэль,— воскликнул Дёнгоф и тоже бросил свой пистолет.— Да сверх того я теперь готов сознаться, что я был не прав — третьего дня.

Он помялся на месте — и нерешительно протянул руку вперед. Санин быстро приблизился к нему — и пожал ее. Оба молодых человека с улыбкой поглядели друг на друга — и лица у обоих покрылись краской.

— Bravi! bravi! — внезапно, как сумасшедший, загорланил Панталеоне и, хлопая в ладоши, турманом выбежал из-за куста; а доктор, усевшийся в стороне, на срубленном дереве, немедленно встал, вылил воду из кувшина и пошел, лениво переваливаясь, к опушке леса.

— Честь удовлетворена — и дуэль кончена! — провозгласил фон Рихтер.

— Fuori! (фора!) — по старой памяти, еще раз гаркнул Панталеоне.

Разменявшись поклонами с г-ми офицерами и садясь в карету, Санин, правда, ощущал во всем существе своем если не удовольствие, то некоторую легкость, как после выдержанной операции; но и другое чувство зашевелилось в нем, чувство, похожее на стыд... Фальшью, заранее условленной казенщиной, обыкновенной офицерской, студенческой штукой показался ему поединок, в котором он только что разыграл свою роль. Вспомнил он флегматического доктора, вспомнил, как он улыбнулся — то есть сморщил нос, когда увидел его, выходившего из лесу чуть не под руку с бароном Дёнгофом. А потом, когда Панталеоне выплачивал тому же доктору следуемые ему четыре червонца... Эх! нехорошо что-то!

Да; Санину было немножко совестно и стыдно... хотя, с другой стороны, что же ему было сделать? Не оставлять же без наказания дерзости молодого офицера, не уподобиться же г-ну Клюберу? Он заступился за Джемму, он защитил ее... Оно так; а все-таки у него скребло на душе, и было ему совестно, и даже стыдно.

Зато Панталеоне — просто торжествовал! Им внезапно обуяла гордость. Победоносный генерал, возвращающийся с поля выигранной им битвы, не озирался бы с бо́льшим самодовольствием. Поведение Санина во время поединка наполняло его восторгом. Он величал его героем — и слышать не хотел его увещаний и даже просьб.

Он сравнивал его с монументом из мрамора или бронзы — со статуей командора в «Дон-Жуане»! Про самого себя он сознавался, что почувствовал некоторое смятение. «Но ведь я артист,— заметил он,— у меня натура нервозная, а вы — сын снегов и скал гранитных».

Санин решительно не знал, как ему унять расходившегося артиста.

Почти на том же самом месте дороги, где часа два тому назад они настигли Эмиля,— он снова выскочил из-за дерева и с радостным криком на губах, помахивая картузом над головою и подпрыгивая, бросился прямо к карете, чуть-чуть не попал под колесо и, не дожидаясь, чтобы лошади остановились, вскарабкался через закрытые дверцы — и так и впился в Санина.

— Вы живы, вы не ранены! — твердил он.— Простите меня, я не послушался вас, я не вернулся во Франкфурт... Я не мог! Я ждал вас здесь... Расскажите мне, как это было! Вы... убили его?

Санин с трудом успокоил и усадил Эмиля.

Многоглаголиво, с видимым удовольствием сообщил ему Панталеоне все подробности поединка, и уж, конечно, не преминул снова упомянуть о монументе нз бронзы, о статуе командора! Он даже встал с своего места и, растопырив ноги, для удержания равновесия, скрестив на груди руки и презрительно скосясь через плечо, воочию представлял командора-Санина! Эмиль слушал с благоговением, изредка прерывая рассказ восклицанием или быстро приподнимаясь и столь же быстро целуя своего героического друга.

Колеса кареты застучали о мостовую Франкфурта — и остановились наконец перед гостиницей, в которой жил Санин.

В сопровождении своих двух спутников взбирался он по лестнице во второй этаж — как вдруг из темного коридорчика проворными шагами вышла женщина: лицо ее было покрыто вуалью; она остановилась перед Саниным, слегка пошатнулась, вздохнула трепетно, тотчас же побежала вниз на улицу — и скрылась, к великому изумлению кельнера, который объявил, что «эта дама более часа ожидала возвращения господина иностранца». Как ни мгновенно было ее появление, Санин успел узнать в ней Джемму. Он узнал ее глаза под плотным шелком коричневой вуали.

— Разве фрейлейн Джемме было известно...— протянул он недовольным голосом, по-немецки, обратившись к Эмилю и Панталеоне, которые шли за ним по пятам.

Эмиль покраснел и смешался.

— Я принужден был ей всё сказать,— пролепетал он,— она догадывалась, и я никак не мог... Но ведь теперь это ничего не значит,— подхватил он с живостью,— всё так прекрасно кончилось, и она вас видела здоровым и невредимым!

Санин отвернулся.

— Какие вы, однако, болтуны оба!— промолвил он с досадой, вошел к себе в комнату и сел на стул.

— Не сердитесь, пожалуйста,— взмолился Эмиль.

— Хорошо, я не буду сердиться. (Санин действительно не сердился — да и, наконец, едва ли бы мог он желать, чтобы Джемма *ничего* не узнала.) Хорошо... полноте обниматься. Ступайте теперь. Я хочу остаться наедине. Я лягу спать. Я устал.

— Превосходная мысль! — воскликнул Панталеоне.— Вам нужно отдохновение! Вы его вполне заслужили, благородный синьоре! Пойдем, Эмилио! На цыпочках! На цыпочках! Шшшш!

Сказавши, что он хочет спать, Санин желал только отделаться от своих товарищей; но, оставшись один, он взаправду почувствовал значительную усталость во всех членах: всю предшествовавшую ночь он почти не смыкал глаз и, бросившись на постель, немедленно заснул глубоким сном.

XXIII

Несколько часов сряду он спал беспробудно. Потом ему стало грезиться, что он опять дерется на дуэли, что в качестве противника стоит перед ним г-н Клюбер, а на елке сидит попугай, и этот попугай Панталеоне, и твердит он, щелкая носом: раз-раз-раз! раз-раз-раз!

«Раз... раз... раз!!» послышалось ему уже слишком явственно: он открыл глаза, приподнял голову... кто-то стучался к нему в дверь.

— Войдите! — крикнул Санин.

Появился кельнер и доложил, что одной даме очень нужно его видеть.

«Джемма!» — мелькнуло у него в голове... но дама оказалась ее матерью — фрау Леноре.

Она, как только вошла, тотчас опустилась на стул и начала плакать.

— Что с вами, моя добрая, милая г-жа Розелли? — начал Санин, подсев к ней и с тихой лаской касаясь ее руки.— Что случилось? Успокойтесь, прошу вас.

— Ах, Herr Dimitri, я очень... очень несчастна!

— Вы несчастны?

— Ах, очень! И могла ли я ожидать? Вдруг, как гром из ясного неба...

Она с трудом переводила дыхание.

— Но что такое? Объяснитесь! Хотите стакан воды?

— Нет, благодарствуйте.— Фрау Леноре утерла платком глаза и с новой силой заплакала.— Ведь я всё знаю! Всё!

— То есть как же: всё?

— Всё, что произошло сегодня! И причина... мне тоже известна! Вы поступили, как благородный человек; но какое несчастное стечение обстоятельств! Недаром мне не нравилась эта поездка в Соден... недаром! (Фрау Леноре ничего подобного не говорила в самый день поездки, но теперь ей казалось, что уже тогда она «всё» предчувствовала.) Я и пришла к вам, как к благородному человеку, как к другу, хотя я увидала вас в первый раз пять дней тому назад... Но ведь я вдова, одинокая... Моя дочь...

Слезы заглушили голос фрау Леноре. Санин не знал, что подумать.

— Ваша дочь? — повторил он.

— Моя дочь, Джемма,— вырвалось почти со стоном у фрау Леноре из-под смоченного слезами платка,— объявила мне сегодня, что не хочет выйти замуж за г-на Клюбера и что я должна отказать ему!

Санин даже отодвинулся слегка: он этого не ожидал.

— Я уже не говорю о том,— продолжала фрау Леноре,— что это позор, что этого никогда на свете не бывало, чтобы невеста отказала жениху; но ведь это для нас разорение, Herr Dimitri! — Фрау Леноре старательно и туго свернула платок в маленький-маленький клубочек, точно она хотела заключить в него всё свое горе.— Жить доходами с нашего магазина мы больше не можем, Herr Dimitri! а г-н Клюбер очень богат и будет еще богаче. И за что же ему отказать? За то, что он не вступился за свою невесту? Положим, это не совсем хорошо с его стороны, но ведь он статский человек, в университете не воспитывался и, как солидный торговец, должен был през-

реть легкомысленную шалость неизвестного офицерчика. И какая же это обида, Herr Dimitri?

— Позвольте, фрау Леноре, вы словно осуждаете меня...

— Нисколько я вас не осуждаю, нисколько! Вы совсем другое дело; вы, как все русские, военный...

— Позвольте, я вовсе не...

— Вы иностранец, проезжий, я вам благодарна,— продолжала фрау Леноре, не слушая Санина. Она задыхалась, разводила руками, снова развертывала платок и сморкалась. По одному тому, как выражалось ее горе, можно было видеть, что она родилась не под северным небом.

— И как же будет г-н Клюбер торговать в магазине, если он будет драться с покупателями? Это совсем несообразно! И теперь я должна ему отказать! Но чем мы будем жить? Прежде мы одни делали девичью кожу и нуга́ с фисташками — и к нам ходили покупатели, а теперь все делают девичью кожу!! Вы подумайте: уж без того в городе будут говорить о вашей дуэли... разве это можно утаить? И вдруг свадьба расстраивается! Ведь это шкандал, шкандал! Джемма — прекрасная девушка; она очень любит меня, но она упрямая республиканка, бравирует мнением других. Вы одни можете ее уговорить!

Санин изумился еще пуще прежнего.

— Я, фрау Леноре?

— Да, вы одни... Вы одни. Я затем и пришла к вам: я ничего другого придумать не умела! Вы такой ученый, такой хороший человек! Вы же за нее заступились. Вам она поверит! Она *должна* вам поверить — вы ведь жизнью своей рисковали! Вы ей докажете, а я уже больше ничего не могу! Вы ей докажете, что она и себя и всех нас погубит. Вы спасли моего сына — спасите и дочь! Вас сам бог послал сюда... Я готова на коленях просить вас...

И фрау Леноре наполовину приподнялась со стула, как бы собираясь упасть Санину в ноги... Он удержал ее.

— Фрау Леноре! Ради бога! Что вы это?

Она судорожно схватила его за руки.

— Вы обещаетесь?

— Фрау Леноре, подумайте, с какой стати я...

— Вы обещаетесь? Вы не хотите, чтобы я тут же, сейчас, умерла перед вами?

Санин потерялся. Ему в первый раз в жизни приходилось иметь дело с загоревшейся итальянскою кровью.

— Я сделаю всё, что будет вам угодно! — воскликнул он.— Я поговорю с фрейлейн Джеммой...

Фрау Леноре вскрикнула от радости.

— Только я, право, не знаю, какой может выйти результат...

— Ах, не отказывайтесь, не отказывайтесь! — промолвила фрау Леноре умоляющим голосом,— вы уже согласились! Результат, наверное, выйдет отличный. Во всяком случае, *я* уже больше ничего не могу! *Меня* она не послушается!

— Она так решительно объявила вам свое нежелание выйти за г-на Клюбера? — спросил Санин после небольшого молчания.

— Как ножом отрезала! Она вся в отца, в Джиован' Баттиста! Бедовая!

— Бедовая? она?..— протяжно повторил Санин.

— Да... да... но она тоже ангел. Она вас послушается. Вы придете, придете скоро? О мой милый русский друг! — Фрау Леноре порывисто встала со стула и так же порывисто обхватила голову сидевшего перед ней Санина.— Примите благословение матери — и дайте мне воды!

Санин принес г-же Розелли стакан воды, дал ей честное слово, что придет немедленно, проводил ее по лестнице до улицы — и, вернувшись в свою комнату, даже руками всплеснул и глаза вытаращил.

— «Вот,— подумал он,— вот *теперь* завертелась жизнь! Да и так завертелась, что голова кругом пошла». Он и не попытался взглянуть внутрь себя, понять, что там происходит: сумятица — и баста! «Выдался денек! — невольно шептали его губы.— Бедовая... говорит ее мать... И я должен ей советовать — ей?! И что советовать?!»

Голова действительно кружилась у Санина — и над всем этим вихрем разнообразных ощущений, впечатлений, недосказанных мыслей постоянно носился образ Джеммы, тот образ, который так неизгладимо врезался в его память в ту теплую, электрически-потрясенную ночь, в том темном окне, под лучами роившихся звезд!

XXIV

Нерешительными шагами подходил Санин к дому г-жи Розелли. Сердце его сильно билось; он явственно чувствовал и даже слышал, как оно толкалось в ребра. Что он

скажет Джемме, как заговорит с нею? Он вошел в дом не через кондитерскую, но по заднему крыльцу. В небольшой передней комнате он встретил фрау Леноре. Она и обрадовалась ему и испугалась.

— Я ждала, ждала вас,— проговорила она шёпотом, попеременно обеими руками стискивая его руку.— Ступайте в сад; она там. Смотрите же: я на вас надеюсь!

Санин отправился в сад.

Джемма сидела на скамейке, близ дорожки, и из большой корзины, наполненной вишнями, отбирала самые спелые на тарелку. Солнце стояло низко — был уже седьмой час вечера — и в широких косых лучах, которыми оно затопляло весь маленький садик г-жи Розелли, было больше багрянца, чем золота. Изредка, чуть слышно и словно не спеша, перешептывались листья, да отрывисто жужжали, перелетывая с цветка на соседний цветок, запоздалые пчелы, да где-то ворковала горлинка — однообразно и неутомимо.

На Джемме была та же круглая шляпа, в которой она ездила в Соден. Она глянула на Санина из-под ее выгнутого края и снова наклонилась к корзинке.

Санин приблизился к Джемме, невольно укорачивая каждый шаг, и... и... И ничего другого не нашелся сказать ей, как только спросить: зачем это она отбирает вишни?

Джемма не тотчас отвечала ему.

— Эти — поспелее,— промолвила она наконец,— пойдут на варенье, а те на начинку пирогов. Знаете, мы продаем такие круглые пироги с сахаром.

Сказав эти слова, Джемма еще ниже наклонила голову, и правая ее рука, с двумя вишнями в пальцах, остановилась на воздухе между корзинкой и тарелкой.

— Можно подсесть к вам? — спросил Санин.

— Можно.— Джемма слегка подвинулась на скамейке. Санин поместился возле нее. «Как начать?» — думалось ему. Но Джемма вывела его из затруднения.

— Вы дрались сегодня на дуэли,— заговорила она с живостью и обернулась к нему всем своим прекрасным, стыдливо вспыхнувшим лицом,— а какой глубокой благодарностью светились ее глаза! — И вы так спокойны? Стало быть, для вас не существует опасности?

— Помилуйте! Я никакой опасности не подвергался. Всё обошлось очень благополучно и безобидно.

Джемма повела пальцем направо и налево перед глазами... Тоже итальянский жест.

— Нет! нет! не говорите этого! Вы меня не обманете! Мне Панталеоне всё сказал!

— Нашли кому верить! Сравнивал он меня с статуей командора?

— Выражения его могут быть смешны, но ни чувство его не смешно, ни то, что вы сделали сегодня. И всё это из-за меня... для меня... Я этого никогда не забуду.

— Уверяю вас, фрейлейн Джемма...

— Я этого не забуду,— с расстановкой повторила она, еще раз пристально посмотрела на него и отвернулась.

Он мог теперь видеть ее тонкий, чистый профиль, и ему казалось, что он никогда не видывал ничего подобного и не испытывал ничего подобного тому, что он чувствовал в этот миг. Душа его разгоралась.

«А мое обещание!» — мелькнуло у него в мыслях.

— Фрейлейн Джемма...— начал он после мгновенного колебания.

— Что?

Она не повернулась к нему, она продолжала разбирать вишни, осторожно бралась концами пальцев за их хвостики, заботливо приподнимала листочки... Но какой доверчивой лаской прозвучало это одно слово: «что!»

— Вам ваша матушка ничего не сообщала... насчет...

— Насчет?

— На мой счет?

Джемма вдруг отбросила назад в корзину взятые ею вишни.

— Она говорила с вами? — спросила она в свою очередь.

— Да.

— Что же она вам такое сказала?

— Она сказала мне, что вы... что вы внезапно решились переменить... свои прежние намерения.

Голова Джеммы опять наклонилась. Она вся исчезла под шляпой; виднелась только шея, гибкая и нежная, как стебель крупного цветка.

— Какие намерения?

— Ваши намерения... касательно... будущего устройства вашей жизни.

— То есть... Вы это говорите... о г-не Клюбере?

— Да.

— Вам мама сказала, что я не желаю быть женою г-на Клюбера?

— Да.

Джемма подвинулась на скамейке. Корзина накренилась, упала... несколько вишен покатилось на дорожку. Прошла минута... другая...

— Зачем она вам это сказала? — послышался ее голос.

Санин по-прежнему видел одну шею Джеммы. Грудь ее поднималась и опускалась быстрее прежнего.

— Зачем? Ваша матушка подумала, что так как мы с вами в короткое время, можно сказать, подружились, и вы возымели некоторое доверие ко мне, то я в состоянии подать вам полезный совет — и вы меня послушаетесь.

Руки Джеммы тихонько соскользнули на колени... Она принялась перебирать складки своего платья.

— Какой же вы мне совет дадите, monsieur Dimitri? — спросила она погодя немного.

Санин увидал, что пальцы Джеммы дрожали на ее коленях... Она и складки платья перебирала только для того, чтобы скрыть эту дрожь. Он тихонько положил свою руку на эти бледные, трепетные пальцы.

— Джемма,— промолвил он,— отчего вы не смотрите на меня?

Она мгновенно отбросила назад через плечо свою шляпу — и устремила на него глаза, доверчивые и благодарные по-прежнему. Она ждала, что он заговорит... Но вид ее лица смутил и словно ослепил его. Теплый блеск вечернего солнца озарял ее молодую голову — и выражение этой головы было светлее и ярче самого этого блеска.

— Я вас послушаюсь, monsieur Dimitri,— начала она, чуть-чуть улыбаясь и чуть-чуть приподнимая брови,— но какой же совет дадите вы мне?

— Какой совет? — повторил Санин.— Вот видите ли, ваша матушка полагает, что отказать г-ну Клюберу только потому, что он третьего дня не выказал особенной храбрости...

— Только потому? — проговорила Джемма, нагнулась, подняла корзину и поставила ее возле себя на скамейку.

— Что... вообще... отказать ему, с вашей стороны — неблагоразумно; что это — такой шаг, все последствия которого нужно хорошенько взвесить; что, наконец, самое положение ваших дел налагает известные обязанности на каждого члена вашего семейства...

— Это всё — мнение мамы,— перебила Джемма,— это ее слова. Это я знаю; но ваше какое мнение?

— Мое? — Санин помолчал. Он чувствовал, что-то подступило к нему под горло и захватывало дыхание.— Я тоже полагаю,— начал он с усилием...

Джемма выпрямилась.

— Тоже? Вы — тоже?

— Да... то есть...— Санин не мог, решительно не мог прибавить ни единого слова.

— Хорошо,— сказала Джемма.— Если вы, как друг, советуете мне изменить мое решение... то есть не менять моего прежнего решения,— я подумаю.— Она, сама не замечая, что делает, начала перекладывать вишни обратно из тарелки в корзину...— Мама надеется, что я вас послушаюсь... Что ж? Я, быть может, точно послушаюсь вас.

— Но позвольте, фрейлейн Джемма, я сперва желал бы узнать, какие причины побудили вас...

— Я вас послушаюсь,— повторила Джемма, а у самой брови всё надвигались, щеки бледнели; она покусывала нижнюю губу.— Вы так много для меня сделали, что и я обязана сделать, что вы хотите; обязана исполнить ваше желание. Я скажу маме... я подумаю. Вот она, кстати, идет сюда.

Действительно: фрау Леноре показалась на пороге двери, ведущей из дома в сад. Нетерпение ее разбирало: она не могла усидеть на месте. По ее расчету, Санин давным-давно должен был окончить свое объяснение с Джеммой, хотя его беседа с нею не продолжалась и четверти часа.

— Нет, нет, нет, ради бога, не говорите ей пока ничего,— торопливо, почти с испугом произнес Санин.— Подождите... я вам скажу, я вам напишу... а вы до тех пор не решайтесь ни на что... подождите!

Он стиснул руку Джеммы, вскочил со скамейки — и, к великому изумлению фрау Леноры, прошмыгнул мимо ее, приподняв шляпу, пробурчал что-то невнятное — и скрылся.

Она подошла к дочери.

— Скажи мне, пожалуйста, Джемма...

Та вдруг поднялась и обняла ее.

— Милая мама, можете вы подождать немножко, крошечку... до завтрашнего дня? Можете? И с тем, чтобы уж до завтра ни слова?.. Ах!..

Она залилась внезапными светлыми, для нее самой неожиданными слезами. Это тем более удивило фрау Ле-

норе, что выражение Джеммина лица было далеко не печальное, скорее радостное.

— Что с тобой? — спросила она.— Ты у меня никогда не плачешь — и вдруг...

— Ничего, мама, ничего! только вы подождите. Нам обеим надо подождать. Не спрашивайте ничего до завтра — и давайте разбирать вишни, пока солнце не село.

— Но ты будешь благоразумна?

— О, я очень благоразумна! — Джемма значительно покачала головою. Она начала связывать небольшие пучки вишен, держа их высоко перед краснеющим лицом. Слез своих она не утирала: они высохли сами.

XXV

Чуть не бегом возвратился Санин в свою квартиру. Он чувствовал, он сознавал, что только там, только наедине с самим собою, ему выяснится наконец, что́ с ним, что́ с ним такое? И действительно: не успел он войти в свою комнату, не успел сесть перед письменным столом, как, облокотясь об этот самый стол обеими руками и прижав обе ладони к лицу,— он горестно и глухо воскликнул: «Я ее люблю, люблю безумно!» — и весь внутренно зарделся, как уголь, с которого внезапно сдули наросший слой мертвого пепла. Мгновение... и уже он не в силах был понять, как он мог сидеть рядом с нею... с нею! — и разговаривать с нею, и не чувствовать, что он обожает самый край ее одежды, что он готов, как выражаются молодые люди, «умереть у ее ног». Последнее свидание в саду всё решило. Теперь, когда он думал о ней,— она уже не представлялась ему с развеянными кудрями, в сиянии звезд,— он видел ее сидящей на скамейке, видел, как она разом сбрасывает с себя шляпу и глядит на него так доверчиво... и трепет и жажда любви перебегали по всем его жилам. Он вспомнил о розе, которую вот уже третий день носил у себя в кармане: он выхватил ее и с такой лихорадочной силой прижал ее к своим губам, что невольно поморщился от боли. Теперь уже он ни о чем не рассуждал, ничего не соображал, не рассчитывал и не предвидел; он отделился от всего прошлого, он прыгнул вперед: с унылого берега своей одинокой, холостой жизни бухнулся он в тот веселый, кипучий, могучий поток — и горя ему мало, и знать он не хочет, куда он его вынесет, и не разобьет ли он его о скалу! Это уже не те тихие струи уландовского

романса, которые недавно его баюкали... Это сильные, неудержимые волны! Они летят и скачут вперед — и он летит с ними.

Он взял лист бумаги — и без помарки, почти одним взмахом пера, написал следующее:

«Милая Джемма!

Вы знаете, какой совет я взял на себя преподать вам, вы знаете, чего желает ваша матушка и о чем она меня просила,— но чего вы не знаете и что я обязан вам теперь сказать,— это то, что я люблю вас, люблю со всею страстью сердца, полюбившего в первый раз! Этот огонь вспыхнул во мне внезапно, но с такой силой, что я не нахожу слов!! Когда ваша матушка пришла ко мне и просила меня — он еще только тлел во мне — а то я, как честный человек, наверное бы отказался исполнить ее поручение... Самое признание, которое я вам теперь делаю, есть признание честного человека. Вы должны знать, с кем имеете дело,— между нами не должно существовать недоразумений. Вы видите, что я не могу давать вам никаких советов... Я вас люблю, люблю, люблю — и больше нет у меня ничего — ни в уме, ни в сердце!!

Дм. Санин».

Сложив и запечатав эту записку, Санин хотел было позвонить кельнера и послать ее с ним... Нет! этак неловко... Через Эмиля? Но отправиться в магазин, отыскивать его там между другими комми — неловко тоже. Притом уже ночь на дворе — и он, пожалуй, уже ушел из магазина. Размышляя таким образом, Санин, однако, надел шляпу и вышел на улицу; повернул за угол, за другой — и, к неописанной своей радости, увидал перед собою Эмиля. С сумкой под мышкой, со свертком бумаги в руке, молодой энтузиаст спешил домой.

«Недаром говорят, что у каждого влюбленного есть звезда»,— подумал Санин и позвал Эмиля.

Тот обернулся и тотчас бросился к нему.

Санин не дал ему восторгаться, вручил ему записку, объяснил ему, кому и как ее передать... Эмиль слушал внимательно.

— Чтобы никто не видел? — спросил он, придав своему лицу выражение знаменательное и таинственное: мы, дескать, понимаем, в чем вся суть!

— Да, мой дружок,— проговорил Санин и немножко сконфузился, однако потрепал Эмиля по щеке...— И если ответ будет... Вы мне принесете ответ, не правда ли? Я буду сидеть дома.

— Уж об этом не беспокойтесь! — весело шепнул Эмиль, побежал прочь и на бегу еще раз кивнул ему.

Санин вернулся домой — и, не зажигая свечи, бросился на диван, занес руки за голову и предался тем ощущениям только что сознанной любви, которые и описывать нечего: кто их испытал, тот знает их томление и сладость; кто их не испытал — тому их не растолкуешь.

Дверь растворилась — показалась голова Эмиля.

— Принес,— сказал он шёпотом,— вот он, ответ-то!

Он показал и поднял над головою свернутую бумажку.

Санин вскочил с дивана и выхватил ее из рук Эмиля. Страсть в нем слишком сильно разыгралась: не до скрытности было ему теперь, не до соблюдения приличия — даже перед этим мальчиком, ее братом. Он бы посовестился его, он бы принудил себя — если б мог!

Он подошел к окну — и при свете уличного фонаря, стоявшего перед самым домом, прочел следующие строки:

«Я вас прошу, я умоляю вас — *целый завтрашний день не приходить к нам, не показываться*. Мне это нужно, непременно нужно — а там всё будет решено. Я знаю, вы мне не откажете, потому что...

Джемма».

Санин два раза прочел эту записку — о, как трогательно мил и красив показался ему ее почерк! — подумал немного и, обратившись к Эмилю, который, желая дать понять, какой он скромный молодой человек, стоял лицом к стене и колупал в ней ногтем,— громко назвал его по имени.

Эмиль тотчас подбежал к Санину.

— Что прикажете?

— Послушайте, дружок...

— M-r Димитрий,— перебил его Эмиль жалобным голосом,— отчего вы не говорите мне: ты?

Санин засмеялся.

— Ну, хорошо. Послушай, дружок (Эмиль слегка подпрыгнул от удовольствия),— послушай: *там*, ты понимаешь, там ты скажешь, что всё будет исполнено в точности (Эмиль сжал губы и важно качнул головою),— а сам... Что ты делаешь завтра?

— Я? Что я делаю? Что вы хотите, чтобы я делал?

— Если тебе можно, приходи ко мне поутру, пораньше,— и мы до вечера будем гулять по окрестностям Франкфурта... Хочешь?

Эмиль опять подпрыгнул.

— Помилуйте, что может быть на свете лучше? Гулять с вами — да это просто чудо! Приду непременно!

— А если тебя не отпустят?

— Отпустят!

— Слушай... Не сказывай *там*, что я тебя звал на целый день.

— Зачем сказывать? Да я так уйду! Что за беда!

Эмиль крепко поцеловал Санина и убежал.

А Санин долго ходил по комнате и поздно лег спать. Он предался тем же жутким и сладким ощущениям, тому же радостному замиранию перед новой жизнью. Санин был очень доволен тем, что возымел мысль пригласить на завтрашний день Эмиля; он походил лицом на сестру. «Будет напоминать ее»,— думалось Санину.

Но больше всего удивлялся он тому: как мог он вчера быть иначе, чем сегодня? Ему казалось, что он «вечно» любил Джемму — и именно так точно ее любил, как он любил ее сегодня.

XXVI

На другой день, в восемь часов утра, Эмиль, с Тартальей на сворке, отъявился к Санину. Происходи он от германских родителей, он бы не мог выказать бóльшую аккуратность. Дома он солгал: сказал, что погуляет с Саниным до завтрака, а потом отправится в магазин. Пока Санин одевался, Эмиль заговорил было с ним, правда, довольно нерешительно, о Джемме, об ее размолвке с г-м Клюбером; но Санин сурово промолчал ему в ответ, а Эмиль, показав вид, что понимает, почему не следует слегка касаться этого важного пункта, уже не возвращался к нему — и только изредка принимал сосредоточенное и даже строгое выражение.

Напившись кофе, оба приятеля отправились — пешком, разумеется,— в Гаузен, небольшую деревеньку, лежащую в недальнем расстоянии от Франкфурта и окруженную лесами. Вся цепь гор Таунуса видна оттуда, как на ладони. Погода была прекрасная; солнце сияло и грело, но не пекло; свежий ветер бойко шумел в зеленых

листьях; по земле, небольшими пятнами, плавно и быстро скользили тени высоких круглых облачков. Молодые люди скоро выбрались из города и бодро и весело зашагали по гладко выметенной дороге. Зашли в лес и долго там проплутали; потом очень плотно позавтракали в деревенском трактире; потом лазали на горы, любовались видами, пускали сверху камни и хлопали в ладоши, глядя, как эти камни забавно и странно сигают, наподобие кроликов, пока проходивший внизу, невидимый для них, человек не выбранил их звонким и сильным голосом; потом лежали, раскинувшись, на коротком сухом мохе желто-фиолетового цвета; потом пили пиво в другом трактире, потом бегали взапуски, прыгали на пари: кто дальше? Открыли эхо и беседовали с ним, пели, аукались, боролись, ломали сучья, украшали свои шляпы ветками папоротника и даже танцевали. Тарталья, насколько мог и умел, участвовал во всех этих занятиях: камней он, правда, не бросал, но сам кубарем катился за ними, подвывал, когда молодые люди пели, и даже пиво пил, хотя с видимым отвращением: этому искусству его выучил студент, которому он некогда принадлежал. Впрочем, Эмиля он слушался плохо — не то, что своего хозяина Панталеоне, и когда Эмиль приказывал ему «говорить» или «читать»,— только хвостиком повиливал и высовывал язык трубочкой.

Молодые люди также беседовали между собою. В начале прогулки Санин, как старший и потому более рассудительный, завел было речь о том, что такое фатум, или предопределение судьбы, и что значит и в чем состоит призвание человека; но разговор вскорости принял направление менее серьезное. Эмиль стал расспрашивать своего друга и патрона о России, о том, как там дерутся на дуэли, и красивы ли там женщины, и скоро ли можно выучиться русскому языку, и что он почувствовал, когда офицер целился в него? А Санин в свою очередь расспрашивал Эмиля об его отце, о матери, вообще об их семейных делах, всячески стараясь не упоминать имени Джеммы — и думая только о ней. Собственно говоря, он даже о ней не думал — а о завтрашнем дне, о том таинственном завтрашнем дне, который принесет ему неведомое, небывалое счастье! Точно завеса, тонкая, легкая завеса висит, слабо колыхаясь, перед его умственным взором,— и за той завесой он чувствует... чувствует присутствие молодого, неподвижного, божественного лика с ласковой улыбкой

на устах и строго, притворно-строго опущенными ресницами. И этот лик — не лицо Джеммы, это лицо самого счастья! И вот настал наконец *его* час, завеса взвилась, открываются уста, ресницы поднимаются — увидало его божество — и тут уже свет, как от солнца, и радость, и восторг нескончаемый!! Он думает об этом завтрашнем дне — и душа его опять радостно замирает в млеющей тоске беспрестанно возрождающегося ожидания!

И ничему не мешает это ожидание, эта тоска. Она сопровождает каждое его движение и ничему не мешает. Не мешает она ему отлично пообедать в третьем трактире с Эмилем — и только изредка, как короткая молния, вспыхивает в нем мысль, что — если б кто-нибудь на свете знал??!! Не мешает ему эта тоска играть после обеда с Эмилем в чехарду. На привольном зеленом лужку́ происходит эта игра... и каково изумление, каков конфуз Санина, когда, под ярый лай Тартальи, ловко растопырив ноги и перелетая птицей через прикорнувшего Эмиля,— он внезапно видит перед собою, на самой кайме зеленого лужка, двух офицеров, в которых он немедленно узнает своего вчерашнего противника и его секунданта, г-д фон Дёнгофа и фон Рихтера! Каждый из них вставил по стеклышку в глаз и глядит на него и ухмыляется... Санин падает на ноги, отворачивается, поспешно надевает сброшенное пальто, говорит отрывистое слово Эмилю, тот тоже надевает куртку — и оба немедленно удаляются.

Поздно вернулись они во Франкфурт.

— Будут меня бранить,— говорил Санину Эмиль, прощаясь с ним,— ну да всё равно! Зато я такой чудный, чудный день провел!

Вернувшись к себе в гостиницу, Санин нашел записку от Джеммы. Она назначала ему свидание — на следующий день, в семь часов утра, в одном из публичных садов, со всех сторон окружающих Франкфурт.

Как дрогнуло его сердце! Как рад он был тому, что так беспрекословно ей повиновался! И, боже мой, что сулил... чего не сулил этот небывалый, единственный, невозможный — и несомненный завтрашний день!

Он впился глазами в записку Джеммы. Длинный изящный хвостик буквы G, первой буквы ее имени, стоявшей на конце листа, напомнил ему ее красивые пальцы, ее руку... Он подумал, что ни разу не прикоснулся к этой руке губами...

«Итальянки,— думал он,— вопреки молве о них, стыдливы и строги... А уж Джемма и подавно! Царица... богиня... мрамор девственный и чистый...

Но придет время — и оно недалеко...»

Был в ту ночь во Франкфурте один счастливый человек... Он спал; но он мог сказать про себя словами поэта:

Я сплю... но сердце чуткое не спит...

Оно и билось так легко, как бьет крылами мотылек, приникший к цветку и облитый летним солнцем.

XXVII

В пять часов Санин проснулся, в шесть уже был одет, в половине седьмого расхаживал по публичному саду, в виду небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке.

Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь; но протянутая рука ничего не ощущала, и только глядя на рукав платья, можно было заметить следы крохотных, как мельчайший бисер, капель; но и те скоро прекратились. Ветра — точно на свете никогда не бывало. Каждый звук не летел, а разливался кругом; в отдалении чуть сгущался беловатый пар, в воздухе пахло резедой и цветами белых акаций.

На улицах еще не открывались лавки, но уже показались пешеходы; изредка стучала одинокая карета... В саду гулявших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин принять это убогое существо за Джемму — и, однако же, сердце в нем ёкнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном.

Семь! прогудели часы на башне.

Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холода внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повторился в нем мгновенье спустя, но уже от другой причины. Санин услышал за собою легкие шаги, легкий шум женской одежды... Он обернулся: она!

Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову в сторону — и, поравнявшись с ним, быстро прошла мимо.

— Джемма,— проговорил он едва слышно.

Она слегка кивнула ему — и продолжала идти вперед. Он последовал за нею.

Он дышал прерывисто. Ноги плохо его слушались.

Джемма миновала беседку, взяла направо, миновала небольшой плоский бассейн, в котором хлопотливо плескался воробей, и, зайдя за клумбу высоких сиреней, опустилась на скамью. Место было уютное и закрытое. Санин сел возле нее.

Прошла минута — и ни он, ни она слова не промолвили; она даже не глядела на него — и он глядел ей не в лицо, а на сложенные руки, в которых она держала маленький зонтик. Что было говорить? Что было сказать такого, что по значению своему могло бы равняться одному их присутствию здесь, вместе, наедине, так рано, так близко друг от друга?

— Вы... на меня не сердитесь? — произнес наконец Санин.

Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих слов... он сам это сознавал... Но по крайней мере молчание было нарушено.

— Я? — отвечала она.— За что? Нет.

— И вы верите мне? — продолжал он.

— Тому, что вы написали?

— Да.

Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, прежде чем он упал на дорожку.

— Ах, верьте мне, верьте тому, что я писал вам,— воскликнул Санин; вся робость его вдруг исчезла — он заговорил с жаром.— Если есть на земле правда, святая, несомненная правда,— так это то, что я люблю вас, люблю вас страстно, Джемма!

Она бросила на него косвенный, мгновенный взгляд — и опять чуть не уронила зонтик.

— Верьте мне, верьте мне,— твердил он. Он умолял ее, протягивал к ней руки и не смел коснуться ее.— Что вы хотите, чтобы я сделал... чтоб убедить вас?

Она опять глянула на него.

— Скажите, monsieur Dimitri,— начала она,— третьего дня, когда вы пришли меня уговаривать,— вы, стало быть, еще не знали... не чувствовали...

— Я чувствовал,— подхватил Санин,— но не знал. Я полюбил вас с самого того мгновенья, как я вас увидел,— но не тотчас понял, чем вы стали для меня! К тому

же я услыхал, что вы обрученная невеста... Что же касается до поручения вашей матушки,— то, во-первых, как бы я мог отказаться? а, во-вторых,— я, кажется, *так* передал вам это поручение, что вы могли догадаться...

Послышались тяжелые шаги, и довольно плотный господин, с саквояжем через плечо, очевидно иностранец, выдвинулся из-за клумбы — и, с бесцеремонностью заезжего путешественника окинув взором сидевшую на скамейке парочку, громко кашлянул и прошел далее.

— Ваша матушка,— заговорил Санин, как только стук тяжелых ног затих,— сказала мне, что ваш отказ произведет скандал (Джемма чуть-чуть нахмурилась); что я отчасти сам подал повод к неблаговидным толкам и что... следовательно... на мне — до некоторой степени — лежала обязанность уговорить вас не отказывать вашему жениху, г-ну Клюберу...

— Monsieur Dimitri,— промолвила Джемма и провела рукой по волосам со стороны, обращенной к Санину,— не называйте, пожалуйста, г-на Клюбера моим женихом. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала.

— Вы ему отказали? Когда?

— Вчера.

— Ему самому?

— Ему самому. У нас в доме. Он приходил к нам.

— Джемма! Стало быть, вы любите меня?

Она обернулась к нему.

— Иначе... разве бы я пришла сюда?— шепнула она, и обе ее руки упали на скамью.

Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежавшие руки — и прижал их к своим глазам, к своим губам... Вот когда взвилась та завеса, которая мерещилась ему накануне! Вот оно, счастье, вот его лучезарный лик!

Он приподнял голову и посмотрел на Джемму — прямо и смело. Она тоже смотрела на него — несколько сверху вниз. Взор ее полузакрытых глаз едва мерцал, залитый легкими, блаженными слезами. А лицо не улыбалось... нет! оно смеялось, тоже блаженным, хотя беззвучным смехом.

Он хотел привлечь ее к себе на грудь, но она отклонилась и, не переставая смеяться тем же беззвучным смехом, отрицательно покачала головою. «Подожди»,— казалось, говорили ее счастливые глаза.

— О, Джемма! — воскликнул Санин,— мог ли я думать, что ты (сердце в нем затрепетало, как струна, когда

его губы в первый раз произнесли это «ты») — что ты меня полюбишь!

— Я сама не ожидала этого,— тихо проговорила Джемма.

— Мог ли я думать,— продолжал Санин,— мог ли я думать, подъезжая к Франкфурту, где я полагал остаться всего несколько часов, что я здесь найду счастье всей моей жизни!

— Всей жизни? Точно? — спросила Джемма.

— Всей жизни, навек и навсегда! — воскликнул Санин с новым порывом.

Лопата садовника внезапно заскребла в двух шагах от скамейки, на которой они сидели.

— Пойдем домой,— шепнула Джемма,— пойдем вместе — хочешь?

Если б она сказала ему в это мгновенье: «Бросься в море — *хочешь*?» — она не договорила бы последнего слова, как уж он бы летел стремглав в бездну.

Они вместе вышли из саду и направились к дому, не городскими улицами, а предместьем.

XXVIII

Санин шел то рядом с Джеммой, то несколько позади ее, не спускал с нее глаз и не переставал улыбаться. А она как будто спешила... как будто останавливалась. Правду сказать, оба они, он весь бледный, она вся розовая от волнения, подвигались вперед, как отуманенные. То, что они сделали вдвоем несколько мгновений тому назад — это отдание своей души другой душе,— было так сильно, и ново, и жутко; так внезапно всё в их жизни переставилось и переменилось, что они оба не могли опомниться и только сознавали подхвативший их вихорь, подобный тому ночному вихрю, который чуть-чуть не бросил их в объятия друг другу. Санин шел и чувствовал, что он даже иначе глядит на Джемму: он мгновенно заметил несколько особенностей в ее походке, в ее движениях,— и, боже мой! как они были ему бесконечно дороги и милы! И она чувствовала, что он *так* на нее глядит.

Санин и она — полюбили в первый раз; все чудеса первой любви совершались над ними. Первая любовь — та же революция: однообразно-правильный строй сложившейся жизни разбит и разрушен в одно мгновенье, молодость стоит на баррикаде, высоко вьется ее яркое знамя, и что

бы там впереди ее ни ждало — смерть или новая жизнь,— всему она шлет свой восторженный привет.

— Что? это никак наш старик? — промолвил Санин, указывая пальцем на закутанную фигуру, которая поспешно пробиралась сторонкой, как бы стараясь остаться незамеченной. Среди избытка блаженства он ощущал потребность говорить с Джеммой не о любви — то было дело решенное, святое,— а о чем-нибудь другом.

— Да, это Панталеоне,— весело и счастливо отвечала Джемма.— Он, наверное, вышел из дому по моим пятам; он уже вчера целый день следил за каждым моим шагом... Он догадывается!

— Он догадывается! — с восхищением повторил Санин. Что бы такое могла сказать Джемма, от чего он не пришел бы в восхищение?

Потом он попросил ее рассказать подробно всё, что именно произошло накануне.

И она немедленно начала рассказывать, спеша, путаясь, улыбаясь, вздыхая короткими вздохами и меняясь с Саниным короткими светлыми взглядами. Она рассказала ему, как, после третьегодняшнего разговора, мама всё хотела добиться от нее, Джеммы, чего-нибудь положительного; как она отделалась от фрау Леноры обещанием сообщить свое решение в течение суток; как она выпросила себе этот срок — и как это было трудно; как совершенно неожиданно явился г-н Клюбер, более чопорный и накрахмаленный, чем когда-либо; как он изъявил свое негодование по поводу мальчишески-непростительной и для него, Клюбера, глубоко оскорбительной (так именно он выразился) выходки русского незнакомца — он разумел *твою* дуэль — и как он потребовал, чтобы *тебе* немедленно отказали от дому. «Потому,— прибавил он,— и тут Джемма слегка передразнила его голос и манеру,— это бросает тень на мою честь; как будто я не сумел бы заступиться за свою невесту, если б нашел это необходимым или полезным! Весь Франкфурт завтра узнает, что чужой дрался с офицером за мою невесту,— на что это похоже? Это марает мою честь!» Мама с ним соглашалась — представь! — но тут я ему вдруг объявила, что он напрасно беспокоится о своей чести и о своей персоне, напрасно оскорбляется толками о своей *невесте* — потому что я больше ему не невеста, и никогда его женой не буду! Признаться, я хотела было сперва поговорить с вами... с тобою, прежде чем отказать ему окончательно; но он

пришел... и я не могла удержаться. Мама даже закричала от испуга, а я вышла в другую комнату и принесла ему его кольцо — ты не заметил, я уже два дня тому назад сняла это кольцо — и отдала ему. Он ужасно обиделся; но так как он ужасно самолюбив и чванлив, то он не стал много разговаривать — и ушел. Разумеется, мне пришлось много вытерпеть от мамы, и очень мне было больно видеть, как она огорчалась,— и думала я, что я немножко поторопилась; но ведь у меня была твоя записка — и я без того уже знала...

— Что я тебя люблю,— подхватил Санин.

— Да... что ты полюбил меня.

Так говорила Джемма, путаясь и улыбаясь, и понижая всякий раз голос или вовсе умолкая, когда кто-нибудь шел ей навстречу или проходил мимо. А Санин слушал восторженно, наслаждаясь самым звуком ее голоса, как накануне он любовался ее почерком.

— Мама чрезвычайно огорчена,— начала снова Джемма,— и слова ее быстро-быстро бежали одно за другим,— она никак не хочет взять в соображение то, что г-н Клюбер мог мне опротиветь, что я и выходила-то за него не по любви, а вследствие ее усиленных просьб... Она подозревает... вас... тебя; то есть, прямо говоря, она уверена, что я тебя полюбила,— и это ей тем больнее, что еще третьего дня ей ничего подобного в голову не приходило, и она даже поручала тебе меня уговаривать... А странное это было поручение — не правда ли? Теперь она тебя... вас величает хитрецом, лукавым человеком, говорит, что вы обманули ее доверие, и предсказывает мне, что меня вы обманете...

— Но, Джемма,— воскликнул Санин,— разве ты ей не сказала...

— Я ничего не сказала! Какое я имела право, не переговоривши с вами?

Санин всплеснул руками.

— Джемма, я надеюсь, что теперь по крайней мере ты во всем ей сознаешься, ты приведешь меня к ней... Я хочу доказать твоей матушке, что я не обманщик!

Грудь Санина так и вздымалась от прилива великодушных и пламенных чувств!

Джемма глянула на него во все глаза.

— Вы точно хотите идти теперь к маме со мною? к маме, которая уверяет, что... что всё это между нами невозможно — и никогда сбыться не может?

Было одно слово, которое Джемма не решалась выговорить... Оно жгло ей губы; но тем охотнее произнес его Санин.

— Вступить с тобою в брак, Джемма, быть твоим мужем — я выше блаженства не знаю!

Ни любви своей, ни своему великодушию, ни решимости своей он уже не знал никаких пределов.

Услышав эти слова, Джемма, которая остановилась было на мгновенье, пошла еще скорее... Она как будто хотела убежать от этого слишком великого и нежданного счастья!

Но вдруг у ней ноги подкосились. Из-за угла переулка, в нескольких шагах от нее, в новой шляпе и новой бекеше, прямой, как стрела, завитый, как пудель, появился г-н Клюбер. Он увидал Джемму, увидал Санина — и, как-то внутренно фыркнув и перегнув назад свой гибкий стан, щегольски пошел им навстречу. Санина покоробило; но, взглянув на клюберовское лицо, которому владелец его, насколько в нем хватало уменья, тщился придать выражение презрительного изумления и даже соболезнования,— взглянув на это румяное, пошлое лицо, он внезапно почувствовал прилив гнева — и шагнул вперед.

Джемма схватила его руку и, с спокойной решительностью подав ему свою, посмотрела прямо в лицо своему бывшему жениху... Тот прищурился, съежился, вильнул в сторону и, пробормотав сквозь зубы: «Обычный конец песенки!» (Das alte Ende vom Liede!) — удалился той же щегольской, слегка подпрыгивающей походкой.

— Что он сказал, негодяй? — спросил Санин и хотел было броситься вслед за Клюбером; но Джемма его удержала и пошла с ним дальше, уже не принимая руки, продетой в его руку.

Кондитерская Розелли показалась впереди. Джемма еще раз остановилась.

— Dimitri, monsieur Dimitri,— сказала она,— мы еще не вошли туда, мы еще не видели мамы... Если вы хотите еще подумать, если... вы еще свободны, Димитрий.

В ответ ей Санин крепко-крепко притиснул ее руку к своей груди и повлек ее вперед.

— Мама,— сказала Джемма, входя с Саниным в комнату, где сидела фрау Леноре,— я привела настоящего!

XXIX

Если бы Джемма объявила, что привела с собою холеру или самую смерть, фрау Леноре, должно полагать, не могла бы с бо́льшим отчаянием принять это известие. Она немедленно села в угол, лицом к стене,— и залилась слезами, почти заголосила, ни дать ни взять русская крестьянка над гробом мужа или сына. На первых порах Джемма до того смутилась, что даже не подошла к матери — и остановилась, как статуя, посреди комнаты; а Санин совсем потерялся — хоть самому удариться в слезы! Целый час продолжался этот безутешный плач, целый час! Панталеоне почел за лучшее запереть наружную дверь кондитерской, как бы кто чужой не вошел — благо, пора стояла ранняя. Старик сам чувствовал недоумение — и во всяком случае не одобрял поспешности, с которой поступили Джемма и Санин, а, впрочем, осуждать их не решался и готов был оказать им покровительство — в случае нужды: уж очень не любил он Клюбера! Эмиль считал себя посредником между своим другом и сестрой — и чуть не гордился тем, что как это всё превосходно удалось! Он никак не в состоянии был понять, чего фрау Леноре так убивается, и в сердце своем он тут же решил, что женщины, даже самые лучшие, страдают отсутствием сообразительной способности! Санину приходилось хуже всех. Фрау Леноре поднимала вопль и отмахивалась руками, как только он приближался к ней,— и напрасно он попытался, стоя в отдалении, несколько раз громко воскликнуть: «Прошу руки вашей дочери!» Фрау Леноре особенно досадовала на себя за то, что «как могла она быть до того слепою — и ничего не видеть!» «Был бы мой Джиован' Баттиста жив,— твердила она сквозь слезы,— ничего бы этого не случилось!» — «Господи, что же это такое? — думал Санин,— ведь это глупо наконец!» Ни сам он не смел взглянуть на Джемму, ни она не решалась поднять на него глаза. Она ограничивалась тем, что терпеливо ухаживала за матерью, которая сначала и ее отталкивала...

Наконец, мало-помалу буря утихла. Фрау Леноре перестала плакать, дозволила Джемме вывести ее из угла, куда она забилась, усадить ее в кресло возле окна и дать ей напиться воды с флёр-д'оранжем; дозволила Санину — не приблизиться... о нет! — но по крайней мере остаться в комнате (прежде она всё требовала, чтобы он удалился) и не перебивала его, когда он говорил. Санин немедленно

воспользовался наступившим штилем — и выказал красноречие изумительное: едва ли бы сумел он с таким жаром и с такой убедительностью изложить свои намерения и свои чувства перед самой Джеммой. Эти чувства были самые искренние, эти намерения — самые чистые, как у Альмавивы в «Севильском цирюльнике». Он не скрывал ни от фрау Леноры, ни от самого себя невыгодной стороны этих намерений; но эти невыгоды были только кажущиеся! Правда: он чужестранец, с ним недавно познакомились, не знают ничего положительного ни об его личности, ни об его средствах; но он готов привести все нужные доказательства того, что он человек порядочный и не бедный; он сошлется на самые несомненные свидетельства своих соотчичей! Он надеется, что Джемма будет счастлива с ним и что он сумеет усладить ей разлуку с родными!.. Упоминовение разлуки — одно это слово «разлука» — чуть было не испортило всего дела... Фрау Леноре так и затрепетала вся и заметалась... Санин поспешил заметить, что разлука будет только временная — и что, наконец, быть может, ее не будет вовсе!

Красноречие Санина не пропало даром. Фрау Леноре начала взглядывать на него, хотя всё еще с горестью и упреком, но уже не с прежним отвращением и гневом; потом она позволила ему подойти и даже сесть возле нее (Джемма сидела по другую сторону); потом она стала упрекать его — не одними взорами, но словами, что уже означало некоторое смягчение ее сердца; она стала жаловаться, и жалобы ее становились всё тише и мягче; они чередовались вопросами, обращенными то к дочери, то к Санину; потом она позволила ему взять ее за руку и не тотчас отняла ее... потом она заплакала опять — но уже совсем другими слезами... потом она грустно улыбнулась и пожалела об отсутствии Джиован'Баттиста, но уже в другом смысле, чем прежде ... Прошло еще мгновенье — и оба преступника, Санин и Джемма, уже лежали на коленях у ног ее, и она клала им поочередно свои руки на головы; прошло другое мгновенье — и они уже обнимали и целовали ее, и Эмиль, с сияющим от восторга лицом, вбежал в комнату и тоже бросился к тесно сплоченной группе.

Панталеоне глянул в комнату, ухмыльнулся и нахмурился в одно и то же время — и, отправившись в кондитерскую, отпер наружную дверь.

XXX

Переход от отчаяния к грусти, а от нее к «тихой резиньяции» совершился довольно скоро в фрау Леноре; но и эта тихая резиньяция не замедлила превратиться в тайное довольство, которое, однако, всячески скрывалось и сдерживалось ради приличия. Санин с первого дня знакомства пришелся по нутру фрау Леноре; свыкшись с мыслию, что он будет ее зятем, она уже не находила в ней ничего особенно неприятного, хотя и считала долгом сохранять на лице своем несколько обиженное... скорей озабоченное выражение. К тому же всё, что произошло в последние дни, было так необычайно... Одно к одному! Как женщина практическая и как мать, фрау Леноре почла также своим долгом подвергнуть Санина разнообразным вопросам, и Санин, который, отправляясь утром на свидание с Джеммой, и в помыслах не имел, что он женится на ней,— правда, он ни о чем тогда не думал, а только отдавался влечению своей страсти, — Санин с полной готовностью и, можно сказать, с азартом вошел в свою роль, роль жениха, и на все расспросы отвечал обстоятельно, подробно, охотно. Удостоверившись, что он настоящий, природный дворянин, и даже несколько удивившись тому, что он не князь, фрау Леноре приняла серьезный вид и — «предупредила его заранее», что будет с ним совершенно бесцеремонно откровенна, потому что к этому принуждает ее священная обязанность матери! — на что Санин отвечал, что он от нее иного не ожидал, и сам ее убедительно просит не щадить его!

Тогда фрау Леноре заметила ему, что г-н Клюбер (произнесши это имя, она слегка вздохнула и сжала губы и запнулась) — г-н Клюбер, *бывший* Джеммин жених, уже теперь обладает восемью тысячами гульденов дохода — и с каждым годом эта сумма будет быстро увеличиваться,— а его, г-на Санина, каков доход?

— Восемь тысяч гульденов,— повторил протяжно Санин.— Это на наши деньги — около пятнадцати тысяч рублей ассигнациями... Мой доход гораздо меньше. У меня есть небольшое имение в Тульской губернии... При хорошо устроенном хозяйстве оно может дать — и даже непременно должно дать тысяч пять или шесть... Да если я поступлю на службу — я легко могу получить тысячи две жалованья.

— На службу в России? — воскликнула фрау Леноре.— Я, стало быть, должна расстаться с Джеммой!

— Можно будет определиться по дипломатической части,— подхватил Санин,— у меня есть некоторые связи... Тогда служба происходит за границей. А то вот еще что можно будет сделать — и это гораздо лучше всего: продать имение и употребить вырученный капитал на какое-нибудь выгодное предприятие, например, на усовершенствование вашей кондитерской.

Санин и чувствовал, что говорит нечто несообразное, но им овладела непонятная отвага! Он глянет на Джемму, которая с тех пор, как начался «практический» разговор, то и дело вставала, ходила по комнате, садилась опять,— глянет он на нее — и нет для него препятствий, и готов он устроить всё, сейчас, самым лучшим образом, лишь бы она не тревожилась!

— Г-н Клюбер тоже хотел дать мне небольшую сумму на поправку кондитерской,— промолвила, после небольшого колебания, фрау Леноре.

— Матушка! ради бога! матушка! — воскликнула Джемма по-итальянски.

— Об этих вещах надо говорить заблаговременно, дочь моя,— отвечала ей фрау Леноре на том же языке.

Она снова обратилась к Санину и стала его расспрашивать о том, какие законы существуют в России насчет браков и нет ли препятствий для вступления в супружество с католичками,— как в Пруссии? (В то время, в сороковом году, вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.) Когда же фрау Леноре услыхала, что, выйдя замуж за русского дворянина, ее дочь сама станет дворянкой,— она выказала некоторое удовольствие.

— Но ведь вы должны сперва отправиться в Россию?

— Зачем?

— А как же? Получить позволение от вашего государя?

Санин объяснил ей, что это вовсе не нужно... но что, быть может, ему точно придется перед свадьбой съездить на самое короткое время в Россию (он сказал эти слова — и сердце в нем болезненно сжалось, глядевшая на него Джемма поняла, что оно сжалось, и покраснела и задумалась) — и что он постарается воспользоваться своим пребыванием на родине, чтобы продать имение... во всяком случае, он вывезет оттуда нужные деньги.

— Я бы также попросила вас привезти мне оттуда астраханские хорошие мерлушки на мантилью,— проговорила фрау Леноре.— Они там, по слухам, удивительно хороши и удивительно дешевы!

— Непременно, с величайшим удовольствием привезу и вам, и Джемме! — воскликнул Санин.

— А мне вышитую серебром сафьянную шапочку,— вмешался Эмиль, выставив голову из соседней комнаты.

— Хорошо, привезу и тебе... и Панталеоне туфли.

— Ну к чему это? к чему? — заметила фрау Леноре.— Мы говорим теперь о серьезных вещах. Но вот еще что,— прибавила практическая дама.— Вы говорите: продать имение. Но как же вы это сделаете? Вы, стало быть, и крестьян тоже продадите?

Санина точно что в бок кольнуло. Он вспомнил, что, разговаривая с г-жой Розелли и ее дочерью о крепостном праве, которое, по его словам, возбуждало в нем глубокое негодование, он неоднократно заверял их, что никогда и ни за что своих крестьян продавать не станет, ибо считает подобную продажу безнравственным делом.

— Я постараюсь продать мое имение человеку, которого я буду знать с хорошей стороны,— произнес он не без запинки,— или, быть может, сами крестьяне захотят откупиться.

— Это лучше всего,— согласилась и фрау Леноре.— А то продавать живых людей...

— Barbari! [1] — проворчал Панталеоне, который, вслед за Эмилем, показался было у дверей, тряхнул тупеем и скрылся.

«Скверно!» — подумал про себя Санин — и украдкой поглядел на Джемму. Она, казалось, не слышала его последних слов. «Ну ничего!» — подумал он опять.

Таким манером продолжался практический разговор почти вплоть до самого обеда. Фрау Леноре совсем укротилась под конец — и называла уже Санина Дмитрием, ласково грозила ему пальцем и обещала отомстить за его коварство. Много и подробно расспрашивала она об его родне, потому что — «это тоже очень важно»; потребовала также, чтобы он описал ей церемонию брака, как он совершается по обряду русской церкви,— и заранее восхищалась Джеммой в белом платье, с золотой короной на голове.

[1] Варвары! *(итал.)*.

— Ведь она у меня красива, как королева,— промолвила она с материнской гордостью,— да и королев таких на свете нет!

— Другой Джеммы на свете нет! — подхватил Санин.

— Да; оттого-то она и — Джемма! (Известно, что на итальянском языке Джемма значит: драгоценный камень.)

Джемма бросилась целовать свою мать... Казалось, только теперь она вздохнула свободно — и удручавшая ее тяжесть спала с ее души.

А Санин вдруг почувствовал себя до того счастливым, такою детскою веселостью наполнилось его сердце при мысли, что вот сбылись же, сбылись те грезы, которым он недавно предавался в тех же самых комнатах; всё существо его до того взыграло, что он немедленно отправился в кондитерскую; он пожелал непременно, во что бы то ни стало, поторговать за прилавком, как несколько дней тому назад... «Я, мол, имею полное теперь на это право! Я ведь теперь домашний человек!»

И он действительно стал за прилавок и действительно поторговал, то есть продал двум зашедшим девочкам фунт конфект, вместо которого он им отпустил целых два, взявши с них только полцены.

За обедом он официально, как жених, сидел рядом с Джеммой. Фрау Леноре продолжала свои практические соображения. Эмиль то и дело смеялся и приставал к Санину, чтобы тот его взял с собой в Россию. Было решено, что Санин уедет через две недели. Один Панталеоне являл несколько угрюмый вид, так что даже фрау Леноре ему попеняла: «А еще секундантом был!» — Панталеоне взглянул исподлобья.

Джемма молчала почти всё время, но никогда ее лицо не было прекраснее и светлее. После обеда она отозвала Санина на минуту в сад и, остановившись около той самой скамейки, где она третьего дня отбирала вишни, сказала ему:

— Димитрий, не сердись на меня; но я еще раз хочу напомнить тебе, что ты не должен почитать себя связанным...

Он не дал ей договорить...

Джемма отклонила свое лицо.

— А насчет того, что мама упомянула — помнишь? — о различии нашей веры, то вот!..

Она схватила гранатовый крестик, висевший у ней на шее на тонком шнурке, сильно дернула и оборвала шнурок — и подала ему крестик.

— Если я твоя, так и вера твоя — моя вера!

Глаза Санина были еще влажны, когда он вместе с Джеммой вернулся в дом.

К вечеру всё пришло в обычную колею. Даже в тресетте поиграли.

XXXI

Санин проснулся очень рано на следующий день. Он находился на высшей степени человеческого благополучия; но не это мешало ему спать; вопрос, жизненный, роковой вопрос: каким образом он продаст свое имение как можно скорее и как можно выгоднее — тревожил его покой. В голове его скрещивались различнейшие планы, но ничего пока еще не выяснилось. Он вышел из дому, чтобы проветриться, освежиться. С готовым проектом — не иначе — хотел он предстать перед Джеммой.

Что это за фигура, достаточно грузная и толстоногая, впрочем, прилично одетая, идет перед ним, слегка переваливаясь и ковыляя? Где видел он этот затылок, поросший белобрысыми вихрами, эту голову, как бы насаженную прямо на плечи, эту мягкую, жирную спину, эти пухлые отвислые руки? Неужели это — Полозов, его старинный пансионский товарищ, которого он уже вот пять лет, как потерял из виду? Санин обогнал шедшую перед ним фигуру, обернулся... Широкое желтоватое лицо, маленькие свиные глазки с белыми ресницами и бровями, короткий, плоский нос, крупные, словно склеенные губы, круглый, безволосый подбородок — и это выражение всего лица, кислое, ленивое и недоверчивое — да точно: это он, это Ипполит Полозов!

«Уж не опять ли моя звезда действует?» — мелькнуло в мыслях Санина.

— Полозов! Ипполит Сидорыч! Это ты?

Фигура остановилась, подняла свои крохотные глаза, подождала немного — и, расклеив, наконец, свои губы, проговорила сиповатой фистулой:

— Дмитрий Санин?

— Он самый и есть! — воскликнул Санин и пожал одну из рук Полозова; облеченные в тесные лайковые перчатки серо-пепельного цвета, они по-прежнему безжизненно висели вдоль его выпуклых ляжек. — Давно ли ты здесь? Откуда приехал? Где остановился?

— Я приехал вчера из Висбадена,— отвечал, не спеша, Полозов,— за покупками для жены и сегодня же возвращаюсь в Висбаден.

— Ах, да! Ведь ты женат — и, говорят, на такой красавице!

Полозов повел в сторону глазами.

— Да, говорят.

Санин засмеялся.

— Я вижу, ты всё такой же... флегматик, каким ты был в пансионе.

— На что я буду меняться?

— И говорят,— прибавил Санин с особым ударением на слово «говорят»,— что твоя жена очень богата.

— Говорят и это.

— А тебе самому, Ипполит Сидорыч, разве это неизвестно?

— Я, брат, Дмитрий... Павлович? — да, Павлович! в женины дела не мешаюсь.

— Не мешаешься? Ни в какие дела?

Полозов опять повел глазами.

— Ни в какие, брат. Она — сама по себе... ну и я — сам по себе.

— Куда же ты теперь идешь? — спросил Санин.

— Теперь я никуда не иду; стою на улице и с тобой беседую; а вот как мы с тобой покончим, отправлюсь к себе в гостиницу и буду завтракать.

— Меня в товарищи — хочешь?

— То есть это ты насчет завтрака?

— Да.

— Сделай одолжение, есть вдвоем гораздо веселее. Ты ведь не говорун?

— Не думаю.

— Ну и ладно.

Полозов двинулся вперед, Санин отправился с ним рядом. И думалось Санину — губы Полозова опять склеились, он сопел и переваливался молча,— думалось Санину: каким образом удалось этому чурбану подцепить красивую и богатую жену? Сам он ни богат, ни знатен, ни умен; в пансионе слыл за вялого и тупого мальчика,

за соню и обжору — и прозвище носил «слюняя». Чудеса!

«Но если жена его очень богата — сказывают, она дочь какого-то откупщика,— то не купит ли она мое имение? Хотя он и говорит, что ни в какие женины дела не входит, но ведь этому веры дать нельзя! Притом же и цену я назначу сходную, выгодную цену! Отчего не попытаться? Быть может, это всё моя звезда действует... Решено! попытаюсь!»

Полозов привел Санина в одну из лучших гостиниц Франкфурта, в которой занимал уже, конечно, лучший номер. На столах и стульях громоздились картоны, ящики, свертки... «Всё, брат, покупки для Марьи Николаевны!» (так звали жену Ипполита Сидорыча). Полозов опустился в кресло, простонал: «Эка жара!» — и развязал галстух. Потом позвонил обер-кельнера и тщательно заказал ему обильнейший завтрак. «А в час чтобы карета была готова! Слышите, ровно в час!»

Обер-кельнер подобострастно наклонился и рабски исчез.

Полозов расстегнул жилет. По одному тому, как он приподнимал брови, отдувался и морщил нос, можно было видеть, что говорить будет для него большою тягостью и что он не без некоторой тревоги ожидал, заставит ли его Санин ворочать языком, или сам возьмет на себя труд вести беседу?

Санин понял настроение своего приятеля и потому не стал обременять его вопросами; ограничился лишь самым необходимым; узнал, что он два года состоял на службе (в уланах! то-то, чай, хорош был в коротком-то мундирчике!), три года тому назад женился — и вот уже второй год находится за границей с женой, «которая теперь от чего-то лечится в Висбадене»,— а там отправляется в Париж. С своей стороны, Санин также мало распространялся о своей прошедшей жизни, о своих планах; он прямо приступил к главному — то есть заговорил о своем намерении продать имение.

Полозов слушал его молча, лишь изредка взглядывая на дверь, откуда должен был явиться завтрак. Завтрак явился наконец. Обер-кельнер, в сопровождении двух других слуг, принес несколько блюд под серебряными колпаками.

— Это в Тульской губернии имение? — промолвил

Полозов, садясь за стол и затыкая салфетку за ворот рубашки.

— В Тульской.

— Ефремовского уезда... Знаю.

— Ты мою Алексеевку знаешь? — спросил Санин, тоже садясь за стол.

— Знаю, как же.— Полозов запихал себе в рот кусок яичницы с трюфелями.— У Марьи Николаевны — жены моей — по соседству есть имение... Откупорьте эту бутылку, кельнер! Земля порядочная — только мужики у тебя лес вырубили. Ты зачем же продаешь?

— Деньги нужны, брат. Я бы дешево продал. Вот бы тебе купить... Кстати.

Полозов проглотил стакан вина, утерся салфеткой и опять принялся жевать — медленно и шумно.

— Н-да,— проговорил он наконец...— Я имений не покупаю: капиталов нет. Пододвинь-ка масло. Разве вот жена купит. Ты с ней поговори. Коли дорого не запросишь — она этим не брезгает... Экие, однако, эти немцы — ослы! Не умеют рыбу сварить. Чего, кажется, проще? А еще толкуют: фатерланд, мол, объединить следует. Кельнер, примите эту мерзость!

— Неужели же твоя жена сама распоряжается... по хозяйству? — спросил Санин.

— Сама. Вот котлеты — хороши. Рекомендую. Я сказал тебе, Дмитрий Павлович, что ни в какие женины дела я не вхожу, и теперь тебе то же повторяю.

Полозов продолжал чавкать.

— Гм... Но как я с ней переговорить могу, Ипполит Сидорыч?

— А очень просто, Дмитрий Павлович. Отправляйся в Висбаден. Отсюда недалече. Кельнер, нет ли у вас английской горчицы? Нет? Скоты! Только времени не теряй. Мы послезавтра уезжаем. Позволь, я тебе налью рюмку: с букетом вино — не кислятина.

Лицо Полозова оживилось и покраснело; оно и оживлялось только тогда, когда он ел... или пил.

— Право же... я не знаю, как это сделать? — пробормотал Санин.

— Да что тебе так вдруг приспичило?

— То-то и есть, что приспичило, брат.

— И большая сумма нужна?

— Большая. Я... как бы это тебе сказать? я затеял... жениться.

Полозов поставил на стол рюмку, которую поднес было к губам.

— Жениться! — промолвил он хриплым, от изумленья хриплым, голосом и сложил свои пухлые руки на желудке.— Так скоропостижно?

— Да... скоро.

— Невеста — в России, разумеется?

— Нет, не в России.

— Где же?

— Здесь, во Франкфурте.

— И кто она?

— Немка; то есть нет — итальянка. Здешняя жительница.

— С капиталом?

— Без капитала.

— Стало быть, любовь уж очень сильная?

— Какой ты смешной! Да, сильная.

— И для этого тебе деньги нужны?

— Ну да... да, да.

Полозов проглотил вино, выполоскал себе рот и руки вымыл, старательно вытер их о салфетку, достал и закурил сигару. Санин молча глядел на него.

— Одно средство,— промычал наконец Полозов, закидывая назад голову и выпуская дым тонкой струйкой.— Ступай к жене. Она, коли захочет, всю беду твою руками разведет.

— Да как я ее увижу, жену твою? Ты говоришь, вы послезавтра уезжаете?

Полозов закрыл глаза.

— Знаешь, что я тебе скажу,— проговорил он наконец, вертя губами сигару и вздыхая.— Ступай-ка домой, снарядись попроворнее да приходи сюда. В час я выезжаю, карета у меня просторная — я тебя с собой возьму. Этак всего лучше. А теперь я посплю. Я, брат, как поем, непременно поспать должен. Натура требует — и я не противлюсь. И ты не мешай мне.

Санин подумал, подумал — и внезапно поднял голову: он решился!

— Ну хорошо, согласен — и благодарю тебя. В половине первого я здесь — и мы отправимся вместе в Висбаден. Я надеюсь, жена твоя не рассердится...

Но Полозов уже сопел. Пролепетал: Не мешай! — поболтал ногами и заснул, как младенец.

Санин еще раз окинул взором его грузную фигуру, его голову, шею, его высоко поднятый, круглый, как яблоко, подбородок — и, выйдя из гостиницы, проворными шагами направился к кондитерской Розелли. Надо было предварить Джемму.

XXXII

Он застал ее в кондитерской комнате, вместе с матерью. Фрау Леноре, перегнувши спину, измеряла небольшим складным футом промежуток между окнами. Увидя Санина, она выпрямилась и весело приветствовала его, не без маленького замешательства, однако.

— У меня, с ваших вчерашних слов,— начала она,— всё в голове вертятся мысли, как бы нам улучшить наш магазин. Вот тут, я полагаю, два шкапчика с зеркальными полочками поставить. Теперь, знаете, это в моде. И потом еще...

— Прекрасно, прекрасно,— перебил ее Санин,— это всё надо будет сообразить... Но подите-ка сюда, я вам что сообщу.

Он взял фрау Леноре и Джемму под руки и повел их в другую комнату. Фрау Леноре встревожилась и мерку из рук выронила. Джемма встревожилась было тоже, но глянула попристальнее на Санина и успокоилась. Лицо его, правда, озабоченное, выражало в то же время оживленную бодрость и решимость.

Он попросил обеих женщин сесть, а сам стал перед ними — и, размахивая руками да ероша волосы, сообщил им всё: встречу с Полозовым, предполагаемую поездку в Висбаден, возможность продажи имения.

— Вообразите мое счастье,— воскликнул он наконец,— дело приняло такой оборот, что мне даже, быть может, незачем будет ехать в Россию! И свадьбу мы можем сыграть гораздо скорее, чем я предполагал!

— Когда вы должны ехать? — спросила Джемма.

— Сегодня же — через час; мой приятель нанял карету — он меня довезет.

— Вы нам напишете?

— Немедленно! как только переговорю с этой дамой — так тотчас и напишу.

— Эта дама, вы говорите, очень богата? — спросила практическая фрау Леноре.

— Чрезвычайно! ее отец был миллионером — и всё ей оставил.

— Всё — ей одной? Ну, это ваше счастье. Только смотрите не продешевите вашего имения! Будьте благоразумны и тверды. Не увлекайтесь! Я понимаю ваше желание быть как можно скорее мужем Джеммы... но осторожность прежде всего! Не забудьте: чем вы дороже продадите имение, тем больше останется вам обоим — и вашим детям.

Джемма отвернулась, и Санин опять замахал руками.

— В моей осторожности вы можете быть уверены, фрау Леноре! Да я и торговаться не стану. Скажу ей настоящую цену: даст — хорошо; не даст — бог с ней!

— Вы с ней знакомы... с этой дамой? — спросила Джемма.

— Я ее никогда в лицо не видал.

— И когда же вы вернетесь?

— Если ничем не кончится наше дело — послезавтра; если же оно пойдет на лад — может быть, придется пробыть лишний день или два. Во всяком случае — минуты не промешкаю. Ведь я душу свою оставляю здесь! Однако я с вами заговорился, а мне нужно перед отъездом еще домой сбегать... Дайте мне руку на счастье, фрау Леноре,— у нас в России всегда так делается.

— Правую или левую?

— Левую — ближе к сердцу. Явлюсь послезавтра — со щитом или на щите! Мне что-то говорит: я вернусь победителем. Прощайте, мои добрые, мои милые...

Он обнял и поцеловал фрау Леноре, а Джемму попросил пойти с ним в ее комнату — на минутку, так как ему нужно сообщить ей что-то очень важное. Ему просто хотелось проститься с ней наедине. Фрау Леноре это поняла — и не полюбопытствовала узнать, какая это была такая важная вещь...

Санин никогда еще не бывал в комнате Джеммы. Всё обаяние любви, весь ее огонь, и восторг, и сладкий ужас — так и вспыхнули в нем, так и ворвались в его душу, как только он переступил заветный порог... Он кинул вокруг умиленный взор, пал к ногам милой девушки и прижал лицо свое к ее стану...

— Ты мой? — шепнула она,— ты вернешься скоро?

— Я твой... я вернусь,— твердил он задыхаясь.

— Я буду ждать тебя, мой милый!

Несколько мгновений спустя Санин уже бежал по

улице к себе на квартиру. Он и не заметил того, что вслед за ним из двери кондитерской, весь растрепанный, выскочил Панталеоне — и что-то кричал ему, и потрясал, и как будто грозил высоко поднятой рукою.

Ровно в три четверти первого Санин отъявился к Полозову. У ворот его гостиницы уже стояла карета, запряженная четырьмя лошадьми. Увидав Санина, Полозов только промолвил: «А! решился?» — и, надев шляпу, шинель и калоши, заткнув себе хлопчатой бумагой уши, хотя дело было летом, вышел на крыльцо. Кельнеры, по его указанию, расположили во внутренности кареты все многочисленные его покупки, обложили место его сиденья шелковыми подушечками, сумочками, узелками, поставили в ноги короб с провизией и привязали к козлам чемодан. Полозов расплатился щедрой рукой — и, хотя сзади, но почтительно поддерживаемый услужливым привратником, полез, кряхтя, в карету, уселся, обмял хорошенько всё вокруг себя, выбрал и закурил сигару — и тогда только кивнул пальцем Санину: полезай, мол, и ты! Санин поместился с ним рядом. Полозов приказал через привратника почтальону ехать исправно — если желает получить на водку; подножки загремели, дверцы хлопнули, карета покатилась.

XXXIII

От Франкфурта до Висбадена теперь по железной дороге менее часа езды; в то время экстра-почта поспевала часа в три. Лошадей меняли раз пять. Полозов не то дремал, не то так покачивался, держа сигару в зубах, и говорил очень мало; в окошко не выглянул ни разу: живописными видами он не интересовался и даже объявил, что «природа — смерть его!» Санин тоже молчал и тоже не любовался видами: ему было не до того. Он весь отдался размышлениям, воспоминаниям. На станциях Полозов аккуратно расплачивался, замечал время по часам и награждал почтальонов — мало или много, смотря по их усердию. На полдороге он достал из короба с съестными припасами два апельсина и, выбрав лучший, предложил Санину другой. Санин пристально поглядел на своего спутника — и вдруг рассмеялся.

— Чему ты? — спросил тот, старательно отдирая своими короткими белыми ногтями кожу с апельсина.

— Чему? — повторил Санин.— Да нашему с тобой путешествию.

— А что? — переспросил Полозов, пропуская в рот один из тех продольных ломтиков, на которые распадается мясо апельсина.

— Очень оно уже странно. Вчера я, признаться, так же мало ду̀мал о тебе, как о китайском императоре, а сегодня я еду с тобой продавать мое имение твоей жене, о которой тоже не имею малейшего понятия.

— Всяко бывает,— отвечал Полозов.— Ты только поживи подольше — всего насмотришься. Например, можешь ты себе представить меня подъезжающим на ординарцы? А я подъезжал; а великий князь Михаил Павлович скомандовал: «Рысью, рысью этого толстого корнета! Прибавь рыси!»

Санин почесал у себя за ухом.

— Скажи мне, пожалуйста, Ипполит Сидорыч, какова твоя жена? Нрав у ней каков? Мне ведь это нужно знать.

— Ему хорошо командовать: «рысью!» — с внезапной запальчивостью подхватил Полозов,— а мне-то... мне-то каково? Я и подумал: возьмите вы себе ваши чины да эполеты — ну их с богом! Да... ты о жене спрашивал? Что — жена? Человек, как все. Пальца ей в рот не клади — она этого не любит. Главное, говори побольше... чтобы посмеяться было над чем. Про любовь свою расскажи, что ли... да позабавней, знаешь.

— Как позабавней?

— Да так же. Ведь ты мне сказывал, что влюблен, жениться хочешь. Ну вот, ты это и опиши.

Санин обиделся.

— Что же в этом ты находишь смешного?

Полозов только глазами повел. Сок от апельсина тек по его подбородку.

— Это твоя жена тебя во Франкфурт за покупками посылала? — спросил Санин спустя немного времени.

— Она самая.

— Какие же это покупки?

— Известно: игрушки.

— Игрушки? разве у тебя есть дети?

Полозов даже посторонился от Санина.

— Вона! С какой стати у меня будут дети? Женские колифишэ [1]... Уборы. По части туалета.

— Ты разве в этом толк знаешь?

— Знаю.

— Как же ты мне говорил, что ни во что женино не входишь?

— В другое не вхожу. А это... ничего. От скуки — можно. Да и жена вкусу моему верит. Я ж и торговаться лих.

Полозов начинал говорить отрывисто; он уже устал.

— И очень жена твоя богата?

— Богата-то богата. Только больше для себя.

— Однако, кажется, и ты пожаловаться не можешь?

— На то я муж. Еще бы мне не пользоваться! И полезный же я ей человек! Ей со мной — лафа! Я — удобный!

Полозов утер лицо фуляром и тяжело фукнул: «Пощади, дескать; не заставляй еще произносить слова. Видишь, как оно мне трудно».

Санин оставил его в покое — и снова погрузился в размышления.

Гостиница в Висбадене, перед которой остановилась карета, уже прямо смахивала на дворец. Колокольчики немедленно зазвонили в ее недрах, поднялась суетня и беготня; благообразные люди в черных фраках запрыгали у главного входа; залитый золотом швейцар с размаху отворил дверцы кареты.

Как некий триумфатор высадился Полозов и начал подниматься по устланной коврами и благовонной лестнице. К нему подлетел человек, тоже отлично одетый, но с русским лицом — его камердинер. Полозов заметил ему, что впредь будет всегда брать его с собою, ибо, накануне, во Франкфурте, его, Полозова, оставили на ночь без теплой воды! Камердинер изобразил ужас на лице — и, проворно наклонясь, снял с барина калоши.

— Марья Николаевна дома? — спросил Полозов.

— Дома-с. Изволят одеваться. У графини Ласунской изволят обедать.

— А! у этой!.. Стой! Там вещи в карете, всё выбь сам и внеси. А ты, Дмитрий Павлович,— прибавил По-

---

[1] безделушки (*франц.*: colifichet).

лозов,— возьми себе комнату да через три четверти часа и приходи. Пообедаем вместе.

Полозов поплыл дальше, а Санин спросил себе номер попроще — и, приведя туалет свой в порядок да отдохнув немножко, отправился в громадный апартамент, занимаемый его светлостью (Durchlaucht) князем фон Полозо́ф.

Он застал этого «князя» восседающим на роскошнейшем бархатном кресле посреди великолепнейшего салона. Флегматический приятель Санина успел уже ванну взять и облачиться в богатейший атласный шлафрок; на голову он надел малиновую феску. Санин приблизился к нему и некоторое время рассматривал его. Полозов сидел неподвижно, как идол; даже лица в его сторону не повернул, даже бровью не повел, звука не издал. Зрелище было поистине величественное! Полюбовавшись им минуты с две, Санин хотел было заговорить, нарушить эту священную тишину — как вдруг дверь из соседней комнаты растворилась и на пороге появилась молодая, красивая дама в белом шелковом платье, с черными кружевами, в бриллиантах на руках и на шее — сама Марья Николаевна Полозова. Ее густые русые волосы падали с обеих сторон головы — заплетенными, но не подобранными косами.

XXXIV

— Ах, извините! — проговорила она с полусмущенной, полунасмешливой улыбкой, мгновенно прихватив рукою конец одной косы и вперив на Санина свои большие серые светлые глаза.— Я не думала, что вы уже пришли.

— Санин, Дмитрий Павлович, приятель мой с детства,— промолвил Полозов, по-прежнему не оборачиваясь к нему и не вставая, но указывая на него пальцем.

— Да... знаю... Ты мне уже сказывал. Очень рада познакомиться. Но я хотела было попросить тебя, Ипполит Сидорыч... Моя горничная сегодня какая-то бестолковая...

— Волосы тебе убрать?

— Да, да, пожалуйста. Извините,— повторила Марья Николаевна с прежней улыбкой, кивнула головою Санину и, быстро повернувшись, скрылась за дверью, оставив за собою мимолетное, но стройное впечатле-

ние прелестной шеи, удивительных плеч, удивительного стана.

Полозов встал и, тяжело переваливаясь, ушел в ту же дверь.

Санин ни одной секунды не сомневался в том, что присутствие его в салоне «князя Полозова» было как нельзя лучше известно самой хозяйке; весь форс состоял в том, чтобы показать свои волосы, которые были точно хороши. Санин внутренно даже порадовался этой выходке г-жи Полозовой: коли, мол, захотели меня поразить, блеснуть передо мною — может быть, как знать? и насчет цены на имение окажут податливость. Его душа до того была наполнена Джеммой, что все другие женщины уже не имели для него никакого значения: он едва замечал их; и на этот раз он ограничился только тем, что подумал: «Да, правду говорили мне: эта барыня хоть куда!»

А будь он не в таком исключительном душевном состоянии, он бы, вероятно, иначе выразился: Мария Николаевна Полозова, урожденная Колышкина, была очень замечательная особа. И не то, чтобы она была отъявленная красавица: в ней даже довольно явственно сказывались следы ее плебейского происхождения. Лоб у ней был низкий, нос несколько мясистый и вздернутый; ни тонкостью кожи, ни изяществом рук и ног она похвалиться не могла — но что всё это значило? Не перед «святыней красоты», говоря словами Пушкина, остановился бы всякий, кто бы встретился с нею, но перед обаянием мощного, не то русского, не то цыганского, цветущего женского тела... и не невольно остановился бы он!

Но образ Джеммы охранял Санина, как та тройная броня, о которой поют стихотворцы.

Минут десять спустя Марья Николаевна появилась опять в сопровождении своего супруга. Она подошла к Санину... а походка у ней была такая, что иные чудаки в те, увы! уже далекие времена — от одной этой походки с ума сходили. «Эта женщина, когда идет к тебе, точно всё счастье твоей жизни тебе навстречу несет»,— говаривал один из них. Она подошла к Санину — и, протянув ему руку, промолвила своим ласковым и как бы сдержанным голосом по-русски: «Вы меня дождетесь, не правда? Я вернусь скоро».

Санин наклонился почтительно, а Марья Николаевна уже исчезала за портьерой выходной двери — и, исче-

зая, опять повернула голову назад через плечо, и опять улыбнулась, и опять оставила за собою прежнее, стройное впечатление.

Когда она улыбалась — не одна и не две, а целых три ямочки обозначались на каждой щеке, и ее глаза улыбались больше, чем губы, чем ее алые, длинные, вкусные губы, с двумя крошечными родинками на левой их стороне.

Полозов ввалился в комнату и опять поместился на кресле. Безмолвствовал он по-прежнему; но странная усмешка от времени до времени пучила его бесцветные и уже сморщенные щеки.

Он был старообразен, хотя всего тремя годами старше Санина.

Обед, которым он попотчевал своего гостя, конечно, удовлетворил бы самого взыскательного гастронома, но Санину он показался бесконечным, несносным! Полозов ел медленно, «с чувством, с толком, с расстановкой», внимательно наклоняясь над тарелкой, нюхая чуть не каждый кусок; сперва пополощет себе рот вином, потом уже проглотит и губами пошлепает... А за жарким он вдруг разговорился — но о чем? О мериносах, которых намеревался выписать целое стадо, да так подробно, с такой нежностью, употребляя всё уменьшительные имена. Выпив чашку горячего, как кипяток, кофе (он несколько раз, слезливо-раздраженным голосом, напомнил кельнеру, что накануне ему подали кофе — холодный, холодный, как лед!) и прикусив гаванскую сигару своими желтыми кривыми зубами, он по обычаю своему задремал, к великой радости Санина, который начал ходить взад и вперед, неслышными шагами, по мягкому ковру, и мечтал о том, как он будет жить с Джеммой и с каким известием вернется к ней. Однако Полозов проснулся, по собственному замечанию, раньше обыкновенного,— он поспал всего полтора часика и, выпив стакан зельтерской воды со льдом да проглотив ложек с восемь варенья, русского варенья, которое принес ему камердинер в темно-зеленой, настоящей «киевской» банке и без которого он, по его словам, жить не мог,— он уставился припухшими глазами на Санина и спросил его, не хочет ли он поиграть с ним в дурачки. Санин охотно согласился; он боялся, как бы Полозов опять не заговорил о барашках, да о ярочках, да о курдючках с жирком. Хозяин и гость, оба

перешли в гостиную, кельнер принес карты — и началась игра, разумеется, не на деньги.

За этим невинным занятием застала их Марья Николаевна, вернувшись от графини Ласунской.

Она громко рассмеялась, как только вошла в комнату и увидала карты и раскрытый ломберный стол. Санин вскочил с места, но она воскликнула:

— Сидите играйте. Я сейчас переоденусь и к вам вернусь,— и опять исчезла, прошумев платьем и сдергивая перчатки на ходу.

Она точно вернулась очень скоро. Свое нарядное платье она заменила широкой шелковой блузой лилового цвета с открытыми висячими рукавами; толстый крученый шнурок перехватывал ее талью. Она подсела к мужу и, дождавшись, что он остался в дураках, сказала ему: «Ну, пышка, довольно! (при слове «пышка» Санин с изумлением глянул на нее, а она весело улыбнулась, отвечая взглядом на его взгляд и выказывая все свои ямочки на щеках) — довольно; я вижу, ты спать хочешь; целуй ручку и отправляйся; а мы с г-м Саниным побеседуем вдвоем».

— Спать я не хочу,— промолвил Полозов, грузно поднимаясь с кресла,— а отправиться отправлюсь и ручку поцелую.— Она подставила ему свою ладонь, не переставая улыбаться и глядеть на Санина.

Полозов тоже глянул на него и ушел не простившись.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте,— с живостью проговорила Марья Николаевна, разом ставя оба обнаженные локтя на стол и нетерпеливо постукивая ногтями одной руки о ногти другой.— Правда, вы, говорят, женитесь?

Сказав эти слова, Марья Николаевна даже голову немножко набок нагнула, чтобы пристальнее и пронзительнее заглянуть Санину в глаза.

XXXV

Развязное обхождение г-жи Полозовой, вероятно, на первых порах смутило бы Санина — хотя он новичком не был и уже потерся между людьми,— если бы в самой этой развязности и фамилиарности он опять-таки не увидел хорошего предзнаменования для своего предприятия. «Будем потакать капризам этой богатой барыни»,— решил

он про себя — и так же непринужденно, как она его спрашивала, ответил ей:

— Да, я женюсь.

— На ком? На иностранке?

— Да.

— Вы недавно с ней познакомились? Во Франкфурте?

— Точно так.

— И кто она такая? Можно узнать?

— Можно. Она дочь кондитера.

Марья Николаевна широко раскрыла глаза и подняла брови.

— Да ведь это прелесть,— проговорила она медлительным голосом,— это чудо! Я уже полагала, что таких молодых людей, как вы, на свете больше не встречается. Дочь кондитера!

— Вас это, я вижу, удивляет,— заметил не без достоинства Санин,— но, во-первых, у меня вовсе нет тех предрассудков...

— *Во-первых*, это меня нисколько не удивляет,— перебила Марья Николаевна,— предрассудков и у меня нет. Я сама дочь мужика. А? что, взяли? Меня удивляет и радует то, что вот человек не боится любить. Ведь вы ее любите?

— Да.

— Она очень хороша собою?

Санина слегка покоробило от этого последнего вопроса... Однако отступать уже не приходилось.

— Вы знаете, Марья Николаевна,— начал он,— всякому человеку лицо его возлюбленной кажется лучше всех других; но моя невеста — действительно красавица.

— В самом деле? В каком роде? итальянском? античном?

— Да; у ней очень правильные черты.

— С вами нет ее портрета?

— Нет. (В то время о фотографиях еще помину не было. Дагерротипы едва стали распространяться.)

— Как ее зовут?

— Ее имя — Джемма.

— А ваше — как?

— Димитрий.

— По отчеству?

— Павлович.

— Знаете что,— проговорила Марья Николаевна всё тем же медлительным голосом,— вы мне очень нравитесь,

Дмитрий Павлович. Вы, должно быть, хороший человек. Дайте-ка мне вашу руку. Будемте приятелями.

Она крепко пожала его руку своими красивыми, белыми, сильными пальцами. Ее рука была немногим меньше его руки — но гораздо теплей и глаже, и мягче, и жизненней.

— Только знаете, что мне приходит в голову?

— Что?

— Вы не рассердитесь? Нет? Она, вы говорите, ваша невеста. Но разве... разве это непременно было нужно?

Санин нахмурился.

— Я вас не понимаю, Марья Николаевна.

Марья Николаевна засмеялась тихохонько и, встряхнув головою, откинула назад падавшие ей на щеки волосы.

— Решительно — он прелесть,— промолвила она не то задумчиво, не то рассеянно.— Рыцарь! Подите верьте после этого людям, которые утверждают, что идеалисты все перевелись!

Марья Николаевна всё время говорила по-русски удивительно чистым, прямо московским языком — народного, не дворянского пошиба.

— Вы, наверное, дома воспитывались, в старозаветном, богобоязненном семействе? — спросила она.— Вы какой губернии?

— Тульской.

— Ну, так мы однокорытники. Мой отец... Ведь вам известно, кто был мой отец?

— Да, известно.

— Он в Туле родился... Туляк был. Ну, хорошо... (Это «хорошо» Марья Николаевна уже с намерением выговорила совсем по-мещанскому — вот так: хершóо.) Ну давайте же теперь за дело примемся.

— То есть... как же это так за дело приняться? Что вам угодно этим сказать?

Марья Николаевна прищурилась.

— Да вы зачем сюда приехали? (Когда она щурила глаза, выражение их становилось очень ласковым и немного насмешливым; когда же она раскрывала их во всю величину — в их светлом, почти холодном блеске проступало что-то недоброе... что-то угрожающее. Особенную красоту придавали ее глазам ее брови, густые, немного надвинутые, настоящие соболиные.) Вы хотите, чтобы я

у вас купила имение? Вам нужны деньги для вашего бракосочетания? Не так ли?

— Да, нужны.

— И много вам их требуется?

— На первый случай я бы удовольствовался несколькими тысячами франков. Вашему супругу мое имение известно. Вы можете посоветоваться с ним,— а я бы взял цену недорогую.

Марья Николаевна повела головою направо и налево.

— *Во-первых*,— начала она с расстановкой, ударяя концами пальцев по обшлагу санинского сюртука,— я не имею привычки советоваться с мужем, разве вот насчет туалета — он на это у меня молодец; а *во-вторых*, зачем вы говорите, что вы цену назначите недорогую? Я не хочу воспользоваться тем, что вы теперь очень влюблены и готовы на всякие жертвы... Я никаких жертв от вас не приму. Как? Вместо того чтобы поощрять в вас...ну, как бы это сказать получше?.. благородные чувства, что ли? я вас стану обдирать как липку? Это не в моих привычках. Когда случится, я людей не щажу—только не таким манером.

Санин никак не мог понять, что она — смеется ли над ним, или говорит серьезно? а только думал про себя: «О, да с тобой держи ухо востро!»

Слуга вошел с русским самоваром, чайным прибором, сливками, сухарями и т. п. на большом подносе, расставил всю эту благодать на столе между Саниным и г-жою Полозовой — и удалился.

Она налила ему чашку чаю.

— Вы не брезгаете? — спросила она, накладывая ему сахар в чашку пальцами... а щипчики лежали тут же.

— Помилуйте!.. От такой прекрасной руки...

Он не закончил фразы и чуть не поперхнулся глотком чаю, а она внимательно и ясно глядела на него.

— Я потому упомянул о недорогой цене моего имения,— продолжал он,— что так как вы теперь находитесь за границей, то я не могу предполагать у вас много свободных денег и наконец я сам чувствую, что продажа... или покупка имения при подобных условиях есть нечто ненормальное, и я должен взять это в соображение.

Санин путался и сбивался, а Марья Николаевна тихонько отклонилась на спинку кресла, скрестила руки и глядела на него тем же внимательным и ясным взглядом. Он наконец умолк.

— Ничего, говорите, говорите,— промолвила она, как бы приходя ему на помощь,— я вас слушаю — мне приятно вас слушать; говорите.

Санин принялся описывать свое имение, сколько в нем десятин, и где оно находится, и каковы в нем хозяйственные угодья, и какие можно извлечь из него выгоды... упомянул даже о живописном местоположении усадьбы; а Марья Николаевна всё глядела да глядела на него — всё светлее и пристальнее, и губы ее чуть-чуть двигались, без улыбки: она покусывала их. Ему стало неловко наконец; он замолчал вторично.

— Дмитрий Павлович,— начала Марья Николаевна — и задумалась...— Дмитрий Павлович,— повторила она...— Знаете что: я уверена, что покупка вашего имения — очень выгодная для меня афера и что мы сойдемся; но вы должны мне дать... два дня — да, два дня сроку. Ведь вы в состоянии на два дня расстаться с вашей невестой? Дольше я вас не продержу, против вашей воли— даю вам честное слово. Но если вам нужны теперь же пять, шесть тысяч франков, я с великим удовольствием готова предложить вам их взаймы — а там мы сочтемся.

Санин поднялся.

— Я должен благодарить вас, Марья Николаевна, за вашу радушную и любезную готовность услужить человеку, почти совсем вам незнакомому... Но если уже вам непременно так угодно, то я предпочту дождаться вашего решения насчет моего имения — останусь здесь два дня.

— Да; мне так угодно, Дмитрий Павлович. А вам будет очень тяжело? Очень? Скажите.

— Я люблю свою невесту, Марья Николаевна, и разлука с ней мне не легка.

— Ах, вы золотой человек! — со вздохом промолвила Марья Николаевна.— Обещаюсь не слишком томить вас. Вы ухóдите?

— Уже поздно,— заметил Санин.

— А вам надо отдохнуть от дороги — и от игры в дурачки с моим мужем. Скажите — вы Ипполиту Сидорычу, моему мужу, большой приятель?

— Мы воспитывались в одном пансионе.

— И он уже тогда был такой?

— Какой «такой»? — спросил Санин.

Марья Николаевна вдруг засмеялась, засмеялась до красноты всего лица, поднесла платок к губам, встала

с кресла и, покачиваясь, как усталая, подошла к Санину и протянула ему руку.

Он раскланялся и направился к двери.

— Извольте завтра пораньше явиться — слышите? — крикнула она ему вслед.

Он глянул назад, уходя из комнаты, и увидел, что она опять опустилась в кресло и закинула обе руки за голову. Широкие рукава блузы скатились почти до самых плеч — и нельзя было не сознаться, что поза этих рук, что вся эта фигура была обаятельно прекрасна.

XXXVI

Далеко за полночь горела лампа в комнате Санина. Он сидел за столом и писал «своей Джемме». Рассказал ей всё; описал ей Полозовых, мужа и жену — впрочем, больше распространялся насчет собственных чувств — и кончил тем, что назначил ей свидание через три дня!!! (с тремя восклицательными знаками). Утром рано он отнес это письмо на почту и пошел прогуляться по саду Кургауза, где уже играла музыка. Народу было еще мало; он постоял перед беседкой, в которой помещался оркестр, прослушал попурри из «Роберта-Дьявола» и, напившись кофе, отправился в боковую, уединенную аллею, присел на лавочку — и задумался.

Ручка зонтика проворно — и довольно крепко — постучала по его плечу. Он встрепенулся... Перед ним, в легком, серо-зеленом барежевом платье, в белой тюлевой шляпке, в шведских перчатках, свежая и розовая, как летнее утро, но с не исчезнувшей еще негой безмятежного сна в движениях и во взорах, стояла Марья Николаевна.

— Здравствуйте,— промолвила она.— Я сегодня посылала за вами, да вы уже ушли. Я только что отпила свой второй стакан — меня, вы знаете, заставляют здесь воду пить, бог ведает зачем... уж я ли не здорова? И вот я должна гулять целый час. Хотите вы быть моим спутником? А там мы кофе напьемся.

— Я уже пил,— промолвил Санин, вставая,— но я очень рад гулять с вами.

— Ну так дайте же мне вашу руку... Не бойтесь: вашей невесты здесь нет — она вас не увидит.

Санин принужденно улыбнулся. Он испытывал ощущение неприятное всякий раз, когда Марья Николаевна упоминала о Джемме. Однако он поспешно и послушно

наклонился... Рука Марьи Николаевны медленно и мягко опустилась на его руку, и скользнула по ней, и как бы прильнула к ней.

— Пойдемте — вот сюда,— сказала она ему, закинув раскрытый зонтик за плечо.— Я в здешнем парке как дома: поведу вас по хорошим местам. И знаете что (она часто употребляла эти два слова): мы с вами не будем говорить теперь об этой покупке; мы о ней после завтрака хорошенько потолкуем; а вы должны мне теперь рассказать о себе... чтобы я знала, с кем я имею дело. А после, если хотите, я вам о себе порасскажу. Согласны?

— Но, Марья Николаевна, что может быть для вас интересного...

— Постойте, постойте. Вы не так меня поняли. Я с вами не кокетничать хочу.— Марья Николаевна пожала плечами.— У него невеста, как древняя статуя, а я буду с ним кокетничать?! Но у вас товар — а я купец. Я и хочу знать, каков у вас товар. Ну-ка, показывайте — каков он? Я хочу знать не только, что я покупаю, но и у кого я покупаю. Это было правило моего батюшки. Ну, начинайте... Ну, хоть не с детства — ну вот — давно ли вы за границей? И где вы были до сих пор? Только идите тише — нам некуда спешить.

— Я сюда прибыл из Италии, где я пробыл несколько месяцев.

— А у вас, видно, особое влечение ко всему итальянскому? Странно, что вы не *там* нашли свой предмет. Вы любите художества? Картины? или больше — музыку?

— Я люблю искусство... Я всё прекрасное люблю.

— И музыку?

— И музыку тоже.

— А я ее совсем не люблю. Нравятся мне одни русские песни — и то в деревне, и то весной— с пляской, знаете... Красные кумачи, поднизи, на выгоне молоденькая травка, дымком попахивает...чудесно! Но не обо мне речь. Говорите же, рассказывайте.

Марья Николаевна сама шла, а сама то и дело взглядывала на Санина. Она была высокого роста — ее лицо приходилось почти в уровень с его лицом.

Он принялся рассказывать — сначала неохотно, неумело, а потом разговорился, разболтался даже. Марья Николаевна очень умно слушала; да к тому же она сама казалась до того откровенной, что невольно и других вы-

зывала на откровенность. Она обладала тем великим даром «обиходности» — le terrible don de la familiarité, о котором упоминает кардинал Ретц. Санин говорил о своих путешествиях, о житье в Петербурге, о своей молодости... Будь Марья Николаевна светской дамой, с утонченными манерами — он никогда бы так не распустился; но она сама называла себя добрым малым, не терпящим никаких церемоний; она именно так отрекомендовала себя Санину. И в то же время этот «добрый малый» шел рядом с ним кошачьей походкой, слегка прислоняясь к нему, и заглядывал ему в лицо; и шел он в образе молодого женского существа, от которого так и веяло тем разбирающим и томящим, тихим и жгучим соблазном, каким способны донимать нашего брата — грешного, слабого мужчину, одни — и то некоторые и то не чистые, а с надлежащей помесью — славянские натуры!

Прогулка Санина с Марьей Николаевной, беседа Санина с Марьей Николаевной продолжалась час с лишком. И ни разу они не останавливались — всё шли да шли по бесконечным аллеям парка, то поднимаясь в гору и на ходу любуясь видом, то спускаясь в долину и укрываясь в непроницаемую тень — и всё рука с рукой. Временами Санину даже досадно становилось: он с Джеммой, с своей милой Джеммой никогда так долго не гулял... а тут эта барыня завладела им — и баста!

— Не устали ли вы? — спрашивал он ее не однажды.

— Я никогда не устаю,— отвечала она.

Изредка им попадались гуляющие; почти все ей кланялись — иные почтительно, другие даже подобострастно. Одному из них, весьма красивому, щегольски одетому брюнету она крикнула издали, с самым лучшим парижским акцентом: «Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir — ni aujourd'hui, ni demain» [1]. Тот снял молча шляпу и отвесил низкий поклон.

— Кто это? — спросил Санин, по дурной привычке «любопытствовать», свойственной всем русским.

— Это? Один французик — их здесь много вертится... За мной ухаживает — тоже. Однако пора кофе пить. Пойдемте домой; вы, чай, успели проголодаться. Мой благоверный, должно быть, теперь глаза продрал.

---

[1] «Знаете, граф, ни сегодня, ни завтра ко мне нельзя приходить» *(франц.)*.

«Благоверный! Глаза продрал!!» — повторил про себя Санин... «И говорит так отлично по-французски... Что за чудачка!»

Марья Николаевна не ошиблась. Когда она вместе с Саниным вернулась в гостиницу — «благоверный», или «пышка», сидел уже, с неизменной феской на голове, перед накрытым столом.

— А я тебя прождался! — воскликнул он, скорчив кислую мину.— Хотел уже кофе без тебя пить.

— Ничего, ничего,— весело возразила Марья Николаевна.— Ты сердился? Это тебе здорово: а то ты совсем застынешь. Я вот гостя привела. Звони скорее! Давайте пить кофе, кофе — самый лучший кофе — в саксонских чашках, на белоснежной скатерти!

Она скинула шляпу, перчатки — и захлопала в ладоши.

Полозов глянул на нее исподлобья.

— Что это вы сегодня так расскакались, Марья Николаевна? — проговорил он вполголоса.

— А не ваше дело, Ипполит Сидорыч! Звони! Дмитрий Павлович, садитесь — и пейте кофе во второй раз! Ах, как весело приказывать! Другого удовольствия на свете нет!

— Когда слушаются,— проворчал опять супруг.

— Именно, когда слушаются! Оттого-то мне и весело. Особенно с тобою. Не правда ли, пышка? А вот и кофе.

На громадном подносе, с которым появился кельнер, находилась также и театральная афишка. Марья Николаевна тотчас ухватилась за нее.

— Драма! — произнесла она с негодованием,— немецкая драма. Всё равно: лучше, чем немецкая комедия. Велите мне взять ложу — бенуар — или нет... лучше Fremden-Loge [1],— обратилась она к кельнеру.— Слышите ли: непременно Fremden-Loge!

— Но если Fremden-Loge уже взята его превосходительством, директором города (seine Excellenz der Herr Stadt-Director),— осмелился доложить кельнер.

— Дайте его превосходительству десять талеров,— а чтоб ложа у меня была! Слышите!

Кельнер покорно и печально наклонил голову.

— Дмитрий Павлович, вы поедете со мной в театр?

---

[1] ложу для иностранцев *(нем.)*.

немецкие актеры ужасны, но вы поедете... Да? Да! Какой вы любезный! Пышка, а ты не пойдешь?

— Как прикажешь,— проговорил Полозов в чашку, которую поднес ко рту.

— Знаешь что: останься. Ты в театре всё спишь — да и по-немецки ты понимаешь плохо. Ты лучше вот что сделай: напиши ответ управляющему — помнишь, насчет нашей мельницы... насчет крестьянского помо́лу. Скажи ему, что я не хочу, не хочу и не хочу! Вот тебе и занятие на целый вечер.

— Слушаю,— ответил Полозов.

— Ну, вот и прекрасно. Ты у меня умница. А теперь, господа, благо мы заговорили об управляющем, будемте толковать о главном нашем деле. Вот как только кельнер уберет со стола, вы нам всё расскажете, Дмитрий Павлович, о своем имении — как, что, за какую цену продаете, сколько хотите задатку вперед.— словом, всё! («Наконец-то,— подумал Санин,— слава богу!») Вы уж мне кое-что сообщили, сад свой, помнится, чудесно описали, да «пышки» при этом не было... Пусть он послушает — всё что-нибудь пробуркнет! Мне очень приятно думать, что я могу помочь вам жениться, да я же обещала вам, что после завтрака займусь вами; а я всегда держу свои обещания; не правда ли, Ипполит Сидорыч?

Полозов потер себе лицо ладонью.

— Что правда, то правда, вы никого не обманываете.

— Никогда! И никогда никого не обману. Ну, Дмитрий Павлович, излагайте дело, как мы выражаемся в сенате.

XXXVII

Санин принялся «излагать дело», то есть опять, во второй раз, описывать свое имение, но уже не касаясь красот природы и от времени до времени ссылаясь на Полозова, для подтверждения приводимых «фактов и цифр». Но Полозов только хмыкал и головой покачивал — одобрительно ли, или неодобрительно — этого, кажется, сам чёрт бы не разобрал. Впрочем, Марья Николаевна и не нуждалась в его участии. Она выказывала такие коммерческие и административные способности, что оставалось только изумляться! Вся подноготная хозяйства была ей отлично известна; она обо всем аккуратно расспрашивала, во всё входила; каждое ее слово попадало в цель, ставило точку прямо на i. Санин не ожидал подобного эк-

замена: он не приготовился. И продолжался этот экзамен целых полтора часа. Санин испытывал все ощущения подсудимого, сидящего на узенькой скамеечке перед строгим и проницательным судьею. «Да это допрос!» — тоскливо шептал он про себя. Марья Николаевна всё время посмеивалась, словно шутила, но от этого Санину не было легче; а когда в течение «допроса» оказалось, что он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка» — так его даже пот прошиб.

— Ну, хорошо! — решила наконец Марья Николаевна.— Ваше имение я теперь знаю... не хуже вас. Какую же цену вы положите за душу? (В то время цены имениям, как известно, определялись по душам.)

— Да... я полагаю... меньше пятисот рублей взять нельзя,— с трудом проговорил Санин. (О, Панталеоне, Панталеоне, где ты? Вот бы когда тебе пришлось снова воскликнуть: Barbari!)

Марья Николаевна взвела глаза к небу, как бы соображая.

— Что ж? — промолвила она наконец.— Эта цена мне кажется безобидной. Но я выговорила себе два дня сроку — и вы должны подождать до завтра. Я полагаю, что мы сойдемся, и тогда вы скажете, сколько вам потребуется задатку. А теперь basta così! [1] — подхватила она, заметив, что Санин хотел что-то возразить.— Довольно мы занимались презренным металлом... à demain les affaires! [2] Знаете что: я теперь отпускаю вас (она глянула на эмалевые часики, заткнутые у ней за поясом)... до трех часов... Надо ж дать вам отдохнуть. Ступайте поиграйте в рулетку.

— Я никогда в азартные игры не играю,— заметил Санин.

— В самом деле? Да вы совершенство. Впрочем, и я не играю. Глупо бросать деньги на ветер — наверняка. Но подите в игорную залу, посмотрите на физиономии. Попадаются презабавные. Старуха есть там одна, с ферроньеркой и с усами — чудо! Наш князь там один — тоже хорош. Фигура величественная, нос как у орла, а поставит талер — и крестится украдкой под жилеткой. Читайте журналы, гуляйте,— словом, делайте что хотите... А в три часа я вас ожидаю... de pied ferme [3]. Надо будет пораньше пообедать. Театр у этих смешных немцев начи-

[1] довольно! *(итал.)*.
[2] дела на завтра! *(франц.)*.
[3] непременно *(франц.)*.

нается в половине седьмого.— Она протянула руку.— Sans rancune, n'est-ce pas? [1]

— Помилуйте, Марья Николаевна, за что я буду на вас досадовать?

— А за то, что я вас мучила. Погодите, я вас еще не так,— прибавила она, прищурив глаза, и все ее ямочки разом выступили на заалевшихся щеках.— До свидания!

Санин поклонился и вышел. Веселый смех раздался вслед за ним — и в зеркале, мимо которого он проходил в это мгновенье, отразилась следующая сцена: Марья Николаевна надвинула своему супругу его феску на глаза, а он бессильно барахтался обеими руками.

XXXVIII

О, как глубоко и радостно вздохнулось Санину, как только он очутился у себя в комнате! Точно: Марья Николаевна правду сказала — ему следовало отдохнуть, отдохнуть от всех этих новых знакомств, столкновений, разговоров, от этого чада, который забрался ему в голову, в душу — от этого негаданного, непрошенного сближения с женщиной, столь чуждой ему! И когда же всё это совершается? Чуть не на другой день после того, как он узнал, что Джемма его любит, как он стал ее женихом! Да ведь это святотатство! Тысячу раз просил он мысленно прощенья у своей чистой, непорочной голубицы, хотя он собственно ни в чем обвинить себя не мог; тысячу раз целовал данный ею крестик. Не имей он надежды скоро и благополучно окончить дело, за которым приехал в Висбаден, опрометью бросился бы он оттуда назад — в милый Франкфурт, в тот дорогой, теперь уже родственный ему дом, к ней, к возлюбленным ее ногам... Но делать нечего! Надо испить фиал до дна, надо одеться, идти обедать — а оттуда в театр... Хоть бы завтра она его поскорей отпустила!

Еще одно его смущало, его сердило: он с любовью, с умилением, с благодарным восторгом думал о Джемме, о жизни с нею вдвоем, о счастии, которое его ожидало в будущем,— и между тем эта странная женщина, эта госпожа Полозова неотступно носилась... нет! не носилась — торчала... так именно, с особым злорадством выразился Санин — *торчала* перед его глазами,— и не мог он отде-

---

[1] Забудем старые обиды, не правда ли? *(франц.)*.

латься от ее образа, не мог не слышать ее голоса, не вспоминать ее речей, не мог не ощущать даже того особенного запаха, тонкого, свежего и пронзительного, как запах желтых лилий, которым веяло от ее одежд. Эта барыня явно дурачит его, и так и сяк к нему подъезжает... Зачем это? что ей надо? Неужели же это одна прихоть избалованной, богатой и едва ли не безнравственной женщины? И этот муж?! Что это за существо? Какие его отношения к ней? И к чему лезут эти вопросы в голову ему, Санину, которому собственно нет никакого дела ни до г-на Полозова, ни до его супруги? Почему не может он прогнать этот неотвязный образ даже тогда, когда обращается всей душою к другому, светлому и ясному, как божий день? Как смеют — сквозь те, почти божественные черты — сквозить *эти*? И они не только сквозят — они ухмыляются дерзостно. Эти серые хищные глаза, эти ямочки на щеках, эти змеевидные косы — да неужели же это всё словно прилипло к нему, и он стряхнуть, отбросить прочь всё это не в силах, не может?

Вздор! вздор! Завтра же это всё исчезнет без следа... Но отпустит ли она его завтра?

Да... Все эти вопросы он себе ставил, а стало время пододвигаться к трем часам — и надел он черный фрак да, погулявши немного по парку, отправился к Полозовым.

Он застал у них в гостиной секретаря посольства из немцев, длинного-длинного, белокурого, с лошадиным профилем и пробором сзади (тогда это было еще внове) и... о чудо! кого еще? Фон Дёнгофа, того самого офицера, с которым дрался несколько дней тому назад! Он никак не ожидал встретить его именно тут — и невольно смутился, однако раскланялся с ним.

— Вы знакомы? — спросила Марья Николаевна, от которой не ускользнуло смущение Санина.

— Да... я имел уже честь,— промолвил Дёнгоф и, наклонившись слегка в сторону Марьи Николаевны, прибавил вполголоса, с улыбкой: — Тот самый... Ваш соотечественник... русский...

— Не может быть! — воскликнула она также вполголоса, погрозила ему пальцем и тотчас же стала прощаться — и с ним и с длинным секретарем, который, по всем признакам, был смертельно в нее влюблен, ибо даже рот раскрывал всякий раз, когда на нее взглядывал. Дёнгоф

удалился немедленно, с любезной покорностью, как друг дома, который с полуслова понимает, чего от него требуют; секретарь заартачился было, но Марья Николаевна выпроводила его без всяких церемоний.

— Ступайте к вашей владетельной особе,— сказала она ему (тогда в Висбадене проживала некая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку),— что вам сидеть у такой плебейки, как я?

— Помилуйте, сударыня,— уверял злополучный секретарь,— все принчипессы в мире...

Но Марья Николаевна была безжалостна — и секретарь ушел вместе со своим пробором.

Марья Николаевна в тот день принарядилась очень к своему «авантажу», как говаривали наши бабушки. На ней было шёлковое розовое платье глясэ, с рукавами à la Fontanges, и по крупному бриллианту в каждом ухе. Глаза ее блистали не хуже тех бриллиантов: она казалась в духе и в ударе.

Она усадила Санина возле себя и начала говорить ему о Париже, куда собиралась ехать через несколько дней, о том, что немцы ей надоели, что они глупы, когда умничают, и некстати умны, когда глупят; да вдруг, как говорится, в упор — à brule pourpoint — спросила его, правда ли, что он вот с этим самым офицером, который сейчас тут сидел, на днях дрался из-за одной дамы?

— Вам это почему известно? — пробормотал изумленный Санин.

— Слухом земля полнится, Дмитрий Павлович; но, впрочем, я знаю, что вы были правы, тысячу раз правы — и вели себя как рыцарь. Скажите — эта дама была ваша невеста?

Санин слегка наморщил брови...

— Ну, не буду, не буду,— поспешно проговорила Марья Николаевна.— Вам это неприятно, простите меня, не буду! не сердитесь! — Полозов появился из соседней комнаты с листом газеты в руках.— Что ты? или обед готов?

— Обед сейчас подают, а ты посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» вычитал... Князь Громобой умер.

Марья Николаевна подняла голову.

— А! царство ему небесное! Он мне каждый год,— обратилась она к Санину,— в феврале, ко дню моего рождения, все комнаты убирал камелиями. Но для этого еще

не стоит жить в Петербурге зимой. Что, ему, пожалуй, за семьдесят лет было? — спросила она мужа.

— Было. Похороны его в газете описывают. Весь двор присутствовал. Вот и стихи князя Коврижкина по этому случаю.

— Ну и чудесно.

— Хочешь, прочту? Князь его называет мужем совета.

— Нет, не хочу. Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны. Пойдемте обедать. Живой живое думает. Дмитрий Павлович, вашу руку.

Обед был, по-вчерашнему, удивительный и прошел весьма оживленно. Марья Николаевна умела рассказывать... редкий дар в женщине, да еще в русской! Она не стеснялась в выражениях; особенно доставалось от нее соотечественницам. Санину не раз пришлось расхохотаться от иного бойкого и меткого словца. Пуще всего Марья Николаевна не терпела ханжества, фразы и лжи... Она находила ее почти повсюду. Она словно щеголяла и хвасталась той низменной средою, в которой началась ее жизнь; сообщала довольно странные анекдоты о своих родных из времени своего детства; называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной. Санину стало очевидным, что она испытала на своем веку гораздо больше, чем многое множество ее сверстниц.

А Полозов кушал обдуманно, пил внимательно и только изредка вскидывал то на жену, то на Санина свои белесоватые, с виду слепые, в сущности очень зрячие глаза.

— Какой ты у меня умница! — воскликнула Марья Николаевна, обратившись к нему,— как ты все мои комиссии во Франкфурте исполнил! Поцеловала бы я тебя в лобик, да ты у меня за этим не гоняешься.

— Не гоняюсь,— отвечал Полозов и взрезал ананас серебряным ножом.

Марья Николаевна посмотрела на него и постучала пальцами по столу.

— Так идет наше пари? — промолвила она значительно.

— Идет.

— Ладно. Ты проиграешь.

Полозов выставил подбородок вперед.

— Ну, на этот раз, как ты на себя ни надейся, Марья Николаевна, а я полагаю, что проиграешь-то ты.

— О чем пари? Можно узнать? — спросил Санин.

— Нет... нельзя теперь,— ответила Марья Николаевна — и засмеялась.

Пробило семь часов. Кельнер доложил, что карета готова. Полозов проводил жену и тотчас же поплелся назад к своему креслу.

— Смотри же! Не забудь письма к управляющему! — крикнула ему Марья Николаевна из передней.

— Напишу, не беспокойся. Я человек аккуратный.

XXXIX

В 1840 году театр в Висбадене был и по наружности плох, а труппа его, по фразистой и мизерной посредственности, по старательной и пошлой рутине, ни на волос не возвышалась над тем уровнем, который до сих пор можно считать нормальным для всех германских театров и совершенство которого в последнее время представляла труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента. Позади ложи, взятой для «ее светлости г-жи фон Полозо́в» (бог ведает, как умудрился кельнер ее достать — не подкупил же он штадт-директора в самом деле!) — позади этой ложи находилась небольшая комнатка, обставленная диванчиками; прежде чем войти в нее, Марья Николаевна попросила Санина поднять ширмочки, отделявшие ложу от театра.

— Я не хочу, чтобы меня видели,— сказала она,— а то ведь сейчас полезут.

Она и его посадила возле себя, спиною к зале, так, чтобы ложа казалась пустою.

Оркестр проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»... Занавес поднялся: пьеса началась.

То было одно из многочисленных доморощенных произведений, в которых начитанные, но бездарные авторы отборным, но мертвенным языком, прилежно, но неуклюже проводили какую-нибудь «глубокую» или «животрепещущую» идею, представляли так называемый трагический конфликт и наводили скуку... азиатскую, как бывает азиатская холера. Марья Николаевна терпеливо выслушала половину акта, но когда первый любовник, узнав об измене своей возлюбленной (одет он был в коричневый сюртук с «буфами» и плисовым воротником, полосатый жилет с перламутровыми пуговицами, зеленые панталоны со

штрипками из лакированной кожи и белые замшевые перчатки), когда этот любовник, уперев оба кулака в грудь и оттопырив локти вперед, под острым углом, завыл уже прямо по-собачьи — Марья Николаевна не выдержала.

— Последний французский актер в последнем провинциальном городишке естественнее и лучше играет, чем первая немецкая знаменитость,— с негодованием воскликнула она и пересела в заднюю комнатку.— Подите сюда,— сказала она Санину, постукивая рукою возле себя по дивану.— Будемте болтать.

Санин повиновался.

Марья Николаевна глянула на него.

— А вы, я вижу, шелковый! Вашей жене будет с вами легко. Этот шут,— продолжала она, указывая концом веера на завывавшего актера (он исполнял роль домашнего учителя),— напомнил мне мою молодость: я тоже была влюблена в учителя. Это была моя первая... нет, моя вторая пассия. В первый раз я влюбилась в служку Донского монастыря. Мне было двенадцать лет. Я видала его только по воскресеньям. Он носил бархатный подрясник, душился оделаваном, пробираясь в толпе с кадилом, говорил дамам по-французски: «пардон, экскюзѐ» — и никогда не поднимал глаз, а ресницы у него были вот какие! — Марья Николаевна отделила ногтем большого пальца целую половину своего мизинца и показала Санину.— Учителя моего звали — monsieur Gaston! Надо вам сказать, что он был ужасно ученый и престрогий человек, из швейцарцев — и с таким энергическим лицом! Бакенбарды черные, как смоль, греческий профиль — и губы как из железа вылитые! Я его боялась! Я во всей моей жизни только одного этого человека и боялась. Он был гувернером моего брата, который потом умер... утонул. Одна цыганка и мне предсказала насильственную смерть, но это вздор. Я этому не верю. Представьте вы себе Ипполита Сидорыча с кинжалом?!.

— Можно умереть и не от кинжала,— заметил Санин.

— Всё это вздор! Вы суеверны? Я — нисколько. А чему быть, того не миновать. Monsieur Gaston жил у нас в доме, над моей головой. Бывало, я проснусь ночью и слышу его шаги — он очень поздно ложился — и сердце замирает от благоговения... или от другого чувства. Мой отец сам едва разумел грамоте, но воспитание нам дал хорошее. Знаете ли, что я по-латыни понимаю?

— Вы? по-латыни?

— Да — я. Меня monsieur Gaston выучил. Я с ним «Энеиду» прочла. Скучная вещь, но есть места хорошие. Помните, когда Дидона с Энеем в лесу...

— Да, да, помню,— торопливо промолвил Санин. Сам он давным-давно всю свою латынь забыл и об «Энеиде» понятие имел слабое.

Марья Николаевна глянула на него, по своей привычке, несколько вбок и из-по́д низу.

— Вы не думайте, однако, что я очень учена. Ах, боже мой, нет — я не учена, и никаких талантов у меня нет. Писать едва умею... право; читать громко не могу; ни на фортепьяно, ни рисовать, ни шить — ничего! Вот я какая — вся тут!

Она расставила руки.

— Я вам всё это рассказываю,— продолжала она,— во-первых, для того, чтобы не слушать этих дураков (она указала на сцену, где в это мгновение вместо актера подвывала актриса, тоже выставив локти вперед), а во-вторых, для того, что я перед вами в долгу: вы вчера мне про себя рассказывали.

— Вам угодно было спросить меня,— заметил Санин.

Марья Николаевна внезапно повернулась к нему.

— А вам не угодно знать, что собственно я за женщина? Впрочем, я не удивляюсь,— прибавила она, снова прислонясь к подушкам дивана.— Человек собирается жениться, да еще по любви, да после дуэли... Где ему помышлять о чем-нибудь другом?

Марья Николаевна задумалась и начала кусать ручку веера своими крупными, но ровными и, как молоко, белыми зубами.

А Санину казалось, что ему в голову опять стал подниматься тот чад, от которого он не мог отделаться вот уже второй день.

Разговор между им и Марьей Николаевной происходил вполголоса, почти шёпотом — и это еще более его раздражало и волновало его...

Когда же это всё кончится?

Слабые люди никогда сами не кончают — всё ждут конца.

На сцене кто-то чихал; чиханье это было введено автором в свою пьесу, как «комический момент» или «элемент»; другого комического элемента в ней уже, конечно, не было; и зрители удовлетворялись этим моментом, смеялись.

Этот смех также раздражал Санина.

Были минуты, когда он решительно не знал: что он — злится или радуется, скучает или веселится? О, если б Джемма его видела!

— Право, это странно,— заговорила вдруг Марья Николаевна.— Человек объявляет вам, и таким спокойным голосом: «Я, мол, намерен жениться»; а никто вам не скажет спокойно: «Я намерен в воду броситься». И между тем — какая разница? Странно, право.

Досада взяла Санина.

— Разница большая, Марья Николаевна! Иному броситься в воду вовсе не страшно: он плавать умеет; а сверх того... что касается до странности браков... уж коли на то пошло...

Он вдруг умолк и прикусил язык.

Марья Николаевна ударила себя веером по ладони.

— Договаривайте, Дмитрий Павлович, договаривайте — я знаю, что вы хотели сказать. «Уж коли на то пошло, милостивая государыня, Марья Николаевна Полозова,— хотели вы сказать,— страннее *вашего* брака ничего нельзя себе представить... ведь я вашего супруга знаю хорошо, с детства!» Вот что вы хотели сказать, вы, умеющий плавать!

— Позвольте,— начал было Санин...

— Разве это не правда? Разве не правда? — настойчиво произнесла Марья Николаевна.— Ну, посмотрите мне в лицо и скажите, что я неправду сказала!

Санин не знал, куда деть свои глаза.

— Ну, извольте: правда, коли вы уж этого непременно требуете,— проговорил он наконец.

Марья Николаевна покачала головою.

— Так... так.— Ну — и спрашивали вы себя, вы, умеющий плавать, какая может быть причина такого странного... поступка со стороны женщины, которая не бедна... и не глупа... и не дурна? Вас это не интересует, может быть; но всё равно. Я вам скажу причину не теперь, а вот как только кончится антракт. Я всё беспокоюсь, как бы кто-нибудь не зашел...

Не успела Марья Николаевна выговорить это последнее слово, как наружная дверь действительно растворилась наполовину — и в ложу всунулась голова красная, маслянисто-потная, еще молодая, но уже беззубая, с пло-

скими длинными волосами, отвислым носом, огромными ушами, как у летучей мыши, с золотыми очками на любопытных и тупых глазенках, и с pince-nez на очках. Голова осмотрелась, увидала Марью Николаевну, дрянно осклабилась, закивала... Жилистая шея вытянулась вслед за нею...

Марья Николаевна замахала на нее платком.

— Меня дома нет! Ich bin nicht zu Hause, Herr P...! Ich bin nicht zu Hause... Кшшш, кшшш!

Голова изумилась, принужденно засмеялась, проговорила, словно всхлипывая, в подражание Листу, у ног которого когда-то пресмыкалась: Sehr gut! sehr gut! [1] — и исчезла.

— Это что за субъект? — спросил Санин.

— Это? Критик висбаденский. «Литтерат» или лон-лакей [2], как угодно. Он нанят здешним откупщиком и потому обязан всё хвалить и всем восторгаться, а сам весь налит гаденькой желчью, которую даже выпускать не смеет. Я боюсь: он сплетник ужасный; сейчас побежит рассказывать, что я в театре. Ну, всё равно.

Оркестр проиграл вальс, занавес взвился опять... Поднялось опять на сцене кривлянье да хныканье.

— Ну-с,— начала Марья Николаевна, снова опускаясь на диван,— так как вы попались и должны сидеть со мною, вместо того чтобы наслаждаться близостью вашей невесты... не вращайте глазами и не гневайтесь — я вас понимаю и уже обещала вам, что отпущу вас на все четыре стороны,— а теперь слушайте мою исповедь. Хотите знать, что я больше всего люблю?

— Свободу,— подсказал Санин.

Марья Николаевна положила руку на его руку.

— Да, Дмитрий Павлович,— промолвила она, и голос ее прозвучал чем-то особенным, какой-то несомненной искренностью и важностью,— свободу, больше всего и прежде всего. И не думайте, чтоб я этим хвасталась — в этом нет ничего похвального,— только оно *так*, и всегда было и будет *так* для меня, до самой смерти моей. Я в детстве, должно быть, уж очень много насмотрелась рабства и натерпелась от него. Ну, и monsieur Gaston, мой учитель, глаза мне открыл. Теперь вы, может быть, понимаете, почему я вышла за Ипполита Сидорыча; с ним я сво-

---

[1] Очень хорошо! очень хорошо! *(нем.)*
[2] наемный лакей (*нем.*: Lohn-Lakai).

бодна, совершенно свободна, как воздух, как ветер... И это я знала перед свадьбой, я знала, что с ним я буду вольный казак!

Марья Николаевна помолчала и бросила веер в сторону.

— Скажу вам еще одно: я не прочь размышлять... оно весело, да и на то ум нам дан; но о последствиях того, что я сама делаю, я никогда не размышляю, и когда придется, не жалею себя — ни на *эстолько*: не стоит. У меня есть поговорка: «Cela ne tire pas à conséquence» [1] — не знаю, как это сказать по-русски. Да и точно: что tire à conséquence? Ведь от меня отчета не потребуют *здесь*, на сей земле; а там (она подняла палец кверху) — ну, там пусть распоряжаются, как знают. Когда меня будут *там* судить, *то я* не я буду! Вы слушаете меня? Вам не скучно?

Санин сидел наклонившись. Он поднял голову.

— Мне вовсе не скучно, Марья Николаевна, и слушаю я вас с любопытством. Только я... признаюсь... я спрашиваю себя, зачем вы это всё говорите мне?

Марья Николаевна слегка подвинулась на диване.

— Вы себя спрашиваете... Вы такой недогадливый? Или такой скромный?

Санин поднял голову еще выше.

— Я вам всё это говорю,— продолжала Марья Николаевна спокойным тоном, который, однако, не совсем соответствовал выражению ее лица,— потому что вы мне очень нравитесь; да, не удивляйтесь, я не шучу; потому, что после встречи с вами мне было бы неприятно думать, что вы сохраните обо мне воспоминание нехорошее... или даже не нехорошее, это мне всё равно, а неверное. Оттого-то я и залучила вас сюда, и остаюсь с вами наедине, и говорю с вами так откровенно... Да, да, откровенно. Я не лгу. И заметьте, Дмитрий Павлович, я знаю, что вы влюблены в другую, что вы собираетесь жениться на ней... Отдайте же справедливость моему бескорыстию! А впрочем, вот вам случай сказать в свою очередь: «Cela ne tire pas à conséquence!»

Она засмеялась, но смех ее внезапно оборвался — и она осталась неподвижной, как будто ее собственные слова ее самое поразили, а в глазах ее, в обычное время столь веселых и смелых, мелькнуло что-то похожее на робость, похожее даже на грусть.

---

[1] Это не влечет за собою никаких последствий! *(франц.)*.

«Змея! ах, она змея! — думал между тем Санин,— но какая красивая змея!»

— Дайте мне мою лорнетку,— проговорила вдруг Марья Николаевна.— Мне хочется посмотреть: неужели эта jeune première в самом деле так дурна собою? Право, можно подумать, что ее определило правительство с нравственной целью, чтобы молодые люди не слишком увлекались.

Санин подал ей лорнетку, а она, принимая ее от него, быстро, но чуть слышно, охватила обеими руками его руку.

— Не извольте серьезничать,— шепнула она с улыбкой.— Знаете что: на меня цепей наложить нельзя, но ведь и я не накладываю цепей. Я люблю свободу и не признаю обязанностей — не для себя одной. А теперь посторонитесь немножко и давайте послушаемте пьесу.

Марья Николаевна навела лорнетку на сцену — и Санин принялся глядеть туда же, сидя с нею рядом, в полутьме ложи, и вдыхая, невольно вдыхая теплоту и благовоние ее роскошного тела и столь же невольно переворачивая в голове своей всё, что она ему сказала в течение вечера — особенно в течение последних минут.

XL

Пьеса длилась еще час с лишком, но Марья Николаевна и Санин скоро перестали смотреть на сцену. У них снова завязался разговор, и пробирался он, разговор этот, по той же дорожке, как и прежде; только на этот раз Санин меньше молчал. Внутренно он и на себя сердился и на Марью Николаевну; он старался доказать ей всю неосновательность ее «теории», как будто ее занимали теории! Он стал с ней спорить, чему она втайне очень порадовалась: коли спорит, значит уступает или уступит. На прикормку пошел, подается, дичиться перестал! Она возражала, смеялась, соглашалась, задумывалась, нападала... а между тем его лицо и ее лицо сближались, его глаза уже не отворачивались от ее глаз... Эти глаза словно блуждали, словно кружили по его чертам, и он улыбался ей в ответ — учтиво, но улыбался. Ей на руку было уже и то, что он пускался в отвлеченности, рассуждал о честности взаимных отношений, о долге, о святости любви и брака... Известное дело: эти отвлеченности очень и очень годятся как начало... как исходная точка...

Люди, хорошо знавшие Марью Николаевну, уверяли, что когда во всем ее сильном и крепком существе внезапно проступало нечто нежное и скромное, что-то почти девически стыдливое — хотя, подумаешь, откуда оно бралось?..— тогда... да, тогда дело принимало оборот опасный.

Оно, по-видимому, принимало этот оборот и для Санина... Презрение он бы почувствовал к себе, если б ему удалось хотя на миг сосредоточиться; но он не успевал ни сосредоточиться, ни презирать себя.

А она не теряла времени. И всё это происходило оттого, что он был очень недурен собою! Поневоле придется сказать: «Как знать, где найдешь, где потеряешь?»

Пьеса кончилась. Марья Николаевна попросила Санина накинуть на нее шаль и не шевелилась, пока он окутывал мягкой тканью ее поистине царственные плечи. Потом она взяла его под руку, вышла в коридор — и чуть не вскрикнула: у самой двери ложи, как некое привидение, торчал Дёнгоф; а из-за его спины выглядывала паскудная фигура висбаденского критика. Маслянистое лицо «литтерата» так и сияло злорадством.

— Не прикажете ли, сударыня, я вам отыщу вашу карету? — обратился к Марье Николаевне молодой офицер с трепетом худо сдержанного бешенства в голосе.

— Нет, благодарствуйте,— ответила она,— мой лакей ее найдет.— Останьтесь! — прибавила она повелительным шёпотом — и быстро удалилась, увлекая за собою Санина.

— Ступайте к чёрту! Что вы ко мне пристали? — гаркнул вдруг Дёнгоф на литтерата. Надо было ему на ком-нибудь сорвать свое сердце!

— Sehr gut! sehr gut! — пробормотал литтерат и стушевался.

Лакей Марьи Николаевны, ожидавший ее в сенях, в мгновение ока отыскал ее карету — она проворно села в нее, за нею вскочил Санин. Дверцы захлопнулись — и Марья Николаевна разразилась смехом.

— Чему вы смеетесь? — полюбопытствовал Санин.

— Ах, извините меня, пожалуйста... но мне пришло в голову, что если Дёнгоф с вами опять будет стреляться... из-за меня... Не чудеса ли это?

— А вы с ним очень коротко знакомы? — спросил Санин.

— С ним? С этим мальчиком? Он у меня на побегушках. Вы не беспокойтесь!

— Да я и не беспокоюсь вовсе.

Марья Николаевна вздохнула.

— Ах, я знаю, что вы не беспокоитесь. Но слушайте — знаете что: вы такой милый, вы не должны отказать мне в одной последней просьбе. Не забудьте: через три дня я уезжаю в Париж, а вы возвращаетесь во Франкфурт... Когда мы встретимся?

— Какая это просьба?

— Вы верхом, конечно, умеете ездить?

— Умею.

— Ну вот что. Завтра поутру я вас возьму с собою — и мы поедем вместе за город. У нас будут отличные лошади. Потом мы вернемся, дело покончим — и аминь! Не удивляйтесь, не говорите мне, что это каприз, что я сумасшедшая — всё это может быть,— но скажите только: я согласен!

Марья Николаевна обернула к нему свое лицо. В карете было темно, но глаза ее сверкнули в самой этой темноте.

— Извольте, я согласен,— промолвил Санин со вздохом.

— Ах! Вы вздохнули! — передразнила его Марья Николаевна.— Вот что значит: взялся за гуж — не говори, что не дюж. Но нет, нет... Вы — прелесть, вы хороший — а обещание я свое сдержу. Вот вам моя рука, без перчатки, правая, деловая. Возьмите ее и верьте ее пожатию. Что я за женщина, я не знаю; но человек я честный — и дела́ иметь со мною можно.

Санин, сам хорошенько не отдавая себе отчета в том, что делает, поднес эту руку к своим губам. Марья Николаевна тихонько ее приняла и вдруг умолкла — и молчала, пока карета не остановилась.

Она стала выходить... Что это? показалось ли Санину, или он точно почувствовал на щеке своей какое-то быстрое и жгучее прикосновение?

«До завтра!» — шепнула Марья Николаевна ему на лестнице, вся освещенная четырьмя свечами канделябра, ухваченного при ее появлении золотообрезным привратником. Она держала глаза опущенными.— «До завтра!»

Вернувшись к себе в комнату, Санин нашел на столе письмо от Джеммы. Он мгновенно... испугался — и тотчас же обрадовался, чтобы поскорей замаскировать перед

самим собою свой испуг. Оно состояло из нескольких строк. Она радовалась благополучному «началу дела», советовала ему быть терпеливым и прибавляла, что все в доме здоровы и заранее радуются его возвращению. Санин нашел это письмо довольно сухим — однако взял перо, бумагу... и всё бросил. «Что писать!? Завтра сам вернусь... пора, пора!»

Он немедленно лег в постель и постарался как можно скорее заснуть. Оставшись на ногах и бодрствуя, он наверное стал бы думать о Джемме — а ему было почему-то... стыдно думать о ней. Совесть шевелилась в нем. Но он успокоивал себя тем, что завтра всё будет навсегда кончено и он навсегда расстанется с этой взбалмошной барыней — и забудет всю эту чепуху!..

Слабые люди, говоря с самими собою, охотно употребляют энергические выражения.

Et puis... cela ne tire pas à conséquence!

XLI

Вот что думал Санин, ложась спать; но что он подумал на следующий день, когда Марья Николаевна нетерпеливо постучала коралловой ручкой хлыстика в его дверь, когда он увидел ее на пороге своей комнаты — с шлейфом темно-синей амазонки на руке, с маленькой мужской шляпой на крупно заплетенных кудрях, с откинутым на плечо вуалем, с вызывающей улыбкой на губах, в глазах, на всем лице,— что он подумал тогда — об этом молчит история.

— Ну? готовы? — прозвучал веселый голос.

Санин застегнул сюртук и молча взял шляпу. Марья Николаевна бросила на него светлый взгляд, кивнула головою и быстро побежала вниз по лестнице. И он побежал вслед за нею.

Лошади стояли уже на улице перед крыльцом. Их было три: золотисто-рыжая чистокровная кобыла с сухой, оскалистой мордой, черными глазами навыкате, с оленьими ногами, немного поджарая, но красивая и горячая как огонь — для Марьи Николаевны; могучий, широкий, несколько тяжелый конь, вороной, без отмет — для Санина; третья лошадь назначалась груму. Марья Николаевна ловко вскочила на свою кобылу... Та затопала ногами и завертелась, отделяя хвост и поджимая круп, но Марья Николаевна (отличная наездница!) удержала ее на месте; нужно было проститься с Полозовым, который, в не-

изменной своей феске и в шлафроке нараспашку, появился на балконе и махал оттуда батистовым платочком, нисколько, впрочем, не улыбаясь, а скорее хмурясь. Взобрался и Санин на своего коня; Марья Николаевна отсалютовала г-ну Полозову хлыстиком, потом ударила им свою лошадь по выгнутой и плоской шее: та взвилась на дыбы, прыгнула вперед и пошла щепотким, укрощенным шагом, вздрагивая всеми жилками, собираясь на мундштуке, кусая воздух и порывисто фыркая. Санин ехал сзади и глядел на Марью Николаевну; самоуверенно, ловко и стройно покачивался ее тонкий и гибкий стан, тесно и вольно охваченный корсетом. Она обернула голову назад и подозвала его одними глазами. Он поравнялся с нею.

— Ну, вот видите, как хорошо,— сказала она.— Я вам говорю напоследях, перед разлукой: вы прелесть — и раскаиваться не будете.

Выговорив эти последние слова, она несколько раз повела головою сверху вниз, как бы желая подтвердить их и дать ему почувствовать их значение.

Она казалась до того счастливой, что Санин просто удивлялся; у нее на лице появилось даже то степенное выражение, какое бывает у детей, когда они очень... очень довольны.

Шагом доехали они до недалекой заставы, а там пустились крупной рысью по шоссе. Погода была славная, прямо летняя; ветер струился им навстречу и приятно шумел и свистал в их ушах. Им было хорошо: сознание молодой, здоровой жизни, свободного, стремительного движения вперед охватывало их обоих; оно росло с каждым мигом.

Марья Николаевна осадила свою лошадь и опять поехала шагом; Санин последовал ее примеру.

— Вот,— начала она с глубоким, блаженным вздохом,— вот для этого только и стоит жить. Удалось тебе сделать, чего тебе хотелось, что казалось невозможным,— ну и пользуйся, душа, по самый край! — Она провела рукой себе по горлу поперек.— И каким добрым человек тогда себя чувствует! Вот теперь я... какая добрая! Кажется, весь свет бы обняла. То есть нет, не весь свет!.. Вот этого я бы не обняла.— Она указала хлыстиком на пробиравшегося сторонкой нищенски одетого старика.— Но осчастливить его я готова. Нате, возьмите,— крикнула она громко по-немецки и бросила к его ногам кошелек.

Увесистый мешочек (тогда еще портмоне в помину не было) стукнул о́ дорогу. Прохожий изумился, остановился, а Марья Николаевна захохотала и пустила лошадь вскачь.

— Вам так весело верхом ездить? — спросил Санин, догнав ее.

Марья Николаевна опять разом осадила свою лошадь: она иначе ее не останавливала.

— Я хотела только уехать от благодарности. Кто меня благодарит — удовольствие мое портит. Ведь я не для него это сделала, а для себя. Как же он смеет меня благодарить? Я не расслышала, о чем вы меня спрашивали.

— Я спрашивал... я хотел знать, отчего вы сегодня так веселы?

— Знаете что,— промолвила Марья Николаевна: она либо опять не расслышала Санина, либо не почла за нужное отвечать на его вопрос.— Мне ужасно надоел этот грум, который торчит за нами и который, должно быть, только и думает о том, когда, мол, господа домой поедут? Как бы от него отделаться? — Она проворно достала из кармана записную книжечку.— Послать его с письмом в город? Нет... не годится. А! вот как! Это что такое впереди? Трактир?

Санин глянул, куда она указывала.

— Да, кажется, трактир.

— Ну и прекрасно. Я прикажу ему остаться в этом трактире — и пить пиво, пока мы вернемся.

— Да что он подумает?

— А нам что за дело! Да он и думать не будет; будет пить пиво — и только. Ну, Санин (она в первый раз назвала его по одной фамилии),— вперед, рысью!

Поравнявшись с трактиром, Марья Николаевна подозвала грума и сообщила ему, что она от него требовала. Грум, человек английского происхождения и английского темперамента, молча поднес руку к козырьку своей фуражки, соскочил с лошади и взял ее под уздцы.

— Ну, теперь мы — вольные птицы! — воскликнула Марья Николаевна.— Куда нам ехать — на север, на юг, на восток, на запад? Смотрите — я как венгерский король на коронации (она указала концом хлыста на все четыре стороны света). Всё наше! Нет, знаете что: видите, какие там славные горы — и какой лес! Поедемте туда, в горы, в горы!

In die Berge, wo die Freiheit thront![1]

Она свернула с шоссе и поскакала по узкой, неторной дорожке, которая действительно как будто направлялась к горам. Санин поскакал за нею.

XLII

Дорожка эта скоро превратилась в тропинку и наконец совсем исчезла, пересеченная канавой. Санин посоветовал вернуться, но Марья Николаевна сказала: «Нет! я хочу в горы! Поедем прямо, как летают птицы» — и заставила свою лошадь перескочить канаву. Санин тоже перескочил. За канавой начинался луг, сперва сухой, потом влажный, потом уже совсем болотистый: вода просачивалась везде, стояла лужицами. Марья Николаевна пускала лошадь нарочно по этим лужицам, хохотала и твердила: «Давайте школьничать!»

— Вы знаете,— спросила она Санина,— что значит: охотиться по брызга́м?

— Знаю,— отвечал Санин.

— У меня дядя был псовый охотник,— продолжала она.— Я с ним езживала — весною. Чудо! Вот и мы теперь с вами — по брызга́м. А только я вижу: вы русский человек, а хотите жениться на итальянке. Ну да это — ваша печаль. Это что? Опять канава? Гоп!

Лошадь перескочила — но шляпа упала с головы Марьи Николаевны, и кудри ее рассыпались по плечам. Санин хотел было слезть с коня и поднять шляпу, но она крикнула ему: «Не трогайте, я сама достану», нагнулась низко с седла, зацепила ручкой хлыста за вуаль и точно: достала шляпу, надела ее на голову, но волос не подобрала и опять помчалась, даже гикнула. Санин мчался с нею рядом, рядом с нею и перепрыгивал рвы, ограды, ручейки, проваливался и выкарабкивался, несся под гору, несся в гору и всё глядел ей в лицо. Что за лицо! Всё оно словно раскрыто: раскрыты глаза, алчные, светлые, дикие; губы, ноздри раскрыты тоже и дышат жадно; глядит она прямо, в упор перед собою, и, кажется, всем, что она видит, землею, небом, солнцем и самым воздухом хочет завладеть эта душа, и об одном только она и жалеет: опасностей мало — все бы их одолела! «Санин! — кричит

---

[1] В горы, где царит свобода! *(нем.)*.

она,— ведь это как в Бюргеровой „Леноре"! Только вы не мертвый — а? Не мертвый?.. Я живая!» Разыгрались удалые силы. Это уж не амазонка пускает коня в галоп — это скачет молодой женский кентавр, полузверь и полубог, и изумляется степенный и благовоспитанный край, попираемый ее буйным разгулом!

Марья Николаевна остановила наконец свою вспененную забрызганную лошадь: она шаталась под нею, а у могучего, но тяжкого санинского жеребца прерывалось дыхание.

— Что? любо? — спросила Марья Николаевна каким-то чудным шёпотом.

— Любо! — восторженно отозвался Санин. И в нем кровь разгорелась.

— Постойте, то ли еще будет! — Она протянула руку. Перчатка на ней была разорвана.

— Я сказала, что приведу вас к лесу, к горам... Вот они, горы! — Точно: покрытые высоким лесом, зачинались горы шагах в двухстах от того места, куда вылетели лихие всадники.— Смотрите: вот и дорога. Оправимтесь — и вперед. Только шагом. Надо дать лошадям вздохнуть.

Они поехали. Одним сильным взмахом руки Марья Николаевна отбросила назад свои волосы. Посмотрела потом на свои перчатки — и сняла их.

— Руки будут кожей пахнуть,— сказала она,— да ведь это вам ничего? А?..

Марья Николаевна улыбалась, и Санин улыбался тоже. Эта бешеная скачка их как будто окончательно сблизила и подружила.

— Сколько вам лет? — спросила она вдруг.

— Двадцать два.

— Не может быть! Мне двадцать два тоже. Годы хорошие. Сложи их вместе, и то до старости далеко. Однако жарко. Что, я раскраснелась?

— Как маков цвет!

Марья Николаевна утерла лицо платком.

— Только бы до лесу добраться, а там будет прохладно. Этакой старый лес — точно старый друг. Есть у вас друзья?

Санин подумал немного.

— Есть... только мало. Настоящих нет.

— А у меня есть, настоящие — только не старые. Вот тоже друг — лошадь. Как она тебя бережно несет!

Ах, да здесь отлично! Неужто я послезавтра в Париж еду?

— Да... неужто? — подхватил Санин.

— А вы во Франкфурт?

— Я непременно во Франкфурт.

— Ну, что ж — с богом! Зато сегодняшний день наш... наш... наш!

Лошади добрались до опушки и вошли в нее. Тень леса накрыла их широко и мягко, и со всех сторон.

— О, да тут рай! — воскликнула Марья Николаевна.— Глубже, дальше в эту тень, Санин!

Лошади тихо двигались «глубже в тень», слегка покачиваясь и похрапывая. Дорожка, по которой они выступали, внезапно повернула в сторону и вдалась в довольно тесное ущелье. Запах вереска, папоротника, смолы сосновой, промозглой, прошлогодней листвы так и сперся в нем — густо и дремотно. Из расселин бурых крупных камней било крепкой свежестью. По обеим сторонам дорожки высились круглые бугры, поросшие зеленым мохом.

— Стойте! — воскликнула Марья Николаевна.— Я хочу присесть и отдохнуть на этом бархате. Помогите мне сойти.

Санин соскочил с коня и подбежал к ней. Она оперлась об его плечи, мгновенно спрыгнула на землю и села на одном из моховых бугров. Он стал перед нею, держа в руках поводья обеих лошадей.

Она подняла на него глаза...

— Санин, вы умеете забывать?

Санину вспомнилось вчерашнее... в карете.

— Что это — вопрос... или упрек?

— Я отроду никого и ни в чем не упрекала. А в присуху вы верите?

— Как?

— В присуху — знаете, о чем у нас в песнях поется. В простонародных русских песнях?

— А! Вы вот о чем говорите...— протянул Санин.

— Да, об этом. Я верю... и вы поверите.

— Присуха... колдовство...— повторил Санин.— Всё на свете возможно. Прежде я не верил, а теперь верю. Я себя не узнаю.

Марья Николаевна подумала — и оглянулась.

— А мне сдается, место это мне как будто знакомое. Посмотрите-ка, Санин, за тем широким дубом — стоит деревянный красный крест? аль нет?

Саиин сделал несколько шагов в сторону.

— Стоит.

Марья Николаевна ухмыльнулась.

— А, хорошо! Я знаю, где мы. Пока еще не потерялись. Это что стучит? Дровосек?

Санин поглядел в чащу.

— Да... там какой-то человек сухие сучья рубит.

— Надо волосы в порядок привести,— проговорила Марья Николаевна.— А то увидит — осудит.— Она сняла шляпу и начала заплетать свои длинные косы — молча и важно. Санин стоял перед нею... Ее стройные члены явственно рисовались под темными складками сукна, с коегде приставшими волокнами моха.

Одна из лошадей внезапно встряхнулась за спиною Санина; он сам затрепетал невольно, с ног до головы. Всё в нем было перепутано — нервы натянулись как струны. Недаром он сказал, что сам себя не узнает... Он действительно был околдован. Всё существо его было полно одним... одним помыслом, одним желаньем. Марья Николаевна бросила на него проницательный взгляд.

— Ну, вот теперь всё как следует,— промолвила она, надевая шляпу.— Вы не садитесь? Вот тут! Нет, погодите... не садитесь. Что это такое?

По верхушкам деревьев, по воздуху лесному, прокатилось глухое сотрясение.

— Неужели это гром?

— Кажется, точно гром,— ответил Санин.

— Ах, да это праздник! просто праздник! Только этого недоставало! — Глухой гул раздался вторично, поднялся — и упал раскатом.— Браво! Bis! Помните, я вам говорила вчера об «Энеиде»? Ведь *их* тоже в лесу застала гроза. Однако надо убраться.— Она быстро поднялась на ноги.— Подведите мне лошадь... Подставьте мне руку. Вот так. Я не тяжела.

Она птицей взвилась на седло. Санин тоже сел на коня.

— Вы — домой? — спросил он неверным голосом.

— Домой?? — отвечала она с расстановкой и подобрала поводья.— Ступайте за мной,— приказала она почти грубо.

Она выехала на дорогу и, минуя красный крест, опустилась в лощину, добралась до перекрестка, повернула

направо, опять в гору... Она, очевидно, знала, куда держала путь — и шел этот путь всё в глубь да в глубь леса. Она ничего не говорила, не оглядывалась; она повелительно двигалась вперед — и он послушно и покорно следовал за нею, без искры воли в замиравшем сердце. Дождик начал накрапывать. Она ускорила ход своей лошади — и он не отставал от нее. Наконец, сквозь темную зелень еловых кустов, из-под навеса серой скалы, глянула на него убогая караулка, с низкой дверью в плетеной стене... Марья Николаевна заставила лошадь продраться сквозь кусты, спрыгнула с нее — и, очутившись вдруг у входа караулки, обернулась к Санину и шепнула: Эней?

Четыре часа спустя Марья Николаевна и Санин, в сопровождении дремавшего на седле грума, возвратились в Висбаден, в гостиницу. Г-н Полозов встретил свою супругу, держа в руках письмо к управляющему. Вглядевшись в нее попристальнее, он, однако, выразил на лице своем некоторое неудовольствие — и даже пробормотал:

— Неужто проиграл пари?

Марья Николаевна только плечами пожала.

А в тот же день, два часа спустя, Санин в своей комнате стоял перед нею, как потерянный, как погибший...

— Куда же ты едешь? — спрашивала она его.— В Париж — или во Франкфурт?

— Я еду туда, где будешь ты,— и буду с тобой, пока ты меня не прогонишь,— отвечал он с отчаянием и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми десятью пальцами схватила его волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество — а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза.

XLIII

Вот что припомнил Дмитрий Санин, когда в тишине кабинета, разбирая свои старые бумаги, он нашел между ними гранатовый крестик. Рассказанные нами события

ясно и последовательно возникали перед его мысленным взором... Но, дойдя до той минуты, когда он с таким унизительным молением обратился к г-же Полозовой, когда он отдался ей под ноги, когда началось его рабство,— он отвернулся от вызванных им образов, он не захотел более вспоминать. И не то, чтобы память изменила ему — о нет! он знал, он слишком хорошо знал, что последовало за той минутой, но стыд душил его — даже и теперь, столько лет спустя; он страшился того чувства неодолимого презрения к самому себе, которое, он в этом не мог сомневаться, непременно нахлынет на него и затопит, как волною, все другие ощущения, как только он не велит памяти своей замолчать. Но как он ни отворачивался от возникавших воспоминаний, вполне заглушить он их не мог. Он вспомнил дрянное, слезливое, лживое, жалкое письмо, посланное им Джемме, письмо, оставшееся без ответа... Явиться к ней, вернуться к ней — после такого обмана, такой измены — нет! нет! на столько совести и честности осталось еще в нем. К тому же он всякое доверие потерял к себе, всякое уважение: он уже ни за что не смел ручаться. Санин вспомнил также, как он потом — о, позор! — отправил полозовского лакея за своими вещами во Франкфурт, как он трусил, как он думал лишь об одном: поскорей уехать в Париж, в Париж; как он, по приказанию Марьи Николаевны, подлаживался и подделывался к Ипполиту Сидорычу — и любезничал с Дöнгофом, на пальце которого он заметил точно такое же железное кольцо, какое дала ему Марья Николаевна!!! Потом пошли воспоминания еще хуже, еще позорнее... Кельнер подает ему визитную карточку — и стоит на ней имя Панталеоне Чиппатола, придворного певца е. к. в. герцога Моденского! Он прячется от старика, но не может избегнуть встречи с ним в коридоре — и встает перед ним раздраженное лицо под взвившимся кверху седым хохлом; горят, как уголья, старческие глаза — и слышатся грозные восклицания и проклятия: Maledizione! [1], слышатся даже страшные слова: Codardo! Infame traditore! [2] Санин жмурит глаза, встряхивает головою, отворачивается вновь и вновь — и все-таки видит себя сидящим в дорожном дормезе на узком переднем месте... На задних, покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч —

[1] Проклятье! *(итал.)*.
[2] Трус! Гнусный изменник! *(итал.)*.

четверня лошадей несется дружной рысью по мостовой Висбадена — в Париж! в Париж! Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил, а Марья Николаевна глядит на него и усмехается тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомой усмешкой — усмешкой собственника, владыки...

Но боже мой! Вон там, на углу улицы, недалеко от выезда из города, не Панталеоне ли стоит опять — и кто с ним? Неужели Эмилио? Да, это он, тот восторженный, преданный мальчик! Давно ли его юное сердце благоговело перед своим героем, идеалом, а теперь его бледное красивое — до того красивое лицо, что Марья Николаевна его заметила и высунулась в окошко кареты — это благородное лицо пышет злобой и презрением; глаза, столь похожие на *те* глаза! — впиваются в Санина, и губы сжимаются... и раскрываются вдруг для обиды...

А Панталеоне протягивает руку и указывает на Санина — кому? — стоящему возле Тарталье, и Тарталья лает на Санина — и самый лай честного пса звучит невыносимым оскорблением... Безобразно!

А там — житье в Париже и все унижения, все гадкие муки раба, которому не позволяется ни ревновать, ни жаловаться и которого бросают наконец, как изношенную одежду...

Потом — возвращение на родину, отравленная, опустошенная жизнь, мелкая возня, мелкие хлопоты, раскаяние горькое и бесплодное и столь же бесплодное и горькое забвение — наказание не явное, но ежеминутное и постоянное, как незначительная, но неизлечимая боль, уплата по копейке долга, которого и сосчитать нельзя...

Чаша переполнилась — довольно!

Каким образом уцелел крестик, данный Санину Джеммой, почему не возвратил он его, как случилось, что до того дня он ни разу на него не натыкался? Долго, долго сидел он в раздумье и — уже наученный опытом, через столько лет — всё не в силах был понять, как мог он покинуть Джемму, столь нежно и страстно им любимую, для женщины, которую он и не любил вовсе?.. На следующий день он удивил всех своих приятелей и знакомых: он объявил им, что уезжает за границу.

Недоумение распространилось в обществе. Санин покидал Петербург, среди белой зимы, только что нанявши

и обмеблировавши отличную квартиру, даже абонировавшись на представления итальянской оперы, в которой участвовала сама г-жа Патти — сама, сама, сама г-жа Патти! Приятели и знакомые недоумевали; но людям вообще не свойственно долго заниматься чужими делами, и когда Санин отправился за границу — его на станцию железной дороги приехал провожать один француз портной, и то в надежде получить недоплаченный счетец — «pour un saute-en-barque en velours noir, tout à fait chic» [1].

XLIV

Санин сказал своим друзьям, что уезжает за границу, но не сказал, куда именно; читатели легко догадаются, что он покатил прямо во Франкфурт. Благодаря повсеместно распространенным железным дорогам он на четвертый день после выезда из Петербурга был уже там. Он не посещал его с самого 1840 года. Гостиница «Белого лебедя» стояла на прежнем месте и процветала, хотя уже не считалась первоклассной; Цейль, главная улица Франкфурта, мало изменилась, но не только от дома г-жи Розелли — от самой улицы, где находилась ее кондитерская,— не осталось ни следа. Санин бродил как ошалелый по местам, когда-то столь знакомым, и ничего не узнавал: прежние постройки исчезли; их заменили новые улицы, уставленные громадными сплошными домами, изящными виллами; даже публичный сад, где происходило его последнее объяснение с Джеммой, разросся и переменился до того, что Санин себя спрашивал — полно, тот ли это сад? Что было ему делать? Как и где наводить справки? Тридцать лет прошло с тех пор... Легкое ли дело! К кому он ни обращался — никто даже имени Розелли не слыхивал; хозяин гостиницы советовал ему справиться в публичной библиотеке: там он, дескать, найдет все старые газеты, но какую он из этого извлечет пользу — хозяин сам объяснить не умел. Санин, с отчаянья, осведомился о г-не Клюбере. Это имя было хорошо известно хозяину — но и тут вышла неудача. Изящный комми, прогремев и возвысившись до звания капиталиста, проторговался, обанкрутился и умер в тюрьме... Это известие не причинило, впрочем, Санину ни малейшего огорчения. Он начинал уже

---

[1] «за матросскую куртку из черного бархата, самую модную» *(франц.)*.

находить свое путешествие несколько необдуманным... Но вот однажды, перелистывая франкфуртский адрес-календарь, он наткнулся на имя фон Дёнгофа, майора в отставке (Major a. D.). Он немедленно взял карету и поехал к нему — хотя почему *этот* Дёнгоф должен был непременно быть *тем* Дёнгофом и почему даже *тот* Дёнгоф мог сообщить ему какие-либо сведения о семействе Розелли? Всё равно: утопающий за соломинку хватается.

Санин застал отставного майора фон Дёнгофа дома — и в принявшем его поседелом господине немедленно узнал своего бывшего противника. И тот его узнал, и даже обрадовался его появлению: оно напомнило ему молодость и молодые проказы. Санин услыхал от него, что семейство Розелли давным-давно переселилось в Америку, в Нью-Йорк; что Джемма вышла замуж за негоцианта; что, впрочем, у него, Дёнгофа, есть знакомый, тоже негоциант, которому, вероятно, известен адрес ее мужа, так как у него много дел с Америкой. Санин упросил Дёнгофа сходить к этому знакомому, и — о радость! — Дёнгоф принес ему адрес Джеммина мужа, г-на Иеремии Слокома — M-r J. Slocum, New York, Broadway, № 501.— Только адрес этот относился к 1863 году.

— Будем надеяться,— воскликнул Дёнгоф,— что наша бывшая франкфуртская красавица еще жива и не покинула Нью-Йорка! Кстати,— прибавил он, понизив голос,— а что та русская дама, что, помните, гостила тогда в Висбадене — г-жа фон Бо... фон Бозолóф — еще жива?

— Нет,— отвечал Санин,— она давно умерла.

Дёнгоф поднял глаза, но, заметив, что Санин отвернулся и нахмурился, не прибавил ни слова — и удалился.

В тот же день Санин послал письмо к г-же Джемме Слоком в Нью-Йорк. В этом письме он говорил ей, что пишет к ней из Франкфурта, куда приехал единственно для того, чтобы отыскать ее следы; что он очень хорошо сознает, до какой степени он лишен малейшего права на то, чтобы она ему отозвалась; что он ничем не заслужил ее прощения — и надеется только на то, что она, среди счастливой обстановки, в которой находится, давно позабыла о самом его существовании. Он прибавлял, что решился напомнить ей о себе вследствие случайного обстоятельства, которое слишком живо возбудило в нем образы прошед-

шего; рассказал ей свою жизнь, одинокую, бессемейную, безрадостную; заклинал ее понять причины, побудившие его обратиться к ней, не дать ему унести в могилу горестное сознание своей вины — давно выстраданной, но не прощенной — и порадовать его хотя самой краткой весточкой о том, как ей живется в этом новом мире, куда она удалилась. «Написав мне хоть одно слово,— так кончал Санин свое письмо,— вы сделаете доброе дело, достойное вашей прекрасной души,— и я буду благодарить вас до последнего моего дыхания. Я остановился здесь, в гостинице *Белого лебедя* (эти слова он подчеркнул) и буду ждать — ждать до весны — вашего ответа».

Он отправил это письмо и принялся ждать. Целых шесть недель прожил он в гостинице, почти не выходя из комнаты и решительно никого не видя. Никто не мог написать к нему ни из России, ни откуда; и это было ему по сердцу; приди на его имя письмо — он уже знает, что оно *то*, которого он ждет. Он читал с утра до вечера — и не журналы, а серьезные книги, исторические сочинения. Эти продолжительные чтения, это безмолвие, это улиткообразное, скрытое житье — всё это пришлось как раз под лад его душевного строя: уж за это за одно спасибо Джемме! Но, жива ли она? Ответит ли она?

Наконец пришло письмо — с американской почтовой маркой — из Нью-Йорка на его имя. Почерк адреса на обертке был английский... Он не узнал его, и сердце в нем сжалось. Не разом решился он надломить пакет. Он глянул на подпись: Джемма! Слезы так и брызнули из его глаз: одно то, что она подписалась своим именем, без фамилии — служило ему залогом примирения, прощения! Он развернул тонкий лист синей почтовой бумаги — фотография выскользнула оттуда. Он поспешно ее поднял — и так и обомлел: Джемма, живая Джемма, молодая, какою он ее знал тридцать лет тому назад! Те же глаза, те же губы, тот же тип всего лица! На оборотной стороне фотографии стояло: «Дочь моя, Марианна». Всё письмо было очень ласково и просто. Джемма благодарила Санина за то, что он не усумнился обратиться к ней, что он имел к ней доверие; не скрывала от него и того, что она точно после его бегства пережила тяжелые мгновенья, но тут же прибавляла, что все-таки считает — и всегда считала — свою встречу с ним за счастье, так как эта встреча помешала ей сделаться женою г-на Клюбера и таким образом, хотя косвенно, но была причиной ее брака с теперешним

ее мужем, с которым она живет вот уже двадцать восьмой год совершенно счастливо, в довольстве и изобилии: дом их известен всему Нью-Йорку. Джемма извещала Санина, что у ней пять человек детей — четыре сына и одна восемнадцатилетняя дочь, невеста, фотографию которой она ему посылает, так как она, по общему суждению, весьма похожа на свою мать. Печальные вести Джемма приберегла к концу письма. Фрау Леноре скончалась в Нью-Йорке, куда она последовала за дочерью и зятем,— однако успела порадоваться счастью своих детей, понянчить внучат; Панталеоне тоже собирался в Америку, но умер перед самым отъездом из Франкфурта. «А Эмилио, наш милый, несравненный Эмилио — погиб славной смертью за свободу родины, в Сицилии, куда он отправился в числе тех „Тысячи", которыми предводительствовал великий Гарибальди; мы все горячо оплакали кончину нашего бесценного брата, но, и проливая слезы, мы гордились им — и вечно будем им гордиться и свято чтить его память! Его высокая, бескорыстная душа была достойна мученического венца!» Потом Джемма изъявляла свое сожаление о том, что жизнь Санина, по-видимому, так дурно сложилась, желала ему прежде всего успокоения и душевной тишины и говорила, что была бы рада свидеться с ним — хотя и сознает, как мало вероятно подобное свиданье...

Не беремся описывать чувства, испытанные Саниным при чтении этого письма. Подобным чувствам нет удовлетворительного выражения: они глубже и сильнее — и неопределеннее всякого слова. Музыка одна могла бы их передать.

Санин отвечал тотчас — и в подарок невесте послал «Марианне Слоком от неизвестного друга» гранатовый крестик, обделанный в великолепное жемчужное ожерелье. Подарок этот, хотя весьма ценный, не разорил его: в течение тридцати лет, протекших со времени его первого пребывания во Франкфурте, он успел нажить значительное состояние. В первых числах мая он вернулся в Петербург — но едва ли надолго. Слышно, что он продает все свои имения и собирается в Америку.



ПРИЛОЖЕНИЯ

⟨ЗАПИСИ 1850—1860-Х ГОДОВ⟩

[1) Собака просто игра природы.]
[2) Про цыганку: а запоет — гроб!]
3) Недалеко пойду за примером: Мазепа, напр⟨имер⟩.
[4) до бесконечности затиранил (поп про архиерея).]
5) прислонился к еде, но и настебался.
6) колыхнуть (убить).
7) Приближение осени: появление птиц стайками (чечетки), появление большой, незнакомой, одинокой и молчаливой птицы в саду.
8) Царский жезл (трава) на взлобке оврага.
9) Подплакунец (ярко-пунцовый цветок, как лист цитварного семени).
10) *Желтая* грозовая туча ночью — странное желтое освещение белых стен.
11) бред Аф⟨анаси⟩я во сне: Пьян? — Пьян.
12) Спор — самая лучшая вещь, идеи в обществе.
13) Ендовище — овраг у дяди в именье.
14) *Спазынка* (сумасшедшая, ее кто-то в лесу испортил: из пазов вынутая).
[15) Табак в жестяных фляжках с пробочкой у кучеров]
16) Погода заметывается — заволакивается.
17) Чумазый.
18) Вот молодец сидит (указывая на клопа).
19) Савка, пьяный певец под окном.
20) Житков декламирует: Российские князья и т. д. Тютчев восклицает: Вона! из Эдипа.
21) Ке́тик.
22) С солнца молотит.
23) NB. Отношение Юрасова к Небольсину.
24) Спать на кулачке, а другой рукой щупать, поднимается ли хлеб.
25) Много [отдужин] отдужников уносит (о лошади).
26) А я не могу никаких сочинений ему сказать.
27) Один под один конец, другой под другой — и пошло дело.

[28) От нюх⟨ательного⟩ табаку тоска по зубам заиграла, словно смеяться захотелось].
29) Глуп, как пятка.
30) Плетень — сбитень.
31) взять под колокольчик.
32) два имени содержит.
33) изба сидит к нам затылком.
34) черная линия кустов на серо-красном небе.
35) барин дает под⟨. . .⟩ник слуге, тот — отворачивается. Вишь, сук⟨ин⟩ сын, с амбицией.
36) Саян — удельный крестьянин.
37) Капельтели, то́мбы на церквах.
38) В постылицу войти.
39) Пулится... отзыбость (про собаку).
40) встёхлый (воронеж⟨ское⟩ слово) — про выросший лес.
41) в блезире есть разница, в деликатности никакой (шляпа в 20 и в 5 рублей).
42) умирающий немец обмыт при жизни.
43) Куриная слепота мужика, высланного с обозом.
44) 4 тукманки русского чел⟨овека⟩.
45) Он умный человек. А что? Женат на немке.
46) Постоялый двор лопнул, оттого что содержатель старый не знал цены деньгам и сдавал наобум (NB то же делается в церкви при покупке свечей).
47) Любить Розину И мужем быть *совсем* друг⟨ой⟩ жены. (Кук⟨ольник⟩).
48) Кук⟨ольник⟩ для доктора — пластический писатель.
49) Маменька доверялась только тому, кого не уважала.
50) La giovine speranza ⟨юная надежда⟩
51) Сдобная Юлинька.
52) Кто это?—La marquise de Vogüé ⟨Маркиза де Вогюэ⟩—излишняя скромность ответа: — C'est sa maîtresse ⟨Это его любовница⟩
53) Красов... как тигр.
54) Старому человеку дороги одни старые воспоминания.
55) [Шалды будалды, да начики чикалды]
56) Жид-музыкант и помещик (о религии и шабаше)
57) Рассказ Ивана о смерти брата от холеры. Священнику хоть с задворка не сходи.
[58] Каженник — меланхолик.]
59) Такая у него была фанаберия... ходит да на гитаре бренчит: философ!
60) Сами мужички себя победили.
[61) Я по такой разговорке ему скажу.]

62) Откуда у ней деньги? Да, должно быть, старик отец на смертном одре сунул.
63) Аромат птиц (Апарины).
64) Они тебя обсвежуют.
65) Анекдот о 30 000 р. из сапога (Ваксель о шулере).
66) Бездонное озеро в болоте под Епифанью.
67) Барин сечет встречного мужика за то, что любит табак, а табаку и не имеет.
68) А. Меня пропивают! — Кто? А. Жених с отцом!
[69) С тех времен он скопытился].
70) Толстый Ф. сидя перебирает ногами — единственная его прогулка.
71) Сшибить горла два-три.
72) Кошембар, Ланскау, Феония Теофиловна.
72) Подхватить на бодряжку (везти экипаж в гору).
72) Мужик, заставляющий на ярмарке плакать шарманщика под лучинушку.
73) Купеческая поговорка: Толковать нечего... боже мой!
74) Либоширничает.
75) Трынка — копейка сер⟨ебром⟩.
76) По равноместью не спотыкается.
77) Это у вас француз? (на Афанасия)
78) *Я*. Хорошо вино? *К*. Ничего — проходит гладко.
79) Осетр? Это фрукт.
80) Шугай не Шугай и Гектор не Гектор — не помню, как звали.
81) Чёртова кукла!
82) — Зачем ты колокола купил? — А как же: теперь как только в благовест зазвонят, все и говорят: Василий Данилов ⟨?⟩ заревел! —
83) Водолаз — А. Н. Муравьев — боголаз.
84) Шугай не Шугай, Гектор не Гектор — не помню, как его прозывали.

НЕСЧАСТНАЯ

(с. 61)

Первоначальный план
и формулярный список действующих лиц [1]

Рассказ

1835 г.[2] Мне—18, товарищу — Андрей Давыдовичу Фустову[3] 24.— Мое знакомство с семейством Ратч. Иван Демьяныч Ратч — учитель немецкого языка, географии, математики, фортепьяно.— Богемец (католик) родом (р. 1780, въехал в Россию 22 лет — 1802) — 56 лет. Жена (вторая) Элеонора Карловна (обрусевшая немка. 36 лет, р. 1800).— Дети: от первой жены — Сусанна [4] — 28 лет (р. 1808), Виктор — 19 лет (р. 1817); от второй — «Коля — 8 [5], Оля — 7 [6], Сашка — 4 и Машка —2». Второй брак совершился в 1827 году (Ратчу было 47 лет, жене его — 27). Первый брак с матерью Сусанны и Виктора — в 1816 г. (Ратчу 36, матери Сусанны было тогда 28 лет — р. в 1788). Она была русская, дочь почтмейстера, вроде бывшего Мценского, звали ее Прасковьей Дмитриевной. Сусанна была дочь богатого барина Ивана Матвеича Колтовского (р. 1760, ⟨у.⟩ 1825). Наследовал ему брат его Семен Матвеич (р. 1762, у. 1834). Сын его Михайла (ротмистр[7] гвардии, р. 1800, убит на Кавказе — в начале 1829). Переехало семейство Ратчей из Архангельского (имение Колтовских в Тамбовской губернии) в Москву зимою 1827-го года, незадолго до свадьбы Ратча. Михайла Семеныч должен был приехать в Москву за Сусанной, когда его убили. — Он влюбился в нее, и она его полюбила — шла к нему (июль 1827 [8]) на свидание и нашла подставленного по милости Ратча отца и т. д.— Я жил в одном доме с Фустовым. Знакомство. Он нечто вроде скромного Дон-Жуана. Я ему завидую, хотя чувствую свое превосходство над ним. Я у него вижу в первый раз Ратча, который давал урок его брату и зашел трубочку покурить. После ухода Ратча Фустов сообщает мне, что у него[9] дочь — странное, но замечательное существо... словом, возбуждает мое любопытство.

---

[1] В приводимом под этой рубрикой тексте сокращенные слова в случаях, не вызывающих сомнений, даны полностью без применения редакционных скобок.
[2] *а.* 1834 *б.* 1836
[3] Образцову
[4] Магдалина
[5] 6
[6] 5
[7] полковник
[8] 1826
[9] *Далее начато*: очень любопытное

Первое посещение, вечер. Общее развязное и как бы добродушное, но неприятное впечатление. Появление Сусанны за чаем. Что-то трагическое и неловко-величественное, чего-то боится Фустов; но он избегает. Я у него сижу на следующий день. Появление Виктора. ⟨*1 нрзб.*⟩ Впечатление скверное — вроде молодого сына Погодина. Кое-какие намеки уже тут. Второе посещение.— Пение. Выказываются странные отношения между Ратчем и Сусанной, которая его ненавидит. Дня через два Фустов нахмурен, недоволен... Высказывает мне наконец, что́ сообщил ему Виктор. Я очень этим потрясен. Обед в трактире втроем. Виктор выбалтывается. Дня через два Фустов объявляет мне, что уезжает в деревню — на несколько времени — и исчезает. Я иду к Ратчам.— Грозное впечатление Сусанны. На другой день ее посещение и рассказ. Я ее провожаю и пишу письмо к Фустову. Я уверен, что она умрет... Известие о действ⟨ительной⟩ ее смерти через Виктора. Фустов приезжает. Идет на похороны — безобразие.— Поминки.— И над могилой не смолкнул голос клеветы. Она тревожит призрак милый...

Появление Цилиндрова.

Андрей Давыдович Фустов.— Очень хорошенький, белокурый, с вьющимся коком; прелестные глаза, которые глядели всегда задумчиво и преданно — чисто физически — у них был такой взгляд, когда он суп ел; рот, зубы восхитительные. Довольно умен, не зол, аккуратен и добропорядочен, но эгоист порядочный. Скромный Дон-Жуан, в сущности ничем не увлекается, хотя многим интересуется. Это дико! дико!..— характерные его слова. Недурно поет, в шахматы хорошо играет, очень ловкий ездок, танцор. Он жил у матери, довольно богатой женщины, сов⟨сем⟩ свободно,—занимал особую комнату и пока состоял по министерству двора, говорил по-французски скверно ⟨?⟩; и в высший свет ездил мало, так ⟨как⟩ там ему скучно было, и он удобнее забавлялся в среднем и низшем кругу.

Ратч[10] И. Д. (Johann Dietrich Ratsch[11]) родился в Праге от довольно зажиточных родителей, но закутил, был в университете на все руки, а в 1800 году был вывезен в Россию князем Голицыным в качестве не то камердинера, не то секретаря. Скоро выучился по-русски и даже любил залихватские выражения (вроде князя Вяземского), дока *для* всего и ⟨*1 нрзб.*⟩ занимался счетоводством, даванием уроков математики. (Играл на фаготе, причем становился весь красный и лицо принимало свирепое выражение.) Вертелся в разных домах и должностях. В 1812 году в Москве якобы потерял имущество, а по другим слухам шпионил, получил какое-то возна-

---

[10] Прач
[11] Pratsch

граждение. Довольно высокого роста, крепко и ядрено сложен; лицо красное, бритое, белые, крупные зубы, седые волосы курчавой шапкой, гладкий большой лоб, глаза почти белые. Беспрерывно смеется каким-то металлическим хохотом, причем себя бьет ладонями по ягодицам и по ляжкам сзади. Скверный, на все гадости способный, хитрый и наглый человек. Веселости большой и любит общество. Жаден до денег до чрезвычайности. Ненавидит Магдалину. Служит в кадетском корпусе учителем, [надворный советник] коллежский асессор.

Элеонора Карловна — его жена, урожденная Шнике, дочь [богатого] зажиточного мясника, совершенно обрусевшая [московка] немка, дюжее свежее существо, неглупое, но приниженное и покорное. Хорошая хозяйка. В молодости имела la beauté du diable ⟨буквально „красота дьявола“ — свежесть⟩, а теперь просто свежий кусок говядины. Знает, однако, что по мужу дворянка, и так себя и держит и страстно любит всё русское, московское. Говорлива, Ратч ее перебивает, но тотчас ⟨?⟩ хохочет. «Ну и где же ⟨?⟩ мои дети могли быть дворяне? И я дворянка». Четверо ее детей. Они ужасно на нее похожи. Дюжие крепыши, белокурые, с вихрами, с топорными, свежими лицами; небольшие глаза, руки обрубками, вроде детей Петра Никитиевича.

Виктор J⟨unior?⟩. Куренье.— Студент вроде Гуллерта или сына Погодина. Уже переносил 2 шанкера и 2 ⟨*1 нрзб.*⟩. Похож на отца, но только черты несколько тоньше. Зубы скверные. Выражение сладковато-изможденное и наглое. Неопрятен, только руки содержит в чистоте, с длинными ногтями. Надут, трус, подлец, завистлив и прислужиться готов, где можно покутить и попить на чужой счет. Сестру терпеть не может. Мать перед ним благоговеет, в доме командир — его отец боится, хотя за глаза ругает его.

Сусанна. Родилась от Ивана Матвеича Колтовского и Парасковьи.— 1808.— Мать ее вышла за Прача в 1816, когда ей было 8 лет, а умерла в 1822, когда ей было 14. Когда отец ее умер, ей было 17. Иван Матвеич хоть не мог решиться гласно признать ее (оттого и мать ее замуж выдал), но заботился об ее воспитании, сам [давал] читал с ней ф⟨ранцузски⟩е ⟨?⟩ книги (sa jeune lectrice ⟨его юная чтица⟩). Иван Матвеич Колтовской, вроде старика Бакунина — «L'aiqle sa plaît dans les régions austères» ⟨«Орлу нравится в суровых краях»⟩,— помнил Версаль и Марию Антуанетту. ⟨*2 нрзб.*⟩ Умер под новый 26-ой г. внезапно, не оставив никакого завещания, хотя всё готовился написать; брат, с которым был в разладе,— Семен Матвеич, важный в Петербурге чиновник, получил наследство. Вышел по неприятности в отставку и, приехав тут же в деревню, поселился в ней. Сношения с Сусанной, которую он вовсе не трактует как племянницу, но которая очень ему нравится

(он великий развратник). Он старается привлечь ее лаской и величавой снисходительностью, а к Ратчу сказывает благоволение и покровительство, почти делает его управляющим, приближает к своей особе. В душе она его боится и дичится. Она догадывается, в чем дело. К зиме приезжает сын Михаил (вроде Дм. Ник.), красивый, добрый юноша, заболевает и остается до весны; Сусанна страстно в него влюбляется, и он влюбляется в нее. Отец подозревает и приходит в тайную ярость. Происходит свидание... на которое с помощью Ратча — вместо сына — является отец. Безобразие. Страшная сцена между сыном и отцом. Михаил уезжает на Кавказ. Сусанна грозит самоубийством. Старик уезжает из деревни. Ратч со скрежетом зубов тоже перебирается в Москву, зимой 1827-го года. Семен Матвеич ему дал денег. Ратч ненавидит Сусанну за то, что она знает, какой он подлец, и за то, что по ее милости лишился такого теплого местечка. Горькое житье. Ратч женится. Переписка с Мишелем. Он хочет жениться и перед самым отъездом убит в экспедиции... Семен Матвеич Колтовской назначает пенсию ей и Ратчу под условием, что она не выйдет замуж... Так живет она до 1835 [12] года. Влюбляется в Фустова... Наружность: большая, худая, черные матовые волосы; огромные, несколько одичалые и тусклые, но прекрасные глаза. Выражение трагического горя на впалых щеках и в довольно больших крепко сжатых губах... Овал лица удивительный. Вся фигура поразительная, хотя несимпатичная по совершенному отсутствию нежности [кокетства] и грации... Голос тихий и словно скорбный. Черное платье.

Первая редакция заключительных глав повести

XVIII

Я очень храбро и решительно посылал Фустова к Ратчам, но когда сам я к ним отправился часов в двенадцать (Фустов ни за что не согласился идти со мною и только просил меня отдать ему подробный отчет во всем), когда из-за поворота переулка издали глянул на меня их дом с желтоватым пятном пригробной свечи в одном из окон, несказанный страх стеснил мое дыхание, и я бы охотно вернулся назад... Однако я преодолел себя и вошел в переднюю. В ней пахло ладаном и воском; розовая крыша гроба, обитая серебряным позументом, стояла в углу, прислоненная к стене. В одной из соседних комнат, в столовой, гудело, как залетевший шмель, однообразное бормотанье дьячка. Из гостиной выглянуло заспанное лицо служанки; промолвив вполголоса: «Поклониться пришли?» —

[12] 1834

она указала на дверь столовой. Я вошел. Гроб стоял к дверям головой: черные волосы Сусанны под белым венчиком, над приподнятой бахромой подушки, первые бросились мне в глаза. Я зашел сбоку, перекрестился, поклонился в землю, взглянул... Боже, какой горестный вид! Несчастная! Даже смерть ее не пожалела; не придала ей — не говорю уже красоты, но даже той тишины, умиленной и умилительной тишины, которая так часто встречается на чертах усопших. Маленькое темное, почти коричневое, лицо Сусанны напоминало лики на старых-старых образах... И какое выражение было на этом лице! Такое выражение, как будто она собралась крикнуть отчаянным криком, да так и замерла, не произнеся звука... Даже морщинка между бровями не изгладилась, а пальцы на руках были подвернуты и сжаты. Я невольно отвел взор, но погодя немного я заставил себя поглядеть, внимательно и долго поглядеть на нее. Жалость наполнила мою душу, и не одна только жалость. «Эта девушка умерла насильственной смертью,— решил я про себя,— это несомненно». Пока я стоял и глядел на покойницу, дьячок, который при входе моем возвысил было голос и произнес несколько членораздельных звуков, снова загудел и зевнул раза два. Я вторично поклонился в землю и вышел в переднюю. На пороге гостиной уже ожидал меня г. Ратч, одетый в пестрый бухарский шлафрок, и, поманив меня к себе рукою, повел меня в свой кабинет, я чуть было не сказал, в свою нору. Кабинет этот, мрачный, тесный, весь пропитанный кислым запахом вакштафа, возбуждал в уме сравнение с жилищем волка или лисицы.

— Разрыв! разрыв сердца, там этих покровов... оболочки... Вы знаете... покровов! — заговорил г. Ратч, как только запер дверь.— Такое несчастие! Еще вчера вечером нельзя было ничего заметить, и вдруг: рррраз! и пополам! и конец! Вот уже точно: «Heute roth, morgen todt!»[1] Правда, это должно было ожидать: я это всегда ожидал, мне в Тамбове полковой доктор Галимбовский, Викентий Казимирович... Вы, наверное, слыхали о нем... отличнейший практик, специалист!

— В первый раз слышу это имя,— заметил я.

— Ну, всё равно; так вот он,— продолжал г. Ратч, сперва тихим голосом, а потом всё громче и громче и, к удивлению моему, с заметным немецким акцентом,— он меня всегда предупреждал: «Эй, Иван Демьяныч! эй! друг мой, берегитесь! У вашей падчерицы органический недостаток в сердце — hipertrophia cordialis [2]! Чуть что — беда! Сильных ощущений пуще всего избегать должно... На рассудок должно действовать...» А помилуйте, разве можно с молодою девицей!.. на рассудок действовать? Х...х...ха...

[1] «Нынче жив, завтра мертв!» *(нем.)*.
[2] расширение сердца *(лат.)*.

Г-н Ратч чуть было не засмеялся, по старой привычке, но вовремя спохватился и перевел начатый звук на кашель.

Я не в силах выразить, до какой степени был мне гнусен и противен этот человек, особенно после всего, что я прочел о нем! Однако я почел своей обязанностью спросить: был ли призван доктор?

Г-н Ратч даже подпрыгнул.

— Конечно, был... Двоих призывали, но уже всё было совершено — abgemacht! И вообразите: оба словно стаковались (г. Ратч, вероятно, хотел сказать: стакнулись): Разрыв, разрыв сердца! Так в одно слово и закричали. Предлагали анатомию, но я уже... вы понимаете, не согласился.

— И завтра... похороны? — спросил я.

— Да, да, завтра, завтра мы хороним нашу голубицу! Вынос из дома тела будет ровно в одиннадцать часов пополуночи... Отсюда в церковь Николы на Курьих Ножках... Знаете? Странные какие имена у ваших русских церквей! Потом на последний покой в матушке земле сырой! Вы пожалуете? Мы недавно знакомы, но, смею сказать, любезность вашего нрава и возвышенность чувств...

Я поспешил кивнуть головой.

— Да, да, да,— вздохнул г. Ратч.— Это... это уж точно, как говорится, молния на светлом небеси! Ein Blitz aus heiterem Himmel!

— И ничего Сусанна Ивановна не сказала перед смертью, ничего не оставила?

— Ничего решительно! Ни синь-пороха! Ни единого клочка бумаги! Помилуйте, когда меня к ней позвали, разбудили меня — представьте! она уже окоченела!! Очень чувствительно это было для меня; очень она нас всех огорчила! Александр Давыдыч, чай, тоже пожалеет, как узнает... Говорят, его в Москве нет?

— Он точно уезжал на несколько дней...— начал было я.

— Виктор Иваныч жалуются, что саней им долго не закладывают,— перебила меня вошедшая служанка, та самая, которую я видел в передней. Лицо ее, по-прежнему заспанное, поразило меня в этот раз тем выражением дерзкой грубости, какое появляется у слуг, когда они знают, что господа от них зависят и не решатся ни бранить их, ни взыскивать с них.

— Сейчас, сейчас,— засеменил Иван Демьяныч.— Элеонора Карповна! Leonore! Lenchen! Пожалуйте сюда!

Что-то грузно завозилось за дверью, и в ту же минуту раздалось повелительное восклицание Виктора: «Что ж это, лошадь не закладывают? Не пешком же мне в полицию тащиться?»

— Сейчас, сейчас,— снова залепетал Иван Демьяныч.— Элеонора Карповна, пожалуйте же сюда!

— Aber, Иван Демьяныч,— послышался ее голос,— ich habe keine Toilette gemacht! [1]

— Macht nichts. Komm herein! [2]

Элеонора Карповна вошла, придерживая двумя пальцами косынку на голой шее. На ней был утренний капот-распашонка, и волос она не успела причесать. Иван Демьяныч тотчас подскочил к ней.

— Вы слышите, Виктор лошадь требует,—промолвил он, торопливо указывая пальцем то на дверь, то на окно. — Пожалуйста, распорядитесь попроворнее! Der Kerl schreit so!

— Der Fiktor schreit immer, Иван Демьяныч, Sie wissen wohl [3], — отвечала Элеонора Карповна,— а я сама сказала кучеру, только он вздумал овес задавать. Вот какое несчастье случилось вдруг,— прибавила она, обратясь ко мне,— и кто это мог ожидать от Сусанны Ивановны?

— Я всегда это ожидал, всегда! — закричал Ратч и высоко поднял руки, причем его бухарский халат разъехался спереди, и обнаружились препротивные нижние невыразимые из замшевой кожи с медными пряжками на поясе.— Разрыв сердца! разрыв оболочек! Гипертрофия!

— Ну да,— повторила за ним Элеонора Карповна,— гипо... Ну, вот это. Только мне очень, очень жалко, опять-таки скажу...— И ее топорное лицо понемножку перекосилось, брови приподнялись трехугольником и крохотная слезинка скатилась на круглую, точно налакированную, как у куклы, щеку...— Мне очень жалко, что такой молодой человек, которому только бы следовало жить и пользоваться всем... всем... И этакое вдруг отчаяние!

— Na, gut, gut... geh, alte! [4] — перебил г. Ратч.

— Geh'shon, geh'shon[5], — проворчала Элеонора Карповна и вышла вон, всё еще придерживая пальцами косынку и роняя слезинки.

И я отправился вслед за нею. В передней стоял Виктор в студенческой шинели с бобровым воротником и фуражкой набекрень. Он едва глянул на меня через плечо, встряхнул воротником и не поклонился, за что я ему мысленно сказал большое спасибо.

Я не успел отойти двадцати шагов от дома Ратча, как вдруг ко мне из-за угла переулка быстрыми шагами приблизился чело-

---

[1] Но я еще не одета! *(нем.)*.

[2] Пустяки. Входи! *(нем.)*.

[3] Парень так кричит! — Виктор всегда кричит, вы хорошо это знаете *(нем.)*.

[4] Ну, хорошо, хорошо... иди, старая! *(нем.)*.

[5] Иду уж, иду уж *(нем.)*.

век сумрачного вида, уже не молодой, закутанный в поношенное альмавива.

— Позвольте узнать,— спросил он меня строгим, но вежливым голосом.— Вы, я вижу, вышли из того дома... Правда ли, что падчерица г-на Ратча сегодня скончалась?

— Правда,— отвечал я.

Незнакомец ахнул, отступил шаг назад, схватил себя крупной, красной рукой за лицо...

— Извините меня,— промолвил он глухо из-под растопыренных пальцев...— Эта смерть для меня — удар жестокий! Но мы еще увидимся. Роль моя только теперь начинается, заметьте! Только теперь начинается моя роль! Прощайте!

Незнакомец зашагал прочь от меня. Я отправился к Фустову.

XIX

Я застал моего приятеля сидящим в углу своего кабинета, с понуренной головой и скрещенными на груди руками. Видно было, что он не в состоянии был ничем заняться. На него нашел столбняк, и глядел он вокруг себя с медленным изумлением человека, который очень крепко спал и которого только что разбудили. Я ему рассказал свое посещение у Ратча, передал ему его речи, речи его жены, впечатление, которое они оба произвели на меня, сообщил ему мое убеждение в том, что несчастная девушка сама себя лишила жизни... Фустов слушал меня, не меняя выражения лица, и с тем же изумлением посматривал кругом.

— Ты ее видел? — спросил он меня наконец.

— Видел.

— В гробу?

Фустов словно сомневался в том, что Сусанна действительно умерла.

— В гробу.

Фустов перекосил и опустил глаза и тихонько потер себе руки.

— Тебе холодно? — спросил я.

— Да, брат, холодно,— отвечал он с расстановкой и бессмысленно покачал головою.

Я начал ему доказывать, что Сусанна непременно отравилась, а может быть, и отравлена была, и что этого нельзя так оставить...

Фустов уставился на меня.

— Что же тут делать? — сказал он, медленно и широко моргая.— Хуже ведь... если узнают. Хоронить не станут. Оставить надо... так.

Мне эта, впрочем, очень простая мысль в голову не приходила. Практический смысл моего приятеля не изменил ему!

— Когда... ее хоронят? — продолжал он с той же расстановкой.

— Завтра.

— Ты пойдешь?

— Да.

— В дом или прямо в церковь?

— И в дом и в церковь; а оттуда па кладбище.

— А я не пойду... Я не могу, не могу,— прошептал Фустов и начал всхлипывать. Он и поутру на тех же самых словах зарыдал. Я заметил, это часто случается с плачущим; точно будто одним известным словам, большею частью незначительным,— но именно *этим* словам, а не другим,— дано раскрыть источник слез в человеке, потрясти его, возбудить в нем чувство жалости и к другому и к самому себе... Помнится, одна крестьянка, рассказывая при мне про внезапную смерть своей дочери во время обеда, так и заливалась и не могла продолжать начатого рассказа, как только произносила следующую фразу: «Я ей говорю: Фекла? А она мне: мамка, соль-то ты куда... соль куда... со-оль...» Слово: «соль» ее убивало. Но меня, так же как и поутру, мало трогали слезы Фустова. Я не постигал, каким образом он мог не спросить меня, не оставила ли Сусанна чего-нибудь для него? Вообще их взаимная любовь была для меня загадкой: она так и осталась загадкой для меня.

Поплакавши минут с десять, Фустов встал, лег на диван, повернулся лицом к стене и остался неподвижен. Я подождал немного, но, видя, что он не шевелится и не отвечает на мои вопросы, решил удалиться. Я, быть может, взвожу на него напраслину, но едва ли он не заснул. Впрочем, это еще бы не доказывало, чтоб он не чувствовал огорчения... а только природа его была так устроена, что не могла долго выносить печальные ощущения... Уж больно нормальная была природа!

XX

На следующий день, ровно в одиннадцать часов, я был на месте. Тонкая крупа сеялась с низкого неба, мороз стоял небольшой, готовилась оттепель, но в воздухе ходили резкие, неприятные струи... Самая была великопостная, простудная погода. Я застал г. Ратча на крыльце его дома. В черном фраке с плерезами, без шляпы на голове, он суетился, размахивал руками, бил себя по ляжкам, кричал то в дом, то на улицу, в направлении тут же стоявших погребальных дрог с белым катафалком и двух ямских карет, возле которых четыре гарнизонные солдата в траурных мантиях на старых шинелях и траурных шляпах на сморщенных лицах задумчиво тыкали в рыхлый снег ручками факелов. Седая шапка во-

лос так и вздымалась над красным лицом г-на Ратча, и голос его, этот медный голос, обрывался от натуги. «Что же ельнику! ельнику! сюда! Ветвей еловых! — вопил он.— Сейчас гроб выносить будут! Ельнику!» — воскликнул он еще раз и вскочил в дом. Оказалось, что, несмотря на мою аккуратность, я опоздал: г. Ратч счел за нужное поспешить. Служба уже отошла: священники,— из коих один имел камилавку, а другой, помоложе, очень тщательно расчесал и примаслил волосы,— появились вместе с причетом на крыльце. Вскоре показался и гроб, несомый кучером, двумя дворниками и водовозом. Г-н Ратч шел сзади, придерживаясь концами пальцев за крышу, и всё твердил: «Легче, легче!» За ним вперевалочку плелась Элеонора Карповна, в черном платье, тоже с плерезами, окруженная всем своим семейством; после всех выступал Виктор в новеньком мундире, при шпаге, с флером на рукоятке. Носильщики, кряхтя и перекоряясь, поставили гроб на дроги; гарнизонные солдаты зажгли факелы, которые тотчас же затрещали и задымились, раздался плач забредшей салопницы, дьячки запели, снежная крупа внезапно усилилась и завертелась «белыми мухами», г. Ратч крикнул: «С богом! трогай!» — и процессия тронулась. Кроме семейства г. Ратча, провожавших гроб было всего пять человек: отставной, очень поношенный офицер путей сообщения с полинялою лентой Станислава на шее, едва ли не взятой на прокат; помощник квартального надзирателя, крошечный человечек, с смиренным лицом и жадными глазами; какой-то старичок в камлотовом капоте; чрезвычайно толстый рыбный торговец в купеческой синей чуйке и с запахом своего товара,— и я. Отсутствие женского пола (ибо не было возможности причислить к нему двух теток Элеоноры Карповны, сестер колбасника, да еще какую-то кривобокую девицу в синих очках на синем носе), отсутствие приятельниц и подруг меня сперва поразило; но, поразмыслив, я сообразил, что Сусанна, с ее нравом, воспитанием, с ее воспоминаниями, не могла иметь подруг в той среде, где она жила.

В церковь, напротив, собралось довольно много разного народа. Между прочими я увидел у клироса и того странного господина, который накануне заговорил со мной на улице; он был, как говорится, темнее ночи, не молился, не оборачивал головы и, прощаясь с покойницей, низко поклонился ей, но не дал ей последнего лобызанья. Г-н Ратч, тот, напротив, очень развязно исполнил этот ужасный обряд, с почтительным наклонением корпуса пригласил к гробу офицера со Станиславом, точно угощая его, и высоко, с размаха, поднимая под мышки своих детей, поочередно подносил их к телу. Элеонора Карповна, простившись с Сусанной, вдруг разрюмилась на всю церковь; однако скоро успокоилась и всё спрашивала раздраженным шёпотом: где же ее ридикюль? Виктор держался в сто-

роне и всей своей осанкой, казалось, хотел дать понять, как далек он от всех подобных обычаев и как он только долг приличия исполняет. Больше всех изъявил сочувствия старичок в капоте, бывший лет пятнадцать тому назад землемером в Тамбовской губернии и с тех пор не видавший Ратча; он Сусанны не знал вовсе, но успел уже выпить две рюмки водки в буфете. Тетушка моя также приехала в церковь. Она почему-то узнала, что покойница была именно та барышня, которая посетила меня, и пришла в волнение неописанное! Подозревать меня в дурном поступке она не решалась, но изъяснить такое странное стечение обстоятельств также не могла... Чуть ли не вообразила она, что Сусанна из любви ко мне решилась на самоубийство, и, облекшись в самые темные одежды, с сокрушенным сердцем и слезами, на коленях молилась об успокоении души новопреставленной, поставила рублевую свечу образу Утоления Печали... «Амишка» также с ней приехала и также молилась, но больше всё на меня посматривала и ужасалась... Эта старая девица была, увы! ко мне неравнодушна. Выходя из церкви, тетушка раздала бедным все свои деньги, свыше десяти рублей.

Кончилось наконец прощание. Принялись закрывать гроб. В течение всей службы у меня духа не хватило прямо посмотреть на искаженное лицо бедной девушки; но каждый раз, как глаза мои мельком скользили по нем, «он не пришел, он не пришел», казалось мне, хотело сказать оно. Стали взводить крышу над гробом. Я не удержался, бросил быстрый взгляд на мертвую. «Зачем ты это сделала?» — спросил я невольно... «Он не пришел!» — почудилось мне в последний раз...

Молоток застучал по гвоздям, и всё было кончено.

XXI

Вслед за гробом двинулись мы на кладбище. Больше часу продолжалось поминальное шествие. Погода делалась всё хуже. Виктор с полдороги сел в карету; но г. Ратч выступал бодро по талому снегу; точно так он, должно быть, выступал, и тоже по снегу, когда, после рокового свидания с Семеном Матвеичем, он с торжеством вел к себе в дом навсегда погубленную им девушку. Волосы «ветерана», его брови опушились снежинками; он то пыхтел и покрикивал, то, мужественно забирая в себя дух, округлял свои крепкие глянцевитые щеки... Право, можно было подумать, что он смеется. «После моей смерти пенсия должна перейти к Ивану Демьянычу»,— вспомнились мне опять слова Сусанниной тетрадки. Вчерашний незнакомец также шел за гробом, в двух шагах от г. Ратча: он стискивал губы, хмурился и по временем значительно потрясал головою. Г-н Ратч, казалось, не знал хорошенько, что это за чело-

век, и не понимал, зачем он к нам присоединился. Пришли мы наконец на кладбище; добрались до свежевырытой могилы. Последний обряд совершился скоро: все продрогли, все торопились. Гроб на веревках скользнул в зияющую яму; принялись забрасывать ее землею. Г-н Ратч и тут показал бодрость своего духа; он так проворно, с такой силой, с таким размахом бросал комки земли на крышу гроба, так выставлял при этом ногу вперед и так молодецки закидывал свой торс... энергичнее он бы не мог действовать, если б ему пришлось побивать каменьями лютейшего своего врага. Мрачный незнакомец стоял за самой его спиной и до пронзительности внимательно, ястребиным взглядом следил за каждым его движением. Виктор по-прежнему держался в стороне; он всё кутался в шинель и проводил подбородком по бобру воротника; остальные дети г. Ратча усердно подражали родителю. Швырять песком и землею доставляло им великое удовольствие, за что их, впрочем, и винить нельзя. Холмик появился на месте ямы; мы уже собирались расходиться, как вдруг г. Ратч, повернувшись по-военному налево кругом и хлопнув себя по ляжке, объявил нам всем, «господам мужчинам», что приглашает нас, а также и «почтенное священство», на «поминательный» стол, устроенный в недальнем расстоянии от кладбища, в главной зале весьма приличного трактира, «стараньями любезнейшего нашего Сигизмунда Сигизмундовича...» При этих словах он указал на помощника квартального надзирателя и прибавил, что, при всей своей горести и лютеранской религии, он, Иван Демьянов Ратч, как истый русский человек, дорожит пуще всего русскими древними обычаями. «Супруга моя,— воскликнул он,— и какие с ней пожаловали дамы, пускай домой поедут, а мы, господа мужчины, помянем скромной трапезой тень усопшей рабы твоея!» Предложение г. Ратча было принято с искренним сочувствием; священство как-то внушительно переглянулось меж собою, а офицер путей сообщения потрепал Ивана Демьяныча по плечу и назвал его патриотом и душою общества.

Мы отправились гуртом в трактир — и незнакомец пришел вместе с нами. Г-н Ратч начинал подозрительно на него посматривать, однако ничего не сказал ему. В трактире, посреди длинной и широкой, впрочем, совершенно пустой комнаты второго этажа, стояли два стола, покрытые бутылками, яствами, приборами и окруженные стульями; запах штукатурки, соединенный с запахом водки и постного масла, бил в нос и стеснял дыхание. Помощник квартального надзирателя, в качестве распорядителя, усадил священство за почетный конец, на котором преимущественно столпились кушанья постные; вслед за духовенством уселись прочие посетители; пир начался. Не хотелось бы мне употреблять такое праздничное слово: пир, но всякое другое слово не соответствовало бы

самой сущности дела. Сперва всё шло довольно тихо, не без оттенка унылости; уста жевали, рюмки опорожнялись, но слышались и вздохи, быть может пищеварительные, а быть может, и сочувственные; упоминалась смерть, обращалось внимание на краткость человеческой жизни, на бренность земных надежд; офицер путей сообщения рассказал какой-то, правда военный, но наставительный анекдот; батюшка в камилавке одобрил его и сам сообщил любопытную черту из жизни преподобного Иоанна Воина, но понемногу всё изменилось. Лица раскраснелись, голоса загомонели, смех вступил в свои права; стали раздаваться восклицания порывистые, послышались ласковые наименованья вроде «братца ты моего миленького», «душки ты моей», «чурки» и даже «свинтуса этакого». Словом, посыпалось всё то, на что так щедра русская душа, когда станет, как говорится, нараспашку. Когда же наконец захлопали пробки цимлянского, тут уже совсем шумно стало: некто даже петухом прокричал. Г-н Ратч, уже не красный, а сизый, внезапно встал со своего места; он до того времени много шумел и хохотал, но тут он попросил позволения произнести спич. «Говорите! Произносите!» — заголосили все; старик в капоте закричал даже «браво!» и в ладоши захлопал... Впрочем, он сидел уже на полу. Г-н Ратч поднял бокал высоко над головой и объявил, что намерен в кратких, но «впечатлительных» выражениях указать на достоинства той прекрасной души, которая, оставив здесь свою, так сказать, земную шелуху (die irdische Hülle), воспарила в небеса и погрузила всё свое семейство в ничем не заменимую печаль.

— Да! — продолжал Иван Демьяныч,— справедливо говорит русская пословица: Судьба гнет не тужит, переломит...

— Гнет не тужит! — раздался вдруг громовой голос.— *Я* вот *тебя* согну в бараний рог и тужить уж точно не стану!

«Незнакомец»,— подумал я и тотчас глянул в его сторону (он за столом поместился наискось против г. Ратча). Действительно: слова, остановившие в самом начале спич нашего хозяина, были произнесены им, таинственным незнакомцем!

Сбросив с плеч долой свою альмавиву, он стоял, как «монумент» (так отозвался о нем впоследствии мой сосед, рыбный торговец),— стоял с закинутыми назад волосами, с выражением ярости на бледном лице; глаза его сверкали как у тигра — и как тигр он оскалил свои большие желтые зубы.

— Что это значит, милостивый государь, — пробормотал г. Ратч, никак не ожидавший, что его красноречию будет положен такой скорый предел,— как вы смеете употреблять такие слова? И кто вы такой?—продолжал он, приходя в азарт.—С какой стати вы здесь находитесь? Я вас, кажется, не имею чести знать. Во всяком случае я не приглашал вас. Помилуйте, господа,— прибавил

г. Ратч, обращаясь к сидевшим возле него лицам,— после этого всякий чужой человек с улицы придет, напьется пьян, невзирая на важность церемоний, и будет бесчинствовать... Помилуйте!

Незнакомец дал г. Ратчу высказаться — только глаза его разгорались всё более и более и бледное лицо побагровело.

— Кто я?! — промолвил он наконец глухим, словно клокотавшим голосом.— Кто я?! Это сейчас все узнают! Да и ты не ври: и тебе моя фигура небезызвестна... Понатужь-ка свою память! А я теперь скажу, кто *ты*... Да, *ты* кто? Ты вор, преступник, клеветник, убийца — я тебя с Тамбовской губернии еще знаю. Я тебя давно караулю, в Москву-то я, жаль, попал недавно... Благодетель мой, покойный болярин Михаил, тебя, злодея, осудил... Час твоей кары настал!

И тут произошло нечто неописуемое... Раздался треск, зазвенела разбитая посуда — незнакомец перелетел через стол — и мгновенье спустя г. Ратч, смятый и опрокинутый, уже представлял как бы некую мягкую, судорожно вертевшуюся груду, на которую беспрестанно, с силой и правильностью парового рычага обрушался громадный кулак правой руки незнакомца. Левая держала г. Ратча за шиворот. Атака произошла с такой быстротой, общее изумление было так велико, что хотя все гости повскакали с своих стульев — никто не спешил на помощь истязуемому, а напротив, каждый стоял с раскрытым ртом и выпученными глазами: что, мол, за невероятное происшествие совершается?

— Каз...нит тебя Михаил Се...меныч Кол...тов...ской,— говорил между тем незнакомец в промежутках ударов,— а имя... мое Мер...кул Цилиндров! И живу я... на Плю...щихе, в доме вре... Куда? вре...мен...ного цеха мас...тера Бо...ро...ду...лина! Цилиндров... Меркул... помни... Цилиндров! Бац! бац! бац!

— А они их, должно, убьют, так полагать надо,— заметил мой сосед, толстый купец, поигрывая пальцами в бороде.

— Помогите... помогите... Караул! — запищал г. Ратч, продолжая повертываться из стороны в сторону и подставляя под удары своего мучителя то спину, то бок, то самые ланиты.— Помогите!

И тут должен я упомянуть свое удивление. Удивился я, во-первых, тому, что «ветеран 12-го» года не оказывал бóльшего сопротивления человеку, который был ниже его ростом и у́же в плечах; а во-вторых, удивлялся я также и тому, каким образом металлический голос того же ветерана внезапно превратился в самый мизерный, плаксивый визг. «Викторка! Викторка! — взывал он к своему сыну.— Спасай же отца! Zu Hülfe! G'walt![1] Господа посетители!»

[1] На помощь! Караул! *(нем.)*.

Но Виктор продолжал держаться в отдалении, с прежним выраженьем гадливого достоинства на лице, а «господа посетители» потолкались немного, каждый на своем месте — и только!

— Не мешайте. Прошу вас,— обратился ко всем нам г. Меркул Цилиндров, ни на миг не прекращая своих телодвижений.— Это заслу...женная ка... бац!

— Эх! однако как ловко пришлось! — заметил одно лицо из духовенства.

— ...ра! Ка...ра! Заслуженная кара! — продолжал Цилиндров.— Я высшего закона ис...пол...нитель! Сему мерзав...цу бич и укро...ти...тель!

Так говорил, так действовал грозный незнакомец — и странное дело! — мы все так смирно стояли вокруг, так беспрекословно смотрели на него, точно и мы были убеждены, что он приводит в исполнение заслуженное наказание...

Но г. Ратч издал наконец такой вопль, что помощник квартального надзирателя, офицер путей сообщения и два прибежавших на шум половых бросились на выручку... Что произошло дальше, я не знаю; я поскорей схватил фуражку да и давай бог ноги. Помню только, что-то страшно затрещало; помню также остов селедки в волосах старца в капоте, поповскую шляпу, летевшую по воздуху, и рыжую бороду в чьей-то мускулистой руке... Это были последние впечатления, вынесенные мною из «поминательного» пира. Впрочем, баталия едва ли кончилась поражением храброго Цилиндрова, ибо я еще не успел дойти до моей квартеры, как он уже промчался мимо меня на лихаче...

Отдохнув несколько, я отправился к Фустову и рассказал ему всё, чему я был свидетелем в течение того дня. Он выслушал меня сидя, не поднимая головы и подсунув обе руки под ноги... При имени Цилиндрова он медленно взвел глаза на меня и промолвил в раздумье: «Да... она мне говорила. У того... у Колтовского этот Цилиндров был секретарем... Колтовской его как-то от смерти спас... Да... Она его знала. Только потом он уехал... Куда-то далеко... И он прибил того... А я здесь... Ах, моя бедная, бедная!»

Фустов опять лег на диван, опять повернулся ко мне спиною.

Неделю спустя он уже совершенно справился и зажил по-прежнему. Я попросил у него тетрадку Сусанны на память, он отдал мне ее безо всякого затруднения.

XXII

Прошло несколько лет. Я из Москвы переселился в Петербург. В Петербург переехал и Фустов. Он поступил в Министерство финансов, но я виделся с ним редко и не находил уже в нем ничего осо-

«НЕСЧАСТНАЯ».
ЧЕРНОВОЙ АВТОГРАФ ОКОНЧАНИЯ ПОВЕСТИ.
Национальная библиотека. Париж.

бенного. Чиновник как и все — да и баста! Если он еще жив и не женат, то, вероятно, и доселе не изменился: точит и клеит, и гимнастикой занимается, и сердца пожирает по-прежнему, и Наполеона в лазоревом мундире рисует в альбомы приятельниц. Однажды, идя по Невскому, столкнулся я с человеком, лицо которого мне показалось знакомым; он со своей стороны тоже уставился на меня. Слово за словом — оказалось, что это был победитель Ивана Демьяныча, мужественный Меркул Цилиндров! Он зашел ко мне: мы разговорились о прошедшем. Цилиндров подтвердил мне всё, что сказал о нем Фустов. Он состоял при Михаиле Колтовском, когда тот ездил к отцу в Тамбовскую губернию; там он узнал, что за птица г. Ратч. Потом, когда умер Колтовской, ему пришлось отправиться в Сибирь, на службу к золотопромышленнику — и он только что вернулся в Москву, когда скончалась Сусанна. Он еще в Тамбовской губернии дал самому себе, как он выразился, аннибаловскую клятву: наказать подлеца! — и сдержал ее. Сверх того Цилиндров был поэт, любил даже говорить рифмованными или размеренными строками. Он не изменил этой привычке даже во время истязания г. Ратча и декламировал свои стихи чуть не захлебываясь и замирая — ни дать ни взять покойный писатель Красов. Энтузиаст он был, человек, как говорится, «фатальный», но малый хороший.

— Вообразите вы себе,— воскликнул он.— Я на днях был в Москве белокаменной и — встретил моего крестника. Вы понимаете — кого? Подумал я тогда: не поучить ли еще тебя? Да нет! двух шкур не дерут с вола! Он же терпит справедливое воздаяние за свои позорные дела: говорят, старший сынок его так и не выходит из долгового отделения. Дом его сгорел; из службы его выгнали. Но представьте вы себе, что меня взорвало! В одном обществе при мне упомянули имя невесты моего благодетеля, злополучной Сусанны Ивановны — и самым непростительным образом! Я по этому случаю следующее стихотворение сочинил. Слушайте!

И Цилиндров начал мне декламировать свое стихотворение, которое оканчивалось следующими четырьмя стихами:

Но и над брошенной могилой
Не смолкнул голос клеветы...
Она тревожит призрак милый
И жжет надгробные цветы!

Цилиндров разливался-плакал, произнося эти строки, и только изредка потом повторял: Несчастная! Несчастная! Я вспомнил, что и Фустов, в присутствии которого я однажды, уже в Петербурге, произнес имя Сусанны, промолвил с коротким, приличным вздохом: Несчастная! — и я подумал про себя: «Да, несчастная ты была!»

Цилиндров ушел, а я начал размышлять о том, чем возможно было объяснить любовь Сусанны к Фустову и почему она так скоро, так неудержимо предалась отчаянию, как только увидала себя оставленной, почему не захотела подождать, услышать горькую правду из собственных уст любимого человека, написать ему письмо, наконец? Как возможно так сейчас броситься в бездну вниз головой? — Оттого, что она страстно любила Фустова,— скажут мне; оттого, что она не могла перенести малейшего сомнения в его преданности, в его уважении к ней. Может быть; а может быть и то, что она вовсе не так страстно любила Фустова; что она не ошиблась в нем, а только возложила на него свои последние надежды и не в состоянии была примириться с мыслию, что даже *этот* человек тотчас, по первому слову сплетника, с презрением отвернулся от нее! Кто скажет, что ее убило: оскорбленное ли самолюбие, тоска ли безвыходного положения, или, наконец, самое воспоминание о том первом, прекрасном, правдивом существе, которому она, на утре дней своих, так радостно отдалась, который так глубоко был в ней уверен и так уважал ее? Кто знает: быть может, в самое то мгновение, когда мне казалось, что над ее мертвыми устами носилось восклицание: «А он не пришел!» — быть может, ее душа уже радовалась тому, что ушла сама к нему, к своему Мишелю? Тайны человеческой жизни велики, а любовь самая недоступная из этих тайн... Но все-таки до сих пор, всякий раз, когда образ Сусанны возникает передо мною — я не в силах подавить в себе ни сожаления к ней, ни упрека судьбе, и уста мои невольно шепчут: «Несчастная! несчастная!»

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР

Список действующих лиц

Действие в деревне — 1840 г.

р. 1772. Мартын Петрович Харлов [Матусов] — 68 лет.
р. 1817. Анна Мартыновна Слёткина — 23 лет } его дочери
р. 1820. Евлампия Мартыновна Харлова — 20 лет } его дочери
р. 1812. Януарий Васильевич Слёткин — 28 лет.
р. 1794.[1] Филипп[2] Кузьмич Житков — 46 лет.
р. 1826[3]. Казачок Максимка — 14 лет.

[1] 1801
[2] *а.* Малахай *б.* Гавриил
[3] 1825

Бывшая жена Харлова Маргарита Тимофеевна (Бычкова), род. 1800[4], умерла в 1825[5].
В⟨ышла⟩ зам⟨уж⟩ 1816[6].

р. 1790. Наталья Николаевна *** — 50 лет.
р. 1795. Управляющий Квицинский — 45 лет.
р. 1824. Рассказчик — 16[7] лет.
р. 1790. «Сувенир» — Бычков, брат Маргариты — 50 лет.

Формулярный список лиц нового рассказа

Карлсруэ, февраль 1869 г.

1. Мартын Петрович Харлов.

Николай Сем⟨енович⟩ Протасов — огромный толстый, голова как пивной котел, шеи нет, желто-седые волосы как копна, лицо красное с белыми чешуйками, нос багровый, шишковатый, небольшой, кривой растресканный рот, одного цвета с лицом, глаза крошечные, серо-голубые, голос сиплый и невнятный, как железные полосы, словно через овраг в сильный ветер кричит, руки темно-сизые, сила геркулесовская. В сером казакине, смазных сапогах, подпоясан ремешком. Ездит он на беговых дрожках — высокая, худая, гнедая кобыла — казачок тщедушный сзади. Хозяин порядочный, не пьяница, не злой, но совершенный дикарь, своевольный, не без тайного чувства своего дворянского рода, никакого образования — нигде не служил[1], был однако в ополчении — и медальку медную носит, французов не видел, но укокошил[2] каких-то мародеров[3] в лесу. Рассказывает всё те же два-три анекдота, вообще говорит почти всё одно и то же, и то как-то обрядно — «благодетельнице нашей» и т. д.

Состояние: 34 души, земля хорошая, усадьба порядочная. Женился уже немолодым на воспитаннице матушки — женщине крохотной, которую он, говорят, в свой дом на ладони внес — употреблением загнал ее в чахотку. Считает матушку Н. Н. своей благодетельницей — она ему точно помогает, а он раз ее спас — удержал карету на краю пропасти. Анекдоты о нем: как с медведем встретился, телегу с мужиком и лошадью через плетень бросил и т. д.—

---

[4] 1806
[5] *а.* 1830 *б.* 1832 *в.* 1829
[6] 1822
[7] 17
[1] *После этого зачеркнуто:* Прикончил французских солдат в лесу (он был в ополчении) ⟨?⟩
[2] приколотил
[3] каких-то пленных

Сдвинул биллиард с петлей долой. Страшная стихийная сила. Только может подписывать фамилию и для этого [4] в доме у него водятся железные очки (раз привез их в деревню к нам, акт подписывать). У самого в конторе всё гвоздями прибито. Всегда ему жарко. Галстуха никогда не бывало — да и негде было бы его привязать. Спина — даже страшно что-то смотреть на нее. Швы несколько полопались. Уши, как калачи, оттопыренные щеками. Пахнет от него всегда дегтем и землей. Маленький картуз на вершине головы с заломанным козырьком. Так раз загаркал за зайцем, что у меня стон и звон целый день в ушах стоял [5] . Ненавидит попов и в церковь ходит редко. Вообще многое презирает и по-своему страшно самолюбив. Считает себя потомком шведа Карла, который в княжение Ивана Васильевича Темного сделан русским дворянином за то, что не захотел быть чухонским графом. Спор по этому случаю с Сувениром. Откидывает по временам голову и выдвигает подбородок с тем вызывающим выражением, которое я вижу на человеке, что попадается мне на Фридрихплаце.

Походка странно не тяжелая, скорей, крадучись.

2. Владимир [6] Васильевич Слёткин.

Воспитанник матушки. Сирота — сын бывшего стряпчего, поверенного по делам. Фигурой похож на Е. К., только красивее. Мат⟨ушка⟩ его звала в шутку жиденком. Очень бел, глаза черные сладкие, волосы курчавые, манеры вкрадчивые и мягкие, но при этом очень настойчив [7] , может раздражаться и даже из себя выходить, где затрагивает его выгоды. Тут даже до слез дело [8] доходит,— безнравственнейший, из него мог бы выйти убийца. В сущности ни перед чем не отступает, хищный и вполне бессовестный. Голосок крикливый и, как только не смеется, презловещее выражение в лице.

Сперва находился в роли казачка у м⟨атушк⟩и, был в уездном училище, потом в контору попал,— потом записали его на службу по магазинам. 23-х лет соблазнил старшую дочь Харлова и женился на ней.— Взять несколько черт из Л. И. Беккера, *кэтика*.

Скуп и расчетлив до невероятности, трудиться любит особенно и исключительно для себя: двадцать раз яйца перечтет, перемеряет холст. Грязновато одет; любит с ружьем таскаться, что-нибудь подтибрить («отправляйся ко *мне* в ягдташ»).

---

[4] *Начато*: вынимает из
[5] что я заболел
[6] Януарий
[7] *После*: настойчив — *зачеркнуто*: резок
[8] дело *вписано*.

3. Анна Мартыновна Слёткипа.

Фигура и лицо как у той женщины, которую я однажды видел в Кадном: бледно-смуглая, темно-русая, а глаза фаянсово-голубого цвета, нос прямой, тонкие губы и всё лицо злое и приятное в одно и то же время; маленькая, живая; руки крошечные. Умна и проницательна.

Очень строгая хозяйка — сошлась с мужем характером.— Голосок очень приятный и несколько жалобный [9], как у всех хищных птиц. Одета просто и чисто; на отца ни малейше не походит, на мать несколько [10]. Не любит выезжать и к матушке на поклон редко является. Бездетна. Как вспылит — злюка страшная: никак унять себя не может. В случае нужды даже была бы способна на преступление. Очень возбудительна [11] для мужчин. Походка легкая, быстрая.— Получила по протекции матушки кое-какое воспитание в губернском пансионе; по-французски немножко говорит и на фортепьянах бренчит слегка, но без удовольствия.

4. Евлампия Мартыновна Харлова.

Эта похожа на отца, хоть и не дурна собой. Довольно высока, белокура; лицо ровно розового цвета, глаза огромные, выпуклые, стеклярусного вида, губы небольшие, но выпуклые тоже, нос с горбиной. Натура страстная до безумия — не злая, но способная на всяческие увлечения. Воспитания даже такого, как сестра, не получила; ленива, никакого расположения к хозяйству, к порядку, поет недурно, но дико. Совершенно довольствуется прозябаньем в деревенской сфере — не скучает; но, полюбив Слёткина, совсем отдалась ему — и тоже ничего не пожалеет.— Любит отца, который и ее любит, и, не будь Слёткина, не оскорбила бы его. Руки, ноги большие; неловка, но со всем тем возбудительна и она: грудь и плечи удивительные.

5. Гаврила Федулыч [12] Житков.

Кадетина, армейщина, дослужился до майора. Покровительствуем маменьк⟨ой⟩, перед которой он — один трепет! Глуп донельзя; велик ростом, нескладен; лицо какое-то лошадиное, оброс пыльно-белокурыми волосами — щеки все заросли. Сосед по имению матушки: втайне желал бы быть ее управляющим, а он беден и груб. Мужиков бьет по зубам. Это он понимает.— Ходит в мундирном сюртуке — перетянут.— Ужасный охотник до женских прелестей, но по глупости успевает мало. Хохот у него совершенное ржание. Вечно покрыт потом, как росинками.

[9] и несколько жалобный *вписано*.

[10] больше на мать.

[11] *Далее зачеркнуто*: физич⟨ески⟩

[12] Филиппыч

6. Сувенир Бычков.

Настоящее имя его неизвестно. Прозван так матушкой, с которой он вместе вырос. Приживальщик (брат жены Харлова). Худенький, желтенький, с крошечным личиком — весь дряблый и развинченный, вроде Вейдбрехта. Смеется как-то жидко, точно бутылку полощут. Никакого чувства достоинства или стыда: меланхолически-тревожное подобострастие перед матушкой, а впрочем чистый оболтус. Поесть, посмеяться, выспаться — вот и всё. Пьет только по праздникам, и то дрянно. Вечно торчит где-нибудь в девичьей, у попов [13] , у приказчика или в конторе. Одет в темно-серый сюртучок, такие же брюки и башмаки, на шее [14] старая косынка; должен до некоторой степени быть опрятным, особенно вечером, когда с матушкой в карты играет.— Сплетник, любопытен, как сорока. Непосед. Бывал бит, но переносил.

С одной стороны рта зубов нет, так что все лицо несколько скривилось. Очень презираем. Любимая поговорка: «А вот позвольте я сичас, сичас... да что сичас? [15] (руки назад)... как прикажете».

Трус естественный.

Меня взял с собою, когда послал его Харлов.

7. Г-н Квицинский.

Поляк управляющий. Фигура вроде К-го. Хитрец и делец, и матушку в руки забрал, и карман себе набьет. Деспотически-резкая натура.

8. Н-я Н-а.

Матушка.

9. Казачок Максимка.

Худосочный дворовый паренек, приплюснутый постоянным сиденьем за спиной Харлова. В замасленном казакине и парусиновых портках, ноги голые, которыми он, заткнув их назад, опирается в откосы беговых дрожек.

---

[13] *Далее начато*: у двор⟨овых?⟩
[14] *Далее зачеркнуто*: розовенькая
[15] *Далее зачеркнуто:* Я сичас?



ПРИМЕЧАНИЯ

Восьмой том полного собрания сочинений И. С. Тургенева содержит повести и рассказы, опубликованные в 1868—1872 годах — в период, непосредственно следующий за изданием романа «Дым»: «История лейтенанта Ергунова» (1868), «Бригадир» (1868), «Несчастная» (1869), «Странная история» (1870), «Степной король Лир» (1870), «Стук... стук... стук!..» (1871), «Вешние воды» (1872).

Интерес к наиболее актуальным проблемам русской общественной жизни, нашедший свое яркое проявление в произведениях Тургенева начала 1860-х годов, остается характерным для его творчества и в последующие годы. Роман «Дым», возбудивший негодование представителей различных, подчас противоположных, политических группировок, показывал, что писатель наиболее существенной чертой современной русской общественной жизни считал всеобщий разброд и неустроенность. Тургенев писал Е. Е. Ламберт 21 мая (2 июня) 1861 г.: «Нигде ничего крепкого, твердого — нигде никакого зерна; не говорю уже о сословиях — в самом народе этого нет». Тургенев пытался разобраться в том, как согласуется перестройка русского общества в пореформенный период с потребностями народной жизни.

Национальные характеры, национальные особенности исторического развития России, порой не прямо, а сложно, опосредствованно влияющие на жизнь страны, постоянно занимали писателя.

В шестидесятые годы Тургенев часто обращается к типам, ставшим достоянием мировой литературной традиции, отыскивая и изображая их преломления в русской жизни. Это обстоятельство было отмечено критикой. «Перед поэтом как бы постоянно носятся образы западного искусства, Лир, Вертер и пр., и он ищет им подобий в нашей скудной и бледной жизни»,— писал Н. Страхов («Последние произведения Тургенева».— Заря, 1871, № 2, Критика, с. 27). По мнению критика, Тургенев «примеривает» к русской действительности «чужие идеалы, идеалы хищной жизни, сильных страстей, романических событий», и остается недоволен прозаичностью русской жизни, выражает «неверие в изящество 〈. . .〉 проявлений» народного характера (там же, с. 27, 30). Повесть «Степной король

Лир» Тургенева он рассматривал как «пародию» на «Короля Лира» Шекспира, «Бригадира» — как опошление «Вертера». На самом деле Тургенев ставил перед собою цель показать реально-исторические формы, в которые отливаются ситуации и типы, запечатленные мировой литературной традицией, в русском быту и тем самым сделать более ощутительными неповторимые черты русской жизни.

Почти во всех произведениях этих лет писатель передавал обаяние сильных характеров и больших страстей, погруженных в прозу быта. Так, в рассказе «Бригадир» возникает образ скромного обездоленного старика, наделенного силой чувства Вертера, самоотверженностью в любви, достойной кавалера де Грие («Манон Леско» А.-Ф. Прево), а также храбростью суворовского офицера. Важным аспектом характеристики Сусанны в повести «Несчастная» является внутренняя сопоставимость ее образа с «мировым типом» Миньоны — героини романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера». Тургенев продолжает традицию своеобразного переосмысления типа Миньоны, дань которому он отдал в повести «Ася» и интерес к которому проявили другие писатели его времени — Достоевский, Григорович, Л. Толстой (см.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, ч. IV, гл. II, с. 399; Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х гг. XIX в. Л., 1974, с. 100; Brang Peter. I. S. Turgenev. Wiesbaden, 1977, S. 133—134).

Повесть «Степной король Лир» — одно из наиболее значительных произведений Тургенева, написанных в период между романами «Дым» и «Новь». Она возникает на «стыке» политических, литературных и философских размышлений писателя, вбирает его мысли о России и отражает расчеты на западного читателя.

В новелле «Степной король Лир» совмещены высокий и низкий планы повествования, трагедийное содержание выражено в бытовых, нарочито будничных и подчас даже сатирических образах. Параллельное осмысление проблем русской жизни и значения трагедии Шекспира проходит через всю повесть. До последней переделки повести в беловой рукописи Тургенев предполагал начать и кончить ее изображением дружеского круга, обсуждающего значение шекспировских образов, соотношение этих образов с живыми типами русского общества. Часть этой «рамки» сохранилась в окончательном тексте в виде своеобразного введения, в котором изображается круг старых университетских товарищей тридцатых—сороковых годов, увлеченно толкующих о Шекспире (черта автобиографическая), и декларируется принципиально важное утверждение о «вседневности» типов Шекспира. Это последнее положение Тургенева достаточно ясно говорит об особенности его подхода к образам великого английского драматурга вообще и в частности о замысле повести «Степной король Лир».

Не только «Степной король Лир», но и другие произведения Тургенева 60-х — начала 70-х годов рисовали высокие проявления больших страстей, трагедийные конфликты, облеченные во «вседневные» одежды низкой действительности. Во вводном эпизоде «Степного короля Лира» писатель утверждает, что характеры, подобные Макбету и Ричарду III, встречаются лишь «в возможности», но именно будничные, массовые формы проявления «исключительных» страстей интересуют Тургенева в этот период. В рассказе «Стук... стук... стук!..» дан образ «маленького Наполеона» — «фатального» человека — ограниченного, решительного, фанатически верящего в свою звезду, честолюбивого и совершенно лишенного идейного и этического содержания. Образ Теглева, как и все образы рассказов и повестей шестидесятых годов, прочно связанный с русским бытом, имел вместе с тем непосредственное отношение к наблюдениям Тургенева над жизнью современной Европы, в нем отразились размышления писателя о деятельности ненавистного ему Наполеона III. За «студией русского самоубийства» — изображением странной судьбы ничтожной, но в своем роде сильной и необычайной личности — стояла мысль о Макбетах и Ричардах III «в возможности», о наполеонизме ничтожного человека, о психологических и политических истоках влияния подобных личностей на людей.

Перечисление имеющих современное значение героев Шекспира во вводном эпизоде «Степного короля Лира» Тургенев начинает с излюбленного им образа — Гамлета, далее он упоминает Отелло и Фальстафа, а также имя Ромео, которое затем в беловой рукописи вычеркивается. От упоминания Ромео Тургенев отказался, вероятно, потому, что оно не могло не оживить в памяти читателя статью «Русский человек на rendez-vous (по поводу рассказа Тургенева „Ася“)» Чернышевского, постоянно насмешливо называвшего тургеневского героя «Ромео». Вслед за Ричардом III и Макбетом собеседники, изображенные Тургеневым, обращаются к королю Лиру. Эти образы Шекспира связаны с трактовкой нравственно-политической темы — темы честолюбия, власти и влияния ее на личность. Анализируя формы бытования подобных характеров на русской почве, Тургенев рассматривает их главным образом в социально-психологическом аспекте. Его привлекает вопрос о покорности и бунте как постоянно действующих стихиях народного характера.

Стремление к полному освобождению и к подчинению, беспредельное самоотречение и безграничное властолюбие — вот «крайности», между которыми колеблются герои повестей Тургенева «Странная история» и «Степной король Лир».

Содержание повестей 60-х— начала 70-х годов во многом определяется своеобразно выраженным интересом писателя к судьбам

сильных, решительных характеров в народной массе и в кругу русской интеллигенции.

Тургенев неоднократно сопоставлял «нигилистов» с бунтарями из народной или «захолустной», патриархальной среды. В шестидесятые годы он постоянно обращался к проблеме «раскола», старообрядчества, которая в это время приобретала заметное политическое значение. Уже в начале пятидесятых годов, занимаясь «русской историей и русскими древностями» (см. письмо Тургенева к Аксаковым от 6 (18) июня 1852 г.), писатель заинтересовался старообрядчеством как формой выражения народного протеста. Такое отношение к расколу сказалось в рассказе «Касьян с Красивой Мечи» и повести «Постоялый двор» [1] .

Во второй половине 1850-х годов перед Тургеневым встал вопрос о влиянии религиозных представлений на этические искания дворянской интеллигенции. Правда, и тут речь шла о воздействии народной среды на интеллигенцию. Духовный мир как героини «Дворянского гнезда», так и героини повести «Ася» складывается под влиянием религиозных крестьянок. Религиозность здесь выступает большей частью лишь как форма этических исканий. Героиня повести «Ася», например, готовая идти за процессией «куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», проявляет полное безразличие к религиозным догматам паломников. Ее порыв выражает лишь безотчетное стремление к самопожертвованию, к служению идеалу. Еще более близок к рассказу «Странная история» эпизод ухода в монастырь Лизы Калитиной («Дворянское гнездо»). «Я всё знаю 〈. . .〉 и как папенька богатство наше нажил 〈. . .〉 Всё это отмолить, отмолить надо 〈...〉 помогите мне, не то я одна уйду»,— говорит Лиза Калитина своей тетке, и та возражает ей: «Это всё в тебе Агашины следы; это она тебя с толку сбила...» (наст. изд., т. 6, с. 151).

Писателем, творчество которого вызывало наибольший интерес у Тургенева, был Л. Толстой.

Во втором томе романа «Война и мир» содержатся эпизоды, рисующие покровительство княжны Марьи юродивым и ее мечту об уходе из дома, о странствовании. Этот эпизод сам Толстой в первоначальном плане обозначил словами «юродство княжны Марьи» [2].

Тургенев пристально следил за литературной деятельностью Толстого, в частности за выходившими из печати частями романа «Война и мир», и за эволюцией его идей. Некоторые философские рассуждения в романе Толстого воспринимались им как выражение

---

[1] Бродский Н. Л. И. С. Тургенев и русские сектанты. М., 1922, с. 22—25.

[2] *Толстой*, т. 13, с. 824.

неверия в разум, проповедь стихийности и бессознательности, составляющих якобы основу «роевой» жизни народа.

Поэтому философские отступления в «Войне и мире» Толстого вызывали у Тургенева решительное сопротивление. Даже в образах романа он подчас видел стремление писателя возвеличить инстинктивную, стихийную жизнь; бессознательность поведения героев Толстого Тургенев имел в виду, когда писал 15(27) марта 1870 г. И. П. Борисову об их «юродстве». Консерватизм и стихийность он постоянно называл «юродством», считая юродство глубоко отрицательным, но имеющим исторические корни явлением русской народной жизни.

Продолжая многолетний спор с Герценом, возлагавшим надежды на революционные потенции старообрядческой и сектантской среды, Тургенев писал ему 13(25) декабря 1867 г. о чертах юродства — о дикости и косности идеологов старообрядчества.

Вместе с тем, стремясь разгадать «тайну» влияния старообрядческих пророков на народ, Тургенев осмыслял не только те их черты, которые действовали на воображение темных людей, но и силу их протеста, упорство и последовательность в сопротивлении насилию властей, способность идти на жертвы во имя того, что они считают правдой. Именно эти черты иногда ставили раскольников во главе народных движений. Соглашаясь с Тургеневым, Мериме писал ему: «Вы совершенно правильно сказали: раскольники XVII века были революционерами. Вот что следует хорошо понять, и тогда всё пойдет как по маслу»[3]. Исконные черты народного характера: готовность до конца отстаивать свои убеждения, способность к полному самоотречению и к ожесточенной, беззаветной борьбе — предопределили, по мнению Тургенева, возникновение как типа революционера, так и противоположного ему по существу типа приверженца старообрядчества, несмотря на всё принципиальное различие их взглядов. В беловой рукописи рассказа «Степной король Лир» Мартын Харлов, готовый долго терпеть, «всё простить» и, вдруг взбунтовавшись, отомстить за обиды, неукротимый в своем гневе и самоотречении, по внешним признакам сравнивается с Кромвелем (это сравнение было автором снято «в последний момент»), а дочь его, похожая на отца и внешностью и характером, становится во главе секты. «Странную историю» Тургенев заканчивает фразой, раскрывающей прямую связь между его интересом к давно происшедшему событию, составившему сюжет этого произведения, и оценкой современных политических движений, сравнением характера Софи, пожертвовавшей всем ради своих убеждений, и девушек,

[3] См.: Parturier Maurice. Une amitié littéraire. Prosper Mérimée et Ivan Tourguénev. Paris, 1952, p. 182. Здесь и далее выдержки из писем Мериме приводятся в русском переводе.

уходивших в революцию, идейно бесконечно далеких от Софи, но столь же самоотверженных и цельных, как она.

Интерес к изучению раскола в шестидесятые годы непосредственно связывали с демократизацией науки, с попытками при решении актуальных общественных вопросов опереться на их историческое осмысление. А. Н. Пыпин писал: «Особенною заслугой новейшей историографии было стремление раскрыть народную сторону истории,— роль народа, его сил и характера в создании государства, и судьбу народа в новейшем государстве ⟨. . .⟩ Больше чем когда-нибудь историческая пытливость обращалась к тем эпохам и явлениям истории, где выказывалась деятельная роль народа: таковы были эпохи древней истории, время вечевого устройства и народоправств, время народной колонизации, далее — время междуцарствия ⟨. . .⟩, время народных волнений в конце XVII века, время раскола» [4].

Со стремлением Тургенева осмыслить истоки влияния вождей старообрядчества на народную массу связан его замысел исторического романа, в котором центральное место должно было занять изображение мятежа, поднятого старообрядцами в Москве 5 июля 1682 г. Именно над этим романом о старообрядческом вожде — Никите Добрынине-Пустосвяте, одном из предводителей восстания,— Тургенев работал в одно время с рассказом «Странная история» [5].

Современные интересы составляли основу и тех его повестей и рассказов, сюжеты которых он черпал из своих воспоминаний, из преданий своей семьи или происшествий, запечатленных памятью населения родного края [6].

Проблемой, которая привлекала внимание Тургенева уже с 1840-х годов, был русский XVIII век — эпоха, в которой он видел начало многих современных противоречий. Тип русского человека XVIII века — личности, сформированной в обстановке расцвета крепостничества, сохранившей черты патриархального характера и в то же время постоянно приобщающейся к западной культуре, выявляющей свои особенности на фоне усвоенных ею чуждых обычаев,— живо занимал Тургенева и в шестидесятые годы. В повестях и рассказах этого периода он создал ряд портретов людей XVIII века. Суворовский солдат, русский Вертер, Гуськов («Бри-

---

[4] Пыпин А. Н. История русской этнографии. СПб., 1891. Ч. II, с. 171.

[5] О работе Тургенева над этим романом и характере замысла писателя см.: Левин Ю. Д. Неосуществленный исторический роман Тургенева.— *Орл сб*., 1960, с. 96—131.

[6] См.: Бялый Г. А. От «Дыма» к «Нови».—Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та, 1956, т. XVIII, с. 82, 88.

гадир»), поклонник энциклопедистов, русский барин Иван Матвеич Колтовской («Несчастная»), слуги «старого века» («Бригадир») — все эти герои очерчены Тургеневым с замечательным проникновением в дух эпохи. Даже в «Степном короле Лире», действие которого относится к 1840 году, Тургенев подчеркивает живое бытование традиций XVIII века. Харлов читает масонский журнал «Покоящийся трудолюбец» (1785 г.) и размышляет над философскими вопросами, которые решались в этом журнале. Стряпчий — самый порядочный человек провинциального общества — характеризуется как «первый по губернии масон» (с. 180).

Наряду с интересом к XVIII веку и к возникшим в период расцвета крепостничества типам, писатель уделяет внимание и тридцатым годам XIX века, эпохе резкой смены идеалов передовой части интеллигенции и изменения психологического стереотипа представителя массового низового пласта культурного слоя. Изображая подобные типы, писатель выявляет признаки сдвигов в жизни общества, мало заметные, подчас, ростки исторической нови. Обращение Тургенева к эпохе тридцатых годов отчасти объясняется тем, что в 1867—1868 годах он работал над циклом «Литературных воспоминаний», открывших собрание сочинений писателя 1869 года, а тридцатые годы имели особое значение в его жизни. В это время начался творческий путь Тургенева, произошло становление его как личности и мыслителя. В повести «Несчастная» сюжет, а отчасти и образы которой были навеяны воспоминаниями юности, Тургенев дает простор историческим ассоциациям и размышлениям. Он отмечает формирование в недрах крепостнического общества вольнолюбивых, независимых натур, личностей, образ мыслей и чувства которых несовместимы с нравами и законами окружающей среды. Явление это было новым и типичным для той эпохи. Вольнолюбие Герцена и Белинского, антикрепостнические убеждения самого Тургенева и ряда других передовых деятелей этого и последующего периодов складывались в тридцатые годы. Сходство некоторых эпизодов «Несчастной» с «Сорокой-воровкой» и «Кто виноват?» Герцена возвращали мысль читателя к той поре, когда зародился, в острой форме выразившийся позже, протест целого поколения против социального и политического гнета. В «Несчастной» появляется зловещая фигура Ратча, во многом ориентированная на прототип официозного писателя Ф. В. Булгарина, в течение десятилетий подвергавшего травле лучших русских литераторов. Тургенев показывает органическую связь Ратча и подобных ему беспринципных карьеристов с рутинной средой дворянства, чиновничества и мещанства и дает понять, что негодяи этого сорта сильны поддержкой, которую им оказывают «важные», сановные лица. Поэтому так трагична судьба благородных, наделенных тон-

кой духовной организацией личностей, которые становятся объектом ненависти ратчей и их покровителей. В беловом автографе «Несчастной», который затем подвергся новой переработке, целая глава была посвящена изображению донкихотского по форме, но смелого и благородного по существу заступничества романтика — разночинца Цилиндрова за Сусанну и ее доброе имя. Таким образом, Тургенев отмечает появление нового социально-психологического типа — решительного разночинца. В тридцатые годы люди подобного типа воспринимались как явление исключительное. Они еще не стали на уровень высших форм современной образованности, не освободились от влияния вульгарного романтизма, но их смелость и независимость, их тяга к просвещению и к лучшим представителям дворянской культуры предвещали расцвет творческой активности разночинцев в последующий период.

В конце 1860-х — начале 1870-х гг. Тургенев вновь возвращается к проблематике некоторых своих произведений 1850-х гг. Так, ситуация, изображенная им в повести «Ася», продолжает привлекать его внимание и по-новому трактуется им в некоторых эпизодах повестей «Несчастная» и «Вешние воды». Если в пору создания «Аси» (1857) авторитет «лишнего человека», свободомыслящего дворянина стоял еще достаточно высоко во мнении общества, и критиков поразило «снижение» идейно-нравственного уровня героя от Рудина к г-ну Н. Н.,— то в повестях 1860 — 1870-х годов Тургенев окончательно развенчивает «слабого человека» как носителя рутинного образа мыслей. В герое «Несчастной» Фустове подчеркнута ординарность. Писатель раскрывает социальный смысл «осторожности» Фустова, его неспособности проявлять независимость и твердость в конфликтной ситуации. Лишенный подлинного нравственного чувства, неспособный к проявлению сильных и непосредственных эмоций, Фустов, не сознавая того, становится союзником и пособником гонителей Сусанны, представителей темных сил общества. Недаром в конце повести он сливается со средой петербургского чиновничества, которая воспитала преследовавшего Сусанну Семена Ивановича Колтовского.

Характеризуя «Асю» Тургенева, Чернышевский писал: «Действие — за границей, вдали от всей дурной обстановки нашего домашнего быта ⟨...⟩ Повесть имеет направление чисто поэтическое, идеальное, не касающееся ни одной из так называемых черных сторон жизни» (*Чернышевский*, т. 5, с. 156). Далее, однако, критик утверждал, что поведение героя, трусость, проявленная им в момент, когда от его решимости и последовательности зависело счастье его самого и полюбившей его женщины, возвращает читателя к размышлениям о проблемах современности, к мыслям о социальных обстоятельствах, формирующих людей, которые предпочитают ком-

промисс открытой борьбе и в своей склонности к компромиссу доходят, в конечном счете, до предательства.

В повести «Вешние воды» Тургенев вновь на фоне картин жизни тихого патриархального немецкого города рисует драму гибели надежд «слабого» человека. Обращаясь к темам, послужившим предметом литературной полемики конца 1850-х годов (см. статьи Н. Г. Чернышевского «Русский человек на rendez-vous» — Атеней, 1858, ч. 3, № 18, и П. В. Анненкова «О литературном типе слабого человека» — Атеней, 1858, ч. 4, № 32), писатель продолжает свои «студии» сложного взаимодействия исторических обстоятельств, социальных условий и психологических состояний человека. Постоянные, проходящие через все творчество Тургенева мотивы обогащаются в конце 1860-х — начале 1870-х гг. темами и сюжетами, характерными для новой эпохи. Так, в «Степном короле Лире» историческое явление крушения патриархальных отношений поставлено в связь с социальной чертой действительности последних десятилетий — усилением агрессивности и влияния на общество корыстолюбивых авантюристов буржуазного типа. Важное место в произведении занимают эпизоды, трактующие психологию современного человека, показывающие жажду власти и готовность к самоотречению, — психологические мотивы, определяющие поступки людей, переживающих крушение старых, привычных отношений.

В повести «Вешние воды» большое значение имеет изображение идеальной, возвышенной красоты женщины (Джемма) и силы непосредственного чувства — любви, знаменующей освобождение человека от пут материальных расчетов и социальных предрассудков (сравнение любви с революцией). Высокая любовь противопоставляется унизительной страсти, порабощающей человека, приводящей его к разладу с собственным нравственным чувством.

Носительницей и воплощением порабощающей страсти в повести является практичная барыня, происходящая из купцов и усвоившая деловую хватку предприимчивых буржуа. Подчинившись «роковой женщине» Полозовой, герой «Вешних вод» жертвует любовью и нравственным чувством, но не наносит ущерба своим материальным интересам и положению в обществе, а, напротив, делает их более прочными. Сохранив имущество, которым он готов был пожертвовать ради того, чтобы соединиться с Джеммой — девушкой из низшего сословия, он впоследствии «успел нажить значительное состояние». Однако ни страсть, привязавшая его было к властной и предприимчивой женщине современного, буржуазного типа, ни практическая деятельность, увенчавшаяся обогащением, не могут убить в герое идеальных устремлений, жажды подлинно человеческих отношений, без которых нет счастья.

К концу 1860-х годов все более отчетливо определяется роль

Тургенева как проводника русского литературного влияния на западную культуру [7].

В 1868 году П. Мериме называл Тургенева одним из вождей реалистической литературы во всем мире (см: Mérimée. Œuvres complètes. Études de littérature russe. T. II, p. 241).

Пользуясь своим личным влиянием на французских, немецких и английских писателей, Тургенев знакомил прогрессивную интеллигенцию Запада с русской литературой, а через нее с подлинной, неофициальной Россией. Он постоянно стремился расширить сферу воздействия русского реалистического искусства на мировую культуру. В письме к издателю сборника его повестей во французском переводе Ж. Этцелю Тургенев с задором писал 8(20) февраля 1869 г. о том, что готов дать сборнику название, которым европейские обыватели презрительно окрестили русское искусство, он хочет заставить принять это искусство в его национальной, непривычной еще для европейской публики, форме: «Что касается заглавия сборника, то мне вдруг пришла на ум простая и блестящая (блестящая ли?) идея. Во Фландрии „гёзы" приняли имя, которое им дали их враги; почему бы не назвать сборник „*Московитские рассказы*"? Если бы я был смелее, то назвал бы его „Варварские рассказы"». Тургенев много трудился над переводом своих произведений и сочинений других русских писателей на французский и немецкий языки, а также над редактированием работ других переводчиков. При этом он неизменно стремился к сохранению образов, выражений и деталей описаний, наиболее характерных для русского быта и требовавших подчас специального объяснения, которое сам давал в особых сносках.

Тексты всех произведений, входящих в настоящий том, печатаются по изданию *Т*, *ПСС*, *1883*, в котором тексты томов VIII и IX, где помещены эти произведения, были проверены самим Тургеневым (см. наст. изд., т. 5, с. 384).

Все тексты настоящего тома, за исключением повести «Вешние воды», подготовлены *Л. М. Лотман.* Ею же написаны примечания. Текст повести «Вешние воды» подготовила *Е. М. Хмелевская*, примечания — *Л. В. Крестова.* Первую редакцию XXIII—XXVIII глав повести «Несчастная» подготовила к печати *Т. Б. Трофимова.* В подготовке тома к печати принимали участие *Е. М. Лобковская* и *Е. В. Свиясов.*

Вступительная статья к примечаниям написана *Л. М. Лотман.* Редакторы тома — *Н. В. Измайлов* и *Е. И. Кийко.*

---

[7] Алексеев М. П. И. С. Тургенев пропагандист русской литературы на Западе.— Труды отдела новой русской литературы, 1948, т. 1, с. 37—80 (*ИРЛИ* (Пушкинский Дом) АН СССР).

ИСТОРИЯ ЛЕЙТЕНАНТА ЕРГУНОВА

(с. 7)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф (глава I — середина VII). 7 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 71; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 329.

Беловой автограф. 54 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 84; описание см.: *Mazon*, p. 70; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 312.

Рус Вестн, 1868, № 1, с. 241—271.

Т, *Соч*, *1869*, ч. 6, с. 211—250.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 6, с. 211—249.

Т, *Соч*, *1880*, т. 8, с. 79—118.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 8, с. 76—119.

Впервые опубликовано: *Рус Вестн*, 1868, № 1, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 15, *строка 11:* «офицеру и дворянину» вместо «офицеру или дворянину» (по беловому автографу).

Стр. 33, *строка 7:* «влезать вслед за этим мальчиком» вместо «влезать за этим мальчиком» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

К работе над рассказом Тургенев приступил весной 1866 г. На обложке беловой рукописи помета: «Начат в течение 1866 года». 9 (21) апреля 1866 г. Тургенев сообщал Людвигу Пичу: «. . . я начал небольшую повесть — идет кое-как, капля по капле». Сюжетом рассказа Тургенев поделился с Полиной Виардо, и лишь в начале 1867 г. работа над ним завершилась. Писатель отмечал, что в это время у него возник ряд замыслов. 26 января (7 февраля) 1867 г. он писал П. Виардо: «Я каждое утро работаю, как негр, над тем маленьким рассказом, о котором я вам говорил; если так будет продолжаться, я окончу его ко дню отъезда и мне удастся прочесть его вам в Берлине ⟨. . .⟩ Сегодня утром я опять работал, но не так хорошо. Я стал немного похож на вас; в голове целый рой замыслов ⟨. . .⟩ Но я буду упорствовать и не возьмусь ни за что, пока первый не будет окончательно разработан...». Замысел произведения расширялся, в рассказ включались новые и новые эпизоды. Тургенев вспоминал в письме к Я. П. Полонскому от 6 (18) марта 1868 г.: «. . . я ни над одной вещью так не бился, три раза переписал ее, подлую!» Особенно много и продуктивно трудился он 1 (13) февраля 1867 г.

В пометах Тургенева, фиксирующих время окончания работы над рассказом, отразилось исключительное творческое напряжение, которым сопровождалось завершение этого произведения. «Кончен в Баден-Бадене, Schillerstraße, в четверг 2/14 фев⟨раля⟩ 1867 г.

(NB. Последние 22 страницы написаны в один день)» — стоит на обложке белового автографа. В конце рукописи л. 52 значится «Баден-Баден. Schillerstraße, 277, в ночь с 1/13 на 2/14 февраля, с середы на четверг в 3/4 1-го». На следующий день писатель сообщал П. Виардо: «Пользуюсь моим небольшим досугом и работаю с ожесточением; вчера провел 11 часов,— повторяю: одиннадцать часов,— за писанием. Я написал тот причудливый рассказ, о котором вам говорил и который принял более значительные размеры, нежели я предполагал сначала».

Тургенев неоднократно отмечал, что работал над рассказом с подъемом: «Я всё это время работал так, что сам на себя удивляюсь. Я сгораю от нетерпения прочесть Вам, что я сделал»,— писал он П. Виардо 6 (18) февраля 1867 г., а 8 (20) февраля извещал уже своих адресатов П. В. Анненкова и Н. Н. Рашет о том, что рассказ «окончен и переписан». Дошедшая до нас часть чернового автографа рассказа свидетельствует об относительной легкости и быстроте работы над ним автора (сравнительно небольшое количество вставок и исправлений, небрежная скоропись почерка). Впрочем, не исключена возможность, что этот черновой автограф представляет уже копию с предшествовавшего ему варианта. Тургенев вписывает на полях рукописи дополнения, характеризующие рассказ Ергунова (см. главу I, с. 7 — «со всеми ее подробностями ∽ недомолвки и пропуски») и самого Ергунова. Например, в III главе: «Начальство выдало ему, как надежному [1] и благоразумному офицеру, довольно значительную сумму» (ср. с. 8). Дополнения характеристики Ергунова сводились к тому, чтобы возможно более подчеркнуть его «благонадежную» ограниченность и прозаическую серость. Так, в качестве вставки на полях появились слова о Ергунове: «Книг он никаким образом читать не мог, потому что от них у него тотчас делались приливы к голове. Он очень был полнокровного расположения и даже каждую весну принимал по этому случаю особый декокт». В переделанном виде это вошло и в окончательный текст (ср. с. 8). В целом же образ Ергунова, данный в привычных для Тургенева еще со времен его работы над «Записками охотника» «гоголевских тонах», легко и сразу складывался в повести.

Гораздо больше колебаний и поисков, дополнений и зачеркиваний можно отметить в эпизодах, рисующих Эмилию и ее окружение. На полях чернового автографа появились такие существенные элементы ее характеристики, как немецкое слово, вставленное в ее речь, разговор ее с Ергуновым, дающий первый сигнал о ее корыстных умыслах: «— Что же, у вас большое жалование? — Нет, не очень» (ср. в окончательном тексте с. 13). На полях рукописи находятся и другие слова Эмилии, свидетельствующие о ее склонности вымогать подарки: «А у меня есть гитара, только струны порваны. Надо будет купить. Вы мне дадите денег?» (ср. в окончательном тексте с. 14). Следует отметить также, что Тургенев не сразу стал делить свой рассказ на главы. Лишь затем — и сначала на полях — появились номера глав. IV глава уже обозначена в тексте.

В беловой рукописи, начало которой (листы 1—19) почти не содержит исправлений, Тургенев затем стал производить обычные для него поправки и вписывания. Характерно, что в этих новых исправлениях он шел по тому же пути, что и в процессе работы над

---

[1] В черновом автографе — первоначально — «благонадежному».

черновой рукописью рассказа. Наибольшей доработки потребовали эпизоды, рисующие свидания Ергунова с девушками в притоне авантюристов (XI, XIV, XV, XVI и XX главы окончательного текста). Разрабатывая образы Эмилии и Колибри, а также эпизоды, рисующие пребывание Ергунова в доме Фритче, Тургенев обогащал и разнообразил лексику своего рассказа. Рукописи «Истории лейтенанта Ергунова» отражают процесс формирования языковых характеристик героев и дают возможность проследить, как писатель добивается в данном рассказе эффекта использования иноязычных речений для воссоздания облика многонациональной среды [2]. Главы, содержащие изображение бреда Ергунова, которые сам Тургенев считал средоточием смысла рассказа (см. его письмо М. В. Авдееву от 13 (25) января 1870 г.), в беловой рукописи совершенно не подверглись исправлениям. Можно предположить, что и на первоначальной стадии работы писатель создал их легко, без большой стилистической правки, так как они входят в те «последние двадцать две страницы» рассказа, которые были написаны в течение одного дня.

Работа Тургенева над текстом рассказа в беловой рукописи, а также и при включении его в собрание сочинений, сводилась к внесению дополнительных подробностей в характеристику Эмилии, значительных новых черт в портрет Колибри, в эпизоды свиданий Ергунова с нею, а также в описания жилища девушек. Отметим, что некоторые уточнения, содержащиеся в тексте белового автографа, были затем изъяты автором по разным соображениям. Следовавшие за фразой: «Влюбчивый лейтенант сблизился с Эмилией» — слова: «вступил с ней в самые короткие отношения» (вариант к с. 17) — были исключены автором, по-видимому, после того, как друзья, слушавшие рассказ в его чтении, нашли некоторые его ситуации «рискованными». По соображениям автоцензуры, возможно, были выброшены и слова, следовавшие за фразой «. . . Кузьма Васильевич не прекращал своих посещений, а, напротив, учащал их»: «внутренне он — в качестве дворянина и офицера — возмущался неоднократно, а на деле утешался тем, что главной цели достиг, денег не тратил...» (вариант к с. 17).

15 (27) февраля 1867 г. Тургенев сообщал В. П. Боткину как об окончании «Дыма», так и о завершении работы над «Ергуновым» и выражал намерение лично привезти эти произведения в Петербург, с тем чтобы прочесть «литературной — или нет — критической братье».

Сразу по возвращении на родину — 26 февраля (10 марта) 1867 г. Тургенев прочел свой рассказ в Петербурге, в критическом «ареопаге» знакомых литераторов. Присутствовавшие — В. П. Боткин, П. В. Анненков, Б. М. Маркевич и В. А. Соллогуб одобрили рассказ, хотя и сделали автору некоторые замечания.

В Москве Тургенев читал «Историю лейтенанта Ергунова» у М. Н. Каткова и кн. Е. А. Черкасской. Чтения эти, особенно первое, имели своей целью главным образом ускорение публикации рассказа. Достигнув договоренности по этому вопросу с Катковым, Тургенев воспринимал ее как «компенсацию» за неприятную ему

---

[2] См.: Цейтлин А. Г. Мастерство Тургенева-романиста. М., 1958, с. 328—335; Алексеев М. П. Письма И. С. Тургенева.— *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. I, с. 68.

необходимость общаться с консервативной аудиторией, самые похвалы которой вызывали у него не чувство удовлетворения, а сомнения в достоинствах произведения. Именно эти ноты звучат в письме к П. Виардо от 20 марта (1 апреля) 1867 г.: «Вчера вечером мне пришлось читать мою новую маленькую повесть у Каткова. Было много малосимпатичной публики ⟨...⟩ Безделица моя, кажется, понравилась. Катков просил меня оставить ее для своего журнала, это главное». Любопытно, что 26 марта 1867 г. на 233 публичном заседании «Общества любителей российской словесности» Г. В. Кугушев прочел «Историю лейтенанта Ергунова» — по рукописи (см.: Общество любителей российской словесности... Историческая записка и материалы за сто лет. М., 1911. Приложения, с. 121).

Очевидно, после чтений в Петербурге и Москве рассказ был еще раз переписан, так как в это время на полях белового автографа была сделана вставка в роман «Дым» (см. примечания к роману — наст. изд., т. 7, с. 523). 6 мая 1867 г. за восемь месяцев до публикации рассказа, на поля белового автографа был также перенесен текст письма для «Бригадира» (см. примечания к этому рассказу). Таким образом, уже в первые месяцы 1867 г. писатель перестал рассматривать эту рукопись как источник для публикации «Истории лейтенанта Ергунова».

Расхождение Тургенева с Катковым, заставившее писателя впоследствии пренебречь высокими гонорарами «Русского вестника» и полностью отказаться от участия в этом издании, еще только наметилось.

На следующий день — 21 марта (2 апреля) — Тургенев сообщал П. В. Анненкову о чтении и договоренности своей с Катковым относительно печатания рассказа, но ни словом не упомянул об успехе его. Очевидно, вещь эта встретила и сопротивление ряда лиц, слышавших ее чтение в Москве, так как Тургенев утверждал впоследствии, что «о ее безнравственности заранее раструбили в публике», и сомневался в том, что Катков остается при своем намерении печатать рассказ (см. письмо Тургенева к Анненкову от 23 сентября (5 октября) 1867 г.).

Только вновь выяснив намерения редактора «Русского вестника», Тургенев выслал рассказ в Москву. При этом он внес изменения в свое произведение, учитывающие критику слушателей, и сообщал Каткову, что рассказ несколько переделан, «сглажен» (письмо от 19 ноября (1 декабря) 1867 г.).

31 декабря 1867 г. (12 января 1868 г.) Тургенев обращается к Кетчеру с просьбой держать корректуру рассказа в «Русском вестнике», замечая: «...рукопись моя на этот раз написана мною особенно старательно и четко».

В письме к Каткову от 17 (29) января 1868 г. писатель выражал уверенность, что рукопись его получена в редакции «Русского вестника», и просил напечатать двенадцать отдельных оттисков. 12 (24) февраля 1868 г., уже получив номер журнала с рассказом, Тургенев повторяет Каткову просьбу о присылке оттисков, отмечая попутно, что рассказ напечатан «очень исправно, без опечаток». Включая рассказ в Собрание сочинений в 1869 г., Тургенев внес в его текст некоторые изменения стилистического характера. В письме к В. Рольстону от 21 июля (2 августа) 1869 г. он предупреждал, что в собрании сочинений «История лейтенанта Ергунова» появится «с небольшими добавлениями и исправлениями». Это предупреждение было необходимо ввиду того, что переводы «Истории лейтенанта

Ергунова» делались в значительной части случаев по журнальным публикациям (Рольстон переводил произведения Тургенева на английский язык).

Сразу после окончания рассказа Тургенев перевел его на французский язык для П. Виардо (см. его письмо певице от 27 февраля (11 марта) 1867 г.). Затем этот перевод был отредактирован — по-видимому, с помощью Л. Виардо — и напечатан в «Revue des Deux Mondes», 1868, 1 апреля под заглавием: «L'Aventure du lieutenant Yergounof». Тургенев сам держал корректуру (см. его письмо П. В. Анненкову от 5 (17) марта 1868 г.). Ввиду отсутствия в Париже Мериме, который в этот период редактировал переводы его произведений на французский язык, Тургенев просил просмотреть первую корректуру (гранки) перевода М. Дюкана (см.: письмо от 16 февраля 1868 г.). 28 марта (9 апреля) 1868 г. Тургенев сообщал Анненкову о французской публикации своего рассказа, расценивая появление его в столь авторитетном издании как свидетельство своей европейской популярности: «честь, которая ⟨...⟩ досталась, кроме меня, одному Г. Гейне».

Ознакомившись с «Историей лейтенанта Ергунова» в «Revue des Deux Mondes», П. Мериме выражал сожаление, что Тургенев не поручил ему просмотреть перевод, который, по его мнению, следовало бы лучше отредактировать (см. письмо Мериме Тургеневу от 29 апреля 1868 г.— *Mérimée*, II, 8, p. 121). Этим замечанием Мериме Тургенев воспользовался, когда принял решение издать на французском языке сборник своих рассказов. Во время пребывания в Париже Мериме, по просьбе Тургенева, просмотрел корректуру французского перевода «Истории лейтенанта Ергунова» и отослал ее издателю Ж. Этцелю (см. письмо Мериме Тургеневу от 1 (13) мая 1869 г.— там же, с. 489, 491).

В текст перевода были внесены при этом небольшие исправления. «История лейтенанта Ергунова», вместе с другими рассказами Тургенева («Ася», «Бригадир» и др.), появилась в сборнике «Nouvelles moscovites». J. Hetzel, Paris, ⟨1869⟩ в переводе автора, под названием: «Histoire du lieutenant Yergounof» [3]. Тургенев сам правил корректуру. 18 (30) мая 1869 г., после ознакомления с готовой книгой, он сообщил Ж. Этцелю об обнаруженной им анекдотической опечатке. В середине июня 1868 г. П. Виардо выслала Л. Пичу для Ю. Шмидта французский перевод «Истории лейтенанта Ергунова», напечатанный в «Revue des Deux Mondes», для осуществления перевода рассказа на немецкий язык. Перевод этот, сделанный Ю. Шмидтом, был отредактирован Л. Пичем и опубликован в немецком собрании сочинений Тургенева, выходившем в Митаве (Iwan Turgénjew's Ausgewählte Werke. Autorisierte Ausgabe. Mitau, Behre's Verlag, 1869. Bd. II, 2 изд. 1881).

Верный своему договору с издателем Бере, Тургенев авторизовал немецкий перевод, прочтя его корректуру и исправив его («обнаружены только 3 ошибки»,— писал он Л. Пичу 20 мая (1 июня) 1869 г.). Л. Пич оказался одним из немногих почитателей Тургенева, отозвавшихся об «Истории лейтенанта Ергунова» с похвалой:

---

[3] См.: Горохова Р. М. К истории издания сборника Тургенева «Nouvelles moscovites».— *Т сб*, вып. 1, с. 257—260, 267—269.

«Я рад, что вам понравились „Fumée“ и бесенок в „Лейтенанте“»,— писал ему Тургенев 15 (27) мая 1868 г.[4]

«История лейтенанта Ергунова» была переведена на шведский язык и опубликована в 1876 г., затем последовали новые ее переводы: Гельсингфорс, 1885; Стокгольм, 1889. Произведение это обратило на себя внимание шведских читателей и литераторов. Хеннинг Бергер, известный шведский прозаик, в начале своего творческого пути создал повесть «Исаиль» («Isail», 1905), представляющую собою подражание Тургеневу. Он заимствовал сюжет и ряд характеров из «Истории лейтенанта Ергунова», но перенес действие в Чикаго (см.: Lagerstedt S. Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers liv och författarskap. Stockholm, 1963, s. 212, 283; Шарыпкин Д. М. Русская литература в Скандинавских странах. Л., 1975, с. 129).

Отзывы русской критики своей малочисленностью, беглостью и нарочитой небрежностью глубоко огорчали писателя. Именно таков был отзыв газеты «Голос», издававшейся А. А. Краевским (1868, 16 (28) февраля, № 47). Газета считала, что в произведении Тургенева передана «одна из самых обыкновенных историй», и, называя его «очерком», весь его интерес усматривала в сказе, которым ведется повествование об этом «незатейливом случае».

Критику «Голоса» вторил критик газеты «Русский инвалид». В «Журнальных и библиографических заметках» он писал: «Г-н Тургенев, кажется, возвращается назад, судя по двум новым его произведениям: „Бригадир“ (в 1-й кн. „Вестника Европы“) и „История лейтенанта Ергунова“ (1-я кн. „Русского вестника“). В изложении — прежнее мастерство, и это единственное достоинство этих рассказов; между тем как от г. Тургенева мы привыкли ожидать не пустых и старых анекдотов, как „История лейтенанта Ергунова“ ⟨...⟩ история, быть может, действительно случившаяся, ибо ее рассказывают даже няньки и мамки» (Русский инвалид, 1868, № 52, 24 февраля (7 марта)).

На основании подобных отзывов писатель считал, что рассказ потерпел фиаско: «Не без уныния, но и не без философической твердости узнал я о судьбе, постигшей „Историю лейтенанта“, которая ⟨...⟩ провалилась»,— писал он П. В. Анненкову 28 марта (9 апреля) 1868 г. Не могли утешить Тургенева и утверждения большинства критиков, что рассказ написан с обычным для него мастерством, поскольку за этими рассуждениями как подтекст стояла мысль о ничтожестве содержания его рассказа. Так, например, газета «С.-Петербургские ведомости» заявляла, что лишь «такой тонкий художник, как г. Тургенев, мог из столь пустенького сюжета сделать такую артистически-изящную литературную вещицу». Внимание публики к рассказам Тургенева, в частности к «Истории лейтенанта Ергунова», критик «С.-Петербургских ведомостей» объяснял былой славой писателя: «Счастлив писатель, ставший любимцем публики. Каждая строка такого писателя ценится публикою ⟨...⟩, каждый рассказец его, будь он даже в две с половиною странички, привлекает к себе общее внимание, возбуждает толки и сопровождается похвалами. Всё это пришло мне на мысль по прочтении нового рас-

---

[4] О немецких переводах этой новеллы и других произведений Тургенева 60-х—70-х гг. см.: Dornacher Klaus. Bibliographie der deutschsprachigen Buchausgaben der Werke I. S. Turgenevs 1854—1900.— Pädagogische Hochschule «Karl Liebknecht». Potsdam, 1975, Heft 2, S. 285—292.

сказа г. Тургенева в январской книжке „Русского вестника“» (*СПб Вед*, 1868, 24 февраля (7 марта), № 53).

Не все читатели и критики произведений Тургенева признавали даже чисто литературные достоинства рассказа «История лейтенанта Ергунова». Критик П. М. Ковалевский заявлял, что рассказ написан Тургеневым «впопыхах и фельетонно». Это мнение, сообщенное Тургеневу Полонским, поразило писателя своей несправедливостью. В письмах к М. В. Авдееву от 18 (30) апреля 1868 г. и 13 (25) января 1870 г. он защищал свое произведение от этих нападок и раскрывал те психологические задачи, которые ставил перед собой, создавая его. Особенное сопротивление вызывали у него попытки мистического истолкования рассказа. «...что собственно *мистического* в „Ергунове“, я понять не могу — ибо хотел только представить *незаметность* перехода из действительности в сон, что всякий на себе испытал; но могу Вас уверить, что меня исключительно интересует одно: физиономия жизни и правдивая ее передача; а к мистицизму во всех его формах я совершенно равнодушен...»,— писал Тургенев М. В. Авдееву 13 (25) января 1870 г.

Стр. 8. ...*в тогда еще новом городе Николаеве*...— Николаев был основан в 1789 г.

БРИГАДИР

(с. 39)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф. 24 с. На обложке и обороте ее — записи сюжетов и выражений (см. с. 387—389). Хранится в *Bibl Nat*, Slave 84; описание см.: *Mazon*, p. 70; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 313.

«Письмо бригадира к стр. 22-й э⟨то⟩го рассказа». Написано на полях рукописи «История лейтенанта Ергунова» (беловой автограф, с. 9—12, с. 7—10 по нумерации Тургенева). Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 84, фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 312.

Наборная рукопись, с подзаголовком «Рассказ». 12 лл. Хранится в *ИРЛИ*, ф. 293, оп. 3, № 130.

ВЕ, 1868, № 1, с. 1—22.

Т, *Соч*, *1869*, ч. 6, с. 251—278.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 6, с. 251—278.

Т, *Соч*, *1880*, т. 8, с. 119—146.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 8, с. 120—149.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1868, № 1, с подзаголовком «Рассказ» и подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* с исправлением по всем другим источникам на *стр. 58*, *строка 5*: «единосердной» вместо «единосердечной».

Тургенев начал работу над этим рассказом непосредственно после завершения «Истории лейтенанта Ергунова». В письме Полине Виардо от 2 (14) февраля 1867 г., сообщая об окончании работы над «Ергуновым», писатель добавлял: «Я способен с сегодняшнего

дня засесть за третий рассказ...». Однако работу задерживало то обстоятельство, что Тургенев не мог отыскать необходимый ему подлинный документ — письмо старика бригадира к его матери. В письме к Кишинскому от 20 марта (1 апреля) 1867 г. Тургенев напоминает о своем поручении разыскать этот документ, а 3 (15) апреля 1867 г. описывает самое письмо, которое следует найти в бумагах семейного архива. В письмах от 9 (21) и 18 (30) апреля 1867 г. он торопит Кишинского и подсказывает ему, где можно найти необходимую ему бумагу.

Не дождавшись письма, Тургенев приступил к работе над рассказом и в основном завершил ее. Помета на обложке черновой рукописи «Бригадира»: «Начат около 7/19-го февраля 1867 в Баден-Бадене, Schillerstraße, 277. Кончен вскоре потом, но письмо бригадира найдено и переписано 6-го мая/25 апр⟨еля⟩ [1] 1867. B⟨aden⟩ B⟨aden⟩ Sch⟨iller⟩straße, 277». Под свежим впечатлением неожиданной находки искомого письма у себя, в Баденском архиве, Тургенев писал Анненкову 24 апреля (6 мая) 1867 г.: «К великому удовольствию моему, я нашел, наконец, здесь — совершенно случайно — то письмо „бригадира“, ⟨...⟩ которое составляло необходимую принадлежность моего рассказа и давало ему смысл. Весь рассказ в оконченном виде будет мною немедленно переписан и через неделю отправлен к вам». 24 апреля на полях белового автографа «Истории лейтенанта Ергунова» (л. 7—9) было переписано найденное письмо. Еще раньше, при работе над повестью, Тургенев отметил на полях л. 22 автографа (гл. XV): «NB. Здесь поместить письмо, которое должно находиться в Спасском». Сюда и была затем отнесена вставка при помощи отсылки: «Письмо бригадира к стр. 22-й э⟨то⟩го рассказа».

Возможно, что замысел «Бригадира» уже гораздо раньше сложился в сознании писателя, но не прежде конца 1850 года, когда после смерти матери он разбирал ее архив.

Разоблачение крепостнических нравов, поэтическое изображение русской природы, очерк сильного и благородного характера, бытовые фигуры обитателей помещичьей усадьбы — всё это связывает рассказ «Бригадир» с циклом «Записки охотника». В одном из планов этого цикла содержится замысел рассказа «Человек екатерининского времени», и это говорит об интересе Тургенева в 1840—1850-е годы к типам XVIII века.

Сюжет «Бригадира», в своей основе близкий к сюжету повести «Манон Леско» Прево (изображение самоотверженной любви простодушного и рыцарски чистого человека к женщине, вовлекающей его в преступления и приведшей на край гибели), заставляет вспомнить, что в доме Тургенева в Спасском был портрет женщины XVIII века, который называли портретом Манон Леско, и что в пору работы над «Записками охотника» и первыми комедиями (между «Бирюком» и «Нахлебником») Тургенев занимался переводом «Манон Леско» на русский язык (Гроссман Л. Собр. соч. М., 1928. Т. III, с. 13—14). Стремясь воссоздать типы и события XVIII века, Тургенев шел от реальных происшествий, следы которых сохранились в семейном архиве Лутовиновых. О письме бригадира племяннице Телегиной, воспроизводящем подлинное письмо гражданского мужа тетки В. П. Лутовиновой (Тургеневой) к последней, Н. М. Гутьяр писал: «В этом документе изменены только имена; но необычай-

[1] Так в рукописи. Надо: 24 апреля.

ные факты, сообщаемые рассказом, и жестокие характеры лиц Ломовского (Лутовиновского) семейства являются не вымышленными и не прикрашенными» (*Гутьяр*, с. 15—16).

Предположение биографа Тургенева подтверждено и дополнено современным исследователем Н. М. Черновым, который на основании изучения судебных дел шестого департамента сената установил реальные события, составившие основу сюжета рассказа «Бригадир», и прототипы его героев. Тетка матери писателя — Аграфена Ивановна Шеншина (урожденная Лутовинова) была обвинена в чрезвычайно жестоком обращении с крепостными крестьянами и дворовыми. Как соучастник ее преступлений к судебной ответственности привлекался и совместно с нею проживавший статский советник Павел Никитич Козлов. Дело длилось много лет и было прекращено лишь после смерти А. И. Шеншиной. Эти события отражены в рассказе «Бригадир», хотя, вероятно, Тургеневу были известны не все ужасные подробности злодеяний Шеншиной, зафиксированные в судебных документах. А. И. Шеншина явилась прототипом Аграфены Ивановны Телегиной, П. Н. Козлов — Василия Фомича Гуськова. Сестра А. И. Шеншиной — генерал-майорша Елизавета Ивановна Аргамакова — выведена в рассказе Тургенева под именем Феодулии Ивановны (см.: Чернов Н. Еще одна Салтычиха.— Неделя, 1968, № 35, 25 августа, с. 20—23).

Относительная легкость работы Тургенева над рассказом: сравнительно небольшое число поправок, переделок и вставок на полях — объясняется, вероятно, тем, что в его основу легли события, давно поразившие своей необычностью писателя. Наиболее значительны следующие дополнения, внесенные в текст на полях рукописи (страницы — по нумерации Тургенева):

1. К с. 10: — «Ты разве не знаешь, что про нее Милонов-стихотворец сочинил ᔕ А ты — Аграфена!» (см. с. 46). Стихотворение, которое в тексте повести приписывается Милонову, очевидно, было, как можно судить по черновому автографу, стилизацией, принадлежащей самому Тургеневу. Строке: «Не бренным тления кумиром» в рукописи предшествовала строфа, не вошедшая в окончательный текст:

Жена ся есть превыше чина
Пред коей петы словеса,
Подобье ангельского крина
Утехой полнит очеса.

Первый, третий и четвертый стихи этой строфы несколько раз переделывались. При переписывании Тургенев исключил эту строфу. В черновом автографе после первой строфы идут слова: «или еще» — и затем — вторая строфа, вошедшая в окончательный текст. Она возникла тоже после некоторых поисков. Так, например, вместо: «Не бренным тления кумиром, не амаранфом» — было: «Не бренным зодчества ⟨?⟩ кумиром. Не полифеем».

2. На полях с. 11 внесено описание природы и чувств одного из героев: «Солнце пекло ᔕ Огурец встряхнулся, оживился» (с. 47—48).

3. На полях с. 13 вписано: «Вы не глядите на меня ᔕ ложись да помирай» (см. с. 49). Эти слова Огурца Тургенев обрабатывал, добиваясь большей выразительности и красочности сказа. Вместо «что я невзрачен есть» было: *а.* «что я не того» *б.* «что я будто не того».

4. На полях с. 16 вписаны воспоминания Гуськова о Суворове: «В Варшаву-то на казачьей лошади въехал ∾ Чудаки!» (с. 51). Предшествующей этой вставке фразы: «Ты стоишь не чукнешь — а он туды-сюды» — в черновом автографе нет; она появилась при переписывании.

5. На полях с. 17 вписаны два эпизода: «развязал свои подвязки ∾ все их носили» (с. 52) и «И он брал Прагу ∾ еще более необыкновенные» (с. 52). Вставляя снова упоминания о героизме Гуськова — суворовского офицера, Тургенев тщательно обрабатывал этот текст, искал более точные и эмоциональные слова для выражения своей мысли. Вместо: «Он, со шпагой наголо, в дыму, в пыли — в челе суворовских солдат ∾ трупы под ногами» было: *а.* «Он георгиевский кавалер при Суворове — кажется, чего ему еще желать? Более необыкновенный...» *б.* «Он со шпагой наголо, в дыму, в пыли — в челе суворовских солдат шагал и трупы под ногой...»

На с. 18 вписаны характерные, местные выражения: «не соблаговолите ли, не пожалуете ли „още" ∾ пора в пуньку да под шептуху» с примечаниями к ним (см. с. 53).

На с. 20 вписано: «Он из-за нее, из-за самоё тоё Аграфены Ивановны, с английским милордом Гузе-Гузом на шпантонах дрался ∾ комплимент» (с. 54). Здесь вместо «и английский милорд должо́н был произнести извинительный комплимент» было: *а.* «и даже ранил того англицкого милорда» *б.* «и таковым манером, каковым по самой его милордовой башке и охладить надлежало, как даст тоже, чтобы не успел охнуть. Говорят, однажды,— шепнул Н⟨аркиз⟩,— Купидоном она представлять его заставила — ей-богу; нарядила ⟨*1 нрзб.*⟩ всего в рыбью чешую, к плечам гусиные перья приставила, и долженствовал он стрелять из золотого лука в сердце, а сердце-то из красного сукна великое сшито было, оно вроде подушки, ей-богу!» Этот эпизод не был включен писателем в окончательный текст рассказа, вероятно, в связи с тем, что он мог ассоциироваться с участием самого Тургенева в любительских спектаклях в Баден-Бадене, которое осуждалось многими друзьями писателя.

Вставки на полях вносят новые черты в характеристику Гуськова и обогащают фон, на котором происходит действие рассказа; они пополняют текст бытовыми подробностями, красочными «местными» словами и чертами, передающими колорит эпохи.

Некоторые выражения, вписанные на полях, над строкой, а иногда и сразу вошедшие в текст, заимствованы из записей, перенесенных на обложку рассказа и ее оборот (см. с. 531—532).

Обработка текста, исправление отдельных фраз, выражений и слов в обеих рукописях, вплоть до прижизненных изданий, шла по линии «нагнетания» подробностей, характерных деталей. Так, в наборной рукописи описание старинных усадеб обогатилось фразами, которых не было в черновом автографе: «посреди которой ∾ пронзительный голосок» (с. 39), «дорога с подушечками мягкой пыли по колеям» (с. 39—40), «и крики гусей с отдаленных заливных лугов» (с. 40), «беловатые протоптанные дорожки бегут от дверей по крашеным полам» (с. 40) и др.

Особый интерес представляет работа Тургенева над письмом бригадира, включенным им в текст рассказа. Это подлинное письмо, адресованное матери писателя, явилось отправным пунктом при создании сюжета рассказа. В переписке с друзьями и, видимо, в устных разговорах, касаясь этого рассказа, Тургенев постоянно подчеркивал поразившую его характерность письма и потрясающую

правду чувства, выраженного в этом документе: «Письмо его ⟨бригадира⟩, по-моему,— chef d'oeuvre; к сожалению, не я — его автор»,— писал он 9 (21) мая 1867 г. П. В. Анненкову. Как подлинный документ рассматривал его и Мериме. Соглашаясь с оценкой Тургенева, П. Мериме сообщал 22 июня 1868 г. г-же Делессер: «В конце рассказа приведено письмо, в котором он обращается за помощью к племяннице Агриппины,— оно ужасно по своей правде» (*Mérimée*, II, 8, p. 173). Однако в словах Мериме, обращенных к самому Тургеневу, сквозило сомнение в том, что здесь не было творческого вмешательства писателя: «Письмо, *подлинное, как вы говорите*, ужасающе печально»,— писал он (там же, с. 169, курсив наш).

Действительно, копируя подлинное письмо бригадира на полях рукописи «Истории лейтенанта Ергунова», Тургенев очень тонко и осторожно, но тщательно отредактировал его, внеся в безыскусственный текст те небольшие и точные штрихи, которые превращают бытовой документ в художественное произведение. Сначала, боясь нарушить непосредственность стиля письма, Тургенев лишь надписывал свой вариант слова над точно скопированным словом подлинника, не зачеркивая последнего; затем он стал зачеркивать отдельные слова, заменяя их другими, варьировать целые фразы.

Переделку текста документа писатель вел в трех направлениях: 1) менял некоторые фактические данные, указанные в письме, которые не совпадали с хронологией событий в его рассказе, нарушали представление о состоянии бригадира, как оно охарактеризовано Тургеневым, и т. д.; 2) раскрывал в отдельных случаях «подтекст» письма бригадира, заставляя его более откровенно и распространенно говорить о своих чувствах; 3) заменял стертые слова более характерными для эпохи и героя, устранял словесные повторы. Так, слова подлинного письма: «...трид⟨цать⟩ два года был я предан всему родственному ⟨...⟩ вашему семейству...» Тургенев заменил на текст: «...уже двадцать лет был я предан всему родственному ⟨...⟩ вашему дому...» (с. 58); «гостинцы, более как на тысячу рублей» исправлено на: «гостинцы, более как на пятьсот рублей» (с. 58). Вместо: «по почте» оказалось: «по коронной почте» (с. 57). Слово «добродетель», часто повторявшееся в письме, иногда заменено на «благоутробие» (см., например, с. 57); «имеет благородную душу» исправлено сначала на «имеет возвышенную душу», а затем на «имеет душу чувствительную» (с. 57); «несчастному» переправлено на «бесталанному» (с. 57); «препочтенный друг нашего семейства» исправлено на «препочтенный радетель нашего семейства» (с. 58). Фразе: «получил удостоверение, что последнее со мной разделят, но впоследствии оказалось совсем сему противное» — писатель путем зачеркивания и переделок придал следующий вид: «получил точное удостоверение, что последнюю кроху со мной разделят!» (с. 58). Соответственно в двух местах были вписаны ссылки на это обещание: «что хотела последнюю кроху со мной напополам разделить» (ср. с. 58) и «Вот оная последняя кроха!» (с. 58). После «в день ее ангела» писатель добавил «пятого февраля» (день святой Феодулии) (с. 58). После слов «и земля не расступится» зачеркнул: «никак, кверху тоже не взлетишь, некуда!» и надписал: «а скорее того в камень обратится!» (с. 60).

Наборная рукопись рассказа была выслана Анненкову 9 (21) мая 1867 г. При этом Тургенев высказал — правда, в очень нерешительной форме — пожелание, чтобы «Бригадир» был помещен в журнале «Дело», который в сознании писателя прочно связывался с

личностью Писарева, интересовавшей и привлекавшей его. «Когда Писарев приходил ко мне, он от имени редакторов „Дела“ просил меня: нет ли у меня чего-нибудь для них? ⟨...⟩ Если вздумаете, пошлите за ним: он придет наверное, а человек он любопытный — помимо всяких соображений на помещение моего „детища“»,— писал Тургенев Анненкову 9 (21) мая 1867 г.

Инициатива М. М. Стасюлевича, узнавшего, что у Анненкова находится рукопись рассказа Тургенева, и обратившегося к автору с просьбой предоставить право его публикации редакции «Вестника Европы», решила дело. С согласия писателя Анненков передал рукопись Стасюлевичу. На наборной рукописи есть резолюция редактора «Вестника Европы»: «В январь. 21 октября 1867. М. Стасюлевич». В январском номере журнала за 1868 год рассказ и появился.

Между тем Анненков получил ряд дополнений к рассказу в письме Тургенева от 26 ноября (8 декабря) 1867 г. вместе с указанием: «Если рукопись „Бригадира“ еще у вас, впишите оные места „рукою властной“, а если уже у Стасюлевича, то не забудьте присовокупить во время печатания». Эти новые строки были внесены в текст рассказа лишь в корректуре. Отсюда расхождения между наборной рукописью и первой публикацией. Дополнения касались главным образом характеристики Наркиза,— Тургенев усилил описание его внешности несколькими резкими штрихами, которым придавал, однако, существенное значение. В связи с этим он писал Анненкову: «Вы, может быть, найдете, что в то время, когда в Москве умирает Филарет, а в Париже воскрешается папа, я слишком много занимаюсь бровями Наркиза; но такая уж наша писательская фанаберия».

Тщательность, которую Тургенев проявлял при работе над произведением, улучшая и обрабатывая его до последней корректуры, произвела большое впечатление на Стасюлевича. В разговоре с другими литераторами он рассказывал о заочной правке текста «Бригадира» как об исключительном случае. И. А. Гончаров напоминал об этом Стасюлевичу: «...Вы говорили, что Тургенев из-за границы присылал по нескольку слов переменить или добавить в своей рукописи („Бригадир“), которая была уже в Ваших руках. И объяснили это правильно и отлично тонко — тем, что художник заботливо до последней возможности отделывает свое произведение» (*Гончаров*, т. 8, с. 394).

Тургенев беспокоился о «Бригадире» и с нетерпением ожидал номера «Вестника Европы» с рассказом (см. письмо П. В. Анненкову от 2 (14) января 1868 г.). Внимательно перечтя журнальный текст, он отметил в письме к П. В. Анненкову от 7 (19) января 1868 г. его исправность и вместе с тем перечислил допущенные в публикации опечатки и ошибки, которые были исправлены в последующих изданиях.

Мысль о переводе «Бригадира» возникла у Тургенева сразу по окончании работы над рассказом и до его опубликования в России. 17 (29) июня 1867 г. Тургенев писал Жюлю Этцелю: «Мы с Виардо собираемся приняться за перевод маленького рассказа „Бригадир“, о котором я вам говорил, и как только закончим — я вышлю его вам». 16 (28) июня 1867 г. Тургенев сообщал Анненкову, что редакция французской газеты «Journal des Débats» обратилась к нему с просьбой дать рассказ для «фельетона» и что выбор его пал на «Бригадира». 30 мая (11 июня) 1868 г. Тургенев переслал французский текст «Бригадира» Этцелю, сопроводив его письмом, раскрывающим

долю участия его самого и Л. Виардо в переводе этого рассказа. «Я диктовал этот перевод Виардо, который придал ему французский вид; я уверен, что всё очень точно, а Виардо знает свое дело». В том же письме Тургенев просил Этцеля переслать Мериме корректуру перевода рассказа для окончательного его уточнения. Мериме уже получил русский текст рассказа от самого Тургенева и ожидал корректур (см. его письмо к Ж. Дакен от 16 июня 1868 г.— *Mérimée*, II, 8, p. 162).

28 мая (9 июня) 1868 г. Тургенев сообщал Морицу Гартману о предстоящем появлении его нового рассказа во французской газете: «Позволю себе обратить Ваше внимание на одну совсем маленькую мою повестушку, которая, по всей вероятности, появится скоро в литературном отделе „Débats“. Она называется „Бригадир“». Рассказ появился в «Journal des Débats» 4—6 августа 1868 г. Затем он был перепечатан в 1869 г. в сборнике «Nouvelles moscovites» [2].

14 (26) октября 1868 г. Тургенев обещал переслать Л. Фридлендеру томик своих рассказов на французском языке, заключавший «Бригадира», о чем он специально упоминал (речь шла о готовившемся сборнике «Nouvelles moscovites»), а в письме от 25 июля (6 августа) 1868 г. Юлиану Шмидту сообщал, что намерен прислать ему перевод «Бригадира», помещенный в «Journal des Débats» [3].

В Петербурге распространился слух об успехе английского перевода «Бригадира». 27 марта (8 апреля) 1868 г. в «С.-Петербургских ведомостях» (№ 84) появилось сообщение, что в «Intelligencer of Europe» напечатан английский перевод «Бригадира», который столь понравился английской публике, что будет издан отдельной книгой. Тургенев заинтересовался этим сообщением и обратился к Н. В. Ханыкову с просьбой выслать английское периодическое издание, о котором сообщалось в «С.-Петербургских ведомостях» (см. письмо от 30 марта (11 апреля) 1868 г.). Ханыков отвечал из Парижа, что такого журнала в Англии нет (см.: *Т*, *ПСС и П*, *Письма*, т. VII, с. 482). Однако распространение подобного слуха было не случайно. «Бригадир» возбудил больше сочувственных отзывов, чем «История лейтенанта Ергунова», хотя сам Тургенев и не склонен был высоко оценивать этот небольшой этюд. Размышляя над названием своего французского сборника рассказов, он писал Марешалю 5 (17) января 1869 г.: «Действительно, можно было бы поставить в заглавии „Бригадир“, а остальные названия поместить ниже. Но этот рассказ сам по себе — один из наименее интересных в сборнике; может быть, лучше поставить „Призраки“ или „История лейтенанта Ергунова“ и начать томик рассказом, название которого будет служить заглавием сборника».

Вместе с тем писателя, как всегда, волновало мнение русской публики о его рассказе. Одним из первых сообщил ему свое мнение его постоянный советчик П. В. Анненков. «Радуюсь, что „Бригадир“ вам понравился...»,— отвечал ему писатель 23 мая (4 июня) 1867 г. Впоследствии, обозревая творческий путь Тургенева, Ан-

---

[2] О французском переводе «Бригадира» в сборнике «Nouvelles moscovites» см.: Горохова Р. М. К истории издания сборника Тургенева «Nouvelles moscovites».— *Т сб*, вып. 1, с. 257—260, 267.

[3] В 1872 г. под заглавием «Der Oberst» в переводе Половинова (W. A. Polowinoff) рассказ «Бригадир» появился в сборнике: J. Turgenjew. Drei Novellen. Wien, 1872.

ненков ставил небольшой рассказ «Бригадир» в один ряд с лучшими произведениями писателя 60—70-х годов. Критик утверждал, что Тургенев «...шел своей дорогой, 〈...〉 начиная 〈...〉 с „Отцов и детей" и вплоть до „Нови", отдавая публике такие капитальные произведения, как „Дым", „Бригадир", „Вешние воды", изумительные „Живые мощи"...» (*Анненков*, с. 485).

В письме к М. М. Стасюлевичу от 18 (30) июня 1867 г. П. В. Анненков отметил близость «Бригадира» к «Запискам охотника» (*Стасюлевич*, т. III, с. 293—294) и высказал предположение, что рассказ войдет в этот цикл. Родственность «Бригадира» — как по содержанию, так и по форме — рассказам из «Записок охотника» отмечали многие современные Тургеневу критики. См., например: «Русский инвалид», 1868, № 30, 1 (13) февраля; *СПб Вед*, 1868, № 12, 13 (25) января. Оба эти отзыва носили благоприятный характер.

Иначе отнесся к рассказу критик неизменно недоброжелательной к Тургеневу газеты Краевского «Голос». Он заявил о ничтожности содержания рассказа («Это совершенный пустячок») и утверждал, что, очерчивая «с мастерством, напоминающим несколько рассказы из „Записок охотника"», фигуры второго плана (Огурец, Наркиз), Тургенев тратит силы на тщательную разработку одной и той же, не представляющей общественного интереса, темы «жертвы безумной страсти к женщине» (Голос, 1868, 11(23) января, № 11).

Н. Страхов возмущался «грязным» колоритом созданной Тургеневым картины: «Что за фигура, что за обстановка, какая неизмеримая, безвыходная пошлость! Самые формы этой любви, просительные письма Бригадира, его толки о подарках, даже его фамилия — *Гуськов* — всё представляет картину, оскорбляющую чувство красоты...» (Последние произведения Тургенева.— Заря, 1871, № 2, Критика, с. 28). Между тем И. А. Гончаров отмечал как раз поэзию русской жизни в этом произведении и правдивость его. Гончаров, как и Анненков, связывал рассказ «Бригадир» с «Записками охотника». Он писал Тургеневу 10(22) февраля 1868 г.: «...я читал Вашего „Бригадира" и оценил его очень дорого 〈...〉. Я почувствовал, что и во мне есть немного художника; художник и оценит больше всего эту маленькую вещь, напоминающую Ваше лучшее (не во гнев Вам), чем Вы воздвигли себе прочный памятник,— то есть „Записки охотника" 〈...〉 здесь деревня так свободно и ярко нарисовалась: что за прелесть — поле, питье квасу из ковша etc. ...» (*Гончаров*, т. 8, с. 372).

Демократическая критика отмечала гуманный и обличительный пафос «Бригадира». П. Л. Лавров писал, например: «В „Муму", в „Постоялом дворе", в „Бригадире" Тургенев воплотил в вечно живые образы ужасы легальных крепостных отношений» (Вестник народной воли, 1884, № 2, с. 83).

Положительные отклики вызвал «Бригадир» у западных читателей. Мериме высоко оценил это произведение и, отмечая будничную прозаичность обстановки и самого героя, подчеркивал глубокий этический смысл рассказа в целом. В письме к Тургеневу от 20 июня 1868 г. Мериме высказал свои критические замечания о «Бригадире». «Это очень интересно, но слишком коротко. Я сожалею, что Вы не вывели на сцену и не показали хоть на мгновение некоторые персонажи, пребывающие у Вас за занавесом. Хотелось бы знать что-нибудь о племяннице Агриппины, которой адресовано письмо. Желал бы я также знать, как человек, способный на такую любовь, любил в юности». Далее французский писатель сообщал автору «Бри-

гадира» известный ему из личного жизненного опыта случай подобной самоотверженной любви (см.: *Mérimée*, II, 8, p. 169). В письмах другим своим корреспондентам Мериме неоднократно подчеркивал поэтичность нового произведения Тургенева. «Г-н Тургенев только что прислал мне коротенькую, но очень красивую новеллу под заглавием „Бригадир"»,— писал он Женни Дакен (там же, p. 162). Подробно пересказывая в письме к г-же Делессер содержание новеллы, Мериме говорил о том необыкновенно тяжелом впечатлении, которое производит история бригадира — одного «из самых блестящих полковников Суворова»: «...это так же печально, как поэма о Меджнуне и Лейли» (там же, p. 172—173). Считая, что лирическое начало преобладает в рассказе, он выражал недовольство тем, что Тургенев дал своему герою фамилию «Гуськов», так как это могло, по мнению Мериме, настроить читателя на ироническое восприятие любви бригадира. Между тем фамилия эта появилась в рассказе как характерная деталь, дающая основание заключить, что бригадир принадлежит к числу провинциальных дворян, сделавших, благодаря личной храбрости, карьеру при Суворове. Это же обстоятельство подчеркивалось и речевой характеристикой героя, в уста которого Тургенев вложил такие выражения, как: «Ты стоишь, не чукнешь, а он туды-сюды», «моим же добром себя угобзила». В связи с этим Мериме сообщал Тургеневу, что некоторых слов, употребленных в рассказе, он не смог найти ни в русских, ни в украинских словарях. Очевидно, неверно поняв слова начала рассказа «великорусская Украйна», он считал, что действие происходит на Украине (письмо П. Мериме к Тургеневу от 20 июня 1868 г.— *Mérimée*, II, 8, p. 169).

С т р. 39. *Проточный пруд ∽ приволье хлопотливых уток...*— Реминисценция из «Евгения Онегина» Пушкина. См. отрывки из «Путешествия Онегина»: «Да пруд под сенью ив густых, / Раздолье уток молодых».

С т р. 40. *...не походил на «Савельича» или на «Калеба».*— Савельич — персонаж повести Пушкина «Капитанская дочка», верный и самоотверженный крепостной слуга — дядька Гринева. *Калеб* (Калеб Бальдерстон) — старый слуга Эдгара Равенсвуда, безгранично преданный роду своих хозяев («Ламермурская невеста» Вальтера Скотта, 1819 г.). И. А. Гончаров в романе «Обломов», определяя русских патриархальных крепостных слуг как «рыцарей лакейской», сравнивал их с Калебом Бальдерстоном (*Гончаров*, т. 4, с. 70—71). Об образе Калеба Бальдерстона и тургеневском сравнении Наркиза с этим героем см. заметку М. П. Алексеева (*Т сб*, вып. 1, с. 256—257).

С т р. 40—42. *...к другим помещикам не питал особенного уважения ∽ его раскольником считали.*— Тургенев отмечает вольнодумство как типичную черту «человека XVIII века» (ср. образ Ивана Матвеича Колтовского в повести «Несчастная»).

С т р. 42. *Сонник, например ... это что ж за книга?*— Сонник — книга, содержащая толкование снов. Одним из наиболее распространенных сонников был «Древний и новый всегдашний гадательный оракул ⟨...⟩, найденный после смерти одного столшестилетнего старца Мартына Задеки ⟨...⟩ с присовокуплением Волшебного зеркала или толкования снов». 3-е изд. М., 1821. Эта книга упомянута Пушкиным в «Евгении Онегине» как «необходимая» в быту провинциальных помещиков. Осуждение толкования

снов, которое Наркиз считает предрассудком, характеризует его как вольнодумца, усвоившего — очевидно, из вторых рук — презрение Вольтера и энциклопедистов ко всякого рода суевериям.

Стр. 43. *Как бригадир,— повторил я с изумлением.*— Бригадир — высокий чин в русской армии XVIII века, средний между полковником и генерал-майором.

Стр. 45. *...да еще в екатерининские суровые времена!* — В годы царствования Екатерины II (1762—1796) Россия вела войны с Турцией, Польшей и Швецией.

Стр. 46. *...про нее Милонов-стихотворец сочинил? ᔕ Не бренным тления кумиром...* — Сочинения поэта-сентименталиста М. В. Милонова (1792—1821) были изданы в 1819 и 1849 гг. В этих изданиях приводимых Тургеневым стихов нет. Анализ рукописи повести доказывает, что стихотворение это представляет собой стилизацию самого Тургенева (см. выше характеристику творческой истории произведения). На полях чернового автографа (л. 20) непосредственно над данным стихотворением запись: «Милонов. Непреткновенно!» Очевидно, одно это характерное слово и было заимствовано Тургеневым из произведений Милонова и подало ему мысль приписать свою стилизацию именно этому поэту. Установить точно стихотворение Милонова, из которого оно заимствовано, не удалось. Множество стихотворений Милонова, посвященных отдельным лицам или написанных «на случай», было рассеяно по альбомам.

Стр. 47. *...насыпал себе на соколок табаку...*— Соколок — выемка кисти руки у большого пальца, между двумя сухожилиями.

Стр. 49. *Лежит заяц под кустом ᔕ Косой обманул!!* — Шуточная охотничья песня, которая, видимо, бытовала в Орловской губернии. В пору работы Тургенева над «Записками охотника», к которой, возможно, относится первоначальный замысел «Бригадира», песня эта была опубликована в ведомостях двух смежных с Орловской губерний (см.: Воронежские губернские ведомости, 1851, № 35, с. 288 и Курские губернские ведомости, 1851, № 45, с. 457).

Стр. 50. *«Се-не-па... оль-де-пердри»...*— Говоря о своей обстановке: «Это не птичий глаз», Гуськов имеет в виду дорогую мебель, которую изготовляли из ценного кленового дерева с «наплывами», своеобразными вкраплениями в древесине.

...офицерский георгиевский крест ᔕ за штурм Праги в 1794-м году...— Прага — предместье Варшавы, отделенное от города Вислой. Взятие русскими войсками Праги — последнего укрепленного района, в котором сосредоточились силы поляков,— решило исход войны. Штурм Праги, предпринятый 4 ноября 1794 г. Суворовым, носил ожесточенный характер. Воинскую «биографию» Гуськова Тургенев составил, дополнив факты военной карьеры реального прототипа этого героя — П. Н. Козлова чертами из жизни генерала И. В. Аргамакова, женатого на тетке В. П. Тургеневой, и генерала А. П. Ермолова. Оба они были награждены за штурм Праги (см.: Чернов Н. М. Из разысканий о Тургеневе.— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 214—215).

Стр. 51. *...Черниговского Дерфельдена полка...*— При Екатерине II и Павле I армейские полки, помимо территориального названия, носили имена своих шефов. Дерфельден Вильгельм Христофорович (1735—1819), генерал-аншеф, сподвижник Суворова, командовал Тверским карабинерным полком. В его честь был назван

эскадрон лейб-гвардии Конного полка (см.: Русский биографический словарь, т. «Деболов — Дьячковский». СПб., 1905).

...с мушками на висках и подбородке... — Расположению «мушек» — кусочков черной тафты или бархата, которыми в конце XVIII века было модно украшать лицо, придавалось смысловое значение. Положение мушки на лице воспринималось как символ характера, чувств и умонастроения дамы. Мушка у края глаза близ виска означала страстность, а на подбородке, под нижней губой, скромность (см.: Guigard Joannis. Boites à quatre sols. Paris, 1866, p. 27).

Александра Васильича-то? ∽ помню, маленький был, живой старичок. — В жизнеописании Суворова, вышедшем незадолго до работы Тургенева над рассказом «Бригадир», о поведении Суворова во время войны в Польше читаем: «Суворов не старелся. Ему было тогда 64 года, но, как живой и бодрый юноша, он изумлял своей неутомимостью» (Русские люди. Жизнеописание соотечественников. СПб., М.: Изд. Вольфа, 1866. Т. 1, с. 251).

В Варшаву-то на казачьей лошади въехал; сам весь в бралиантах... — После боя за Прагу и овладения ею Суворов въехал в сдавшуюся Варшаву во главе русских войск. Он ехал «на казацкой лошади в виц-мундире, без орденов, кроме георгиевской звезды...» (там же, с. 258). На следующий день Суворов «в полном мундире, украшенном бриллиантовыми эполетами и бриллиантовою петлицею на шляпе, во всех орденах своих, при шпаге, осыпанной бриллиантами, сопровождаемый своими генералами и чиновниками русского посольства, отправился посетить короля Станислава» (там же, с. 258). Таким образом, в воспоминаниях Гуськова слились два события, свидетелем которых он был.

«Нету у меня часов, в Питере забыл, нету, нету!» — Гуськов вспоминает один из многочисленных рассказов об остроумных, ставших крылатыми выражениями и передававшихся из уст в уста в армии, ответах Суворова. Суворов никогда не носил часов. В Польшу он отправился из действующей армии, через Брест, не заезжая в Петербург.

...а они-то: «Виват! виват!» — Милость Суворова, проявившего после взятия Праги готовность гарантировать безопасность жителей Варшавы, была неожиданна и произвела огромное впечатление на варшавян. Суворов отпускал, разоружив, многих пленных. Так, например, на просьбу короля Станислава об освобождении одного пленного офицера он ответил освобождением пятисот польских офицеров и солдат.

Стр. 54. *...с английским милордом Гузе-Гузом на шпантонах дрался...* — Шпантон (эспантон) — длинная тяжелая шпага. Гузе-Гуз — искажение какой-то английской или другой иностранной фамилии. В таком произношении представляет собою каламбур — дважды повторенное английское название птицы «гусь» (goose). Рассказывая устами Наркиза о бое своего героя — бригадира Гуськова с англичанином по фамилии «Гусь», Тургенев вводил юмористический пассаж в стиле Гоголя. Смешение сурового трагизма с юмористическим началом (в частности, в фамилии главного героя) заметил и не одобрил П. Мериме (см.: *Mérimée*, II, 8, p. 169).

«Вот где проявился Вертер!» — Вертер — герой романа Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), романтический юноша, готовый на любые жертвы во имя своей любви; кончил жизнь само-

убийством, когда оказался перед необходимостью расстаться со своей возлюбленной.

С т р. 55. *Странное имя для «Шарлотты» — Аграфена!*— Шарлотта (Лотта) — героиня романа Гёте «Страдания юного Вертера», предмет пламенного поклонения романтического возлюбленного.

С т р. 57—60. *«Милостивая государыня! ∽ Василий Гуськов, бригадир и кавалер».*— Письмо, включенное в рассказ «Бригадир», представляет собой художественно обработанный подлинный документ, хранившийся в архиве В. П. Тургеневой — матери писателя (см. выше, с. 435).

В письме Тургенева к Н. А. Кишинскому от 3(15) апреля 1867 г. есть описание этого документа: «Это письмо, написанное старинным почерком на большом листе серо-синей бумаги». Здесь же дается указание на время, когда оно писалось: «...письмо это было написано к моей матери в 19 или 20 году одним отставным бригадиром, который рассказывал свою связь с лутовиновским семейством и просил приюта». Копируя подлинное письмо прототипа героя своего рассказа, Тургенев первоначально опустил все содержавшиеся в нем даты, затем, переписывая письмо после литературной его обработки, проставил дату 1815 год в качестве года смерти Агриппины Ивановны и первого обращения бригадира к ее племяннице Раисе Павловне. Таким образом, писатель сознательно несколько сдвинул события, «приблизив» их к XVIII веку, эпохе, к которой отнес военную карьеру Гуськова. Н. М. Чернов отметил, что использованное Тургеневым письмо не могло быть написано ранее 1823 года. А. И. Шеншина умерла в мае 1820 г. В марте 1823 года Козлов (прототип Гуськова) послал апелляцию в сенат, в это время и началось упоминаемое в письме рассмотрение дела в сенате (см.: Ч е р н о в Н. М. Еще одна Салтычиха.— Неделя, 1968, № 35, 25 августа, с. 23).

С т р. 58. *...моим же добром себя угобзила.*— Угобзить — обогатить; от слов: «гобза» — кошелек, «гобина» — деньги, обилие.

НЕСЧАСТНАЯ

(с. 61)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф. 111 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 85; описание см.: *Mazon*, p. 75; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 317.

Беловой автограф. 185 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 76; фотокопия.— *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 330.

Рус Вестн, 1869, № 1, с. 37—112.
Т, *Соч*, *1869*, ч. 6, с. 279—371.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 6, с. 279—369.
Т, *Соч*, *1880*, т. 8, с. 147—239.
Т, *ПСС*, *1883*, т. 8, с. 150—255.

Впервые опубликовано: *Рус Вестн*, 1869, № 1, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 86, строка 12: «а то и побольше» вместо «а то побольше» (по беловому автографу и *Рус Вестн*).

Стр. 86, строки 37—38: «эту шаль и этот плащ, занесенные снегом» вместо «эту шаль и этот плащ, занесенный снегом» (по беловому автографу).

Стр. 101, строки 5—6: «не нуждается ни в этом прощении, ни в том названии» вместо «не нуждается в этом прощении, ни в том названии» (по беловому автографу).

Стр. 126, строка 21: «Х...х... ха...» вместо: «Ха... ха... ха...» (по всем другим источникам).

Стр. 126, строки 30—31: «словно стаковались» вместо «словно столковались» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 130, строки 29—30: «траурных шляпах на сморщенных лицах» вместо «траурных шляпах на сморщенных глазах» (по черновому и беловому автографам).

В конце чернового автографа (с. 107 тургеневской нумерации) имеется помета, сделанная Тургеневым по завершении основной работы над этой рукописью: «Баден-Баден. Thiergartenstraße 3; середа 9-го сентября/28 августа 1868 $3^1/_2$ часа пополуночи». Эта запись была позже перенесена на обложку рукописи, где помещены данные о времени начала работы и о публикации произведения: «Начат весною 1868-го года. Кончен в середу 9-го сентября/28 августа 1868-го г. Баден-Баден. Тиргартенштрассе 3 (напечатан в 1 №-ре „Русского вестника“ за 1869 г.)». Видимо, уже в начале 1868 года писатель составил те подробные планы и списки действующих лиц повести, которые сохранились в его парижском архиве (по аналогии с другими подобными списками мы будем в дальнейшем называть их «Формулярным списком действующих лиц» — ср. название таких характеристик героев повести «Степной король Лир»). 12(24) февраля 1868 г. Тургенев сообщал М. Н. Каткову, что к весне закончит повесть, что готов прочесть ее редактору «Русского вестника» и поместить в его журнале в конце 1868 — начале 1869 г. Работа над повестью в значительной степени протекала летом 1868 года, во время пребывания писателя в Спасском. В письмах к Полине Виардо Тургенев говорил об обступивших его на родине впечатлениях и воспоминаниях. 14(26) июня писатель сообщал: «Я увидел себя совсем еще маленьким мальчиком ⟨...⟩ Затем возникли воспоминания о молодом студенте...», а 16(28) июня, рассказывая Полине Виардо об увиденном и услышанном, добавлял: «Я беспрепятственно давал себе пропитываться всем этим odeur locale; это может пригодиться».

28 августа (9 сентября) повесть была окончена, а 15(27) сентября уже и переписана (см. письмо Тургенева к Я. П. Полонскому от 15(27) сентября 1868 г.).

Первоначальному плану произведения предшествовало заглавие: «Рассказ». Более точно определить на этом этапе заглавие произведения писатель еще не пытался. Прежде всего Тургенев указывает в плане год, когда происходит действие,— 1835, причем колеблется между 1834, 1835 и 1836 годами. Затем, отмечая конспективно основные обстоятельства и события, которые должны были составить сюжетный костяк «рассказа» (дружба с Фустовым, знакомство с Ратчами, прошлое семьи Ратчей, клевета Виктора, «исповедь» Сусанны, ее гибель и поминки), обращает особое внимание на даты этих событий.

Первая половина плана посвящена главным образом разработке хронологии событий будущего произведения. Писатель отмечает даты рождения, смерти и возраст даже второстепенных действующих лиц. Так, например, возраст детей Ратча от второго брака не только указывается, но устанавливается путем уточнений и переделок; даются: дата приезда Ратча в Россию, с указанием возраста его в то время («въехал в Россию 22 лет — 1802»), и дата его второго брака, дата не только смерти, но и рождения Ивана Матвеича и Семена Матвеича Колтовских и т. д. Писатель производит как бы перекрестное сличение данных, ставя рядом события, происходящие в одно время и помечая возраст участников этих событий. При этом он уточняет время каждого эпизода будущего повествования. Против слов: «она его полюбила — шла к нему на свидание — и нашла подставленного по милости Ратча отца» приписано: «(июль 1827)».

Разделение первоначального плана на две части, первая из которых содержит хронологический костяк событий, а вторая — основной сюжет произведения, особенно наглядно потому, что в обеих частях плана автор пишет об одних и тех же событиях. Так, о знакомстве Петра Гавриловича с Фустовым писатель говорит в самом начале плана («Мне 18, товарищу — Андрей Давыдовичу Фустову 24») и затем — снова после перечисления всех действующих лиц и характеристики их взаимоотношений: «Я жил в одном доме с Фустовым. Знакомство». Дважды говорится также о знакомстве с Ратчем и его семьей и т. д. При этом во второй половине плана содержится конкретизация обозначенных выше ситуаций (ср.: «Мое знакомство с семейством Ратч. Иван Демьянович Ратч — учитель»... и т. д. и ниже: «Я у него ⟨Фустова⟩ вижу в первый раз Ратча, который давал урок его брату и зашел трубочку покурить»).

Построение повести, ее сюжет, характер взаимоотношений действующих лиц уже в первоначальном плане весьма близки к тому, как они осуществились затем в повести. Однако имеются и отличия, подчас существенные. Так, например, в первоначальном плане, намечая тему враждебности семьи Ратчей к Сусанне и точно обозначая родителей героини (дочь первой жены Ратча и «богатого барина Ивана Матвеича Колтовского»), автор ничего не говорит об еврейском происхождении Сусанны. Несмотря на то, что и здесь сразу говорится об экзотическом внешнем облике Сусанны, писатель как бы подчеркивает русское происхождение героини, характеризуя ее мать: «Она была русская, дочь почтмейстера, вроде бывшего Мценского, звали ее Прасковьей Дмитриевной». В формулярном списке действующих лиц Тургенев снова указывает: «родилась от И. М. К⟨олтовского⟩ и Пар⟨асковьи⟩». Менее существенны такие расхождения плана с текстом повести, как пение вместо игры на фортепьяно при втором посещении Ратчей, признание Фустова Петру Гавриловичу о клевете Виктора (до посещения трактира), визит Петра Гавриловича к Ратчам после отъезда Фустова (в тексте повести рассказчик так и «не решается» на это посещение), устная исповедь Сусанны (вместо чтения тетради), получение известия о смерти Сусанны через Виктора (а не Фустова) и т. д.

Составляя план, писатель не сразу находил имена некоторых героев. Фустов носил сначала фамилию «Образцов». Замена фамилии героя определялась, очевидно, стремлением автора избегнуть слишком откровенной характеристики героя через его имя (ср. в окончательном тексте: «пользовался репутацией образцового родственника»). Главной героине писатель дал сначала имя «Магдалина»,

но тут же, не продолжив фразы, заменил его на «Сусанна»; при этом он, по-видимому, исходил из того, что ассоциации, которые вызывает имя «Магдалина», противоречат образу целомудренной, безупречно чистой, отвергающей все соблазны девушки. Но оба имени, которыми писатель мыслил назвать свою героиню, выделяли ее из среды и могли вызвать замечание рассказчика, вошедшее в окончательный текст повести: «Вот, и имя ее тоже не под стать другим» (с. 70). В формулярном списке он один раз снова называет свою героиню «Магдалина».

Вторая жена Ратча фигурирует в плане с иным, чем в окончательном тексте, отчеством: «Элеонора Карловна». Это отчество (вместо «Карповна») сохраняется и в формулярном списке действующих лиц, и в черновой рукописи. Лишь в беловой рукописи Тургенев заменил отчество «Карловна» на «Карповна», подчеркнув таким образом степень ее обрусения.

В плане повести Тургенев, как обычно в подобных случаях, указывает прототипы некоторых персонажей. Характеристики героев зачастую сопровождаются замечаниями: «дочь почтмейстера, вроде бывшего Мценского» (о матери Сусанны), «вроде молодого сына Погодина» (о Викторе). Составив предварительный план рассказа, писатель приступил к разработке характеристик героев. Характеристика Фустова находится на нижней части страницы, содержащей план. Она написана более мелко и тесно, чем остальной текст, писатель как бы стремился уместить запись на небольшой, случайно оставшейся свободной части листа. Помимо этого на полях, рядом с характеристикой Ратча, есть запись, представляющая собою своеобразный план формулярного списка «Р. Э. В. С. Ф.» — Ратч, Элеонора, Виктор, Сусанна, Фустов. Все характеристики расположены в формулярном списке именно в этом порядке, за исключением характеристики Фустова, которую Тургенев вписал впереди Ратча, возможно, потому, что по плану повести Фустов появляется в ней раньше других героев.

Характеристика Ратча обращает на себя внимание прежде всего тем, что на полях ее текста Тургеневым нарисован профиль персонажа, выполненный в манере, обычной для него как участника «игры в портреты», которая была принята в доме Виардо. Рисунок профиля Ратча в формулярном списке передает ту особую способность Тургенева в мгновенных и точных зарисовках пером выражать характер вымышленного, но чрезвычайно реального и типичного лица, которая поражала Л. Пича, наблюдавшего «игру в портреты» (см.: Pietsch Ludwig. Wie ich Schriftsteller geworden bin. Erinnerungen aus den sechziger Jahren. Berlin, 1894. Bd. II, S. 322—324). Сочетание зарисовки профиля пером и подробной социально-психологической характеристики человека в данном случае столь близко к подобным же рисункам и подписям, сделанным Тургеневым во время «игры в портреты» (см.: *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 455—571), что может рассматриваться как дополнительный сильный аргумент в пользу предположения, что игра в портреты явилась для писателя своеобразной тренировкой в составлении характеристик героев (Дубовиков А. Н. Еще об «игре в портреты».— Там же, с. 447—453).

В формулярном списке героев Тургенев уже не уделяет сколько-нибудь постоянного внимания хронологии. Лишь в некоторых случаях он уточняет или вводит указание на дату события, если такое указание не было сделано в первоначальном плане. Описание внеш-

ности, краткая история героя, а главное перечисление наиболее существенных черт его характера составляет содержание характеристики. При этом писатель выражает подчас более открыто свое отношение к поступкам и характеру героя, чем в окончательном тексте. Так, в формулярном списке Тургенев прямо заявляет, что Фустов «в сущности ничем не увлекается, хотя многим интересуется», что он «в высший свет ездил мало, так [как] там ему скучно было, и он удобнее забавлялся в среднем и низшем кругу». Мысль об эгоизме Фустова, его холодности, ставшая затем подтекстом изложения, выражена таким образом откровенно в плане. Прямое, эмоциональное выражение авторского отношения к герою имеет место и в характеристике Ратча («Скверный, на все гадости способный, хитрый, наглый человек») и в характеристике Виктора («Выражение сладковато-изможденное и наглое ⟨. . .⟩ Надут, трус, подлец, завистлив и прислужиться готов...»).

Некоторые поступки героев в характеристиках формулярного списка более определенно мотивируются, чем в окончательном тексте повести. Об отношении Колтовского к Сусанне Тургенев пишет здесь: «Иван Матвеич хоть не мог решиться гласно признать ее (оттого и мать ее замуж выдал), но заботился об ее воспитании, сам читал с ней ф⟨ранцузски⟩е книги (sa jeune lectrice) ⟨. . .⟩ Умер внезапно, не оставив никакого завещания, хотя всё готовился написать».

Искреннее сожаление мачехи о смерти Сусанны и ее простодушные сетования, которые резко обрывает Ратч, могли бы мотивироваться следующей записью плана: «...свежее существо, неглупое, но приниженное и покорное ⟨. . .⟩ Говорлива, Ратч ее перебивает...». Однако отношение автора к этой героине в процессе осуществления замысла изменяется. Сохраняя большинство деталей, намеченных в формулярном списке, писатель совершенно отказывается от сочувственного и даже эпически-объективного ее изображения и дает ее образ в повести в беспощадно сатирической манере.

В формулярном списке героев вносятся некоторые новые сюжетные ходы (например, планы Семена Матвеича Колтовского относительно Сусанны, его попытки понравиться ей и инстинктивное отвращение к нему Сусанны). Здесь же Тургенев дает дополнительные отсылки к прототипам, отдельные черты или общее впечатление от которых учитывались им при создании того или другого образа. «Студент вроде Гуллерта или сына Погодина» (Виктор); «Иван Матвеич Колтовской вроде старика Бакунина — «L'aiqle se plaît dans les régions austères — помнил Версаль»... (речь здесь идет, очевидно, об Александре Михайловиче Бакунине (1768—1854), отце друзей молодости Тургенева, в частности Михаила Бакунина, владельце села Премухина Тверской губернии, где вместе с другими членами кружка Белинского бывал Тургенев); «вроде Дм. Ник.» (о Михаиле Колтовском); «вроде детей Петра Никитиевича» — о детях Ратча от второго брака.

Подробно разработанный план и характеристики действующих лиц послужили прочной основой текста повести. В черновом автографе — на первом этапе написания повести — Тургенев твердо следует руководящей нити плана и формулярных списков. Правка в черновом автографе имеет по преимуществу стилистический характер. Вместе с тем многочисленные вставки на полях чернового автографа свидетельствуют о том, как разрастался замысел, как на общую схему плана нанизывались новые характерные подробности, новые эпизоды. Внося, например, в текст фразу, данную уже в фор-

мулярном списке: «Он ⟨Фустов⟩ жил у своей матери, довольно богатой женщины», Тургенев приписывает на полях дополнения: «архитекторской вдовы и статской советницы». Как дополнение на полях появились строки о характере дружеских отношений Петра Гавриловича с Фустовым (с. 64): «Я не удивлялся Фустову ∽ до своей особы». Эта фраза окончательного текста заменила слова: «Деятельность его, помнится, [особенно] возбуждала мое изумление: он вечно [что-нибудь делал] над чем-нибудь трудился, не торопливо и не шумно, но [как-то особенно] ловко и споро». Путем вставок на полях и переработки текста рассказчик был от восхищения деятельностью Фустова «приведен» к утверждению, что «удивляться в нем было нечему». Формула плана: «Я ему завидую, хотя чувствую свое превосходство над ним», очевидно, должна была найти свое воплощение здесь же. За первоначальной фразой о деятельности Фустова, приводящей рассказчика в «изумление», следовало: «В моих глазах Фустов был самым счастливым человеком на свете. К тому же он был, как говорится, удивительным „родственником“». Тут же на полях Тургенев записывает: «Жизнь текла по маслу». Запись эта затем обрабатывается и вносится в текст. Из текста устраняется постепенно всё, что могло сгладить впечатление о заурядности Фустова. Только в конце повести, проведя героев сквозь серьезные жизненные испытания и раскрыв их характеры через их поступки, писатель возвращается к пункту плана: «Я ему завидую, хотя чувствую свое превосходство». Сознание своего превосходства над Фустовым здесь появляется у рассказчика не стихийно, а вследствие сознательной оценки личности своего друга, слабости его характера. Вслед за описанием посещения Петра Гавриловича Сусанной Тургенев предполагал даже особенно подчеркнуть, что Фустов не мог вызвать зависти в своем младшем товарище. Вписанный на полях текст: «Я не скоро опомнился ∽ искренность этой скорби, этой страсти меня поразила» (см. с. 91) первоначально оканчивался следующими строками: «Мне в голову не пришло позавидовать Фустову, [мне было бы] как это — увы! — слишком часто случается с молодыми людьми. Напротив, я бы ни за что не хотел бы [быть] очутиться на его месте, не желал бы быть тем человеком, который *это сделал!* „Он меня убил“, — шептал я с невольным ужасом, с тоской». Писатель вычеркнул этот отрывок, но затем развил тему критического осмысления личности Фустова Петром Гавриловичем (см. с. 123—124). В ряде случаев на полях рукописи возникали лирические отступления,— слова героев, в которых звучит авторский голос. Таковы, в частности, слова Сусанны: «Так, бывало, в детстве ∽ убегает до капли» (с. 118) (окончательная доработка была произведена при переписывании, в беловой рукописи), слова Петра Гавриловича о поздно приходящем к человеку умении отнестись к слабости другого с «пониманием естественности, почти неизбежности вины» (с. 124), характерное замечание: «Одно лишь женское сожаление не идет сверху вниз» (с. 124), рассказ о крестьянке, оплакивавшей свою скоропостижно умершую дочь (с. 129—130).

Многие вставки чернового автографа вызваны разработкой образа матери Сусанны, раскрытием ее взаимоотношений с Иваном Матвеичем Колтовским. В формулярном списке «Несчастной» на полях есть обведенная рамкой помета: «Флигель. Портрет». Разработка этих эпизодов (жизнь Сусанны с матерью в особом флигеле, отведенном Ратчу, и описание портрета, созерцание которого раскрывает Сусанне трагическую судьбу ее матери) способствовала

тому, что самый образ Колтовского предстал в более суровом, беспощадном свете. На полях страницы черновой рукописи, рядом с заглавием «Моя история» повторена помета формулярного списка: «NB. Флигель. Красивый портрет». На этой же странице возникает тема еврейского происхождения Сусанны: «Со мной вместе живет мать моя, еврейка»,— над этими словами Тургенев надписывает: «дочь умершего живописца, вывезенного из-за границы». Возможно, что замысел характеризовать путь, пройденный матерью Сусанны, через описание ее портрета в юности подсказал Тургеневу мысль сделать ее дочерью живописца.

Развивая мотив еврейского происхождения Сусанны, писатель вставил фразы, в которых ее судьба сравнивается с судьбой Ревекки — героини романа Вальтера Скотта «Айвенго» (см. с. 109). Большие вставки на полях чернового автографа были сделаны в эпизоде первой встречи Петра Гавриловича с Ратчем у Фустова, и здесь, как и в других местах рукописи, дополнения, вносимые в текст, были разработкой намеченного в плане. Так, например, слова Ратча: «Дело! Дело! ∽ завернул к вам пока, отогреться» (с. 65) развивали «мотивировку» появления Ратча у Фустова, содержащуюся в плане («давал урок его брату и зашел трубочку покурить»).

Некоторые детали плана были в процессе работы над текстом повести уточнены. В плане, например, о Михаиле Колтовском сначала было сказано: «полков⟨ник⟩ гвардии», затем исправлено: «ротм⟨истр⟩ гвардии». В черновом автографе чин Колтовского не обозначен — для него оставлено место. И лишь при переписывании текста, в беловом автографе, окончательно определился чин героя.

Некоторые пункты плана вошли в произведение только как элемент сюжета, не получив сколько-нибудь обстоятельной разработки. «Страшная сцена между сыном и отцом» лишь упоминается в тексте повести, а пункт плана: «Сусанна грозит самоубийством» нашел отражение в описании минутной слабости героини, которая после объяснения с Семеном Матвеичем Колтовским приняла решение покончить с собой, но тут же отказалась от него. Совсем не находят своего осуществления такие важные детали плана, как отъезд Михаила Колтовского в действующую армию на Кавказ и гибель его «в экспедиции» (в тексте повести сказано глухо: «известие о смерти гвардии ротмистра Михаила Колтовского... Исключен из списков» — с. 118). Таким образом, не только первоначальный план, но и корректирующие его дополнения-характеристики героев кое в каких деталях расходятся с текстом повести. Однако в целом работа над повестью в черновой рукописи характеризуется плавностью перехода от первоначальных замыслов, отраженных в планах и характеристиках, к полному и развернутому их осуществлению. Резких переломов, принципиальных поворотов в концепции произведения на этом этапе не происходило.

Наиболее значительная переделка в черновой рукописи — изменение окончания повести. Закончив работу, поставив свою подпись и дату, Тургенев снова вернулся к черновому автографу и приписал внизу страницы, а затем и на обороте листа большую вставку, которой в окончательной редакции соответствует текст: «Я начал размышлять ∽ уста мои невольно шепчут: „Несчастная! несчастная"» (с. 137). Можно предположить, что эта вставка была сделана после первых чтений повести — может быть, после чтения Полине Виардо или в ее семье. Она представляет собой попытку объяснить смысл изображенной ситуации, дать дополнительную мотивировку

поведения героини. Писатель как бы ведет беседу и спор с возможными оппонентами и стремится противопоставить свое понимание повести неверным толкованиям.

Попытки прокомментировать свои повести в своеобразном эпилоге характерны для Тургенева. Дискуссией о рассказанном Тургенев окончил французский вариант «Первой любви». Подобный конец первоначально предполагался и в повести «Степной король Лир». В отличие от тех случаев, когда Тургенев, написав такие концовки, отказывался от них при окончательной обработке произведения [1], в повести «Несчастная» эпилог-объяснение был «канонизирован». Возможно, что решительное осуждение Полиной Виардо этой, «слишком мрачной», повести побудило Тургенева ввести умиротворяющие слова в свое заключительное «резюме»: «Кто знает: быть может ∽ ее душа уже радовалась тому, что ушла сама к нему, к своему Мишелю?» (с. 137). Это дополнение вносило некий новый оттенок в концепцию окончания повести. Не меняя общего безнадежно-скорбного ее тона, писатель смягчил его за счет лирического отступления о силе любви, способной победить даже смерть.

После доработки окончания повести Тургенев переписал ее набело, дополнительно исправляя стиль. В беловом автографе он несколько сокращает описания, стремясь, видимо, устранить элементы, которые в тексте черновика представляли собой продолжение работы над характеристиками формулярного списка и были нужны скорее автору для полного уяснения своего героя, чем читателю. Так, после слов: «было его девизом» (см. с. 65) Тургенев вычеркнул: «и здоровье его процветало. Я ни у кого не видывал таких белых и блестящих зубов, такой крепкой и гладкой кожи». После: «а я промолчал» (с. 66) зачеркнуто: «Неприятное впечатление производил на меня этот многошумный господин Ратч, со своим заигрываньем, хлопаньем по ляжкам, со своим медным смехом, во время которого белые глаза его как-то странно и беспокойно бегали из стороны в сторону».

Наряду с этим писатель стремился к внесению новых реалий, характерных для эпохи, среды и места действия. Уже в черновом автографе, говоря об исполнении Сусанной сонаты Бетховена, Тургенев оставил место для ее названия, которое, он, очевидно, тогда еще не определил. В беловом автографе писатель прибавляет еще один опознавательный признак, желая совершенно точно указать вещь, исполняемую Сусанной,— «opus...». Правда, и условное обозначение сонаты («Ф-мольная») и номер опуса были им указаны позже, а в беловом автографе для них лишь оставлено место.

В беловой рукописи обогащается речевая характеристика ряда героев, и прежде всего Ратча.

Дальнейшей разработке подвергается вопрос о происхождении и социальном самочувствии Сусанны. Здесь впервые появляются слова героини: «О, бедное, бедное мое племя ∽ проклятие лежит на тебе!» (с. 90). После восклицания матери Сусанны, умоляющей дочь молчать о том, что Колтовской ее отец: «...слышишь, Сусанна, слышишь — ни слова!» (с. 92), Тургенев вычеркнул затемняющие ситуацию слова: «Всё это неправда». Тургенев задумался над фразой, объяснявшей причину согласия матери Сусанны на брак с Ратчем. Первоначальная аргументация: «Я не смела осуждать ее. Она долж-

---

[1] См.: Кийко Е. И. Окончание повести «Первая любовь».— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 59—68, а также наст. изд., т. 6, с. 483.

на была повиноваться. Ее, вероятно, выгнали бы из дому, если б она вздумала сопротивляться» — была им отброшена как слишком однолинейная, не передающая всей сложности положения бедной женщины в доме Колтовского. Точно так же была вычеркнута фраза, следовавшая за словами: «которых я никогда не ела» (с. 92): «Ни минуты не сомневаюсь в том, что он немедленно удалил бы меня с глаз долой, если бы стал подозревать, что я знаю, кто я».

В беловую рукопись были внесены дополнения, характеризующие культуру и круг умственных интересов Ивана Колтовского. Уже в черновом автографе Тургенев в перечисление авторов, которых Колтовской заставлял читать себе вслух, вписал энциклопедистов, а в беловой рукописи добавил Гельвеция (с. 92). Здесь же появляются слова Колтовского, раскрывающие его отношение к читаемым книгам и к окружающим людям — в первую очередь к Сусанне и ее матери. Обстоятельной обработке подверглась речь, которую Колтовской произносит перед крестьянами (см. с. 98). Колоритный спор о секте теофилантропов между Колтовским и французским эмигрантом, жившим в его доме, тоже вписан в беловой автограф на этом этапе работы, причем впоследствии он был расширен и в журнальном тексте появился с такими существенными дополнениями, как, например, искажение французом имени своего благодетеля (на полях беловой рукописи содержится запись: «Kolontoîskoi», говорящая о том, что это дополнение обдумывалось при работе над беловым автографом). Чрезвычайно важным штрихом, внесенным в беловой автограф, является эпизод, изображающий скоропостижную смерть Колтовского и содержащий последние его слова — старинную русскую пословицу, неожиданную в устах галломана.

Особенно большое внимание Тургенев уделил характеристике Семена Матвеича Колтовского. Тургенев вписал существенные эпизоды, характеризующие его как врага просветительского материализма «вольнодумцев» XVIII века, ненавистника вольтерьянского, «якобинского духа», крепостника и мракобеса. Исправления, сделанные в беловой рукописи, усиливают противопоставление Семена Матвеевича Колтовского его брату, человеку XVIII века, и раскрывают желание Семена Колтовского подражать в своем быту нравам царей — Александра I и Николая I (желание иметь «своего Аракчеева», которому при его «бескорыстии и усердии» может быть придано нужное «направление», демонстративное подчеркивание своего уважения к церкви, религиозности, способность быстро увлекаться женщинами и намерение иметь фаворитку и т. д.).

В рукопись были внесены и некоторые подробности, более обстоятельно раскрывавшие интригу, которую сплел Семен Колтовской при помощи Ратча вокруг Сусанны. Однако не это дополнение, а политическая характеристика Семена Колтовского, ставшая особенно определенной на этом этапе работы, освещала трагическую судьбу героини светом беспощадного социального обличения.

Раскрывая перед читателем все социальные обстоятельства, погубившие Сусанну, Тургенев вместе с тем уничтожал в беловой рукописи некоторые натуралистические подробности. Так, например, вычеркнуто было описание лица Сусанны в гробу, следовавшее за словами: «на старых-старых образах» (с. 125): «глаза ввалились, губы прилипли к обнажившимся зубам, подбородок ушел в шею».

Переписав повесть, Тургенев снова приступил к ее чтению в кругу друзей и близких знакомых. Прежде чем отослать рукопись П. В. Анненкову, своему постоянному советчику и рецензенту, он

1 (13) октября 1868 г. читал повесть в Баден-Бадене у Милютиных, после чего, выслушав замечания друзей, приступил к новой ее переработке. Писатель утверждал, что намерен внести значительные изменения и что повесть «раньше 10 дней не будет готова» (см. письмо Тургенева к Н. Н. Рашет от 2 (14) октября 1868 г.). 20 октября (1 ноября) 1868 г. Тургенев сообщал М. А. Милютиной, что переписывает заново повесть, многое переделывает, что убрал одно действующее лицо — «драчуна Цилиндрова». Этого последнего писатель «выкинул» по совету К. Д. Кавелина как «лишнее лицо», то есть изъял путем простого вычеркивания эпизодов, относящихся к этому персонажу, а в некоторых необходимых случаях внес вместо зачеркнутых текстов новые связующие отрывки.

Вычеркнутые эпизоды, довольно значительные по объему, расположены в конце повести — в главах XVIII, XX—XXII [2], которые в беловом автографе до переделок представляли собой законченную редакцию [3].

Изъятие и переработка этих мест в корне изменили не только сюжетную сторону эпилога, но и его тональность в целом и даже, отчасти, авторскую концепцию окончания повести. Вычеркнув эти эпизоды и заменив их иным текстом, Тургенев создал новую редакцию конца повести, в которой осталась лишь одна глухая реминисценция, связанная с образом Цилиндрова: «Мой бедный Мишель скончался с моим именем на устах... Мне это сообщил один преданный ему человек, который вместе с ним приезжал в деревню» (с. 118). Этот «преданный человек» — Цилиндров — в первоначальной редакции [4] был подлинным героем конца повести. Разночинец, бедняк, верный в дружбе и решительно действующий, он противопоставляет «практическому смыслу» Фустова, уверенного в том, что смерть Сусанны надо оставить без последствий, готовность привести в исполнение «заслуженное наказание» Ратча. Писатель не без иронии относится к способу, которым «мужественный» Цилиндров осуществляет свою «аннибаловскую клятву» отомстить губителям несчастной девушки. Однако с этим героем, о котором прямо говорится: «Энтузиаст он был, человек, как говорится, „фатальный“, но малый хороший» — вносился существенный мотив в развязку повести. В тексте окончания содержался даже явный намек на то, что если бы Цилиндров не был вынужден уехать служить в Сибирь, он защитил бы Сусанну.

Образ Меркула Цилиндрова ассоциировался в сознании Тургенева с совершенно определенным типом людей 1830-х — начала 1840-х годов. Именно Цилиндрову Тургенев приписал первоначально подлинные стихи Н. Станкевича на смерть затравленной пошлым обществом девушки, и Цилиндрова он сравнивал с поэтом Красовым, участником кружка Белинского. «Сверх того Цилиндров был поэт ⟨...⟩ и декламировал свои стихи, чуть не захлебываясь и за-

---

[2] В окончательном тексте соответственно главы XXIV, XXVI—XXVIII.

[3] Первую редакцию (гл. XXIII—XXVIII) см. в отд. «Приложения» наст. тома.

[4] Первая редакция конца повести по беловому автографу опубликована с пропусками и некоторыми неточностями в статье: B a c k è s J.-L. Une nouvelle de Turgenev: «L'infortunée».— Revue des études slaves. Paris, 1964. T. 42, № 1—4, p. 54—57.

мирая — ни дать ни взять покойный писатель Красов»,— писал Тургенев в беловом автографе первой редакции (с. 406).

Образ Цилиндрова — энтузиаста, у которого убеждение перерастает в действие, своеобразного Дон-Кихота, несомненно, стоит в связи с размышлениями Тургенева о разночинцах шестидесятых годов — людях действия, готовых разрубать неразрешимые узлы противоречий современной жизни, и о судьбах подобных характеров в сороковые годы. Изъятие этого образа, не понятого или не принятого друзьями писателя, придало еще более мрачный, безнадежный характер развязке повести. Скандал, учиненный Цилиндровым, мстившим за Сусанну единственно возможным в данных условиях, хотя и диким, способом, был заменен в новой концовке разнузданной и бессмысленной пьяной дракой.

Закончив переделки, связанные с изъятием образа Цилиндрова, Тургенев вторично переписал повесть, произведя в ней «еще много изменений», и отослал эту не дошедшую до нас рукопись П. В. Анненкову вместе с письмом от 3 (15) ноября 1868 г. При этом Тургенев просил Анненкова обсудить «Несчастную» с друзьями, сообщить свое мнение и передать повесть в журнал — «Русский вестник», если Катков не изменил своего намерения печатать ее, или в «Вестник Европы». Тут же он обращался через Анненкова к Н. Х. Кетчеру, прося, чтобы последний «продержал корректуру», «так как в „Несчастной“ попадается множество немецких и французских фраз». 16 (28) декабря 1868 г. Тургенев обращается с этой просьбой непосредственно к Кетчеру и сразу поручает ему вставить в текст повести эпизод спора Колтовского с французским эмигрантом. Это пожелание Тургенева было выполнено, и в «Русском вестнике» повесть появилась с указанными Кетчеру исправлениями, за исключением одного небольшого пропуска: фраза, имевшая в письме следующий вид: «La Reveillière-Lépeaux était un brigand, un bonnet rouge!» («Ла Ревельер Лепо был разбойник, красный колпак» — франц.), в *Рус Вестн* гласила: «La Reveillière Lépeaux était un bonnet rouge!» («Ла Ревельер Лепо был красный колпак!» — см.: *Рус Вестн*, 1869, № 1, с. 73). Кетчер внес также в корректуру повести ряд мелких исправлений Тургенева, который писал ему 2 (14) января 1869 г.:

«В главе X-й, в самом начале, где стоит: — „отправился один в дом к г-ну Ратчу, *в этот самый дом, столь мне противный*“ — выкинь подчеркнутые слова.

В главе VIII-й — при описании наружности молодого Ратча — стоит: „но и в самой этой приятности было что-то противное“ — вместо: „противное“ — поставь: „нехорошее“, а дальше, где стоит: „зубы у него оказались *нехорошие*“ — поставь: „дурные“.

В главе XIV-й, в последнем прощании Сусанны,— перед словами: „О бедное, бедное мое племя!“ — выкинь: „Мне кажется, я вас вижу в последний раз“.

В главе XV-й, где Сусанна говорит о том, что Иван Матвеич стал слабеть и стареться, во фразе: — „только прибавился оттенок рыцарской вежливости *и уважения — не ко мне собственно, а к так называемой представительнице прекрасного пола, уже начинавшей выходить из девического возраста*“ — непременно выкинь всё подчеркнутое».

Указывая Кетчеру расположение мест, подлежащих изменению, Тургенев пользуется в данном письме нумерацией глав чернового и белового автографов, в окончательном тексте изменившейся (VIII глава стала X-й, X—XII-й, XIV—XVI-й, XV—XVII-й).

Кетчер исполнил пожелания автора (см. варианты беловсго автографа в изд.: *Т, ПСС и П, Сочинения*, т. X).

Чрезвычайно довольный работой Кетчера, Тургенев благодарил его 16(28) февраля 1869 г. «за образцовую корректуру „Несчастной“»: «ни одной почти опечатки».

Тургенев сомневался в успехе своей повести, которая не была одобрена Полиной Виардо и самому ему казалась «мрачнейшей», «непроницаемо черной» (см. его письма к Н. Н. Рашет от 20 сентября (2 октября) и М. Гартману от 29 сентября (11 октября) 1868 г.). Выражая удовлетворение тем, что повесть понравилась Анненкову (см. письма к нему Тургенева от 16(28) ноября 1868 г. и 24 декабря 1868 г./5 января 1869 г.), он вместе с тем пытался узнать мнение о ней И. П. Борисова, А. А. Фета, М. А. Милютиной, Н. Х. Кетчера, В. П. Боткина, Тютчевых и других знакомых. Отзывы, доходившие до него из России, то ободряли писателя («О повести моей, вычищенной и переделанной — доходят до сведения моего из Петербурга благоприятные известия»,— пишет он М. А. Милютиной 19, 21 ноября ст. ст. 1868 г.), то тревожили его («В России она понравилась мало»,— сообщал он В. П. Боткину 4(16) марта 1869 г.).

Особенно затронул писателя развернутый критический отзыв в письме к нему Я. П. Полонского. По его совету Тургенев внес в текст несколько мелких изменений. «Из трех твоих упреков — первый показал мне, что я ошибочно вместо слова: „подоконник“ употребил „оконницу“ и напрасно поставил однажды: „под окном“. Это уже исправлено»,— писал он Полонскому 27 февраля (11 марта) 1869 г. Исправления эти были сделаны в тексте собрания сочинений 1869 г. Следующие два замечания своего корреспондента Тургенев отвел. Он заявил, что пожелание об изменении языка героини в ее дневнике невыполнимо. Отстаивая необходимость эпизодов, которые Полонский предлагал сократить, а также настаивая на точности и правдивости описаний, Тургенев раскрывал автобиографическую основу ситуаций повести и связь ее проблематики со своими впечатлениями 1840-х — начала 1850-х годов. «Эта девушка *действительно* сидела на *окне* у меня в комнате московского дома и *действительно* царапала ногтем льдинки. Всё окно было невелико и *глубоко* — как обыкновенно бывает в старых домах — и я мог без натяжки употребить слово: гнездышко ⟨. . .⟩ Всё описание „пира“ ⟨. . .⟩ мне кажется необходимым. Я на поминках Грановского (тому уж давно, как видишь) дал себе слово заклеймить этот гнусный, безобразный обычай». Таким образом, по свидетельству самого Тургенева, сюжет повести отразил разнообразные воспоминания и впечатления молодости автора.

Л. Пич вспоминал, что, написав сцену посещения Сусанны и ее размышлений у окна комнаты Петра Гавриловича, Тургенев впал в тяжелое, подавленное состояние и на вопрос: «Что случилось?» — отвечал, имея в виду свою героиню: «Ах, она должна была отравиться! Ее тело выставлено в открытом гробу в церкви и, как это у нас принято в России, каждый родственник должен целовать мертвую. Я раз присутствовал при таком прощании, а сегодня я должен был описать это, и вот у меня весь день испорчен» [5].

[5] См.: Пич Л. Воспоминания.— В кн.: Иностранная критика о Тургеневе. СПб. Изд. 2-е, 1908, с. 84—85.

Воспоминания молодости Тургенева, очевидно, были дополнены и отчасти возбуждены рассказом Фета о пережитой им трагедии — гибели любившей его и покинутой им девушки Марии Лазич. Обстоятельства смерти Лазич давали основание предполагать, что она покончила самоубийством. Мотивы повести «Несчастная» перекликаются с реальными коллизиями жизни Фета, а герои ее некоторыми своими чертами близки к характерам молодого Фета и его возлюбленной (см.: Лотман Л. М. Тургенев и Фет.— В кн.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 43—45). Сообщая Фету о предстоящей публикации повести «Несчастная», Тургенев стремился предупредить нежелательные ассоциации своего корреспондента. Если в письмах к Полонскому и Борисову от 16(28) ноября 1868 г. он подчеркивал реальную основу произведения, то в письме к Фету от 13(25) января 1869 г. утверждал, что повесть написана «горячо и безо всякой задней мысли». Одним из реальных событий, нашедших отражение в повести, было самоубийство дочери музыканта Эмилии Гебель, погибшей в июне 1833 г. Трагическая история Э. Гебель получила широкую огласку среди студентов Московского университета. Участники кружка Станкевича обвиняли в смерти девушки студента Я. Почеку. Н. В. Станкевич горячо отстаивал непричастность Почеки к гибели Эмилии. В письме к Я. М. Неверову от 14(26) сентября 1833 г. он рассказывал об обстоятельствах жизни, смерти и даже похорон Эмилии (см.: *Станкевич, Переписка*, с. 245—248). Это письмо Станкевича было опубликовано П. В. Анненковым в его книге: Николай Владимирович Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857. Переписка, с. 47—50. Тургенев был в курсе работы Анненкова над этой книгой. Летом 1856 г. он, очевидно, в качестве подсобного материала для Анненкова, писавшего биографию Н. В. Станкевича, составил мемуарную заметку о Станкевиче (см. наст. изд., т. 5). В письме Станкевича к Я. Неверову, помимо ряда подробностей трагического происшествия 1833 г., содержалось и сравнение Эмилии с Миньоной — героиней романа Гёте «Годы учения Вильгельма Майстера» («Это новая Миньона») — и утверждение, что Эмилия «мнимая дочь» Гебеля, что судьба этой девушки таинственна. Эта поэтическая интерпретация Станкевичем истории Э. Гебель, очевидно, произвела на Тургенева известное впечатление. Вместе с тем он не ставил, конечно, перед собой цель точно воспроизвести все черты именно этого происшествия и характеры его участников.

Повесть Тургенева, рисовавшая случай более чем тридцатилетней давности, поднимала вопросы, которые хотя и ставились впервые в кружках передовой молодежи и в литературе 1830—1840-х годов, но не утратили своего живого значения и в 1860-х годах. Изображая ситуации, привлекавшие писателей натуральной школы, Тургенев во многом опирался на опыт Достоевского. Он создавал свой вариант истории сироты, с детства брошенной в чуждое и враждебное окружение, ставшей центром сложных, не всегда до конца ясных ей конфликтов — сюжета, разработанного Достоевским в «Неточке Незвановой» и в «Униженных и оскорбленных». Многие эпизоды повести о переживаниях девушки, душевно надломленной социальной несправедливостью, напоминают обычные для Достоевского ситуации (ребенок из артистической семьи, раннее сиротство; мать, страдающее, безответное существо; «случайное семейство» и двусмысленное положение незаконнорожденного ре-

бенка в обществе; преследования жестокого и всесильного интригана-барина; скандал во время званого обеда и т. д.).

Достоевский принадлежал к числу писателей, за творчеством которых Тургенев особенно внимательно следил. Пропагандируя русскую литературу, он, по свидетельству Эдуарда Рода, говорил западным писателям, глубоко чтившим его: «Я — ничто, но если бы вы читали Толстого, Гоголя, Достоевского» (*Рус Вестн*, 1893, № 8, с. 208). В 1866 г. Тургенев читал «Преступление и наказание» и находил, что начало произведения, его «первая часть 〈...〉 замечательна», но что патологичность явлений, на которых сосредоточено внимание автора, отрицательно отзывается на романе (см. письма Тургенева к А. А. Фету и П. В. Анненкову от 25 марта (6 апреля) 1866 г.). По мнению Тургенева, и его собственная повесть — «Несчастная» отличалась тем же: «слишком много в ней патологии» (см. письма к Л. Фридлендеру от 10(22) июля и 21 июля (2 августа) 1869 г.). Именно в болезненности, во внимании к патологическим явлениям общественной физиологии зачастую обвиняли литературу натуральной школы, и в частности молодого Достоевского, в 1840-х и начале 1850-х годов XIX века [6].

Полемика, развернувшаяся вокруг романа «Дым» в 1867—1868 гг., повлияла на восприятие и критическую оценку повести «Несчастная». Появлению ее предшествовал слух, что она — произведение полемическое — и направлена против славянофилов. Тургенев счел необходимым протестовать против такого упрощения мысли своей повести. Узнав, что слух о его выступлении против славянофилов в новой повести нашел отражение в библиографическом обзоре «С.-Петербургских ведомостей» (1868, № 291, 24 октября/5 ноября), Тургенев просил 16(28) ноября 1868 г. Анненкова опровергнуть это сообщение в следующих номерах газеты. Опровержения толков о полемичности повести «Несчастная» содержались и в письме к И. П. Борисову от того же числа: «Не знаю, с какой стати распространился слух, будто я в этой повести нападаю на славянофилов; ничего подобного в ней нет». Однако содержавшееся в повести сатирическое изображение носителей идей казенного патриотизма задевало наиболее консервативно настроенных сторонников славянофильской доктрины. Создавая образ лжепатриота — крупного петербургского бюрократа Семена Матвеича Колтовского и «исполнителя» его «предначертаний» — авантюриста Ратча, который сыплет тирадами в духе официальной народности, Тургенев выражал мысль, близкую к той, которая была сжато сформулирована Герценом, писавшим в «Былом и думах»: «Для того, чтоб отрезаться от Европы, от просвещения, от революции, пугавшей его с 14 декабря, Николай, со своей стороны, поднял хоругвь *православия, самодержавия и народности*, отделанную на манер прусского штандарта и поддерживаемую чем ни попало — дикими романами Загоскина, дикой иконописью, дикой архитектурой, Уваровым, преследованием униат и „Рукой всевышнего отечество спасла“. Встреча московских славянофилов

---

[6] См.: М... З... К... 〈Ю. Самарин〉. О мнениях «Современника», исторических и литературных (*Москв*, 1847, ч. II, с. 187—205), а также статьи А. Григорьева: «Русская литература в 1851 году» (*Москв*, 1852, кн. 1, № 3, отд. V, с. 67) и «Русская изящная литература в 1852 году» (*Москв*, 1853, кн. 1, № 1, отд. V, с. 11—12).

с петербургским славянофильством Николая была для них большим несчастием» (*Герцен*, т. 9, с. 137).

Активизация Тургенева как сторонника либерально-западнической доктрины в 1860-х годах заставляла читателей особенно чутко относиться к каждому прямому выражению его политической мысли. Отсюда — обостренный интерес части читателей и критиков к антиславянофильским намекам в повести «Несчастная» и литературные слухи о полемической направленности этого произведения.

Мнения тонких и авторитетных ценителей творчества Тургенева, одобривших повесть «Несчастная», не нашли своего отражения в журнальных и газетных откликах на это произведение. Газета «Голос» предсказывала полный неуспех повести, содержание которой представлялось ее рецензенту сцеплением случайностей, не связанных с основными условиями крепостного права. «... Тургенев отшатнулся от России, и Россия отшатнулась от Тургенева»,— злорадно торжествовал рецензент газеты «Голос» (1869, № 50, 19 февраля).

Н. Н. Страхов видел в повести «Несчастная» те же черты, которые отталкивали его от других рассказов писателя, относящихся к 1860-м годам,— преувеличение «грязных» антипоэтических сторон русской жизни, хотя и констатировал мастерское выполнение Тургеневым отдельных фигур повести: Колтовского, Фустова, Ратча, Виктора (Последние произведения Тургенева.— Заря, 1871, № 2. Критика, с. 29). В переписке Достоевского и Страхова мелькают отрицательные суждения о повести «Несчастная»: одна «из самых несовременных» вещей Тургенева, написанных «сентиментально-романтическим» стилем (Н. Н. Страхов); «такая ничтожность, что не приведи господи» (*Достоевский*, *Письма*, т. II, с. 169, 447). Тургенев, очевидно, не ожидал иной реакции на свое произведение со стороны Страхова. Задолго до публикации «Несчастной» в письме к Я. П. Полонскому от 13(25) января 1868 г. он констатировал свое недоверие к Страхову как литературному критику: «...авторитету Страхова я — виноват! не верю — и не потому, что он меня бранит, а потому, что он славянофил — а эти господа, быть может, в политике орлы, но в эстетике — тупцы № 1».

Впоследствии повесть «Несчастная» привлекла внимание писателей, которые находили в этом произведении материал для размышлений и оценивали его как характерное явление определенного этапа деятельности Тургенева. В. Я. Брюсов в письме к Н. Я. Брюсовой от 9—10 августа 1896 г., разбирая повесть «Несчастная», утверждал, что «мелочность и пошлость Фустова охарактеризована очень выразительно». Он отмечал, что сила Сусанны «в противодействии, в способности не покориться; это пассивная, неактивная сила ⟨...⟩ она изо всех испытаний вынесла свою душу — светлой и чистой. Она не героиня — она несчастная; в этом мораль и смысл повести» (см.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 185). Обратил внимание на повесть «Несчастная» и Ин. Анненский, который указал на то, что в ней отразилась определившаяся в творчестве Тургенева в 1860-х годах тяга к разработке трагедийных психологических мотивов, и сблизил ее в этом плане с повестью «Клара Милич» (А н н е н с к и й Ин. Белый экстаз.— В кн.: А н н е н с к и й И. Ф. Книга отражений. М., 1979, с. 141).

Опасаясь за то, как будет воспринята его новая повесть русской публикой, Тургенев еще менее рассчитывал на ее успех у западного читателя. 29 сентября (11 октября) 1868 г. он прямо пишет Морицу Гартману, что не рискнет предложить ее вниманию европейской публики. 31 марта 1869 г. Мериме сообщал г-же Делессер свои впечатления от повести «Несчастная», передавая также своей корреспондентке мнение Тургенева о невозможности ее перевода: «Он прислал мне еще не переведенный рассказ, который, как он утверждает, не должен быть переведен. Рассказ называется „Несчастная“. Нет ничего более ужасного по правдивости. Я его побранил за выбор подобной темы ⟨. . .⟩ За исключением некоторого излишества в подробностях, этот рассказ кажется мне превосходным, но его не следует читать к ночи» (*Mérimée*, II, 8, p. 443). К голосу Мериме, высоко оценившего повесть, присоединились положительные отзывы других крупнейших французских писателей. Так, Мопассан, чрезвычайно высоко ценивший повесть «Несчастная», относил ее к числу шедевров Тургенева [7], а Г. Флобер писал Ж. Санд в мае 1873 г. о повести «Несчастная» и ее авторе: «Я нахожу эту вещь просто возвышенной. „Скиф“ — настоящий колосс» [8].

К тому времени, когда Мериме, ознакомившись с присланной ему рукописью, писал об отказе Тургенева от перевода «Несчастной», намерения Тургенева изменились. До него стали доходить благоприятные отзывы о его повести, и писатель утвердился в мысли о возможности и желательности ее перевода и публикации за границей. 19 ноября (1 декабря) 1868 г. он писал и М. Гартману и Л. Пичу, что «Несчастная», несмотря на всю свою мрачность, будет переведена.

Французский перевод повести был опубликован в «Le Temps» (7—23 августа 1872 г.) и затем в сборнике произведений Тургенева: «Etranges histoires», Paris, 1873, под заглавием «L'abandonnée» («Покинутая»). 1-е и 2-е изд.—1873, 3-е изд.—1874 г.

Перевод «Несчастной» на немецкий язык был осуществлен М. Петцольд в 1869 г. (вышел отдельной книжкой: «Die Unglückliche». Aus dem Russischen übersetzt von M. v. Petzold. Berlin, Janke, 1869; (повторение издания в 1875 г.), 2-е изд.—1877; 3-е—1879; 4-е — 1881 и т. д. Повесть «Несчастная» вошла также во II том авторизованного немецкого издания сочинений («Eine Unglückliche. Das Abenteur des Lieutenants Yergunow. Ein Briefswechsel. Assia. Vier Novellen von Iw. Turgenjew». Autorisierte Ausgabe. Mitau, 1869, Bd. 2), а затем появилась в издательстве Ph. Reclam («Eine Unglückliche». Aus dem Russichen übersetzt von Wilhelm Lange. Leipzig, 1873).

Английский перевод повести был напечатан в 1868 г. («The Unhappy only». By Tourguéneff. London, 1868), а шведский — в 1872 г. («Susanna Ivanowna». Iv. Turguenief. Från Ryskam Öfversatt af. Stokholm. Перевод этот был осуществлен Альмквистом (см.: Шарыпкин Д. М. Русская литература в Скандинавских странах. Л., 1975, с. 106).

---

[7] См.: Мопассан Ги де. Полн. собр. соч. М., 1958. Т. 11, с. 70.

[8] Флобер Г. Собр. соч. М.; Л.: Гослитиздат, 1938. Т. 8, с. 407.

С т р. 62. *Я с ранних лет пристрастился к шахматам...*— Черта автобиографическая. Тургенев в течение многих лет увлекался шахматной игрой. В 1870 г. он участвовал в Международном шахматном конгрессе в Баден-Бадене и был избран его вице-президентом (см.: К о г а н М. С. Шахматы в жизни русских писателей. Пушкин, Тургенев, Толстой, Чернышевский. М.; Л., 1933, с. 23—35; Р о м а н о в И. Мастер благородного цеха.— Шахматы в СССР, 1963, № 9).

... вы дебютов не знаете. Вам надо книжку почитать, Аллгайера или Петрова.— Разработка дебютов — начала шахматной партии — занимает значительное место в теории шахматной игры. В учебнике Иоганна Алльгайера «Neue theoretisch-praktische Anweisung zum Schachspiel», Wien, 1834 («Новое теоретическое и практическое руководство по шахматной игре»), теория дебютов развита в III разделе; у А. Петрова в книге «Шахматная игра, приведенная в систематический порядок с присовокуплением игор Филидора и примечаний на оные». СПб., тип. Греча, 1824, кн. I—II, она в кн. II, ч. III—IV.

В Спасском, в библиотеке Тургенева, хранится книга Алльгайера (7-е изд., 1841). Пометы Тургенева на ее полях свидетельствуют о том, что он изучал приведенные в ней партии.

С т р. 66. *... я чех, и родина моя — древняя Прага!* — Отвечая на вопрос о национальности Ратча Ю. Шмидту, Тургенев писал 3(15) декабря 1869 г.: «Что касается Ратча в „Несчастной“, то он ведь уже по одному имени чех, и, кроме того, он сам это говорит. То, что какой-то русский называет его „немецкой собакой“ или „треклятой немчурой“, ровно ничего не доказывает: простые люди в России обзывают так всякого иностранца, к какой бы нации он ни принадлежал. Но в следующем издании я постараюсь резче выдвинуть чешское происхождение Ратча, как Вам это желательно». Однако никаких дополнительных указаний на чешское происхождение Ратча Тургенев в последующих изданиях в текст повести не внес. Ссылка на народную этимологию («немец» — всякий иностранец, говорящий на непонятном языке) в данном случае была не убедительна, так как не только рыбный торговец, но и главный герой повести Фустов выражал мысль о немецком происхождении Ратча (см. с. 67). Теряя самообладание, Ратч начинает говорить с немецким акцентом (см. с. 126). Все эти детали не были уничтожены при переиздании повести. В плане повести национальность Ратча охарактеризована: «Богемец (католик) родом», т. е. чех. В формулярном списке: «родился в Праге от довольно зажиточных родителей». Возможно, что немецкие черты Ратча являлись дополнительным штрихом, указывающим на его готовность приспосабливаться. Ратч — чех, приспособившийся сначала к онемечиванию, а затем готовый служить любому новому хозяину. В лице этого персонажа Тургенев вывел собирательный тип авантюриста — дельца, перебравшегося в Россию с целью наживы. Некоторые стороны биографии и характера Ратча напоминают Греча и Булгарина (например, упоминание о том, что он «В 1812 году ⟨...⟩ шпионил, получил какое-то вознаграждение» (см. формулярный список на с. 391—392 и ср. текст на с. 67).

С т р. 67. *От немки трое...*— Уже в первоначальном плане и формулярном списке действующих лиц Тургенев определенно фиксирует тот факт, что от второго брака у Ратча четверо детей. В характеристике Элеоноры, например: «Четверо ее детей»; в пла-

не — слова Ратча об именах детей: «Коля — 8, Оля — 7, Сашка — 4 и Машка — 2» (с. 390). В черновом и беловом автографах и в окончательном тексте всюду, за исключением данного места, фигурируют четверо детей Ратча от второго брака. Это противоречие не исправлено, однако, ни в одном прижизненном издании.

Стр. 69. *Я надворная советница* ∽ *где же бы я могла получить дворянский титул?* — По законам того времени получение чина коллежского асессора (VIII класса табели о рангах) давало права потомственного дворянства; Ратч имел чин надворного советника — VII класса, т. е. был уже потомственным дворянином, вместе с женой и детьми. Дворянство, получаемое по чину, сообщалось браком жене и детям.

Сумбека-царица.— Жена последнего казанского царя Сафа-Гирея (по летописи и историческим источникам Сююнбике), один из главных персонажей эпической поэмы М. М. Хераскова «Россиада», которую Тургенев хорошо знал с детства. Образ Сумбеки произвел большое впечатление на читателей и вызвал ряд подражаний: см., например, трагедию С. Н. Глинки «Сумбека, или Падение Казанского царства», которая шла в Петербурге и Москве в начале XIX в.

... где-то у Шекспира говорится о «белом голубе в стае черных воронов»...— «Ромео и Джульетта» Шекспира, акт I, сцена 5. Увидев Джульетту на балу в доме Капулетти, Ромео говорит о ней:

Голубь таков белоснежный средь стаи ворон,
Как она, эта дева, в толпе этих дев, этих жен...

(Перевод Ап. Григорьева, 1864).

Стр. 70. *... села близ окна, «как Татьяна»...*— Намек на следующие строки III главы романа «Евгений Онегин»:

... Скажи, которая Татьяна?
— Да та, которая грустна
И молчалива, как Светлана,
Вошла и села у окна.

... пушкинский «Онегин» был тогда у каждого из нас в свежей памяти.— «Евгений Онегин» впервые вышел отдельным изданием в 1833 г.

Насладим ушеса честной компании! — В беловой рукописи Тургенев специально подчеркивал неправильность этого выражения Ратча и объяснял природу ошибки своего героя: После слова: «компании» было: «Г-н Ратч воображал, что „ушеса“ такое же славянское слово, как и „очеса“».

... вырывались выражения, подобные тем, которыми испещрены все ультранародные стихотворения князя Вяземского: «дока для всего», вместо «на все», «здесь нам не обиход», «глядит в угоду, не напоказ».— В стихотворениях П. А. Вяземского, занимавшего в литературной борьбе, начиная с 1840-х годов, реакционную позицию и выступавшего против западничества и натуральной школы, Тургенев усматривал черты официальной народности и стилистические признаки ложновеличавой, псевдопатриотической литературы. В 1862 г. вышло собрание стихотворений Вяземского «В дороге и дома», подводившее итог его поэтической деятельности. Отсюда и цитирует Тургенев: «здесь нам не обиход» — из «Масленицы на чужой стороне» (у Вяземского — «Не место здесь тебе, не обиход»), «глядит в угоду, не напоказ» — из стихотворения

«Немецкая природа» (у Вяземского — «Туристам записным в угоду, не напоказ глядит она») (см:. В дороге и дома. Собрание стихотворений князя П. А. Вяземского. М., 1862, с. 109 и 143). Сравнение характерного для Вяземского словоупотребления с псевдорусским стилем речи Ратча содержалось уже в формулярном списке героев. Тургенев, обычно уничтожавший в тексте своих художественных произведений прямые выражения своих литературных симпатий и антипатий, в данном случае нашел нужным сохранить полемический выпад против Вяземского.

Стр. 72. *... от Ленгольда ноты...*— К. П. Ленгольд издавал ноты в Москве, с 1799 г. по 1822 г. с Г. Н. Рейнсдорпом, с 1830 г.— единолично.

Попурри из «Роберта-Дьявола» ∽ ... из той новой оперы, о которой теперь все так кричат.— Популярность оперы Д. Мейербера «Роберт-Дьявол» побудила многих издателей выпускать попурри на ее темы, переложения для фортепьяно и т. д. Впервые в России эта опера была поставлена в 1834 г. на сцене Большого театра в Петербурге (см.: Гозенпуд А. Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Очерк. Л.: Музгиз, 1959, с. 736, а также: *Вольф*, *Хроника*, ч. II, с. 37 и след.).

Стр. 74. *Я принялся перелистывать последний № «Телескопа».*— «Телескоп» — двухнедельный журнал, издававшийся в 1831—1836 годах Н. И. Надеждиным. Журнал этот пользовался популярностью в среде прогрессивно настроенной молодежи. В 1835—1836 годах в «Телескопе» постоянно печатал свои статьи и рецензии Белинский.

Стр. 75. *Виктор принялся говорить ∽ о новом профессоре Р. ∽ Каждую лекцию с переклички начинает, а еще либералом считается!* — Виктор — студент Московского университета, очевидно юридического факультета («Мы были оба студентами, но находились на разных факультетах» — с. 75; «...я только что перешел со второго на третий курс „словесного" факультета ∽ в Московском университете» — с. 61). *Новый профессор Р.*— скорее всего П. Г. Редкин (1808—1891), занимавший должность профессора на юридическом факультете Московского университета с 1835 г. и читавший энциклопедию законов. Гегельянец, человек близкий к кружку Грановского и Герцена, Редкин увлекал молодежь красноречивым изложением либеральных, антикрепостнических идей, защитой политической свободы (см.: Ашевский С. Из истории Московского университета.— Мир божий, 1905, № 5, с. 132, а также: Семенов Д. П. Г. Редкин.— *Рус Ст*, 1891, № 8, с. 313, 326). «Помню только, что лекции Редкина о разных формах правления, о значении и формах конституционного устройства были и живы, и любопытны, и либеральны. Этим последним качеством (либерализмом) отличались, впрочем, все его лекции, и это-то особенно располагало нас в его пользу»,— вспоминал А. Н. Афанасьев (*Рус Ст*, 1886, № 8, с. 366). Лекции Редкина зачастую сопровождались аплодисментами (см.: Полонский Я. П. Мои студенческие воспоминания.— Нива. Ежемесячное литературное приложение, 1898, XII, с. 652). То обстоятельство, что Виктор Ратч пропускает лекции Редкина, является тонким и выразительным штрихом, характеризующим его как человека, чуждого самым благородным увлечениям университетской молодежи. «Строгий формалист» «в жизни», по отзыву того же Афанасьева, Редкин был беспощаден к ленивым и неспособным студен-

там (ср.: Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва сороковых годов. М., 1929, с. 37).

Тургенев не сразу решился означить правильной начальной буквой фамилию профессора, пользовавшегося широкой известностью в то время, когда писалась повесть. В черновом и беловом автографах его имя было обозначено буквой «М».

Стр. 75—76. *Дает мне пять синеньких в месяц...*— Синенькая — ассигнация достоинством в 5 рублей.

Стр. 78. ... *мусикийским орудием...*— музыкальным инструментом (мусикия — старинная форма слова «музыка»).

Стр. 79. ... *знаменитая Ф-мольная соната, opus 57.*— Соната Бетховена «Аппассионата» (1804).

Стр. 80. ... *и все они перед покойным Фильдом — тьфу! Нуль, зеро!! Das war ein Kerl! Und ein so reines Spiel!* — Джон Фильд — преподаватель музыки в Петербурге и Москве, пианист-виртуоз и композитор. Умер в 1837 г.: вкладывая в уста Ратча в 1835 году слова о Фильде как о «покойном», Тургенев допускает анахронизм.

Стр. 83. ... *собрались идти в театр смотреть Щепкина в «Горе от ума».*— «Горе от ума» впервые было поставлено 27 ноября 1831 г. в Москве в Малом театре. М. С. Щепкин играл Фамусова.

Мы много хлопали Фамусову, Скалозубу.— Роль Скалозуба в первых спектаклях Малого театра с большим успехом исполнял П. В. Орлов.

Не помню, какой актер исполнял роль Чацкого ∽ как на нашем старом дворецком.— Роль Чацкого исполнял П. С. Мочалов и не имел успеха. Современная критика отмечала: «Г-н Мочалов, казалось, рожденный для роли Чацкого, выполнил ее очень неудовлетворительно. Он представлял не светского человека, отличного от других только своим взглядом на предметы, а чудака, мизантропа, который даже говорит иначе, нежели другие» (Московский телеграф, 1831, № 5, с. 130).

... *бал в третьем акте привел нас в восхищение ∽ публика заливалась смехом.*— Постановка бала у Фамусова в спектакле «Горе от ума» 1831 г., выдержанная в карикатурно-комедийном стиле, произвела большое впечатление на зрителей (см.: Филиппов В. А. Ранние постановки «Горя от ума».— *Лит Насл*, т. 47—48, с. 316).

Стр. 91. ...*пахнет амброй...* — О моде на употребление амбры в качестве ароматического и тонизирующего средства во Франции в XVIII в. см. наст. изд., т. 6, с. 419.

Стр. 92. *Я читала ему французские сочинения прошлого столетия, мемуары Сен-Симона, Мабли, Реналя, Гельвеция, переписку Вольтера, энциклопедистов...*— Речь идет о публицистических произведениях деятелей французского Просвещения — прогрессивных философов и литераторов XVIII в. *Сен-Симон* Луи де Рувруа— герцог (1675—1755); его мемуары за их антиабсолютистскую направленность были конфискованы при Людовике XV. *Мабли* Габриель Бонно (1709—1785) — утопический социалист XVIII века, критиковавший феодальные и буржуазно-собственнические отношения. *Реналь* Гийом (1713—1796) — историк, близкий к энциклопедистам; резко критиковал церковь и абсолютизм. Наиболее известное его произведение: «Философия и политическая история о заведениях и коммерции европейцев в обеих Индиях» (1770, 6 томов). *Гельвеций* Клод Адриан (1715—1771) — философ-материалист. Особенно значительны его труды «Об уме» (1758)

и «О человеке, его умственных способностях и его воспитании» (1773). Антиклерикализм и материализм произведений Гельвеция, выраженные в них освободительные идеи делали их ненавистными идеологам реакции. Трактат «Об уме» был сожжен рукою палача. *Вольтер* Франсуа Мари Аруэ (1694—1778) — крупнейший деятель Просвещения, поэт, философ, историк, публицист. Говоря о его переписке, Тургенев разумеет, возможно, «Lettres de M. de Voltaire à ses amis de Parnasse. Avec des notes historiques et critiques». Genève, MD CCLXI.

Энциклопедисты — передовые, либерально или революционно настроенные писатели, философы и ученые, объединившиеся в конце XVIII века вокруг издания «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел», предпринятого Д. Дидро. Участие в этом труде принимали: Вольтер, Гельвеций, Гольбах, Ж.-Ж. Руссо. Все перечисленные книги сохранились в родовой библиотеке Тургенева в Спасском-Лутовинове. См.: Богдановы Л. Я. и Б. В. Родной край в произведениях И. С. Тургенева. М.: Сов. писатель, 1959, с. 41.

Стр. 93. ... *помнил Марию Антуанету, получил приглашение к ней в Трианон...* — Мария Антуанетта (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI; после свержения монархии, в 1793 году, казнена по приговору Революционного трибунала. Безумная роскошь, которой она себя окружала, возбуждала удивление богатых и знатных путешественников и возмущение представителей третьего сословия французского общества. Трианон — павильон в парке загородного дворца французских королей в Версале.

... *видел и Мирабо* ∽ *«en dépit de sa naissance!»* — Мирабо Оноре Габриэль Рикетти (1749—1791), граф по происхождению, один из наиболее одаренных ораторов французской революции, противник абсолютизма. Еще в отрочестве Тургенев учился французскому языку по речам Мирабо. Внешний облик Мирабо также прочно вошел в его сознание. Он сравнивал с ним своих современников (см. письма к Н. В. Станкевичу от 15(27) апреля 1840 г. и Грановскому от 18(30) мая 1840 г.).

... *у герцогини Полиньяк.* — Герцогиня Полиньяк Иоланта Мартина Габриела Поластрон — старшая статс-дама Марии Антуанетты.

Digne de M. de Saint-Aulaire! — Сент-Олер Франсуа Жозеф (1643—1742) в шестьдесят лет стал писать стихи, пользовавшиеся большим успехом в аристократической среде. С 1706 г. член Французской академии. Был знаменит как устроитель великосветских празднеств и автор изящных экспромтов.

Стр. 94. *Дульетка* — душегрейка (от франц. douillet). *Супсон* — капелька, немножко (от франц. soupçon).

Стр. 95. ... *считал Штейбельта великим гением...* — Штейбельт Даниил (1769—1823) — немецкий пианист и весьма посредственный композитор.

Стр. 98. ... *«mon Antigone».* — Антигона — дочь царя Эдипа; после самоослепления Эдипа была его поводырем и опорой в изгнании (греческая мифология).

Стр. 98—99. *...c'est Montesquieu qui a dit cela dans ses «Lettres Persanes»?* — «Персидские письма» Шарля Монтескье (1689—1755) — один из лучших образцов сатирической антифеодальной литературы французского Просвещения XVIII века.

С т р. 99. *...les théophilantropes ont eu pourtant ∽ Leur fondateur, l'instigateur de cette secte, ce La Reveillère ∽ ils ont du bon!* — «Теофилантропия» — религиозно-этическое учение, возникшее во Франции в 1792—1793 годах. Теофилантропы противопоставляли идею «естественного религиозного чувства» человека рационалистическому культу верховного существа, введенному во Франции Робеспьером. Расцвет деятельности теофилантропов приходится на эпоху Директории, когда в Париже, в ряде церквей, происходили их религиозные церемонии и чтения. В 1801 г. деятельность теофилантропов была запрещена. Ла Ревельер-Лепо Луи Мария (1753—1824) — французский политический деятель, ученый и писатель. Как член Конвента голосовал за казнь Людовика XVI. Принципиальный республиканец и антироялист. Будучи последователем Руссо, Ла Ревельер-Лепо высказывался за создание новой религии и стал руководителем и теоретиком теофилантропов.

С т р. 102. ... *покойный фельдмаршал Каменский...* — Генерал-фельдмаршал граф М. Ф. Каменский (1738--1809); был убит в своем орловском имении крепостными.

С т р. 104. ... *надеялся получить Александровскую ленту — а ему дали табатерку* — Александровская лента — лента ордена Александра Невского, одного из высших русских орденов. *Табакерка* — ценный царский подарок, полуофициального характера.

С т р. 105. ... *«исполнитель» (любимое тогдашнее слово), «Аракчеев!»* — Аракчеев А. А. (1769—1834) — временщик Александра I; оказывал огромное влияние на все государственные дела, но постоянно декларировал свою личную преданность царю и свою готовность быть лишь «исполнителем» его воли; «исполнителем» называет себя один из персонажей повести Тургенева «Степной король Лир» — отставной армейский офицер «аракчеевской школы» Житков.

С т р. 106. *Я полюбила Мишеля...* — Имя «Мишель» имело для Тургенева, по его собственному признанию, особое значение. В пору, когда вопрос об официальном усыновлении им его побочной дочери Полины не был еще решен, Тургенев предполагал дать ей фамилию «Мишель» (см. письмо Тургенева Полине Виардо от 4(16) декабря 1850 г.). Имя «Мишель», очевидно, было связано у писателя с воспоминаниями о друге ранней юности Михаиле Фиглеве. Характеризуя Мишеля Фиглева, юный Тургенев утверждал, что его друг «весь создан для этой жизни» (наст. изд., т. 1, с. 403). Однако Михаил Фиглев умер в молодом возрасте.

... *играла сонату Вебера...* — Вебер Карл Мария Фридрих Эрнст (1786—1826) — немецкий композитор, романтик, автор многочисленных опер, фортепьянных и инструментальных произведений. Будучи пианистом-виртуозом, он создал концерт и шесть сонат, требующих от исполнителя высокой техники.

С т р. 109. ... *на широком кожаном диване во вкусе «империи»...* — Разумеется стиль ампир, получивший распространение во Франции при Наполеоне I. В архитектуре и прикладном искусстве, в частности в мебели, стиль этот характеризовался сочетанием строгих геометрических линий со скульптурой, барельефами и другими богатыми украшениями, характерными для позднеримского искусства.

Я стала расставлять шашки... — В данном случае речь идет о шахматных фигурах. Ср. пояснение слова «шахматы» в словаре

Даля: «Игра на шахматкой, шашечной доске, тавлее, шашками разного именованья и значенья, и самые шашки эти, от короля до пешки» (*Даль*, т. 4, с. 624).

Стр. 110. ... *я не Айвенго; я знаю, что не с леди Ровеной счастье».*—Герой романа Вальтера Скотта «Айвенго», молодой рыцарь, предпочел смелой и прекрасной еврейке Ревекке, самоотверженно любившей его, холодную и безличную знатную невесту Ровену.

Стр. 118. ... *и в руках его лист «Инвалида» и там известие о смерти гвардии ротмистра Михаила Колтовского... Исключен из списков.*— «Русский инвалид» — газета военного министерства (основана в 1813 г.); в ней печатались официальные известия и приказы по военному ведомству.

Стр. 119. ... *на моем ночном столике очутилось сочинение де Жерандо, развернутое на главе «О вреде страстей».*— Французский философ Мари Жозеф Дежерандо (1772—1842) ценился в России с начала XIX века до конца первой его трети как философ, моралист и педагог. Его труды, в частности работа «О моральном усовершенствовании, или О самовоспитании» (1824), служили в некоторых учебных заведениях одним из обязательных пособий при изучении философии. Книга эта находилась в библиотеке Тургенева. Ни одна из глав книги не носит названия «О вреде страстей», но во многих говорится о подчинении чувства рассудку.

Стр. 120. ... *для контенанса* (от франц. contenance — осанка, поведение, выдержка) — для вида, для соблюдения внешней выдержки.

Стр. 134. *«Мы живем среди полей!»* — Начальная строка хора цыган из оперы А. Н. Верстовского (либретто М. Н. Загоскина) «Пан Твардовский», впервые поставленной в Москве 24 мая 1828 г. в Большом театре. Эта песня напечатана отдельно в кн.: Драматический альманах для любителей и любительниц театра (СПб., 1828, с. 133—134) и стала очень популярной.

Стр. 136. *Но и над брошенной могилой...*— Тургенев приводит по памяти строфу из середины стихотворения Н. В. Станкевича «На могиле Эмилии», напечатанного в альманахе «Денница» на 1834 год. В подлиннике текст строфы, использованный Тургеневым, имеет следующий вид:

Но над печальною могилой
Не смолкнул голос клеветы,
Она терзает призрак милый
И жжет надгробные цветы.

(Станкевич Н. В. Стихотворения. Трагедия. Проза. М., 1890, с. 41).

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

(с. 138)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф. 69 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 78; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 220.

Беловой автограф. 22 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 78; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 338.

ВЕ, 1870, № 1, с. 66—85.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 8, с. 5—32.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 7, с. 5—30.
Т, *Соч*, *1880*, т. 8, с. 241—268.
Т, *ПСС*, *1883*, т. 8, с. 256—284.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1870, № 1, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 146, *строка 9:* «решительно ничто не могло» вместо «решительно ничего не могло» (по черновому и беловому автографам, *ВЕ* и *Т*, *Соч*, *1868—1871*).

Стр. 157, *строки 18—19:* «Остановить ее силой» вместо «Остановить ее самоё» (по черновому и беловому автографам).

На обложке чернового автографа стоят даты работы автора над рассказом: «Начат в Бадене около 15-го/3 июля. Кончен в Бадене, в Тиргартенштрассе 3, в четверг 29/17-го июля, в 3 часа пополудни». Та же дата окончания работы указана и в конце текста, рядом с подписью писателя.

Быстрота написания рассказа объясняется, по-видимому, тем, что он был задуман значительно раньше: «Странная история» была обещана издателю немецкого журнала «Салон» [1] еще в конце 1868 г. (см. письмо Тургенева Юлиусу Роденбергу от 26 декабря 1868 г. (7 января 1869 г.). 12(24) февраля 1869 г. Тургенев об этом же писал Л. Пичу: «...„Салону“ я (к сожалению!) обещал, правда, небольшую повестушку — inédite 〈...〉, но я не написал и *первого* слова. Когда это будет выполнено — ведает одно только небо!». Вынужденный перерыв в работе над повестью «Степной король Лир» [2] Тургенев использовал для осуществления замысла рассказа «Странная история». Черновая рукопись рассказа помещается в тетради непосредственно вслед за планом названной повести.

Окончив «Странную историю», Тургенев снова пересмотрел текст и внес в него некоторые принципиально важные вставки. Так, на листе 25 рукописи вписан разговор рассказчика с Софи Б., раскрывающий внутренние побуждения, по которым она действовала (в окончательном тексте с. 150, строка 1 и далее); на листе 38 сделана вставка о разрыве Софи с родными и бескорыстно-самоотверженном ее отношении к юродивому (см. с. 157). В конце текста, после завершения работы над рассказом, на полях сделана приписка о судьбе юродивого — своеобразный эпилог жизни Василия (с. 158).

Изучение многочисленных вставок на полях чернового автографа, на оборотах страниц, над строкой дают возможность представить себе, как развивался замысел писателя, углублялись образы произведения. Вся история Софи получила особую четкость и ясность благодаря вставкам и переделкам, которыми изобилует рукопись, отражающая основную работу над рассказом. В начале рассказа писатель включает в текст указание на то, что отец Софи — откупщик, а также иронические замечания о его

[1] Немецкий журнал «Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft».
[2] См. наст. том, с. 476—477.

ростовщической и откупщической деятельности. Эта вставка имела большое значение для объяснения поступка барышни, которая «спасается», «грехи заслуживает» (с. 154) — не свои, а своего отца. Новые штрихи были внесены в описание внешности Софи; писатель особо подчеркнул ее хрупкость, уязвимость. По мере обработки текста в него вводятся детали, говорящие о том, насколько Софи чужда окружающей ее среде и непонятна для провинциально-дворянского общества (в окончательном тексте с. 151—152); расширяется разговор с Софи на бале, во время которого девушка излагает свое credo (с. 149—150), а сравнение ее с другими девушками — революционерками, рвавшими со своим окружением ради того, что они считали «правдой и добром» (черновой вариант), дополняется многозначительным словом «впоследствии», за которым стоит мысль о том, что религиозные искания жаждущих деятельного добра душ характерны для эпохи, предшествовавшей широкому приобщению интеллигенции к революционным идеям. Как итог трагической судьбы героини звучат вписанные на полях листа 38 чернового автографа слова: «Она искала учителя жизни — и нашла его... в ком, боже мой!» (черновой вариант; ср. в окончательном тексте с. 158). Существенны такие, небольшие на первый взгляд, исправления, как, например, замена «незыблемые и неискоренимые мнения» на «незыблемые и неискоренимые убеждения» (с. 149).

Детальной обработке подвергся и образ юродивого Василия, причем усилия автора были направлены на то, чтобы показать источники его болезненной психики и раскрыть бесчеловечность стихийного и бессознательного властолюбия, которым он одержим. Именно в связи с этой задачей возникли разработка образа Мастридии и описание ее дома. Постепенно писатель наделяет ее и ухватками торговки, строящей свое благополучие на эксплуатации «богоданных» детей, и чертами сектантки, внушающей своим воспитанникам темные суеверия. В описании внешности Василия на передний план выдвигаются его болезненность и животная бессознательность. Так, возникло сравнение Василия с борзой, преследующей зайца (с. 146), и описание одичалой, оборванной фигуры юродивого (с. 155), с непомерно большой, «как пивной котел», головой (с. 153).

Немалое значение для раскрытия психологических мотивов и социальных причин изображенного происшествия имела и характеристика обстановки действия. Отсюда — тщательность работы над описаниями провинциального быта, трактиров, помещичьего бала и условий путешествия по уездным дорогам, заканчивающимися многозначительной фразой, которая предшествует появлению юродивого и сопровождающей его Софи: «Я ⟨...⟩ предался тем дорожным нерадостным думам, которые слишком знакомы русским людям» (ср. в окончательном тексте с. 152). Следует отметить, однако, что Тургенев, судя по его письму к А. М. Жемчужникову от 5(17) июня 1870 г., так и не был удовлетворен тем, насколько ему удалось разработать психологические мотивы поступков героев.

По окончании работы над текстом Тургенев переписал рассказ набело и сделал небольшие исправления. Дальнейшая судьба рассказа своеобразна. Отвечая на предложение редактора немецкого журнала «Салон» Юлиуса Роденберга, который просил писателя поддержать издание своим сотрудничеством, Тургенев

напечатал рассказ в «Салоне» в немецком переводе — прежде, чем в России в оригинале. 25 сентября (7 октября) 1869 г. он писал И. П. Борисову: «Написал маленький рассказ, который — Вы удивитесь! — появится (или уже появился) в немецком переводе в одной немецкой revue; оригинал будет напечатан в 1-м № „Вестника Европы". Штучка очень небольшая и зовется „Странная история". Надо Вам сказать, что я в глазах немцев — у какой писатель! — и столько же меня хвалят здесь, сколько ругают в России». Повесть впервые появилась в переводе на немецкий язык в журнале «Der Salon für Literatur, Kunst und Gesellschaft» в октябре 1869 г. (№ 10, Bd. V, S. 69—86) под заглавием «Eine wunderliche Geschichte».

Выступая в немецком журнале, Тургенев ощущал себя представителем родной литературы, знакомящим с русской жизнью и русскими людьми западного читателя. «Как могли Вы подумать, что я напишу рассказ на другом языке, кроме моего — русского»,— писал он 23 февраля (7 марта) 1869 г. Людвигу Пичу, а от редактора «Салона» потребовал, чтобы профессиональный переводчик перевел рассказ на немецкий язык. 25 июля (6 августа) 1869 г. Тургенев писал Ю. Роденбергу: «... посылаю Вам русскую рукопись моей повести, название которой „Странная история". Разрешите заметить следующее: *a*. Убедительно прошу прислать мне корректуру перевода — с тем, чтобы я мог ее прочесть до появления повести в „Salon". Листы я тотчас же верну. *b*. Будьте так добры вернуть мне русскую рукопись».

Тургенев провел большую и тщательную работу по усовершенствованию перевода, сделанного Л. Кайслером (корректура перевода рассказа была ему прислана 8(20) сентября 1869 г.). В Институте изучения классиков в Веймаре среди писем Тургенева Ю. Роденбергу хранятся корректурные листы «Странной истории» с обильной правкой Тургенева, которой он занимался 8(20) сентября 1869 г. Тургенев правил перевод Л. Кайслера, с одной стороны, уничтожая буквализм и добиваясь того, чтобы живым народным языком адекватно передать русскую речь, а с другой — в отдельных случаях, когда изображалось явление, специфичное для русского быта и не известное Западу, отвергая несостоятельные попытки переводчика найти немецкий термин для его обозначения. Так, он отметает обозначения «der Närrische», «ein Glückseliger» (дурак, святой) для юродивого и вводит русское слово в немецкий текст (Jurodiwi), сопровождая его примечанием для немецкого читателя: «Unter Jurodiwi versteht man in Rußland gewisse Fanatiker, die ähnlich den orientalischen Seïdens oder indischen Fakirs die Annehmlichkeiten des Lebens verachtend im Lande umherschweifen. Das Volk betrachtet sie mit frommer Scheu, behandelt sie mit höchster Achtung, hält ihren Eintritt in das Haus für glückbringend und sucht die sinnlosesten Reden dieser Blödsinnigen als göttliche Offenbarungen und Prophezeihungen auszudeuten» («Под „юродивым" разумеют в России особого рода фанатиков, которые наподобие восточных сеидов или индийских факиров бродят по стране, отрекаясь от благ жизни [3]. Народ смотрит на них с набож-

---

[3] Поясняя немецким читателям роль юродивых в русской народной жизни и уподобляя их индийским факирам, Тургенев мог основываться на рассуждениях на эту же тему Дж. Флетчера, который в своей известной книге «О государстве русском» (1591)

ным страхом, относится к ним с глубоким уважением, считает их посещение приносящим счастье и старается толковать бессмысленные речи этих безумцев как божественные откровения и пророчества»). Под этим пояснением стояли буквы: «D. V-r» («Der Verfasser» — автор). Примечаниями сопровождает Тургенев и имя «Васенька», поясняя читателю, что это уменьшительное от «Василий», и поговорку «Риск — благородное дело», объясняя, что это народная пословица, чтобы ироническое замечание о ростовщичестве откупщиков не было понято буквально (с. 138—139 текста).

Готовя немецкий перевод рассказа к печати, Тургенев проявил себя не только как вдумчивый редактор-переводчик и комментатор, но и как неутомимый автор, готовый постоянно работать над текстом, совершенствуя его и учитывая, какому читателю адресована книга. В немецком тексте Тургенев заметил и исправил противоречие, сняв утверждение знакомого рассказчика, что Софи — единственная наследница своего отца, не согласованное с утверждениями В. Г. Б., что Софи хозяйничает в доме и наблюдает за братьями и сестрами. В немецком переводе, вместо неопределенного обозначения места действия в рукописи — губернский город***, возникает губернский город О. (явно «Орел», название которого писатель не мог точно обозначить в русском издании ввиду того, что происшествие, описанное им, имело место в действительности и некоторые причастные к нему лица могли еще быть живы. В русском тексте место действия было обозначено как город Т...— Тамбов. В немецком переводе рассказчик совершает служебную поездку в «Т...скую ⟨Тульскую или Тамбовскую⟩ губернию», соседнюю с «О...ской ⟨Орловской⟩» — обе губернии граничили с Орловской («T...sche Gouvernement, welches... an das O...sche Gouvernement anstößt»)[4].

Некоторые тургеневские исправления перевода могут служить как бы лексическим комментарием к русскому тексту — в том случае, если то или иное выражение в силу своей двусмысленности было неправильно понято переводчиком. Так, например, обращение Ардалиона к «младенцу лет шести» — «мальчуга», переведенное Кайслером как «Junge», исправлено Тургеневым на «Gelbschnabel» («желторотый»), а в другом обращении к нему же «мастеровой» перевод «Geselle» (подмастерье) заменен «braver Arbeiter» («труженик»). Интересно, что дважды употребленный собеседниками в споре на балу термин: «начало» был буквально передан переводчиком, и Тургенев вынужден был в обоих случаях исправить Кайслера, заменив слово бытового словаря философским и придав тем самым должную окраску этому термину: «начало премудрости» — «Weisheitsgrund» (Тургенев) вместо «Der Weisheit Anfang» (Кайслер), «начало веры» — «Der Grund des Glaubens» (Тургенев) вместо «Der Anfang des Glaubens» (Кайслер).

После опубликования перевода в журнале «Салон» Тургенев,

сравнил юродивых со странствующими индийскими религиозными философами гимнософистами (об этом см.: Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» древней Руси. Л., 1976, с. 178—179).

[4] В окончательном тексте рассказчик едет не в «Т...скую», а в «С...кую», т. е. Саратовскую (с. 152) губернию, граничащую с Тамбовской.

получив обратно рукопись, внес в нее ряд дополнений и исправлений и снова переписал ее (этот, вторичный беловой автограф, посланный потом Стасюлевичу, не сохранился). Он снял цифровые (римскими цифрами) обозначения глав, имевшиеся в предыдущих автографах, и кое-где усилил характерность речи героев. Были введены некоторые детали описания обстановки действия, например следующие строки: «Он помолчал, а громадные стенные часы, с лиловой розой на белом циферблате, своим однообразным и сиплым чиканием тоже как бы подтверждали его слова. „О...чень! о-чень!“ — щелкали они» (с. 140); слова об отношении губернского общества к религиозным исканиям Софи: «Я взглянул на наших соседей ∽ ее за такую знают» (с. 150); признание Софи, что она ищет наставника, и презрительный отзыв ее о духовнике-священнике, а также характеристика музыки, сопровождавшей разговор рассказчика с Софи,— строки: «наставника найти ∽ гремели с хоров литавры» (см. с. 150—151). Следует отметить, что после слов этого отрывка: «напоминала мне дорафаэлевских мадонн...» в беловом автографе было: «я предпочитаю мадонн позднейших». Это замечание сохранилось только в первых изданиях, в *ВЕ* и *Т*, *Соч*, *1868—1871*. В дальнейшем Тургенев, верный своему постоянному стремлению избегать выражения авторских пристрастий, исключил его, и в собраниях сочинений, начиная с 1874 г., его нет. Характеристика юродивого пополнилась новыми чертами. Появилась, например, фраза: «Хохот этот вырывался всякий раз ∽ слышалось негодующее плевание» (с. 153).

Заново выверенный, исправленный и переписанный текст рассказа был послан П. В. Анненкову для передачи М. М. Стасюлевичу (редактору «Вестника Европы»). Двенадцать наиболее существенных дополнений и исправлений вместе с оттиском рассказа из «Салона», 30 октября (11 ноября) 1869 г. были посланы в переводе на немецкий язык также Л. Фридлендеру [5] и Л. Пичу [6]. Совершенно адекватные автографы немецкого перевода дополнений («Zusätze zur „Wunderlichen Geschichte“») хранятся в Парижском архиве Тургенева (*Bibl Nat*, Slave 78; описание см.: *Mazon*, p. 99, фотокопия — *ИРЛИ*, Р. 1, оп. 29, № 344) и в Немецкой государственной библиотеке в Берлине [7]. Отсылая своих немецких друзей к страницам оттиска журнала «Salon», Тургенев на отдельных листках дополнял текст перевода рассказа «Странная история» наиболее существенными из вставок, сделанных в беловом автографе. Особый интерес представляет дополнение, которое при переводе на немецкий язык подверглось новой авторской переделке. Беспорядочным, «темным» речам Василия, внесенным в беловой автограф, в немецком переводе придан более ясный и определенный характер,— этот перевод может служить как бы комментарием к русскому тексту. Вместо «Только ты слушай меня ∽ сказывай... чей?» (с. 154) — здесь читаем: «Aber Du — höre! Gieb alles weg! Den Kopf weg! Das letzte Hemd weg! Und wenn man auch darum nicht bittet, gieb es doch! Denn Gott sieht. Er hat dir Mehl gegeben. Also marsch in den Ofen damit. Die ganze Welt soll Brot haben! Sonst glaubst du — *Er* braucht viel Zeit um Dir das Dach

---

[5] См.: F r i e d l ä n d e r L. Erinnerungen, Reden, Studien. Th. I. Strassburg, 1905, S. 197—198.

[6] Сообщено доктором Г. Цигенгайстом (ГДР).

[7] То же.

über den Kopf wegzublasen? Er sieht ja... Er sieht alles! Er si... eht» («Только ты слушай меня! Всё отдай, голову отдай, последнюю рубаху отдай. И просить не будут, а ты отдай. Потому, бог видит. Он тебе муку́ дал! Ну и пеки. У всех должен быть хлеб. А то долго ли ему сдуть крышу над твоей головой? Он видит... Он всё видит. Он видит»). Далее вместо: «Хозяйка украдкой перекрестилась под косынкой» — в немецком тексте «дополнений»: «Die Wirtin wurde etwas bleich und bekreuzte sich heimlich unter ihrem Brusttuch» («Хозяйка несколько побледнела и украдкой перекрестилась под косынкой»).

Таким образом, речи юродивого приобретали характер обличения стяжательства. Образ возмездия — разметанной над головой обидчиков-стяжателей крыши,— нашедший себе затем прямое воплощение в повести «Степной король Лир», в такой редакции «проповеди» юродивого приобретает особенно большое значение.

Можно предположить, что Тургенев счел нужным подвергнуть такой своеобразной обработке речь юродивого в немецком переводе, чтобы сделать более ясной для немцев свою мысль о религиозном подвижничестве как первобытной, бессознательной форме протеста и социально-нравственных исканий. От включения мотивов социального обличения в речь юродивого в русском тексте Тургенев отказался в силу своего обычного стремления избегать публицистических форм выражения авторской мысли, будучи, видимо, уверен, что русский читатель и без таких пояснений образа Василия правильно воспримет всё богатство ассоциаций, стоящих за рассказанной им «странной историей». Обличение пороков в невнятной, загадочной форме и умерщвление своей плоти было хорошо известной русским читателям «нормой» поведения юродивых (см.: Панченко А. М. Смех как зрелище.— В кн.: Лихачев Д. С., Панченко А. М. «Смеховой мир» древней Руси, с. 101—103, 123—128, 141—144). Следует отметить, что двенадцатью вставками, перечисленными в «Прибавлениях», не исчерпываются новации, внесенные Тургеневым в текст при его переписывании. Писатель не сообщил, например, что в речь Ардалиона (с. 141) им была внесена фраза: «Сидит каждый у себя на тычке, как „ке́тик“ какой». Слово «ке́тик», которое Тургенев для памяти зафиксировал, в числе других записей, на обложке рукописи «Бригадира», очевидно, было трудно переводимо и стиль фразы почти невозможно было передать на чужом языке.

Воспользовавшись отсутствием конвенции об авторском праве между Германией и Россией, А. А. Краевский без разрешения автора 10(22) декабря 1869 г. напечатал перевод «Странной истории» с немецкого в той самой газете «Голос» (№ 341, с. 1—3), которая встречала критикой каждое новое произведение писателя. Расчет Краевского был безошибочен: с одной стороны, опубликование нового произведения знаменитого писателя привлекало к его изданию новых читателей и приносило прибыль [8]; с другой стороны, представляя Тургенева как немецкого автора, произведения которого появляются в России через посредство переводчика, он как бы подкреплял свое постоянное утверждение, что Тургенев отрекся от России.

---

[8] В том же № 341, где напечатан рассказ Тургенева, было помещено объявление о подписке на газету на 1870 г.

Тургенев был возмущен «проделкой» Краевского. Требовательный к себе писатель, специально обсуждавший со своим советчиком П. В. Анненковым такую подробность, как целесообразность введения фразы о бое часов (письмо от 4(16) декабря 1869 г.), боялся более всего, что неполноценный в литературном отношении текст переводчика из «Голоса» может быть кем-нибудь из читателей принят за его авторский текст (см. письмо от 20 декабря ст. ст. 1869 г. к П. В. Анненкову, от которого Тургенев 19 декабря получил «Голос» с переводом, а также письма М. М. Стасюлевичу от 21 декабря и М. А. Милютиной от 24 декабря ст. ст. 1869 г. Письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу с протестом против опубликования перевода немецкого текста было в сокращенном виде напечатано в «Вестнике Европы» (1870, № 1). В примечании к этому письму Стасюлевич утверждал, что самая поспешность, с которой Краевский напечатал перевод, говорит о том, что издатель «Голоса» признает популярность Тургенева и пытается воспользоваться ею в интересах своей газеты. При этом Стасюлевич, несомненно, рассчитывал на то, что и сам Краевский и читатели вспомнят недавние заявления газеты «Голос» о том, что «Тургенев отшатнулся от России и Россия от него отшатнулась» (Голос, 1869, 19 февраля (3 марта), № 50). В том же номере «Вестника Европы», в котором появилось письмо Тургенева, был напечатан подлинный текст «Странной истории».

Вскоре после появления рассказа в России, в начале 1870 г., П. Мериме перевел его на французский язык. 29 января (10 февраля) 1870 г. он пишет об этом переводе как о законченной работе: «Я только что перевел для „Revue“ одну новеллу Тургенева — она появится в ближайшем месяце» (*Mérimée*, II, 9, p. 34). В мартовской книге «Revue des Deux Mondes» за 1870 г. «Странная история» появилась в переводе Мериме. Английский перевод рассказа, озаглавленный «The Idiot», осуществил постоянный корреспондент Тургенева В. Рольстон. Перевод напечатан в «Temple Bar» (1870, vol. XXIX).

«Странная история» вошла в сборник «Etranges histoires» Тургенева на французском языке («Etrange histoire. Le roi Lear de la steppe. Toc... toc... toc... L'abandonnée». Par J. Tourguéneff. Paris, Hetzel, изд. 1-е и 2-е — 1873, 3-е — 1874). Два немецких перевода рассказа (помимо перевода в «Салоне») появились также при жизни писателя: «Eine seltsame Geschichte». Übersetzt von A. Gerstmann. I. Turgenjew. Erzählungen eines alten Mannes. Berlin, Janke, 1878 (интересна попытка объединить повести 60—70-х гг. в своеобразный цикл «рассказов старого человека»); «Sonderbare Geschichte». Übersetzt von E. St⟨eineck⟩. I. Turgenjew. Vier Erzählungen. Leipzig, 1882, O. Wiegand.

Рассказ был переведен также на датский и шведский языки: «En sällsam historia». Öfversattung från franskan. Stockholm; «En besynderlig Historie». Paa Dansk ved Møller. I Bd.— В кн.: M. Tortaellingerag Skitser. Kjøbenhavn, 1873.

Рассказ не вызвал сколько-нибудь развернутого обсуждения в критике. Даже среди друзей Тургенева почти не оказалось людей, достойно оценивших это произведение. 5(17) июня 1870 г. Тургенев писал А. М. Жемчужникову: «Вы едва ли не единственный человек, помянувший добрым словом мою „Странную историю“». С одним из своих друзей и корреспондентов — беллетристом М. В. Авдеевым — Тургенев вынужден был вступить в полемику по поводу

образа главной героини рассказа. Намекая, что в «Странной истории» повторяются картины «Записок охотника» и что образ героини не актуален, Авдеев писал: «Она ⟨„Странная история“⟩ мне очень понравилась и идет к картинам русской жизни, которых Вы дали много, но самый конец Вы осветили, по-моему, неверно ⟨...⟩ В основании всякого фанатизма лежит сила, но сила глупая, и Софи во мне, кроме презрительного сожаления, никакого участия не шевельнула ⟨...⟩ Ваша Софи устарела» (*Т сб*, вып. 1, с. 430—431). Отвечая Авдееву 13(25) января 1870 г., Тургенев прежде всего дает понять своему корреспонденту, что тот упрощенно понимает требование современности, что и повествование о далеком прошлом может быть проникнуто современной мыслью: «... неужели вы до того потонули в „современности“, что не допускаете никаких не *современных* типов? Я *„отстал“ с своей Софи:* еще бы! Да я, пожалуй, еще дальше назад хвачу; *Софи не возбуждает ничего, кроме „презрительного сожаления“;* и этого, по-моему, еще много. Неужели каждый характер должен непременно быть чем-то вроде прописи: вот, мол, как надо или не надо поступать? Подобные лица жили, стало быть, имеют право на воспроизведение искусством. Другого бессмертия я не допускаю, а это бессмертие, бессмертие человеческой жизни — в глазах искусства и истории — лежит в основании всей нашей деятельности». Тургенев подчеркивал, что образ Софи исторически достоверен, что он имеет реальный прототип, что в странной судьбе изображенной им девушки воплотились некоторые характерные черты жизни русского общества на определенном этапе его развития.

Аргументация Тургенева, очевидно, произвела впечатление на Авдеева. Впоследствии, в работе «Наше общество в героях и героинях литературы» он попытался показать исторические истоки образа Софи, его связь с Татьяной Пушкина и Лизой из «Дворянского гнезда», а также объяснить особенности религиозных исканий героини воздействием на нее темных сторон народного сознания (см.: Авдеев М. В. Наше общество в героях и героинях литературы. Изд. 2-е. СПб., 1907, с. 206—207).

Отклики на появление «Странной истории» поместили «Московские ведомости» (1870, № 9, 13 января) и «Новое время» (1870, № 23, 24 января). Обе газеты бегло и неодобрительно отозвались о новом произведении писателя. Критик «Московских ведомостей» признавал художественные достоинства «Странной истории», но писал, что «повесть довольно ничтожна по содержанию». Рецензент «Нового времени» утверждал даже, что перевод с немецкого перевода, напечатанный Краевским в «Голосе», мог бы читателям заменить подлинник. Характерна нота, прозвучавшая в высшей степени недоброжелательной по отношению к Тургеневу заметке «Нового времени». «Нечего сказать, хорошо же вы знакомите немецкую публику с русской жизнью, если показываете ей такие картинки, как ваша „Странная история“»,— поучала газета писателя.

Реакционные круги русского общества, крайне озлобленные появлением романа «Дым», восприняли «Странную историю» как продолжение начатого, по их мнению, писателем в романе холодного обличения своей родины. П. Мериме сообщал Тургеневу 13(25) марта 1870 г. о беседах с русскими обитателями Ниццы по поводу «Странной истории»: «Как кажется, Ваш последний рассказ привел их в ярость. Они говорят, что Вы ожесточенный

враг России и что хотите видеть *одни* только ее теневые стороны. Я спросил у одной дамы, которая казалась очень возмущенной, в чем теневая сторона в Вашем рассказе. Ответ: — Всюду.— Имеются ли юродивые в России? — Конечно.— А крайне набожные и восторженные девицы? — Безусловно.— На что же вы тогда жалуетесь? — Не нужно говорить об этом иностранцам.— Я передаю вам этот отзыв так, как я его слышал. Лакейский патриотизм повсюду один и тот же: я не знаю ничего более глупого» (*Mérimée*, II, 9, p. 74).

В споре с Авдеевым Тургенев также ссылался на реальность и типичность случая, составившего основу фабулы его рассказа. Самому ему приходилось наблюдать подобные происшествия. Сохранилось свидетельство, что героиня Тургенева имела реальный прототип. Л. Фридлендер, ссылаясь на признание самого Тургенева, заявлял: «„Странная история" взята из жизни. Молодая мечтательница, бросающая родительский дом для того, чтобы сопровождать в качестве служанки юродивого, была дочь директора одной казенной зеркальной фабрики. Своим поступком она хотела загладить грехи отца, который грабил казну. Впрочем, молодая девушка вернулась в родительский дом и даже вышла замуж» (*ВЕ*, 1906, № 10, с. 831). Сам Тургенев в письме к И. П. Борисову от 23 декабря 1869 г. (4 января 1870 г.) также вспоминал, что рассказ «Странная история» составился у него «из двух анекдотов», из которых один он «слышал, а другой сам пережил». Случаи, подобные рассказанному Тургеневым в «Странной истории», были не столь уж редки. Я. П. Полонский сообщает о подобном случае, с которым столкнулся Л. Н. Толстой: «Видел граф и одну раскольничью богородицу и в ее работнице нашел, к немалому своему изумлению, очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками и тонкими пальцами» (П о л о н с к и й Я. П. И. С. Тургенев у себя, в его последний приезд на родину.— Нива, 1884, № 5, с. 115).

Реальную основу рассказа «Странная история» подчеркивал и Н. С. Лесков, утверждавший в 1869 г. в статье «Русские общественные заметки»: «Содержание ее вполне не вымышленное, а истинное: это давняя история жившего в тридцатых годах в городе Орле „блаженного Васи" и одной орловской же девицы, отрекшейся от света и пошедшей „угождать юродивому"» (Л е с к о в Н. С. Собрание сочинений. М.: Гослитиздат, 1958. Т. 10, с. 85). Не видя в «Странной истории» ничего, кроме «самым обыкновенным образом рассказанного анекдота, к которому в Орле давно уже приснащены были разные подробности, упущенные г. Тургеневым или вовсе ему неизвестные», Лесков говорил о незначительности не только этого произведения, но и других рассказов и повестей 60-х годов, считая, что «„Собака", „Лейтенант Ергунов", „Бригадир" и „Несчастная" 〈...〉 просто неудачные абрисы, которые можно было бросить, но можно было, пожалуй, и напечатать, когда пристают да просят: „Дайте, дескать, нам что-нибудь бога ради!"» (там же, с. 86).

Из «Заметок» Лескова мы узнаем также, что рассказ возбудил оживленное обсуждение среди литераторов и читателей, что по его поводу ставили вопрос о «зарубежничестве» Тургенева, о его праве описывать темные явления русской жизни, находясь вне пределов родины, о допустимости для русского литератора писать или печатать свои произведения на других языках, об идеях и

взглядах героини «Странной истории», о естественнонаучном объяснении таинственных явлений психики, описанных в рассказе. Высказав свое мнение по этим вопросам, Лесков заканчивал статью утверждением, что повести и рассказы Тургенева последних лет лишь беглые этюды, подготавливающие, возможно, новый серьезный труд писателя, и выражением надежды, что в этом труде Тургенев решительно отмежуется от нигилистов, откажется от попыток найти с ними общий язык. Капитальный труд Тургенева, в некоторых отношениях действительно подготовлявшийся повестями шестидесятых годов,— «Новь», как известно, не оправдал этих надежд Лескова.

В. Я. Брюсов, оценивавший содержание «Странной истории» через двадцать шесть лет после ее появления, почувствовал ее новизну и актуальность в бóльшей мере, чем современники Тургенева. В письме к Н. Я. Брюсовой он утверждал: «Василий и Софи́ два новых типа у Тургенева. В те годы софи́ только что стали появляться в русской жизни. Тургенев перенес этот тип на 15 лет назад и сообразно с этим изменил обстановку. Основная черта этого типа — жажда подвига, желание „душу свою положить ради идеи“. Центр⟨альное⟩ место расск⟨аза⟩ — разговор на балу» (см.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 185). В отличие от Брюсова, считавшего главным достоинством рассказа историческую достоверность изображенных в нем характеров людей, стремящихся служить идее, Ин. Анненский усмотрел в образе Софи извечное экстатическое стремление к мистическому идеалу духовного совершенства и страдания (А н н е н с к и й И. Ф. Белый экстаз.— Книга отражений. М., 1979, с. 141—146).

С т р. 138. ... *в губернском городе Т...*— Место действия рассказа условно. Реальный случай, послуживший основой сюжета произведения, очевидно, произошел в Орле. Однако Тургенев, после некоторого колебания, обозначил как место действия город Т... и «С...кую губернию, находящуюся, как известно, рядом с губернией Т...ской» (с. 152), т. е. Тамбов и граничившую с Тамбовской (смежной также с Орловской) губернией Саратовскую губернию (см. выше творческую историю произведения — наст. том, с. 468).

С т р. 144. *По духу, батюшка, по духу!* — Эти и другие слова Мастридии, тайна, которой сопровождается посещение ее дома, а также некоторые речи Василия дали основание Н. Л. Бродскому считать Мастридию, все ее окружение, а в конечном счете и Софью Владимировну Б.— сектантами (см.: Б р о д с к и й Н. Л. И. С. Тургенев и русские сектанты. М., 1922, с. 25—38).

С т р. 145. ... *я остановился, наконец, на ∽ французе, бывшем моем гувернере.*— Тургенев дважды до «Странной истории» и еще один раз после написания этого рассказа пытался создать образ гувернера эмигранта Дессёра. В списке действующих лиц не дошедшей до нас пьесы «Компаньонка» (1850) значится «M-r Dessert, бывший учитель Званова — 60 лет». Присутствует это лицо и в плане романа «Два поколения» (1852—1853). Здесь оно зафиксировано как «M-r Dessert, 60 лет, француз, бывший гувернер Д⟨митрия Петровича⟩». С. Т. Аксаков, читавший впоследствии уничтоженный текст романа «Два поколения», утверждал, что француз — лучший образ среди наиболее удачных второстепенных лиц произведения (см. его письмо Тургеневу от 4 августа 1853 г.— *Рус Обозр*,

1894, № 10, с. 482). В 1881 г. Тургенев включил в перечень лиц рассказа «Учителя и гувернеры», который по его замыслу должен был войти в задуманный им цикл «Отрывки из воспоминаний — своих и чужих», персонаж: «Дессёр старик.— Эмигрант».

Стр. 149. *Богоугодность тут ни к чему ‹...› подчинения воли одного человека воле другого...* — Проблемы «магнетизма», гипноза и разных непонятных и необъяснимых форм воздействия воли одного человека на другого занимали умы в особенности с начала 50-х годов XIX века. Наряду с мистическими и идеалистическими толкованиями загадочных психических явлений в 1850-х, а также в 1860—80-х годах делались попытки их объяснения в духе естественнонаучного эмпиризма и позитивистской, вульгарно-материалистической философии. Относя действие рассказа к середине 1850-х годов («Лет пятнадцать тому назад»,— начинается рассказ, напечатанный в 1870 г.), Тургенев соблюдает историческую точность, когда наделяет рассказчика естественнонаучными, хотя и «сбивчивыми», взглядами на явления гипноза и внушения, обсуждавшиеся в эти годы очень широко. Ряд исследователей связывает сюжеты «таинственных повестей» Тургенева, и в том числе эпизод с гипнотическим внушением в «Странной истории», с естественнонаучными интересами Тургенева (см.: Бялый Г. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 208—217).

... у кого на одно горчишное семя веры, тот может горы поднимать с места? — Софи пересказывает евангельский текст (от Матфея, гл. 17, ст. 20). Самоотречение Софи, ее готовность всем пожертвовать ради служения тому, что она считает своим нравственным долгом, сближает ее в сознании Тургенева с девушками, ушедшими в революцию. Противопоставляя революционной «вере в чудо» больших общественных сдвигов свои либеральные надежды на постепенный прогресс, Тургенев употреблял почти те же выражения, какими пользовались участники спора о «чуде» в «Странной истории». 22 февраля (6 марта) 1875 г. он писал А. П. Философовой: «Пора у нас в России бросить мысль о „сдвигании гор с места“ — о крупных, громких и красивых результатах ‹...› мы умрем — и ничего громадного не увидим».

Стр. 150—151. *Своим детским лицом ‹...› она напоминала мне дорафаэлевских мадонн...* — Итальянские художники раннего Возрождения, предшественники Рафаэля — Лоренцо Джерини, Фра Анджелико да Фьезоле, Антонио Росселино и другие придавали лицам своих мадонн выражение наивной веры. Скованность фигур на их картинах, отсутствие разработанного фона и перспективы — черты, характерные для средневековой живописи,— усиливали впечатление духовной, религиозной отрешенности образов их произведений.

Стр. 157—158. *... я не осуждал ее, как не осуждал впоследствии других девушек ‹...› видели свое призвание.* — Сопоставление Софи с девушками-революционерками раскрывает в значительной степени источник интереса писателя к этой героине. В рассказе Тургенев показал типичное, как ему казалось, для русской жизни определенного периода заблуждение женщин с сильным характером, самоотверженным сердцем и несколько догматическим направлением ума. Сопоставляя Софи и девушек-революционерок, писатель проводит вместе с тем определенную грань между ними: он говорит о своем непонимании поступка Софи, выражает сожаление, что «Софи пошла именно *этим* путем»,— ничего подобного

не говорится о революционерках. Стремление Тургенева выразить сочувствие «нигилистам» нашло наиболее полное воплощение в очерке «По поводу „Отцов и детей“», который был задуман в пору работы над рассказом «Странная история». На обложке рукописи этого рассказа записан черновой план «Литературных воспоминаний», в который включена статья «По поводу „Отцов и детей“».

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР

(с. 159)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Черновой автограф. 94 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 85; описание см.: *Mazon*, p. 75; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 318.
Беловой автограф. 70 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76—77—78—86; описание см.: *Mazon*, p. 79; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 217.
ВЕ, 1870, № 10, с. 441—507.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 8, с. 61—148.
Т, *Соч*, *1874*, ч. 7, с. 57—140.
Т, *Соч*, *1880*, т. 8, с. 269—355.
Т, *ПСС*, *1883*, т. 8, с. 285—381.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1870, № 10, с подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 170, *строка 36:* «он поступил в „вотчинную контору“» вместо «он поступил в „вотчинскую контору“» (по всем другим источникам).

Стр. 175, *строка 42:* «Когда это ты успел» вместо «Когда ты это успел» (по всем другим источникам).

Стр. 191, *строки 31—32:* «как худые кузнечные меха» вместо «как кузнечные меха» (по всем другим источникам).

Стр. 196, *строка 24:* «приятно, что „встрелся“ с вами» вместо «приятно, что „встретился“ с вами» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 207, *строка 38:* «Оттого я и к вам» вместо «Оттого я к вам» (по всем другим источникам).

На обложке черновой рукописи повести «Степной король Лир» записана авторская помета о времени, месте и ходе работы над нею: «Начат в Карлсруэ, Hôtel Prinz Max, в субботу 27/15-го февр. 1869. Кончен в Веймаре, Hôtel de Russie, в субботу, 2 апр./21-го марта 1870. (Писано с огромным, 10-месячным промежутком.)».

Первоначальный список действующих лиц произведения занесен в тетрадь, на которой сделана помета: «Эта тетрадка мною взята у Фредро 19/7 февраля 1869, в Баден-Бадене». Вслед за тем, в феврале же, писатель создал подробные и обширные характеристики действующих лиц, написав их в отдельной тетрадке (Формулярный список лиц нового рассказа). Однако далее работа над повестью была приостановлена, и Тургенев обратился к разработке нового сюжета. В тетради, в которой был первоначальный план повести, Тургенев пишет рассказ «Странная история». Вероятно,

работа над повестью задержалась оттого, что у писателя не было некоторых фактических сведений и юридических данных для оформления его замысла. 27 февраля (11 марта) 1869 г. он запрашивал своего управляющего Н. А. Кишинского о юридических условиях передачи имения при жизни владельца. Из этого письма ясно, что сюжет в общих чертах писателем был уже продуман. «Я начал повесть, в которой главное действующее лицо, старик-помещик, задумал при жизни своей передать свое родовое имение двум своим дочерям. (Дело происходит в 40-м году.) Мне нужно знать в *подробности*, как это делается или делалось, кому, в какое место подавалась просьба, как составлялся акт, как он приводился в исполнение, кто при этом должен был присутствовать в качестве свидетелей, какие полицейские или административные лица (исправник, дворянский предводитель? и т. д.). Всё это потрудитесь написать мне самым обстоятельным, деловым образом. Даже, если это Вас не затруднит, приложите образчики просьбы, акта (дарственной записи) и т. д. Отца, положим, зовут Мартын Петрович Харлов; старшая дочь, Анна, замужем за неслужащим дворянином Васильем Васильевым Слёткиным; вторая дочь, Евлампия — девица...»,— писал Тургенев, излагая основные ситуации будущей повести.

Н. А. Кишинский, очевидно, выполнил просьбу Тургенева. Во всяком случае в Парижском архиве писателя хранятся выписки из гражданских законов: «Правила из узаконений. Дарение», «Выдел и приданое», «Духовные завещания» (*Bibl Nat*, Slave 76, фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 229).

Работа над повестью продолжалась, то прерываясь, то возобновляясь. 10(22) мая 1869 г. Тургенев писал Кишинскому: «Я работаю усиленно...», а 5(17) июня 1869 г. сообщал М. М. Стасюлевичу, что написал около трети повести, и обещал выслать ее своевременно для опубликования в январской-февральской книжке «Вестника Европы».

Вынужденный (вследствие болезни) отказ от поездки в Россию на лето 1869 г., видимо, отрицательно сказывался на работе над повестью. 10(22) сентября писатель жаловался П. В. Анненкову, что работает вяло и туго. 2(14) января 1870 г. он сообщал редактору «Вестника Европы», что работа над повестью близится к завершению: «Повесть, о которой я Вам писал, Вы получите через месяц — наверное заглавие ее: „Степной король Лир“» (впервые в своей корреспонденции Тургенев сообщает название повести). Однако в марте-апреле 1870 г. писатель обращался к своим русским корреспондентам с просьбой сообщить новые необходимые сведения. Спрашивая о том, как называются части крыши, он замечал: «Не говорят же плотники: первый, второй трехугольник...». Н. А. Кишинского и И. П. Борисова он просил ответить на эти вопросы как можно скорее, а 12(24) апреля 1870 г. благодарил первого из них «за сообщение» и извещал, что «узнал всё, что хотел». Таким образом, работа над повестью, в основном оконченной 2 апреля (в конце чернового автографа помета: «Веймар. Hôtel de Russie. Суббота, 2-го апреля/21-го марта 1870. 3/4 12-го пополудни»), продолжалась. Доделки осуществлялись, очевидно, в ходе переписки рукописи (см. письмо И. П. Борисову от 1(13) апреля 1870 г.). Летний приезд в Россию Тургенев использовал для чтений повести русским слушателям, советов с друзьями и дополнительной обработки текста. Живя проездом в Петербурге, он знакомит с повестью

П. В. Анненкова и читает ее в доме А. К. Толстого. Эти чтения навели писателя на мысль «произвести значительные исправления», необходимость которых, как ему казалось, вызвана тем, что он работал вне России. Оказавшись в Спасском, писатель снова углубляется в работу, по собственному признанию, погружаясь «с головою в волны давно ⟨...⟩ уже покинутой русской жизни» (см. письма: А. М. Жемчужникову от 5(17) июня 1870 г. и П. В. Анненкову от 15(27) июня 1870 г.).

16(28) июня 1870 г., сообщая Полонскому из Спасского, что он переправляет и перепахивает повесть, Тургенев добавляет: «...теперь, слава богу, кончил...» В Спасском, очевидно, и были произведены те исправления, дополнения и сокращения, которые мы видим в беловой рукописи (первой копии), за которой, по всей вероятности, последовала вторая копия — наборная рукопись, до нас не дошедшая. Первый список действующих лиц говорит о том, что писатель стремился с самого начала точно определить хронологию событий повести, возраст героев, место и время действия. Он исправляет даты рождения некоторых лиц, время событий и имена. Автор ищет имена, которые были бы выразительны, но не слишком в лоб передавали свойства героя. Уже за пределами данной рукописи, при работе над формулярным списком действующих лиц повести, Януарий Слёткин превращается сначала в Андрея, затем во Владимира. Имя Януарий — от древнеримского двуликого Януса — слишком определенно говорило о двуличии героя. Дважды меняет Тургенев в первоначальном списке действующих лиц имя Житкова Малахай на Гавриила, затем на Филиппа, а в формулярном списке снова — Гаврила, первоначально с отчеством: Филиппов. Имя Малахай было сразу отброшено, видимо, как слишком прямая характеристика. Интересны колебания писателя между именами Гавриил и Филипп (по-гречески любитель лошадей); в списке действующих лиц сравнение с лошадью составляет существенный элемент характеристики Житкова. «Формулярный список лиц нового рассказа» отражает процесс проникновения писателя в сущность характеров, которым предстояло действовать в его произведении. Характеристика внешности героев, случаи и анекдоты из их жизни, содержащиеся в этом списке, в большинстве своем вошли в произведение, составив его описательную часть, но не определив собою сюжет.

Черновая рукопись свидетельствует о том, что до приезда писателя в Россию и переделки повести в Спасском ее текст отличался от окончательного прежде всего композиционно. Повесть была разбита на более крупные главы, в ней не было сцены свидания Слёткина и Евлампии в лесу; зато тщательно был разработан эпизод ухода Евлампии из родного дома. Вместо краткого сообщения об уходе Евлампии (см. окончательный текст, с. 223: «Несколько дней спустя ∽ взявши только несколько сот рублей») в черновом, а затем и в беловом автографах была тщательно разработана сцена встречи рассказчика с Евлампией: «В течение ночи, последовавшей за днем похорон, выпала первая пороша; как только настало утро, я отправился с ружьем выслеживать зайцев. На дороге в Еськово (мне в моих поисках несколько раз пришлось ее пересекать) я увидел женщину в подпоясанном капоте с котомкой за плечами, с платком на голове. Она шла большими шагами, слегка подпираясь палкой. Я ее принял сперва за богомолку и, только поравнявшись с нею, узнал в ней Евлампию. Я узнал ее

по глазам, которые она быстро вскинула на меня: лоб и нижняя часть лица были закрыты. Не печаль и не горе выражали эти глаза — напротив, в их взгляде более чем когда-либо высказывалось то надменное и почти дикое „не тронь меня", которое всегда меня в них поражало. Место, где я ее встретил, было недалеко от того места, где я в первый раз увидал ее с Слёткиным; вспомнилась мне ее удалая песенка, вспомнился венок из васильков на ее голове, и жаркий день, и золотистый блеск лазурного неба, на котором так стройно рисовался ее образ; и вот теперь спешит она, вся темная, закутанная — по мертвому белому снегу... Куда? Я не смог спросить ее, да она бы и не ответила мне».

Работа над образами Харлова и его дочерей, несомненно, связанная с учетом замечаний русских друзей и с решением писателя отсечь конец повести (обсуждение рассказанного слушателями), органически продолжала творческий процесс, начало которого отражено в списках действующих лиц [1]. Уже на самой ранней стадии разработки образа Харлова Тургенев отмечал народность своего героя-богатыря, участника партизанской войны 1812 года, пользующегося неограниченным уважением крестьян за физическую силу, твердый характер и безупречную честность. «Страшная стихийная сила» — записывает о нем Тургенев в формулярном списке. В беловом автографе к этой характеристике добавляется сравнение внешности Харлова с чертами Кромвеля. Вместе с тем на первой стадии работы над повестью писатель нагнетал бытовые детали, всячески заземляя образ Харлова, подчеркивая в нем черты «степного» помещика. На полях черновой рукописи Тургенев вписывает, например, важную причину расположения «матушки» к Харлову, тщательно отрабатывая фразы. Так возникли варианты: *а.* она видела в нем какого-то преданного великана, который за нее один на целое село пойдет; *б.* она видела в нем преданного великана, который за нее готов пойти один на ватагу крестьян (ср. окончательный текст, с. 163).

Исправления, которые произвел Тургенев в тексте повести в России, не изменили характеристику Харлова — властного хозяина, феодала, но внесли существенные коррективы в отношения между ним и его подчиненными в момент, изображенный в повести. О казачке Максимке, например, первоначально было известно лишь, что он сопровождал Харлова во всех поездках, еле помещаясь с ним рядом на дрожках, а затем был отнят у хозяина Слёткиным и отдан в ученье. В беловом автографе он делается постоянным чтецом Харлова. Работая над сценой бунта Харлова (разорение дома и гибель героя), Тургенев внес в этот и в последующие эпизоды много новых моментов, которые должны были подчеркнуть народность образа героя, поднять его над провинциально-помещичьей средой и выдвинуть в нем народные черты. В беловом автографе были вписаны эпизоды, рисующие сочувствие народа Харлову и презрение его к Слёткину, и дополнительно обработаны реплики крестьян, не желающих принимать участия в „усмирении" Харлова (см. с. 217). Таким образом, Харлов выступает не как «усмиритель» крестьян, а как мститель, озлобление которого понятно и близко крестьянам.

---

[1] Варианты белового автографа см.: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. X, с. 380—405; варианты чернового автографа см.: *Т сб*, вып. 5, с. 147—207.

На полях рукописи в главе, рисующей «бунт» Харлова, Тургенев сделал запись «Максим». Затем там же в текст был внесен эпизод появления Максимки, обращение к нему Харлова: «Максимушка, друг! ⟨...⟩ Полезай ко мне, Максимушка, товарищ верный, станем вдвоем отбиваться от лихих татарских людей»,— обращение, в корне меняющее представление о взаимоотношениях Харлова и его казачка, который отделился «от толпы крестьян», чтобы помочь хозяину (см. в окончательном тексте с. 219).

Уже на первом этапе работы Тургенев тщательно разрабатывал восклицания, которыми встречал Харлов своих «усмирителей» и которым соответствует окончательный текст на с. 219. На полях чернового автографа Тургенев вписал: «Я хозяин строгий, не в пору гостей не люблю». Затем он намеревался заменить «не в пору» на «не в духе», но эта замена не состоялась. Писатель явно хотел особо подчеркнуть не самодурство своего героя («не в духе... не люблю»), а присущее ему чувство собственного достоинства. Реплика «Я хозяин строгий» и т. д. в окружении эпизодов, рисующих сочувствие крестьян Харлову, рядом с упоминанием о былых боях против «лихих татарских людей» ассоциируется с участием Харлова в Отечественной войне и по своей народной форме, лаконизму, юмору напоминает подписи под лубочными картинками 1812 года.

Мысль о литературном «прототипе» повести, о соотношении рассказанной в ней истории с трагедией Шекспира, не оставлявшая писателя с самого начала оформления замысла до завершения повести на первоначальной стадии, когда создавался черновой автограф, выражалась в стремлении низвести трагедийные ситуации, близкие к Шекспиру, до уровня захолустного быта русской крепостной деревни. Создав весь основной текст повести, Тургенев на этой стадии как бы закрыл все пути к просветлению, к трагедийному разрешению изображенных конфликтов. Сатирическая окраска образов превалировала. Все светлые начала человеческих характеров шекспировского оригинала не находили себе соответствия в его степной «копии». Отсутствие Корделии, Кента, Глостера, Эдгара, превращение резкого, но глубоко преданного королю и правдивого мудреца-шута в мелкого и гадкого завистника Сувенира, не охраняющего, а стремящегося всячески уязвить Харлова, соответствовали характеру центрального героя, лишенного многих тонких оттенков, позже внесенных автором в текст.

Работая над беловым автографом, Тургенев был озабочен тем, чтобы сделать более ощутимыми черты сходства рассказанной им истории с трагедией Шекспира.

15(27) июня 1870 г. он сообщал Анненкову из Спасского: «... мотивация, внесенная мною в „Короля Лира“, относится к его решению поделить имение; разорение должно быть следствием вспышки и так и осталось». Тургенев не внес в текст повести новых сколько-нибудь значительных мотивировок поступка Харлова, но углубление и развитие характера героя и его дочерей сделало более объяснимым его внезапный порыв к самоотречению, к тому, чтобы испытать, испробовать пределы своей власти и своего влияния на окружающих.

В беловой автограф вписываются: целая глава (IV в окончательном тексте), а затем еще один отрывок (конец XV главы) о смутных философских раздумьях героя, о неосознанном его стремлении к познанию тайн жизни и смерти, о его наивных, темных рассуждениях, в которых своеобразно преломились рационалисти-

ческие и мистические теории конца XVIII века. Подобно многим другим героям рассказов и повестей Тургенева, написанных в 1860-х годах, Харлов «человек XVIII века». Отсюда его вольнодумство, уживающееся с мистическими толками о тайнах загробной жизни и силе страстей человеческих. Благодаря этим новым элементам характеристики Харлова его отказ от имущества выступает как результат сложных стихийных нравственных исканий, а не как прихоть самодура.

Тургенев разработал, записав на отдельном листе, эпизод, рисующий чтение героем масонского журнала «Покоящийся трудолюбец». Тут же появилось и упоминание о символической картине, изображающей бренность человеческой жизни,— картине, которую хранил Харлов (в библиотеке Спасского была книга Н. М. Амбодика «Емблемы и символы», очевидно, подавшая писателю идею этой картины,— см. с. 492). На вставном листе Тургенев дополнил характеристику Харлова строками об его отношении к религии: «К помощи религии, к молитве он ᔕ прибегал редко; он и тут больше надеялся на свой собственный ум» и т. д. (с. 165). На этом этапе работы над повестью появились столь характерные для героя черты, как гордость своим умом, безразличие к официальной религии, антипатия к духовенству и склонность к мистицизму масонского типа. Соответственно здесь в текст повести был внесен и эпизод, рисующий попытку Харлова посоветоваться с Натальей Николаевной относительно поразивших его в статье журнала «Покоящийся трудолюбец» рассуждений (с. 190) и его слова о том, что он «сновидец» (с. 174).

В беловой автограф вносится вместе с тем ряд выражений, как бы отсылающих к «Королю Лиру» Шекспира. Тургенев вводит реплику Харлова: «Поцарствовал, будет с меня» (с. 181), добавляет слова: «...возьму, мол, перебью, перешвыряю всех, чтобы и на семена не осталось» (с. 207—208),— ср. в «Короле Лире» Шекспира: «И разбросай по ветру семена, родящие людей неблагодарных» (перевод А. В. Дружинина); вписывает издевательские обращения Сувенира к Харлову: «Ваше сиятельство, пожалуйте ручку!» (с. 210) и т. д.

Знаменитые слова Лира: «Нет в мире виноватых», которые Тургенев считал моментом наивысшего озарения личности героя Шекспира, нашли свое отражение в повести. Уже в пору создания черновой рукописи текста писатель тщательно разработал важный эпизод — беседу Натальи Николаевны с Харловым, во время которой она добивается ответа на вопрос, как произошло изгнание Харлова и кто повинен в его несчастье, а Харлов утверждает: «...больше всех виноват я сам»,— и, отвергая мысль богатой соседки о том, что «вина» его состояла в неосмотрительной щедрости, поясняет: «...не тем я провинился, сударыня, а гордостью. Гордость погубила меня»,— и тут же, на полях, Тургенев приписывает: «не хуже царя Навуходоносора» (с. 207). Этому сознанию героя соответствует мнение народа о трагической вине семьи Харловых. Народу писатель как бы передает свое излюбленное толкование афоризма Шекспира: «Нет виноватых», что другими словами значит: «нет и правых» (см. наст. изд., т. 7, с. 228; см. также письмо Тургенева к Ю. П. Вревской от 18(30) января 1877 г.). «Казалось, все эти люди знали, что грех, в который впало харловское семейство,— тот великий грех поступил теперь в ведение единого праведного Судии и что, следовательно, им уже не для чего было бес-

покоиться и негодовать» (с. 223). Крестьянам придан здесь тот строй чувств, который Тургенев ощущал в трагедии Шекспира и который дал ему основание в юбилейной речи 1864 г. назвать великого английского драматурга «беспощаднейшим и, как старец Лир, всепрощающим сердцеведцем». Беспощадностью оценок и высокой терпимостью проникнуты и внесенные при переписке белового автографа эпизоды, которые содержат оценку крестьянами характера Харлова и его судьбы: «А ведь покойный сам вас притеснял? — спросил я одного мужика, в котором я признал харловского крестьянина.— Барин был, известно,— отвечал мужик,— а все-таки... обидели его!» (с. 223).

Как бы стремясь ответить на возможный вопрос читателей, отраженный в подлежащем изъятию эпилоге, где в его подобии «Короля Лира» Шекспира Корделия? — Тургенев усилил эпизоды, раскрывающие черты сходства Евлампии и Корделии (непокорность Евлампии, ее нежелание пресмыкаться перед отцом в момент раздела имущества, ее преданность отцу и желание, хотя и запоздалое, искупить свою вину и вину сестры перед отцом). Тургенев также вписал обещания Евлампии залечить раны отца, нежностью и уходом заставить его забыть его горести, прямо напоминающие эпизоды лечения Лира в стане Корделии. Эта обработка производилась постепенно, но неуклонно — в черновом и беловом автографах и наборной рукописи.

Вместе с тем, не стирая черт, общих для характеров всех членов харловского семейства, Тургенев, по мере обработки повести, всё более ощутимо противопоставляет Анну Евлампии. Евлампия, у которой «сердце, как уголь горячий» (с. 189 — слова, включенные в беловой автограф), чужда суровой и решительной Анне. В текст белового автографа внесено признание Евлампии о себе и сестре: «согрешили» (с. 218) — слово покаяния, перекликающееся с признанием Харлова и передающее чувство, далекое от страстей, которые владеют расчетливой, жестокой Анной, способной даже отравить мужа (см. с. 225 — разговор соседей об этом факте включен в текст в беловой автограф). Этот сюжетный ход опять вызывает в памяти драму Шекспира (попытку Гонерильи отравить мужа).

Усиление и конкретизация психологических характеристик героев повести — участников конфликта, приближение в ряде случаев к сюжетной схеме «Короля Лира» Шекспира не изменило одной общей особенности повести Тургенева. Она сохранила свою трагическую безысходность, осталась драмой без катарсиса, рассказанной в повествовательной форме. Наделив Евлампию некоторыми чертами Корделии, Тургенев не снял с нее, а даже усилил ее трагическую вину. Однако картина смерти Харлова, хотя она и лишена всякого светлого начала, в беловом автографе несколько изменилась. Вместо отзывающегося мрачной символикой образа: «Старик священник подобрал рясу и положил крест Харлову на кровавые губы», вычеркнутого в черновом автографе, появились детали, передающие некоторую торжественность его смерти: «Казачок Максимка приблизился, стал на одно колено и, далеко отставив другую ногу, как-то театрально поддерживал руку бывшего своего барина». И далее: «Максимка начал креститься».

С разработкой характеров членов харловского семейства и со стремлением писателя прояснить аналогию рассказанной им истории с трагедией Шекспира связано изъятие главы, рисующей бегство Евлампии из родного дома. Сходство эпизодов бегства

Евлампии и Харлова, вряд ли преднамеренное, усиливало близость характеров и судеб Харлова и его дочери настолько, что самое столкновение между «степным королем Лиром» и его неблагодарными наследницами отчасти теряло свою остроту. Возможно, что из этого соображения, а также потому, что внесение сцены летнего свидания в лесу нарушило стройность сопоставления двух встреч с героиней (в беловом автографе этой сцены в лесу нет — есть только помета на полях: «Сцену приб⟨авить⟩»), Тургенев вычеркнул эпизод бегства Евлампии. В первом слое рукописи содержатся также отдельные фразы и выражения, сближающие характеры Анны и Харлова. Эти фразы подверглись впоследствии изменению. Так, например, здесь было замечание соседа по поместью об Анне Слёткиной: «Такой же кулак, как и покойный», затем вычеркнутое. Самый образ Харлова — «степного короля Лира» — подвергся значительной обработке. В описании внешности героя были черты, явно связанные с тем этапом работы над повестью, который отражен в формулярном списке действующих лиц. Вместо «росту исполинского!» (с. 159) было: «росту исполинского, тучности необъятной. Покойный Лаблаш перед ним показался бы стройным юношей» [2]. Отбрасывая сравнение с Лаблашем, много говорившее ему самому, но понятное далеко не каждому читателю, Тургенев освобождал повествование от «опор», которые были необходимы ему при построении образа.

Характеристики многих второстепенных лиц повести были шире и разностороннее в первоначальном тексте повести. Такая детальность описаний персонажей, не участвующих в основной интриге, затемняла композиционную схему повести, путала аналогию Харлова с «Королем Лиром». Поэтому Тургенев в ряде случаев отказался от многих деталей, подчас весьма интересных. Так, первоначально гораздо более разносторонне характеризовался Житков, о жизненных планах которого говорилось подробнее и личные качества которого (жестокость, привычка расправляться с солдатами и мужиками при помощи кулаков) более откровенно связывались с привычками, усвоенными им в годы службы. Текст содержит следующие, подвергшиеся затем исправлению или изъятию характеристики Житкова: после «словно росинками» (с. 173) — «Перед матушкой он просто уничтожался не столько из уважения, сколько от жадности к приобретению; он видел в ней ⟨...⟩ будущую помещицу, то есть, говоря без обиняков, дойную корову» [3] вместо: «Матушка не обманывалась насчет его способностей» (с. 173) — «Матушка считала его распорядительным человеком, но сомневалась в его умственных способностях. Вообще он внушал ей чувство, похожее на гадливость»; после: «Евлампия себя в обиду не даст» (с. 173) — «Я был того же мнения,— но, признаюсь, не мог себе представить эту мощную красавицу женою подобного [балбеса] господина. Самому Житкову она очень нравилась; он даже как-то особенно хмыкал, когда упоминал о ней. Он был великий охотник до женских прелестей; но по тупоумию успевал мало,—

---

[2] Луиджи Лаблаш (1794—1858) — знаменитый итальянский оперный певец, бас, выступавший в 1852—1857 годах в Итальянской опере в Петербурге, был, очевидно, лично знаком Тургеневу.

[3] Подразумевается, что Житков видел в матери рассказчика владелицу имения, которым он будет управлять.

хотя и собирался обзавестись гитарой и подучиться, так как он на этом инструменте играть не умел». Особенно яркая характеристика Житкова содержалась первоначально в развернутом окончании, своеобразном эпилоге повести. О Житкове здесь говорится: «Житков жив до сих пор и даже нисколько не изменился; то же волосатое, вечно потное лицо, тот же ищущий и тупой взгляд. Он почти ежегодно ездит в губернский город, добивается казенного места, получает это место, лишается его по крайней неспособности, снова ездит в город, получает место снова и т. д. Шутники у нас прозвали его барометром охранительной партии и по его возвышению и падению судят о том, как стоят ее акции. Он дожидается „настоящего“ губернатора; быть может, и дождется».

Из вариантов чернового и первого слоя белового автографов можно извлечь некоторые дополнительные данные о Слёткине и его отношениях с Евлампией, а также о реакции Анны на связь сестры с ее мужем. Тургенев смягчил эти эпизоды и фразы, опасаясь, по-видимому, обвинений в цинизме, которые возводились на него даже по поводу «Накануне» и «Первой любви».

Характеристика охотника Викулова в первоначальных рукописях заставляет вспомнить о близости творческой манеры Тургенева в повести «Степной король Лир» к стилю «Записок охотника». Вместо «некто Викулов, из мещан» (с. 225) в беловом автографе было: «некто Викулов, кронштадтский мещанин (почти все тогдашние вольноотпущенные приписывались к Кронштадту)». Уничтожая такие колоритные подробности, писатель стремился к возможно большему сокращению всех эпизодов, не имеющих отношения к центральному образу — Харлову — и к главной сюжетной коллизии.

Особенно много внимания уделил Тургенев разработке юридических и бытовых деталей, невозможность наблюдения и собирания которых он остро ощущал за границей во время работы над повестью. В текст повести были внесены новые подробности, касающиеся раздела имущества Харлова и разрушения им крыши флигеля. Посещавший писателя К. Н. Модзалевский вспоминал: «... Тургенев настойчиво спрашивал меня, как называются поперечные брусья на крыше, на которые кладут кровлю. Я отвечал ему — стропила» (см.: *Т сб (Бродский)*, с. 50). «Стропила», как и многие другие слова, обозначающие части крыши, вошли в текст повести. Специфичность подобных названий была подчеркнута уже в первом эпизоде: Наталья Николаевна, узнав из рассказа Квицинского о разорении крыши дома Харловым, недоуменно повторяет: «Шалёвки... однотёс... выведены». Весь этот эпизод был вставлен в текст белового автографа. Впоследствии при переписывании здесь была сделана сноска, поясняющая специальные выражения. Уточнение деталей быта нашло выражение и во вставленном в эпизод разрушения дома обращении Харлова к Слёткину: «Али закон вспомнил: коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя ∽ то датель властен всё назад потребовать! ∽ Валяй!» (с. 218).

К числу существенных фактических уточнений, сделанных в беловом автографе, принадлежит и исправление первоначального варианта: «О федосеевцах-раскольниках» — на «О хлыстах-раскольниках». Очевидно, справившись о федосеевцах, Тургенев узнал, что хотя они и «беспоповцы», но «богородицы» у них не может быть, и заменил «федосеевцев» на «хлыстов», действительно обожеств-

лявших своих «пророков» и «пророчиц». Возможно, что эта ошибка была писателю указана во время чтений повести в России.

Очень важным и характерным для творческой манеры писателя изменением было изъятие прежнего окончания повести. Уже повесть «Первая любовь» Тургенев в одной из редакций оканчивал беседой слушателей, обсуждающих ее содержание [4]. «Степной король Лир» первоначально завершался аналогичным эпизодом. Вместо заключительной фразы: «Рассказчик умолк — а мы потолковали немного, да и разошлись восвояси» — в черновом и беловом автографах был своеобразный эпилог, составлявший вместе с введением рамку повествования [5].

Этот текст был вычеркнут Тургеневым при окончательной доработке повести, вероятно, потому, что писатель не хотел давать непосредственно публицистического истолкования своего замысла, разъяснять его значение. В этом тексте был пояснен политический смысл образа Житкова. В то же время писатель комментировал здесь вопрос о соотношении своего произведения с его литературным прототипом. Он изобразил обмен мнениями, возникший, когда слушатели принялись обсуждать историю Харлова: «Кто-то заметил, что название „Лира“ вряд ли может идти к Харлову, и притом,— прибавил он,— если мы даже допустим, что Анна и Евлампия напоминают Генерилию и Регану — то что же Корделия? Где Глостер, где Кент, где шут, наконец? — Не Сувенир же в самом деле! 〈...〉 Хозяин возразил ему, что дело шло не о воспроизведении всех шекспировских образов». Таким образом, как бы предвидя возможные нападки критики, Тургенев возражал на них (обвинения, подобные мнению одного из гостей в вычеркнутом эпилоге повести, были затем предъявлены Тургеневу Н. Н. Страховым). Это публицистическое разъяснение было впоследствии заменено новыми уточнениями в тексте, которые прояснили характер героя и его отношения с дочерьми. Возможно, что решение изъять концовку было продиктовано Тургеневу и критикой друзей. 25 октября 1870 г. А. А. Фет писал И. П. Борисову: «Что касается до „Короля Лира“, то увы! всё тут хорошо и верно, только нет соку — поэзии нет. Это клен без кленовика. Точно философско-эстетическая критика на „Лира“ Шекспира — дескать, вот это что значит — вы поймите, дураки!» (*ГБЛ*, ф. 315, карт. 2, ед. хр. 30. Сообщено Ю. Д. Левиным). Мнение Фета, усматривавшего в повести Тургенева избыток элементов эстетической критики, могло стать известно Тургеневу и повлиять на его работу над повестью. Фет был частым собеседником Тургенева, и им неоднократно случалось спорить о Шекспире. В письме от 3(15) октября 1869 г. Тургенев писал Фету: «... мысленно рисую Вас то с ружьем в руке, то просто беседующего о том, что Шекспир был глупец — и что, говоря словами Л. Н. Толстого, только та деятельность приносит плоды, которая бессознательна». Упоминание имени Толстого в данной связи не случайно. Шекспир составлял постоянный предмет разговоров и споров Толстого и Тургенева, особенно в первый период их знакомства.

---

[4] См.: К и й к о Е. И. Окончание повести «Первая любовь».— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 59—68.

[5] См. вариант к с. 265, строки 41—42 в *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. 10, с. 404—405.

«Король Лир» во второй половине XIX века являлся, несомненно, одной из наиболее популярных в России трагедий Шекспира. Мысль об этом произведении неизменно всплывала в сознании русских литераторов, когда речь шла о дочерней неблагодарности или оскорблении достоинства гордого и властного человека. Так, внутреннее сопоставление героя с королем Лиром современники усматривали в комедии А. Н. Островского «Свои люди — сочтемся!» [6].

Тургенев в юности с подлинника перевел «Короля Лира». Текст этого перевода был уничтожен (см. письмо к А. В. Никитенко от 26 марта (7 апреля) 1837 г.), но трагедия прочно вошла в сознание Тургенева. В статье о «Записках оружейного охотника» С. Т. Аксакова он цитирует отрывок из этого произведения, а в письме к П. Виардо от 18(30) апреля 1848 г. сравнивает поэта Гервега с королем Лиром. В кругу литераторов Тургенев считался одним из лучших знатоков Шекспира. Ему А. В. Дружинин сообщал с восторгом, что Толстой уже «понимает Лира и пил за здоровье Шекспира» (*Т и круг Совр*, с. 202). К Тургеневу же Дружинин обращался за оценкой своего перевода «Короля Лира» (*Совр*, 1856, № 12). Тургенев одобрил перевод и особенно вступительную статью (в письме к А. В. Дружинину от 13(25) января 1857 г.).

Шекспир, его герои и соотнесение их с современными типами были предметом постоянных бесед в литературных кружках 1840—1850-х годов. Однако не только от шекспировских образов, но и от других «мировых типов» отталкивался Тургенев при осмыслении человеческих характеров. Жалуясь, например, А. А. Фету в письме от 26 июля (7 августа) 1867 г. на злоупотребления управлявшего Спасским Н. Н. Тургенева, писатель замечал о нем: «...бьет на мое разорение. Правда — за всё сие — он дает мне понятие о новом интересном типе степного Тартюфа, „злополучного страдальца“ — грабителя...» В другом письме о Н. Н. Тургеневе и его жалобах сказано еще более определенно: «... они могут составить отличный материал для лица „степного Тартюфа“, который так или иначе — а уж угодит в одну из моих повестей» (письмо к И. П. Борисову от 12(24) февраля 1868 г.). Таким образом, сопоставление современного лица с мировым типом представлялось писателю и прежде материалом, удобным для повести; а выражение «степной Тартюф» в применении к Н. Н. Тургеневу лишний раз говорит о том, что действие повести «Степной король Лир» развертывается в родных писателю местах. Отметим также, что тема «русского Тартюфа» была разработана Ф. М. Достоевским в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (1859).

Обитатели Спасского, мать писателя и ее окружение (соседи, приживалы, дворовые, крепостные крестьяне) дали Тургеневу, несомненно, основную долю материала для произведения. В формулярном списке действующих лиц повести указаны некоторые прототипы героев. Каждый из этих прототипов представляет материал для характеристики отдельных черт персонажа. Об одном из таких прототипов Тургенев записывает: «Взять несколько черт из Л. И. Беккера, *кэтика*» (с. 409). Многие имена, упоминаемые в формулярном списке, не поддаются расшифровке (см.: *Mazon*,

---

[6] См.: Некрасов Н. Сочинения Островского.— Атеней, 1859, № 8, с. 472; ср.: Добролюбов Н. А. Темное царство. Сочинения А. Островского. Два тома.— *Добролюбов*, т. 5, с. 52—53.

p. 117). Исследователь творчества Тургенева И. С. Розенкранц, пытавшийся определить прототипы героев повести «Степной король Лир», по сути дела немного добавил к данным, зафиксированным в формулярном списке и списке действующих лиц. То обстоятельство, что прототипом богатой помещицы Натальи Николаевны — матушки рассказчика — послужила Варвара Петровна Тургенева, мать писателя, видно из формулярного списка, где характеристика этой героини повести лаконична: «Н⟨аталь⟩я Н⟨иколаевн⟩а. Матушка» (писателю здесь нечего было уяснять и обдумывать — характер был ему хорошо известен). Сомнения не вызывает и прототип управляющего имением Натальи Николаевны Квицинского; это управляющий Спасского-Лутовинова Н. А. Кишинский. Сам Тургенев замечает в формулярном списке об этом персонаже: «вроде К⟨ишинско⟩го» (с. 411).

Розенкранц предлагает дешифровку сравнения в формулярном списке, относящегося к Слёткину: «Фигурой похож на Е. К., только красивее». Е. К., по мнению исследователя, литератор и корреспондент Тургенева Елисей Яковлевич Колбасин (Р о з е н к р а н ц И. С. Творческая история повести И. С. Тургенева «Степной король Лир».— Slavia, 1934, Ročnik XIII, Sešit 1, с. 48). Прототипом Житкова он считает — едва ли основательно — кулака-мельника Жикина, с которым Тургенев вел тяжбу (там же, с. 49). Неумелый, лишенный деловой хватки, но прочно усвоивший жандармско-армейские привычки николаевской военщины, Житков совершенно не напоминает всемогущего кулака -- соседа Тургенева. Харлов в формулярном списке назван Николаем Сем⟨еновичем⟩ Протасовым. М. А. Щепкин в своих воспоминаниях рассказывает об истории помещика Степана Ивановича Ярышева — хозяина сельца Меркулово (Протасово тож), жизнь которого чрезвычайно близка к истории «степного короля Лира» (см.: *ИВ*, 1898, № 9, с. 920—921).

Представляется, однако, что прототипом Харлова послужил именно Протасов — «Мценский силач», сосед по имению Шеншиных — родственников Фета. А. А. Фет дал развернутую характеристику Протасова в своих мемуарах «Ранние годы жизни» (М., 1893, с. 61—62). Эта характеристика и сведения о Протасове в мемуарах Фета совпадают с очерком личности Харлова, данным в формулярном списке к повести «Степной король Лир», где он уподоблен Протасову. В мемуарах Фета, с одной стороны, и в «Степном короле Лире», с другой, отразились общие обоим писателям воспоминания об их земляке (см. статью: Л о т м а н Л. М. Тургенев и Фет.— В сб.: Тургенев и его современники. Л., 1977, с. 45—46).

Некоторые детали повести заимствованы из жизни друзей и собственного опыта писателя. Так, например, Е. П. Ковалевский верил в пророческое значение плохих снов. Н. А. Некрасов писал о нем Тургеневу 21 мая (2 июня) 1857 г.: «... он был очень весел в Париже, да увидал сон, предсказывающий ему смерть,— и на нем лица нет; пусть-де Тургенев приедет со мной проститься — умру скоро!» (*Некрасов*, т. 10, с. 339—340). Болезненные ощущения, которые пережил Харлов после страшного сна и которые он счел за предвестия смерти, довелось пережить самому писателю. 24 мая (5 июня) 1869 г. Тургенев писал П. В. Анненкову: «... пять дней тому назад я, лежа в постели ⟨...⟩ почувствовал вдруг нечто вроде сильного сотрясения... и левая рука моя осталась недвижимой, как дерево. Я испугался, стал оттирать ее правою, и хотя минут

через пять чувство в нее возвратилось и я ею действую теперь как следует, однако сердце у меня сильно заныло...» Не исключено, что «буйство» Харлова, готового оказать неповиновение властям в стремлении восстановить справедливость, вызывало у Тургенева ассоциации с пережитым им самим конфликтом — его попыткой силой воспротивиться крепостническому произволу, в результате чего против него было возбуждено судебное дело о «буйстве» (см.: Дунин А. «Дело о буйстве» И. С. Тургенева.— *ИВ*, 1912, № 2, с. 629—630; Гастфрейнд Н. А. Геройство молодого Тургенева.— Литературные вечера, 1912, № 7, с. 514—517).

Сообщая Анненкову об основательной переделке повести «Степной король Лир», Тургенев 15(27) июня 1870 г. писал: «... я столько переделал, что Вам, пожалуй, придется подвергнуться вторичной corvée ⟨принудительной работе⟩ чтения». Рукопись была переслана Анненкову, который «взялся продержать корректуру» (см. письмо Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 2 или 3 (14 или 15) июля 1870 г.). Именно потому, что Анненков должен был осуществлять связь с редактором «Вестника Европы», Тургенев запрашивал его 3(15) сентября 1870 г. о времени публикации повести. От Анненкова Тургенев ожидал и первых сведений об отношении читателей к его новой повести. Молчание его советчика и доверенного лица смущало писателя: «Ваше молчание уж точно может быть названо красноречивым, любезнейший Павел Васильевич; безо всякого с Вашей стороны извещения я понял, что мой старик последовал примеру своих старших братьев — „Бригадира“ и „Ергунова“, и получил полное фиаско у нашей публики»,— писал он Анненкову 16(28) октября 1870 г.

Неясные слухи о холодном приеме новой повести доходили до Тургенева сразу же после ее появления. 27 октября (8 ноября) 1870 г. он жаловался Я. П. Полонскому, что его «публика мало поощряет», и утверждал: «„Степной король Лир“ по всему, что я слышу, получил так называемый „succès d'estime“ ⟨успех из уважения⟩, а это для стареющего литератора хуже фиаско...» Однако уже через несколько дней к писателю стали стекаться более благоприятные и вдумчивые отзывы. Прежде всего Анненков поспешил рассеять впечатление, создавшееся у автора, и сообщить ему факты, свидетельствующие об успехе его повести. «То, что вы мне пишете о „Короле Лире“,— отвечал ему Тургенев 11(23) ноября 1870 г.,— меня порадовало. Говоря без обиняков, я на эту вещь употребил все усилия мышц своих; и не совсем приятно было мне думать, что все эти усилия повели к тому, что у нас называется „пшиком“. Оказалось противное, и я радуюсь». От М. М. Стасюлевича, вместе с оттисками повести, Тургенев получил известие о положительном отзыве И. А. Гончарова (см. письмо Тургенева Стасюлевичу от 3(15) ноября 1870 г.). Тургенев выразил М. М. Стасюлевичу свое удовлетворение тем, что Гончаров одобрил его произведение. Он знал, как резко критикует Гончаров многие его создания (см. письмо И. А. Гончарова И. С. Тургеневу от 28 марта ст. ст. 1859 г.— Гончаров, т. 8, с. 305—311 и ответ Тургенева от 7(19) апреля 1859 г.). Развернуто свое мнение о «Степном короле Лире» Гончаров выразил в письме С. А. Толстой от 11 ноября ст. ст. 1870 г.: «Вы, конечно, читали „Степной король Лир“. Как живо рассказано — прелесть! Этот рассказ я отношу к „Запискам охотника“, в которых Тургенев — истинный художник, творец, потому что он знает эту жизнь, видел ее сам, жил ею — и пишет с натуры ⟨...⟩

Эти две головки, дочерей Лира, не правда ли живые, бежавшие из грёзовских рамок! И очерчены так легко, почти без красок, будто карандашом: между тем — они перед глазами. Да, Тургенев — трубадур (пожалуй, первый), странствующий с ружьем и лирой по селам, полям, поющий природу сельскую, любовь — в песнях, и отражающий видимую ему жизнь — в легендах, балладах, но не в эпосе» (*Гончаров*, т. 8, с. 435). В этом, в целом положительном, отзыве звучит мысль, которую Гончаров и прежде высказывал, в частности в письме Тургеневу от 28 марта ст. ст. 1859 г., о том, что Тургенев — непревзойденный мастер изящных очерков, писанных с натуры, но решительно не способен создавать произведения крупной формы. В дальнейшем, вопреки своим первоначальным положительным отзывам о «Степном короле Лире», в «Необыкновенной истории» (1878), дав волю своему предубеждению против Тургенева, Гончаров в чрезвычайно враждебном тоне порицал попытку Тургенева своеобразно интерпретировать образы Шекспира в этой повести.

«Он ⟨Тургенев⟩ пробовал портить даже Шекспира: ну, там, конечно, испортить не мог. Вышли карикатуры, например, „Степной король Лир". Зачем было трогать великие вещи, чтобы с них лепить из навоза уродливые, до гнусности, фигуры? Можно ли так издеваться над трагическою, колоссальною фигурою короля Лира и ставить это имя ярлыком над шутовскою фигурою грязного и глупого захолустника, замечательного только тем, что он „чревом сдвигает с места бильярд", „съедает три горшка каши" и „издает скверный запах"!! Можно ли дошутиться до того, чтобы перенести великий урок, данный человечеству в Лире, на эту кучу грязи!!

Но Шекспир остался невредим, как невредима осталась бы его бронзовая статуя, если бы мальчишка бросил в нее камешком. Его не обокрадешь» [7].

В то время как Гончарова отталкивала грубость повести Тургенева, преувеличенное внимание к быту, которое он в ней усматривал, А. А. Фет обвинял писателя в недостаточном знании русской жизни и в чисто литературном, книжном подходе к ее живым, бытовым проявлениям. Фет писал о Тургеневе: «... тут он просто рассказал — но не вышло, хотя и здесь он нарядился в ноги стропил, шалевку и конек крыши и заставил дьячка раздувать паникадило: простое кадило ему в Бадене показалось малым. И как ухитрился дьячок не задувать, а раздувать паникадило?» (письмо И. П. Борисову от 25 октября 1870 г.— *ГБЛ*, ф. 315, карт. 2, ед. хр. 30) [8].

Новые проблемы, поставленные в повести, и новые черты творческой манеры писателя были недостаточно оценены критикой. Рецензент «С.-Петербургских ведомостей», отмечая «необыкновенную законченность художественной отделки» повести, считал всё же, что она ничего нового не вносит в творчество писателя (*СПб Вед*, 1870, 17(29) октября, № 286). Та же мысль сквозила и в отзыве рецензента «Нового времени» (1870, № 299, 31 октября), который утверждал, что повесть совершенна по форме, но писал вместе с

---

[7] Сборник Российской публичной библиотеки. Материалы и исследования. Пг., 1924, т. II, вып. 1, с. 37—38.

[8] Здесь Тургенев действительно ошибся, назвав кадило (ручную курильницу) паникадилом (паникадило — висячий подсвечник для большого числа свечей).

тем, что художественные достоинства нового произведения «обличают в беллетристических игрушках сильное и даровитое перо автора „Записок охотника“».

Н. Н. Страхов, соглашаясь с Ф. М. Достоевским [9], считал, что тон повести низок, что в грубости изображаемого быта, несмотря на безукоризненную правдивость картины, выразилось презрение Тургенева к родине. Вместе с тем он почувствовал, что Тургенев в этой повести затрагивает и по-своему решает на материале провинциальной жизни недалекого прошлого актуальные и острые современные вопросы: «Как боязлив,— заявлял он,— стал Тургенев! У него очевидно бродят разные мысли насчет русской жизни, но он не решается их прямо и ясно высказывать, и всё рассказывает странные истории и курьезные случаи, будто бы не имеющие *дальнейшего* значения» [10].

Холодное отношение критики и некоторых писателей к повести Тургенева не выражало, однако, в полной мере реакции читателей. Косвенным отражением читательского успеха была поспешность, с которой откликнулся издатель выходившей в Петербурге газеты «Nordische Presse» на появление «Степного короля Лира». 4(16) октября 1870 г. Тургенев сообщал М. М. Стасюлевичу: «Кстати о „Лире“ — третьего дня, т. е. 2/14-го окт⟨ября⟩, я получил из Петербурга телеграмму от Беренса, редактора „Nordische Presse“, который просил моего разрешения поместить перевод моей повести в фельетоне его газеты. Я согласился (по существующим законам он и не нуждался в моем согласии), с тем чтобы он предварительно подверг перевод на рассмотрение Анненкову: все-таки некоторая гарантия против перевирания! Я также сказал Беренсу, чтобы он с своей стороны известил Вас об этом». Перевод повести на немецком языке появился в «Nordische Presse», 1870, № 262, 263, 266, 269, 271, 276, 277, 280—282, с 9(21) декабря 1870 г. до 31 декабря 1870 г. (12 января 1871 г.).

Французский перевод повести был напечатан в «Revue des Deux Mondes», 1872, t. 98, 15 mars, а затем в сборнике «Etranges Histoires», Paris, 1873.

Сообщая о предстоящем появлении перевода «Степного короля Лира» в «Revue des Deux Mondes», Тургенев писал П. В. Анненкову 2(14) марта 1872 г.: «Завтра в „Revue des Deux Mondes» появляется перевод „Степного короля Лира“, значительно урезанный и укарнаушенный». Перевод этот был сделан Тургеневым совместно с Л. Виардо. Некоторые (главным образом бытовые) детали, очевидно, по просьбе редакции журнала в нем были упрощены или опущены.

В начале семидесятых годов «Степной король Лир» был напечатан дважды на польском языке — в Варшаве (1871) и Познани (1872), а также появился на чешском (Прага, 1873) и датском (Копенгаген, 1873) языках.

В 1872 г. эта повесть была напечатана на немецком языке в Митаве (изд. Behre) и в Вене: в 1872 г. она была под названием «Ein König Lear des Dorfes» включена в VI том немецкого собрания сочинений: Ausgewählte Werke, Bd. VI, и под названием «Ein König

---

[9] См. письмо Ф. М. Достоевского Н. Н. Страхову от 2(14) декабря 1870 г.— *Достоевский*, *Письма*, т. II, с. 300.

[10] Шестидесятые годы. Материалы по истории литературы и общественному движению. М.; Л.: АН СССР, 1940, с. 269.

Lear des Landes» — сборник «Drei Novellen». Deutsch. von W. A. Polowinoff. Wien; Hartleben. В 1877 г. перевод повести — «Ein König Lear der Steppe», осуществленный В. Ланге (W. Lange), вышел в Лейпциге, изд. Reclam. Так же был озаглавлен и вышедший в 1882 г. в Берлине, изд. Янке (Janke), новый перевод повести А. Герстманна (A. Gerstmann).

На английском языке «Степной король Лир» в начале 1870-х годов издавался трижды. Первое издание — «King Lear of Russian steppes». Pr. Bury Palliser — London Society, 1872, № 131, т. XXII, p. 437—449. Отрывок из этого перевода был перепечатан в «Every Saturday», 1872, № 22, 30 nov., II, p. 608—613. Другой перевод появился в «Living age», № 1491, т. CXVI, 4 янв. 1873, p. 48—57. В Америке в 1872 г. вышел перевод: «A Lear of the Steppe». Southern Magazine, XI, 513, 641.

Стр. 159. *Степной король Лир.*— Слово «степной» в данном контексте могло иметь два значения: 1) Житель степного района, в котором много полей и нет леса (ср. рассказ «Лес и степь» из «Записок охотника»). По содержанию повести Харлов является владельцем рощи, многие эпизоды повести происходят в лесу: в I главе упоминается о встрече Харлова в лесу с медведем, в III главе приводятся слова Харлова о том, что он много французских мародеров «по лесам колачивал», тут же, в описании героя говорится: «землей отдавало от него, лесным дромом, тиной болотной», в главе XXIII этот признак внешности Харлова вторично подчеркнут: «в лесном болоте не так сильно пахнет». Таким образом, Харлов очерчен скорее как «лесной» человек, чем как житель безлесного района. Более соответствует характеристике Харлова иное значение слова «степной». 2) Степной — происходящий из сельской местности, деревни. Характерно, что переводчики повести Тургенева на немецкий язык, очевидно не без консультации с автором, передали именно такой оттенок заглавия «Степной король Лир»: «Ein König Lear *des Dorfes*» (1872) и «Ein König Lear *des Landes*» (1872), т. е. «Деревенский король Лир», «Сельский король Лир». В черновом автографе повести «Ася» об одном из ее героев — Гагине говорилось: «от Гагина... так и веяло дворянином, милым, полуизнеженным, степным дворянином» (*Т сб*, вып. 4, с. 26). В окончательном тексте повести слова «степным дворянином» заменены на «великорусским дворянином». Тургенев употреблял слово «степной», очевидно, в том же его значении, в котором его употреблял Пушкин (см.: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980, с. 355). Отметим также, что, характеризуя героев поэмы Пушкина «Граф Нулин», В. Г. Белинский определяет помещика — мужа Натальи Павловны — как представителя «истинного типа степного медведя и псаря» (*Белинский*, т. 7, с. 427).

Стр. 160. ... *в золотую книгу записался.*— «Золотой» родословной книги знатных дворянских родов не существовало. Харлов имеет в виду, быть может, «бархатную книгу» — сборник родословных князей и дворян русских и «выезжих», составленный после указа от 12 января 1682 г. об уничтожении местничества в палате родословных дел.

Стр. 161. *Темным прозывался великий князь Василий Васильевич.*— Великий князь московский Василий II Васильевич (1415—1462) был ослеплен галицким князем Димитрием Шемякой и поэтому прозван Темным.

С т р. 164. ... *новиковского «Покоящегося трудолюбца»...*— Журнал «Покоящийся трудолюбец» издавался Н. И. Новиковым в Москве в 1784—1785 гг. Фактическим редактором его был М. И. Антоновский. Всего вышло четыре части. Участниками журнала были студенты и профессора Московского университета, в своем большинстве масоны. Ряд статей и стихотворений журнал посвятил философско-мистическим рассуждениям о смерти и бессмертии.

С т р. 165. *«Но че-ловек страстный ᔕ меня счас-тливым!» и т. д.*— Цитата из статьи: «Рассуждения о беспорядках, производимых страстями в человеке, и о средствах, какие в таких случаях употреблять должно» (см. сноску Тургенева на с. 165). Раздел статьи, из которого приведена цитата, посвящен разоблачению гордости как пагубной страсти. Автор призывает гордого человека к смирению во имя нравственного усовершенствования.

Попалась ему как-то картинка, изображавшая горящую свечу ᔕ «Такова жизнь человеческая!» — Изображения, подобные описанному здесь Тургеневым, в большом количестве содержались в книге Н. М. Амбодика «Емблемы и символы избранные, на российский, латинский, французский, немецкий и английский языки преложенные». СПб., 1811 г. Книга эта имелась в библиотеке Спасского и в детстве произвела огромное впечатление на Тургенева (см. письмо к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3, 8(15, 20) сентября 1840 г.; см.также наст. изд., т. 6, с. 39—40). Отдельные элементы описанной Тургеневым картины (свеча, символические фигуры с надутыми щеками — «ветры») много раз повторяются в книге Амбодика, но композиция в целом, как и подпись к ней, очевидно, составлена самим Тургеневым по образцу композиций Амбодика. Пародия на подобные композиции и на подписи к ним содержится и в письме Тургенева к М. А. Бакунину и А. П. Ефремову от 3, 8(15, 20) сентября 1840 г.

С т р. 169. ... *проваживал по двору моего клеппера* ...— Клеппер — лошадь эстонской породы — см. наст. изд., т. 4, с. 644.

С т р. 174—175. ... *заснул! И вижу, будто в комнату ко мне вбег вороной жеребенок ᔕ Это мне предостережение ... К смерти моей значит* ... — В эпизоде сна Харлова и в реакции героя на этот сон отразилось народное поверье: «Если больной бредит дорогой (о дороге, о конях), то умрет» (*Даль*, т. 2, с. 155).

С т р. 180. ... *первый по губернии масон.*— Масонские ложи в России были закрыты в 1822 г. Несмотря на запрещение, в ряде мест они продолжали действовать. В 1826 г. запрещение было повторено, но и это не прекратило деятельности масонов в Москве и провинции (см.: П ы п и н А. Н. Русское масонство. XVIII и первая четверть XIX в. Пг., 1916, с. 454 и 532).

С т р. 181. ... *отставного штык-юнкера...*— Штык-юнкер — младший офицерский чин в артиллерии, соответствовавший прапорщику в пехоте.

Рукою властной! — Старинное юридическое выражение, означающее «собственноручно» (властный — собственный в западнославянских языках). Харлов, по-видимому, понимает его буквально, производя от слова: «власть».

С т р. 184. ... *на «Страшном судилище» Микель-Анжело...*— Речь идет о росписи алтарной стены Сикстинской капеллы, картине «Страшный суд», написанной Микеланджело Буонарроти в 1536—1541 гг. Картина представляет собой огромную композицию,

заключающую множество мощных человеческих тел, чрезвычайно динамичных и напряженных.

... он, по слухам, был при Потемкине «валторщиком»...— Князь Г. А. Потемкин умер в 1791 г., т. е. более чем за 40 лет до описываемых в повести событий. «Валторшик» — оркестрант, игравший на валторне — духовом инструменте, сходном по внешнему виду и звуку с охотничьим рогом и применявшемся в домашних оркестрах богатых помещиков.

Стр. 189. *К Митрофанию съездишь...*— Митрофаний — воронежский епископ; по смерти (1703) причислен к лику святых. К мощам его в Воронеже совершались паломничества.

... в Оптину пустынь...— Оптина-Введенская Макариева пустынь, мужской монастырь в Калужской губернии.

Стр. 191. *«Смерть есть важная и великая работа натуры ∽ духовного себе места...» и т. д.*— Цитируемые строки заимствованы из опубликованной в т. III «Покоящегося трудолюбца» статьи: «Письмо с того света в Москву от Мумпага к сыну малыя земли Муравью, живущему в Муравейнике». В статье этой сделана попытка объяснить соотношение материального и духовного начала в жизни человека и истолковать проблему бессмертия души с масонских позиций.

Стр. 198. *Талагаю-то этому?* — Талагай — лентяй, шатун, тунеядец.

Стр. 217. *... на лице одного к смерти приговоренного.*— Имеется в виду Тропман — убийца, на казни которого в Париже Тургенев присутствовал 7(19) января 1870 г. Это событие описано им в очерке «Казнь Тропмана» (*ВЕ*, 1870, № 6, с. 872—890). Здесь Тургенев упоминает об улыбке удовольствия, появившейся на лице Тропмана, когда с него перед казнью сняли тяжелый тюремный камзол.

Стр. 218. *Али закон вспомнил ∽ властен всё назад потребовать?* — Слова эти являются сокращенной и несколько стилистически переработанной цитатой из выписки «Правила из узаконений. Дарение», сделанной не рукою Тургенева (может быть, по его просьбе Н. А. Кишинским) и хранящейся в *Bibl Nat* (Slave 76, фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 229). В разделе «Уничтожение дарения» третий пункт гласит: «Если принявший дар учинит покушение на жизнь дарителя, причинит ему побои или угрозы, оклевещет его в каком-либо преступлении или вообще окажет ему явное непочтение, то даритель имеет право требовать возвращения подаренного».

Стр. 220. *... продольный верхний брус крыши, конек...*— В сне Харлова, предвещающем гибель (явление жеребенка), и в самой смерти героя при разрушении крыши отразились старинные поверия о снятии потолочной матицы или «конька» на крыше для ускорения смерти хозяина дома (см.: Алексеев М. П. К Сну Святослава в «Слове о полку Игореве».— В кн.: Слово о полку Игореве./Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М.; Л.: АН СССР, 1950, с. 246—247).

Стр. 224. *... размежевание чересполосицы...*— В 1836 г. в губернских и уездных городах были учреждены специальные посреднические комиссии для проведения в трехгодичный срок добровольных соглашений по разделу чересполосных земельных угодий (см.: Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе, № 8763). Размежевания эти обычно проходили с

большими трениями и конфликтами. Тургенев воспользовался комическими ситуациями, возникавшими при размежеваниях, для своей пьесы «Завтрак у предводителя» (см. наст. изд., т. 2, с. 623—624).

СТУК... СТУК... СТУК!..

(с. 228)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Беловой автограф. Отрывок. 2 с. Хранится в *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 79; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 222.
ВЕ, 1871, № 1, с. 50—75.
Т, *Соч*, *1868—1871*, ч. 8, с. 149—182.
Т, *Соч*, *1874*, *ч. 7*, с. 141—172.
Т, *Соч*, *1880*, *т. 9*, с. 1—35.
Т, *ПСС*, *1883*, т. 9, с. 1—36.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1871, № 1, с подзаголовком «Студия» и подписью: Ив. Тургенев.

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883*.

Рассказ был написан в августе — сентябре 1870 г. под впечатлением летнего пребывания в России. 3(15) сентября 1870 г. Тургенев писал из Баден-Бадена П. В. Анненкову: «У меня находится совсем готовый и переписанный рассказ, которым я разрешился в течение месяца. Его можно было бы поместить в „Вестнике Европы“ за будущий год».

Однако затем писатель продолжил работу над рассказом. В письмах от 4(16) октября и 3(15) ноября 1870 г. Тургенев сообщал М. М. Стасюлевичу, что переписанный рассказ отправлен им в Петербург Анненкову для вручения его редактору «Вестника Европы». Анненков должен был, несомненно, служить не просто посредником, передающим рукопись, но, как всегда, первым критиком и редактором нового произведения. К нему в не меньшей степени, чем к Стасюлевичу, была обращена просьба оценить качество «студии», которую следовало печатать, «...если она окажется пригодной...» Решало в данном случае мнение Стасюлевича — редактора журнала. Стасюлевичу рассказ явно понравился больше, чем Анненкову. Анненков относил «Стук... стук... стук!..» к числу «слабых вещей» Тургенева (см. письмо Анненкова к Стасюлевичу от 1 мая 1871 г.— *Стасюлевич*, т. 3, с. 298).

Собираясь отправить рассказ в Россию, Тургенев торопил Стасюлевича с его публикацией и ссылался на то, что этот рассказ должен войти в дополнительный том его сочинений, издаваемых Салаевым. Просьба эта была повторена после отправления рассказа (см. письма Тургенева Стасюлевичу от 4(16) октября и 3(15) ноября 1870 г.). Стасюлевич отнесся с большим вниманием к пожеланиям автора рассказа. Он напечатал, согласно просьбе Тургенева, «Стук... стук... стук!..» в № 1 своего журнала за 1871 г. Вскоре этот рассказ появился в 8-й, дополнительной, части издания сочинений писателя, где он был перепечатан без каких-либо изменений. Рассказ не отнял у писателя много времени и усилий. Недаром работу над ним он характеризовал в письме к И. П. Борисову от 1(13) октября

1870 г. словами: «...а я пока настрочил другой небольшой рассказец, под заглавием „Стук...стук... стук!..“». И добавлял: «Тоже воспоминание молодости», объединяя таким образом в отношении источника сюжета «Стук... стук... стук!..» со «Степным королем Лиром».

Обстоятельства жизни Риделя, охарактеризованные в зачине рассказа («Я расскажу вам, господа, историю, случившуюся со мной в тридцатых годах ⟨...⟩ Я жил тогда в Петербурге — и только что вышел из университета. Мой брат служил в конной гвардейской артиллерии прапорщиком»), носят автобиографический характер. В тридцатых годах Тургенев был студентом Петербургского университета (1834—1837). Брат его в это время служил в гвардейской конной артиллерии. М. П. Алексеев в своей статье «Тургенев и Марлинский», сопоставляя Теглева с героем раннего рассказа Тургенева «Похождения подпоручика Бубнова» — офицером, погибающим от скуки и душевной пустоты, любимым размышлением которого было, «что бы он стал делать, если б он был Наполеон», предполагает, что оба образа имеют один реальный прототип (*Творч путь Т*, с. 195—196). Однако не только непосредственные впечатления русского быта, не только охватившие писателя во время посещения России воспоминания, но важнейшие литературные и общественные проблемы эпохи составили главный смысл этой «студии» Тургенева и определили родственность ее с наиболее серьезными замыслами и произведениями писателя второй половины 1860-х годов.

Герой рассказа «Стук... стук... стук!..» — Теглев, фанатично верящий в «судьбу» и, вопреки логике и разуму, убежденный в своем высшем предназначении, по существу своего характера близок к старообрядческим вождям и сектантским пророкам, психология которых занимала писателя во время его работы над замыслом романа о Никите Пустосвяте, над «Странной историей» и «Степным королем Лиром». Суеверия, которые владеют душой Теглева, не имеют ничего общего с религиозным фанатизмом. Это иная религия, возникающая на той же почве темноты, подавления личности и порожденного ими непомерного властолюбия, которая питает, по мнению писателя, деятельность «столпов древнего благочестия». Непоколебимая вера в свою «фатальную» значительность, непомерные притязания при отсутствии гуманного, подлинно глубокого содержания личности представлялась Тургеневу общественно опасным свойством, получающим особенное распространение в реакционные эпохи. Таким образом, рассказ «Стук... стук... стук!..» создавался под настроениями, близкими к тем, которыми отмечен роман «Дым». В этом рассказе художественное воссоздание характерных для русской жизни определенного периода черт действительности сочеталось с изображением явлений, имеющих общеевропейское значение. Рисуя тип человека, безгранично верящего в свою звезду, готового к решительным действиям и мечтающего о карьере Бонапарта, но совершенно лишенного какого-либо содержания, Тургенев не мог полностью отвлечься от впечатлений европейской политической жизни. Обострение европейских политических конфликтов, приведших к франко-прусской войне, полной дискредитации, а затем к падению ненавистного ему режима Наполеона III, очевидно, возбудило с новой силой в сознании писателя презрение ко всякого рода «Наполеонам маленьким».

С социально-психологическими проблемами, поставленными в рассказе, были непосредственно связаны литературные вопросы,

о которых Тургенев говорил устами своего героя — Риделя столь декларативно, что сам счел необходимым смягчить категоричность выраженной здесь мысли фразой героя: «Но, однако, довольно философствовать». Говоря об общественном значении творчества Марлинского и относя его влияние к строго определенной эпохе — к тридцатым годам («он даже — что гораздо труднее и реже встречается — до некоторой степени наложил свою печать на современное ему поколение»), Тургенев рассматривал его как писателя безнадежно устаревшего («никто его не читает — и даже над именем его глумятся» — с. 228). Однако выяснение исторического и психологического смысла увлечения идеалом сильной «фатальной» личности, предопределившего успех Марлинского в тридцатых годах, Тургенев считал актуальным. «Марлинизм» он рассматривал как ложное искусство, заменяющее внутреннее содержание внешними эффектами. Абсолютизация художественной манеры К. Брюллова, которая рассматривалась в академических кругах как некий эталон прекрасного, образец высокого искусства, представлялась Тургеневу явлением, препятствующим развитию живописи; говоря о Брюллове, он постоянно вспоминает о Марлинском как близком к Брюллову по стилю писателе. Так, например, сочувствуя А. А. Иванову в его идейных и творческих исканиях, Тургенев выражал в письме к П. В. Анненкову от 31 октября (12 ноября) 1857 г. надежду, что суровое и глубокое искусство Иванова «подаст знак к противодействию Брюлловскому марлинизму».

Обращение Тургенева к вопросу оценки деятельности Марлинского могло быть продиктовано оживлением общественного интереса к этому писателю и его необычайной судьбе. М. И. Семевский предпринял в шестидесятых годах публикацию писем и биографических материалов А. А. Бестужева-Марлинского. В «Отечественных записках» (1860, №№ 5—7) были напечатаны 96 писем Бестужева и библиография его произведений; в 1861 г. в том же журнале Семевский продолжает публикацию материалов, связанных с изучением литературной деятельности Бестужева, а К. А. Полевой печатает 58 писем Бестужева в «Русском вестнике» (кн. 3 и 4). В 1870 г. в «Русском вестнике» (№№ 5—7) печатается 73 письма Бестужева с Кавказа (публикация Семевского). Личность Бестужева привлекала к себе внимание и симпатию как образ «благороднейшего и даровитого деятеля из кружка декабристов» [11].

Тургенев не отрицал этой стороны дела, но горячо отстаивал правоту Белинского, ниспровергшего литературный авторитет Бестужева-Марлинского, и не уставал разъяснять историческое значение выступления Белинского против марлинизма. Еще в 1857 году он спорил с А. В. Дружининым, который пытался пересмотреть в числе других принципиальных положений критики Белинского его отношение к Марлинскому. 16, 23 декабря 1856 г. (28 декабря 1856 г., 4 января 1857 г.) в письме к Л. Н. Толстому Тургенев объяснял значение борьбы против марлинизма, открывшей путь для развития реалистической литературы: «Дело шло о ниспровержении целого направления, ложного и пустого ⟨...⟩ Пока этот авторитет признавался — нельзя было ожидать правильного и здравого развития нашей словесности — и благодаря той статье Б⟨елинского⟩ о Марлинском ⟨...⟩ мы пошли вперед». Осуждая не

---

[11] *Стасюлевич*, т. 2, с. 287.

личность Бестужева, а направление, к которому он принадлежал как писатель, Тургенев сделал героем рассказа «Стук... стук... стук!..» пошлого маленького офицера, черпающего в «марлинизме» формы для утверждения своих непомерных, не имеющих никаких оснований претензий.

Характеризуя тип «фатальных» героев и говоря о сложной смеси, образующей их характеры, Тургенев не наделил своего героя высокими чертами, характеризовавшими людей типа Бестужева («воспоминания о французской революции, о декабристах», «действительная сила и отвага»). Теглеву присуща лишь другая сторона комплекса, образующего тип «фатального» человека: «обожание Наполеона; вера в судьбу, в звезду, в силу характера, поза и фраза — и тоска пустоты». Повторяя некоторые ситуации «Героя нашего времени» Лермонтова (фокус с картами, утвердивший за Теглевым «репутацию таинственного, фатального человека», напоминает опыт Вулича со стрельбой из пистолета), Тургенев сразу подчеркивает: «он ⟨Теглев⟩ ⟨...⟩ нисколько не походил на лермонтовского „фаталиста"».

Тургенев не был склонен преувеличивать значение своего небольшого рассказа, зачастую отзываясь о нем в полушутливом, уничижительном тоне (см., например, его письма к П. В. Анненкову от 16(28) октября и 11(23) ноября 1870 г.). Однако его живо интересовали отзывы друзей о новой его работе. Мнение Анненкова, вскоре ставшее известным Тургеневу, не могло успокоить писателя,— Анненков отрицательно отнесся к «Стук... стук... стук!..» Однако постоянный советчик Тургенева не стал противиться опубликованию рассказа (Тургенев дал ему это право). Мало того, он выразил Стасюлевичу, одобрившему рассказ, свое согласие на перевод его на французский язык. 1(13) мая 1871 г. он писал редактору «Вестника Европы»: «О переводе „Стука" на французский диалект я думаю и не списываясь с Тургеневым то же, что и Вы,— пускай переводят, тем более, что слабые вещи Тургенева на вкус русской публики оказываются хорошими на вкус французской: témoin ⟨свидетель⟩ „Капитан Ергунов"» (*Стасюлевич*, т. 3, с. 298). Речь шла о переводе рассказа на французский язык для французской петербургской газеты «Journal de St. Pétersbourg». Перевод этот был осуществлен Э. Дюраном и напечатан (1871, №№ 183—185). Тургенев не возражал Анненкову, хотя, по-видимому, не разделял его мнения, что рассказ «Стук... стук... стук!..» — слабая вещь. Во всяком случае, впоследствии, в письмах к А. П. Философовой и С. К. Брюлловой, он настаивал на значительности своего замысла, раскрывал те психологические и типологические задачи, которые перед собою ставил. «Вы говорите о разных моих незначительных безделках,— возражал он в письме от 4(16) января 1877 г. С. К. Брюлловой — талантливому молодому педагогу, автору статьи о романе „Новь", — упоминаете между прочим о „Стук... стук...". Представьте, что я считаю эту вещь не то, чтоб удавшейся — исполнение, быть может, недостаточно и слабо — но одной из самых серьезных, которые я когда-либо написал. Это студия самоубийства, именно русского современного, самолюбивого, тупого, суеверного — и нелепого, фразистого самоубийства — и составляло предмет столь же интересный, столь же важный, сколь может быть важным любой общественный, социальный и т. д. вопрос». Это объяснение Тургенева, видимо, повлияло на Брюллову. В своей статье о «Нови» среди незначительных, по ее мнению, произведений Тургенева

1870-х годов она не упоминает «Стук... стук... стук!..»[12]. Ту же мысль о социальном значении психологической «студии», предпринятой в рассказе «Стук... стук... стук!..», Тургенев развивал в письме к А. П. Философовой от 18(30) августа 1874 г. Таким образом, отношение писателя к этому рассказу оставалось неизменным в течение ряда лет.

Немногочисленные критические отзывы о «Стук... стук... стук!..» вряд ли могли удовлетворить писателя. Наиболее обстоятельный анализ этого произведения был дан Н. Н. Страховым. Следуя своей обычной почвеннической концепции, Страхов усматривал в рассказе Тургенева неудовлетворенность прозаичностью русского быта, «раздражительное недовольство нашим народным характером» (Страхов Н. Последние произведения Тургенева.— Заря, 1871, февраль. Критика, с. 27). Именно с этим «раздражительным недовольством» слишком «зажившегося» за границей Тургенева Страхов связывает возникновение образа Теглева и вообще весь замысел рассказа. «В „Стук... стук... стук!..“ выставлен пошлый, тупой, неуклюжий и бездушный офицер, который вздумал разыгрывать из себя героя. Ни в нем самом, ни вокруг него нет ничего героического, необыкновенного, способного возбудить и питать фантазию. Но он выдумывает, сочиняет себе несчастия, действия судьбы, чудесные явления. Эти безмерно-упрямые попытки *подняться в идеальный мир* оканчиваются тем, что герой убивает себя без всякой на то причины, единственно из желания выдержать роль рокового человека. Тут изображен контраст между низменною и тупою натурою и идеальными стремлениями. Вот как русские люди иногда пытаются быть героями! Они не имеют на это ни прав, ни способностей»,— писал Страхов (там же, с. 29).

В. П. Буренин, развивая впоследствии такую же точку зрения на «Стук... стук... стук!..», утверждал, что она близка к оценке рассказа самим автором (Буренин В. П. Литературная деятельность Тургенева. СПб., 1884, с. 203—204).

На самом деле такое истолкование было не только далеко, но и во многом противоположно точке зрения Тургенева на рассказ и, что важнее всего, идеям, выраженным Тургеневым в самом рассказе. Теглев кончает с собою не для того, чтобы «выдержать роль рокового человека», а потому, что искренне верит в эту свою роль, в свою исключительность. Если самоубийство Теглева Тургенев и считал явлением типичным для современной русской жизни, то самый тип, очерченный в этом рассказе, выходил за рамки исключительно русского общества. В том же письме к А. П. Философовой от 18(30) августа 1874 г., где дается истолкование рассказа «Стук... стук... стук!..», Тургенев резко отделяет юношей, претендующих на звание «новых людей», но повинных «в скудости мысли, в отсутствии познаний и, главное, в бедности, в нищенской бедности дарований», от «молодых людей с мнениями гораздо более резкими, с формами гораздо более угловатыми», но в которых ощущается «действительное присутствие силы, и таланта, и ума». Утверждение, что Тургенев не признавал возможности подлинно героических характеров и поступков в русском обществе, которое лежит в основе суждения Страхова о рассказе «Стук... стук... стук!..», принадлежит к числу тех неосновательных обвинений русской критики и публики

[12] См.: Буданова Н. Ф. Статья С. К. Брюлловой о романе «Новь».— *Лит Насл*, т. 76, с. 277—315.

в адрес Тургенева, которые заставили его в том же письме к А. П. Философовой напомнить: «Ни за одну строчку, написанную мною, мне не приходилось краснеть...»

В сентябре 1871 г. Людвиг Пич предложил Тургеневу осуществить перевод «Стук... стук... стук!..» с французского (из «Journal de St. Pétersbourg») на немецкий язык. В ответном письме от середины сентября ст. ст. Тургенев выразил свое удовлетворение французским переводом Э. Дюрана и просил Пича в случае, если его перевод состоится, прислать ему корректуру на просмотр. Пич, очевидно, не осуществил своего намерения. В 1872 г. рассказ появился под названием «Poch, Poch, Poch!» в немецком переводе в «Sonntagsblatt» (1872, №№ 4—6). В том же году немецкий перевод «Стук... стук... стук!..» вышел под заглавием «Fatalist» («Фаталист») — в Вене, в сборнике новелл Тургенева, переведенных Половиновым (T u r g e n e v. Drei Novellen. Deutsch von W. A. Polowinoff). В сборник новелл Тургенева «Vier Erzählungen» (Leipzig, 1882) рассказ вошел под названием «Tuck! Tuck! Tuck!». Французский перевод появился в сборнике «Etranges histoires» (Paris, 1873, Hetzel) под заглавием: «Toc... toc... toc». В 1874 г. рассказ был напечатан и на датском языке («Fatalisten», Paa Dansk. V. Møller, II Bd.— В кн.: Fortaellinger og Skitser. Kjøbenhavn, 1874).

С т р. 228. *Марлинский теперь устарел ∽ но в тридцатых годах он гремел...*— Сведения об увлечении Марлинским в 1830-х годах, а также подробный анализ творческой истории рассказа «Стук... стук... стук!..» и отзывов критики о нем см.: А л е к с е е в М. П. Тургенев и Марлинский.— *Творч путь Т*, с. 167—201. В письме к Л. Н. Толстому от 16(28), 23 декабря 1856 г. (4 января 1857 г.), характеризуя степень увлечения молодежи 1830—1840-х годов Марлинским, Тургенев признавался: «...знаете ли Вы, что я *целовал* имя Марлинского на обертке журнала — плакал, обнявшись с Грановским, над книжкою стихов Бенедиктова — и пришел в ужасное негодование, услыхав о дерзости Белинского, поднявшего на них руку?» Критические выступления Белинского разрушили авторитет Марлинского.

...как лейтенант Белозор «Фрегата Надежды».— Тургенев смешал здесь два произведения Марлинского—«Лейтенант Белозор» (главный герой Белозор) и «Фрегат Надежда» (главный герой Правин). Не исключено, что эта ошибка допущена сознательно, как подтверждение слов Риделя о том, что Марлинского никто не читает.

С т р. 250. *Вспомнились мне слова шута в «Короле Лире»: «Эта ночь нас всех с ума сведет, наконец...»*— «Король Лир» Шекспира, д. III, сцена 4.

С т р. 251. ... *доставить важному лицу, командовавшему тогда всем гвардейским корпусом...*— Командиром гвардейского корпуса с 1826 по 1844 г. был великий князь Михаил Павлович. В сокращении «Ваше в-ство» подразумевается: «Ваше высочество». Письменное обращение к великому князю не по форме: «Вот, Ваше в⟨ысоче⟩ство» (вместо «Ваше императорское высочество») — было величайшей дерзостью.

С т р. 252. *Наполеон умер 5-го мая 1825 года.*— Дата смерти Наполеона у Теглева неверна: Наполеон умер 5 мая 1821 г.

...не оттого ли он и пошел в артиллеристы? — Наполеон начал свою карьеру офицером артиллерии.

ВЕШНИЕ ВОДЫ

(с. 255)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

«Вешние воды». Беловой автограф, 224 с.; после текста подпись и помета: Ив. Тургенев. Баден-Баден. Ноябрь 1871. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 84; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 219.

«Вешние воды. Повесть». Автограф наборной рукописи, 128 с.; после текста подпись и помета: Ив. Тургенев. Баден-Баден, 1871. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 84; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 216.

ВЕ, 1872, № 1, с. 5—129.

Оттиск из *ВЕ* (полный текст повести), с авторской правкой. Хранится в *ЦГАЛИ*, ф. 509, оп. 1, ед. хр. 30.

Т, *Соч*, *1874*, ч. 7, с. 173—324.

Т, *Соч*, *1880*, т. 9, с. 37—192.

Т, *ПСС*, *1883*, т. 9, с. 37—208.

Впервые опубликовано: *ВЕ*, 1872, № 1, с подписью и пометой: Ив. Тургенев. Баден-Баден, 1871. Там же список опечаток (с. 430).

Печатается по тексту *Т*, *ПСС*, *1883* со следующими исправлениями по другим источникам:

Стр. 259, *строка 15:* «протянула руки» вместо «протянула руку» (по всем другим источникам).

Стр. 260, *строка 16:* «омрачали» вместо «омрачили» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 261, *строка 19:* «повторила та» вместо «повторила она» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 279, *строка 20:* «штуки» вместо «шутки» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 282, *строка 35:* «не одобрил» вместо «не одобрял» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 293, *строка 18:* «и запер» вместо «запер» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 295, *строки 11—12:* «Вспомнила я» вместо «Вспомнила и» (по всем другим источникам).

Стр. 297, *строка 27:* «плечи» вместо «плечо» (по всем другим источникам).

Стр. 297, *строка 29:* «помчался прочь» вместо «промчался прочь» (по беловому автографу, наборной рукописи и *ВЕ*).

Стр. 297, *строка 42:* «вздрогнула» вместо «вздохнула» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 300, *строки 20—21:* «и голос» вместо «а голос» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 310, *строка 25:* «не тотчас» вместо «не торопясь» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 311, *строка 9:* «повторила» вместо «проговорила» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 317, *строки 40—41:* «грело» вместо «горело» (по всем другим источникам).

Стр. 322, *строка 41:* «покачала» вместо «покачивала» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 338, *строка 33:* «предполагал» вместо «предлагал» (по всем источникам до *Т*, *Соч*, *1880*).

Стр. 339, строка 21: «оставляю» вместо «оставлю» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 341, строка 24: «подумал» вместо «думал» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 356, строка 38: «и крестится» вместо «крестится» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 370, строка 3: «прибавляла» вместо «прибавила» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 375, строка 15: «повернула» вместо «повернулась» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 376, строка 4: «в сторону» вместо «на сторону» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Стр. 376, строка 40: «Домой??» вместо «Домой!!» (по всем другим источникам).

Стр. 377, строка 12: «и шепнула: Эней?» вместо «и шепнула: Эней!» (по всем другим источникам).

Стр. 379, строка 18: «стоящему» вместо «стоявшему» (по беловому автографу и наборной рукописи).

Стр. 380, строки 17—19: «тот ли это сад» вместо «тот ли этот сад» (по всем источникам до *Т, Соч, 1880*).

Тургенев находился в Париже, когда в Петербурге, в «Вестнике Европы», печаталась его повесть «Вешние воды». Он сильно запоздал с окончанием работы над рукописью, предназначавшейся для январского номера журнала, и по недостатку времени корректуры не могли быть присланы ему в Париж. Поэтому он в письмах к П. В. Анненкову от 26 ноября (8 декабря) и к М. М. Стасюлевичу от 27 ноября (9 декабря) 1871 г. поручил им наблюдение за изданием повести.

Получив чистые листы «Вешних вод», Тургенев послал Стасюлевичу список замеченных им опечаток, который был помещен в том же номере «Вестника Европы», где была опубликована повесть. Позднее, при чтении отдельного оттиска, он внес в текст еще ряд исправлений, но многие расхождения между первопечатным и рукописным текстами остались при этом не устраненными.

При подготовке изданий 1874, 1880 и 1883 годов Тургенев также не обратил внимания на эти расхождения, хотя ввел в текст повести незначительные изменения. В некоторых случаях расхождения эти следует рассматривать как искажения текста, не замеченные Тургеневым. Поэтому редакция сочла необходимым ввести в текст *Т, ПСС, 1883*, помимо исправлений по другим печатным источникам текста, несколько поправок по беловому автографу и наборной рукописи.

Работа Тургенева над «Вешними водами» продолжалась довольно долго — с середины 1870 г. до конца 1871 г. Первое известное нам упоминание о повести находится в его письме к В. Рольстону из Баден-Бадена от 27 сентября (9 октября) 1870 г. Он извещал английского критика, что, кроме «маленького этюда» «Стук... стук... стук!..», у него «есть еще и другая начатая работа», которую он надеется закончить до февраля следующего года. Однако, как это нередко бывало у Тургенева, для создания повести ему потребовалось значительно больше времени.

В феврале-марте 1871 г. Тургенев совершил поездку в Россию. Готовясь возвратиться после этого в Лондон, он писал 19(31) марта Анненкову: «Стасюлевичу скажите, что я ему повесть пришлю через

Вас, окончив ее уже в Англии». 12(24) апреля Тургенев сообщал Анненкову из Лондона: «Я с жаром принялся оканчивать мою повесть — и через месяц Вы получите рукопись...». Однако и этот срок оказался нереальным — на этот раз потому, что в процессе работы размеры повести значительно увеличились по сравнению с первоначальными авторскими предположениями. Об этом Тургенев писал Анненкову 27 мая (8 июня) 1871 г. и, более подробно, Стасюлевичу 17(29) июня: «Моя „картина“, как Вы выражаетесь, принимает еще бо́льшие размеры, чем я предполагал, что запаздывает ее окончание. Но я не сомневаюсь в том, что в начале *ноября* я либо Вам перешлю, либо сам привезу ее в Петербург».

14(26) августа Тургенев извещает Стасюлевича, что повесть «подвигается к развязке», а в сентябре, воспользовавшись, по его словам, затворничеством в Баден-Бадене, он окончил повесть и сразу же приступил к ее переписыванию. 23 сентября (5 октября) он сообщал Стасюлевичу, что «уже переписал более половины. В ней будет 7 печатных листов „Вестника Европы“! Никак не ожидал подобных размеров!» (см. также письмо к Анненкову от 24 сентября (6 октября) 1871 г.).

По расчетам Тургенева текст повести должен был быть готов «через месяц», то есть к началу ноября нового стиля. Но к этому времени Тургеневу стало ясно, что повесть требует еще дополнительной работы. 6(18) ноября Тургенев сообщал Стасюлевичу, что «1-го декабря русского стиля» повесть будет у него в руках. Отметим кстати, что только в этом письме, впервые за всё время работы над повестью, Тургенев назвал ее: «Заглавие ее „Вешние воды“, положено на нее старания пропасть — авось не совсем даром пропадет оно!».

В конце месяца повесть действительно была закончена и 26 ноября (8 декабря) выслана в Петербург Анненкову. В сопроводительном письме Тургенев просил его подтвердить получение рукописи («Она мне стоила дьявольского труда — и я бы желал поскорее знать, что он не пропал. . .») и высказать о ней свое «нелицемерное мнение». В письме содержалась также просьба передать повесть «немедленно Стасюлевичу — и *продержать корректуру*». На следующий день, 27 ноября (9 декабря), извещение об отправке рукописи было послано Стасюлевичу: «Вчера ⟨. . .⟩ повесть моя в виде громадного застрахованного пакета отправилась в Петербург на имя П. В. Анненкова — так как с незапамятных времен мои произведения всегда поступают сперва в его руки. Но он имеет инструкцию передать Вам эту повесть немедленно — так что Вы можете начать печатание с 1/13 декабря, как я обещал Вам».

До нас дошли две рукописи «Вешних вод», однако большое количество разночтений в этих рукописях дает основание считать, что, кроме не дошедшего до нас черновика, существовал еще один автограф — вторая беловая копия. Это подтверждается и письмами Тургенева, в которых сказано, что он трижды переписывал повесть.

Одна из сохранившихся рукописей является первой копией, о которой Тургенев писал Анненкову 24 сентября (6 октября) 1871 г.: «Переписывание повести подвигается вперед». Очевидно, большое количество исправлений, внесенных автором в текст, задержало переписывание, а когда оно было закончено (вероятно, в первых числах ноября н. ст.), рукопись оказалась в таком виде, что ее пришлось вторично переписать («Чёрт меня дернул — всё из желания возможной отделки и недоверия к своим слабеющим

силам — взяться за *вторичное* переписывание моей повести»,— сообщал он Анненкову 28 октября (9 ноября) 1871 г.). Вторая копия до нас не дошла [1]. Но, видимо, и в ней была произведена значительная авторская правка, вызвавшая необходимость вновь переписать текст.

19 ноября (1 декабря) 1871 г. Тургенев писал Анненкову: «Я работаю как вол — и через 5 дней Вы получите оконченную *третью* копию моей повести». Эта «третья копия» и была послана в Петербург Анненкову 26 ноября (8 декабря) в качестве наборной рукописи. Позднее она была по просьбе Тургенева «вытребована» Анненковым от редакции «Вестника Европы» и возвращена автору.

Оба сохранившихся автографа повести, в которых содержится значительное количество поправок, дают представление о характере работы Тургенева над художественной отделкой текста «Вешних вод».

Никаких крупных вставок, вычеркиваний или перестановок текста, которые изменяли бы композиционный план повести, ни в одной из этих двух рукописей нет; не было их, очевидно, и в не дошедшем до нас черновике, так как Тургенев обычно приступал к написанию нового произведения только тогда, когда задуманный сюжет уже полностью сложился в его творческом сознании. Точно так же и образы героев будущего повествования формировались у Тургенева на предварительной стадии, а позднее, в процессе работы над рукописями, подвергались только некоторым уточнениям или дополнениям. Об этом свидетельствуют и автографы «Вешних вод».

В Джемме Тургенев стремился воплотить образ девушки искренней и непосредственной, но при этом он, по-видимому, заботился о том, чтобы эта непосредственность не переходила в развязность. Так, в главе XVI, когда Санин отдает Джемме спасенную им розу, первоначально было: «Она вся вспыхнула, крепко стиснула его руку и мгновенно спрятала розу»; готовя наборный текст, Тургенев исключил слово «крепко» (см. с. 288). В главе XIX, где Джемма встречает Санина после скандала в Содене, было: «Джемма встретила Санина; взяла его руку обеими руками, хотела что-то сказать и не могла. ⟨...⟩ Джемма выпустила руку Санина и вернулась за прилавок». Из этого текста Тургенев вычеркнул в беловом автографе слова: «взяла его руку обеими руками» и «выпустила руку Санина и» (см. варианты к с. 294, строки 25 и 35) [2]. В главе XXVIII, когда после объяснения в любви Санин и Джемма встречают Клюбера, было:

---

[1] Сохранился рассказ Д. Н. Михайлова о том, что он видел в 1883 г. в имении поэта К. К. Случевского рукопись «Вешних вод»: «Перелистываешь эту драгоценную литературную святыню и чувствуешь неизъяснимую сладость духа: такой прелестью, недоступной анализу, веет от четкого и крупного почерка создателя этого рассказа» (Михайлов Д. Очерки русской поэзии XIX века. Тифлис, 1904, с. 334). Возможно, что Михайлову удалось увидеть именно эту, не дошедшую до нас рукопись, потому что в известных нам — почерк писателя нельзя назвать «четким и крупным». Следует отметить, что Тургенев в свое время подарил Случевскому рукописи «Первой любви» и «Накануне» (в настоящее время хранятся в *ГПБ*).

[2] Варианты белового автографа и наборной рукописи см.: *Т, ПСС и П*, *Сочинения*, т. XI, с. 309—340. Далее варианты, опуб-

«Джемма ⟨...⟩ самоуверенно-спокойно ⟨...⟩ посмотрела прямо в лицо своему бывшему жениху». Тургенев, уже в ходе работы над беловым автографом, нашел другие слова для определения чувств своей героини и вместо «самоуверенно-спокойно» вписал: «с спокойной решительностью».

В образе Полозовой Тургенев стремился сильнее подчеркнуть коварство, жестокость и низменность ее натуры. Так, например, глаза Марьи Николаевны он называет сначала «хищными», а затем заменяет этот эпитет на «алчными» (с. 373); в обращении к Санину слова «проговорила она почти грубо» меняет на «приказала она почти грубо» (см. с. 374); в характеристике, которую Марья Николаевна дает самой себе во время ее первой беседы с Саниным, не очень ясное по смыслу выражение: «я жизни не щажу» — заменяется гораздо более определенным, безжалостным: «я людей не щажу» (см. с. 349); существенна и следующая поправка: в размышлениях Санина о неотвязных чертах образа Полозовой вместо первоначального: «они ухмыляются» — появилось: «они ухмыляются дерзостно» (см. с. 358).

Работа Тургенева над повестью на рукописной стадии заключалась главным образом — и это опять-таки характерно вообще для творческой лаборатории писателя — в тщательной стилистической отделке текста. В этой тонкой и сложной работе художника можно выделить в основном три наиболее характерных вида исправлений.

Первый из них — вычеркивание отдельных слов, фраз или более крупных кусков текста с целью устранения длиннот, снятия лишних эпитетов и необязательных деталей, исключения ненужных авторских пояснений. Например, в главе XIX, в описании дня, предшествующего поединку, в беловом автографе вычеркнуты строки, рисующие душевное состояние Санина (см. вариант к с. 296, строка 16); в картине обморока Эмилио во фразе «тесный цветной галстух сжимал его шею» второй эпитет зачеркнут (см. вариант к с. 258, строки 30—31; см. также варианты к с. 259, строка 6, с. 273, строка 28, с. 316, строка 6); в сцене игры в тресетте был исключен текст, содержащий еще одно упоминание о «величайшей тайне», которую хранил в душе Панталеоне (см. вариант к с. 295, строка 32). Работая над наборной рукописью, Тургенев в разговоре Санина с Полозовым вычеркнул сопровождавшую диалог ремарку: «Полозов глянул на него сквозь свои белесоватые ресницы» (вариант к с. 336, строки 38—39); на той же стадии было снято сравнение речей Полозова с поэтической манерой Некрасова (см. вариант к с. 345, строка 25).

Второй вид исправлений связан с расширением текста: Тургенев вписывает слова и выражения, пополняя и обогащая повествование вновь найденными деталями, сравнениями и т. п. Примеры такого рода встречаются, пожалуй, более часто, чем случаи сокращения текста. Так, в беловом автографе обогащается сцена, когда Панталеоне, возмущенный тем, что Джемма читает комедию Мальца, выражает свое негодование «хриплым голосом, уткнув лицо вперед и *растопыря пальцы*» (см. вариант к с. 270, строки 14—15); в том же автографе расширено описание комнаты, в которой задремала фрау Леноре (см. вариант к с. 277, строки 35—37), и вписана ремарка, передающая взволнованное состояние фрау Ле-

---

ликованные в названном издании, приводятся без дополнительного указания страниц публикации.

поре, когда она посылает Санина в сад, чтобы образумить Джемму (см. вариант к с. 310, строки 5—6). Аналогичная правка имеется и на следующей стадии работы. Здесь в рассказ Панталеоне о «великом Гарсиа» в роли Отелло вводится сравнение: «как молния, как тигр» (см. вариант к с. 267, строка 5); расширяется разговор Панталеоне с фрау Леноре о ее покойном муже (см. вариант к с. 277, строки 33—37).

Наконец, третий вид исправлений объединяет случаи замены общих, недостаточно конкретных слов другими — более точными, художественно более выразительными. Об этом можно судить по следующим примерам. Ремарка «начал было Санин» заменяется на «заикнулся было Санин» (вариант к с. 261, строки 42, 43); во фразе «отчаянно, чуть не с криком произнес бедный итальянец» слово «произнес» заменяется на «возопил» (вариант к с. 299, строка 39); в рассказе о прогулке Санина и Эмилио говорилось, что они играли в чехарду «на красивом зеленом лужку» — в наборной рукописи первый эпитет был заменен: «на привольном зеленом лужку» (вариант к с. 319, строки 14—15); в описании «немецкого обеда» в Содене «змеевидный угорь» заменяется на «посинелый угорь» (вариант к с. 284, строка 10).

В основе повести «Вешние воды» лежит автобиографический материал. Указание на это имеется в воспоминаниях Л. Фридлендера, который опирался, очевидно, на высказывания самого Тургенева: «Многое, что он писал, если не всегда, то часто было связано с его жизнью, и связь эта была не только внутренняя, но и внешняя. Например,— начало „Вешних вод“. Как там Санина, так и Тургенева, еще молодого человека, возвращавшегося из Италии домой, во Франкфурте-на-Майне, в кондитерской, испуганная красивая девушка просила оказать помощь ее брату, упавшему в глубокий обморок. Только это была не итальянская, а еврейская семья, и у заболевшего были две сестры, а не одна. Тургенев поборол тогда свое вспыхнувшее увлечение девушкой скорым отъездом. Со старым певцом Панталеоне познакомился он позже, в доме одного русского князя» [3].

Автобиографична в своей основе не только первая, но и вторая часть повести. В письме к племяннице Флобера К. Комманвиль Тургенев, соглашаясь с ее суждением о «Вешних водах», писал 7(19) августа 1873 г.: «. . .что же касается второй части, недостаточно обоснованной и не вполне необходимой, то я позволил себе увлечься воспоминаниями». Более подробное высказывание Тургенева об автобиографическом элементе в «Вешних водах» приведено в воспоминаниях И. Я. Павловского: «Весь этот роман — правда. Я пережил и прочувствовал его лично. Это моя собственная история. Госпожа Полозова — это воплощение княгини Трубецкой, которую я хорошо знал. В свое время она наделала много шуму в Париже; там ее еще помнят. Панталеоне жил у нее. Он занимал в доме среднее положение между другом и слугой. Итальянская семья также взята из жизни. Я только изменил подробности и переместил их, потому что я не могу слепо фотографировать. Так, например, княгиня была по рождению цыганкой; я сделал из нее тип светской русской дамы плебейского происхождения. Панталеоне я перенес в

[3] Friedländer L. Erinnerungen an Turgenjew.— В его книге: Erinnerungen, Reden und Studien. Strasburg, 1905. I Teil, S. 196; русский перевод: *ВЕ*, 1906, № 10, с. 830—831.

итальянскую семью... Этот роман я писал с истинным удовольствием, и я люблю его, как я люблю все мои произведения, написанные подобным же образом» (P a v l o v s k y Isaak. Souvenirs sur Tourguéneff. Paris, 1887, p. 89—90).

Отослав рукопись «Вешних вод» в Петербург и ожидая выхода январской книжки «Вестника Европы», Тургенев, как это часто бывало у него, находился в состоянии неуверенности, не зная, насколько удалась новая повесть, и с нетерпением ожидал читательских откликов на нее и отзывов критики. 6(18) декабря 1871 г. он писал Я. П. Полонскому: «Настрочил большущую повестищу, которая появится в январском № „Вестника Европы"; не знаю, что из нее вышло — ибо никому ее не читал и никакого мнения еще не слышал; сам же автор, ты знаешь, судья плохой — особенно на первых порах. Он видит не только то, что сделал, но даже то, что *хотел* сделать; а публика — может быть — ничего не увидит. Посмотрим, что она скажет». 18(30) декабря, в следующем письме к Полонскому Тургенев возвращается к той же теме: «Моя повесть (говоря между нами) едва ли понравится: это пространственно рассказанная история о любви, в которой нет никакого ни социального, ни политического, ни современного намека. Если я ошибаюсь, тем лучше».

Неуверенность и беспокойство нарастали у Тургенева особенно потому, что от Анненкова, с чьим мнением и вкусом он привык всегда считаться, долго не было никакого письма. 8(20) декабря Тургенев писал ему: «Молчание Ваше о моей повести заставляет меня чесать у себя за ухом; я начинаю думать, что она Вам не понравилась — и Вы не знаете, как сообщить мне этот факт. Валяйте! Кожа у меня толстая». Той же тревогой проникнуто и письмо к Анненкову от 11(23) декабря. Только 14(26) декабря из полученного Тургеневым письма Анненкова выяснилось, что рукопись он прочитать не успел, а сразу же передал ее Стасюлевичу для набора и что он впервые знакомится с повестью только теперь, в корректуре. Дочитав последний лист корректуры «дивной повести», Анненков тотчас же изложил свое мнение о ней в письме от 14(26) декабря 1871 г.:

«Вышла вещь блестящая по колориту, по энергии кисти, по завлекательной пригонке всех подробностей к сюжету и по выражению лиц, хотя все основные мотивы ее не очень новы, а мысль-матерь уже встречалась и прежде в Ваших же романах. ⟨...⟩ Пророчу Вам крики восторга со стороны публики; такого напряжения поэтической силы, изобретательности и стилистических чудес она давно уже от Вас не получала». Одновременно с этим Анненков высказывает и критические замечания, касающиеся развязки повести: «Я, например, могу понять, что Санин под кнутом Полозовой мог проделывать отвратительнейшие скачки́, но не могу понять, как он сделался *лакеем* ее, после пережитого процесса чистейшей любви. Это выходит страшно эффектно в повести — правда! Но и страшно позорно для русской природы человека. Не знаю, может быть, Вы это имеете и имели в виду, но тогда как объяснить изумительную картину великолепнейших связей с Джеммой, без малейшей примеси ядовитого вонючего вещества? Уж лучше бы Вы прогнали Санина из Висбадена домой, от обеих любовниц, с ужасом от самого себя, страдающего, гадкого и не понимающего себя, а то выходит теперь, что человек этот способен одинаково вымокивать вкус божественной амброзии и жрать калмыком сырое мясо... брр!» Заканчивая письмо, Анненков снова дает высокую оценку повести: «Но что Вам

за дело до этих тонкостей, когда Вас ожидает громадный успех и когда я сам, под действием изумительного рассказа, едва мог отыскать причину того осадка на душе, который он оставляет после себя, при самом удовлетворительном ее настроении» (*Рус Обозр*, 1898, № 3, с. 18—19).

Получив это долгожданное письмо, Тургенев немедленно откликнулся на него. 19(31) декабря 1871 г. он писал: «Ох, любезнейший П⟨авел⟩ В⟨асильевич⟩, и обрадовали Вы меня, и зарезали своим письмом! Обрадовали теми похвалами, которые Вы расточаете моим „Водам“,— а зарезали неотразимой верностью Вашего упрека насчет развязки! Представьте себе, что в первой редакции *оно было именно так*, как Вы сказывали — точно Вы прочли ее. Беда моя на этот раз состояла в том, что я не успел прочесть — перед печатаньем — мою повесть никому, ни г-же Виардо (что я до сих пор всегда делал, переводя на французский язык), ни Вам. Так, несмотря на все переделки, она пошла в дело сырою. Этой беде теперь уже помочь нельзя — но, конечно, при отдельном печатании Санин до некоторой степени регабилитируется».

В следующем письме (от 10(22) января 1872 г.) Анненков, извещая Тургенева об огромном успехе «Вешних вод», снова касается развязки повести: «Я не теряю надежды, что когда-нибудь из нее пропадет омерзительная груша, которую Санин очищает для мужа любовницы своей» (*Рус Обозр*, 1898, № 4, с. 365).

Как известно, никаких изменений в развязку повести Тургенев в последующих ее изданиях не вносил. По-видимому, согласие с замечаниями критика-друга было для него в данном случае, как и во многих других подобных, лишь вежливым способом уклониться от спора. Когда вскоре недовольство концом повести высказала в своем — не дошедшем до нас — письме С. К. Кавелина, Тургенев, отвечая ей 16(28) января 1872 г., со всей определенностью заявил об отказе от каких бы то ни было переделок повести: «. . .Я не только не сержусь на Вас за то, что Вы мне сказали о моей повести, но, напротив, весьма Вас благодарю за откровенность; впрочем, зная Вас, я другого и не ожидал. Скажу Вам без обиняков, что я совершенно согласен с Вами и чувствую нечто вроде отвращения к собственному детищу: это отвращение во мне накоплялось помаленьку — и Ваше письмо только довершило начатое. Мне кажется, что, если бы мне пришлось прочесть кому-нибудь вслух эту вещь до печатания, я во всяком случае переделал бы конец и заставил бы г-на Санина бежать тотчас от г-жи Полозовой, еще раз свидеться с Джеммой, которая бы ему отказала, и т. д. и т. д. Но теперь всё это в воду упало — и я не прикоснусь до моего уродца. Не знаю, буду ли я еще когда-нибудь что писать — но с этими лицами, в которых Вы справедливо меня упрекаете, я расстался навеки» [4].

---

[4] К мысли об изменении финала повести Тургенев возвращался несколько позднее, в связи с подготовкой ее французского издания. 25 марта (6 апреля) 1872 г. он писал Э. Дюрану, который перевел эту повесть на французский язык: «Я собираюсь внести небольшое изменение в конце „Вешних вод“: несколько смягчить его, добавив новую сцену». Еще более определенно Тургенев писал об этом Ж. Этцелю 17(29) апреля того же года: «Я не хочу публиковать ее в таком виде; совершенно необходимо ввести в конце сцену, где мой *герой* (который настоящим героем отнюдь не является) возвращается к предмету своей первой любви, а его прогоняют — иначе это слиш-

В читательских кругах новая повесть Тургенева вызвала живейший интерес — настолько сильный, что Стасюлевич напечатал январскую книжку «Вестника Европы» вторым изданием (см. письмо автора к Стасюлевичу от 14(26) февраля 1872 г.). Тургенев настойчиво просил своих петербургских друзей сообщать ему известия о его повести. 27 декабря 1871 г. (8 января 1872 г.) он обращался к Анненкову: «Надеюсь на Вас, что Вы напишете мне мнение публики о „В⟨ешних⟩ в⟨одах⟩“ — даже если бы оно совершенно разнствовало с Вашим. На то Вы старый друг». Подобные просьбы Анненков всегда выполнял аккуратно. 10(22) января он писал Тургеневу: «. . .Повесть Ваша имеет большой, даже восторженный успех в публике. . .» Отметив далее, что среди ее читателей много «энтузиастов», Анненков продолжал: «Таковы почти все мои знакомые без исключенья, особенно женщины. Хор похвал и восхищений всё еще растет — Вы можете быть спокойны» (*Рус Обозр*, 1898, № 4, с. 365).

Кроме Анненкова, сведения о приеме повести публикой сообщил Тургеневу Я. П. Полонский. 24 января (5 февраля) 1872 г. Тургенев благодарил его «за доставление известий» о повести (это письмо Полонского неизвестно), а около 26 февраля (9 марта) Полонский снова возвращался к этой теме: «В числе моих знакомых я знаю немало поклонников твоего нового произведения — Тютчев, Маркевич, П. М. Ковалевский и даже Гр. Данилевский — говоря о нем, глаза свои закатывает от восторга» (*Звенья*, т. VIII, с. 167—168; здесь письмо напечатано под 1872 годом, но без числа и месяца, которые, однако, легко определяются по ответному письму Тургенева от 2(14) марта 1872 г.).

В отличие от читателей, критика встретила «Вешние воды» недоброжелательно: в подавляющем большинстве печатные отзывы о повести были отрицательными, а порой даже озлобленными. Особенно отличились в этом смысле «Московские ведомости», напечатав статью Л. А-ва (Л. Н. Антропова) «Новая повесть Тургенева» (1872, № 9, 12 января). Автор заявлял в статье, что «„Вешние воды“ — вещь не только относительно слабая, но безотносительно плохая», что она написана «крайне манерным» языком, а главное, в ней нет русского начала; рассчитывая больше на западноевропейского читателя, Тургенев постарался изобразить иностранцев «чуткими, умными людьми». а всех русских очернил (Санин — «дрянь-человек», Полозова — «мещанка, женщина отчаянно распутная», ее супруг — «ожиревшая скотина»). Заканчивая статью, Антропов писал: «. . .в этой повести все отрицательные свойства таланта г. Тургенева выступили особенно заметно, ничем не прикрытые: чувствуется какая-то фельетонная, дилетантская легкомысленность; бедность вымысла и в то же время недостаток „трезвой правды“, плохо заменяемый элегантностью изобретения и парфюмерностью языка; чувствуется, наконец, полный разрыв с русской жизнью, не восполняющийся прилеплением себя к европейской».

18(30) января 1872 г. Анненков писал Тургеневу, посылая ему вырезку с этой статьей: «Я тоже намерен прислужиться Вам посылкой „Московских ведомостей“ № 9, где повесть Ваша разругана *бесчестным* образом. Автор — некий Антропов. Хотя Вы добрым вестям вообще плохо верите, предпочитая им ядовитые известия, но

ком безнравственно. Это решено, и я от этого не отступлюсь». Однако никаких изменений во французском тексте повести Тургеневым сделано не было.

все-таки должен Вам сказать, что ругательство это возбудило общее омерзение, даже у молодежи, распознавшей в нем расчеты Каткова и давно пенившуюся у него желчь за оставление Вами „Русского вестника“. Писемский, имеющий сношения через сыновей с московскими студентами, поспешил мне написать, для передачи Вам, что университет in corpore [5] возмущен этим циническим поступком [6], а я прибавлю от себя, что им возмущены и здешние хладнокровные и Каткову благоволящие индивиды» (*Рус Обозр*, 1898, № 4, с. 366).

Получив это письмо, Тургенев незамедлительно (22 января/3 февраля) отвечал Анненкову: «Спасибо за № „Московских ведомостей“. Этот документик стоит сохранить. Я, кажется, знаю, кто этот столь усердствующий Антропов. Он был мужем одной моей знакомой, г-жи Рашет, которая развелась с ним после трехнедельного брака, вследствие его неистовых поступков. Быть может, он знает, что я нахожусь в дружеских отношениях с его женой; а быть может, он так старался просто по приказу Каткова. Эка, подумаешь, желчи-то накопилось, желчи!» В заключение Тургенев прибавлял: «Я сам знаю, что моя повесть стоит на слабых ножках; но в ней есть искренние звуки, которые сохранят ее от смерти, что бы ни говорили ces messieurs [7]». В написанном в тот же день письме к Стасюлевичу Тургенев с еще большей определенностью объяснял характер статьи ненавистью к нему Каткова: «. . .Я, грешный человек, почувствовал себя польщенным. Стало быть, думалось мне, дорожил мною г. Катков и не может мне простить, что я бросил его лавочку! Пересолить-то он, конечно, пересолил; но в сердцах человек — где уж ему тут разбирать? И какие у него молодцы усердные!»

Петербургская консервативная газета «Русский мир» высказала свое отрицательное суждение о «Вешних водах» в передовой статье № 8 от 10 января 1872 г. Имея в виду либеральные круги русского общества, газета писала: «. . .Многие рассчитывали встретить тенденциозную повесть из современной жизни, которая напомнила бы „Отцов и детей“ или „Дым“. Предавшиеся таким надеждам должны разочароваться. ⟨. . .⟩ повесть эта всецело принадлежит к тому роду невинных анекдотов и воспоминаний, который автор так полюбил после своего „Бригадира“. Никакого современного интереса в повести не заключается, и вся она — не что иное, как хорошо и пространно рассказанный „случай“». Считая, что по сюжету повесть напоминает «Дым», анонимный автор продолжал: «Таким образом, оказывается, что г. Тургенев не только похитил сам у себя свою литературную собственность, но еще всячески обезобразил ее и превратил в карикатуру довольно сомнительного тона». К оценке повести газета вернулась еще раз в фельетоне В. Г. Авсеенко «Очерки текущей литературы» (1872, № 20, 22 января; подпись — *А. О.*). Откликаясь на разноречивые отзывы о повести в печати и в публике, автор указывает, что в «Вешних водах» нет новых художественных мотивов и что «она не имеет самостоятельного художественного значения».

---

[5] в полном составе *(лат.)*.

[6] Сам Писемский писал Тургеневу 2(14) февраля 1872 г.: «Я хочу еще раз повторить Вам, что статья „Московских ведомостей“ против Вас возбудила всеобщее негодование и сильно повредила и без того уже сильно упавшему авторитету издателей. . .» (*Лит Насл*, т. 73, кн. 2, с. 189).

[7] эти господа *(франц.)*.

Автор рецензии (Б. М. Маркевич), появившейся в газете «Гражданин» (1872, № 2, 10 января; подпись — М.), с удовлетворением отмечал, что в «Вешних водах» не следует искать «никакой задней мысли, никакого притязания на решение какого-либо „настоятельного“, „современного“, „животрепещущего“ вопроса»; в них нет «ни малейшего „гражданского мотива“, ни вздора об этих ⟨...⟩ „новых людях“, ни тени хотя бы потугинского, болезненного и бесплодного, самого отрицательного смеха». В новой повести Тургенев, по мнению критика, является «живописцем по преимуществу», он «скидывает с себя на этот раз не всегда в пору сидевшие на нем ризы...». Воспользовавшись, таким образом, «Вешними водами» для того чтобы противопоставить их прежним произведениям писателя, Б. М. Маркевич превозносит эстетические достоинства его новой повести: «необычайное чутье художественной меры», совершенство «архитектоники», прелесть «жанровых картинок», написанных «широкою и вместе с тем тонкою ⟨...⟩ кистью художника» [8].

Газета «Новое время», еще не ставшая органом крайней реакции и даже не чуждавшаяся иногда либеральных высказываний, поместила большую рецензию на «Вешние воды», в которой, с одной стороны, признавалось, что повесть «написана очень живо», «отделана с мастерством, какое мы привыкли встречать в ее авторе», а с другой — указывалось на отсутствие в ней какого бы то ни было «отголоска на запросы переживаемой нами минуты». По мнению рецензента, повесть «может быть причислена к разряду поэтических безделушек» (1872, № 7, 8(20) января, «Литературное обозрение», подпись — М-ов).

Либеральная критика тоже осудила новую повесть Тургенева, как «не имеющую никакого отношения к „веяниям времени“ и даже довольно незначительное к русской жизни». Эта мысль была высказана В. П. Бурениным в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1872, № 7, 8(20) января, «Журналистика», подпись — Z.). Правда, он готов был признать, что в «Вешних водах» есть ряд достоинств: «Форма, в которой изложена эта история, прекрасна и по художественной отделке, быть может, составляет в некотором роде даже предел совершенства»; «...все лица в повести обработаны тщательно и живо»; «...любовные признания, томления и обольщения изображены такими красками, какими умеет изображать эти вещи только один г. Тургенев». Но после этих комплиментов критик указывает, что от Тургенева можно требовать большего. В его произведениях публика «всегда видела общественную мысль», она искала в них «олицетворения тех стремлений, которые проявлялись в русской жизни», а писатель в течение уже нескольких лет ничего не дает, кроме «чисто эстетических безделок», к числу которых критик причисляет и «Вешние воды».

На буренинский разбор повести Тургенев откликнулся в письме к Стасюлевичу от 13(25) января 1872 г.: «Любезнейший Михаил Матвеевич, из фельетона „С.-П⟨етер⟩бургских ведомостей“ я уже мог заключить, что от меня ждали повести „*с начинкой*“; но что делать — чем богат, тем и рад...»

Радикально-демократическая критика, которая после «Отцов и детей» и «Дыма» не переставала преследовать Тургенева, и в эти

---

[8] Об этом см.: Громов В. А. «Вешние воды». Статья и письмо Б. М. Маркевича о повести Тургенева.— В кн.: *Т сб*, вып. 5, с. 303—305.

годы с резким осуждением встречала каждое новое произведение писателя. Не избежали этой участи и «Вешние воды». Журнал «Дело» посвятил этой повести несколько пренебрежительных строк в «Невинных заметках», напечатанных в № 1 за 1872 г. («Современное обозрение», с. 96). Автором их был Д. Д. Минаев, скрывшийся под псевдонимом «L'homme qui rit» [9]. Он писал: «„Вешние воды" читаются теперь нарасхват, и, надо правду сказать, повесть эта обидно-хорошо написана. Да, именно обидно, потому что видишь и чувствуешь, сколько таланта и мастерства потрачено, и на что же? на апофеозу нервного захлебывания пред молодым и роскошным телом буржуазной аристократки. Прочтешь эти „Вешние воды" и невольно воскликнешь: „Какой даровитый писатель! и — как он нам жалок в то же самое время!.."» Одновременно с этим Минаев напечатал в «Искре» (№ 2, 9 января), в цикле «Фотографические карточки», язвительную эпиграмму «По прочтении нового романа И. Тургенева „Вешние воды"» (перепечатана в сб. «Поэты „Искры"» — серия «Библиотека поэта». Л., 1933, с. 298).

В последующих номерах «Искра» нанесла еще один удар Тургеневу, напечатав пародию Буренина «Пирожница берегов Рейна, или Русский дворянин за границей. Тургеневская повесть» (№№ 7—9, 13 февраля — 5 марта; подпись — «Опасный соперник г. Тургенева»). Грубо пародируя сюжет и стилистику «Вешних вод», автор ввел в эпилог ряд оскорбительных намеков на отношения Тургенева к П. Виардо. Об этой «мерзейшей пародии» известил Тургенева Анненков в письме от 30 марта (11 апреля) 1872 г.: «Она так гадка и невесела, что никакой цели не достигла, да будь и поумнее, никакого толка не произвела бы, ибо золотое время „Искры" прошло...» Гораздо более остроумной Анненков считает карикатуру, появившуюся в сатирическом журнале «Маляр», о которой он пишет, что она изображает Тургенева «по колена в воде и удящим длинным пером разные гадости в „Вешних водах" — старые сапоги, дохлых кошек и проч. Тут и подпись: „Странный, право, народ — теперешние писатели: всё гоняются за какими-то живыми источниками! Между тем, как в потоке „Вешних вод" столько истасканного старья, полного новизны, столько отживших организмов, полных жизни!"» (*Рус Обозр*, 1898, № 4, с. 370) [10].

Уничтожающая характеристика «Вешних вод» появилась еще раз в «Деле» — во второй части большой статьи П. Н. Ткачева «Неподкрашенная старина. (По поводу последних повестей г. Тургенева)» (1872, № 12, «Современное обозрение», с. 26—75; подпись — Постный). В последней повести Тургенева критик видит лишь пример «идеализации полового чувства». После полупародийного пересказа истории, случившейся с «легкомысленным шалопаем» Саниным, Ткачев заключает: «Но, боже мой! неужели это поэзия, неужели это художественность? В таком случае, где же грань, отделяющая поэзию от нелепости, художественность от „не любо, не слушай и врать не мешай"?» (там же, с. 75; статья перепечатана полностью в книге: Ткачев П. Н. Избранные литературно-критические статьи. Ре-

---

[9] «Человек, который смеется» *(франц.)*.

[10] Полностью было посвящено «Вешним водам» приложение к № 38 «Маляра», 19 декабря 1872 г.: на четырех страницах были помещены карикатуры на Тургенева, выставленного в качестве главного героя «Вешних вод». Карикатуры подписаны инициалами — А. Б.

дакция, вступительная статья и примечания Б. Козьмина. М.; Л., 1928, с. 139—179).

После 1872 года русская критика в сущности больше не обращалась к оценке «Вешних вод», если не считать кратких упоминаний о них, появлявшихся в общих критико-биографических трудах, посвященных Тургеневу (С. А. Венгерова, А. И. Незеленова, Д. Н. Овсянико-Куликовского, И. И. Иванова и др.). Обзор — неполный — критической литературы о «Вешних водах» дан в статье Н. Левиной «Повесть И. С. Тургенева „Вешние воды“» (Уч. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Студенческие научные работы. Л., 1959. Т. 169, с. 21—43).

В 1946 г. А. Б. Гольденвейзером была написана по повести Тургенева опера «Вешние воды»; постановка ее была осуществлена ансамблем советской оперы при Всероссийском театральном обществе в 1955 г.

Переводы «Вешних вод» на иностранные языки стали появляться вскоре после напечатания повести в «Вестнике Европы». Еще 3(15) декабря 1871 г. Тургенев, отвечая на запрос Л. Пича, писал, что он не имеет «никакого понятия о том, когда эта повесть будет переведена на французский язык»; в начале января он, повторяя тот же ответ, добавлял: «Может быть, скоро, может быть, не скоро, может быть, никогда». А некоторое время спустя, в письме от 11(23) февраля 1872 г., он уже извещал Анненкова о телеграмме, полученной от издателя петербургской немецкой газеты «Nordische Presse» Беренса: «...он желает поместить перевод „Вешних вод“ в фельетоне своего журнала и просит моего согласия...» Сказав далее, что он хотел бы «сперва просмотреть этот перевод», Тургенев заканчивает вопросом: «Но как проглотят немецкие читатели г-на Клюбера и прочие неприятности, сказанные их расе?» Приезд Тургенева в Петербург задержался, явившаяся у него в связи с этим мысль поручить просмотр перевода Анненкову отпала, и он положился на добросовестность переводчицы М. Г. Пецольд, уже известной ему по переводам «Несчастной» и «Затишья» (см. письмо М. Г. Пецольд от 10(22) марта 1872 г.). Ее перевод «Вешних вод» («Frühlingsfluten»), печатавшийся в «Nordische Presse» с апреля по июнь (№№ 80—134), был первым по времени переводом этой повести на иностранный язык.

Предчувствия Тургенева, что появление немецкого перевода повести вызовет нападки со стороны обиженных немцев, оправдались. Резкие упреки Тургеневу и обвинение его в ненависти к Германии, к немецкому народу были высказаны в «St.-Petersburger Zeitung» (1872, № 161, 16 июля). О своем недовольстве повестью в этом же плане писал Тургеневу Л. Пич в не дошедшем до нас письме от 8(20) июля 1872 г. 15(27) июля Тургенев отвечал ему: «Господи! Какими вы — все немцы — стали неженками, обидчивыми, как старые девы, после ваших великих успехов! Вы не в состоянии перенести, что я в моей последней повести чуточку вас поцарапал? Но ведь своему родному народу — который я ведь, конечно, люблю — мне случалось наносить и не такие удары! А некий критик в с.-петербургской (немецкой) газете кричит караул и призывает всех офицеров немецкой армии стереть с лица земли клеветника и наглого лгуна — то есть меня! До сих пор я думал, что немцы более спокойны и объективны. Вот я и должен похвалить своих русских. Неужели Вы в самом деле думаете, что я отделал этого жалкого Дев-

рнена с его никудышным театром в *угоду* французам? Моя последняя повесть довольно плоха, но самое лучшее и правдивое в ней — как раз эти немногочисленные щипки».

Второй немецкий перевод «Вешних вод» появился в конце 1872 г. в томе VI «Избранных произведений» Тургенева, выпускавшихся митавским издателем Э. Бере («Iwan's Turgenew's Ausgewählte Werke. Autorisierte Ausgabe. Bd. VI. Ein König Lear des Dorfes. Frühlingsfluten»). Это издание печаталось в Германии и являлось в те годы основным источником для ознакомления немецкой публики с произведениями Тургенева [11]. Выход в свет шестого тома вызвал в немецкой критике сильную волну нападок на Тургенева — настолько сильную, что в защиту русского писателя счел необходимым выступить Ю. Шмидт [12]. Он опубликовал в «National Zeitung» и «Spener'sche Zeitung» протест против клеветнических нападок немецкой прессы на Тургенева (перевод на русский язык напечатан в «С.-Петербургских ведомостях», 1873, № 9, 9(21) января и вместе с письмом Тургенева к Ю. Шмидту в «Вестнике Европы», 1909, № 3, с. 264—265). Свое мнение о «Вешних водах» Ю. Шмидт высказал в 1875 г. в заключительной части статьи «Тургенев и Писемский» («Russische Studien. Turgenjew und Pisemsky. Bilder aus dem geistigen Leben unserer Zeit von Julian Schmidt». Leipzig, 1875. Bd. 4, S. 269—270; русский перевод — «Газета А. Гатцука», 1875, №№ 42—44). В 1879 году в журнале «Literaturblatt» (Bd. 3, № 13, S. 205—209, № 14, S. 221—226) появилась статья Морица Нехелеса о творчестве Тургенева, в которой автор, сопоставляя романы и повести русского писателя, коснулся и «Вешних вод»: эту повесть он характеризовал как «трагедию» — в отличие от романа «Дым», который он определял как «драму» (Schauspiel) [13].

Первые французские переводы «Вешних вод» также появились вскоре после публикации повести в России. Судя по письму Тургенева к Э. Дюрану от 11(23) марта 1872 г., последний уже начал к этому времени — с согласия автора — переводить «Вешние воды». В этом же письме Тургенев извещает его о неожиданно возникшем осложнении: «Вот что произошло со времени моего последнего письма: от некого г. Шарля де Кутули, брата одного из редакторов „Avenir National“ и „Temps“, я получил рукопись полного перевода „Вешних вод“ вместе с просьбой разрешить его напечатать. Мне оставалось лишь ответить ему отказом, так как я уже дал слово, и я назвал ему Ваше имя. ⟨...⟩ Его перевод хорош, но, поскольку у меня все основания не сомневаться в высоких достоинствах Вашего, я лишь предупреждаю Вас обо всем этом, предоставляя Вам в этом деле полную свободу действий. Я считаю Вас своим переводчиком». В дальнейшем Ш. де Кутули отказался от намерения опубликовать

---

[11] Имя переводчика «Вешних вод» здесь не названо. О невыясненности библиографической истории этого издания см. в статье К. К. Эгле «Малоизвестные материалы об И. С. Тургеневе из рижских книгохранилищ».— *Орл сб, 1960*, с. 353—358.

[12] Опыт историко-политического — крайне тенденциозного — анализа немецкой темы в этой повести представлен в статье Н. А. Кузнецовой «„Вешние воды“ И. С. Тургенева» (Уч. зап. Московского гос. ун-та, вып. 127, кн. 3. М., 1948, с. 155—171).

[13] Об этой статье см. в обзоре: E i c h h o l t z J. Turgenev in der deutschen Kritik bis zum Jahre 1883.— Germanoslavica, 1931/1932, Jahrgang I, H. 4, S. 578.

свой перевод, о чем Тургенев извещал Дюрана 25 марта (6 апреля) 1872 г. (см. еще письмо Ж. Этцелю от 26 марта (7 апреля)). К этому времени на руках у Тургенева было уже около двух третей перевода Дюрана, который Этцель намеревался взять для напечатания в «Le Temps».

17(29) апреля Тургенев уже мог послать Этцелю для ознакомления всю рукопись Дюрана; при этом он писал о желании переделать конец повести (см. об этом выше, с. 507) и просил высказать свое мнение о ней. Этцель отвечал ему 19 апреля (1 мая) 1872 г., еще не дочитав повесть до конца: «Дорогой друг! Я прочел половину Вашей повести. Это подлинный шедевр (я вам пишу, ожидая свидания вместе с Саниным. Я в саду. Джемма скоро придет), это настолько превосходно, что я останавливаюсь. Мне страшно, чтобы перевернутая страница не испортила остального. И всё же, как только отправлю эту записку, я перейду со страницы 73 на страницу 74. ⟨...⟩ Берегитесь, если воспоминание о Мериме будет доминировать в конце произведения. Необходима благополучная развязка, или Вы — последний из людей. Весь Ваш Ж. Этцель. Пусть он женится на ней, или чёрт Вас побери!» 21 апреля (3 мая), уже после того как повесть была им дочитана, он писал: «Мой дорогой великий друг! Я прочел вторую половину. ⟨...⟩ Печально, что Вы не ограничились повестью о Джемме ⟨...⟩ Вторую женщину Вашей повести невозможно сделать более обольстительной, чем Джемма. ⟨...⟩ Вторая никого не обольстит, и она не может объяснить падение Санина...». Свое письмо Этцель заключал словами: «Я бы сделал две повести из Вашей повести, потому что в ней две истории, а не одна» [14].

В те же дни Тургенев встретился с Этцелем, и тот в беседе высказал, по-видимому, пожелание о некотором сокращении повести, на что Тургенев готов был дать согласие. В июле 1872 г. Тургеневу стало известно, что издающаяся в Брюсселе газета «Le Nord» начала 17 июля печатать без его разрешения и ведома «Вешние воды» в переводе Франчески (печатание ее продолжалось до 8 августа). Извещая Дюрана об этом «неприятном инциденте», Тургенев писал 9(21) июля, что «ни редакция „Le Temps", ни редакция „Revue des Deux Mondes" не желают печатать сочинение, уже утратившее новизну», и давал разрешение своему переводчику опубликовать повесть отдельной книгой. В следующем письме, от 14(26) июля, Тургенев подтверждал, что он не возражает против сокращения, которого желает Этцель, но при этом добавлял: «Мне только кажется, что после того, как „Le Nord" опубликовал всю вещь целиком, сократить ее уже несколько труднее». В конце концов летом 1873 г. Этцель издал «Вешние воды» в переводе Дюрана отдельной книгой (вместе с «Концом Чертопханова») — без всяких изменений или сокращений [15]. Судя по письму Л. Пичу от 22 мая (3 июня) 1873 г., Тургенев не был удовлетворен этим переводом.

Среди французских писателей одним из первых откликнулся на «Вешние воды» Флобер. 21 июля (2 августа) 1873 г. он писал

---

[14] Parménie A. et Bonnier de la Chapelle C. Histoire d'un éditeur et de ses auteurs. P.-J. Hetzel (Stahl). Paris, 1953, p. 566—567.

[15] Tourguéneff J. Les Eaux printanières. Le Gentilhomme de la steppe. Paris, Hetzel, ⟨1873⟩. В дальнейшем перевод Дюрана неоднократно переиздавался.

Тургеневу: «Хочу Вам сказать, что я прочел „Вешние воды“ ⟨...⟩ Я был ими взволнован, прослезился, как бы испытал некоторое напряжение. Это то, что было с каждым из нас, увы! и что заставляет каждого краснеть за самого себя. Какой человек мой друг Тургенев, какой человек! Внутренность кондитерской прелестна, восхитительна. И прогулка вдвоем утром, когда они беседуют на скамейке. Панталеоне, пудель, Эмилио... И развязка, тихая и плачевная. Ах, вот это — любовный роман, если такой вообще существует! Вы много знаете о жизни, мой дорогой друг, и Вы умеете рассказать о том, что Вы знаете,— а это встречается еще реже. Я хотел бы стать professeur de rhétorique [16], чтобы объяснять Ваши книги. Заметьте: я совсем не стану их объяснять. Нужды нет! Мне кажется, я сумел бы заставить даже идиота понять мастерство, которое меня восхищает, например, контраст двух женских образов в Ваших „Вешних водах“ и их окружения. Для определения Вашего последнего произведения у меня нет другого слова, кроме очень глупого: очаровательно! Но придайте ему поистине глубокое значение. Это произведение поселяет в сердце читателя любовь: улыбаешься и хочется плакать» (Œuvres complètes de Gustave Flaubert. Correspondance. Supplément (1872— Juin 1877). Paris, 1954, p. 96—97).

В ответ на это Тургенев писал Флоберу 25 июля (6 августа) 1873 г.: «Вы говорите мне слишком много приятных слов, мой дорогой друг; они заставляют меня краснеть от удовольствия и смущения. Но ничего — это очень приятно — и древние римляне были правы, когда говорили о „laudari a laudato viro“ [17]. Я очень доволен и горд, что доставил удовольствие старине Флоберу и автору „Антония“. А с его стороны было очень мило сказать мне всё это».

В более позднем этюде о Тургеневе Поль Бурже рассматривал «Вешние воды» как «московитский pendant» к «Сентиментальному воспитанию» Флобера. При этом Бурже отмечал, что «на некоторых страницах романов Тургенева волнение становится настолько сильным, что надо закрыть книгу и прервать чтение на несколько минут: через ваше воображение романист прикоснулся к больному месту вашего сердца, и, как ни легко прикосновение его пальца к ране, невозможно перенести его долго. В этом трепете снова найденной человечности, в этой глубокой симпатии даже к обнаруженной человеческой нищете, в этом до конца сохраненном даре жалости вы найдете у Тургенева постоянное присутствие божественного пламени любви. ⟨...⟩ В „Вешних водах“ Марии Николаевне забавно любить Дмитрия Павловича Санина только потому, что она видит его полным действительной любви к другой» (B o u r g e t Paul. Nouveaux essais de psychologie contemporaine. Paris, 1885, p. 112, 237—238, 244—245).

Резким диссонансом этим высоким оценкам повести является злой и раздраженный отзыв Эдмона Гонкура, который записал в своем дневнике 10 октября 1887 г.: «Тургенев был необыкновенным собеседником — это бесспорно, но как писатель он не заслуживает своей славы. Я не хочу наносить ему оскорбление, предлагая судить о нем по его роману „Вешние воды“...» (Г о н к у р Э. и Ж. де. Дневник. Записки о литературной жизни. Избранные страницы в двух томах. М., 1964. Т. 2, с. 429).

---

[16] преподавателем словесности *(франц.)*.

[17] «похвале из уст того, кого ты сам похвалил» *(лат.)*.

Первый перевод «Вешних вод» на английский язык был выполнен Софией Мичелл (Michell) под заглавием «Spring Floods» — он появился в журнале «Eclectic Review» (1873—1874, № XVIII, 4 — XIX, 3). Этот же перевод был включен в шестой том нью-йоркского собрания сочинений Тургенева, которое выходило в 1867—1885 гг. (Tourgeneff's Works. Spring Floods. Tr. Mrs. Sophie Michell. N. Y.: Holt, 1874. Vol. 6). Впоследствии повесть переводилась на английский язык несколько раз под различными заглавиями («Spring freshets», «Spring torrents», «Torrents of Spring»).

Отклики на «Вешние воды» в англо-американской критике были немногочисленны. Краткую заметку о повести напечатал в английском «Атенеуме» Ю. Скайлер, переводчик «Отцов и детей», бывший в это время американским консулом в Лондоне (Athenaeum, 1872, № 2331). Примерно тогда же с оценкой «Вешних вод», данной по немецкому переводу повести, выступил Т. С. Перри, который рецензировал иностранные книги в американском журнале «Атлантический ежемесячник» («Atlantic monthly»). По мнению Перри, «Вешние воды» — это не рассказ об обмане и падении юноши под воздействием femme fatale [18], а «честное сочувственное изображение первичного человеческого конфликта». В более поздней заметке Перри говорит, что Тургенев изображает любовь «не как тривиальный обман чувств» (illusion) или «грубую болезнь» (coarse weakness), но «как одну из великих неизбежных тайн человеческой жизни, в которой каждый человек полностью выявляет свою натуру». Именно это тургеневское раскрытие всемирной темы Перри ценит больше, чем ее русский фон (см.: Atlantic monthly, XXX, 1872, November, p. 631; XXXIII, 1874, May, p. 574.— Цит. по книге: G e t t m a n R. A. Turgenev in England and America. Illinois, 1941, p. 44—45).

На итальянский язык «Вешние воды» перевела в 1872 г. София де Губернатис (урожд. Безобразова). Первоначально ее перевод появился в журнале «Rivista Europea»,— в письме от 31 августа (12 сентября) 1872 г. Тургенев благодарил переводчицу за присылку двух номеров журнала, в которых были напечатаны первые главы повести. В начале следующего года этот же перевод вышел отдельной книгой. 6(18) марта 1873 г. Тургенев благодарил С. де Губернатис за присылку двух экземпляров этого издания. В 1876 г. «Вешние воды» были переизданы в Милане [19].

Отзывы итальянской критики на этот перевод не выявлены. Об интересе к «Вешним водам» в Италии свидетельствует появившаяся недавно в «Анналах» Восточного института в Неаполе статья В. Кипарского «Образы итальянцев в русской литературе» (K i p a r s k y V. Figure italiane nella letteratura russa.— Istituto Universitario Orientale. Annali. Sezione slava, I. Napoli, 1958, p. 107—121; о «Вешних водах» см. p. 113—115). Говоря, что итальянцы обрисованы в этой повести Тургенева «в самых теплых тонах», автор рассматривает каждый из этих образов; с наибольшим вниманием он останавливается на образе Джеммы, которую считает «подлинной героиней повести». Сопоставляя Джемму с русскими героинями Тургенева, В. Кипарский отмечает, что она действует, как «истая итальянка»; пережитая ею драма не приводит ее к таким необычным поступкам, на какие способны русские женщины (например, уход

---

[18] роковой женщины *(франц.)*.

[19] См.: П о т а п о в а З. М. Русско-итальянские литературные связи. М., 1973, с. 105.

в монастырь Лизы или разрыв Елены с семьей и своим общественным кругом).

В 1873 г. появился датский перевод повести («Foraarsbolger»).

В 1876 г. «Вешние воды» перевел на чешский язык под заглавием «Jarní vody» А. Дурдик (Durdík) — Bibliotekа klassickych spisů», t. 6, Praga, 1876; в 1878 г. тот же перевод был напечатан в венском журнале «Vídenský Zvon».

В 1878 г. в газете «Dziennik Warszawski» под заглавием «Powódź wiosenna» появился первый польский перевод повести (переводчик не указан); в 1879 г. в журнале «Kłosy» был напечатан другой перевод — «Wiosniane wody», выполненный Кассильдой Куликовской.

С т р. 255. *Веселые годы ∽ Промчались они!* — Источник эпиграфа не установлен. В немецком переводе это четверостишие было приведено Томасом Манном в статье «Теодор Шторм» (1930): «. . .В лирике Шторма напрасно было бы искать непосредственное прославление юного майского дня, в ней звучит ноябрьский мотив скорби о прошлом:

Heitere Jahre,
Glückliche Tage —
Wie Frühlingsfluten
Sind ihr verrauscht!

Это тот мотив старинного романса, который ожил также в поэзии Тургенева»[20]. Эти слова легко могут быть истолкованы как указание на то, что цитируемые здесь стихи принадлежат Т. Шторму. Однако такой вывод был бы ошибочен: Т. Манн просто воспользовался тургеневским эпиграфом к «Вешним водам», взяв его перевод из издания: T u r g e n j e w Iwan. Sämtliche Werke, hzsg. von O. Buck und K. Wildenhagen. Berlin, 1929, Bd. VIII, S. 159.

В одном из первых критических откликов на повесть по поводу ее эпиграфа говорилось: «Судя по ее заглавию „Вешние воды“, иные предполагали, что г. Тургенев затронул опять всё еще не вполне решенный и разъясненный вопрос о молодом поколении. Думали, что названием „Вешние воды“ г. Тургенев хотел обозначить разлив юных сил, еще не улегшихся в берега, но благотворный для пажитей,— то, что г. Писемский, с противоположной точки зрения, наименовал „Взбаламученным морем“. Однако подобные ожидания не оправдались. Г-н Тургенев разумел под „вешними водами“ другое, а что именно, видно из следующего эпиграфа, предпосланного повести и заимствованного из старинного романса» (Новое время, 1872, № 7, 8(20) января, «Литературное обозрение», подпись: М—ов).

...то «taedium vitae», о котором говорили уже римляне... — Тургенев употребил это латинское выражение, чтобы обозначить неудовлетворенность жизнью, опустошенность, телесную и душевную усталость, овладевшую человеком, несмотря на его материальное благополучие и изысканность окружающего общества. Из римских писателей у одного лишь Авла Геллия (II век), в его «Аттических ночах» (VII, 18), встречается то же сочетание, но он вклады-

---

[20] M a n n Thomas. Gesammelte Werke. Berlin.: Aufbau-Verlag, 1955. Bd. X, S. 458—459.

вает в него иной смысл, чем тот, который мы находим у Тургенева. Таким образом, ссылка в тексте на римлян не имеет под собой основания. Понятие «taedium vitae» было исследовано в диссертационной работе: Mrs. Thompson. Taedium vitae in Roman Sepulchral inscriptions. St. Louis, 1911 (рецензия И. И. Холодняка на эту книгу была помещена в журнале «Гермес», 1913, № 7, с. 165—166) [21].

Стр. 257. *Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год...*— В повести отразились воспоминания Тургенева о его путешествии по Германии в 1840 году (во Франкфурте-на-Майне он был в мае). В это время Тургеневу шел 22-й год. Об автобиографической основе повести см. выше.

...он находился во Франкфурте...— На Венском конгрессе 1815 года Франкфурт-на-Майне был объявлен «вольным городом». Он управлялся сенатом, имел постоянный комитет граждан и законодательный корпус. До 1866 года Франкфурт являлся республикой. После австро-прусской войны был присоединен к Пруссии.

Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну...— Иоганн Генрих Даннекер (Danneker, 1758—1841) — немецкий скульптор, последователь Антонио Кановы. Работал в Париже, Риме, Штутгарте. В бюргерских кругах Германии были популярны такие его произведения, как «Девушка, горюющая над своеей мертвой птичкой», «Сафо, возлежащая с лирой», «Полумертвая Психея, извлекаемая из воды речным богом». Подобного рода сюжеты, подвергшиеся опошлению у менее даровитых скульпторов середины XIX века, Тургенев иронически упомянул в эпилоге «Накануне» (наст. изд., т. 6, с. 300). Мраморная группа «Ариадна на пантере» (1814) — наиболее прославленное произведение Даннекера. Эта скульптура была приобретена в 1816 г. франкфуртским банкиром Г. Бетманом, который выстроил для нее особый павильон, названный «Ariadneum», и сделал ее доступной для обозрения. Здесь ее мог видеть Тургенев в 1840 г.

...посетил дом Гёте...— Имеется в виду дом во Франкфурте-на-Майне, на улице Hirschgraben, который принадлежал отцу поэта, имперскому советнику Иоганну Каспару Гёте. Здесь поэт родился и провел детские и отроческие годы до отъезда в Лейпцигский университет (1765). Позднее он бывал во Франкфурте лишь наездами. Этот дом описан в первой книге первой части автобиографии Гёте «Из моей жизни. Поэзия и правда» («Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit»).

...прочел одного «Вертера» — и то во французском переводе...— Преклонение перед романом «Страдания юного Вертера», получившим известность во всем мире вскоре после его появления (1774), было особенно сильным в Европе и в России. Во Франции до 1840 г. он переводился десять раз. Для русских читателей в первые десятилетия XIX века Гёте являлся по преимуществу автором «Вертера» (см.: Жирмунский В. М. Гёте в русской литературе. Л.: Гослитиздат, 1937, с. 39—88). Во второй половине 1830-х годов в России возникает повышенный интерес к другим произведениям Гёте, особенно к «Фаусту», но это увлечение не затронуло героя

---

[21] Настоящее примечание составлено А. Н. Егуновым; ему же принадлежат примечания к с. 257 («Даннекерова Ариадна», «дом Гёте»), 267 («комедии Мальца»). См. также: Егунов А. Н. «Вешние воды». Латинские ссылки в повести Тургенева. 2. Taedium vitae.— В кн.: *Т сб*, вып. 4, с. 186—188.

повести, оставшегося, очевидно, равнодушным к немецкой литературе и философии, которые в 1830-е годы живо интересовали Тургенева и многих его сверстников.

С т р. 259. *...старичок, носивший имя Панталеоне.*— Святой Панталеон — покровитель Венеции; его имя, измененное в духе народной этимологии в piantaleone (то есть «водружателя льва» — знамени св. Марка), стало прозвищем венецианцев; в форме Pantalone оно закрепилось за одним из персонажей commedia dell'arte: это купец, богатый, скупой и глупый старик; но ему же народная комедия масок придавала и положительные черты: человечность, сердечность, чувствительность; он наделен добрым сердцем и помогает обиженным.

С т р. 260. *...как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти.*— Палаццо Питти — один из дворцов эпохи Возрождения во Флоренции; в нем размещен музей — собрание картин итальянских и иностранных мастеров XVI—XVII веков. «Юдифь»—картина итальянского художника Аллори (Allori) Кристофано (1577—1621).

Tartaglia — canaglia...— Тарталья — одна из традиционных масок commedia dell'arte, появившаяся в Неаполе в начале XVII века (см.: Д ж и в е л е г о в А. К. Итальянская народная комедия. М., 1954, с. 146—149).

С т р. 263. «*Demetrio e Polibio*» («Деметрий и Полибий») — ранняя опера Джоакино Россини, написанная на античный сюжет; впервые была поставлена в Риме в 1812 году, но вскоре сошла со сцены.

...Джиованни Батиста Розелли ∽ и к тому республиканец! — Приурочивая переезд отца Джеммы во Франкфурт к 1815 году, Тургенев, очевидно, хотел напомнить политические события в истории Италии, которые вынудили республиканца Розелли покинуть родину. В 1815 году, после Венского конгресса, в Италии, в том числе и в захваченном Австрией Ломбардо-Венецианском королевстве, куда входил город Виченца, восторжествовала жесточайшая реакция, сопровождавшаяся полицейским террором. Можно думать, что Розелли принадлежал к Союзу карбонариев — тайному демократическому обществу, основанному в 1808 году и боровшемуся за республику и за национальное освобождение Италии.

...каким-то сумрачным и суровым бригантом — вроде Ринальдо Ринальдини! — Бригант (итал. brigante) — разбойник, бандит; Ринальдо Ринальдини — герой романа немецкого писателя Вульпиуса (Vulpius) Христиана Августа (1762—1827) «Ринальдо Ринальдини, знаменитый атаман итальянских разбойников» («Rinaldo Rinaldini, der Räuberhauptmann», 1797), который был переведен почти на все европейские языки и сделался прототипом бесчисленных «разбойничьих» романов.

...чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио! — Речь идет об одном из самых прославленных произведений Корреджо (Correggio) Антонио (1489—1534) — созданной им в 20-х годах XVI века фреске «Вознесение богоматери» в куполе Пармского собора. В рукописи Тургенев по ошибке отнес эту фреску к Падуе— см. его письмо к Стасюлевичу от 14(26) февраля 1872 г., в котором он просил исправить эту ошибку во втором издании «Вестника Европы».

С т р. 264. *...был родом из Синигальи, где слышится «lingua toscana in bocca romana!»* — Итальянский литературный язык сложился в XIII—XIV веках на основе тосканского диалекта. В XVI веке возникли продолжавшиеся до XIX века споры между

сторонниками чистоты тосканской речи в литературном языке и их противниками, настаивавшими на использовании в его развитии и других диалектов. Спор был разрешен в пользу «тосканистов», чему немало способствовал своим творчеством и теоретическими выступлениями писатель Алессандро Манцони. Синигалья (или Сенигалья) — город на побережье Адриатического моря, близ Анконы.

... ледяной дом в Петербурге ∽ в одной из книг ее покойного мужа: «Bellezze delle arti».— Ледяной дом был построен в Петербурге в январе 1740 г. по приказу Анны Ивановны, которая устраивала «потешный праздник» по случаю свадьбы своего шута Голицына (см. роман И. И. Лажечникова «Ледяной дом», 1835). «Bellezze delle arti» — художественный альманах, выходивший в конце XVIII века.

С т р. 265. *...спел ∽ сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой».*— О песне «Сарафан» см. примечание к повести «Два приятеля» (наст. изд., т. 4, с. 631—632). «По улице мостовой» — русская народная песня (ее текст — в двух вариантах — приведен А. И. Соболевским в изданных им «Великорусских народных песнях» — см.: *Соболевский*, т. IV, с. 589—592).

...спел пушкинское «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой...— Романс М. И. Глинки «Я помню чудное мгновенье» был написан осенью 1840 года. Вводя упоминание о нем в повесть, действие которой происходит летом 1840 года, Тургенев допустил некоторый анахронизм. Возможно, что эта неточность восходит к «Воспоминаниям о М. И. Глинке» А. Н. Серова, в которых создание романса было отнесено к 1838 году. Эти воспоминания были напечатаны в журнале «Искусства», в сентябре — декабре 1860 г.; об интересе Тургенева к этому журналу см. его письмо к Полонскому от 4(16) ноября 1860 г.

...спела несколько дуэттино и «сторнелло».— Дуэттино — дуэт небольшого размера; развитию этого музыкального жанра во многом способствовал итальянский композитор Пиччини (Piccinni) Николо (1728—1800). Сторнелло — один из жанров итальянской народной песни (от провансальского estorn — борьба, состязание). Сторнелло имеет форму рифмованного двустишия или трехстишия.

...никакая пальма — даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта...— Имеются в виду строки из стихотворения В. Г. Бенедиктова (1807—1873) «Пляска смерти», в котором описан танец Саломеи:

> В пламени зениц ее — сила чародейская;
> Стан ее сгибается в мерном колыхании —
> Стройный, как высокая пальма иудейская.

(Б е н е д и к т о в В. Г. Сочинения./Под ред. Я. П. Полонского. Изд. 2-е. СПб., 1902. Т. II, с. 176). Тургенев неоднократно рассказывал о своем юношеском преклонении перед поэзией Бенедиктова. Так, Н. А. Островская передает в своих воспоминаниях слова Тургенева: «Знаете ли вы, кого мы ставили рядом с Пушкиным? Бенедиктова! ⟨...⟩ Да-с,— и вот какой чепухой восхищались и восхищались не кое-кто, а Грановский, например, ваш покорнейший слуга и другие, не хуже нас с Грановским» (*Т сб (Пиксанов)*, с. 82). В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев писал: «И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть...» Преодолев под влиянием Белинского это

увлечение, Тургенев в течение всей последующей жизни сохранил критическое отношение к поэзии Бенедиктова и не раз вводил в свои произведения иронические замечания о ней.

Стр. 266. *...один русский князь Тарбусский — «il principe Tarbusski»...* — В этой искаженной в устах Панталеоне фамилии нетрудно распознать фамилию князя Трубецкого (ср. выше, с. 505—506, воспоминания Л. Фридлендера и И. Я. Павловского о прототипе Панталеоне).

Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... — В 1831 году в Модене вспыхнуло восстание, направленное против герцогской династии д'Эсте. Герцог Франц IV бежал и, вернувшись с австрийскими войсками, подавил народное движение. С этими обстоятельствами и было, очевидно, связано крушение артистической карьеры Панталеоне.

...заговорил ∽ о знаменитом теноре Гарсиа. — Гарсиа (García) Мануэль (1775—1832) — прославленный испанский оперный певец, композитор и преподаватель пения. У него училась и его дочь Полина Виардо-Гарсиа.

...петь вместе с ним в опере ∽ Россини — в «Отелло»! — Опера Россини «Отелло» (либретто Ф. ди Салза) была впервые поставлена в 1816 г. на сцене неаполитанского оперного театра Сан-Карло, в труппе которого пел тогда Гарсиа.

Стр. 267. *...он пел эту знаменитую арию из «Matrimonio segreto»...* — Комическая опера итальянского композитора Чимарозы (Cimarosa) Доменико (1749—1801) «Matrimonio segreto» («Тайный брак») была впервые поставлена в 1797 г. в Вене. Речь идет об арии главного героя оперы Паолино.

Cet âge est sans pitié... — Цитата из басни Ж. Лафонтена «Les deux pigeons» («Два голубя»).

...заговорил о «paese del Dante, dove il sì suona». — Не вполне точная цитата из песни III «Ада» Данте (правильно «Del bel paese là, dove il sì suona» — «Пленительного края, где звучит слово sì...»). Данте в трактате «De vulgari eloquentia» («О народной речи»), написанном по-латыни, говорит о делении южноевропейских (романских) языков в зависимости от характера утвердительной частицы «да»; при этом он различает: lingua d'oc (провансальское oc); lingua d'oïl (французское oil, позднее oui); lingua de si (итальянское sì).

...вместе с «Lasciate ogni speranza» ∽ багаж молодого туриста... — Усеченный стих из «Божественной комедии» Данте («Ад», III, 9) — надпись над вратами ада. Был широко распространен в России с конца XVIII века как ходячее выражение.

...прочесть ему одну из комедиек Мальца. — Карл Мальц, точнее Мальс (Malß, 1792—1848) выступил в начале 1820-х годов со своей первой комедией «Der alte Bürgercapitain oder die Entführung» (1821), которую встретили похвалами Л. Бёрне и Гёте. В 1827 г. Мальс стал директором и акционером театра во Франкфурте; в последующие годы он написал ряд комедий (частью по французским источникам), где выведены коммерсант Хампельман и другие типы франкфуртского бюргерства («Die Landpartie nach Königstein. Hampelmanniade in 6 Bildern», 1832; «Herr Hampelmann im Eilwagen», 1833; «Herr Hampelmann sucht ein Logis», 1834; «Die Jungfern Köchinnen», 1835). Сборник пьес Мальса был издан в 1850 г. («Volkstheater in Frankfurter Mundart»). Он сопровождался словариком, так как франкфуртский диалект мог затруднять читателей из других областей Германии.

Стр. 269. *...видели на Цейле большой магазин сукон...*— Die Zeile — новая, прямая улица во Франкфурте (в отличие от кривых улиц средневековой застройки), на которой в конце 1830-х — начале 1840-х годов были сосредоточены большие магазины. См. ее изображение в книге: Lange Georg. Geschichte der freien Stadt Frankfurt a. M. von ihren Anfang bis auf die neuesten Zeiten. Darmstadt, 1837, S. 192—193.

Стр. 270. *Ей бы Меропу представлять или Клитемнестру...*— Меропа — героиня одноименной трагедии Вольтера («Mérope», 1743), сюжет которой восходит к античной легенде; образ Меропы выведен также в одной из трагедий Еврипида («Кресфонт»). Клитемнестра — одна из героинь трагедии Расина «Ифигения в Авлиде» (1674), в основу которой положен древнегреческий миф — убийство Клитемнестрой своего мужа Агамемнона и ее смерть от руки сына Ореста, мстящего за отца; тот же миф использован в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида.

Стр. 273. *...как у Рафаэлевой Форнарины.*— Согласно преданию, Форнарина — бедная девушка, возлюбленная Рафаэля, черты которой он запечатлел во многих своих произведениях. Ее именем называют обычно женский портрет (копия с утраченного оригинала Рафаэля), находящийся в Риме, во дворце Барберини.

Стр. 277. *...арию из «Фрейшюца» ∽ die Auen...»*— «Der Freischütz» («Вольный стрелок») — романтическая опера Карла Марии Вебера (либретто Ф. Кинда), поставленная впервые в Берлине в 1821 г. В России известна под названием «Волшебный стрелок», которое было дано по указанию цензуры. «Durch die Felder [22], durch die Auen» — ария Макса из первого акта оперы.

...разговор соскользнул ∽ на Гофмана, которого тогда еще все читали...— В России знакомство с произведениями Гофмана началось в 20-е годы XIX века; всеобщее увлечение ими относится к 30-м годам. В следующей (XII) главе излагается эпизод из повести Гофмана «Заблуждения» («Die Irrungen. Fragment aus dem Leben eines Fantasten», 1821).

Стр. 279. *...один и тот же челнок, как в Уландовом романсе...*— Уланд (Uhland) Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик, собиратель произведений народного творчества. Здесь речь идет о его популярном стихотворении «Das Schifflein» («Челнок») из цикла «Romanzen». Это стихотворение Тургенев еще раз упоминает в главе XXV (с. 314).

...представлял маршала Бернадотта...— Жан Батист Жюль Бернадотт (1763—1844) — один из наполеоновских маршалов, участник сражений при Аустерлице и Ваграме. В 1810 г. при поддержке Наполеона был избран наследником шведского престола и регентом Швеции. В дальнейшем Бернадотт занял позицию, враждебную Франции, а в 1813 г. принял участие в военных действиях против нее. В 1818 г. стал королем Швеции под именем Карла XIV.

Стр. 280. *...тревожные чувства, обуревавшие лучшую часть тогдашней молодежи, были ему мало известны.*— Говоря о «лучшей части» молодежи 1830-х годов, Тургенев, по всей вероятности, имел в виду людей типа Герцена, Огарева, Белинского, Станкевича и других участников студенческих кружков, с их спорами на философские и социально-политические темы, с их протестом против крепостничества и самодержавного деспотизма. В этой характери-

[22] Правильно — die Wälder.

стике Санина можно в известной мере также распознать автобиографическую основу: о некоторой своей отчужденности от Станкевича Тургенев писал в «Воспоминаниях о Н. В. Станкевиче» (наст. изд., т. 5, с. 362).

...после тщетного искания «новых людей» начали выводить юношей ⟨...⟩ быть свежими... — Слова Тургенева о «тщетных исканиях» в нашей литературе «новых людей» могут быть отнесены к таким произведениям демократической литературы 1860-х годов, как «Что делать?» Чернышевского, «Трудное время» Слепцова, «Мещанское счастье» и «Молотов» Помяловского, «Перед рассветом» Благовещенского. В связи со спадом революционно-демократического движения во второй половине 1860-х годов в литературе появились иные типы, чуждые по своим идеям и по своей психологии «новым людям» недавнего прошлого. Тургеневская характеристика этих героев может быть применена к таким образам, как Литвинов («Дым»), Райский («Обрыв»), как молодежь, выведенная в романе Писемского «Люди сороковых годов» (1869).

...фленсбургские устрицы... — Так назывались устрицы, которые добывались у берегов Шлезвиг-Гольштейна: устричные промыслы в этом районе арендовала торговая компания города Фленсбурга.

С т р. 283. *...достав из бокового кармана небольшую книжечку, ⟨...⟩ читать разбирательные анекдоты...* — Тургенев имеет в виду действительно существовавшую книгу, выдержавшую три издания: Knallerbsen, oder Du sollst und mußt lachen. 250 interessante Anekdoten, gesammelt und herausgegeben von Fr. Rabener. Quedlinburg, 1841—1842.

С т р. 289. *Подпоручик! Мой огурчик!..* — Эту песенку, бытовавшую, вероятно, в провинциальной обывательской среде, Тургенев использовал ранее в шуточном «романе» «Похождения подпоручика Бубнова», написанном в 1842 г. (см. наст. изд., т. 1, с. 408).

С т р. 290. *...как говорится, машинально...* — Цитата из романа «Евгений Онегин» (гл. IV, строфа XVII).

С т р. 294. *Пистолеты без шнеллера...* — Шнеллер — приспособление к спусковому механизму нарезного пистолета или ружья, служившее для облегчения спуска и тем самым для увеличения меткости стрельбы. Бесшнеллерными были дуэльные пистолеты.

С т р. 295. *...предложил ей сыграть с ним в тресетте...* — Тресе́тте (tressette) — широко растространенная итальянская карточная игра, возникшая в XIV веке в Неаполе; в ней участвуют четыре или три игрока.

С т р. 298. *Спит, как Александр Македонский накануне вавилонского сражения!* — По свидетельству древних историков, Александр Македонский перед решающим сражением с персидскими войсками Дария III у города Арбели в Ассирии (331 г. до н. э.) был так уверен в победе, что крепко уснул. Сражение, действительно, закончилось полным поражением персов.

С т р . 302. *Каждый взял свой пистолет...* — Цитата из романа «Евгений Онегин» (гл. VI, строфа XXIX).

С т р. 304. *Fuori! (фора!) — по старой памяти еще раз гаркнул Панталеоне.* — Значение этого слова разъяснил в 1825 г. В. Ф. Одоевский: «Нельзя не отметить странного обыкновения, у нас существующего: желание, чтобы актеры повторили понравившееся место, у нас объявляется восклицанием „форо“, когда это слово совсем не означает повторения. Слово „форо“, или „фора“ происходит от латинского foras ⟨...⟩, однозначущего с выражением:

„чрез меру“ или „выходящее за пределы“ ⟨...⟩ Следовательно, „форо“ по-русски значит только „прекрасно“, „несравненно“, ибо произносят сие слово, желая вызвать актеров не для повторения, но изъявления благодарности; желая же заставить повторить, итальянцы и французы употребляют технический термин bis» (Московский телеграф, 1825, № 4). Панталеоне употребляет слово «фора» «по старой памяти», потому что к 1840-м годам оно уже было прочно забыто и заменилось возгласом «браво!».

С т р. 320. *Я сплю... но сердце чуткое не спит...*— Неточная цитата из стихотворения Л. А. Мея, входящего в цикл «Еврейские песни» (поэтические переложения библейской «Песни песней»). Напечатано впервые в 1849 г.; оно начинается строкой: «Сплю, но сердце мое чуткое не спит».

С т р. 327. *...напиться воды с флёр-д'оранжем...*— Здесь имеется в виду лекарственная настойка на цветах апельсинового дерева.

С т р. 328. *...как у Альмавивы в «Севильском цирюльнике»*.— В этом сравнении Санина с влюбленным, но ветреным и непостоянным в своих чувствах персонажем из комедий Бомарше «Севильский цирюльник» и «Свадьба Фигаро» содержится намек на его будущую измену Джемме.

С т р. 329. *Переход ∽ к «тихой резиньяции»...*— Резиньяция— безропотное смирение, покорность судьбе. Мотив резиньяции нашел поэтическое выражение в стихотворении Шиллера «Die Resignation» (1784). В письмах Белинского, Станкевича, Герцена, Тургенева и других молодых людей 1830-х годов этот мотив часто обсуждался и был предметом горячих споров (см. также: наст. изд., т. 5, с. 404).

С т р. 330. *...вся Германия еще помнила ссору прусского правительства с кельнским архиепископом из-за смешанных браков.*— Противником смешанных браков между католиками и некатоликами был Клементий Август Дросте, избранный в 1835 г. кельнским архиепископом. В том же году он запретил венчать тех, кто не даст клятвенного заверения о воспитании детей в католическом духе, и тем самым вступил в конфликт с брачными узаконениями преимущественно протестантской Пруссии, под властью которой Кельн находился по решению Венского конгресса. В 1837 г., после долгих споров с правительством Пруссии, Дросте был смещен (см.: С о к о л о в В. К. Католическая церковь и государство в Германии во второй половине XIX ст. Казань, 1912, с. 64—70).

С т р. 335. *...и прозвище носил «слюняя».*— Возможно, что это прозвище было введено Тургеневым под влиянием имени князя Слюняя, одного из главных персонажей «шуто-трагедии» И. А. Крылова «Подщипа» (1800). Эта пьеса была напечатана только в 1871 г. (*Рус Ст*, № 2), то есть как раз в то время, когда писались «Вешние воды». До этого «Подщипа» была опубликована в 1859 г. за границей.

С т р. 336. *А еще толкуют: фатерланд, мол, объединить следует.*— После Венского конгресса на территории Германии был образован «Германский союз», состоявший из 38 слабо связанных между собой государств, что препятствовало экономическому и политическому развитию страны. На этой почве в немецких оппозиционных кругах росла идея объединения Германии, получившая особенно широкое распространение в связи с июльской революцией 1830 года во Франции. С середины 1830-х годов задача объединения

заняла видное место в программах тайных революционных организаций «Молодая Германия», «Союз изгнанников» и др.

Стр. 341. *...а великий князь Михаил Павлович скомандовал...*— Брат Николая I Михаил Павлович, известный своим самодурством и склонностью к жестокой муштре, с 1826 по 1844 год был командиром гвардейского корпуса.

Стр. 342. *У графини Ласунской изволят обедать.*— Под фамилией Ласунской Тургенев вывел еще в «Рудине», как явствует из плана этого романа, А. О. Россет-Смирнову, в молодости воспетую Пушкиным, Лермонтовым, Вяземским, дружившую с Гоголем и Полонским (см. также комментарий к «Рудину» — наст. изд., т. 5, с. 490—491). Отрицательную характеристику Смирновой Тургенев дал в «Отцах и детях» («калужская губернаторша» — наст. изд., т. 7, с. 161) и, может быть, в «Дыме» («дрянной сморчок»).

Стр. 344. *Не перед «святыней красоты», говоря словами Пушкина...*— Имеется в виду стихотворение Пушкина «Красавица» (1832).

...как та тройная броня, о которой поют стихотворцы.— Этот поэтический образ восходит к одной из од Горация (книга 1, ода 3), переведенной И. И. Дмитриевым: «Тройным булатом грудь была вооруженна» (Сочинения И. И. Дмитриева. М., 1818, с. 43). Эту же строку Горация воспроизвел Пушкин в письме к П. А. Вяземскому от 5 ноября 1830 г., отнеся ее к своей невесте Н. Н. Гончаровой (*Пушкин*, т. 14, с. 122).

Стр. 345. *...«с чувством, с толком, с расстановкой»...* — Цитата из «Горя от ума» (действие II, явление 1).

Стр. 347. *Дагерротипы едва стали распространяться.*— Дагерротипия — ранний способ фотографирования, при котором сразу получалось позитивное изображение, но только в одном экземпляре. Была изобретена в 1839 г. французским художником Луи Жаком Дагерром. Метод фотографирования, близкий к современному, сложился в результате усилий ряда изобретателей на протяжении 1840-х годов.

Стр. 351. *...прослушал попурри из «Роберта-Дьявола»...*— Имеется в виду опера Джакомо Мейербера (либретто Э. Скриба), поставленная впервые в 1831 г. и сразу же приобревшая общеевропейскую известность.

Стр. 352. *Поднизь* — женский головной убор, часть старого русского национального костюма; состояла из нити с нанизанным на нее жемчугом или бисером.

Стр. 353. *...le terrible don de la familiarité, о котором упоминает кардинал Ретц.*— Жан Франсуа Поль де Гонди Ретц (Retz, 1614—1679) — кардинал, один из главных деятелей Фронды. Мемуары Ретца впервые вышли в свет в 1717 г. и затем неоднократно переиздавались (в 1866 г. вышло их девятнадцатое издание — наиболее близкое ко времени написания «Вешних вод»).

Стр. 356. *...он не совсем ясно понимал значение слов: «передел» и «запашка»...*— Передел — при общинном землепользовании раздел земли по душам, производившийся заново каждые несколько лет. Запашка — слово, употреблявшееся в сельском хозяйстве в разных значениях: начало пахоты, количество вспаханной земли, обработка помещичьей земли крепостными крестьянами (то же, что барщина).

Ступайте поиграйте в рулетку ∽ подите в игорную залу...— Описывая немецкие курорты, автор путевых очерков, напечатанных

«Северной пчеле», писал о Висбадене: «Курзал здесь богаче, нежели в Эмсе, и имеет хорошенький сад и парк, с прудами и лебедями. И в залах игра идет сильнее, нежели в Эмсе. Рулеток и банковых столов здесь до шести. Игроков бездна» (Владимиров. Из Петербурга в Лондон.— *Сев Пчела*, 1863, № 122). Еще раньше описание рулетки в Висбадене было дано в очерке Ф. Дершау «Из записок игрока» (*Рус Сл*, 1859, № 4). Впечатления от игры в Висбадене нашли отражение в романе Достоевского «Игрок» (1866).

Стр. 359. *...тогда в Висбадене проживала некая принчипесса ди Монако, изумительно смахивавшая на плохую лоретку...*— Карликовое княжество Монако, включающее городок Монте-Карло с его знаменитым казино, с 1861 г. находилось в тесной зависимости от Франции (до этого — под протекторатом Сардинии, затем Пьемонта). Монархический режим в Монако имел по существу марионеточный характер.

...шелковое розовое платье глясэ...— Глясэ — пестротканая материя, отливающая то одним, то другим цветом.

...с рукавами à la Fontanges...— Герцогиня де Фонтанж — одна из фавориток Людовика XIV. Тургенев здесь допустил неточность: существовала особая прическа, названная по имени Фонтанж (см.: *Сев Пчела*, 1860, № 5. Парижские моды).

...посмотри-ка, что я в «Северной пчеле» ∽ стихи князя Коврижкина по этому случаю.— Князем Коврижкиным здесь назван кн. П. А. Вяземский. В молодости он находился в оппозиции к правительству, но с 1830 г. пошел на примирение с самодержавием и стал крупным чиновником — сначала в министерстве финансов, а позднее в министерстве народного просвещения, где он в 1856—1858 гг. возглавлял цензурное ведомство. В литературной жизни этих десятилетий он занимал реакционные позиции. Выпад против Вяземского усиливался тем, что он был назван в связи с «Северной пчелой» — рептильной газетой, издававшейся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем (сам Вяземский всегда относился к «Северной пчеле» с открытой враждебностью). В романе «Новь» Тургенев еще раз задел «князя Коврижкина» (ч. 1, гл. XIV). В ответ на выпад против него в «Вешних водах» Вяземский написал осенью 1872 г. эпиграмму, которая сохранилась в рукописи и при жизни автора не печаталась:

Тупые колкости твои
Приемлю я с незлобным сердцем.
Я князь Коврижкин, так, но что ни говори,
Я для тебя коврижка с перцем.

(Вяземский П. А. Избранные стихотворения. М.; Л., 1935, с. 470).

История личных отношений Тургенева и Вяземского прослежена в статье Н. Ф. Бельчикова «Тургенев и Вяземский» (*Центрархив, Документы*, с. 10—19).

Стр. 360. *Какой он был муж совета! Он просто был муж Татьяны Юрьевны.*— Татьяна Юрьевна — образ богатой и властной московской барыни; о ней говорит Молчалин в беседе с Чацким («Горе от ума», действие III, явление 4).

...называла себя лапотницей, не хуже Натальи Кирилловны Нарышкиной.— Наталья Кирилловна, вторая жена Алексея Михайловича и мать Петра I, происходила из небогатого и незнатного

рода Нарышкиных, возвышение которого в связи с ее замужеством было враждебно встречено родовитым боярством.

С т р. 361. *...труппа в Карлсруэ, под «знаменитым» управлением г-на Девриента.*— Девриент (Devrient) Филипп Эдуард (1801—1877) — известный немецкий актер и драматург; с 1852 по 1870 г. был директором придворного театра в Карлсруэ. Одной из причин, вызвавших этот резкий отзыв о Девриенте, был, вероятно, конфликт, разыгравшийся в связи с постановкой на сцене театра в Карлсруэ в январе 1870 г. оперетты «Последний колдун» (либретто Тургенева, музыка Полины Виардо). Тургенев считал, что враждебные высказывания в местной печати об этом спектакле были инспирированы Девриентом (см.: Ш в и р ц Гр. Представления оперетты «Последний колдун».— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1. «Из парижского архива И. С. Тургенева», с. 220—222). Вопрос об отношении Тургенева к театру в Карлсруэ и к Девриенту рассматривает Э. Т. Хок в статье «Тургенев в Карлсруэ» (H o c k E. Th. Turgenev in Karlsruhe.— I. S. Turgenev und Deutschland. Berlin, 1965. I Bd., S. 273—279).

...проиграл увертюру из «Свадьбы Фигаро»...— Опера Моцарта «Свадьба Фигаро» была впервые поставлена в 1786 г. в Вене. В основу ее либретто, написанного Лоренцо да Понте, была положена одноименная комедия Бомарше. Об увертюре к опере А. Н. Серов писал, что она — «прелестный образец увертюр для комических пьес; всё живо, легко, всё улыбается, шутит 〈...〉 Эта увертюра — одно из лучших произведений Моцартовой инструментальной музыки» (С е р о в А. Н. Моцарт. М., 1953, с. 24—25).

С т р. 363. *Я с ним «Энеиду» прочла.∽ Помните, когда Дидона с Энеем в лесу...*— Рассказ о встрече Дидоны с Энеем в лесу входит в четвертую книгу поэмы Вергилия «Энеида». Приводим этот эпизод в переводе И. Г. Шершеневича, впервые напечатанном в «Современнике» за 1851 и 1852 гг. (отдельное издание: Варшава, 1868):

Между тем нагрянули тучи и гром прокатился
По небесам, и с градом дождь пустился на землю.
В разные стороны вдруг разбежались тирийцы, троянцы,
Чтобы укрыться под кровлями хижин, раскинутых в поле;
И Асканий с ними, а с гор валятся седые потоки.
Вождь троянский с Дидоной укрылись под сводом пещеры.
Знак подает Земля и матерь браков Юнона:
Вдруг сверкнули огни и воздух, свидетель союза,
И на горных вершинах в ужасе нимфы завыли.
Этот день был первым началом и первой причиной
Всех несчастий. Дидона молве и слухам не внемлет;
Нет, Дидона страсти своей таить уж не хочет
И прикрывает вину священным именем брака.

(*Совр*, 1852, № 2, Словесность, с. 67).

См. также: Е г у н о в А. Н. «Вешние воды». Латинские ссылки в повести Тургенева. 1. Тургенев и «Энеида» Вергилия.— *Т сб*, вып. 5, с. 182—186.

С т р. 365. *Критик висбаденский ∽ он сплетник ужасный...*— В памфлетной фигуре этого критика, которого Полозова называет Herr P..., Тургенев вывел Рихарда Поля (Pohl, 1826—1896), писателя, театрального и музыкального критика, жившего с 1864 г. в Баден-Бадене. В течение ряда лет он поддерживал дружеские отношения с Тургеневым и Виардо, принимал участие в первых домашних спектаклях оперетты «Последний колдун», помещал хва-

лебные рецензии на эту и другие оперетты Тургенева и Виардо в газете «Badeblatt der Stadt Baden-Baden», редактором которой он был. Для постановки «Последнего колдуна» на сцене театра в Веймаре в 1869 г. он перевел либретто этой оперетты на немецкий язык (см. названную выше статью Гр. Швирца.— *Лит Насл*, т. 73, кн. 1, с. 214). Три стихотворения Поля были включены Тургеневым в альбом: «Шесть стихотворений Г. Гейне, Э. Мёрике и Р. Поля, переведенные на русский язык И. Тургеневым и положенные на музыку Полиною Виардо-Гарсиа» (СПб., 1871). В 1870—1871 гг., то есть как раз в то время, когда писались «Вешние воды», отношения с Полем были прерваны и в дальнейшем Тургенев отзывался о своем бывшем знакомом с нескрываемым раздражением (см., например, письма Л. Пичу от 1 января и 1 августа н. ст. 1873 г.). Сохранив в своей сатирической зарисовке характерную для Поля деталь — его преклонение перед Листом,— Тургенев вместе с тем перенес деятельность критика в Висбаден, несколько затушевав этим свой выпад против Поля.

Стр. 372. *Смотрите — я как венгерский король ∽ на все четыре стороны света).*— Речь идет об обряде, входившем в торжественную церемонию коронования венгерских королей: новый король, въехав на вершину холма на берегу Дуная, делал четыре взмаха обнаженным мечом на все стороны света, что обозначало его готовность защищать Венгрию от любого врага.

Стр. 373. *In die Berge, wo die Freiheit thront!* — Источник этой цитаты не установлен. Ее содержание напоминает строки из стихотворного предисловия к «Путешествию по Гарцу» Г. Гейне:

Auf die Berge will ich steigen,
Wo die frommen Hütten stehen,
Wo die Brust sich frei erschliesset,
Und die freien Lüfte wehen [23].

Однако по лексике и ритму эти стихи Гейне значительно отличаются от приведенной Тургеневым стихотворной строчки, что трудно объяснить ошибкой памяти.

Вы знаете ∽ что значит: охотиться по брызга́м? — У охотников это выражение означало: охотиться по первой весенней ростепели.

Стр. 374. *...ведь это как в Бюргеровой «Леноре»!* — «Ленора» (1773) — баллада немецкого поэта Готфрида Бюргера (1747—1794), положившая начало развитию этого жанра в европейской поэзии. В России «Ленора» была известна по двум переделкам Жуковского («Людмила», 1808, и «Светлана», 1813), по его же переводу («Ленора», 1831), а также по вольному переводу П. А. Катенина («Ольга», 1816). Марья Николаевна вспомнила эту балладу потому, что там описывается бешеная скачка на коне:

...конь бежит, летит,
Под ним земля шумит, дрожит,
С дороги вихри вьются,
От камней искры льются.

(Жуковский В. А. Стихотворения. Л., 1956, с. 437).

---

[23] Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где привольно веет ветер,
Где дышать свободно будет. (Перевод В. Станевич.)

«ВЕШНИЕ ВОДЫ».
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА НАБОРНОЙ РУКОПИСИ, 1871 г.
Национальная библиотека, Париж.

...женский кентавр... — По древнегреческим преданиям, кентавры — фесалийское племя, представителей которого изображали в виде полулюдей, полулошадей. Мужские и женские кентавры были в свите Диониса, бога растительности, покровителя виноградарства и виноделия.

С т р. 380. *...представления итальянской оперы, в которой участвовала сама г-жа Патти...* — Аделина Патти (1843—1919) — знаменитая итальянская оперная певица (колоратурное сопрано). С 1861 г. гастролировала с огромным успехом во многих странах Европы, в том числе и в России. В зимний сезон 1870/71 г. Патти пела в итальянской опере в Петербурге.

С т р. 383. *А Эмилио ∽ погиб славной смертью за свободу родины, в Сицилии...* — Имеется в виду один из замечательнейших эпизодов в борьбе за национальное освобождение Италии — легендарный поход тысячи добровольцев («краснорубашечников») в 1860 г. под командованием Джузеппе Гарибальди для освобождения Сицилии от господства королевской династии Бурбонов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

⟨ЗАПИСИ 1850—1860-х ГОДОВ⟩

Источник текста: записи на обложке чернового автографа рассказа «Бригадир». Хранится в *Bibl Nat*, Slave 84; описание см.: *Mazon*, p. 70; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 313. Впервые опубликовано: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. X, с. 324—326.

Публикуемый текст представляет собою фрагмент Записной книжки писателя или извлечения из записей, которые он вел, фиксируя бытовые наблюдения, образцы живой речи, сюжеты в качестве материала для будущих произведений.

Настоящие записи расположены на обложке чернового автографа «Бригадира» и занимают сверху донизу правую сторону обложки с переходом внизу страницы также на левую ее сторону и сверху донизу левую сторону оборота обложки. На обложке записи эти соседствуют с тщательно вычерченным заглавием «Бригадир» и с пометой о времени и месте написания рассказа (см. примечания к рассказу «Бригадир»). На обороте обложки записи расположены рядом с обычным в рукописях Тургенева оглавлением рассказа «Бригадир» с указанием страницы, на которой начинается каждая глава, и ее объема (количество страниц).

Тургенев начал наносить записи с обратной стороны обложки, предпослав им знак «NB». Не сумев уместить их на этой стороне (здесь поместились записи под номерами 1—43), он продолжил на лицевой стороне обложки, пометив: «Прод⟨олжение⟩». Здесь поместились записи под номерами 44—84.

Беловой характер записей, отсутствие помарок, а также и их расположение на обложке (они как бы «обтекают» заглавие рассказа, помету о времени его написания и оглавление) свидетельствуют о том, что записи были перенесены с другой рукописи.

Ряд записей, выписанных на обложке «Бригадира», использованы в этом рассказе. Они зачеркнуты писателем. Это записи: 1, 2, 4, 15, 28, 55, 58, 61 и 69. Запись № 61 использована в главе IV (с. 44), № 58 — в главе VII (с. 47), №№ 15 и 28 — в главе VIII (с. 47), №№ 1 и 4 — в главе IX (с. 48), №№ 2 и 55 — в главе X (с. 49 и 50), № 69 — в главе XIII (с. 54). Таким образом, писатель сначала заимствовал детали и выражения из старых записей при работе над рассказом «Бригадир», а затем перенес эти записи на обложку уже завершенного произведения.

Можно предположить, что книжку или листы с записями, из которых он затем сделал выписки, Тургенев обнаружил, разыскивая подлинное письмо прототипа героя «Бригадира», необходимое ему для осуществления замысла рассказа. Характер перенесенных на обложку записей свидетельствует о том, что первоначально они делались в Спасском, велись постепенно и что подавляющее их большинство относится к началу 1850-х годов, скорее всего ко вре-

мени пребывания писателя в ссылке в 1852—1853 гг. Пейзажные наблюдения (записи №№ 7, 8, 9, 10, 13, 66) делались в разное время дня, в разных погодных условиях и свидетельствуют о пристальном и постоянном внимании писателя к жизни родной природы. Записи бытового характера, подчас проникнутые юмором, обнаруживают интерес к социальным явлениям сельского быта, к парадоксам взглядов и предрассудков помещиков, крестьян, управляющих имениями,— т. е. представителей тех слоев населения, которые изображены в «Записках охотника». Обстановка, отраженная в записях, отношения помещиков и крестьян (№№ 35, 67) свидетельствуют о том, что писатель наблюдает быт в период сохранившегося крепостного права, т. е. что его наблюдения относятся к периоду дореформенному.

Большое внимание Тургенев уделяет самобытному языку «орловщины», выписывая специфические слова, выражения разговорной речи орловцев, подчеркивая ее образность.

Используя в рассказе «Бригадир» зафиксированное в его списке под № 58 слово «каженник», Тургенев сопроводил его объяснением в сноске — «Каженник — идиот, чудак». В первоначальном, черновом тексте сноска была по своему содержанию ближе к записи № 58 и более определенно связывала данное выражение с наблюдениями, сделанными в Спасском: «Каженник» — по орловскому меланхолик, идиот.

В записях отражены встречи, знакомства, разговоры, настроения писателя начала 1850-х годов.

Запись № 54 по своему содержанию, казалось бы, противоречит предположению, что она относится к началу 1850-х годов. Тургенев, которому в это время было немногим больше тридцати лет, высказывает пессимистическую мысль о настроениях, которыми сопровождается старение: «Старому человеку дороги одни старые воспоминания». Однако именно во время ареста и ссылки Тургенев впервые ощутил возрастной перелом, признаки старения, чрезвычайно остро им воспринятые: «Здоровье мое хорошо, но я постарел до смешного ⟨...⟩ Ваши письма и воспоминания ⟨...⟩ вот все мое богатство ⟨...⟩ Моя жизнь кончена, в ней нет больше очарования»,— писал Тургенев П. и Л. Виардо 1(13) мая 1852 г. из заключения. Он был уверен, что арест накладывает запрет на всю его литературную деятельность. Это настроение сохранилось и позже, в Спасском, хотя первая острота впечатления от постигшего его гонения и сгладилась: «Вот я уже и не молод, вовсе, вовсе не молод»,— жаловался он в день своего рождения 28 октября 1852 г. той же корреспондентке.

Вместе с тем писатель продолжал работать.

Уже отбывая срок заключения, он не только писал (на съезжей им был создан рассказ «Муму»), но и строил планы на будущее, сознание собственных творческих сил брало верх над опасениями и мрачными прогнозами: «В деревне меня ожидает *охота*! Затем я ⟨...⟩ буду продолжать свои очерки о русском народе, самом странном и самом удивительном народе, какой только есть на свете», — делился он своими надеждами с П. Виардо перед отправкой в ссылку 1(13) мая 1852 г., как бы успокаивая самого себя.

Таким образом, планы его были связаны с продолжением изучения и изображения русского крестьянства, народа, которое было начато им в «Записках охотника». С одним из представителей народа, изображенным в «Записках охотника» под именем Ермолая,—

Афанасием Тимофеевичем Алифановым Тургенев постоянно общался, оказавшись в Спасском. Афанасий дважды фигурирует в записях (№№ 11 и 77). Знаток и мастер охоты Алифанов сопровождал Тургенева во время его походов в лес, постоянно присутствовал в его доме. Писатель воспользовался знанием природы и охотничьим опытом Алифанова, создавая свой очерк «О соло́вьях». По свидетельству Е. Я. Колбасина, Тургенев записал этот очерк «со слов Афанасия, великого специалиста во всех родах охоты, начиная с медведя и кончая гольцом» (Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840—1883. СПб., 1884, с. 92). Очерк был завершен в ноябре 1854 г., но письма Тургенева С. Т. Аксакову от 24 апреля (6 мая), 12(24) мая, 29 июня (11 июля) и 14(26) ноября 1853 г. свидетельствуют о том, что рассказ Афанасия Алифанова о повадках соловьев и охоте на них был Тургеневым записан весной—летом 1853 г.

Упомянут в записях и камердинер Тургенева Иван Соколов (№ 57), служивший ему в начале 1850-х годов. Друзья писателя характеризовали Ивана как представителя нового поколения слуг, не знавших «грозы» властной В. П. Тургеневой и распущенных ее гуманным наследником (см.: *Фет*, ч. 1, с. 34). Фет считал Ивана «бестолковым», сам Тургенев утверждал, что Иван «человек чрезвычайно глупый» (письмо П. В. Анненкову от 14(26) октября 1853 г.).

Под № 20 зафиксирован диалог Н. Н. Тютчева с неким Житковым.

Анекдотический характер этого диалога состоит в том, что Н. Н. Тютчев, узнав по цитате, которую декламирует Житков, автора текста — В. А. Озерова, ошибся в определении цитируемого произведения. Он предположил, что стих «Российские князья, бояре, воеводы», которым начинается трагедия «Димитрий Донской» Озерова, извлечен из «Эдипа в Афинах» того же автора, не сообразив, что «российские князья» и др. персонажи пьесы не могут быть героями «Эдипа». «У доброго Тютчева понимания художественного совсем нет»,— между прочим заметил Тургенев в письме к Анненкову от 6(18) ноября 1853 г. Н. Н. Тютчев находился в Спасском в качестве управляющего имением до 26 июля 1853 года. После его отъезда по просьбе Тургенева в Спасское приехал Д. Я. Колбасин, согласившийся помочь писателю в хозяйственных делах. Колбасин прибыл в Спасское в начале октября 1853 г. Не исключено, что застольный разговор Тургенева с Колбасиным отражен в записи № 78. Если принять наше предположение, то окажется, что между записями № 20 и 78 прошло не менее двух с половиной месяцев.

В записях № 23 и 65 упоминаются соседи и приятели, охотившиеся вместе с Тургеневым, П. Ф. Юрасов и Ваксель. Вероятно, речь идет о В. Н. Вакселе. Письмо Тургенева Л. Н. Вакселю от 25 мая (6 июня) 1853 г. дает основание предположить, что именно В. Н. Ваксель — один из двух остроумных братьев-карикатуристов, охотников рассказал Тургеневу анекдот о шулере, зафиксированный в записи № 65. Из этого письма следует, что с В. Н. Вакселем у Тургенева и его товарищей по охоте была привычка к обмену шутками и анекдотами. «Я слышал, Ваш брат расхворался — и может быть не приедет в наши края,— писал Тургенев Л. Н. Вакселю.— Поклонитесь ему от меня ⟨...⟩ Андреев ждет его, чтобы рассмешить его рассказом, как мужик, улюлюкая, травил юрасовским Носиком бекаса ⟨...⟩ Действительно — Носик при нас из болота *пропёр* бекаса через пашню мимо пашущего мужика — и мужик травил».

В. Н. Ваксель умер в 1855 году.

Воспоминания о днях, проведенных на съезжей в 1852 г., отразились, очевидно, в записи № 63 — «Аромат птиц (Апарины)».

В своих «Литературных воспоминаниях» Тургенев, рассказывая об условиях, в которых он находился во время ареста, между прочим упомянул: «первые двадцать четыре часа я провел в сибирке и беседовал с изысканно вежливым и образованным полицейским унтер-офицером, который рассказывал мне о своей прогулке в Летнем саду и об „аромате птиц“» (*Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. XIV, с. 75).

К началу 1850-х годов тяготеют записи, отражающие литературные разговоры и споры. Дважды упомянут Н. В. Кукольник как писатель, вокруг творчества которого еще не совсем утихла полемика (№№ 47 и 48). В 1847 г. Тургенев посвятил специальную статью разбору трагедии Кукольника «Генерал-поручик Паткуль», подвергнув в ней уничтожающей критике литературные приемы популярного ультраромантического писателя. В 1851—1853 гг. А. Смирдин издал Сочинения Н. В. Кукольника в 10-ти томах. Очевидно, Тургенев перечитывал произведения Кукольника в эти годы.

В юмористической записи № 53 «Красов... как тигр» речь идет о поэте В. И. Красове, умершем в 1854 г.

Характерна и запись № 49. Писатель говорит здесь о своей матери в прошедшем времени. Это несомненно свидетельствует о том, что запись сделана после смерти В. П. Тургеневой (1850 г.). Тогда же, после первого ознакомления с ее архивом Тургенев писал П. Виардо об огромном впечатлении, которое произвели на него дневники матери (письмо от 8(20) декабря 1850 г.). Находясь в Спасском, он снова вчитывается в оставшиеся в доме семейные документы, обнаруживает записную книжку В. П. Тургеневой и читает ее (см.: письмо Тургенева к Полине Виардо от 28 октября (9 ноября) 1852 г.). Размышлениями о характере В. П. Тургеневой навеяна запись № 49.

Среди записей есть и такие, которые по своему характеру могли быть сделаны и не в начале 1850-х годов (например, №№ 10, 29, 32, 70); одна из записей: фраза «La giovine speranza» (№ 50) связана с впечатлением, о котором Тургенев рассказал Л. Ф. Нелидовой, записавшей его и затем, под заголовком «Музей» напечатавшей в «Русских ведомостях» (1884, № 239) и в «Вестнике Европы» (1909, № 9, с. 220—222). Тургенев вспоминал о своем посещении в Вентноре на острове Уайт музея-сарая, в котором хранились останки потерпевших крушение кораблей. Среди этих экспонатов находилась корма древней итальянской галеры с надписью «La giovine Speranza» — «Молодая надежда».

Тургенев лечился на курорте Вентнор с 12 августа по 1 сентября 1860 г. О его пребывании на острове Уайт до того нет данных.

Следует учитывать также и то обстоятельство, что, переписывая старые заметки, Тургенев, вероятно, подвергал их дополнительной обработке. Таким образом, публикуемый автограф датируется 1867 годом, то есть временем работы над «Бригадиром», когда эти разновременные записи были собраны Тургеневым и заново переписаны.

Некоторые местные идиоматические выражения и бытовые наблюдения писателя в повестях второй половины 60-х и начала 70-х годов, как можно предположить, восходят к не дошедшим до нас записям из тетради, часть материалов которой была перенесена на

обложку «Бригадира» (см., например: в «Бригадире» слова «балагура — дьячка» — «пора в пуньку да под шептуху», объясненные в специальном примечании под строкой — с. 53; в «Несчастной» утверждение Ратча, что «у него в саду везде известняк, хворостняк и валежняк» — с. 70; в «Странной истории» рассказ откупщика о городе Т.: «У нас смирно 〈...〉 губернатор — меланхолик, губернский предводитель — холостяк» — с. 139; в «Степном короле Лире» таковы пословица «не верь Еськову, Беськову, Ерину, Белину»— с. 171 и выражение мещанина Викулова о себе как о человеке «совершенно „потерянного" поведения» на с. 225 и т. д.).

Стр. 387, № 3. *...недалеко пойду за примером: Мазепа например.*— Речь идет, очевидно, о любви молодой женщины к пожилому мужчине. История любви Матрены Кочубей к престарелому гетману Украины И. С. Мазепе (1644—1709) стала широко известна благодаря поэме Пушкина «Полтава». Сам Пушкин видел в отношениях Мазепы и Матрены Кочубей (в поэме «Полтава» изображенной под именем Марии) «разительную историческую черту» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10 т. Изд. 4-е. Л., 1978. Т. VII, с. 134). Смысл записи Тургенева состоит в том, что, желая недалеко идти за примером, произносивший эту реплику собеседник писателя обращался к далекому прошлому.

№ 6. *Колыхнуть (убить).*— Современный Словарь русских народных говоров регистрирует близкое к отмеченному Тургеневым употребление этого слова: «колыхать — бить, сильно ударять кого-нибудь» (Л., 1978, вып. 14, с. 209).

№ 8. *Взлобок.* — Это слово Тургенев употребил в сцене «Разговор на большой дороге» (1850), объяснив его в специальном приложении к пьесе. Орловские слова, которые попадаются в «Разговоре»: «Взлобок, взлобочек — выдающийся мыс между двумя оврагами» (см. наст. изд., т. 2, с. 459). Слово это, очевидно, было широко распространено в Орловской губернии. Оно встречается в воспоминаниях «орловца» А. А. Фета, выросшего в Мценском уезде (см.: Фет А. Ранние годы моей жизни. М., 1893, с. 65).

№ 13. *Ендовище.*— В словаре Даля слову «ендовище» дается следующее объяснение: «впалая поляна или луговина, обширная плоская впадина» (Даль В. Толковый словарь. Т. 1, с. 519). Современный Словарь русских народных говоров дает более конкретное разъяснение слова: «Длинная лощина с узким горлом, выходящая к берегу реки» (вып. 8, 1972, с. 360).

№ 14. *Спазанка.*— Запись, вероятно, связана с воспоминанием Тургенева о его встрече в лесу с сумасшедшей, от нападения которой его избавил пастух. Рассказ Тургенева об этом случае был услышан на одном из воскресных приемов у Флобера Мопассаном и включен им в его новеллу «Страх» («La peur»). Замысел рассказа «Безумная» включен в X программу «Записок охотника» (1848). См. наст. изд., т. 3, с. 386—388. Рассказ этот не был написан Тургеневым.

№ 21. *Кётик.*— Слово встречается в повести «Странная история» и в «Формулярном списке лиц» повести «Степной король Лир». В Словаре русского языка, составленном вторым отд. имп. Академии наук, и в современном Словаре русских народных говоров этому слову дается объяснение: «Жеманное (?) произношение слова котик (уменьш. от кот)?» (вып. 13. Л., 1977, с. 191). Это объяснение представляется сомнительным.

№ 20.— Объяснение см. выше.

№ 23.— В данном случае речь, очевидно, идет о П. Ф. Юрасове, орловском помещике, соседе Тургенева по имению в Мценском уезде, участнике совместных охот. С семейством Небольсиных Тургенев находился в дальнем родстве. В. П. Тургенева требовала от сына, чтобы он, находясь в Москве, наносил визиты Николаю Андреевичу Небольсину (1785—1846), сенатору (см. ее письмо И. С. Тургеневу от 26 сентября (8 октября) 1841 г.— *ГПБ*, ф. 795, № 94, л. 19). Какой из Небольсиных подразумевается в данной записи, определить не удалось.

Стр. 388. № 41. «*Блезир*» — «блезир — вид, подобие, видимость» (Словарь русских народных говоров, вып. 3. Л., 1968, с. 22).

№ 44. *Тукманка* — удар костяшками пальцев по голове или удар кулаком (см.: Даль В. Толковый словарь, т. 4, с. 441). Общий смысл записи неясен.

№ 45.— Эта запись использована в повести «Клара Милич» (гл. XVIII).

№ 46.— Эта запись использована Тургеневым в рассказе «Стучит!», написанном в 1874 г. и вошедшем в «Записки охотника». Там: «Ермолай ⟨...⟩ напомнил мне, как лет двадцать тому назад постоялый двор ⟨...⟩ пришел в совершенный упадок оттого, что старый дворовый, которого посадили туда хозяйничать, не знал счета деньгам, а ценил их по количеству — то есть отдавал, например, серебряный четвертак за шесть медных пятаков...» (наст. изд., т. 3, с. 343).

№ 47.— Цитата из трагедии Кукольника «Джулио Мости», ч. IV, явл. 5. См.: Кукольник Н. В. Сочинения драматические. СПб., 1851. Т. 1, с. 525.

№ 48. *Доктор* — очевидно, Порфирий Тимофеевич Кудряшов— побочный сын С. Н. Тургенева. П. Т. Кудряшов был послан с И. С. Тургеневым в Берлин и там учился, затем был постоянным доктором В. П. Тургеневой, а позже земским врачом Мценского уезда.

№ 49 и № 50.— См. выше.

№ 53. *Красов... как тигр.* — Поэт, друг Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского, В. И. Красов (1810—1854) отличался благородным и добродушным, но вспыльчивым характером. В первой редакции конца «Несчастной», описывая нападение романтика Меркула Цилиндрова на Ратча, Тургенев сравнивал Цилиндрова с Красовым: «...глаза его сверкали как у тигра — и как тигр он оскалил свои большие желтые зубы ⟨...⟩» Цилиндров «декламировал свои стихи чуть не захлебываясь и замирая — ни дать ни взять покойный писатель Красов. Энтузиаст он был, человек, как говорится, „фатальный", но малый хороший» (см. наст. том, с. 402 и 406). Красов изображен также в романе Тургенева «Рудин» в виде «взъерошенного поэта Субботина» — члена кружка Покорского (т. е. Станкевича). О Субботине здесь говорится: «Полусумасшедший и милейший поэт нашего кружка» (гл. VI).

№ 55.— Эта прибаутка, использованная в рассказе «Бригадир», была в несколько измененном варианте введена Тургеневым также в рассказ «Отчаянный» (гл. VI).

№ 56. *Шабаш* — здесь: суббота.

№ 61.— Зафиксированное в этой записи слово «разговорка», помимо рассказа «Бригадир», использовано писателем и в рассказе

52

1.) Мартын-Петрович
Харлов.

Никол. Сем. Тургенев. — Огромн.-
детина, [illegible] как живой камен-
[illegible]
[illegible] как
конь, лицо красное с [illegible]
[illegible] рот. Глаза крошечные [illegible]
[illegible] — голос [illegible]
[illegible]
руки [illegible], сила [illegible]
в [illegible] кафтане, [illegible]
[illegible] ремешком. — [illegible]
[illegible] — высокая, худая [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] и т. д.

«ФОРМУЛЯРНЫЙ СПИСОК ЛИЦ НОВОГО РАССКАЗА»
(«СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР»). 1869 г.
Национальная библиотека, Париж.

«Живые мощи» (наст. изд., т. 3, с. 337). Рассказ был написан в 1874 г. и затем включен в «Записки охотника».

Стр. 389, № 65.— См. выше.

№ 69. *Скопытился.*— Буквально это слово означает хромоту коня, повредившего ногу (см. В. Даля, т. 4, с. 203). В «Бригадире» слово это употреблено в переносном смысле, применительно к человеку, физически разбитому и разоренному.

№ 77. *Это у вас француз? (на Афанасия)* — Ошибка кого-то из знакомых писателя, принявшего его крепостного охотника — Афанасия Тимофеевича Алифанова — за француза, получила широкую известность среди друзей Тургенева. 22 июля (3 августа) 1859 г. в письме к Фету он намекал на этот анекдот, явно рассчитывая на то, что его корреспондент поймет намек: «Жду описания Вашей охоты в Щигровке. Как-то понравилась она Николаю Толстому ⟨...⟩ Хотел бы я посмотреть на него в разговоре с „французом“ Афанасием». Николая Николаевича Толстого (брата Л. Н. Толстого) Тургенев в шутку называл «мудрецом и перипатетиком» и очень ценил как собеседника, наделенного большим юмором (см. письмо Тургенева А. А. Фету от 18(30) июня 1859 г.).

№ 78.— См. выше.

№ 80—84.— Комизм этой дважды (по ошибке) повторенной записи состоит в сопоставлении и сближении торжественной «мифологической» и традиционно-русской фамильярной кличек собак. Кличка «Шугай» — образована от глагола «шугать» — спугивать, сгонять дичь.

№ 81. *Чёртова кукла* — бранное выражение, источником которого является поверие, утверждающее, что «куклы»—комья, завихрения в колосьях, возникают вследствие колдовства и приносят беду, порчу, гибель тому, кто снимет такую «куклу». Даль указывает на бытование этого поверия в Орловской губернии (Даль В., т. 2, с. 213).

№ 82. *Благовест*—звон в один (средний) колокол, для извещения о службе в церкви (см. там же, т. 1, с. 91).

№ 83. *А. Н. Муравьев — боголаз.* — А. Н. Муравьев (1806 — 1874) — влиятельный чиновник, дипломат; посетил в 1830 г. Палестину и описал свою поездку в книге «Путешествие по святым местам в 1830 году» (СПб., 1832). Его перу принадлежит также книга «Путешествие по святым местам русским» (СПб., 1836). Рецензию на эту книгу Тургенев написал по заданию издателя «Журнала Министерства просвещения» К. С. Сербиновича, будучи студентом Петербургского университета. Тургенев называет Муравьева «боголазом», имея в виду его благочестивые путешествия. Ироническое отношение Тургенева в данной записи к путешествиям по святым местам близко к выраженному Белинским в зальцбруннском письме к Гоголю: «Времена наивного благочестия давно уже прошли и для нашего общества. Оно уже понимает, что молиться везде все равно, и что в Иерусалиме ищут Христа только люди или никогда не носившие его в груди своей, или потерявшие его»,— писал Белинский 15 июля 1847 г. (*Белинский*, т. 10, с. 218).

НЕСЧАСТНАЯ

(с. 61)

Первоначальный план
и формулярный список действующих лиц

(с. 390)

ИСТОЧНИКИ ТЕКСТА

Первоначальный план и формулярный список действующих лиц повести. 4 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 75; описание см.: *Mazon*, p. 76; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 330. Частично, со значительными неточностями, опубликовано J.-L. Backès в статье «Une nouvelle de Turgenev: „L'infortunée"». — Revue des études slaves, 1964, t. 43, № 1—4, p. 52—54. Полностью опубликовано впервые: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. X, с. 330—334. Примечания см. выше, с. 443—448.

СТЕПНОЙ КОРОЛЬ ЛИР

(с. 159)

Список действующих лиц

(с. 407)

ИСТОЧНИК ТЕКСТА

Список действующих лиц. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 78, 111; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 220.

Впервые опубликовано: *Mazon*, p. 111. В собрание сочинений впервые включено: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. X, с. 376. Примечания см. выше, с. 476, 478, 479.

Формулярный список лиц нового рассказа

(с. 408)

ИСТОЧНИК ТЕКСТА

«Формулярный список лиц нового рассказа». 10 с. Хранится в отделе рукописей *Bibl Nat*, Slave 76; описание см.: *Mazon*, p. 79, 111—116; фотокопия — *ИРЛИ*, Р. I, оп. 29, № 221.

Впервые опубликовано: *Mazon*, p. 111—116. В собрание сочинений впервые включено: *Т*, *ПСС и П*, *Сочинения*, т. X, с. 376—380. Примечания см. выше, с. 476, 478, 479, 483.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ[1]

Гончаров — Гончаров И. А. Собр. соч. в 8-ми т. М.: Гослитиздат, 1952—1955.

Даль — Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 1—4.

Звенья — Звенья. Сборник материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIV—XX вв. /Под ред. В. Д. Бонч-Бруевича, А. В. Луначарского и др., т. I—VI, Academia; т. VIII — IX, Госкультпросветиздат. М.; Л., 1932—1951.

Mérimée — Mérimée Prosper. Correspondance générale. Etablie et annotée par Maurice Parturier. I série, tt. 1—6. Paris, «Le Divan», II série, t. 1—9. Toulouse, Privat.

---

[1] В настоящем списке раскрываются условные сокращения, вводимые впервые.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Академии наук СССР

*

Тексты подготовили и примечания составили:
Л. М. Лотман, *Л. В. Крестова*,
Т. Б. Трофимова, *Е. М. Хмелевская*

Редакторы восьмого тома
|*Н. В. Измайлов*| и *Е. И. Кийко*

*

Редактор издательства *М. Б. Покровская*
Оформление художника *М. В. Большакова*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*
Корректоры *Е. Н. Белоусова*, *Г. М. Котлова*

ИБ № 22473

Сдано в набор 06.01.81
Подписано к печати 08.10.81
Формат 84×108[1]/[32].
Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 28,66.
Усл. кр. отт. 28,8.
Уч.-изд. л. 32,6.
Тираж 400 000 экз. (1-й завод 1—75 000 экз.)
Заказ № 2429
Цена 3 р. 60 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28